18+
Вячеслав
Недошивин
Джордж
Оруэлл
Неприступная душа

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вячеслав Недошивин – писатель, автор книг «Адреса любви. Дома и домочадцы русской литературы. Москва, Санкт-Петербург, Париж» и «Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург». Долгие годы – от диссертации об антиутопиях в 1985 году до статей в научных сборниках и журналах («Иностранная литература») – занимался творчеством Дж.Оруэлла и переводами его произведений. «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» – это не только подробнейшая биография английского классика, не просто увлекательный рассказ о его жизни и книгах, о его взглядах и его эпохе, – но и, в каком-то смысле, первый его «русский портрет». О русской женщине, в которую был влюблен, об офицере-эмигранте из России, спасавшем его в Париже, и о фронтовом друге-петербуржце, которого, напротив, спасал в Испании уже сам Оруэлл, о дневниках писателя, исчезнувших в подвалах Лубянки, и о переписке с СССР, которую обнародовали у нас лишь в девяностых… Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из лондонского архива писателя, многие из которых публикуются в России впервые.

- Вячеслав Недошивин
  -
  - Пролог
  - Часть первая.
    - Глава 1.
    - Глава 2.
    - Глава 3.
  - Часть вторая.
    - Глава 4.
    - Глава 5.
    - Глава 6.
    - Глава 7.
    - Глава 8.
  - Часть третья.
    - Глава 9.
    - Глава 10.
    - Глава 11.
    - Глава 12.
  - Эпилог
  - Именной указатель
  - Указатель произведений Дж. Оруэлла, упомянутых в книге

- Библиография
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41

- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85

- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90

Вячеслав Недошивин
Джордж Оруэлл. Неприступная душа

Если ты в меньшинстве – и даже в единственном числе, – это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен…

Джордж Оруэлл

Марку Маркину —покойному другу и наставнику

Художник – *Владимир Мачинский*

Издательство благодарит Архив Джорджа Оруэлла в University College London за предоставленные фотографии

Пролог

«Быть честным и остаться в живых – это почти невозможно». Вот фраза, после которой не знаешь даже, как и жить. Дальше – жить!.. Разве не так?..

Оруэлл сказал это про всё – и за всё. Про нас, про мир за окном, про глобальную политику и про любовь двоих, про вечное искусство и личную войну его – литературу. А ровно через 63 года 4 месяца и 17 дней после этих слов, майским утром 2013 года, на бульвар Лас Рамблас ступил седоватый и строгий британец…

Барселона. Готический квартал. Весна, солнце, выбелившее камни, гора Тибидабо, нависающая над мегаполисом, с которой Сатана показывал землю Христу, магазинчики с яркими маркизами, кафешки на дне узких улиц, рюмочная «Иуда», тапас-бары с терпким тинто, шляпки и шлепанцы туристов, и – запахи: запахи кофе, алкоголя, пота, гашиша, парфюмерии, бензина, ароматы амбиций, безучастности, наглости, любопытства, тайного секса и какой-то международной уличной гнильцы. Художники, проститутки, продавцы, попрошайки, интеллектуалы, пьянчуги, – и ленивые парни с задиристо задранными сигаретами в зубах, целлулоидные девицы в жмущих со всех сторон маечках – стайки, кучкующиеся на пласа Трипи, рядом со скульптурой Леандре Кристофоля, увенчанной деревянным шаром. Всё это вряд ли охватывал глаз ошалевшего британца. Хотя интересовали его места вполне конкретные. Кафе «Мокка», отели «Континенталь» и «Фалькон», кинотеатр «Полиорама», – все те места, где воевали когда-то его отец и мать. «Здесь всё сохранилось, – суетливо твердил ему Ник Ллойд, местный историк, – всё цело, но об этом, увы, никто не знает…»

Никто в качающихся толпах не помнил, что против кафе «Мокка» выросла когда-то баррикада, за которой, перебегая улицу под обстрелом, прятался отец британца. Что в отеле «Колон» располагался штаб коммунистов, там в окне был выставлен пулемет; а в гостинице «Риволи» – исполком ПОУМ, испанской Объединенной рабочей марксистской партии, той, которая буквально в несколько дней стала вдруг «пятой колонной». В «Риволи» исполкомовцев и брали – всех и сразу! – чтобы в считанные дни убить в застенках испанской полиции и нашего НКВД. Что, наконец, с бликующей крыши «Полиорамы» его отец трое суток контролировал тревожную ситуацию на опустевшей вмиг Рамблас. Истоптанный, веселящийся город не хотел даже помнить, что древняя Треугольная площадь, Трипи, давно

переименована в честь отца англичанина (так гласили таблички на стенах!). И уж, конечно, мало кто догадывался, что деревянный шар, венчающий скульптуру Кристофоля, олицетворял, представьте, «глаз» из книги отца, глаз, который вечно следит за тобой. «Большой Брат видит тебя»!..

«Быть честным и остаться в живых…» Вспоминал ли эту фразу англичанин? Видел ли в устьях улиц Эскудальерс и Авиньон тень отца своего? Долговязого нескладного человека с забинтованной шеей, в куртке, давно превращенной в лохмотья, и в ботинках, от которых остались одни шнурки? Именно так выглядел лейтенант дивизии им. Ленина, записанный в ополчении как бакалейщик Эрик Блэр, когда в июне 1937 года возник в этом городе. Немногие знали тогда, что это – Джордж Оруэлл. Теперь следы писателя, его дороги и тропки искал приемный сын, Ричард Блэр. Искал в канун 110-летия Оруэлла. Словно хотел вернуться в те дни, когда тот буквально родился второй раз. И как гражданин мира родился, и как боец, и – как писатель…

«Быть честным и остаться в живых…» Он остался и честным, и живым. «Как писатель, он владеет XX веком», – написал о нем уже в наше время Кристофер Хитченс. «Он и ныне преследует нас, – удивлялся в дни его 110-летия Джеффри Уиткрофт. – Его цитируют, на него молятся политики и полемисты диаметрально противоположных убеждений». Реально «его ногти часто бывали грязны, его банковский счет постоянно был пуст, а здоровье было подорвано туберкулезом», – напишет в год юбилея Оруэлла американец Уильям Джиральди, но, назвав его «мудрецом XX века», вдруг заявит: Оруэлл не писатель, «он – Джордж Провидец», да просто «Святой Джордж».

Святой! Об этом говорили и современники Оруэлла. «Он кристально честен, он не способен на лицемерие, – писал в 1943 году Рашбрук Уильямс, директор «Восточной службы Би-би-си», где одно время служил Оруэлл, – поэтому в прежние времена его либо причислили бы к лику святых, либо сожгли бы на костре». Святой, ибо, как давно подсчитали специалисты, самым частым словом в его публицистике – а я бы сказал, ключевым! – было слово *decency*, «порядочность». И, кстати, в псевдониме его имя Джордж – действительно имя святого покровителя Англии, а фамилия – Оруэлл – всего лишь название речушки его детства, где он любил ловить рыбу.

…С этого места – с речушки, рыбы, безмятежного детства – можно было бы и начать книгу: нехитрый смысловой мостик к этому, как видите, переброшен. Но есть два, нет, пожалуй, три обстоятельства, которые хотелось бы обговорить в начале. Что называется, «на берегу».

Во-первых, хочу признаться: несмотря на «святость» Оруэлла, у меня не было и нет сусального, идолопоклоннического отношения к нему. Во-вторых, считаю необходимым уже сейчас сказать о задачах и целях, которые ставил перед собой, взявшись писать эту книгу. А в-третьих (раз уж это биография писателя, выходящая в России), хотелось бы разобраться, в каком смысле его можно было бы назвать «русским Оруэллом» – рассказать, что значили книги и имя его для нас и в сталинскую эпоху, и в брежневский застой, и в так называемую перестройку. Не многие ведь знают, что когда-то в Париже он работал посудомоем как раз в *русском* ресторане, что в друзьях его ходили именно *русские*, что одно время он был даже влюблен в *русскую* писательницу-эмигрантку, и что лично – вообразите! – переписывался с Москвой – с «Иностранкой», с журналом, который назывался тогда «Интернациональная литература». «Хотя он и был очень английским писателем, – напишет один из его соотечественников, – в его застенчивой и упрямой духовности было что-то, не имеющее аналогов у нас. Мне приходит на память русское имя – Антон Чехов, человек, тоже плывший против течения и тоже задохнувшийся так рано». А другой заметит прямее: «Не знавший русского языка, он иногда казался мне русским, и не потому, что боготворил Достоевского… Он слишком сильно для наблюдателя страдал за русскую трагедию. Он постоянно говорил о Сталине, о репрессиях, об исчезающих людях. Но и когда не говорил, мне казалось, что он думает об этом. Я убежден: не было ни дня, когда он об этом не думал бы…»

Знали мы это? Да нет, конечно. Но зато точно знали, что на полвека он был намертво запрещен в СССР, что за его книги преследовали, а за передачу их «из рук в руки», за распространение давали даже сроки. Сначала – по зловещей 58-й статье, а затем – по приснопамятной 70-й, «антисоветская агитация и пропаганда». Семь лет лагерей на первый раз, и десять – если повторно. Это всего лишь за книги, за бумажные листики…

Для меня «русский Оруэлл» начался в далекие шестидесятые годы прошлого уже столетия, когда его именовали даже не Оруэлл, а резко и хлестко – «Орвэлл». Мне и сейчас это произношение нравится больше.

Да, раньше имя произносилось легко, только вот поминать его было опасно. Я услышал о нем в 1969-м, когда был принят на работу в «Смену» – комсомольскую газету Ленинграда. Конечно, и в ней, среди трех десятков журналистов, имя это знали единицы – лобастые да «продвинутые»: те, кто владел английским, кому удалось побывать за границей, кто интересовался политикой или литературой. Именно среди «продвинутых» уже тогда бродил в

самиздате перевод романа «1984», который давали читать на ночь. Я отлично помню, как дверь в редакционном кабинете запиралась на ключ, в оттянутый диск телефона вставлялся карандаш (так якобы можно было избежать «прослушки») и – начинался вполголоса разговор: невообразимый, запредельный, невозможный до ужаса. Сердце колотилось, когда ты узнавал, что твоя газета – всего лишь часть огромного «Министерства Правды». Что «выключенный» телефон – это защита не от КГБ – от «Большого Брата», который «видит» всех на свете. Что Сталин, Хрущев и бессменный уже Брежнев – это «хряки Наполеон и Снежок», а попросту – властолюбивые свиньи (тут сердце просто выпрыгивало из груди!). И до кружения головы завораживали какие-то уж совсем невероятные парадоксы тайной книги: «Свобода – это рабство!», «Война – это мир!»… «С ума сойти, да что же это за книги такие?» – вываливался я, будто пьяный, из кабинета. Да кто же он, этот автор, этот «таинственный призрак»?..

Лишь с годами узнавалось: Оруэлл – великий английский романист, на родине уже выпущены 20 томов его сочинений, он переведен на 65 языков, по книгам его давно и не раз поставлены фильмы, а сам он включен даже в школьные программы Англии и Америки. И, наконец, что он со своими атомными книгами давно стал своеобразным паролем думающих людей, знаменем сопротивления любой власти, даже Дон Кихотом униженного и оскорбленного человечества.

О нем, об Оруэлле, написано сегодня много больше его собственных томов. Дня не проходит, чтобы мировая пресса не использовала бы его мысли, слова, тавровые термины, касающиеся всего и вся – от глобальной политики до компьютерной преступности. «Большой Брат», «полиция мысли», «новояз» – эти слова звучат ныне и громче, и актуальней, нежели в его время. Но и он, и его жизнь, и даже репутация его после смерти – всё и поныне противоречиво и имеет двойной, если не тройной смысл. Он не вмещается ни в одну из одежд даже признанных пророков XX века. Ни в белую хламиду Махатмы Ганди, ни в цивильный костюм Жан-Поля Сартра, ни в полувоенный френч Солженицына, ни даже в цветастые жилетки соотечественника – фантаста Герберта Уэллса. «На него, как на “своего”, претендовали… все, – написал А.С.Кустарёв, один из русских исследователей писателя. – Консерваторы-традиционалисты и неоконсерваторы. Правые и левые либералы. Демосоциалисты, еврокоммунисты, анархисты, персоналисты, гуманисты. Даже католики… В советском обществе Оруэлл был святым в диссидентских кругах. В последний момент перед

перестройкой в культе Оруэлла попытались принять участие даже… традиционные коммунисты… Это не делает чести претендентам, – заканчивает Кустарёв, – но делает честь самому Оруэллу». Оруэлл и сам сказал как-то, что верным признаком значения писателя может быть то, «сколь много людей из соперничающих лагерей жаждут привлечь его на свою сторону». Да, он был, если можно так сказать, сплошным «анти»: первый роман его стал антиколониальным, первая книга о войне – антимилитаристской, первая сказка – антикоммунистической. Он весь состоял из противоречий, и вся жизнь его – в этом и трудность пишущих о нем – состояла из несопоставимостей. Учился в аристократическом Итоне, но был весьма скромного происхождения; служил полицейским в Бирме, но был до мозга костей интеллигентом; звал очистительную революцию на чопорную Англию, но сам же и разоблачал ее; боролся с капитализмом, но, как выяснилось после смерти его, лично сдавал «капиталу» тех, кто сочувствовал коммунизму. Он предвидел даже нынешнюю «сексуальную революцию»: и гомофилию, и гомофобию, все эти браки лесбиянок и «голубых», педофилию и легализацию инцестов. «Мы отменим оргазм, – говорил главный иезуит его последнего романа О'Брайен. – Наши неврологи работают над этим…»[1] То есть еще в 1940-х предупреждал: «Сексология – это форма вмешательства "маленьких братцев" в интимную жизнь… идеология, разрушающая утопию интимной жизни – сокровенную мечту человечества». Наконец, романы писал о простых и для простых людей (он хотел сделать прозу «прозрачной, как оконное стекло»), а очерки и эссе, коих набралось на двенадцать увесистых томов, – о сложных и высоких темах… «Пессимизм разума, который способен понимать всю трагичность человеческой природы и всю безнадежность усилий жить по правилам, и, – как заметил один ученый-социалист, – оптимизм воли». Сплошные противоречия. И главное из них – противоречие между Человеком и Богом: «Может ли человек, не любящий ближнего своего, которого он видит, любить Бога, которого он не видит?..» Разве это не касается каждого?..

С моей стороны браться за книгу об Оруэлле – чистой воды авантюра. На Западе о нем изданы десятки книг, в том числе биографий, среди которых семь, без сомнения, выделяются: «Кристальный дух» Дж.Вудкока (1966), «Неизвестный Оруэлл» П.Стански и У.Абрахамса (1972), «Джордж Оруэлл: жизнь» Б.Крика (1980), «Оруэлл: официальная биография» М.Шелдена (1991) и опять – «Джордж Оруэлл: жизнь» Д.Дж.Тейлора (2003), «Оруэлл» С.Лукаса (2003) и «Джордж Оруэлл» Г.Боукера (2003).

Правда, по замечанию одного из биографов, Тейлора, несмотря на уйму материалов о нем, многое в жизни Оруэлла до сих пор пестрит белыми пятнами, или, как выразился Тейлор, «несудоходно». А ведь помимо биографий, об Оруэлле написаны десятки воспоминаний родных, близких женщин, коллег и соратников, и одни из лучших – его давними друзьями Ричардом Рисом, Малькольмом Маггериджем и Тоско Файвелом. Кроме того, в 1998-м профессором Питером Дэвисоном было издано сначала полное собрание сочинений Оруэлла в двадцати томах, потом, в 2009-м, – его дневники, а затем, в 2013-м, – собрание писем. Наконец, о нем написан Дэвидом Каутом просто настоящий роман*, поставлена, вообразите, опера по его последней книге и даже создано продолжение «Скотного двора»*. Четыре раза экранизировали роман Оруэлла «1984» (в 1956, 1970, 1984 и 2009 годах) и дважды – «Скотный двор» (в 1954 и 1999 году). *Я уж не говорю о сотнях исследователей, писавших о нем: о Д.*Роддене, К.Хитченсе, Д.Мейерсе, Р.Хоггарте, Д.Стрейчи, Р.Левисе и П.Хубере, Д.Колдере и С.Уэдхэмсе, Б.Оксли и Р.Ли, К.Оллдритте и С.Гринблатте, Х.Уильяме и У.Стейнхоффе, и скольких еще… У нас, впрочем, если не считать статей о нем, а также докторской диссертации «Проза Джорджа Оруэлла. Творческая эволюция» В.Г.Мосиной (Науменко) и сборника работ о писателе блистательной В.А.Чаликовой, к сегодняшнему дню вышла лишь одна книга о нем: «Джордж Оруэлл (Эрик Блэр). Жизнь, труд, время», которую в 2014 году выпустили Ю.Фельштинский и Г.Чернявский.

Вообще, если разбираться строго, писать биографии – дело безнадежное. Биографический жанр, как заметил один из профессионалов, – это «профессия-наука-искусство невозможного». А Клод Леви-Стросс, признавая некие достоинства биографий, писал, что «выбор, стоящий перед историком, всегда один… – история, которая больше сообщает, нежели поясняет, или же история, которая больше поясняет, нежели сообщает». Вот между этими жерновами жанра и хотелось бы уместиться. А соль характера искать как раз между «донкихотством» Оруэлла и несовместимым с ним здравым смыслом, которым Оруэлл, пишут, обладал «в изобилии». Он ведь, этот старомодный человек, чьи тонкие, будто нарисованные карандашом усики и твидовое «обмундирование» придавали ему вид отставного полковника, был, как пишут, и Дон Кихотом, и – одновременно – Санчо Пансой. И, несмотря на старомодность и выцветшую академичность, оказался настолько впереди своего времени, что мы лишь сейчас «догоняем» его. Да и догоняем ли?..

Наконец, второй задачей, кроме рассказа о «русском

Оруэлле», была попытка выявить и показать явную связь между писательством его и реальной борьбой с миром. Казус Оруэлла. Писатель – и воин.

Эта книга, если можно так сказать, с «открытым финалом». Об Оруэлле и напишут, и переведут на русский не одну еще биографию и не одно исследование. Он долго будет актуален. Мир, который он воображал и описывал, уже реально бушует вокруг нас, и ныне нам всё понятнее «парадокс Оруэлла»: то, что он вечно выступал в поход против социализма, будучи вечно уверенным как раз в конечном успехе его. Да, мы четко видим сегодня то, что он предсказал еще в 1941-м, – тот исторический «курбет», в силу которого движение к диктатуре даже в свободных, казалось бы, странах начнется не во времена упадка, а «в момент наивысшего материального прогресса», и не потому, что «прогресс покажет свою изнанку», а из-за особенностей психической природы «лидеров прогресса» – людей особо сообразительных, умелых, практичных, властных и жестоких, для которых смысл жизни – в том, чтобы утверждаться в своей власти. А если учесть, что литература и самый дерзкий ее жанр, утопия, имеет обыкновение со временем менять свое значение и субъективную цель автора, что будущее книг-предсказаний часто меняет «адреса» прогнозов, то число русских книг о нем, думаю, будет только возрастать…

И последнее. Если помнить, что Оруэлл писал роман «1984», как бы споря с грядущим, то мне показалась небезынтересной идея «уложить» иные его статьи, эссе и письма в форму воображаемых интервью с ним. Ведь и сам Оруэлл, работая на «Би-би-си» в 1942-м, «опробовал» этот редкий и необычный жанр: «побеседовал» в эфире со своим давно усопшим кумиром – Джонатаном Свифтом. Вот и подумалось: пусть и в этой книге «спорят» настоящее время и время прошлое, год нынешний – и годы жизни самого Оруэлла. Тем более что статьи его, рецензии, выступления компактно не перескажешь, а если и попытаешься это сделать, то любой читатель, при всем моем уважении к нему, невольно заскучает или – того хуже – просто перелистнет их. Другое дело – воображаемая, но «живая» беседа с писателем. Вопросы будут задаваться мной как бы «из сегодня», а ответами – по сути, прямой речью писателя, точной до запятой, до последней буквы, – станут цитаты Оруэлла.

Вопрос из будущего: *XX век – век противоборства идеологий. Капитализм, коммунизм, фашизм, демократия, рождение экуменизма, феминизма, глобалистских идей – всё сконцентрировалось в нем. Вот*

и вопрос: кто вы, Джордж Оруэлл? Империалист, служивший в колонии Англии, либерал, социалист, демократ – или кто?

Ответ из прошлого: *Я типичный представитель среднего класса… Все мои понятия – о добре и зле, приятном и неприятном, смешном и серьезном, красивом и безобразном – в сущности, понятия буржуазные. Мои вкусы в литературе, еде и одежде, мое чувство чести, мои манеры за столом и мои обороты речи, даже моя походка и жестикуляция сформированы определенным воспитанием, определенным положением где-то чуть выше середины на социальной лестнице. И если я это понимаю, хлопать пролетария по плечу и сообщать ему, что он такой же славный малый, – пустое дело…*

В.: *Но вы человек пишущий, как говорится, человек «с перышком». Как вам удалось в разрываемом противоречиями веке, между партиями «тех» и «этих» остаться и сторонником иных идей, и – одновременно – судьей их?*

О.: *Если свобода что-нибудь да означает, она означает право говорить людям то, что они не хотят услышать… Заменить одну «правильную» точку зрения на другую – это еще не… шаг вперед… Самый худший враг, с которым… сталкивается писатель или журналист, – это интеллектуальная трусость…*

Вот такие «разговоры» с писателем и будут сопровождать рассказ о нем. Надеюсь, они помогут не просто нащупать дорогу к Оруэллу-человеку, но и найти ту почти невидимую «тропку» от анализа им тех или иных великих проблем к анализу его души.

А вообще, заканчивая вступление, хотелось бы привести одно парадоксальное и довольно ироничное высказывание Оруэлла. Он в последней статье перед смертью, в размышлениях о жизненном пути Махатмы Ганди – авторитета для него – написал: «Святых надо всегда считать виновными, пока не доказана их невиновность»…

Что ж, отличное напутствие для книги о Святом Джордже, Джордже-Провидце и Джордже Мудром! Для доказательства уникальности жизни борца-писателя и творчества его – писателя-борца.

Часть первая.
«Незнание – это сила»

Глава 1.
Семейная Библия

1.

Гроб был слишком длинным, и было очень холодно. 26 января 1950 года; день был морозным – Лондон, говорят, лежал «в тисках зимы».

Хоронили Оруэлла в четверг. А за пять дней до этого, в ночь на 21 января, он, как напишет потом его приемный сын, прямо в кровати «утонул в луже собственной крови». Умер без свидетелей. Жена, Соня Браунелл, поцеловав его за пару часов до этого, упорхнула в ночной клуб, где ее ждал с приятелями бывший любовник. Вряд ли успела выпить или потанцевать, ибо после полуночи ее вызвал к телефону дежурный врач госпиталя и сообщил: ваш муж умер от легочного кровоизлияния, от остановки дыхания. «Туберкулез», – так запишут в свидетельстве о смерти писателя…

В заиндевевшую, неотапливаемую церковь Христа на Олбани-стрит, которая и ныне стоит неподалеку от Риджентс-парка (неприметный храм серого камня, два чахлых деревца по тротуару рядом – и пяток мусорных бачков у стены), где преподобный Роуз отпевал писателя, пришло не больше трех десятков человек. Всего! Нет-нет, друзья сделали всё что могли: в Швейцарии в горном санатории было заказано место, у Сони был забронирован частный самолет, а из США, через знакомых, к нему летело редкое лекарство, «американское чудо» – ауреомицин. Наконец, ему была подарена даже удочка с какими-то прибамбасами – она так и стояла в ногах больного, – он ведь был страстный рыбак. Удочкой да початой бутылкой рома под кроватью он даже слегка бравировал. Живем, дескать! И вот – всё стало ненужным, а подтягивающиеся к церкви друзья выглядели «изумленно-потерянными».

Первой на такси подъехала младшая сестра Оруэлла Эврил (она услышала о смерти брата по радио за многие километры от Лондона, на острове Юра, и едва успела на похороны). Ее подвез близкий друг Оруэлла Дэвид Астор, редактор влиятельной газеты *Observer*, тот, который не без труда и подыскал накануне церковное кладбище в деревне Саттон Коуртенэ при храме Всех Святых на крутом берегу Темзы. А кроме этих двоих к церкви подошли издатель Оруэлла Фред Варбург и его адвокат Роджер

Сенхауч, близкие и давние друзья Малькольм Маггеридж, Энтони Пауэлл, который вспомнит похороны как одни «из самых душераздирающих». Наконец подъехала и вдова, Соня Браунелл, – «эффектная блондинка» с залитым слезами лицом, которая от горя «мало что понимала». И тихо стояла в углу женщина, которую никто не знал и которая не видела Оруэлла больше тридцати лет. Это была Джасинта Баддиком – давняя юношеская любовь Оруэлла, с которой он расстался после ссоры. Та Джасинта, про которую он никогда не забывал и, как успел признаться в одном из предсмертных писем, изображал в своих книгах «разные черты ее, какие запомнил». Она же, читавшая книги Оруэлла, но лишь за год до его смерти узнавшая, что это и есть «ее Эрик», напишет потом подруге, что Джулия в романе «1984» – «это явная я», а «лесистая долина, полная колокольчиков», где герои романа поцеловались, – это их «особое место», ну, то, помнишь, «в Тиклетоне…». Впрочем, дочитав роман, не только вновь рассердится на него, но даже не ответит на последнее письмо, посчитав, что судьба Джулии в книге – «не иначе как акт мести его». Но попрощаться – придет, хотя на кладбище уже не поедет. То ли из-за воспоминаний, то ли все-таки из-за мороза…

На кладбище вообще поехали только трое: вдова и Дэвид Астор с адвокатом. Провожал покойного в храме Всех Святых преподобный Гордон Дунстан. Покончив с формальностями, деловито попросил всю «небольшую нашу компанию» (это в точности слова викария) выйти наружу. Вот там Астор и увидел еще одного свидетеля похорон. Рядом с погостом стояло здание какой-то госслужбы, занимавшейся тестированием проб воды из Темзы. Так вот, некий научный по виду сотрудник этого заведения так и простоял на морозе в белом халате, куря сигарету за сигаретой. Астор пишет, что эта сцена ужасно напомнила ему роман «1984», хотя зевака, возможно, лишь дивился длинному ящику с мертвецом и гадал: влезет ли он в приготовленную для него яму? Оруэлл ведь был больше шести футов, под два метра. Его и звали всю жизнь «дылда» да «долговязый». Будто сами небеса позаботились, чтобы он, возвышаясь над толпой, мог бы всё замечать сверху, «выискивать как можно больше недостатков…».

Похоронили писателя между могилой Герберта Асквита, премьер-министра времен Первой мировой войны, и захоронением каких-то местных цыган. Других могил на погосте не оказалось. Как заметит один из биографов Оруэлла, это окажется символом жизни новопреставленного: «Лежать между либералом XX века и вечными бродягами по жизни – цыганами».

Не без грусти добавит: навещать погост «глазеющая публика» будет исключительно из-за могилы премьер-министра, едва ли обращая внимание на какого-то «Блэра». Ведь на могильном камне Оруэлла (это было оговорено в завещании) значилась лишь одна фраза: «Здесь лежит Эрик Артур Блэр, родился 25 июня 1903, умер 21 января 1950». «После смерти он хотел вернуться к имени, которое носил до того, как рука славы коснулась его», – красиво скажет Майкл Шелден, биограф его.

А вообще знамений, знаков, символов, связанных с его смертью, набралось предостаточно. Ну не знак ли, что прощались с Оруэллом в случайно выбранной лондонской церкви, покровителем которой, как выяснилось, оказался святой Георгий? Что хоронил его представитель знаменитого рода Асторов, а сам писатель умер, как отметит в дневнике его приятель Энтони Пауэлл, «в день смерти Ленина». Невольное это «соседство» – Асторов и Ленина, подчеркнет Пауэлл, – охватывало «весь диапазон жизни» Оруэлла. А с наследником Ленина Сталиным Оруэлл вообще не расставался все последние годы. Друзья видели, что на тумбочке в 65-й палате до последнего дня лежали не только пара романов Томаса Харди и Ивлина Во, но и какие-то книги о Сталине. И, наконец, разве не знак желание атеиста Оруэлла быть похороненным по обрядам христианской церкви? Ведь как раз Библии ни в день смерти, ни раньше у кровати его вот как-то «не лежало». И вряд ли кто вспоминал строчку его давних стихов, где он говорил, что мог бы «стать священником», что было у него такое желание, как и у деда его. И уж совсем никто не знал – разве что первая покойная жена, – что дома у него – этого насмешника, иронисты, скептика, даже циника порой – Библия все-таки была. Что он перевозил ее из дома в дом и даже хранил на особой полке.

Семейную Библию, реликвию XVIII века, которую Блэры передавали из рода в род.

2.

– Эрик! Эрик! – кричала вслед ему Айда, его мать. – *Be careful!* Будь осторожен!..

А он сначала медленно, а потом все быстрей гнал под горку свой допотопный велик. Что с того, что седло без амортизации врезáлось в тощий мальчишеский зад, а брошенные педали бешено крутились под ним! Зато каким блаженством было задрать ноги вверх – и нестись навстречу стене ветра…

Так он изобразит себя, десятилетнего, в четвертом своем

романе, который так и назовет – «Глотнуть воздуха». А ведь тогда, в 1913-м, и Первая мировая не началась еще, и было лето, и были первые каникулы, и встречный ветер, раздувавший короткие штанишки, и воздух свободы – столько воздуха, что можно задохнуться.

Мгновения, секунды осознанного счастья – они потому и остаются в памяти, что в любой жизни случаются нечасто. Он ведь напишет потом, что счастье могут испытать лишь те, «кто не делает его целью». А он и не ставил такой цели, скорее наоборот, искал страданий и бед. В лучшем случае – опасных приключений. Его друг Ричард Рис в книге о нем, которую назовет «Беглец из лагеря победителей», напишет, что его «никогда не покидало мальчишеское тяготение к приключениям – опасности и лишения представлялись ему неодолимо соблазнительными». А другой приятель, Пол Поттс, после смерти писателя так и назовет воспоминания о нем – «Дон Кихот на велосипеде»…

Да, была в его жизни Золотая Страна детства – эти два слова с большой буквы не раз всплывут даже в последней, кошмарной книге его. «Вдруг он увидел себя, – напишет, – на молодой зеленой траве. Был летний вечер, и под косыми лучами солнца земля казалась золотой. Ему так часто снилось это место, что он не мог уверенно сказать, видел он его в жизни или нет… Это был старый, выеденный кроликами луг… За полуразрушенной изгородью на противоположной стороне ветви вяза качались на легком ветру, и их густая листва чуть шевелилась, как женские волосы. Где-то рядом… протекал чистый ручей, в заводях которого под ивами плавала плотва…»

Вопрос из будущего: *Эта листва, которая «как женские волосы», – неплохая, по-моему, метафора. Вы ведь рано решили стать писателем?*

Ответ из прошлого: *Лет с пяти-шести… То ли в четыре, то ли в пять лет я сочинил свое первое стихотворение; мать записала его… Я совсем не помню его; помню лишь, что оно было про тигра, а зубы тигра были как «стулья»… Мне кажется, стих был плагиатом блейковского «Тигр, о тигр»…*

В.: *Да, вы говорите об этом в заметке «Почему я пишу». Но что было мотивом, причиной писательского выбора?*

О.: *Инстинкт, который заставляет младенца кричать, привлекая к себе внимание… Желание известности… Исходный рубеж для меня – всегда ощущение причастности, чувство несправедливости…*

В.: *Ричард Рис утверждал, что в год вашего рождения в Британии четко просматривались три класса: высший – «дворянство», средний класс и – очень большой – низший. «Благородными» и «джентльменами» чаще называли только представителей высшего класса. Про других говорили: «джентльмен по натуре». Но про вашу семью Рис пишет определенно: она относилась скорее к дворянскому, чем к буржуазному классу. Хотя ваши предки даже землей не обладали?*

О.: *Землей… не владели, но ощущали себя земельной знатью от Бога, предпочитая набор благородных джентльменских профессий вульгарной торговле… У мальчиков было когда-то в обычае над тарелкой с десертом гадать о своем будущем, считая изюминки пудинга: «Солдат, моряк, юрист, священник»… Принадлежать к этому социальному кругу, когда у тебя только четыре сотни годовых, штука сомнительная, ибо тут твой аристократизм исключительно в теории… Ты знаешь, как одеваться и как заказывать обед, хотя на практике никогда не можешь пойти к приличному портному или в хороший ресторан. Знаешь, как охотиться верхом, хотя отроду не владел ни лошадью, ни дюймом охотничьих угодий. Понятно, чем привлекала Индия… людей «верхне-среднего» слоя. Служить в колониях уезжали не наживаться… а потому, что в Индии… так просто было исполнять роль джентльмена.*

В.: *Самообманываться? Ведь без денег «держать фасон» на родине было, видимо, трудновато?*

О.: *Фактически все деньги уходят на соблюдение приличий. Ясно, что люди этого разряда существуют в ложном положении… Это большинство священников и педагогов, почти вся братия чиновников англо-индийской администрации, легион офицеров… Глядя правде в глаза, необходимо признать: ликвидация классовых различий означает ликвидацию существенной части самого себя…*

В.: *И – если забежать вперед – вы решились на это?*

О.: *Заявить о стремлении избавиться от разделяющих классовых особенностей легко, но почти всё в моем мышлении обусловлено именно ими… Требуется не только подавить собственный социальный снобизм, но заодно отказаться от множества личных вкусов и пристрастий. Во имя избавления от гнусной социальной розни мне в конце концов придется измениться буквально до неузнаваемости…*

Это еще будет в его жизни! Но что всё же запомнилось мальчику, обреченному по рождению быть «джентльменом по натуре»? Да ничего особенного. Вылазки с матерью за ежевикой, за орехами, дикими фруктами для домашнего вина; гребля на лодке по Темзе (он в семь лет попросил мать записать его в какую-то Лигу военно-морского флота и купить бескозырку с надписью «Непобедимый»); помощь каменщикам, строившим дом по соседству, которые давали ему возиться с раствором и от которых он подхватил первое крепкое словцо; ломти хлеба с маслом, которые, благодаря сорванному щавелю, превращались во вкуснейшие бутерброды; наконец, походы с ровесниками к мельничному пруду, где водились тритоны и крошечные караси; и долгое стояние на обратном пути у витрины кондитерской, находившейся на краю городка, куда «влекло волшебной силой» и где за фартинг можно было купить и тянучек, и ликерных бомбочек, и кулек попкорна, и даже «приз-пакет», в котором среди конфет счастливцам доставалась свистулька. Но главной страстью была, конечно, рыбалка. «Господи, – вспомнит он, – даже охотничьи мелкашки… не волновали меня так, как рыбацкая снасть. Я и теперь могу перечислить модели всяких нитяных или синтетических лесок, “лимерикских” крючков, “ноттингемских” катушек и прочих прелестей». Ну кто после этого скажет, что у него было несчастливое детство? Один из друзей назовет его даже «особо счастливым». Однако, как заметит Оруэлл, всё и всегда у детей переплетено: радость и мучения, стыд и гордость, смелость – и отчаянная трусость.

«Мне шесть лет, – пишет о первом знакомстве с законом, – и я иду по улице нашего маленького городка с матерью и местным богатым пивоваром, который также является и мировым судьей. Выкрашенный смолой забор покрыт рисунками, сделанными мелом, некоторые из них принадлежат мне. Судья останавливается, указывает на них тростью и произносит: “Мы собираемся поймать тех ребят, которые рисуют на стенах, и собираемся назначить им Шесть Ударов Березовой Розгой”. (В моем уме всё наказание отразилось буквально заглавными буквами.) Мои колени подгибаются, язык прилипает к нёбу, и я в первый же удобный момент ускользаю, чтобы разнести страшную весть. Вскоре вдоль всего забора появляется длинная шеренга до ужаса испуганных детей, которые плюют на свои платки и пытаются стереть рисунки. Но что интересно, – пишет Оруэлл, – лишь много лет спустя мне пришло в голову, что… никакой судья не присудил бы меня к розгам, даже если бы застиг на месте преступления». Но урок получен: законы и судьи станут для него, несмотря на всю радикальность его, почти святы.

А брезгливость, а снобизм, а презрение к «низшим классам»? Он же помнил себя в тринадцать в том вагоне третьего класса. «Вагон был битком набит распродавшими свою живность свинарями. Кто-то достал и пустил по кругу кварту пива; бутыль переходила от одного рта к другому… Не могу описать ужас, нараставший во мне по мере приближения той бутыли. Если настанет и моя очередь глотнуть из горлышка, побывавшего в *их* губах, меня, я чувствовал, непременно стошнит; с другой стороны, если предложат, я не осмелюсь отказаться из опасения оскорбить этих людей. Типичная дилемма буржуазного чистоплюя. Теперь-то, слава богу, – вздыхал уже известный писатель, – таких мук я не испытываю… Мне по-прежнему не нравится пить из стакана после других (других мужчин; относительно женщин я не против), но вопрос классовых различий тут абсолютно ни при чем… Снобизм ведь связан с… воспитанием, при котором ребенку одновременно внушается необходимость мыть шею, готовность умереть за родину – и презрение к “низшим классам”».

Первый урок такого презрения он тоже получил в детстве – когда предал маленькую девочку, дочь водопроводчика. Случай, который, на мой взгляд, и определил его судьбу, повлиял на всю будущую «личную идеологию» его. Так, например, считала и В.А.Чаликова, первой в нашей стране подвергшая анализу истоки его «справедливости». Это она сказала мне – беседу нашу опубликовала «Иностранка»[2], – что у Оруэлла есть даже какой-то стих про эту девочку из его детства.

Была ли эта девочка первой неосознанной любовью Оруэлла? Не знаю. Просто именно с детьми соседа-водопроводчика Эрик, у которого до пяти лет не было друзей, и сошелся. С этим «дружественным племенем» он разорял птичьи гнезда, живодерски надувал велосипедным насосом жаб, пока их не разрывало (добрые дети!), лазал через заборы и удил плотву. А еще – играл «в больницу», что требовало, как вы понимаете, обоюдных раздеваний. «В то время я был существом бесполым, – вспоминал, – а потому и знал, и не знал так называемые “факты жизни”… Помню, при игре “в доктора” я ощутил слабый, но, безусловно, приятный трепет, выслушивая дудочкой, изображавшей стетоскоп, живот маленькой девочки». Ю.Фельштинский и Г.Чернявский в биографии Оруэлла пишут, что он через годы рассказывал сестре Эврил вещи и похлеще: не только про игру в «докторов», но про игру в «мужа и жену». «При этом Эрик впервые, вначале на вид, а потом и на ощупь познакомился с физическими отличиями мальчиков и девочек. Старшие дети вразумительно объяснили ему, чем и как

занимаются взрослые в постели (слесарь со своей супругой занимались сексом на глазах у детей). Но из попытки семилетнего Эрика и его чуть старшей подружки перейти от изучения интимных частей тела друг друга к их соединению, – заканчивают биографы, – ничего не вышло: они были еще слишком малы…»

Я не стал бы писать об этой девочке, если бы Оруэлл раз от разу не возвращался к этой «неравной дружбе». Не первый сексопыт волновал его – первое предательство. Когда мать, узнав, с кем он водится, запретила ему встречаться с этими детьми, он не только послушался ее, но, встретив «подружку-жену», прямо сказал ей: «Я не буду больше играть с вами, мама сказала, что вы “простолюдины”». И, судя по дальнейшей жизни, стыдно от этого стало не детям – самому писателю. Именно это и перевернуло его сознание, разбудив в нем впервые чувство «равенства-неравенства»…

Я нашел то стихотворение, о котором говорила Чаликова. Удивительно, но оно было записано в его последнем, предсмертном блокноте. Вспоминал… В стихотворении был май того года, девочка, «которая показала ему всё, что у нее было», – и честные строки о том, как он сделал «ту роковую вещь», сказал детям: «Вы простолюдины». «С того майского дня, – пишет он, уже проживший жизнь, – я никогда и никого не любил, / Кроме тех, кто НЕ любил меня». И последний заданный им вопрос «в рифму», как вопрос в вечность, – «Так какая же мораль у этой истории?..».

А и впрямь: какая? Но случай этот в его «счастливом детстве», на мой взгляд, оказался действительно счастливым. Для нас, для читателей – счастливым!

3.

Знамений, связанных с мигом его рождения, кажется, не было. Ну разве что в тот год Индию единственный раз посетил сам принц Уэльский. Оруэлл родился в Индии, в Мотихари, где служил его отец, в маленьком городке на границе с Непалом. Глухой угол Британской империи, связанный с центром Индии узкоколейкой. Эрик проживет там всего год, пока мать его, полуфранцуженка Айда Мейбл Лимузин, не подхватит его в охапку со старшей сестрой Марджори и не вернется в метрополию. Он не запомнит даже пути через два океана. Да и что могло запомнить дитя: вкус кокосового молока, которым, возможно, обмазывали его губы, разжеванную матерью мякоть

банана, обжигающее солнце Индостана и далекие крики неведомых зверей, впервые услышанные им? Саму Индию он, как и все только что родившиеся младенцы, увидел впервые вверх ногами. Но ровно через двадцать лет – тик-в-тик – увидит эту «экзотику» в реале: сам окажется в Индии, поедет служить туда в качестве суперинтенданта Имперской полиции Индии. Будет служить и в Мотихари, в местечке, где появился на свет. Но фактически, если объективно, станет колонизатором, почти «плантатором», как его прадед. И хоть семейная Библия еще не перешла к нему по наследству – жив был отец, – но историю рода своего он уже знал.

* * *

Комментарий: Война идей и людей

«Запад есть Запад, Восток есть Восток…» – эти стихи Редьярд Киплинг написал, когда слова «империя», «колония», «доминион» и «метрополия» почти никем не осуждались. Это было нормой для Англии – «владелицы мира», «государства, – как красиво называли его британцы, – над которым никогда не заходит солнце», страны, господствовавшей над четвертью человечества. А «жемчужиной короны» и Первой, и Второй Британской империи была, конечно, Индия. Независимой, свободной она станет – невероятно! – только в 1947 году, за три года до смерти Оруэлла. А ведь с ней была не только связана жизнь его отца и одного из дедов, но и вся, считайте, судьба писателя: он прослужил там пять лет в молодости, потом, в 1941–1943 годах, работал в индийском департаменте на радио «Би-би-си», а однажды чуть не стал ведущим редактором влиятельной газеты *Pioneer* в крупном индийском городе Лакнау. Выбивался из этого ряда лишь один предок Оруэлла – прадед его, тот вообще был рабовладельцем на Ямайке.

Ямайку Англия аннексировала у Испании еще в 1655 году. А в 1743-м там, на Ямайке, родился прадед Оруэлла – Чарльз Блэр. Известно о нем мало, разве что ему удалось удачно жениться на леди Мэри Фейн, представительнице высшей аристократии – точнее, второй дочери Томаса Фейна, «лорда и восьмого графа Уэстморленда». Прадед Оруэлла проживет семьдесят семь лет, и с него начнется и возвышение рода, и, как выразится Оруэлл, «скудеющая респектабельность» семьи, когда к концу жизни, к рождению последнего, десятого сына (он и станет дедом писателя), феодал почти разорится и оставит после себя только

потемневший от времени портрет жены – леди Фейн – да старую семейную Библию.

Как ни искал я корни бунтарской натуры Оруэлла в предках, но ничего, кроме законопослушности, набожности и лояльности системе не нашел. Дед писателя Томас Ричард Артур Блэр, оказавшись лицом к лицу с неприятной необходимостью зарабатывать себе на жизнь, стал всего лишь рядовым священником. Проучившись год в Кембридже, в Пемброк-колледже, отправился служить Империи и в 1839 году в Калькутте был сначала рукоположен в дьяконы, а затем, в 1843 году, уже в Тасмании, – в священники англиканской церкви. Дед умрет, когда Оруэллу будет десять лет. А отцу писателя Ричарду Уолмсли Блэру жизнь вообще «не сдаст хороших карт». Он, «джентльмен по натуре», станет просто чиновником – сия рать в XIX веке в Англии уже вовсю набирала силу.

Не получив серьезного образования, не имея за спиной ни частной школы, ни университета (семья сэкономила на нем, последнем отпрыске), отец Оруэлла с восемнадцати лет вынужден был «воевать за карьеру», за место в Индии; ведь именно колонии давали тот единственый «приличный выход» из затруднительного положения бедных сыновей среднего класса. Война за *Service* – за «Службу», как звали администрацию Индийского субконтинента, – шла, надо сказать, нешуточная. После проверок лояльности трону, умственного развития, даже осмотра физического состояния (уж не считали ли зубы во рту, как у рабов?) отец Оруэлла был зачислен в Гражданскую службу, где работало чуть больше тысячи человек. Разумеется, англичан в Индии было в разы больше – в полиции, в службе гражданских инженеров, охране лесов и прочих подразделениях, – но чиновников Гражданской службы, которым всё это и подчинялось, было немного: они были если не «сливками» колонии, то высшего сорта маслом, позволяющим шестеренкам власти крутиться хотя бы без скрипа.

Отец Оруэлла проведет в Индии почти сорок лет, до пенсии. Официально будет заниматься, вообразите, опиумом, служить в отделе опиумного департамента правительства Индии, где продвинется всего лишь с помощника заместителя опиумного агента третьего ранга до той же должности, но – первого ранга. Та еще карьера! Ну и, конечно, – сам опиум! Это мы вздрагиваем ныне при слове «наркотики». А в те времена разведение и торговля маком считались не просто достойным – почетным занятием. Опиум и тогда широко применялся в медицине, на чем «благородно» настаивали англичане. По большей части его производила Бенгалия, где и начал службу Ричард Блэр. К

приезду отца Оруэлла в Индию производство наркотика составляло около четырех тысяч тонн в год и давало прибыль в 6,4 млн фунтов. Шутка ли, одна шестая часть правительственного дохода! Майкл Шелден, биограф Оруэлла, пишет, что «ужасная правда в работе Ричарда Блэра заключалась в том, что большую часть своей карьеры он занимался тем, что стабильно поставлял опиум миллионам наркоманов Азии». По нынешним меркам – убийца, страшный человек…

Пробовал ли отец Оруэлла сам курить те «глиняные трубочки» – неизвестно, но, думаю, жил до женитьбы, как все «белые колонизаторы». Если прямо сказать, поддерживал то фальшивое «реноме» якобы аристократа, ради которого и ехали в колонии нищие дворянские дурни. А если фальшь этого личного мотива да помножить на фальшь «опиумной политики» Англии, то станет понятно, отчего Оруэлл недолюбливал отца и противостоял ему в чем мог.

Нет, даром деньги Ричарду Блэру родина, конечно, не платила; он по шесть месяцев порой разъезжал по самым отдаленным посевам мака, где, следя за соблюдением агротехнических норм, подсчитывая объемы производства и количество транспорта для вывоза продукта, жил, по сути, в антисанитарных бунгало, а то и просто в палатках, страдая от насекомых, тропических ливней и невыносимой духоты. Но в свободное время, как и все белые люди, участвовал в любительских спектаклях, ездил на бесконечные пикники и балы, менял наложниц из местных красавиц, гарцевал на отличных лошадях, усердно молился в церквях и, если не пил, сидя в клубе под опахалами местных рабов, то галантно ухаживал за своими, за белыми барышнями. «В те годы англичане, – напишет в 1940 году Оруэлл в очерке «Чарльз Диккенс», – слагали о себе легенду как о “крепышах-островитянах” и “неподатливых сердцах из дуба”, и тогда же, – подчеркнет, – едва ли не за научный факт почиталось, что один англичанин равноценен трем иностранцам». А если, предположу, сравнить их с аборигенами Индии, то уж, наверное, и всем десяти.

Тот же Киплинг, ровесник родителей Оруэлла, подолгу живший в Индии, называл индусов «детьми природы», и порой довольно язвительно писал о них. «Во всей Индии, – говорил, – не сыщешь ни одной до конца закрученной гайки, ни одного накрепко сбитого бруса, ни одной мало-мальски приличной слесарной работы… Всё здесь делается небрежно, бестолково, как придется. У англо-индийцев есть для этого очень выразительное слово – “кутча”. В Индии всё “кутча”, то есть сделано “с кондачка”, чего англичанин никогда не допустил бы…»

«Кутча» – занятное словцо. И чем больше я узнавал про жизнь родителей Оруэлла, тем чаще задумывался: не «с кондачка» ли и поженились Ричард Блэр и мать писателя – Айда? Поженились-то в Мотихари, в том маленьком городке, где в наши дни местный *Rotary Club* установил памятный знак на месте рождения писателя и даже собирался открыть (не знаю, открыл ли) его музей. Так вот там, в Мотихари, на балу ли, на любительской сцене или на верховой прогулке и познакомились отец писателя и будущая жена его. Ему было тридцать девять, ей – двадцать один год. А «кутчей» их союз можно было бы назвать оттого, что Айда, служившая гувернанткой в богатых семьях администраторов, была уже обручена с другим, но тот неожиданно бросил ее, и она, «сохраняя лицо», поспешно вышла за Ричарда…

Айда родилась в 1875-м, в тот год, когда будущий муж ее впервые ступил на землю Индии. Но родилась в Пендже, в пригороде Лондона, в семье англичанки и купца-француза, почти сразу увезшего их в Бирму, в Моулмейн, где у него был основанный еще отцом бизнес – торговля тиковым деревом и строительство кораблей. Там, в Бирме, отец Айды и разорится, когда неосторожно займется выращиванием риса. Тереза, жена его и бабушка Оруэлла, так и останется доживать свои дни в городке. Внук-писатель через тридцать почти лет будет даже навещать ее. Одно время и служить будет в Моулмейне, где, как напишет позже, бирманцы особо ненавидели англичан. «Никто, конечно, не отваживался на бунт, – заметит, – но, если европейская женщина одна ходила по базару, кто-нибудь обязательно оплевывал сзади ее платье красноватой бетельной жвачкой…»

Не знаю, плевались ли аборигены на подол матери Оруэлла, но из всего, что нам известно, – бирманцы, скорее, любили ее. Живая, непосредственная, оригинальная и начитанная девица, она была одной из девятерых детей Терезы и, как все в семье (так вспомнит ее сестра), «росла как принцесса» – в доме бывало до тридцати слуг и не хватало разве что птичьего молока. Айда, по общему мнению, оказалась куда интересней мужа, почти старика по тем временам; а кроме того, была в ней какая-то авантюрность, видимо, унаследованная от отца. Неудивительно, что скрытая война между супругами рано или поздно, но началась. Бернард Крик, биограф, заметит, что родители Эрика вряд ли могли быть по-настоящему счастливы, но, «если бы его или ее спросили: “Счастлив ли ваш брак?”, искренним ответом обоих было бы твердое “да”». Муж был терпим, не педант и не тиран, способный ломать душу юной женщины. А жена, хоть и понимала, что могла оказаться и в худшем положении, тем не

менее смотрела на него «сверху вниз» и «мало считалась со вкусами и желаниями его». «Бедный старый Дик, – сочувствовали родственники отцу Оруэлла, – если он и слышал что-нибудь от жены во время карточной игры, так это неизменное: “Дик, а ну-ка кончай свой покер”…» Ну а мне, если честно, гораздо больше об их «счастье» сказало то, что довольно скоро оба решительно завели для себя разные спальни.

Через год после свадьбы, там же, в Индии, в семье родилась Марджори Фрэнсис – старшая сестра Оруэлла, – а через пять лет, 25 июня 1903 года, на свет появился и он, Эрик Артур – именно это имя дали ему при крещении. По восточному гороскопу (а Оруэлл увлекался когда-то гороскопами) он оказался Кроликом. Но не менее крутым, чем такие же, как он, Кролики Ломоносов, Эйнштейн, Шиллер, Вальтер Скотт, Рылеев, нобелиат Джон Голсуорси, Михаил Булгаков и даже Лев Троцкий. Все окажутся бунтарями. И недаром первым словом нашего Кролика стало, представьте, прилагательное от слова «скоты» – «скотские». Факт показательный: первое слово будущего «правителя слов» – писателя.

Слово «скотские» он отчетливо произнес, когда то ли вылез, то ли все-таки вывалился в сад из окна их домика в Хенли-на-Темзе. Ему не было и двух лет – ужас! Но Айда семейное это ЧП, смеясь, назовет «подвигом», первым подвигом Эрика.

Где сама была в это время – в точности неизвестно. Но могла быть где угодно: пить чай у миссис Крукшенк, сидеть за бриджем у мирового судьи, обсуждать «права женщин» у подруги-суфражистки, проявлять стеклянные еще негативы – она увлеклась вдруг фотографией – или вообще лихо отбивать мячи на корте. Непоседливая, любопытная, с волнистым проборчиком по моде и агатовыми серьгами, она, бросив на единственную прислугу (кажется, девушку звали Кейт) шестилетнюю Марджори и полуторагодовалого сына, не раз торопилась к поезду и летела в Лондон то на «громкий спектакль» с Сарой Бернар или лекцию верховного судьи, то на могилы Диккенса и Теннисона в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства, а то и на Уимблдонский турнир, уже тогда собиравший высшее общество, «свет», к которому Айда, надо признать, тянулась.

Скажете, не любила детей? Да нет: боготворила. Когда однажды в Лондоне, развлекаясь, получила вдруг телеграмму из дома, что «бэби заболел», то уже через полчаса, запыхавшись, сидела в поезде до Хенли. Она для того и вырвалась из Индии, оставив мужа, чтобы дать детям, особенно сыну, достойное образование. И, конечно, благоговейно заботилась о его здоровье.

Об этом краткий, не больше десяти абзацев, отрывок ее дневника от 1905 года.

«Понедельник, 6 февраля: ребенку нехорошо. Я послала за доктором, который сказал, что у него бронхит». «Четверг, 9 февраля: ребенок поправляется с каждым днем». И только 6 марта записывает: «Бэби вышел сегодня из дома впервые после более чем месячного перерыва». Потом он заболеет в августе, потом – в ноябре. «Так что тревоги по поводу легких Эрика, – приходит к выводу Б.Крик, – бронхиты, мучившие его всю жизнь, начались рано». А что касается дневника Айды, то он, пишет биограф, «создает о ней впечатление как о женщине, которая может очень сильно заботиться о своих детях, но не всегда бывает при них и, быть может, компенсирует это “сверхзаботой”». Оруэлл назовет это «сверхопекаемостью». Признается, что недолюбливал отца («Был долг любить отца… Но нежных чувств не питал»), а в любви матери «чувствовал себя и сверхопекаемым ею, и придушенным этим». «Придушенным» любовью!.. Так что, вывалившись из окна, он не только «проявлял» тем самым любопытство к миру, но и рвался – можно ведь и так сказать! – освободиться от присмотра, глотнуть свободы. А слово «скотские», первое слово, зная жизнь его, вообще звучит фантастично. Критик мироустройства, кажется, и не мог не начать свою жизнь с этого слова. Последняя запись в дневнике Айды так и говорит об этом. «Суббота, – пишет. – Ребенку намного лучше. Называет все “скотским”». До публикации сказки Оруэлла «Скотный двор» оставалось ровно сорок лет…

Вообще же, покинув Индию, мать Оруэлла сняла маленький домик в старинном, основанном чуть ли не в XII веке Генрихом II городке Хенли-на-Темзе в графстве Оксфордшир – в нем и сегодня чуть больше десяти тысяч жителей. Оруэлл обмолвится потом в одном из романов, что городок был полон «сонно-пыльной тишины», с единственным рынком в центре, где он ярче всего запомнил лошадей, которые, «зарывшись мордами в длинные торбы», вечно жевали свой вечный овес.

Уровень жизни семьи Блэров, конечно, резко упал: не было ни повара, ни садовника и сторожа, ни заботливых индийских «нянюшек» и вышколенных горничных. В Индии Блэры были «сахибами» – господами, – и там почти всё было сравнительно дешево; в метрополии же всё дорого, а главное – не просто. Тот же Киплинг, прямо назвав всех англо-индийцев «сущими бедолагами» (написав, что ему их «искренне жаль», ибо, несмотря на трудолюбие, «жить красиво они так и не научились»), тем не менее отметил не то чтобы бесчувственность их, но – предельную сдержанность в эмоциях. «Про человека, который заболел, даже

если заболел серьезно, скажут всего-навсего: “Ему нездоровится”. Про мать, оплакивающую смерть своего первенца, говорят, что “ей немного не по себе”… а если кто-то… совершит вдруг какой-то героический поступок, про него только и скажут: “Что ж, недурно”… Вывести англо-индийца из себя, – то ли восхищался, то ли осуждал Киплинг, – чем-то поразить его было невозможно». С этим качеством – с чувственной сдержанностью – мы еще столкнемся и у Оруэлла. Меня не раз удивит какая-то нечеловеческая глухота его, например, в дневниках, которые он начнет вести сложившимся уже человеком. Там, к примеру, вы не найдете описаний и уж тем более переживаний по поводу смерти любимой матери и даже жены. Он вообще не упомянет про эти события.

Не такой была Айда. Нет, конечно, она не работала – семья жила на деньги отца, оставшегося в Индии. Но дома, всего с одной помощницей, эта тридцатилетняя быстрая дамочка, которой хотелось еще чувствовать себя *femme libre* (свободной женщиной), сумела стать и поварихой, и садовницей, и сторожихой, да еще успевала при этом и ловко «вытирать носы детям» – воспитывать их. Более того, как дочь француза, делала всё легко и изящно. А деньги? Да плевать. Она никогда не беспокоилась о них, ибо у нее «было умение – очень французское – делать нечто большее из того, что есть». Если не могла позволить семье дорогую еду, тогда могла сойти и недорогая, но приготовленная так изобретательно, что Рут Питтер, поэтесса, подружка Марджори, и через много лет вспоминала Айду как хозяйку, что подавала на стол «капусту “*en casserole*”, со вкуснейшей приправой, которая совсем не походила на капусту “*a l’anglaise*” (“по-английски”); ее бритты варили-варили и выварили до полной потери вкуса». У Айды вообще было врожденное умение «управляться с делами». Кое-что из этого унаследует и Оруэлл: он так же будет выращивать розы и картошку, переплетать книги в своей трепаной библиотеке и даже столярничать, когда заведет в одном из подвалов собственную мастерскую.

Через много лет он как-то небрежно заметит, что жил в детстве в «благородной нищете». Слова эти можно перевести – и переводят – и как в «благородно-обедневшей» семье, и даже (если по словарям) как в семье, «пытавшейся скрыть, замаскировать свою бедность». Но среди родни писателя слова его о «благородной нищете» вызвали едва ли не возмущение. Племянница Оруэлла Джейн Морган, дочь его старшей сестры, уже в 1976-м, в письме к Бернарду Крику, биографу, гневно напишет, что они, родственники, «всегда отвергали это

представление Эрика». Напишет, что Айда, ее «бабушка Блэр», и в Хенли-на-Темзе, и потом, в 1920-х в Саутволде, была все той же «полуэмансипированной, полуартистичной натурой», которая держала свой дом «комфортабельно и очень ухоженно». Дом был «весьма экзотичным, – пишет Джейн. – Мебель была, может, и подержанной, но по большей части из красного дерева. Радужные шелковые занавеси, масса стульев с вышивкой на матерчатых вставках, подушечек для булавок, шкатулок из слоновой кости, наполненных блестками, игольниц, бусин из сердолика и янтаря из Индии и Бирмы. Всё завораживающее детей… Бабушка и тетя Эврил (сестра Оруэлла. – *В.Н.*) завтракали в постели. Чай *Earl Grey*, тосты, джем… Но особенно нас интриговало, что рядом, на постели, сидели при этом и две таксы…»

А еще и племянница, да и сам Оруэлл вспоминали потом, что Айда и подруги ее, обсуждая что-либо, попросту сплетничая за чаем, ужасно отзывались о мужчинах. «Эти животные, знаете, что они натворили? – округляли глаза. – Это и показывает, какие скоты эти мужчины… Конечно, она слишком хороша для него…» Так что, пишет Крик, можно не сомневаться, «от кого “бэби Эрик” выучил свое первое словцо». Хотя это еще полбеды. Хуже, что, любя мать, Эрик именно из этих подслушанных разговоров, из огульного осуждения мужчин вывел, что является «нежеланным ребенком»: он же мужчина. Это стало для него аксиомой: «Женщины не любят мужчин и смотрят на них как на неких больших, уродливых, вонючих и смешных животных, – вспоминал. – И не ранее, чем мне исполнилось тридцать, – закончит не без печали, – меня вдруг поразило, что в действительности я был для матери самым любимым ребенком». Не отсюда ли, рискну спросить, его скрытность, замкнутость, вечный «уход в себя», застенчивость и неумение найти верный тон в отношениях с женщинами – этими «существами высшего порядка»…

Отца недолюбливал, а мать любил, но пишет, что «даже ей не доверялся… застенчивость принуждала прятать большинство глубоких переживаний». Отца, по сути, увидит впервые в четыре года. Тот приедет в единственный отпуск на три месяца в 1907-м, после чего и родится младшая сестра Оруэлла – Эврил. Смешно, конечно, но, как дословно пишет племянница Оруэлла, отец его тоже «как-то “выпадал” из дома». Не «из окна» – из стиля семьи. Позже и Оруэлл заметит про отца: «Как было не стыдиться такого – поникшего, бледного, очень сутулого, плохо, совсем не модно одетого? От него так и веяло тоской, беспокойством, неудачей. Он был для меня престарелым занудой, хмуро ворчавшим постоянно: “Нет, нельзя”…»

Короче, всё в семье, начиная с брака отца и матери «с кондачка» и кончая даже «именем» нового, более просторного дома – «Скорлупа ореха», в который Айда с детьми переехала там же, в Хенли-на Темзе, в 1905 году, все те противоречия и «нестыковки», которые зорко наблюдал мальчик, неумолимо питали и в конечном счете воспитывали в нем некую двойственность. Ему «не хватало равновесия, и это, возможно, объясняет как его двойственное отношение к своему детству, так и причудливое смешение в нем отстраненности и общительности… – пишет биограф. – Я полагаю, – заканчивает, – что многие “пунктики” Эрика порождены тем, что он думал, что обязан любить ближних, но при этом не мог даже легко раговаривать с ними». И главный «пунктик», заметим, – неосознаннная обида на всё, что ощущалось именно как «скотское».

«Он был весьма неприятным толстым маленьким мальчиком с постоянными обидами», – скажет про семилетнего уже Эрика Хэмфри Дакин, сын семейного доктора Блэров, который женится потом на Марджори, старшей сестре Оруэлла. Заводила окрестных пацанов, Хэмфри весьма неохотно брал в компанию будущего писателя. «Он слишком чувствительный и слабый… Опять будет плакать и скулить, что никто его не любит», – кривился он. Но брал ради Мардж.

«В семье я был средним из трех детей, но между нами было по пять лет разницы, а кроме того, до восьмилетнего возраста я почти не видел своего отца, – напишет Оруэлл за три года до смерти. – В силу этих и некоторых других причин я рос довольно одиноким ребенком и быстро приобрел некоторое неприятное манерничанье, которое… отталкивало от меня товарищей… И, думаю, с самого начала мои литературные притязания были замешаны на ощущении изолированности и недооцененности. Я знал, что владею словом и что у меня достаточно силы воли, чтобы смотреть в лицо неприятным фактам, и я чувствовал: это создает некий личный мир, в котором я могу вернуть себе то, что теряю в мире повседневности. Тем не менее том серьезных (то есть всерьез написанных) произведений моего детства и отрочества не составил бы и полдюжины страниц…»

Мы помним: первый стих он «сочинит» в пять лет. Забегая вперед, скажу: сочинять стихи будет всю жизнь. Правда, не только всё написанное им «в рифму» не потянет на приличный сборник (стихотворений в собрании его сочинений окажется ровным счетом двадцать шесть), но и оценивать его «поэзию» будут весьма скромно. «Не стоит предъявлять больших претензий к стихотворчеству его, – заметит, к примеру, писатель и критик

Дэвид Тейлор, – его стихи были порой просто незначительны, но зато они всегда были важным оружием в его литературном арсенале». Ведь даже первое напечатанное стихотворение его – «Проснитесь, юноши Англии!», – опубликованное в 1914-м, когда Эрику было лишь одиннадцать, уже было своеобразным «оружием», ибо и посвящено было великой теме – началу Первой мировой, и – до последней строки – пропитано просто оглушительным патриотизмом.

Но вот что приходит на ум в связи с этим и что уж никак не сбросишь со счетов. В начале его стихотворчества, а значит, в начале всей «литературной карьеры» Оруэлла стояла Айда – больше некому! – которая, как видим, успевала не только «вытирать носы» детям. Не сам же он отнес свой стих в редакцию местной газетки *Henley and Oxfordshire Standart*? И второй факт – и тоже неопровержимый. Самое первое его стихотворение, то, «о тигре», которое записала Айда, было, по его признанию, навеяно стихом Уильяма Блейка «Тигр». Но сам ли он читал «Песни невинности» Блейка, или их также прочла ему мать? И если это так, то именно ее до́лжно благодарить за рождение будущего писателя! И есть, наконец, третий факт, связанный с матерью. Он – про главную Книгу его детства. Да что там – про Книгу всей жизни его. Не про Библию, нет. Он прочтет ее в семь лет. Мы знаем даже день этого события – в ночь на 25 июня 1911 года. Начнет – и в чем-то перестанет быть прежним, глупым и обидчивым на весь свет Эриком.

Надо сказать, упоминаний, с каких лет наш Кролик начал читать сам, я, увы, не нашел. По косвенным признакам – вроде бы с трех-четырех. Где-то в биографиях его промелькнет, что, научившись складывать буквы, он радостно начал «опредмечивать» мир: читал вывески на улицах, рекламные объявления, какие-то проспекты к товарам, подписи к карикатурам и заголовки в газетах. А осенью 1908 года, в пять лет, когда его вслед за Марджори отдали в монастырскую школу, он, кажется, читал уже вполне сносно.

Монастырская школа, вернее, начальная англиканская школа при католическом монастыре, где заправляли всем французские монахини, высланные когда-то из Франции, запомнится ему главным образом тем, что там он впервые платонически (в том смысле, что издалека, «из-за угла») влюбится в Элси, девочку из последнего, старшего класса. Он вспомнит об этой влюбленности даже за два года до смерти. «Когда я влюбился, – напишет, – мне она увиделась взрослой. Снова я встретил ее, когда мне было тринадцать, а ей – года двадцать три, и она мне показалась отцветшей дамой средних лет. Старость воспринимается детьми

почти непристойным бедствием… Перешагнувшие за тридцать в глазах ребенка – это безрадостные гротески… которым жить уже недолго, да, собственно, и незачем». Вот после этих слов он и выведет предложение, начисто отрицающее все те мнения и даже концепции о его «несчастливом детстве» – оно, дескать, сделало его мизантропом. «Только у ребенка, – напишет, – подлинная, сто́ящая жизнь». Настолько подлинная, что именем Элси он наречет первую любовь самого симпатичного из всех героев своих книг – Джорджа Боулинга из романа «Глотнуть воздуха». Да и то сказать: разве любовь – не жадный глоток воздуха?..

Что же касается чтения, то он взахлеб читал всё, что передавала ему Марджори. «Робин Гуд» (он, разумеется, сразу захотел стать похожим на него), «Том Сойер», какая-то «Ребекка с фермы Саннибрук», какой-то «Коралловый остров» некоего Баллантайна… Но Главной книгой, повторю, стала та, которую он начал читать в ночь на 25 июня. Айда купила ее в подарок ему на день рождения, и собиралась вручить завтра. Но Эрик, обнаружив сверток и догадавшись, что тот для него, тайно вскрыл его и… влип! Так началась его единственная «литературная приверженность», книга, которой в 1946-м он посвятит выдающееся эссе – «Политика против литературы». Какой заголовок, а? Впрочем, полное название этой статьи, давно переведенной и у нас, звучит так: «Политика против литературы. Взгляд на “Путешествия Гулливера”». Да, в растерзанном пакете именинника лежал великий Свифт и его «Гулливер», который в прямом смысле станет Библией Оруэлла. Он восемь раз перечитает эту книгу потом, и, как утверждают, каждый раз – «по-новому, на новом жизненном этапе». Ведь книга эта вобрала в себя все более или менее важные вопросы жизни человека: религии, политики, власти, даже любви и, более того, – секса. Эта книга и ныне для каждого – как дверной косяк, на котором можно отмечать зарубками «рост» читателя. Без Свифта не было бы, думается, ни «Скотного двора», ни романа «1984». И ведь это Свифт за три века до Оруэлла сказал: «Если на земле появляется действительно великий человек, то его сразу можно узнать, ибо все дураки мира мгновенно объединяются против него». Разве это не про Оруэлла?..

Ныне только ленивый не сравнивает Оруэлла со Свифтом. Но первым сделал это Артур Кёстлер. Он, чуть ли не на другой день после похорон друга опубликовал некролог «Путь мятежника». Цитируя Оруэлла, Кёстлер напишет о внимании этого сурового человека «к людям больших городов с их комковатыми лицами, плохими зубами и робкими жестами; к толпящимся в очередях у биржи труда, к старым девам, спешащим на велосипеде сквозь

туман осеннего утра к святому причастию…» Вспомнит Кёстлер и про Испанию, где Оруэлл «присоединился не к фальшивому братству интернациональных бригад, а к самым пропащим из отрядов испанской милиции – к еретикам из ПОУМ». А всё потому, закончит, что был «единственным, кого суровая цельность сделала невосприимчивым к ложной мистике, кто не стал попутчиком и не поверил пророкам конфетного рая – ни на небе, ни на земле…» И сравнит, подравняет его по таланту как раз со Свифтом. Но, в отличие от него, от Свифта, Оруэлл, напишет Кёстлер, «так и не потерял веры в несчастных йеху… и никогда не изменял свободе».

Глава 2.
«По канату над выгребной ямой…»

1.

Он мочился в постель. Это было невозможно скрыть, это сразу становилось известно ученикам, учителям и мгновенно, в первую голову, – этой ужасной миссис Флип.

«Господи, прошу, не дай мне опи́саться!» – жарко молился восьмилетний мальчик, раздеваясь на ночь в дортуаре, снимая короткие вельветовые штанишки и соскальзывая в кровать. Так начинается его автобиографическая повесть «Славно, славно мы резвились» о приготовительной школе-пансионе Святого Киприана, где Оруэлл проведет пять лет.

«Сегодня ночное недержание видится следствием естественным, – пишет он, – нормальная реакция ребенка, которого воткнули в чуждую среду. Но в ту эпоху это считалось мерзким преступлением, подлежащим исправлению путем порки…»

И порка, разумеется, случилась. Порол сам директор школы и владелец ее, мистер Уилкс по прозвищу Самбо – «Негритос». Отстегал отличным стеком с костяной ручкой.

– Вздули тебя? – спросит Эрика кто-то из поджидавшей у дверей кучки малышни.

– А мне не больно! – выкрикнет он.

Увы, на беду, это услышит та самая миссис Флип, жена Самбо, мадам Уилкс, директриса, которую как раз за пристрастие к тумакам и тычкам звали миссис Флип, то есть миссис Хлоп-Шлёп. «Что ты сказал? – гаркнет эта краснощекая коротышка. – Так-то ты понял урок? Ну-ка иди еще раз…»

Второй раз Самбо отделал его уже как следует. Сломался даже стек, и ручка его, крутясь в воздухе, отлетела в угол. Вот после этой экзекуции Кролик и разревелся. Не от боли, пишет, – от «детской глубинной горести». Правда, в дом Блэров в те же примерно дни полетело первое и вполне бодрое письмо Эрика: «Дорогая мама. Я надеюсь, ты в полном порядке, – пишет 11 сентября 1911 года. – Спасибо за то письмо, которое ты послала мне и которое я еще не читал. Я думаю, ты хочешь знать, как тут у нас в школе. Нормально, развлекаемся по утрам. Когда мы в постели». И подпись – «Э.Блэр».

Вопрос из будущего: *Зачем, зачем вы трясли этими «мокрыми простынями» на весь свет? Детский энурез – это же обычное явление? Зачем вы пишете, что в этой школе начали мастурбировать? Что однажды даже донесли на своих товарищей? Или самоуничижение, как говорят у нас, – паче гордости?*

Ответ из прошлого: *Автобиографии можно верить, только если в ней раскрывается нечто постыдное.*

В.: *Но есть правда – и правда? Подобное самораздевание, я замечал, вообще характерно для западных автобиографий. И не вы ли в одной из статей довольно язвительно разоблачаете некий публичный эксгибиционизм одного всемирно известного художника?*

О.: *Но пи́саться-то я перестал… Я вообще сомневаюсь, что успехов в классическом образовании можно достичь без плетки. А пишущему о своем детстве следует остерегаться как преувеличений, так и жалости к себе…*

В.: *А жалости к родным, к родителям? Это ведь они «затолкали» вас именно в этот пансион? Что, не было других?*

О.: *Страшная штука этот «образовательный» психоз!.. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток значительно богаче. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого малыша. Послать сына в приличную (то есть какую-никакую, но закрытую частную) школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря… Но именно так я и попал в стены Киприана… Не утверждаю, что я был страдальцем… но я солгал бы, не сказав об отвращении… к этой школе…*

Отвращение внушало всё, кроме морского ветерка, остужавшего его горящие щеки, – школа располагалась почти на берегу Ла-Манша. Через много-много лет он запишет: «Сто́ит, закрыв глаза, шепнуть себе: “Школа”, и сразу передо мной – плешь игрового поля с павильоном для крикета, сарайчик на стрельбище, продуваемые сквозняками дортуары, пыльные облупившиеся коридоры… и молельня из грубых, занозистых сосновых досок… И почти отовсюду лезет какая-нибудь гадкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок, под загнутыми краями которых всегда скапливалась и ленточками шелушилась засохшая овсянка. Сама каша содержала столько комков, волос и загадочных черных крупинок, словно эти

ингредиенты входили в кулинарный рецепт… Помню себя, – пишет, – крадущимся часа в два ночи через неизмеримые пространства темных лестниц и коридоров – босиком, обмирая от тройного ужаса перед Самбо, грабителями и привидениями, – чтобы украсть из кладовой кусок черствого хлеба». Или – убирая посуду после воскресных ужинов Флип и Самбо – подъедающим остатки с их тарелок… А гнусноватая вода в бассейне – в нем по утрам плескалась вся школа… А вечно влажные полотенца, пованивающие сыром… А не вычищенные от сальной грязи ванны… Нелегко мне вспомнить школьные годы без того, чтобы вмиг не шибануло чем-то противным и зловонным – смесью потных чулок, веющего по коридорам запаха фекалий, вилок с… навек застрявшими между зубцов остатками жилистого бараньего рагу…»

Но домой в Шиплейк (а Блэры к тому времени переехали в другой, такой же маленький городок Шиплейк-на-Темзе, по соседству с Хенли) письма по-прежнему летели бравурные. «Я на первом месте по арифметике и уже приступил к латыни» (8 октября 1911 года). «У нас была славная лекция про луну, это было ужасно интересно… и был футбол потом и сахар в конце… Я пятый во французском и английском и первый по латыни…» (25 февраля 1912 года). Последнее из сохранившихся писем от 17 марта 1912-го (и, как и предыдущие, с обязательным рисунком корабля) было ненамного содержательней: «Любимая мамочка… У нас снова было много футбола, было шесть игр, причем одна из шести была самой лучшей, когда никто не смог забить гола. Видели ли вы уже подготовку лодочных рейсов на Темзе? Я надеюсь, что всё в порядке, и все животные дома. Я первый в латыни и арифметике и третий в английском и французском. Шлю всем мою любовь. Тут проплыл сказочно большой корабль, и можно видеть стоящие на нем мачты…»

Ах, если бы он мог оказаться на палубе того корабля в своей бескозырке с надписью «Непобедимый», если бы тот корабль каким-то чудом перенес его – нет, гордо подплыл бы к Шиплейку! Как бы прыгал от радости Того, терьер, как бы сам он тихо и радостно замирал над коллекцией марок, которую стал собирать по совету полковника Холла, соседа и приятеля отца, – или над поплавком у прикормленных мест заветного пруда!

Отец к тому времени, выйдя в отставку в пятьдесят пять, занялся вдруг садоводством (даже пытался вырастить на участке какие-то диковинные деревья, черенки которых привез из Индии), увлекся гольфом в местном клубе и даже организовал какое-то общество «почтенных отставников». Там-то, среди отставников, между «своими», и прозвучало, видимо, впервые название этого

пансиона – подготовительной школы Св. Киприана в шестидесяти километрах от Лондона. «Дельце» казалось выгодным. Идею, кажется, подал Чарльз Лимузин, брат Айды, который тоже увлекался гольфом и, через Королевский Истборнский гольф-клуб, знал мистера Уилкса – Самбо, – директора этой «правильной школы». Какие уж там шли переговоры – дело темное, но директор нахваливал свое заведение (в пансионе, дескать, учатся всего сто отборных мальчиков, в классах – не больше двух десятков, а в комнатах вообще живут по четыре человека, но главное – лучшие ученики легко поступают и в знаменитые Харроу, Веллингтон, Винчестер, и даже в Итон – самый престижный колледж Британии, где по традиции учились – «вы прикиньте только!» – почти все наследники королевского престола). А Чарльз и отец Оруэлла в свою очередь нахваливали уже «товар» – то есть Эрика. И какой он способный, и сколь начитанный, и что даже пишет стихи. Словом, Самбо убедили, что Эрик, конечно же, легко поступит в Итон на «стипендиальное место» (это было выгодно директору, ибо именно так он рекламировал свой пансион перед родителями будущих своих учеников), а тот со своей стороны согласился принять «способного мальчугана»… за половинную плату. Удача! Иначе Блэрам было бы не потянуть тех 180 фунтов в год, которые брали со всех – ведь это почти треть годовой пенсии отца. В общем, когда ударили по рукам, больше всех, думаю, обрадовалась Айда: ее сын должен пойти «дальше отца».

Разницу между «коконом» дома и «клеткой» школы, где он чувствовал себя «золотой рыбкой в цистерне со щуками», вопиющее неравенство с теми «отборными» учениками Эрик почувствует не только исполосованной задницей. Замечу: по свидетельству второй жены писателя Сони Браунелл, он считал потом, что именно в этом пансионе начали «бессознательно копиться материалы для романа “1984”». О том же напишет и друг его Тоско Файвел: «Оруэлл говорил мне, что страдания бедного и неудачливого мальчика в приготовительной школе – может быть, единственная в Англии аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью, и что он перенес в свой “Лондон 1984 года” “звуки, запахи и краски своего школьного детства”…»

«Всемогущей фигурой в школе была жена директора миссис Л.С.Ванован Уилкс, которой восхищались ее любимчики, но которую ненавидели все остальные, – вспоминал Оруэлл. – Она делала жизнь невыносимой для тех, кто не завоевал ее расположения. Не церемонясь, давала пощечины или таскала за волосы». Кто-то из соучеников вспоминал потом, что волосы

Эрика так часто подвергались выволочкам, что он начал смазывать их маслом. «Хотя школьная дисциплина зависела от неё больше, чем от Самбо, Флип даже не играла в справедливость, – пишет Оруэлл. – Сегодня за некое деяние она назначит тебе порку, а завтра в связи с тем же преступлением лишь посмеется над детской шалостью, а может, даже и похвалит: “Каков храбрец!” Бывали дни, когда все холодели от ее словно глядевших из пещеры обвиняющих глаз, а то вдруг явится жеманной королевой в окружении придворных кавалеров, шутит, щедро рассыпает дары или обещания даров (“Выиграешь премию Харроу по истории – куплю тебе футляр для фотокамеры!”). Иной раз даже посадит любимцев в свой “форд” и свозит их в городское кафе, где дозволит угоститься кофе с пирожными… Самым популярным словом в разговорах о Флип у нас звучал “фавор”… За исключением горстки мальчиков, являвшихся или числившихся богачами, в постоянном фаворе никто не пребывал, но, с другой стороны, и самые последние изгои имели шанс время от времени там оказаться. Так, при том, что мои воспоминания о Флип в основном неприязненны, помнятся долгие периоды, когда и я купался в лучах ее улыбок, когда она называла меня “старина” и разрешала брать книги из ее личной библиотеки, благодаря чему я впервые прочел “Ярмарку тщеславия”». Он пишет, что бывал «чрезвычайно горд», когда удавалось рассмешить Флип. «Я даже по ее велению писал дежурные шуточные стихи к знаменательным событиям школьной жизни… В ее однообразной лексике имелся целый набор хвалебных и порицающих фраз, точно рассчитанных на определенную реакцию. “Вперед, парень!” – и шквал энтузиазма взмывал до небес. “Не строй из себя дурачка!” – и полное ощущение себя дебилом…»

Короче, он оказался в мире, где понял: «Быть правильным, хорошим при всем старании не получится». Беззащитность его была тотальна. Для Флип и Самбо он был «товаром». Либо выиграет при выпуске стипендию в престижный колледж, либо, как внушали ему, превратится в «нищую конторскую шушеру». «Взрослым не объяснить терзавшее подростка нервное напряжение в ожидании какой-то страшной судьбоносной битвы», подготовку к тому главному экзамену (они называли его «экзам»), который надо будет держать в Харроу или Итоне. «Экзам» неизменно присутствовал в его молитвах, и, если в порции курятины ему доставалась дужка грудной косточки, или он находил подкову или даже проскальзывал через калитку, не коснувшись боковых столбиков, – всякий «знак» связывался с будущим проходным баллом в Итон или, на худой конец, в Веллингтон.

– Ужасно мило ты себя ведешь, не правда ли? – спрашивала его Флип, когда он обмишурился «на латыни». – А ведь родители твои не богачи, они не могут себе позволить того же, что в других семьях… Твоя мама так гордится тобой! Ты хочешь ее огорчить?.. А ты ведь знаешь, сколько мы для тебя сделали, ты знаешь ведь, правда?..

«На все вопросы я умел лишь мямлить: “Да, мдэм”, “Нет, мдэм”… И копившиеся слёзы неудержимо брызгали… Самбо говорил жестче. Излюбленной его фразой было: “Не впрок тебе мои щедроты!” Говорил ее и в такт свистевшим ударам трости…»

Странный парадокс, но Оруэлл ненавидел Уилксов «какой-то стыдящейся, мучившей совесть ненавистью», и одновременно верил их словам о безмерных благодеяниях. Он даже любил их. «Теперь-то ясно, – напишет годы спустя, – что в глазах Самбо я был неплохим бизнесом. Директор вложил в меня деньги и алчно ждал дивидендов. Если бы я вдруг “спёкся”, как случалось с перспективными парeньками, воображаю, сколь решительно меня бы вышибли». А пока он слезно благодарил их за «благодеяния» и зло плакал в подушку от ненависти к ним. Любить и в то же время ненавидеть – разве не так рождается в человеке «двоемыслие», которое он опишет в романе «1984»?[3]

Были ли светлые воспоминания о школе? Да, были; ребенок ведь. «Случались летом чудесные походы через дюны к деревням Бёрлинг-Гап, Бичи-Хэд, когда ты купался на каменистом морском мелководье и возвращался, покрытый ссадинами. Еще чудесней были вечера, когда в самую жаркую летнюю пору нас ради целительной прохлады не загоняли спать в обычный час, а позволяли бродить по саду до поздних сумерек». А еще радость – проснуться до побудки, когда спальня залита солнцем, и часок без помехи почитать любимых авторов (того же Теккерея или Уэллса). А еще – крикет, который ему не давался, но который он страстно обожал лет до восемнадцати. Наконец, как пишет, удовольствие держать у себя красивых гусениц (гарпию, тополевого бражника, отличные экземпляры которых можно было «нелегально» купить в городской лавочке) или восторг вылавливания из мутного прудика в дюнах громадных желтобрюхих тритонов…

И, конечно, главным уроком – если хотите, «социализацией» Оруэлла, давшей толчок его будущему «бунтарству», —стало реальное знакомство с «реальной» средой сверстников. Еще буквально вчера он как бы «отгородил» себя от дочери водопроводчика – этой «простолюдинки», – а ныне (в глазах «богатеньких отпрысков») сам стал таким. «Отборные» мальчики быстро «доказали» ему, что «все животные равны, но некоторые

более равны, чем другие…».

Вопрос из будущего: *Всё ведь началось со стойкого убеждения, что «самое желанное на свете» оказалось… «недостижимым никогда». Страшный ведь закон?*

Ответ из прошлого: *Учителя с их плетками, миллионеры с их шотландскими замками, атлеты с кудрявыми шевелюрами – <вот> армия <этого> неизменного закона. Трудно мне было в те времена додуматься, что в жизни-то этот закон не столь уж неизменен… А тогда закон меня, мальчишку, приговорил. Я не имел денег, был слаб и некрасив, трусоват, меня бил хронический кашель, от меня разило по́том… Уязвимость ребенка – он… не оспаривает общество, в котором живет, и вот его, доверчивого, заражают чувством неполноценности.*

В.: *Вы закончили мемуар о пансионе в 1947-м. Но ведь к тому времени многое в школах Англии изменилось. И, кажется, к лучшему?*

О.: *Сданы в утиль молитвенник, латынь, плетки, классовые и сексуальные табу, но страх, ненависть, снобизм, непонимание, возможно, на прежних местах… И не стоит… говорить мне, что, мол, был «дурачком». Оглянитесь на собственное детство: в какую чепуху верили вы, из-за каких глупостей вы страдали… Я твердо уверен лишь в одном: закрытые школы-пансионы хуже обычных… Родной очаг должен быть рядом…*

В.: *Ваша проза – от доски до доски – предельно социальна. И не из чувства ли неполноценности и рождалась она? Униженность, подозрения, что за вами постоянно следят, ненависть к богатству?..*

О.: *Большинство учеников были сынками богатых родителей… из тех, что имеют дворецких и лимузины… Было… несколько экзотических персон: чада аргентинских мясных баронов, парочка россиян, даже сиамский принц… Бедноту держали вдали от интересных «добавочных занятий», типа стрельбы… унижали по части костюма, белья, владения всякими предметами. Богатым между завтраком и ланчем давали молоко с печеньем, им раза два в неделю полагались уроки верховой езды… а главное, их не пороли никогда… Но удивительней всего общее… убеждение… в незыблемой прочности крикливого, кичливого богатства… Благодетельность денег… <представала> в ореоле очевидной моральной*

добродетели.

В.: *И поразительно, конечно, как вы, еще ребенком, формулировали себе это. Вы ведь, как вспомнят ваши соученики, были ужасным спорщиком. Кстати, именно сын Флип и Самбо, который учился с вами, и напишет потом про вас: «Спорщик даже ни о чем и критик всего и вся. Мы любили с ним спорить. Он обычно побеждал, у него были аргументы». А ваш школьный друг на всю жизнь Сирил Коннолли вообще утверждал, что вы были в пансионе «единственным интеллектуалом и не попугаем»…*

О.: *Это правда, что я существо не стадное… <Но> установленные стандарты я сомнению не подвергал, ибо иных не наблюдалось. Могли ли быть неправыми сильные, модные, властные, богатые? Мир принадлежит им, так что их правила безусловно верны. И все же с самых ранних лет я ощутил: не получится у меня по их правилам. Затаившееся в сердце «внутреннее я» то и дело вздрагивало от несогласия… Вот религия, например. Ты должен любить Бога, в этом у меня сомнения не было. И до четырнадцати лет я верил в Господа, во все свидетельства о нем. Но мне же было прекрасно известно, что не люблю я его… Молитвенник, скажем, предписывал и возлюбить Господа, и страшиться, а как ты можешь полюбить кого-то, кого боишься?..*

В.: *Короче, вы были уже тогда «маленьким бунтовщиком»?*

О.: *Никогда я не бунтовал разумом, только эмоционально… В те времена я еще не умел разглядеть четкую моральную дилемму в мире, где сильный властвует над слабым… Не увидел, что у слабого есть право на собственные правила… Если чем-то и отличалась моя ситуация, если потенциально во мне было больше бунтарства, то лишь потому, что по мальчишеским стандартам я представлял собой убогий экземпляр… Очень рано, едва ли старше десяти лет, я пришел к выводу (никто мне не подсказывал; видимо, это носилось в воздухе), что хорошего не жди, не заимев свои сто тысяч фунтов… Так что для подобных мне… единственным путем к успеху было корпеть, вкалывать по-черному… И помнить, что стоит на миг скиснуть, увильнуть, – как тут же свалишься на дно конторской шушеры…*

В.: *Чутье… Ведь всё это потом легло в поступки, в*

книги. Разве не так?

О.: *Хочу прояснить и подчеркнуть: я не был бунтарем, только если силою обстоятельств. Я принял кодекс бытия… Провозглашенные кодексом… религиозные, моральные, социальные, интеллектуальные параграфы на практике противоречили друг другу… На одной стороне – церковное христианство, пуританство, упорство, трудолюбие, строгость к себе, трепет перед учеными умами; на другой – неприязнь к «умникам», страсть к развлечениям, презрение к рабочим и иностранцам, невротический страх перед бедностью и, главное, уверенность, что важнее всего – деньги и привилегии. Тебя обязывали быть христианином и в то же время преуспеть, что невозможно. Мысль об отмене несовместимых идеалов меня тогда не посещала, я просто видел недостижимость их, поскольку от тебя ничего не зависит – все зависит от того, кем ты являешься.*

«Свяжи-подвесь-и-раздери» – слышал ли ты, читатель, такое выражение? А ведь это дословный перевод насмешливо-упрощенной (можно сказать, народной) формулы старинного приговора английских еретиков к казни. К казни четвертованием. Вот в школе Св. Киприана душа Оруэлла и была, фигурально выражаясь, связана, подвешена – и разорвана.

Из всех столкновений нашего «героя» в школе мне особо запомнились два случая. Первый касался его русского однокашника. Он, «белокурый и высокий», изловил Эрика после каникул и в упор спросил: «Сколько твой отец имеет в год?»

Эрик привык к таким вопросам. «Ты где в Лондоне живешь? В Кенсингтоне, Найтсбридже? – назывались престижные районы столицы. – А сколько у вас комнат? А слуг сколько? Хоть повара-то держите? Одежду шьете на заказ или из магазина?» И наконец: «А сколько денег тебе дали с собой?..» Он знал, что́ отвечать русскому. «Прибавив к известной мне цифре несколько сотен фунтов, – пишет он, – я ответил. Но склонный к деловой четкости русский мальчик достал вдруг блокнотик, карандаш и произвел вычисление. “У моего отца доход, – улыбнулся, – в двести раз больше!..”»

Конечно, он терпел эти бесконечные унижения. Выход детская душа его видела в ненависти к «свинству богачей» и в глубоком презрении к тем, кто «не опознавался как “джентльмен”». «Правильным и красивым мне казалось быть благородным по рождению, но денег не иметь. Характерное кредо… Дает романтичное ощущение себя аристократом в

изгнании и очень успокаивает…» Но однажды, за год до выпуска, он все-таки не выдержал. Ричард Рис, его поздний друг, напишет, что Оруэлл с десяти лет «ощущал в себе непомерную задиристость… Я имею в виду его сильное, доходящее до размеров страсти чувство справедливости». Рис не поминает, конечно, Джонни Хейла по прозвищу Командор. Но для Эрика этот «могучий здоровяк с ярким румянцем» из старшего класса был сущим бедствием. Именно он с кодлой старшеклассников устраивал по ночам «суд инквизиции», когда шею малыша брали в захват (он назывался «Уганда-экстра»), а один из «палачей», чаще всего как раз Командор, яростно хлестал жертву нанизанными на бечевку ракушками или футбольной бутсой с шипами. Командор – тот и в одиночку постоянно выворачивал кому-то руки, крутил уши, кого-то хлестал стеком, за что его похваливал лично Самбо. И вот с ним-то, в раздевалке, маленький и пухленький тогда Эрик и схватился. «Помню вплотную перед глазами ухмылку на лице красавца, – вспоминал он. – Медлить не стоило, так как вот-вот должен был появиться педагог, чтоб увести нас “на прогулку”, и с дракой не вышло бы. Примерно через минуту, напустив на себя самый безразличный вид, я приблизился к Хейлу и, обрушившись на него всем телом, двинул ему в зубы. Ловким ударом он отшвырнул меня, но из угла рта его побежала кровь. Ясное лицо его потемнело от гнева. Хейл отошел прополоскать рот в умывальном тазу.

– Отлично! – угрожающе процедил он, когда нас уводили».

Но больше удивило нашего Кролика, что этот верзила «с его кулачищами и глумливой физиономией», эта гроза школы приставать к нему перестал навсегда… И разве не в этом корни его будущего – уже личного – конфликта с миром, выбор той знаменитой позиции «поперек порядка вещей», которую он вот-вот займет?

2.

Он стоял на голове. Тоже позиция. Встал, вытянув голые ноги в носочках к небу и не без труда удерживая равновесие. А она – она смотрела на него во все глаза.

Она – это девочка тринадцати лет, вся в рюшах, кружевах и при банте, которая только что выпорхнула из дома и застыла, увидев за забором, там, где начиналось поле, стоявшего на голове мальчика в коротких штанишках.

– Зачем ты это делаешь? – удивленно крикнула ему.

– Если стоишь на голове, – пискнула голова, – то можно

увидеть намного больше…

Так, слово в слово, за два года до смерти, точнее, 8 июня 1948 года, описал Оруэлл в письме свой первый разговор с Джасинтой. Письмо было адресовано Тиму – однокашнику писателя по школе Св. Киприана, сыну отставного майора, и другу по жизни Сирилу Коннолли. Сама же Джасинта, та самая Джасинта Баддиком, которая через тридцать лет увидит Оруэлла только в гробу, в воспоминаниях о нем, опубликованных впервые в 1971 году (правда, в коротком еще варианте), подтвердит эпизод, но из тогдашних слов его запомнит другое. Он, стоя на голове, якобы сказал удивленному «банту»: «Это хороший способ, чтобы тебя заметили…»

Ну и что тут удивительного? – спросит, возможно, иной читатель. Так вот, зная его дальнейшую жизнь, сегодня, через сто лет, нельзя не сказать: он, образно говоря, будет «стоять на голове» и младенчески видеть мир вверх ногами, первородно ясным и незамутненным, все отпущенные ему годы. Видеть без экивоков, подмигиваний или «фиги в кармане», прямо воспринимая вещи «как они есть», и, уж конечно, не так, как видели их другие. Я, например, прочитав о его «стоянии на голове», сразу вспомнил строчки Ходасевича, поэта из того же примерно времени: «Счастлив, кто падает вниз головой, / Мир для него хоть на миг, а иной…»

«Иной» мир наступил тогда и для одиннадцатилетнего Эрика (он был младше Джасинты на два года). Он впервые влюбился всерьез. Это случилось в Шиплейке, где в 1914 году Блэры и Баддикомы оказались соседями. Детский роман этот будет длиться восемь лет. Да что там! Джасинта будет незримо присутствовать в его душе всю жизнь, отражаться в его произведениях, растравлять глубоко запрятанные комплексы, сказываться на его отношениях с женщинами и, наконец, подстегивать – я уверен в этом! – в творчестве. «Книги его усыпаны зашифрованными косвенными упоминаниями об их отношениях, – пишет о Джасинте один из нынешних исследователей Оруэлла Уильям Хант, – отношениях, которые могла понять только она». Наконец, это ей, еще подростком, он сказал, что обязательно станет писателем, а потом, пошушукавшись, оба даже решат, что непременно «знаменитым». Так заглавными буквами она и пишет: он решил стать «Знаменитым Писателем». Он мечтал, добавит, написать когда-нибудь роман, «подобный фантазиям Герберта Уэллса».

Первые два года после начала мировой войны оба, по ее словам, были «неразделимы». Виделись постоянно и в его доме, и в доме Баддикомов в Тиклетоне. Пару раз Эрика даже отпускали в

поездку с Баддикомами на отдых. Родители не возражали против их дружбы, хотя семейство Баддикомов считало себя в социальном плане выше Блэров. А Эрик – Эрик был уже разным. Лики Оруэлла-подростка, его «ипостаси» совмещали в себе даже несовместимое. Он был другим один на один с собой – для этого у него существовали «воображаемые собеседники», оборотная сторона его застенчивости. Один внутренний «собеседник» его даже носил имя Фронки, Эрик вел с ним бесконечные диалоги и проверял на нем свои поступки. Эврил, младшая сестра его, вспомнит потом, что он часто, затащив ее в угол и понизив голос до шепота, пересказывал ей и что сказал ему Фронки, и в какую страшную историю тот попал. Тогда же эти «разговоры» с самим собой переросли в какой-то постоянный внутренний монолог, который он сочинял. Эта способность делала его как бы «*властелином тайного мира*», в котором он «распрямлялся от житейских неудач». Удивительно, но он однозначно назовет потом это скрытое состояние «литературной деятельностью»: «Я все время сочинял бесконечную “повесть” про себя самого, своего рода дневник, который существовал только в моей голове». Позже эта повесть «утратит черты грубого самолюбования и все больше и больше станет описанием того, что я делал и видел. Я мог подолгу раскручивать в мозгу такой пассаж: “Он широко распахнул дверь и вошел в комнату. Желтый луч солнечного света, пробиваясь сквозь муслиновые занавески, скользил по столу, где рядом с чернильницей лежала полуоткрытая коробка спичек. Засунув правую руку в карман, он пересек комнату и подошел к окну. Внизу на улице полосатая кошка гонялась за опавшим листом”, и т.д., и т.п. Эта привычка, – заканчивает, – тянулась лет до двадцати пяти».

Да, был разным. «Новым» он был с Проспером, братом Джасинты, с которым ходил на рыбалку, стрелял кроликов или галок на крыше (родители подарили Эрику ружье марки *Crackshot*) или – о, живодер! – ставил дикие эксперименты по «отвариванию ежа», препарированию убитой крысы или даже организации какого-то взрыва в саду, о котором вспоминала та же Эврил. Но «особенным» был с Джасинтой – этим нежным, но ядовитым «гиацинтом» (ведь так переводилось ее имя). С ней он видел себя словно в каком-то немом фильме «про любовь», где дамам подавали ручку или платок, где герой склонял набриолиненную голову в полупоклонах, где сам себе он казался нереальным и больше всего хотел, чтобы эта «фильма» никогда не кончалась. Она запомнит его как «философичного» и «практичного» мальчика с «большим чувством юмора». Он «среди всех детей, – пишет она, – был одним из самых интересных…» Но

с «щенячьим чувством» к ней, как обмолвится позже.

Он говорил ей, что ему не нравится свое имя «Эрик», он ассоциировал его с героем какого-то рассказа; что не переносит собственную внешность, гладкую да щекастую. Ему было ясно: заинтересовать «соседку с бантом» он может лишь чем-то сверхинтересным и даже таинственным. Отсюда его «страшные истории», как реальные, так и выдуманные. Он рассказывал, например, какое жуткое впечатление произвела на него гибель «Титаника» (отец читал семье за завтраком подробные отчеты об этом событии). Представляешь, говорил Джасинте, как цеплялись за корабль пассажиры, когда могучий лайнер, прежде чем уйти в воду, «встал вдруг торчком», задрав корму на тридцать метров: «У меня от этого до сих пор холодеет в животе…» И спрашивал: «А у тебя?» В другой раз рассказывал, как адски гудит металл на сталелитейном заводе, куда их водили на экскурсию, или как страшно варят обыкновенное мыло. Но особо пугал историями выдуманными. Про Дракулу (он подарит позже ей книжку о нем), про привидения (для защиты от которых подарит вдогонку маленькое распятие и зубчик чеснока) – и про неких духов, которые, по его мнению, составляют половину их городка («Этих нельзя отличить от людей, – втолковывал, – потому что они точно так же передвигаются»). Верил (или делал вид, что верит) в оккультизм, в магию, в колдовство, в то, что тень может жить отдельно от человека и что можно «заколдовать» врага, нарисовав его фигуру и воткнув в нее иглу. Кстати, с «черной магией» покончит только в Итоне, когда вместе со Стивеном Рансименом, приятелем, пытаясь «наложить заклятие» на некоего Филиппа Йорка, вылепит из воска его фигурку и… оторвет ей ногу. «К позднему ужасу их, – пишет Гордон Боукер, один из биографов Оруэлла, – Филипп Йорк не только впоследствии сломал себе ногу, но вскоре умер от лейкемии». После этого Оруэлл и завязал с «чертовщиной», хотя все еще верил в гороскопы, приметы и знамения. Некий Джон Бонвилл, автор полутора десятков романов и исследователь творчества Оруэлла, даже в 2003-м, в статье «Хороший человек, плохой мир», ссылаясь на пристрастие писателя к приметам, пишет, что Оруэлл и псевдоним взял именно потому – как якобы признался другу, – «чтобы никакой враг не смог бы использовать его имя для магического выпада против него»…

Блеснуть, переблистать, поразить воображение – вот чем завоевывал внимание. То изобразит в купе поезда, натурально, орангутанга – и повиснет между верхними полками, пугая какую-то пассажирку. А то ошарашит просто садистским истреблением крыс. «Ведь это почти как спорт – отправиться ночью со стеком из

кукурузы и с ацетиленовой велосипедной лампой в поля, где можно слепить крыс, которые бросаются врассыпную от ударов». Брат Джасинты Проспер даже напишет восторженно, что Эрик приобрел «одну из тех больших клеток-ловушек для крыс». Крысы вообще станут пунктиком его: вечным страхом и больше того – проклятием. Он не раз помянет их и в Париже, и в шахтерских поселках, и даже в Испании. А тогда, в детстве, яро скажет Джасинте: «Дело обстоит так: либо они, либо я». И поведает, как младенцем в Индии его в колыбели едва не покусали эти мерзкие твари. Дэвид Тейлор, биограф, утверждает, что в детстве Оруэлл читал (Тейлор пишет: «Все мы знаем, что читал») стихотворение Уильяма Дэвиса «Крыса», в котором страшное животное ждет смерти заболевшей женщины, чтобы наброситься на нее и «выесть ей скулы». Кошмар! Мы, конечно, не можем сказать «Все мы знаем, что читал», но помним: в романе «1984» главный палач говорит герою в конце книги: «Крысы хотя и являются грызунами, тем не менее плотоядны. Ты это знаешь, Уинстон. Ты же слышал, что… на некоторых улицах матери не решаются оставить детей одних и на пять минут… Они мгновенно объедают их до костей». Так что, думаю, можно сказать: он с детства был ранен двумя несообразностями мира: неравенством простолюдинов (дочь водопроводчика) – и страхом-ненавистью к крысам. Ведь и то, и другое будет сопровождать его всю жизнь.

Но больше и чаще всего Эрик и Джасинта говорили о литературе, стихах, пьесах, романах – «девочка с бантом», надо сказать, тоже считала себя поэтессой. Но куда ей было до Эрика?! Он ведь «на ее глазах» напечатал в той же *Henley and Oxfordshire Standart* свое, уже второе, стихотворение. Грандиозное, как ни кинь, событие для 13-летнего мальчугана! Увидеть свое имя в газете, услышать первые поздравления даже от незнакомых. Стихотворение называлось «На смерть Китченера» и просто истекало патриотизмом. Герберт Китченер – фельдмаршал, погиб в открытом море. Между прочим, военный корабль, на котором он утонул, плыл в союзную тогда Россию. Эрик писал про Китченера возвышенно:

> Он увлекал всех тех, кто рвался в бой,
> Кого дела позорные смущали,
> Всех лучших вел он за собой,
> А недостойные бежали…[4]

Позже Оруэлл признается: «Мною сочинялось много чепухи “на случай”, которую я писал быстро, легко и без особого удовольствия. Помимо школьных заданий я писал *vers*

d'occasion[5], полукомические вирши, которые сочинял со скоростью, теперь кажущейся мне недостижимой: в четырнадцать лет я примерно за неделю написал целую рифмованную пьесу в подражание Аристофану и помогал редактировать школьные журналы… Эти журналы были самым жалким образчиком пародийной ерунды, и забот у меня с ними было куда меньше, чем с самыми примитивными газетными статьями сегодня». Так что понятно, о чем они говорили с Джасинтой, чем фехтовали в спорах и в какие выси взлетали в мечтах.

Они обменивались романами, часто ходили в книжные магазины, где можно было буквально за копейки взять кое-что просто почитать – это было типично для Англии. Восторгались то одним, то другим поэтом. «Он говорил, что чтение – это хорошая подготовка для писания: любая книга может чему-то научить; по крайней мере, как писать». Позже в заметке «Почему я пишу» Оруэлл признается: «Когда мне было около шестнадцати, я неожиданно для себя открыл радость, которую доставляли мне просто слова, то есть сочетания их. Строчки из "Потерянного рая" – "С трудом, упорно Сатана летел, / Одолевал упорно и с трудом / Препятствия… ", которые теперь не кажутся мне такими чудесными, пробирали меня буквально до дрожи, а архаичная орфография доставляла особое удовольствие. Что до необходимости описания предметов или событий, то об этом я уже знал всё. Словом, понятно, какого рода книги я собирался сочинять… – я хотел писать огромные натуралистические романы с несчастливым концом, полные подробных описаний и запоминающихся сравнений, полные пышных пассажей[6], где сами слова использовались бы отчасти ради их звучания. И в общем-то, – пишет он, – мой первый завершенный роман "Дни в Бирме", который я написал в тридцать лет, но задумал гораздо раньше, – во многом такого рода книга. Я привожу все эти частности, – заключает, – потому что уверен: нельзя постичь мотивов писателя, не зная ничего о том, с чего началось его становление. Содержание творчества будет определяться временем, в котором он живет (во всяком случае, это справедливо по отношению к нашему бурному и революционному веку), но прежде чем он начнет писать, он обязательно выработает эмоциональные оценки, полностью избавиться от которых не сможет уже никогда…»

Ну а если вернуться к «лав стори» с Джасинтой, то он прислушивался к ней, ценил ее советы, как старшей по возрасту, и многому в ней удивлялся. Она, например, призналась, что не верит в «бога-творца», подобного человеку, и считает «главной святостью» природу. Бог везде и во всем – чистый пантеизм. Эрик

и окрестит ее «язычницей», и однажды напишет ей, по сути, любовный стих:

> Мы над землей, под небесами —
> Нам боги так определили;
> Природа-мать владеет нами,
> А боги души обнажили…[7]

Но что любопытно: Джасинта сей стих отвергла, ей показались в нем «неприличными» слова «души обнажили». Она велела – фу-ты ну-ты! – убрать это развратное слово! И наш «поэт» покорно зачеркнул его и сверху вывел: «незащищенные души». В таком виде сохранит стихотворение Джасинта. А я, зная, что она будет вытворять потом, не могу не отметить факт этого первого фарисейства. Странно, что Эрик, чуткий к таким вещам, не заметил в Джасинте уже тогда чопорного «староанглийского» лицемерия, которое, как и крыс, он будет ненавидеть всю жизнь.

Загадок, связанных с Джасинтой, множество. И, если говорить о значении ее в жизни Оруэлла, то начать надо со статьи 2011 года Гордона Боукера, одного из последних биографов писателя. Потрясло уже само название ее: «Почему нужна новая биография Оруэлла?» Боукер, если коротко, утверждает: биография нужна в связи с публикацией обнаруженных писем первой жены писателя Эйлин О'Шонесси, проливающих свет на ее «измену» мужу, с открытием материалов английских спецслужб, а также не просто с появлением воспоминаний Джасинты, но – с поздними комментариями к ним кузины ее Дайоны Венаблз. Ибо, как изящно закончил Боукер статью, всё это сделает «Святого Джорджа» «более человечным»… И – менее «святым»…

Забегая вперед, скажу: война Джасинты с биографами писателя началась много раньше «разоблачений» ее кузины. Она началась через двадцать лет после смерти Оруэлла, 10 января 1971 года, когда Джасинта увидела документальный фильм «Би-би-си» об Оруэлле «Дорога влево», составленный из интервью друзей, знакомых и критиков. Тогда и явятся ее краткие воспоминания «Юный Эрик» (они превратятся потом в книгу «Эрик и мы»). Главный посыл их, месседж, заключался в том, что никто, ни одна живая душа ничего, оказывается, не знает о жизни Эрика Блэра вне школы, не говоря уже о проблемах-причинах, которые заставили его отправиться в Бирму. Как позднее Джасинта признается Бернарду Крику, она была так «поражена полностью ошибочными представлениями о его ранних годах», что «в отчаянье и ужасе» решила исправить положение. «Мрак и ностальгия, – объясняла Крику, – развились в нем много позже.

Они не были свойственны ему, когда он был юным». Словом, Джасинта с присущим ей пылом больше всего хотела развеять миф о «несчастном детстве» Эрика, миф, во многом базирующийся, конечно же, на собственных писаниях Оруэлла, особенно на эссе его про школу «Славно, славно мы резвились». Ведь, опираясь именно на него, повторю, биографы Оруэлла очень уж прямо выводили и «вечный пессимизм» писателя, и мрачный взгляд на действительность, и, как следствие, – провидчество его последних произведений, заставивших содрогнуться едва ли не весь мир. Потому и не принимали в расчет воспоминания Джасинты, делали вид, что их как бы и не было. Она же едва не в истерике билась, доказывая, что Эрик на самом деле был «вполне счастливым». «Особенно счастливым» был, по ее мнению, «когда закончил Киприана».

Джасинта, например, помнила тот декабрьский денек накануне Рождества 1916 года, когда Эрик, буквально с поезда, предстал перед ней в необычном галстуке. Галстук в черно-зелено-синюю полоску повязывался выпускникам школы Св. Киприана и как бы символизировал «славное школьное братство». «Хорошо помню, – напишет и Оруэлл, – чувство освобождения, словно галстук был и знаком возмужалости, и амулетом против голоса Флип и плетки Самбо. Я убегал из рабства…» Позади были школьные экзамены по греческому, латыни, французскому и английскому языку, которые приехал принимать «со стороны» (так полагалось для объективности) сам Грант Робертсон из Оксфорда – опытный и строгий педагог. Эрик вспоминал выпускные испытания, и сердце наверняка ёкало от радости: он да еще Тим – Сирил Коннолли – оказались лучшими. «По греческому, – объявлял Робертсон, – Блэр и Коннолли проявили хорошие знания, были почти равными при переводе, но Блэр был явно лучше в грамматике». В латыни – «трудно было предпочесть Блэра или Коннолли по грамматике, но по сочинению Блэр был явно лучше». В знании французского, – так при всех говорил арбитр из Оксфорда, – были почти равны Блэр, Кирпатрик, Коннолли и Грегсон, но Блэр был лучше всех в переводе и сочинении». А вот в английском, в итоговом сочинении на тему «Что собой представляет национальный герой?», он подкачал – стал третьим, сразу за Тимом. Он, оказывается, слишком много внимания уделил героизму и мало – как раз «национальному» в герое. Но главное не это, пересказывал он «порядок событий» Джасинте. Главное – он и Тим, оба, выдержали те самые «экзамы», которых боялись все пять лет, – «стипендиальные экзамены» в два престижнейших колледжа Британии: в Веллингтон и, представьте, в Итон. Прощай, «зубрежка-долбежка»: он для себя решил

(«Сначала бессознательно, а потом – прицельно»), что если выиграет «королевскую стипендию» в Итон, то навсегда «покончит с ней». «План этот, надо заметить, – напишет позже, – был полностью реализован: в ближайшие лет десять я в своих трудах вряд ли лишний раз шевельнул пальцем». Кстати, «экзамы» оказались не такими и страшными.

В общенациональном конкурсе для поступления стипендиатами в Итон в тот год участвовало семьдесят подростков. Стипендию могли получить лишь тринадцать. Эрик, надо сказать, оказался четырнадцатым – и «выбыл из игры». Оставалась надежда, что кто-либо из выигравших по той или иной причине откажется от нее, и тогда возьмут его (что и случится). Зато с самого начала была обеспечена другая стипендия, в менее престижной средней школе – в Веллингтоне. Одну за другой он получал премии за отличные знания классических языков – древнегреческого и латинского – и истории (одна из премий считалась особенно престижной и присуждалась знаменитой школой Харроу, которую не так давно закончил Уинстон Черчилль, его «близнец по славе» в XX веке)[8]. «Но там были такие глупые вопросы, – смеялся Оруэлл. – Кто был обезглавлен на корабле в открытом море? Или кто застал вигов во время купания и убежал с их одеждой?..» Может, и признался Джасинте, что устроители подобных конкурсов на деле ленились из года в год составлять новые вопросы, и в школе Св. Киприана заранее знали, о чем будут они…

И вот – всё было кончено! Поезд вез его домой на каникулы, и впереди были мама и сестры, отец, который опять будет чем-нибудь недоволен, и Джасинта. «Как же я был счастлив тем зимним утром!.. Колледж, – надеялся, – будет повеселее Киприана, хотя, в сущности, столь же чуждым… Немного покоя, немного баловства… а затем крах. Какая погибель ждет – неведомо: может, колонии или конторский табурет, а может, тюрьма или досрочная кончина. Но на пару лет будет, наверное, возможность поплевать в потолок, пожить неподсудным грешником, как доктор Фауст. Я, – пишет, – твердо верил в свой злой рок, и вместе с тем сердце пело от счастья». В Итоне, он знал это, у него будет своя комната – даже, может, с камином. А в Веллингтоне будет отгорожена личная спальня в общежитии — можно вечерком сварить себе какао. Совсем по-взрослому! И сколько хочешь просиживай в читальнях, и летним днем можно запросто увильнуть от спортплощадки и шляться по сельским холмам без надзирателя… И Рождество на следующей неделе. «И блаженство обжорства, – не забывал. – Уж очень соблазнительны были двухпенсовые кремовые булочки в бакалее возле нашего

дома. И даже такая мелочь, как по ошибке выданный на дорожные расходы лишний шиллинг – нежданная удача в пути угоститься чашкой кофе с парой пирожных… Кусочек счастья перед надвигающимся будущим. Мрачным будущим, – пишет Оруэлл, – как мне представлялось…»

«Всё это было тридцать лет назад и даже больше, – заканчивал он свой мемуар о детстве. – Теперь у меня даже не хватает злости тешиться надеждой, что Флип и Самбо ушли в мир иной, а школа действительно сгорела». Под этой последней фразой и стоит год окончания рукописи – 1947-й. Но начал он писать «Славно, славно мы резвились» в 1939-м. Начал, ибо за год до этого, в 1938-м, о школе Св. Киприана написал свою «повесть» Тим. Книга его называлась «Враги обещаний», и в ней многолетний друг Эрика утверждал: школа «давала неплохое образование». Это и возмутило Оруэлла. Нет, как же, постойте?! Ведь они «учились ради оценки», «для показухи», их обучали не столько знаниям, сколько «хитрым трюкам», которые должны были «впечатлить экспертов»; ведь практически не было ни математики, ни географии, а «интерес к естественным наукам вообще презирался». Но, изложив свой взгляд на школу, Оруэлл тогда же публикацию и отложил. Он понял: получилось всё в «слишком страшном свете». Короче, при жизни Оруэлла его повесть о детстве так и осталась неопубликованной. В печать ее отдаст вторая жена писателя, Соня Браунелл, да и то только в США и изменив название школы, место ее и имена действующих лиц. Обычная история для Оруэлла: многие его вещи не публиковались при жизни по нескольку лет. Свобода от цензуры, вообще «свобода слова» на свободном Западе была не для него. Слишком зол был, спросите? Да нет, слишком честен…

Впрочем, как бы то ни было, он возвращался домой победителем. Впереди был или престижный Веллингтон, или, если повезет, Итон. И впереди была любовь с Джасинтой… Он только не догадывался еще, что она сыграет роковую роль в его жизни. Не знал, что она дважды предаст его.

3.

«Пока не закалишься, – скажет он про школьные годы, – всё кажется, что ходишь по канату над выгребной ямой…»

Возраст закаливания, по его словам, – с семи до восемнадцати лет. А вот единственным равновесом – фигуральным «шестом», который помог ему балансировать, устоять на виртуальном «канате», – оказалась для него

литература. Это подметит, кстати, В.А.Чаликова. «В силу необоримых обстоятельств – генетических, семейных, житейских, – напишет еще в 1980-х, – слово с ранних лет было его *единственной защитой от жизни* – “от отвратительных подробностей жизни”». Недаром еще в юности он просто влюбился в строку поэта: «Осмелься быть собой. / Дерзай стоять один…»

Строка эта ошеломит его в Итоне, хотя про сам Итон с его обычаями, традициями и «племенными ритуалами», которые так красочно описаны в столь многих романах и мемуарах, он не скажет почти ничего. Как великое достоинство, отметит «цивилизованность и терпимость, которые давали каждому справедливую возможность развивать свою индивидуальность». Сухо, отчетно скажет, будто отмахнется. Правы биографы, утверждавшие, что ему просто нечем было «возмутиться». Хотя в Итоне его тоже будут пороть, правда, не оскорбительно, тоже как бы «отчетно», для порядка, ибо пороли, во-первых, всех новичков, а, во-вторых, делали это сами ученики, только старшего класса. Дедовщина, если по-нашему.

Итак, в мае 1917 года он впервые ступил на мощенный булыжниками двор Итона, окруженный мрачноватыми краснокирпичными стенами с окнами-бойницами. То ли плац, то ли двор тюрьмы. Кто его привез в старинный городок Виндзор в тридцати километрах от Лондона, почти под стены королевского замка, – об этом история умалчивает. Но не трудно представить, как он, невысокий мальчик (он пойдет в рост лишь через год), «изрядно похожий на хомячка», как вспомнит однокашник Деннис Кинг-Фарлоу, с «необыкновенно пухлыми щеками» и голубыми, слегка навыкате глазами, как напишет уже Джордж Уэнсбро, запрокидывал голову и открывал рот, разглядывая знаменитую часовню Итона – величественное здание, рвущееся к небу, с готическими окнами и каменными пиками по карнизу, на которые навечно, кажется, были вздернуты набухшие туманами облака. Он только что окончил весенний семестр в Веллингтоне, куда попал по полному праву, и вот в мае получил Королевскую стипендию Итона. «Королевский школьник»! В четырнадцать лет – казенный стипендиат! И Тим Коннолли – ура! – тоже попал! И Виндзор, и эта мантия, которую надо надевать по торжественным дням поверх черно-белых форменных костюмов! И отдельная комната, пусть и клетушка! И пять почти лет впереди! Не жизнь – сплошь восклицательные знаки.

Итон – «колыбель британской элиты». Это как молитву, мантру повторяет столетия уже – с 1440 года – английский истеблишмент. Двадцать премьер-министров вышли из его стен.

Да и нынешний наследник престола, будущий монарх, сын Дианы принц Уильям Артур Филипп Луи, – он тоже, как и младший брат его Гарри, итонец. Основанное королем Генрихом VI, это учебное заведение было предназначено лишь для семнадцати питомцев, которых готовили к учебе в Королевском колледже Кембриджского университета. Правда, к началу XX века здесь обучалось уже 1000 учеников, а сегодня – вообще 1300. Ныне только плата за обучение в нем составляет 50 тыс. долларов в год. Есть там, к слову, и факультет русского языка и литературы. И, несмотря на тотальный интернет и прочие новомодные прибамбасы, все до пота занимаются спортом. Особо популярен, как и во времена Оруэлла, «итонский пристенок» – игра в мяч, нечто среднее между футболом и регби.

История этой «привилегированной» игры давняя, чуть ли не с начала 1700 годов, когда на территории Итона возникла слегка искривленная кирпичная стена в два роста высотой, ныне заросшая пробивающимися между камнями травками. Вот у нее-то, на площадке шириной в пять и длиной в сто десять метров, раз в году, 30 ноября, в День святого Андрея, проводился и проводится официальный матч пансионеров – главное спортивное событие. В игре разрешается толкаться плечами и корпусом, но нельзя играть руками и переходить в драку. Главное – загнать мяч в ворота: с одной стороны это дверь в сад, с другой – два дерева-штанги. Обычно сходились две команды по десять человек, состоящие из королевских стипендиатов *King's Scholars* (их в Итоне насчитывалось семьдесят человек, и они считались как бы хранителями стены) и – всех прочих, *Oppidans* (как бы горожан). Но штука в том, что голы в этих матчах чрезвычайно редки, они случаются – вообразите! – раз в десять лет. Последний раз в официальном матче гол был забит 30 ноября 1909 года, а в неофициальном – в октябре 2005-го. В анналах Итона – и тут вы просто рухнете! – хранится память о двух незаурядных игроках прошлого – о Гарольде Макмиллане, 65-м премьер-министре Великобритании, и… о нашем герое – об Эрике Блэре. Вот вам и толстячок-хомячок! Уж не в этих ли матчах он заработал будущий туберкулез? Хотя сам он, скажу, глубоко возненавидит эту игру, считая, что она основана «на ненависти, зависти, хвастовстве, нарушении всех правил и садистском насилии». Впрочем, на сохранившейся фотографии его команды он выглядит уже высоким и крепким парнем. Майкл Шелден, биограф, пишет, что здоровье его, аховое еще недавно, в Итоне сильно поправилось. «Он стал хорошим пловцом, чуть ли не профессионалом в нескольких видах спорта и человеком крепкого духа, который словно получал наслаждение от игры (нет, не в футбол, как вы,

возможно, подумали! – *В.Н.*) в одинокого волка…» Примечательная реплика, про «волка»-то…

Кстати, как раз Шелден напишет, что к окончанию Итона Оруэлл достигал уже в росте «полных шести футов и трех дюймов» (по-нашему – 190,5 см). Но я вспомнил об этом, читая очерк Оруэлла «Англичане», написанный через много лет. Там, коснувшись вдруг «физического типа соотечественников», он не без снобизма написал: «Высокие и долговязые фигуры… редко встречаются за пределами высших классов». А вот «трудящийся люд» – тот в основном «мелковат, короткорук и коротконог». Не берусь судить, так ли это, но после этих слов признанию его в юном снобизме веришь куда больше. «В свои четырнадцать-пятнадцать лет я был гадким снобом, – сознается позже и добавит: – Снобизм, если постоянно не выпалывать его, как вьюнок с грядок, держится в тебе до могилы».

А в Итоне он, надо сказать, угодил просто в рассадник, питомник, главную «колыбель» британского снобизма. Здесь «простолюдинов» не водилось вовек, хотя и особых барьеров для них вроде бы не было. «Безродных» тихо и незаметно, но категорично отделяли от «сословных». И знаете чем? Знанием латыни и древнегреческого. В частных дорогих приготовительных школах от выпускников требовалось не просто читать, но – говорить на них, и это «изысканное знание» ценой слез, протертых штанов и порок просто вбивалось в учеников. Без него немыслимо было поступать в Кембридж–Оксфорд–Эдинбург, чьи университетские дипломы почти автоматически делали в дальнейшем их обладателей (независимо от специализации) «своими» в высших слоях общества и заведомо обеспечивали карьерный рост. И ведь не придерешься к «традиции»: никакой дискриминации, мы лишь требуем от каждого фундаментальных знаний, в том числе классических языков. Ничего личного! Этот «трюк» Эрик, поначалу несомненно гордясь вступлением в круг итонцев, раскусит позже, когда в одном из очерков напишет: «В Англии… вся власть… принадлежит одному-единственному классу… Нами управляют воспитанники дюжины частных школ и всего двух университетов…»

Всё это будет еще. Пока же ему, «закаливая» душу, предстояло выдержать два экзамена, которые не значились в расписаниях. Экзамены-экзекуции! Первый так и назывался – «вступительный экзамен». Для этого новичок должен был взобраться на стол в общем зале и показать, на что способен: прочесть стихи, продемонстрировать фокус, акробатический трюк. Если не глянешься, в тебя полетят учебники, огрызки яблок, пеналы – всё, что попадется под руку. Эрик, хоть и не обладал

хорошим слухом, «решился исполнить модную в то время американскую студенческую песенку “Спускаясь с Бангора”». Воображаю, как он «вытягивал» на столе:

На Восточном экспрессе,
Бангор покидая,
Отохотившись в Мэне,
В дебрях милого края,
С бородой и усами —
Не узнаешь в момент —
Едет поздоровевший
После лета студент[9].

Позже шутил, что именно по этой песенке и представлял себе в те годы «всю Америку». Гогочущему жюри, кстати, «хит» понравился: не огрызки – сплошной и даже бурный аплодисмент.

Хуже было со вторым «экзаменом». Эрику, конечно, рассказывали о нем, и, когда перед отбоем в коридоре раздался зычный призыв: «Блэр, твоя очередь!», – он отправился на зов, как на заклание. На этот раз надо было смиренно войти к собравшимся выпускникам, прилюдно спустить штаны и лечь на лавку. Дальше следовала рутинная порка – «прописка» в Итоне. Пороли и за нарушение дисциплины, и воспринимать это надо было тоже как ритуал. Причем жертва не только не смела сопротивляться, но – и возражать. И, конечно, униженно натягивая брюки под крики: «Спокойной ночи, друг!», Эрик слабо утешался мыслью, что и он, став выпускником, будет почем зря драть младших.

Любая человеческая жизнь интересна. Тем более интересна, даже в мелочах, жизнь Оруэлла. Его поселили в старом, казарменного типа здании Палаты (*Chamber* – это слово переводят еще как «Камера»). Тогда, как и ныне, Палата представляла собой длинные ряды «кабинок» вдоль общего прохода. Отдельная конура для каждого, но лишь в рост человека: стены не доходили до потолка. Так же устроен, кстати, и Пушкинский лицей в Царском Селе, который, возможно, и создавался на манер передовых школ Запада. Впрочем, Эрик легко ужился в своем «гнездышке», ведь даже в такой клетушке никто не мог подглядывать через плечо, что он там пишет себе в своих тетрадочках. Каждому полагалась деревянная кровать, которая днем поднималась и прикреплялась к стене, крохотный столик, стул и полка для книг. Первый урок начинался в 7:30, потом – завтрак, потом – еще три урока. Дальше шло время общения со своими тьюторами (наставниками из преподавателей) – типа

бесед, или «делания уроков».

Наставником Оруэлла оказался Эндрю Гоу, специалист в области классической филологии, которую он преподавал также в Кембридже. Не знаю, стал ли он другом всей семьи Блэров, но известно, что отец Эрика приезжал потом к Гоу выяснять, есть ли реальный шанс у сына на поступление в Оксфорд. Зато сам Оруэлл будет всю жизнь не только встречаться с тьютором, но советоваться с ним и переписываться (сохранилось, например, большое письмо его к учителю от 1946 года, в котором Оруэлл, уже известный на весь мир писатель, рассказывает Гоу, и что сделано им, и каковы творческие планы его, и даже о семейных делах и здоровье, о чем вообще-то распространяться не любил). Хотя, замечу, имея такого наставника, знаниями в латыни он, увы, не блистал – получил лишь 301 балл из 600 возможных. Правда, как остроумно замечают исследователи, высший балл по латыни здесь могли бы получить разве что Вергилий или Тацит, так как «лучший ученик Итона Роджер Майнорс, впоследствии известный профессор латинского в Оксфорде, – и тот удостоился только 520 баллов».

Эрик и здесь, как и в школе, оказался беднее других, у него было меньше карманных денег, костюмчик на нем почти всегда лоснился, а брюки у этого худого и высоченного школьника, меряющего пространство, что тот циркуль из готовальни, едва прикрывали голени. Нехватка средств ощущалась и в семье; что говорить, Марджори, старшая сестра, однажды даже бегала занимать денег у подруги на билет ему до Итона – смешную, стыдную в общем-то сумму. Особо это сказалось, когда начались «военные трудности» вступившей в мировую войну Англии, когда вместо масла на столах всё чаще появлялся ненавистный маргарин и когда возникли «талоны на питание». Война, безденежье и, конечно, «семейный патриотизм» побудили отца Оруэлла вступить в королевскую армию в звании «второго лейтенанта» (его, шестидесятилетнего, отправили во Францию, под Марсель, где в лагере трудового подразделения Индийского полка ему было поручено надзирать за армейскими мулами), а Марджори и даже мать нашего итонца – устроиться на работу. К 1917 году Айда и Марджори не просто переехали в Лондон, но стали трудиться: Айда – в канцелярии министерства пенсионного обеспечения, а Мардж, тоже патриотка, – во вспомогательной воинской части, которая занималась перевозкой почты.

Эрик же, напротив, день ото дня терял свой детский патриотизм, на глазах превращаясь в стойкого пацифиста. Это ценилось в кругу учеников и выделяло его. С одной стороны, он гордился, что выпускники Итона раз за разом уходили на фронт

офицерами (его соученик, будущий историк Кристофер Холлис подсчитает потом, что на войне сражалось 5687 итонцев, из которых убито было 1160 человек, а 1305 – награждено орденами и медалями), и непритворно переживал, когда на молебнах в капелле поминали погибших. А с другой – хихикал, «злорадно-весело» кривил губы и издевался, когда навещавшие колледж фронтовики-выпускники, недовольные равнодушием учеников, лишь рявкали подросткам, что война – «хорошее дело», что она «делает мужчину мужчиной». Он искренне считал, как призна́ется в 1940 году, что уклонение от участия в школьных парадах и демонстративное отсутствие интереса к войне служили в Итоне признаком «просвещенного человека». Более того, его детский патриотизм не сразу, но сменился не просто пацифистскими настроениями – мрачными предчувствиями, что Англия, как напишет Сирилу Коннолли, не только ничего не выиграет в этой войне, но, напротив, «много, если не всё», потеряет: «потеряет империю Киплинга», а в конечном счете – потерпит крах «британское господство в мире». Такой вот ранний пророк…

Ирония и насмешки помогали ему если не оправдывать, то скрывать навалившуюся на семью бедность. Он уже научился «прикрывать» этот недостаток язвительной улыбкой, скепсисом, а по отношению к лабиринту итонских традиций даже бравировал порой откровенным цинизмом, что тоже негласно ценилось. «Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея», – цедил сквозь зубы вычитанную мысль Бернарда Шоу. И чего стоит, скажем, только одна Эрикова фраза, пусть и полная почти казарменного юмора, но зато долетевшая до нас: «Жизнь может дать только одно облегчение – кишечника». Таким стал теперь «стиль Блэра», вспомнит о нем Деннис Кинг-Фарлоу. «Был против Киплинга и воспеваемой им империи, против цилиндров, вошедших в моду, против миллионеров, – пишет современный нам биограф Гордон Боукер. – Роль критика, хоть и аутсайдера, хорошо подходила ему. Став взрослым, к Киплингу помягчеет, но не к империи или, если уж на то пошло, – не к цилиндрам…»[10]

Эти детали сами по себе, возможно, тривиальны, но это был новый опыт. С годами ему всё ближе станет мир своего школьного класса, с которым рос, разделяя удовольствия и трудности. «Блэр был в дружелюбных отношениях со всеми, – пишут Питер Стански и Уильям Абрахамс, – но и несколько отстраненным, как человек, идущий своим путем, не вполне еще “еретик”, но и не коллективный энтузиаст… Трудно сказать, нравилась ли ему такая позиция, или же он принял ее как форму самозащиты. Самозащита его была тесно сопряжена с нежеланием

или даже опасением раскрыть себя, как и с неким удовольствием, находимым в скрытности и мистификации. Даже для друзей своих он уже был своего рода загадкой, как в Итоне, так и позже…» Да-да, наш «циркуль» не только мерил пространство ходулями, но и как бы выводил вокруг себя графически правильные, но невидимые круги отчужденности, «баррикады», оберегающие неприкосновенность души.

Редкими друзьями по Итону станут вообще-то два-три человека. Конечно, Тим Коннолли. Конечно, Стивен Рансимен, с которым многое будет связано и позже. На третьем году сойдется с Энтони Пауэллом, тогда еще первокурсником, с тем самым сэром Пауэллом, который будет близок ему всю жизнь и который, как помните, будет хоронить Оруэлла. Тогда же познакомится с еще одним будущим сэром, хоть пока и не «узнает» в нем близкого впоследствии друга, – с Ричардом Рисом; тот, напротив, учился в старшем классе. Отметит и Леопольда Майерса, будущего «богатого марксиста», который, как и он, станет писателем и немало сделает для больного Оруэлла. Писателями среди однокашников Оруэлла станут многие. И Тим Коннолли, и Пауэлл, и Гарольд Эктон, и, наконец, Брайан Ховард и Генри Йорк (романист Генри Грин). Оруэлл будет мало связан с большинством из них якобы потому, что они были «не слишком учены». «Но эти элегантные, изысканные, остроумные и привлекательные мальчики, – напишет позже поэт Стивен Спендер, – станут ядром эстетов Оксфорда, которые будут иметь большое влияние в университете с 1926 по 1929 год». Наверняка, пишет Спендер, манеры этих «мальчиков», их стиль жизни повлияли на Оруэлла, но, в отличие от них, от их «дилетантизма», Эрик был усидчивей в учебе и даже в первых пробах пера. Его «нерифмованный ямб», может, и был банален по языку, «но как же он отличался, – заканчивает Спендер, – от богатых экзотикой стихов Гарольда Эктона, да и от прозы Сирила Коннолли…»

Эрик считал себя уже, а иногда и представлялся (думаю, дурашливо) «известным писателем». Но если всерьез – именно литература и спасала его на том самом… «канате». Он без конца скрипел пером и табуреткой под задницей в своей каморке, заполняя бесконечные тетради набросками, рассказами, даже драмами. Писал стихи, то, что назовет потом «пустым графоманством», и там же пробовал писать «натуралистические романы» с несчастливым концом. Ничего из этого, кстати, не сохранится. А кроме того, вместе с Роджером Майнорсом и Деннисом Кинг-Фарлоу затеет издание школьного журнала и выпустит несколько номеров. Журнал «Время выбора» был

рукописный, и подростки – так, во всяком случае, пишут – даже зарабатывали какую-то сумму, «давая читать его за один пенни». А когда позже у Денниса не на шутку взыграет «корыстный интерес» и он договорится с двумя местными фирмами о предоставлении небольшой суммы денег в обмен на рекламу, то на свет появится уже типографский журнал «Школьные дни». Успеют выпустить только два номера, и в каждом Оруэлл печатал стихи, очерки, а в последнем даже разразился одноактной драмой «Свободная воля».

Впрочем, больше всего меня поразила в итонском бытии Оруэлла «неузнанная», как я ее называю, встреча двух великих будущих «антиутопистов». Невероятно ведь, но французский Оруэллу преподавал в Итоне сам Олдос Хаксли. Ныне в истории литературы их имена стоят почти рядом, хотя при «встрече» ни тот, ни другой внимания друг на друга не обратили. Многие искали потом хоть какую-то связь Хаксли и Оруэлла в Итоне, но, кроме неблестящих оценок Эрика, не нашли ничего. Стивен Рансимен обмолвится позже, что Хаксли, имея «лингвистическое чутье», занимался с ними «по-особому, рассказывал о редких выражениях и учил специальным мнемоническим приемам… Но педагогом был неважным, – скажет, – не мог поддерживать дисциплину и вообще вел себя ужасно неровно…»

Хаксли, кстати, было немногим больше двадцати – он был старше Оруэлла на десять лет. Разумеется, Оруэлл не знал, что Хаксли был родовит, происходил из семьи, давшей миру многих знаменитых естествоиспытателей, писателей, художников. Дедом его был, к примеру, крупнейший биолог Томас Хаксли. Не знал, что Хаксли тоже грезил писательством и буквально «не вылезал» из Блумсбери, «литературного уголка Лондона», из «салонов высоколобых», от леди Оттолайн Моррелл или Вирджинии Вулф.

Поразительно все-таки устроен «всеобщий литературный мир»! Ведь именно в 1917 году, когда Хаксли только начал натаскивать Оруэлла во французском, русский художник и поэт Борис Анреп, еще недавно расставшийся после короткого романа в России с Анной Ахматовой и также не вылезавший из тех же богемных салонов, ввел в круг британских «избранных» прибывшего в Англию поэта Николая Гумилева, мужа Ахматовой, – тот, уже дважды кавалер Георгиевских крестов, рвался воевать в русском экспедиционном корпусе на Салоникском фронте и на какое-то время оказался в Лондоне. Анреп же еще в Париже встречался с леди Оттолайн Моррелл, сестрой герцога Портлендского и – тогда – любовницей Бертрана Рассела. Именно она и познакомила Анрепа со своими друзьями-писателями: блумсберийцами Дезмондом Маккарти, Клайвом

Беллом, но главное – с Вирджинией Вулф, которая тогда была еще Вирджинией Стивен. Так вот, Анреп, поселив Гумилева у писателя-англичанина Бехгофера, в две недели перезнакомил его с Честертоном, Йейтсом, Гарднером, Д.Х.Лоуренсом и… с молодым Хаксли. Ну не фантастика ли? Как же близко, в двух шагах друг от друга пролетают вдруг в этом мире литературные «кометы»! Оруэлл, Хаксли, Честертон и – неожиданно – Гумилев. И кто знает, может, Хаксли и рассказал своим ученикам в Итоне о странном русском поэте, который, как и Оруэлл, сначала «делал жизнь», и лишь потом – писал о ней. В любом случае, наш герой был, как сказали бы ныне, в «одном рукопожатии» от Гумилева. А Честертон, уже знаменитый тогда, которого (по глухим, правда, слухам) юный Оруэлл мог видеть на каникулах у своей тетки Нелли Лимузин, после одного из приемов в салонах блумсберийцев сказал о Гумилеве: «В его речах было качество, присущее его нации, – качество, которое, попросту говоря, состоит в том, что русские обладают всеми возможными человеческими талантами, кроме здравого смысла… Было в нем и нечто такое, без чего нельзя стать большевиком… Он не коммунист, но утопист, причем утопия его намного безумнее любого коммунизма. Его предложение состояло в том, что только поэтов следует допускать к управлению миром. Он… уверен, – заканчивал Честертон, – что, если политикой будут заниматься поэты или по крайней мере писатели, они никогда не допустят ошибок и всегда смогут найти между собой общий язык…»

Оруэлл реально будет пытаться, хоть и пером своим, «управлять миром». Но показательно, что и он, и Хаксли, и даже Гумилев окажутся и прямо, и косвенно, но – «утопистами». Впрочем, Гумилев после этих встреч, купив на занятые деньги билет на пароход в Россию, торопясь, как мы знаем, на погибель, скажет позже: «Я беседовал со множеством знаменитостей, в том числе с Честертоном. Все это безумно интересно, но по сравнению с нашим дореволюционным Петербургом – все-таки провинция!..»

Да, встреча «комет» так и осталась неосуществленной. Но Оруэлл потом не только упомянет антиутопию Хаксли «О дивный новый мир» в романе «Да здравствует фикус!», но и в качестве предвестника своей антиутопии «1984» изучит ее вдоль и поперек. А Хаксли, со своей стороны, напишет Оруэллу письмо с откликом на его роман «1984», но случится это в конце октября 1949 года, когда Оруэллу останется жить ровно три месяца.

Наконец, еще одним фактом, поразившим меня в итонском бытии Оруэлла, стала вспыхнувшая страсть его к «Диалогам» Платона. Не сомневаюсь, ему нравились знаменитые слова

философа: «Всеми силами души надо стремиться к истине». Уверен: на всю дальнейшую жизнь его повлияло утверждение Платона, что лишь в заботе о счастье других мы можем найти собственное счастье. Догадываюсь, наконец, что три диалога философа («Государство», «Законы» и «Политика») о государственном устройстве и – шире – о социальном проектировании «идеальной республики», где управляют не поэты, как у Гумилева, а философы, – не могли не оглушить его, будущего утописта. Но удивляет, что в том возрасте не менее притягательна для него стала сама метода «Диалогов». «Я помню, – вспоминал один соученик его, – как нас познакомили с диалогом Платона, в котором Сократ спорит буквально ни о чем с массой людей, бесконечно доказывая, что они неправы, а на самом деле только для того, чтобы заставить их мыслить. Я подумал тогда, что этот человек очень похож на Эрика». А я, признаюсь, и не сомневался: он стал ярым спорщиком и – позже – блестящим полемистом не без прямого влияния отточенной логики и житейской мудрости великого Сократа, учителя Платона. Тоже, казалось бы, чистая литература – но и тот «противовес», который помогал Оруэллу выжить в юности. Я даже подозреваю, что корни «бунтарства», его будущей «ереси» лежат где-то здесь, в попытках научиться самому и научить других – думать.

Вопрос из будущего: *А не были ли вы уже в Итоне своеобразным «социалистом»?*

Ответ из прошлого: *Каждый начитанный подросток в шестнадцать лет – социалист. В этом возрасте крючок под комком приманки не заметить…*

В.: *Вот-вот, хоть и рыбацкое сравнение, но – очень интересно. Социальное неравенство, ненависть к империи и «цилиндрам», наконец, Россия, совершившая как раз в это время «большевистский переворот»… Вы действительно упомянули тогда Ленина как одного из десяти «великих людей» эпохи?*

О.: *Нам было лет по семнадцать… Однажды преподаватель английского устроил нам письменную контрольную, где среди прочего требовалось назвать десять выдающихся современников. Так вот, из шестнадцати юнцов нашего класса пятнадцать включили в свой список Ленина. И это в снобистской дорогой закрытой школе, в 1920 году, когда еще свежи были кошмары русской революции…*

В.: *Чистая ересь…*

О.: *Каждая частная школа имеет кружок критически мыслящей интеллигенции. А в ту пору… бунтарский дух так обуял Англию, что проник даже за ограды закрытых школ. Молодые, включая самых зеленых юнцов, до крайности взъярились на старших; любой хоть как-то шевеливший мозгами вмиг сделался мятежником. Стариканы ошеломленно забили крыльями, закудахтали о «подрывных идеях»… Англия тогда была ближе к революции, чем когда-либо; чуть не всю страну охватило революционное чувство… В сущности, это был молодежный бунт…*

В.: *Вы даже пишете где-то, что было модно слыть «большевиком»?*

О.: *Держаться «большевиком», как это тогда называлось… Пацифизм, интернационализм, гуманизм, феминизм, свободная любовь, развод без сложностей, аборты, атеизм – любые, самые невнятные идеи… принимались с энтузиазмом… Сидевший в нас классовый снобизм никуда не исчез, впереди рисовались варианты жить на дивиденды или занять теплое местечко, но быть «против властей» тоже было естественным.*

В.: *А в чем это выражалось конкретно? Вот это вот «против властей»?*

О.: *Мы насмехались над… христианской верой, даже над обязательным спортом и королевским семейством… То есть в свои семнадцать я был одновременно снобом и ополчившимся на власти бунтарем… И сам себя полагал социалистом. Ни четких представлений о социализме, ни понимания того, что рабочий класс – живые люди, у меня не имелось… А стоит напомнить, что английский трудовой люд тогда был в очень боевом настрое. Шли крупные забастовки, шахтеры виделись исчадием ада, и пожилые леди перед сном заглядывали под кровать: не прячется ли там… Смилли?..*

Смешно!.. Роберт Смилли был тогда лидером профсоюзного движения британских горняков; с его внуком, Бобом Смилли, Оруэлл будет еще сражаться в Испании, где того, двадцатидвухлетнего, по сути, убьют в тюрьме НКВД. Но если обобщать, то Оруэлл уже в последние годы в Итоне не просто читал то, что запрещали с кафедр учителя, но и высказывал неортодоксальные взгляды на англиканскую церковь, британскую чопорность, угар патриотизма, вопиющее неравенство людей и даже на «святое» – на «нерушимое школьное братство». И всё это:

книги, свои впечатления о них и сомнения, опасные мысли, анекдоты и шуточки, а также переполнявшую душу нежность, – как бы «копил» к очередным каникулам, чтобы познакомить с этим «богатством» ее, свой «гиацинт», – Джасинту.

4.

«Он шел по проселку через пятна света и тени, а там, где ветви не смыкались, он словно окунался в золотые потоки солнца… Проселок вывел его на поляну. Под ногами раскинулся такой густой ковер из колокольчиков, что невозможно было не наступить на них… Он опустился на колени и принялся собирать цветы со смутным желанием подарить букет девушке. Он уже набрал большой букет, когда чья-то рука легла ему на плечо…

Девушка стояла перед ним… и улыбалась, будто удивлялась, отчего он медлит. Колокольчики посыпались на землю… В следующую секунду она оказалась в его объятиях. Прекрасное юное тело прижималось к нему, его лицо окунулось в волну темных волос, и – да! невероятно! – она запрокинула голову, и он целовал ее раскрытые алые губы.

– Милый, единственный, любимый, – шептала она.

Он увлек ее вниз, на землю, и она не противилась…

– В игре, которую мы начали, нам не выиграть, – сказал он…

Он почувствовал, как дернулись плечи девушки. Она всегда возражала, когда он говорил что-нибудь в этом роде. Не понимала, что нет на свете такой вещи, как счастье, что с момента, когда ты начал войну… лучше всего считать себя трупом…

– Чушь, чушь!.. Разве тебе не нравится быть живым?..

Она повернулась и прижалась к нему. Он чувствовал ее груди, зрелые и упругие…

– Да, это мне нравится, – сказал он.

– А раз так, прекрати разговоры о смерти…»

Так Оруэлл опишет в романе «1984» первое свидание героя книги Уинстона Смита и Джулии. Чувствительная сцена, не более того. Но дело в том, что, кроме Оруэлла, в мире был лишь один человек, который мог бы узнать в этом эпизоде буквально всё. Джасинта – его девочка «с бантом». Она узнала даже слова Эрика о невозможности счастья, даже колокольчики. «Мы никогда не собирали их, а только ложились посреди них и наслаждались их тяжелым резким ароматом», – напишет в воспоминаниях.

Он «сходил от нее с ума», а она ничего такого «не чувствовала». «Он был великолепным товарищем и очень

нравился мне – как литературный наставник, философ и друг, – пишет она. – Но у меня не было к нему никаких романтических чувств». Позже в одном из интервью призна́ется: «Я думаю, он был очень расположен ко мне, но только в романтическом и идеалистическом духе… Я не думаю, что у него была мысль или даже желание предпринимать что-то на этот счет…»

Ну-ну, не было «желания»… Ох уж эта природная хитрость, эта изворотливость иных женщин, которые скрывают до последнего даже то, что скрыть уже невозможно! Она до конца, до смерти не скажет полной правды об этой «лав стори». И лишь в 2006 году – это-то и невероятно! – правда о крахе его «юношеского романа» выплывет. Ее откроет нам сестра Джасинты Дженнивер и их кузина Дайона Венаблз.

Впервые они поцеловались после четырех лет знакомства. Джасинта в книге о нем, храня «благопристойность», не упомянет этого. Такими были общие «нравы» тогда, и девицы, как кто-то остроумно заметил, стыдились оголять даже чашечки коленные, хотя ныне «демонстрируют весь сервиз». Лишь на пороге собственной кончины (а проживет Джасинта долго) призна́ется, расскажет Дайоне Венаблз, когда они поцеловались впервые. «Казалось, нас окружало золотое сияние, / Это было необычно… / Никогда не забыть те янтарные мгновения…» – напишет в стихах.

Поэтессой – во всяком случае, сколь-нибудь заметной – она не станет. Но стихи сопровождали обоих все восемь лет. В пятнадцать Эрик написал в стихах: «Наши умы сочетались браком», а три года спустя признался в рифму: «Мое сердце принадлежит тебе, дружеский ум». Стихи прозрачно говорили о нараставших сложностях в их отношениях.

> Дружба и любовь слишком сплетены,
> Мое сердце, увы, встречает лишь твою дружбу:
> Так остывают из-за облачных теней солнечные поля.
> И почти так моя любовь не пробивает твое беспечное сердце…

Смысл один: он ощущает – его чувства безответны. Джасинта ответила:

> Тот свет в глазах,
> Что слишком ярок,
> Он явно выдает тебя.
> Не лучше ли остыть,
> Ведь содержание всего —
> как раз в тени покоя…

Осадила парня! Кстати, в оригинале эти строки звучат и ярче, и образней, и даже хлеще:

By light
Too bright
Are dazzled eyes betrayed:
It's best
To rest
Content in tranquil shade.

Она могла бы и прямо сказать ему, что не испытывает к нему ничего такого. Но вместо этого, взрослея, всё больше и чаще вела себя с ним, как сказали бы ныне, на грани фола. Играла, увертываясь от обещаний, от разговоров о замужестве, о будущем. И писала при этом уже просто провокативные стихи с туманным эротическим подтекстом. В одном изображала себя его «любовницей-вампиром», а еще в одном как бы видела их обоих возрожденными к какой-то «новой жизни»: Эрика – как Сарасате, цыганского скрипача-виртуоза, а себя – как скрипку его. Он же, не теряя надежды, что они поженятся, «выдал» сонет, в котором сравнил себя и Джасинту с Джульеттой и Ромео.

Всё это можно прочесть в книге Джасинты. Но вот особенность: в «мемуаре» ее всё до стерильности «морально», хотя ей, когда они уже вовсю целовались, было двадцать лет, а Оруэллу – восемнадцать. И каково же было удивление биографов писателя, когда после смерти Джасинты кузина ее Дайона прокомментировала всё рассказанное сестрой. Оказалось, что «добрачный секс» Джасинта, добропорядочная девушка, считала недопустимым, но, как призналась Дайоне, «некие интимные отношения, но не полное сношение» (так она назвала это) между ними были. Было то, что молодежь называет ныне «жестким петтингом». «Бывали моменты, – пишут в книге об Оруэлле мои более отважные на выводы коллеги Ю.Фельштинский и Г.Чернявский, – когда пара вплотную подходила к физической близости, но Джасинта… в последний момент останавливала Эрика, который, будучи в этом плане таким же неопытным, как и его возлюбленная, послушно… прекращал свои "посягательства", ограничивая себя тем, что прикасался к сокровенным местам тела девушки…»

Ну, дорогой читатель, куда уж дальше! Как тут не вспомнить семилетнего Эрика и дочь водопроводчика, изучавших «устройство» друг друга? Но ведь теперь заключали друг друга в

объятия почти двухметровый восемнадцатилетний лоб и перезревшая девица, которая, как кошка с мышкой, играла на его «чувствах», напропалую кокетничая и распаляя его. И кто здесь, извините, «скрипка», а кто «скрипач»?! И кто больше виноват в той «катастрофе», которая случится? Ведь что, в сущности, знал тогда Оруэлл о чувственной, «плотской» любви, кроме школьных шуточек, сальных анекдотов и сцен подглядывания за животными? Он сам пишет, что этот «предмет» (имея в виду секс) вызывал у него нечто вроде «тошноты» и что до шестнадцати он все еще верил, что дети рождаются через пупок.

Надо ли вообще писать об этом? Мне кажется, обязательно. Ибо минутное событие, случившееся в начале сентября 1922 года в Рикмансуорте, где Блэры и Баддикомы сняли на лето один дом, событие, о котором умолчала в мемуарах Джасинта и не обмолвился ни разу сам Оруэлл, имело, увы, последствия. Да, одна всего минута, и – потерян друг на всю жизнь. Минута – и к черту полетела карьера. Минута – и, как пишут, вместо пяти лет в Оксфорде – пять лет в Бирме. Наконец, минута – и (ужасную, невозможную вещь скажу!) сама любовь его (возвышенная или низкая, но – настоящая) на глазах превратилась в «выгребную яму». Чистое – в грязное…

Что же все-таки случилось на обычной загородной прогулке? Почему это называют «катастрофой»? «Стыдливая» Джасинта об этом, представьте, не рассказала даже Дайоне Венаблз, когда комментировала свои воспоминания. Просто та и сестра Джасинты – Дженнивер, разбирая оставшиеся после кончины Джасинты бумаги, обнаружили черновик письма, которое Джасинта написала Эрику в тот день. Дженнивер, как пишет Дайона, это письмо тут же уничтожила – «из отвращения». И всё, что мы знаем сегодня о якобы «преступлении» Оруэлла, мы знаем со слов Дайоны. В письме Джасинта «делала нагоняй» Эрику за «нападение на нее». По ее словам, Эрик «сделал всё, чтобы снять с нее панталоны и войти в нее…» Порвал при этом юбку, «повредил ей бедро и плечо». Только когда Джасинта, криком крича, потребовала его остановиться, он сделал это – «но неохотно»…

Повторю, само письмо, равно как и уничтоженный «из отвращения» черновик его, не видел никто. Но, как пишет ныне Гордон Боукер, существует еще одно письмо – письмо Джасинты своему двоюродному брату, «которое точно подтверждает, что перед отъездом в Бирму… он (Оруэлл. – *В.Н.*) пытался изнасиловать Джасинту на загородной прогулке. Особенности сельского соблазнения, – пишет Боукер, – описаны в нескольких романах Оруэлла и обычно трактуются как идиллические и романтические, вроде того как это происходит в романе “1984”.

Но история с “изнасилованием” Джасинты, – заключает биограф, – показывает, что любовная техника Оруэлла заключалась в том, что он внезапно “набрасывался” на предмет, считая, что так и надо подходить к женщине…»

Верю ли я этому? В некую грубоватость возможной сцены – верю. Да и откуда, скажите, мог он во времена «викторианского и эдвардианского лицемерия и подавления секса» поднабраться «любовной техники»? Воспитанный в пуританском духе, убежденный с детства, со слов матери, что все мужчины – «вонючие животные», не имевший «откровенной связи» с отцом, который мог бы «просветить» его в этом вопросе, наконец, годами «из-за вечных зубрежек» не видевший девушек, – мог ли он поступить иначе, распаленный страстью и, главное, поцелуями?.. Словом, споры об этом идут до сих пор. Именно из-за этого уже в наше время, в 2011-м, и появится та статья Г.Боукера, которая, касаясь и этой «минуты», призовет даже к «новой биографии Оруэлла».

Тот вечер станет причиной ссоры многолетних подруг – матерей Эрика и Джасинты. Обе еще вчера были за то, чтобы Эрик после Итона поступал в Оксфорд, а не отправлялся в Бирму служить британской короне, на чем настаивал отец Оруэлла. И вот…

«Во время летнего отдыха в Рикмансуорте между моей матерью и миссис Блэр, – пишет Джасинта, – шли бесконечные беседы; они были едины, сожалея об упрямом отношении старого м-ра Блэра к будущему Эрика. Моя мать очень любила Эрика и гораздо лучше понимала его стремление быть писателем, чем его отец. Поэтому, когда миссис Блэр приняла сторону Эрика в отчаянной последней попытке получить последний шанс поступать в Оксфорд, моя мать поддержала ее, вступив в энергичную переписку со старым м-ром Блэром… В то лето Эрик много говорил со мной на эту тему… у него были способности и он, – уверена Джасинта, – мог собрать всю необходимую силу воли для этого». А кроме того, миссис Баддиком говорила, что «каких бы жертв это ни потребовало», она уже решила, что ее Просперу возможность поступать в Оксфорд будет дана. Проспер, брат Джасинты, и поступит в университет. А Эрик считал несправедливым, «что бездумный Проспер будет послан в Оксфорд за полную плату», тогда как ему, который мог бы добиться почти верной, на его взгляд, стипендии, «это было запрещено». Короче, пишет Джасинта, колониальная служба «была последним делом, которым хотел бы заняться Эрик, да вот трамвайные рельсы для этого были уже проложены…»

Что здесь истина, что нет – сказать трудно. Сам Оруэлл, еще

до катастрофы на колокольчиковой поляне, еще в Итоне, колебался: поступать ли ему в университет, или отправиться в Индию, как советовал отец? Был и вариант «теплого местечка» в самой метрополии, в Англии. Так почему все-таки Индия? Да, семья, да, традиции, небольшие успехи в учебе, наконец, страх потерять Джасинту – всё это, несомненно, имело место, но как побочные факторы. Главным же, думается, стало уже выработанное подсознательное презрение к заурядности и пошлости человеческого существания, к тому, что на всех языках мира называется «жить как все…». Он иначе видел себя – он предпочитал жить «наперекор… порядку вещей».

Вспомните, например, как размышляет о будущем после школьных лет главный герой романа Оруэлла «Да здравствует фикус!», молодой поэт Гордон Комсток, рано понявший, что главное «мировое зло» заключено именно в деньгах, – и сознательно отказавшийся от них. «Гордон, конечно, боялся пойти работать, – пишет Оруэлл. – Какой мальчик не оробел бы? Господи, строчить бумажки в какой-нибудь дыре! Дядюшки, тетушки уже вздыхали, обсуждая, как его *устроить,* и беспрестанно поминая “хорошие места”. Ах, молодой Смит получил такое *хорошее место* в банке! Ах, молодой Джонс получил такое *хорошее место* в страховом бюро!.. Словно им мечталось всех молодых англичан заколотить в гробы “хороших мест”…»

Похоже, нечто подобное происходило и в семье Блэров. А двадцатилетний Эрик за всем этим видел скучную и бездарную жизнь. «Корпеть, “гореть на работе”, грезить о повышении, продать душу за домик с фикусом! Стать “достойным маленьким человеком”, мелким подлипалой при галстуке и шляпе: в шесть пятнадцать – домой, к ужину – пирог с повидлом, полчасика симфонической музыки у радиоприемника, и перед сном – капельку законных плотских утех, если женушка “в настроении”, – судьба! Нет, – возмущается Гордон, – не для человека эта участь. Прочь отсюда! Прочь от денежной помойки! – воодушевлял он себя перед боем, лелея в душе тайный единоличный заговор». А когда герою романа найдут наконец «хорошее место» – счетовода в фирме кровельных красок, – он «вдруг взбрыкнул и, к ужасу родни, наотрез отказался даже сходить представиться…».

В романе «Да здравствует фикус!» Оруэлл словно высвечивал свою юность. В семье Гордона «отказ от шанса на “хорошее место” ошеломил богохульством». Ему, поэту, хотелось бы *писать*. «“Писать”? Но как же жить, чем зарабатывать?..» Разве из этих романных строк не следует, что, прежде чем стать «непонятым»

миром, Оруэлл стал «непонятым» в семье, среди знакомых, друзей по колледжу? Это же бунт, бунт против общества, богатства, семьи! Разве не это легло в основу его «бирманского выбора»?..

Разумеется, всё здесь зыбко. Точно известно – многие твердят! – что поступление Эрика в Оксфорд было в большей степени желанием Джасинты, а сам Оруэлл «почти определенно, а в более поздние годы совершенно определенно вовсе не считал так». И, конечно, известно, что «сентябрьское происшествие» расклад всех заинтересованных сил – за и против университета – изменило существенно.

Ныне кое-кто из биографов Оруэлла если и не отбрасывает слова Джасинты о желании Оруэлла поступать в Оксфорд, то сомневается в главном – в успехе этого предприятия из-за объективно слабых результатов в Итоне (Оруэлл закончил колледж 138-м среди 167 выпускников), что не позволило бы ему получить стипендию университета (без нее у семьи просто не нашлось бы денег)[11]. Из-за отсутствия каких-либо других свидетельств о таком его желании – и из-за его презрения к выпускникам этих престижных университетов, которое он не раз выскажет в будущем. И все размышлявшие об этом тогда и сейчас как бы забывают или не принимают в расчет нечто более существенное – тот факт, что после потери Джасинты Оксфорд как таковой уже мало что значил для него. Отторгнутый любимой, покинутый матерями-союзницами, он, по сути, оказался в положении, когда у него исчез внутренний побудительный мотив бороться за свою мечту. Он выбрал Индию, службу в далекой стране как изгнание. «Аристократ в изгнании» – так называл себя среди не понимавших его однокашников. Уже не просто бунтующий Кролик – одинокий волк.

Они помирятся с Джасинтой перед самой Индией, будут даже переписываться. Но в 1949 году, за год до смерти, Оруэлл напишет ей, вновь появившейся в его жизни, что она «покинула его в Бирме безо всякой надежды». Тридцать почти лет прошло, а он ничего не забыл! «Это, – пишет Уильям Хант, – позволяет предположить: Эрик покидал Англию, чувствуя себя как пропащая душа…»

Хант, в отличие от прочих утверждений, в статье «Почему Джордж Оруэлл уехал в Бирму» пишет об этой коллизии более чем определенно. «Лучшей ставкой Эрика, дабы завоевать Джасинту (что он, несомненно, знал), было интеллектуально “просиять” в Оксфорде и украсить ее людскую репутацию, став первым или вторым в выпуске». Да, Оруэлл сделал ей предложение перед Бирмой, хотя и не рассчитывал, что она

поедет вместе с ним. «Джасинта, – пишет У.Хант, – была не того сорта девушка, которую везут в Рангун… Ее собственная мечта об Оксфорде не состоялась: ее мать решила, что семья сможет финансировать только Проспера. Но Джасинта все же надеялась, что сможет погрузиться в социальную среду Оксфорда с помощью достойного помощника из его окружения». Да, наконец, утверждает Хант, Оруэлл не терял надежды, что Джасинта выйдет замуж за него, когда он вернется из Бирмы, и потому не хотел задерживаться там или «делать карьеру в бирманской полиции». Однако, увы, она отвергнет и это предложение.

А дальше Хант пишет о том, о чем сам Оруэлл так никогда и не узнает. О «катастрофе» самой Джасинты. Она, представьте, все-таки «перейдет на орбиту друзей своего брата из Оксфорда», и один из них не только, пардон, лишит ее девственности, «дефлорирует ее», как пишет Хант, но и «сделает ей ребенка». Более того, когда ее «положение» станет очевидным, тот «сбежит за границу вместе с любовником-гомосексуалистом». «Аховая» ситуация, но, как ни странно, типичная для иных «донельзя благовоспитанных девиц». Вот эту «правду», правду про «любовника-проходимца» она и не хотела открывать Оруэллу при жизни, а биографам его – и после смерти писателя.

Оруэлл Джасинту не забыл и, вернувшись из Бирмы через пять лет, первым делом отправился в Тиклетон, в дом Баддикомов. «Там он застал Проспера и Дженнивер вместе с их тетей Лилиан – но не Джасинту». Более того, он «не услышал никакого оправдания ее отсутствию. Когда же стало ясно, что она не появится, Эрик, – пишет Хант, – стал угрюмым и отстраненным. Тетя Лилиан написала потом Джасинте, что Эрик “был уже не тот, что прежде” и что она “не думает, что он бы сильно понравился ей теперь”».

Джасинта, как мы знаем уже, не появилась перед ним не потому, что всё еще сердилась на него. Просто за два месяца до этого она не только родила незаконную дочь, но в приступе «своей вины» отдала ребенка своей тете «на предмет удочерения» – «ни на что другое у нее не хватило духа». А Оруэлл тогда же напишет ей жалкое письмо, в котором призна́ется, что «не может выбросить ее из своей души». Письмо передаст через Проспера. А когда Джасинта не ответит и на него, «уедет в Корнуолл на отдых с родителями, объявив всем, что впредь не желает слышать имя Баддикомов…».

Я опять, извините, забежал вперед. А тогда, в 1922-м, собираясь в Индию, Эрик единственный раз смог собрать своих друзей по Итону у себя. В архиве Оруэлла в Лондоне и ныне хранится карточка меню из городской кафешки в Саутволде, в

Эссексе, местечке на берегу моря, куда к тому времени родители его перебрались на постоянное место жительства. Итонское руководство в том июне позволило своему выпускнику отпраздновать 19-летие в «публичном месте» – в местном кафе. Приглашены были семь соучеников его, и каждый потом поставил свою подпись на довольно скромном меню (напитки в нем даже не упоминались), которое и было поднесено виновнику торжества. К тому дню все мосты были сожжены, Оруэлл сделал свой выбор и не просто закончил уже полугодовые курсы подготовки к службе в Индии, но и сдал экзамены кандидата на должность колониального полицейского.

О, нетрудно представить, как «изысканная компания» лощеных итонцев острила и изгалялась в кафе над этими «экзаменами». «Ты сдавал математику? – кричали за столом друзья. – И историю, и французский? А что за вопросы были?» И Эрик, видимо, смеясь, отвечал (это известно): «Ну-ка, кто являлся величайшим премьер-министром Великобритании после Питта?.. А что, например, произошло бы, если бы Нельсон проиграл битву при Трафальгаре?..» Все за столом, предполагаю, просто давились от хохота. На экзаменах, чтобы стать всего лишь полицейским, надо было показать и политическую грамотность – письменно назвать и описать трех членов правительства, и охарактеризовать (по выбору) отставного полковника или старого фермера, и сочинить якобы родственникам письмо. А кроме того, надо было пройти экзамены-тесты по физподготовке, стрельбе, ориентации на местности и даже по верховой езде. Последний Эрик завалил – «завалился с лошади», возможно, острили мальчишки. Ну и что, его все равно приняли, пусть и с задолженностью по «конному тесту». И он (ха-ха, хи-хи!) стал седьмым при курсовом выпуске. Отлично, Эрик! Недурной результат!..

Всё в тот день было предопределено. И смех, и слезы. Не знаю, был ли в кафе Стивен Уэдхемс, но в воспоминаниях он напишет, что Оруэлл и в Итоне так много говорил о Востоке, что у сверстников сложилось впечатление: он явно «стремился туда». Не знаю, декламировал ли кто-либо из начитанной компании любимого Киплинга, тот стих, который, думаю, всем был известен:

Несите бремя белых, —
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридевять морей;
На службу к покоренным
Угрюмым племенам,

На службу к полудетям,
А может быть – чертям[12].

Наконец, не знаю, сочувствовали ли Эрику, ведь контракт в Индию – невероятно! – заключался, как правило, на четверть века, а отпуск полагался лишь раз в пять лет. А может, поражались жалованью в 400 фунтов, которое будет положено полицейскому, – столько отец Эрика стал получать лишь к концу службы. Но, зная «избирательную скрытность» Оруэлла, он даже друзьям вряд ли признался в мотивах своего выбора Индии, которые выскажет потом его будущий приятель Ричард Рис. Рис, отмечая противоречивость характера Оруэлла, сформулирует четыре контрастирующие черты его. Оруэлл, по его словам, был, во-первых, «*мятежником*» («жизнь несправедлива и трагична, невинные люди страдают, праведников угнетают»), во-вторых, «*человеком, сочувствующим властям* (пока они проявляют “мягкость и заботу”)», в-третьих, «*рационалистом,* наследником просветительства XVIII века, “разоблачителем ложного идеализма и одухотворенности”», и, наконец, в-четвертых, «*романтиком*, поклонником прошлого (“причудливых, в диккенсовском духе, улочек и домов, мирных речушек… старомодных добродетелей и людей”)…».

«Эти четыре разнородные черты, – пишет Рис, – образовали хорошо уравновешенный и гармоничный характер, обладатель которого мог бы, несмотря на свойственный ему философский пессимизм, оказаться счастливым, если бы не эпоха, в которую жил». А кроме того, Рис высказал еще одну причину решительного выбора Оруэллом именно Индии – попытку избежать судьбы. Ссылаясь на самого Оруэлла, он напишет, что от 17 до 24 лет тот «пытался уйти от мысли стать писателем, но при этом сознавал, что совершает насилие над своей натурой и что рано или поздно ему придется бросить всё и взяться за перо».

…27 октября 1922 года, через четыре месяца после вечеринки в кафе, от ливерпульской пристани отвалил пароход *Hertfordshire*, на корме которого стоял и смотрел на ускользающую родину высокий лохматый девятнадцатилетний парень. Корабль взял курс на Рангун. Зачисленным в полицию разрешалось тогда выбирать место службы из трех предпочтительных районов. Оруэлл выбрал Бирму. Прощай, детство с корабликами, нарисованными в письмах к матери, прощай, юность! Начиналась взрослая и самостоятельная жизнь. И, возможно, стоя на палубе, вдыхая полной грудью воздух странствий, ветер свободы, он шептал про себя те последние строки Киплинга, которые

отражали и его грядущее:

На службу к покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть – чертям…

Глава 3.
«Нечистая совесть»

1.

«Помните, ребята! – мерил шаг перед строем новичков ветеран колониальных войск. – Всегда помните: мы народ сахибов, а они – мразь!» «Они» – это все, кто не британец, кто не мог похвастать белой кожей и красной от палящего солнца шеей. Через годы, вернувшись на родину, Оруэлл, выведя на бумаге эти охрипшие от виски слова, добавит: «Всё, что было против этого наказа, воспринималось тогда как “большевизм”».

В Индию он плыл, как и полагалось «службистам», в первом классе. Комфорт, обслуга, отличный ресторан и тонкие напитки «на выбор», которые подавали на подносах прямо на палубу, – всем этим он наслаждался впервые. В Порт-Саиде, по совету опытных колонистов, купил себе топи – пробковый шлем, который, как уверяли, надо носить постоянно. У европейцев слабые черепа, пугали его. «Снимешь топи хотя бы на миг – и умрешь». Топи, кстати, был настолько прочен, что его хватало на всю многолетнюю службу, и, окончив ее, шлем, согласно обычаю, торжественно выбрасывали в океан.

Но куда выбросишь воспоминания? Ведь он, нахлобучив топи, подхватив очередной бокал вина, уже тогда, на корабле, невольно подмечал то, что, кажется, не видели другие. Например, что не только обслуга из индийцев, но и матросы явно недоедали. Видел, как моряк тайком подобрал за кем-то остатки пудинга. А на Цейлоне, где шла разгрузка парохода, был поражен, как один из кули, бегом таскавший по сходням огромные мешки, вдруг, пошатнувшись, остановился – и надсмотрщик, сержант полиции, так поддал несчастному, что тот, потеряв сознание, был сброшен на берег. «Они были белыми, а он черным… Он был недочеловек… животное». Через двадцать лет напишет: «Это дало мне больше, чем… с полдюжины социалистических брошюр…»

В Рангуне, столице Бирмы, едва ли не с трапа явился к генеральному инспектору полиции. Песней прозвучал для него приказ отправляться в Мандалай: ведь о Мандалае писал Киплинг! Всё было ново, от всего рябило в глазах. Толпы длинноволосых индусов, всё одеяние которых составляли обернутые вокруг тел полотнища, женщины с корзинами на головах, прозрачные от худобы продавцы воды с кувшинами,

сгорбленные рикши с мелькавшими быстрее спиц белыми пятками, загадочные знахари с сигарами в руках, статуарные монахи, гадалки из караван-сараев, да и сами караван-сараи, где путники разгружали тюки и узлы, а верблюды жадно глотали у колодцев воду. Наконец, соты-лавочки, где продавцы расхваливали чалмы, четки, подковы для волов, платки, лакированные сандалии, бусы из семян и мерцающие в полутьме кинжалы. Поразил и первый вокзал-крепость, где вповалку спали мужчины и женщины, похожие на закутанные в саван трупы, и где поезда без расписаний отправлялись будто в никуда… А газеты? А рангунская «двуязычная ежедневная»? Он, издеваясь, процитирует потом одну из статей, полную льстивых восхвалений белым угнетателям: «В эру счастья, когда нас, жалких темнокожих, озарил свет великой западной культуры, подарившей кино, винтовки, пулеметы (и сифилис, добавит про себя Оруэлл. – *В.Н.*), что может сильнее воодушевить нас, нежели сама жизнь наших белых благодетелей?..»

«Благодетели» жили в Индии как боги. На первых порах это, кажется, понравилось и Оруэллу. В Мандалае, оказавшемся на деле пыльным, невыносимо душным городом, славу которого, по мнению местных остряков, составляли пять «п»: пагоды, паразиты, поросята, пасторы и проститутки, – он прошел еще одни краткие курсы при Высшей школе индийской полиции, где новичков знакомили с местным законодательством, с правами и обязанностями, с начатками бирманского языка, а также с нравами и обычаями страны. Его товарищ по курсам, некий Роджер Бидон, вспоминал, что Оруэлл оказался и тренированным, и схватчивым, особенно к языку. «Мне рассказывали, – вспоминал Бидон, – что ко времени, когда он покинул Бирму, он мог отправиться в любой монастырь и свободно болтать с монахами». Именно благодаря Бидону мы знаем, как выглядел Оруэлл: форма на его тощей и высокой фигуре – френч, галифе цвета хаки, армейские чулки, блестящие черные ботинки – «не сидела на нем правильно», а как бы висела; и «висело» на нем еще (видимо, острил Бидон) «образование Итона», которое делало его «не слишком компанейским». Сам Оруэлл в романе «Дни в Бирме» напишет про себя несколько иначе[13]. Расскажет, как вместе с четырьмя такими же балбесами жадно ударился «в разгул». «Дружно хлестали виски, которое каждый втайне ненавидел, дружно орали, навалясь на фортепиано, дико похабные и глупые куплеты, сообща проматывали сотни рупий на страшенных, вышедших в тираж блудниц вавилонских». Касалось это, конечно, Рангуна, куда мальчишки выбирались при первой же возможности. «О, радости

этих коротких рангунских дней! – пишет Оруэлл. – Набеги на лавки букинистов, обеды в английских ресторанах с бифштексами, с настоящим, проехавшим восемь тысяч миль в морозильном ящике маслом! Великолепие грандиозных попоек! Юное непонимание уже сложившейся судьбы, приготовившей впереди долгие годы кромешно скучного и одинокого гниения…»

«Одинокого гниения» – вот это, пожалуй, и запомним. Нет, он не превратится за пять лет в опившегося ветерана и не покончит с собой, как Джон Флори, главный герой его романа о Бирме, но одиноким и – главное – одиноко возмущенным станет вполне. Он будет служить в разных местах: на какой-то горной станции в Мэймуо, потом – в штаб-квартире помощника начальника района в Мьяунгмье, где «всё зыбилось, дрожало сквозь пелену знойного воздуха» и где будет охотиться, потом – в Сириаме, где отвечал за безопасность на нефтеперерабатывающем заводе, а позже – в Инсейне, где уже в звании суперинтенданта полиции станет помощником начальника в штаб-квартире полиции и будет «присматривать» за местной тюрьмой. И всюду – с еле заметных мелочей до безжалостных казней аборигенов – будет сталкиваться с чудовищным произволом соотечественников, хотя из Лондона и слали без конца приказы как можно меньше вмешиваться в местные дела. Невероятно, но вскользь заметит, что, если бирманцы и источали какой-то запах, от которого будто «покалывало зубы», но который отнюдь не казался ему отвратительным, то ведь и европейцы, по словам китайцев (бирманцы молчали об этом из деликатности), пахли «весьма специфично»; они говорили ему, что «от белого человека всегда и явно несло… трупом».

Скука, сплетни, пьянство, скандалы, брюшной тиф, сердечные приступы от жары, попытки любой ценой «сохранить лицо» перед местной интеллигенцией, лицемерные церковные службы, вечные жалобы и натужное веселье невеселых вечеринок, – вот жизнь, к которой ему предстояло привыкнуть. Искренним он был только в первых письмах к Джасинте. Она напишет потом, что, отправляясь в Индию, он «не понимал, как сильно он будет всё это ненавидеть». Впрочем, переписка их, как было сказано уже, скоро оборвалась. «Это произошло само собой, – скажет Джасинта, – без всякого намерения. Прежде чем я собралась написать, письма куда-то подевались, а я не могла вспомнить адреса…» Лукавая отговорка: адрес был и у родителей Оруэлла, и у его сестер…

Но что сделано, то сделано. Оруэлл служил «имперским жандармом» и старался делать это добросовестно. Майкл Шелден, биограф, не без пафоса начинает рассказ об индийской

эпопее Оруэлла: «Он, – пишет, – стал довольно влиятельной фигурой в стране размером с целый Техас… Он вступил в армейскую структуру, включавшую девяносто тысяч местных офицеров, охраняющих закон и порядок среди тринадцатимиллионного населения… Был занят буквально вопросами жизни и смерти…»

Из развлечений по вечерам – обязательный «европейский клуб», собиравший британцев в любом городе Бирмы, «духовная цитадель верховной власти», как напишет Оруэлл в романе. Но, господи, что это была за «цитадель»! Да, в клубы поступала английская пресса: и *Punch,* и *Dandy,* и *Illustrated London News* (с месячным опозданием), – здесь можно было «промочить горло» настоящим «мюнхенским»… Но: «обшитый досками, пропахший гнилью клуб вмещал всего четыре комнаты, – пишет Оруэлл. – Одну занимала обреченная чахнуть в безлюдье “читальня” с пятью сотнями заплесневевших романов, другую загромождал ветхий и грязноватый бильярдный стол… Имелась еще комната для карточной игры и, наконец, “салон”, с веранды которого открывался вид на реку… Салон представлял собой неуютный зальчик, устланный кокосовыми половиками, обставленный плетеными стульями и украшенный по стенам всякой восточной “китаёзой” и вилками рогов здешних оленей-самбаров. Свисавшее с потолка опахало лениво пошевеливало в жарком воздухе столбы пыли». Ну, и стойка бара, где кто-нибудь в угаре гаркал: «Твердая рука, крепкий кулак!!», «Уступи дюйм – гады тебе ни пяди не оставят!!!» Правда, при появлении любой дамы все, даже в дупель пьяные имперцы, вставали. Джентльмены!..

Он, конечно, вольется в ритм этой новой жизни, «акклиматизируется». «Организм привык к смене тропических сезонов, – напишет в «Днях в Бирме». – С февраля по май солнце пылает гневным божеством, затем – внезапный западный муссон, а затем – бесконечный ливень, когда сырость пропитывает и вещи, и постель… Вечером – три одеяла на кровати и пирог с дичью вместо вечного цыпленка. После ужина посиживаешь на бревне у большого костра, попиваешь пиво, болтаешь об охоте… Хорошо, когда молод и не тревожат думы ни о прошлом, ни о будущем». Один из сослуживцев скажет потом: «Он казался странным… но в перспективе был способен вписаться в наш круг». Если бы не тоска, первый признак грядущего «гниения». «Неужели так будет всегда? – размышлял он. – Вечный сон на мокрой от пота постели под балдахином из москитной сетки, вечная застывшая на белой стене ящерка, будто геральдический дракон, и даже книги на самодельных полках, покрытые от влажного климата вечным сизым налетом плесени». И

отвратительная еда – испеченный на пальмовой закваске резиновый хлеб. И ночи – когда просыпаешься от воя собак, берешь ружье и при луне палишь в бродячего пса во дворе.

Судя по всему, Оруэлл не мог не удивляться на себя. В душе сочувствовал бирманцам, но не без удовольствия пользовался положением господина. У него, как у всех, был целый штат сержантов и рядовых, беспрекословно исполнявших его приказания. В доме его бытом занимались слуги-бирманцы: один распоряжался одеждой и прибирал постель, другой убирал дом, третий готовил пищу. А еще один, из самых приближенных, должен был будить его утрам «безопасным для себя» способом – «пощекотав пятку хозяину». Наш «сахиб» быстро привык, что его одевали и раздевали, скоблили щетину по утрам, несли поклажу, отгоняли мошкару и переносили на закорках через любой ручеек. Один из преданных ему бирманцев даже поставлял ему юных наложниц. И при этом, пишет Оруэлл, он тяготился этим двойственным положением и всё больше убеждался: причина – в самом «воздухе империализма». Он, как и Флори, герой его будущего романа о Бирме, ухватил сущность «родимой матушки Империи… созданной ради грабежа». Его тошнило «от этих тугих спортивных шортиков» на его толстых соотечественниках, «заставлявших вспомнить журнальные снимки веселых и умелых скаутских вожатых, вонючих старых педерастов». И все больше понимал он: не вписаться ему в круг всех этих. «Да и судьба их незавидна, – вздыхал. – Отдать тридцать лет службе на чужбине, чтобы, приобретя скромный доход, больную печень и шишковатую от тростниковых стульев задницу, вернуться в Англию и прилепиться к какому-нибудь захудалому клубу, – явно убыточная сделка…»

Вопрос из будущего: *Вы где-то назвали слуг в Бирме «нянюшками»?*

Ответ из прошлого: *Я ощущал их как нянюшек… Было отсутствие физической брезгливости. Смотрели на них свысока и тем не менее охотно допускали теснейший бытовой контакт; предрассудков на этот счет я не заметил… Я даже ощущал свою ущербность: ведь, если смотреть в лицо фактам, внешними данными азиаты превосходят европейцев… Белый человек от рождения скроен плоховато, а уж как растолстеет, то весь в каких-то немыслимых буграх; у азиата стройная осанка и он до старости ладно сложен… В целом, что ни говори, восточные люди миловиднее…*

В.: *А простите за прямой вопрос: а бить этих*

«миловидных» вам приходилось?

О.: *В минуты гнева учил кулаком (каждый на Востоке хоть изредка позволяет себе такое)… Только позже я всё упростил до идеи: угнетенный всегда прав, а угнетатели всегда не правы…*

В.: *Уж не потому ли вы всех британцев в романе называете «болванами»?..*

О.: *Рядом с армией чиновник или бизнесмен может копошиться вполне благополучно, даже будучи полным болваном. И большинство действительно болваны… Комически бездарный, бесплодный мир, мир, где сама мысль – под цензурой. В Англии даже трудно представить это… Свобода слова немыслима. Все же прочее – пожалуйста: свобода пить беспробудно, трусить, сплетничать, бездельничать, развратничать; запрещено только думать самостоятельно. Любое мнение о самом незначительном предмете диктуется уставом… Бесишься лишь оттого, что… сам ты не свободнее раба в цепях намертво повязавших тебя правил… В итоге таишься, и потайной бунт разъедает, как скрытая болезнь… Начинаешь ненавидеть соотечественников, страстно желать, чтобы аборигены взбунтовались и перерезали белых господ… Тоска!..*

2.

«Два каноэ гнутыми иглами неслись по ленте притока Иравади… Узкие лодки из цельных стволов скользили, едва колебля воду». В первой, в остроклювом сампане с нарисованными на бортах человечьими глазами, сидели Оруэлл и британка – красавица-блондинка в мужского фасона рубашке и панаме.

– Еще долго до деревни? – перебивая шум ветра, крикнула она.

Ответила старуха-туземка, которая, не вынимая толстой сигары изо рта, ловко управляла лодкой:

– На один человеческий крик…

– Полмили! – перевел Оруэлл ее слова на цивильный язык…

Это эпизод из романа «Дни в Бирме». Вообще-то в лодке, если по книге, сидели лесоторговый агент Джон Флори и Элизабет – женщина, в которую он влюбился с первого взгляда. Известно, конечно: человек не равен сам себе. Тем более герой романа. Но из песни слов не выкинешь: подобную любовь пережил в Бирме и

Оруэлл, будущий автор романа об этом «романе». Только англичанку звали не Элизабет Лакерстин, а Элиза Мария Лэнгфорд-Раэ. Он встретил ее в Инсейне, она была женой одного из английских чиновников, но стала Оруэллу человеком, как пишут, довольно близким. Позже, в 1950-м, после смерти Оруэлла, когда никто еще не писал книг о нем, она, Элиза Лэнгфорд-Раэ, напечатала свои короткие воспоминания. Вспомнила, что они без конца вели «длинные разговоры на все мыслимые и немыслимые темы», и что он не раз поражал ее «обостренным чувством справедливости». Скажем, в сцене охоты, когда на узких каноэ они добрались наконец до джунглей, Элизабет из романа не только порадовалась первому подстреленному голубю, но и отметила: спутник ее, настрелявший кучу дичи, тем не менее вдруг сказал: «Преступно губить такую красоту… Сшибая их, я всегда сам себе противен…»

О реальном романе Оруэлла с Элизой Лэнгфорд известно мало. Зато о романе «романного героя» известно сверх всякой меры – это одна из двух главных линий «Дней в Бирме». Прямо связывать «книжную любовь» с жизнью автора вроде бы нельзя, но и опустить невозможно. Уже хотя бы потому, что Джон Флори удивительно напоминает Оруэлла: такой же неудачник, замкнутый волк и одновременно – кролик, чужой всем.

«Постельную», пардон, любовь Оруэлл впервые, кажется, узнал в Бирме. Сначала – продажную в притонах Рангуна, потом – «сладкую», как признался, если не от сотен бирманок, то уж «от десятков наверняка». «В его памяти, – напишет в романе, – пронеслась бесконечная вереница бирманок; господи, сколько их было!.. Но ни глаз, ни имен…» Пишу об этом не осуждения ради (мне ли осуждать его?), а всего лишь руководствуясь принципом великого Светония из его «Двенадцати цезарей»: «Чтобы ничего не пропустить, а не от того, что считаю их истинными или правдоподобными…»

В Бирме, например, ни слова, ни понятия «поцелуй» не существовало, и местные гурии просили его «потрогать их ртом». Не считалось «идеалом красоты» и наличие сколь-нибудь заметной груди. Но про первую девушку, подарившую ему любовь, он восторженно напишет в стихах и скажет: она открыла ему «дверцу в рай». Это стихотворение существует в четырех переводах[14], но мне нравится только один – У.Лайта:

Когда неопытным юнцом
Попал я в Мандалай,
Туземка с солнечным лицом
Открыла дверцу в рай.

Власа как смоль, фарфор зубов,
Плеч золотистый цвет.
«О, дева! За ночь лишь готов
Я двадцать дать монет».

Она не прятала печаль
И – ангел во плоти! —
В глаза смотрела, лепеча
О двадцати пяти.

В романе девушек-бирманок, помимо главной любовницы Флори – Ма Хла Мэй, – ему подыскивал его слуга Ко Сла, ровесник Флори, с которым отношения у героя были самые дружеские: «Вместе, как мальчишки, бегали пострелять или поплавать, вдвоем сидели в *мачанах* (засадах на деревьях), поджидая ни разу не появившихся тигров, дружно делили тяготы лесных командировок…» Это тот Ко Сла, кто щекотал ему пятки по утрам. Оруэлл нигде не поминает возраста любовниц, но из контекста понятно: все они были довольно юны. И ему нравилось заниматься с ними любовью. В 1945-м он, это известно, рассказывал своему доброму знакомому еще по Итону, писателю и историку позднего Средневековья Гарольду Эктону, как вообще был приятен секс с бирманками. «Его печальные, честные глаза, – вспоминал тот, – засветились от удовольствия, когда он рассказывал, какие сладкие бирманские девушки». Ю.Фельштинский и Г.Чернявский, правда, пишут, что такого рода «разовые контакты» с девицами лишь усиливали «презрительное отношение его к женскому полу, которое было характерно для Оруэлла с юношеских лет». Не знаю, не знаю, но утверждение о «презрении» как минимум спорно. Да, Элизабет из романа «Дни в Бирме» действительно открыто презирает бирманок. Ее в Индии бесило всё: обычаи, жилища, в которых жили бирманцы, грязные базары, столь умилявшие Флори, даже чай в китайской чайной «из мандариновых лепестков», который она называла «чаем из опилок». А вот про Оруэлла этого, думаю, сказать нельзя. Более того, в одной из статей Г.Боукера говорится, что от какой-то бирманки у него даже родился ребенок. Правда это или нет – неизвестно, но если факт имел место, то где-то в Индии живут ныне, возможно, прямые потомки писателя.

Впрочем, об отсутствии презрения к женщинам и полно, и ярко говорит как раз роман «Дни в Бирме», безответная любовь Флори к Элизабет или, как мы знаем уже, самого писателя к

Элизе Лэнгфорд. Не презрение, а нечто сродни землетрясению!..

Флори познакомился с Элизабет, когда в джунглях, которые начинались сразу за его домом, услышал истошный женский крик. «Рванувшись, он перемахнул через забор и кинулся вдоль изгороди к джунглям. Прямо за домом имелась топкая ложбина, точнее, мелкий пруд, чрезвычайно популярный у буйволов соседней деревушки». На краю пруда он увидел белую как мел девушку и рядом – огромную рогатую голову буйволицы.

– Скорей! Скорей!.. Ну помогите, помогите же!

Флори, бросившись в воду, лишь резко шлепнул ладонью по носу буйволицы, и «громадина послушно повернула и медленно, шумно выкарабкалась на берег…». А девушка упала в его объятия: «Спасибо, спасибо! Эти чудовища хотели убить меня! Кто это?» – «Всего лишь купавшиеся буйволы… Не дикие бизоны, а домашний скот…»

Девушка лет двадцати оказалась довольно стройной, в сиреневом ситцевом платье. Лица он еще не рассмотрел; заметил только круглые, в роговой оправе очки и очень коротко подрезанные волосы. Стриженых женщин Флори прежде не видел. А глаза ее оказались чуть светлее цвета его любимых колокольчиков (привет Джасинте!). Словом, герой романа пригласит ее к себе – и влюбится.

Элизабет приехала в Бирму к родным и благодаря двум курсам дорогой частной школы рано усвоила «ясный, весьма несложный взгляд на мир: хорошо (в ее устах “дивно”) – это роскошь, шик, аристократизм, а плохо (“свински”) – это бедность и добывание грошей пóтом». Потеряв родителей, по приглашению дяди отправилась в Бирму, где было легче найти мужа. В романе она выписана слегка схематично, но с первых же строк ясно: она ненавидела и «умничать», и «умников». Как подсказывал ей инстинкт, «порядочные люди» (те, что охотятся с борзыми, ездят на скачки, плавают на яхтах) не «тешат себя вздором художества и сочинительства и не талдычат с умным видом про гуманизм-социализм…». А Флори, герой Оруэлла, был как раз из «умников».

Ее раздражало в нем всё: и защита туземцев (он всегда брал их сторону), и восхищение обычаями этого народа, и склонность вечно рассуждать о «материях», ей непонятных, – о книгах, искусстве, традициях. Он же не только не замечал всего этого в ней, но, «сорвав» случайный поцелуй (это случилось, когда ему удалось подстрелить леопарда), позвал ее замуж. «Ах, как нужна она ему! – торопился вечером в клуб. – Только с ней, с любимой женой, можно еще спастись!..» Увы, Оруэлл, начинающий писатель, не зная, как докрутить сцену до конца, напишет, что в

решающую минуту, когда девушке оставалось лишь сказать «да», вдруг разразилось, натурально, «страшное землетрясение», повалившее на пол и их, и вообще всех в клубе…

Исследователи жизни Оруэлла об этом не говорят, но я не могу не сказать: все и всегда отношения писателя с женщинами так или иначе напоминали вот это самое нежданно-негаданное «землетрясение». Воспитание в семье, воображение, вечно «пишущее» какую-то внутреннюю повесть про себя, неудавшаяся первая любовь, наигранный цинизм в отношении к женщинам при внутреннем преклонении перед ними, – всё это, на мой взгляд, надолго лишило его не только умения найти верный тон с этими «существами высшего порядка», но и составить себе реальную, без «розовых очков» оценку их. В романе причиной разочарования Элизабет в герое было то, что он забыл простую вещь: «Большинству людей в чужой стране уютно лишь с ощущением презрительного превосходства над жителями». А уж когда Элизабет не без помощи родни узнала, что у Флори есть любовница-бирманка, что он к тому же «социалист» («от него большевичком несет», как припечатал его один из соотечественников), она «поняла, чем бесил ее поклонник, – он “умник” из той же породы, что и все эти Ленины, Куки[15] и монпарнасский сброд с их свинскими стишками. Умник с идейками…».

Такова завязка любовной линии романа Оруэлла. Как было на деле с той же Элизой Лэнгфорд – мы не узнаем уже никогда. Но Оруэлл не был бы Оруэллом, если в романе не появился бы соперник Флори, и, конечно, из «наивысших слоев», сын пэра Англии.

«Это был конный офицер, лет двадцати пяти, худощавый, но очень стройный… Сидя на лошади как влитой, он выглядел лихо и доблестно. В белом высоком топи из оленьей кожи, в сиявших дорогим блеском тугих башмаках, он являл собой эталон элегантности… “Лейтенант Веррэлл, военная полиция”», – небрежно представился он Флори, не покидая отличного седла, отличной лошади. Он из «знатных», узнала родня Элизабет, и сделала всё, чтобы племянница понравилась ему. Недели две Веррэлл в упор не видел Элизабет, пока они с тетушкой сами не подошли к нему и не пожурили за то, что он не появляется в клубе. Тот пообещал, и ради него патефон из клуба вынесли прямо на корт, где весь вечер Элизабет и лейтенант танцевали. Ах, вздыхала девушка, «уже за одни глубочайшие познания о лошадях Веррэлла можно было полюбить навеки… Элизабет, как прежде об охотничьих приключениях Флори, просила Веррэлла рассказывать о лошадях еще, еще!.. Но, разумеется, думала она,

внешность лейтенанта была дороже всяких слов. Это мужественное лицо! Эта осанка! Эта дивная аура армейской элиты, в сиянии которой рисовался прекрасный рыцарский роман из жизни божественных кавалергардов… Какой шик!.. Сближала также общая неприязнь к “умникам”. Веррэлл обмолвился однажды, что с юности не брал в руки книжную тухлятину, “ну, кроме разных анекдотов и все такое”…». А уж когда он подсадил ее на Белинду, свою арабскую кобылку, которую не доверял даже конюхам («Только мундштук не дергайте, она не переносит…»), девушка просто растаяла…

Всё для Флори было кончено. Несчастный герой Оруэлла (а он ради ее «колокольчикового» взгляда даже бриться стал дважды в день) делал к тому же один неловкий шаг за другим. Поводом для встречи с Элизабет должна была стать выделанная наконец шкура леопарда, которого он застрелил при ней, но за работу взялся дилетант, загубивший вещь, – «и трещины с изнанки, и страшная вонь». Тем не менее Флори понес ее в дом Элизабет – и лишь испортил всё вконец. Там же узнал, что теперь она ежедневно ездит с Веррэллом на прогулки, и это окончательно добило его.

– Знаете, он такой изумительный лошадник! У него просто целый *табун* для поло!

– Ах да, у меня, разумеется, нет табунов, – ответил Флори…

Знатный лейтенант из городка уедет – уедет, даже не попрощавшись с Элизабет. А Флори, получив окончательный отказ («Раньше как-то спасался: книги, сад, виски, работа, девки, охота»), придет домой и сначала застрелит любимую собаку свою, сучку Фло, а затем и себя – торопливо, судорожно и неловко… Так заканчивается роман. «Никто, кроме Элизабет, особенно не удивился… Умерших в Бирме англичан быстро забывают… Самоубийства европейцев в дальних индийских краях, – пишет Оруэлл, – дело обычное…»

«Дни в Бирме» опубликуют сначала не в Англии – в Америке. Случится это в 1934-м. В России, в блестящем переводе Веры Домитеевой, он появится только шестьдесят лет спустя, в 2004-м. Но вот что занятно. Малькольм Маггеридж, британец, с которым Оруэлл познакомился в Индии (тот преподавал в одном из колледжей на юге страны, пытался носить индийскую одежду и мучил себя, учась сидеть на земле, скрестив ноги), человек, который позже станет редактором того самого юмористического журнала *Punch*, – напишет в 1962 году, в предисловии к одному из изданий романа «Дни в Бирме», что уже там, в «солнечной стране», он ясно видел не одного – «двух Блэров»: как бы раздвоенного, раздернутого надвое писателя. «В Индии был

оригинал – Эрик Блэр, а Джорджем Оруэллом он стал после». Так вот, Оруэлл, пишет Маггеридж, «старался потом как бы уничтожить Блэра, но не вполне преуспел… Вот эти два образа его и просматриваются четко в романе “Дни в Бирме”…»

Что имел в виду Маггеридж, если «перевести» его слова? Всё, что было в Оруэлле и раньше: комплексы, рефлексии, самобичевание. Эрик, пишет Маггеридж, каялся перед ним, что как-то «ударил туземца», но в то же время «испытывал и определенное удовлетворение от собственной твердости… Он не был тряпкой – “*namby-pamby*”… И если в политических взглядах Оруэлл был горячим антиимпериалистом, то в жизни он все еще лелеял в себе романтические представления о строителях империи, о тех, кто мужественно нес бремя белого человека… и этим он восхищался». Дон Кихот и Санчо Панса, помните, – эта гремучая смесь и дальше будет отличать его.

Но ошеломительно интересно, замечу, другое. Когда исследователи творчества Оруэлла добрались наконец до первых набросков «Дней в Бирме», которые он делал еще в Индии, то не без удивления обнаружили, что фамилия главного героя была отнюдь не Флори, а, вообразите, *Оруэлл*!.. Она, эта фамилия, возникла за годы до того, как писатель взял себе такой псевдоним. И впрямь «два Оруэлла» было уже в Бирме – Маггеридж угадал это!.. А я в который раз убедился: в жизни великих всё не случайно…

Наконец, внимательный читатель, возможно, спросит: а почему роман «Дни в Бирме» был опубликован сначала в Америке, и лишь через год – на родине? Отвечаю: в Англии печатать его побоялись, и, как вы догадываетесь, не из-за «любовной линии». Оруэлл тогда же, в 1934-м, напишет знаменитому уже американцу Генри Миллеру (он познакомится с ним по переписке), что его издатель «боится, будто британское министерство, занимающееся делами Индии, предпримет меры, чтобы не допустить издания». Смельчак найдется лишь в Америке: им станет Юджин Секстон из знаменитой издательской конторы *Harper & Brothers*. В Америке критика даже похвалит роман за «яркую публицистичность», превосходное знание реалий и подробностей, а манеру письма, некую «стереоскопичность» книги сравнит с самим Джойсом. Правда, и там его упрекнут за излишнюю «политику» в романе, за острую «социальность»! Вот чем писатель был опасен обществу уже в первом художественном опыте. Другими словами, «нечистая совесть» Оруэлла с его дремлющими еще в душе «романтическими представлениями о строителях Империи» как бы «очистилась» в романе «Дни в Бирме». А из двух Оруэллов родился один – но во многом уже

неприступный для конъюнктуры.

Вопрос из будущего: *Где-то у вас я встретил выражение «мятежный пессимизм»… Это, мне кажется, уловили британские издатели в вашем романе о Бирме. Ведь многим внушалось, что белые люди Империи несут подконтрольным территориям цивилизацию и культуру: морские порты, железные дороги, защиту лесов, орошение земель, борьбу с чумой и оспой. Да просто Закон с большой буквы…*

Ответ из прошлого: *Чушь!.. Мы учили здешних мальчишек гонять в футбол и хлестать виски… Местные школы фабрикуют дешевых клерков, но действительно нужного ремесла мы не даем – страшимся конкуренции… Где, например, знаменитый индийский муслин? Лет семьдесят назад индийцы строили, снаряжали большие морские суда, а сейчас и рыбачьи лодки делать разучились… Империя – просто способ обеспечить торговую монополию английским… бандам… А я служил в полиции, был активно действующим элементом деспотического режима… Даже европейцы косо посматривали на людей из полиции… Помню, зашел знакомый мне американский миссионер…*

В.: *Да-да, я читал об этом случае….*

О.: *Это был совершеннейший осел, хотя довольно славный малый. Один из моих подчиненных как раз измывался над арестованным… Понаблюдав происходящее, американец повернулся ко мне и задумчиво сказал: «Да-а, не хотелось бы мне служить на вашем месте». Меня прожгло стыдом. Хорошеньким же дельцем я занимаюсь!*

В.: *Отсюда ваши слова про свою «нечистую совесть»; их еще переводят как «больная совесть»? Вы скажете их в другой, правда, книге, но ведь и про Бирму. Ведь так?*

О.: *Это сделало меня человеком с нечистой совестью… Если вы в течение пяти лет делаете нечто, что сами же не одобряете, вы, вероятно, меня поймете…*

В.: *Поздние критики объясняют ваш «поворот к социализму» тем, что, в силу бедного происхождения и службы в карательной полиции, вы просто объективно стали «изгоем». «Высшее общество» не принимало вас, а интеллигенция чувствовала в офицере полиции «оскал бесноватого милитаризма». Отсюда в романе появляются слова «большевизм», «социализм» и даже – неоднократно –*

«Ленин»? Где Бирма и где – Ленин?..

О.: *В Бирме всё было просто: белые – наверху, темнокожие – внизу; и я, понятное дело, сочувствовал темнокожим. Но никакого интереса к социализму, к его экономической теории я еще не испытывал… Отсюда был единственный нравственный ориентир политического поведения… я называл его decency – «порядочность»…*

В.: *Это словечко – подсчитано – в вашей публицистике самое частое.*

О.: *Все мы живем грабежом азиатских кули, и те из нас, кто относится к числу «просвещенных», считают, что этим кули следует предоставить свободу; но для поддержания нашего уровня жизни, а следовательно, и для нашего «просвещения» грабеж необходимо продолжать. Гуманист – это всегда лицемер… Понимаете, наш гнет в Бирме был двойным: мы не только казнили людей, сажали их в кутузку и т.п. – мы это делали, будучи интервентами, оккупантами… Посаженный в тюрьму вор не считал себя уголовником, он себя видел только жертвой чужеземных захватчиков… Однажды мне довелось официально присутствовать на казни – и впечатление было хуже тысячи разбойных убийств…*

В.: *Помню, помню – это, может быть, самый страшный ваш очерк.*

3.

«Рама! Рама! Рама!..» – тот крик бритоголового, визгливая молитва его перед смертью стояли в ушах Оруэлла много лет, да и сам очерк был написан им через четыре года после Индии. Не знаю, часто ли он видел эти «госубийства», но, сдается мне, только стоя у эшафота и можно было понять: человек ты, полчеловека – или просто скотина…

Бывают в жизни каждого столь характерные и роковые «по чувствам» детали, которые почему-то помнишь все оставшиеся годы. Я, скажем, в начале 1970-х, будучи примерно в возрасте «бирманского Оруэлла», был как-то потрясен не столько зверствами американцев во Вьетнаме, где шла война, не уничтоженной деревней Сонгми (504 мирных жителя, в том числе 173 ребенка сожжены напалмом) и даже не тем, что генерал Уэстморленд, как станет известно позже, ходил к президенту США с предложением шарахнуть по Вьетнаму атомной бомбой, –

а тем, что какая-то западная журналистка вдруг помянула в репортаже незначительную, но размазавшую меня деталь: она, помню, как бы призвала посмеяться, что у многих убитых вьетнамских партизан (даже пожилых!) лично видела на запястьях нарисованные химическим карандашом наручные часы. Вот когда я нервами понял: там, в Индокитае, «цивильные дяди» убивали, по сути, взрослых детей. Точно так же, читая Оруэлла о Бирме, я всё понял про его «нервы», когда в его присутствии кто-то, жалея старика-индуса, обмолвился, что *«икры ног его – тоньше запястий европейских рук»*. Но острее видна правда ощущений Оруэлла в очерке «Казнь через повешение». Он внутренне ахнул, когда обреченный на смерть индус, подходя к виселице, чисто машинально, как живой еще, обошел вдруг лужу. Ну, чтоб не замочить ног. «Как ни странно, – пишет Оруэлл, – но до этой минуты я еще до конца не понимал, что значит убить здорового, находящегося в полном сознании человека…»

Вообще-то к жестокости своих сородичей в Бирме Оруэлл если и не привык, то относился почти как к шквалистым муссонам в июне. Он, разумеется, исправно наблюдал за местной полицией, задерживал пьяниц, воришек и хулиганов, самолично готовил документы для предания суду преступников, составлял отчеты о происшествиях, вел занятия, инструктировал, отправляя в ночные рейды, патрули, заказывал снаряжение для подчиненных и разрешал ссоры между местными лидерами. Но, повторяю, понимал, что делает «грязное дело» – *monkey business*. С ужасом писал о порке несчастных бамбуковыми палками и, наверное, опускал глаза, когда кто-нибудь из сослуживцев вдруг любопытствовал: «Видал их после порки? Везут полудохлых на телеге, вой, бабы им задницы кашей банановой мажут». «Жопой его на муравейник, – кричал другой. – Перцу толченого кой-куда, а если молчит, зараза, – пулю в лоб»…

Биографы Оруэлла спорят: преследовало ли его начальство за «независимость взглядов», или все-таки нет? Разумеется, скрыть нетерпимость к колониалистским и даже расистским взглядам, которыми были заражены «цивилизаторы», было невозможно. И Оруэлл, пытаясь сохранить душу, предпочитал общаться с сослуживцами на «нейтральные темы». Ему трудно давалось бездумное приятельство с ними: просидеть с кем-нибудь вечер за стаканом виски (больше одной-двух порций он себе не позволял), протирать вечера в пустой болтовне, тупо играть в карты или слушать бородатые анекдоты. Но что касается преследования «за взгляды», то, как уверяет Майкл Шелден, его вроде бы не было. Не принимать же, усмехается биограф, за «репрессии» шутливые расспросы товарищей, не собирается ли мистер Блэр

«окончательно превратиться в туземца»?.. Но шутки шутками, а по последним данным, спецслужбы все-таки приглядывали за ним в Индии; ныне пишут, что в архивах было найдено «дело», заведенное на Блэра, в котором на фотографии из-за коротких усов он походил на Чарли Чаплина…

А еще биографы спорят, в каком городе случилась та казнь. Одни предполагают, что «действо» произошло в Инсейне, где находилась самая большая тюрьма в Бирме (в ней содержалось до двадцати тысяч бирманцев и ежедневно приводились в действие смертные приговоры). А другие, тот же Шелден, предполагают, что всё это случилось в Моулмейне.

«…Пробило восемь, – пишет Оруэлл. – Начальник тюрьмы… поднял голову…

– Ради Бога, Фрэнсис, поторопитесь, – раздраженно проговорил он. – Заключенный уже давно должен быть мертв…

Старший надзиратель Фрэнсис, толстый дравид в твидовом костюме и золотых очках, замахал смуглой рукой.

– Нет, сэр, нет, – поспешно проговорил он, – у нас ффсё готово. Палач уше шшдет…

Виселица располагалась в маленьком, заросшем высокими колючками дворике, отделенном от основного двора тюрьмы… Палач – седой заключенный, одетый в белую тюремную форму, – стоял в ожидании возле своего механизма. Когда мы вошли, он рабски согнулся в знак приветствия. По сигналу Фрэнсиса стражники еще крепче вцепились в узника, то ли подвели, то ли подтолкнули его к виселице и неловко помогли ему взобраться по лестнице. Затем наверх поднялся палач и накинул веревку на шею…»

Вот тогда и раздался визгливый, монотонный крик осужденного: «Рама! Рама! Рама!..» Оруэлл не объясняет, но кто ж не знает: «Рама» – земное воплощение индуистского бога Вишну, которого, как трактует поэма «Рамаяна», послали на землю «одолеть темные силы»… А «темные силы» во дворике олицетворяли лишь одетый в белое палач и скучавшие вокруг «белые люди»…

«Палач достал маленький мешочек, похожий на те, что используются для муки, и надел его на голову заключенному. Но приглушенный материей звук все равно повторялся: “Рама! Рама!..” Начальник тюрьмы, склонив голову на грудь, медленно ковырял тростью землю… Индусы посерели, как плохой кофе, один или два штыка дрожали. Мы смотрели на стоявшего на помосте связанного человека… и у всех было одно и то же желание: ну убейте же его поскорее, сколько можно тянуть.

Наконец начальник тюрьмы взмахнул тростью. “Чало”, –

выкрикнул он… Раздался лязгающий звук, затем тишина. Осужденный исчез, и только веревка закручивалась как бы сама по себе… Мы обошли виселицу, чтобы осмотреть тело. Раскачивавшийся осужденный – носки оттянуты вниз – был, без сомнения, мертв… “С ним всё в порядке”, – констатировал начальник тюрьмы… Теперь, когда дело было сделано, – пишет Оруэлл, – мы испытывали невероятное облегчение. Хотелось петь, бежать, смеяться. Шагавший подле меня молодой метис с многозначительной улыбкой кивнул в сторону, откуда мы пришли: “А знаете, сэр, наш общий друг (он имел в виду казненного), узнав, что его апелляцию отклонили, помочился в камере прямо на пол. Со страху…”

…Я вдруг обнаружил, – заканчивает Оруэлл, – что довольно громко смеюсь. Хохотали все. Даже начальник тюрьмы ухмылялся. “Пойдем-ка выпьем, – радушно предложил он. – У меня в машине есть бутылочка виски…”» И – последние две фразы очерка: «И бирманцы, и европейцы – все мы по-дружески выпили. От мертвеца нас отделяла сотня ярдов».

Очерк – четыре странички. Кусочек прозы, чья эмоциональная сила, как пишут, заключена «в медленной, но устойчивой аккумуляции деталей». Он был опубликован в августе 1931 года в левом по направлению («умеренно социалистическом») лондонском журнале *Adelphi*, с которым у Оруэлла много чего будет связано. Я, кстати, не удивился, когда узнал, что Оруэлл еще в Индии подписался на этот журнал, но поразился другому: тому, что «радикализм» издания уже тогда показался писателю слабоватым – недостаточно критичным. Оруэлл даже развлекался тем, что прикалывал номера журнала к деревьям и со страстью палил в них из револьверов. И еще поразился, что через четверть с лишним века после смерти Оруэлла Бернард Крик, автор книги «Джордж Оруэлл: жизнь», усомнился в правдивости очерка, даже в том, что писатель «присутствовал на экзекуции». Мало того, что это «просто ужас Гойи», пишет Крик, но ведь Оруэлл нигде не упоминает: за что же повесили этого человека, в чем его вина? Вполне возможно, гадал биограф, что преступление было настолько мерзким, что Оруэлл «убил» бы этим читателей. Или, как подозревал Крик, писатель всего лишь описывал типичное для Бирмы действо, а отнюдь не конкретный случай?..

По большому счету это и не важно. Великие писатели ведь и сами в известной мере палачи в необъятных «тюрьмах» своих книг. И казнят, и милуют своих героев. А что касается очерка Оруэлла, то «сутью, целью этого эссе, – напишет Майкл Шелден, – было передать… правду об ужасающей реальности этого события». «“Казнью”, – подчеркнет в докторской диссертации в

России В.Г.Мосина (Науменко), – Оруэлл вошел в национальную культуру, вопреки мнению Диккенса о том, что об этой теме “почти невозможно сказать или написать что-либо новое”». Сам Оруэлл фактически объяснил всё, когда в 1942-м вдруг буквально набросился на поэта Уистена Одена за два оброненных им в поэме слова: «необходимое убийство». Как будто могут быть такие – «необходимые»! «Я бы не говорил так легко об убитых – я не имею в виду убитых в сражениях, я имею в виду казненных, – запротестовал Оруэлл… – У меня есть некоторая концепция того, что означает убийство – террор, ненависть, горестные родственники, посмертные страдания, кровь, запахи…» Он всё еще слышал крики: «Рама! Рама!..» «Я наблюдал однажды повешенного человека. Это показалось мне хуже, чем тысячи убийств…»

Чем «тысячи, – так и запомним, – убийств»…

«Мне открылось, что, становясь тираном, белый человек наносит смертельный удар по собственной свободе, – напишет Оруэлл еще в одном очерке о Бирме. – Ибо условие его господства состоит в том, чтобы непрерывно производить впечатление на туземцев и своими действиями в любой критической ситуации оправдывать их ожидания…» Другими словами, стать, по сути, рабом ожиданий рабов, их рабских ожиданий. В этом социальном парадоксе, в прозрачной формуле, что, становясь тираном, человек сам превращается в раба собственного тиранства, сошлись невольно все критические мысли писателя об империализме. Он понял, что усиление власти на завоеванных территориях не только несправедливо по отношению к аборигенам, но – унизительно для самих властителей. Что, наконец, свобода человека не зависит от социального положения его. Эта мысль станет характерной для Оруэлла и в будущем, сделает не просто социальным писателем – но философом, со своими неизбывными «кругами ада», по которым ему будет суждено ходить и ходить. Ведь парадоксы его последнего романа («Незнание – это сила», «Свобода – это рабство», «Война – это мир») – они, согласитесь, того же порядка. Вывернутая, вывороченная, дистиллированная, отшлифованная до афоризма острейшая мысль, опрокидывающая обычные представления людей и как бы «заброшенная» писателем к нам, в будущее. Разве не так?..

* * *

Комментарий: Война идей и людей

Вот мысль из Кришнамурти. Цитирую: «Только неправильные вопросы имеют ответы. Правильные вопросы ответов не имеют». «Неправильные» – это вопросы поверхностные. А «правильные», безответные, на деле – самые глубокие. Ну как ответишь, например, в чем смысл жизни? И что такое сама жизнь?..

Не знаю, был ли знаком с этой мыслью суперинтендант Имперской полиции Индии Эрик Артур Блэр, но 14 июля 1927 года, взойдя на палубу британского парохода *Shropshire*, глядя поверх океанских волн на открывавшиеся горизонты, приближающие его к родине, он – прикину – за две с половиной недели пути не мог не подвести некоторых итогов пятилетнего «вторжения» в жизнь чужой страны. Не мог не искать ответов на «неправильные вопросы» и не упираться при этом в вопросы «правильные»…

Он твердо решил стать журналистом, хотя хотел быть писателем. Он пришел к выводу, что его служба была ошибкой. «Он в самом деле ненавидел Бирму, да?» – спросит через много лет после его смерти корреспондент «Би-би-си» Н.Уильямс Кей Икеволл, машинистку и поэтессу, с которой Оруэлл познакомится в 1934 году. «О да, – пылко откликнется бывшая двадцатитрехлетняя возлюбленная писателя. – Он уехал оттуда – потому что просто не мог больше терпеть…» Не служить, не жить – терпеть! Ей вторит и М.Шелден: «Эрик быстро понял, что сделал ужасную ошибку… Хорошо оплачиваемая работа, красивая страна, важная работа, но… система угрожала превратить его в зверя…»

«Зверю» было двадцать четыре года. Еще или уже – судить не нам. Но, выходя по вечерам на корму корабля, ловко сворачивая любимый турецкий табак в хитрые самокрутки (Оруэлл научился виртуозно крутить их еще в Итоне и с тех пор не изменял этим самодельным сигаретам), он вел, по сути, тихую личную войну с собой, бесконечный спор души и ума… «Отправляясь в отпуск, – напишет потом в одной из книг, – я всерьез подумывал бросить офицерскую службу, и, вдохнув английского воздуха, решился: не вернулся обслуживать адский деспотизм. Но мне хотелось большего, чем просто скинуть форму». Он прочел уже к тому времени «Войну и мир» Толстого, «Люди бездны» Джека Лондона, «Влюбленных женщин» Дэвида Лоуренса и множество других книг, купленных в Рангуне, и все они – одна к одной – покоились теперь в солидном багаже отпускника рядом с какими-то кинжалами, экзотической керамикой, оригинальными пивными кружками… Но именно впитанное из книг и контрастировало с пережитым, заставляло стыдиться то одной, то другой

безобразной бирманской сцены, всплывавшей в памяти.

Он не мог забыть, как однажды на какой-то железнодорожной станции дурачившиеся школьники случайно задели его на лестнице, толкнули, да так, что он едва не скатился по ступеням. И что же? Он, почти двухметровый амбал, да еще «при должности», кинулся за пацанами, ухватил виновника и жестко, «изо всей силы» отхлестал его тростью. Это видел тогда студент, а в будущем – профессор Рангунского университета Маунг Хтин Аунг. Он напишет потом, что толпа мальчишек окружила Оруэлла, что завязался горячий спор, что «белый господин» отвечал, может, и не очень агрессивно, но «с сознанием собственного превосходства», и что какой-то служащий после объяснил подросткам, что «они здорово рисковали», так как спорили «с высокопоставленным полицейским Блэром». Зверел, однозначно зверел. «Хэппи энда», как видим, не случилось ни в романе «Дни в Бирме», где он застрелил Флори, ни в реальной жизни…

Со всяким писателем и всегда связаны тайны. Тайна, как рождается в человеке человек пишущий. Тайна, что́ является первым мотивом явления его. Тайна – в раздвоении писателя на человека, проживающего свои дни, как все мы, и художника, создающего из ничего совершенно новый, не существовавший до того мир. Загадка – в переназвании реальности, всех тех явлений, событий и вещей, которые окружают его. Почему для нас жизнь и смерть – это жизнь и смерть, а для писателей (особенно великих) – это некая магия, это встроенность во вселенную, проникновение в пространство и время и небывалый, потусторонний взгляд на мир откуда-то сверху, с заоблачных высот? Наконец, почему с ними и при жизни, и особо после смерти случается нечто, переворачивающее наши представления о них самих и об их творчестве?

Вопросы эти сущностны. Иначе нам не понять всех тех «курбетов», которые вскорости выкинет Оруэлл. Ведь в Индии родился какой-то новый «он» – человек «искупления», который не хотел уже даже малейшего благополучия. «У меня созрела мысль бежать не только от империализма – от любой формы превосходства человека над человеком… Я сознательно хотел стать на место тех, кого вольно или невольно унижал пять лет, хотел стать жертвой и неудачником. Думы мои вынашивались в глухом одиночестве, благодаря чему ненависть к угнетению достигла степени невероятной. Мысль о житейском благополучии, даже самом скромном, была мне отвратительна. Любой намек на стремление “преуспеть”, иметь хотя бы несколько сот фунтов годовых, казался духовным уродством,

видом подлости…»

«Война» с собой была уже и войной с миром. Он, конечно, не знал, когда Индия получит (и получит ли) независимсть. На деле он доживет до этого часа: Индия, повторю, станет свободной за три года до его смерти, в 1947-м, а Бирма еще при жизни его начнет строить «социализм». Но одной из самых первых статей Эрика Блэра станет как раз статья об Индии. Он напечатает ее во французском журнале *Le Progrés Civique.* «Нация эксплуатируемых. Бирма и Британская империя» – так назовет ее. Бирманский парламентаризм прямо охлестнет «шоу-демократией». А самым опасным для Британии явлением призна́ет образованную бирманскую молодежь – она бы могла поднять «революционное знамя», но, увы, ее слишком мало. «А раз нет образованных классов, нет и общественного мнения, которое побуждало бы народ к “восстанию против Англии”… Это правда, – напишет, – что англичане грабят и расхищают Бирму совершенно бесстыдно… Но придет день, когда бирманцы, ныне не слишком жалующиеся на свою судьбу, ощутят, что богатств их страны не хватает на всех. Только тогда они смогут понять, как относится капитализм к тем, кому обязан своим существованием…»

Были в индийском багаже Оруэлла, рядом с Толстым и Джеком Лондоном, и вырезки из одной «скверно напечатанной» индийской газеты, где частями публиковались первые главы автобиографии Ганди. Оруэлл за год до смерти напишет эссе «Размышления о Ганди», где попытается осмыслить и философию, и жизнь великого индуса. «В случае Ганди, – напишет, – хочется задать такой вопрос: в какой степени Ганди был движим тщеславием – представлением о себе как о смиренном голом старике, который сидит на молитвенном коврике и потрясает империю чисто духовной силой, – и до какой степени он компрометирует свои принципы, занимаясь политикой, которая по природе своей неотделима от принуждения и обмана?» Вот что занимало Оруэлла. Он напишет об «эволюции идей» и простого индуса Ганди, и человека, ставшего борцом. Поразится, что тот когда-то добровольно чистил нужники в деревнях, где жили парии – самые отверженные, самые грязные и опустившиеся люди. Что имущества после смерти Ганди останется «фунтов на пять», и столь же мало останется за его спиной грехов: «Несколько выкуренных им сигарет, несколько съеденных кусочков мяса, несколько монет, украденных в детстве у служанки, два посещения борделя (в обоих случаях он ушел, “ничего не сделав”), одна едва не случившаяся интрижка с домовладелицей в Плимуте и одна вспышка раздражения…» Всё! Оказывается, никогда не поздно стать святым. И еще поразит его,

что до тридцати лет Ганди никакой особой цели перед собой не ставил. Значит, никогда не поздно «начать чистую, праведную жизнь и встать на сторону тех, кто живет хуже тебя». Ведь и Оруэлл, образно говоря, тоже всю жизнь будет «чистить нужники», несмотря на то что «запахи» низших классов ему, якобы «аристократу», шибали в нос. После этих слов он и выведет: Ганди в итоге, несмотря ни на что, «дезинфицировал политическую атмосферу» мира. Пророчески сказал. Ибо в 2000 уже году подавляющее большинство британцев признали Ганди, добившегося независимости Индии, ни много ни мало «человеком тысячелетия».

Загадки судьбы, тайны, мистика… Можно не верить в это. Но как могло случиться, что в первых числах августа 1927 года, сойдя с парохода *Shropshire* в Марселе (Оруэлл решил ненадолго остановиться во Франции и добраться до Парижа – Мекки писателей), он «с корабля на бал» угодил… в уличную демонстрацию. Флаги, плакаты, крики, возбужденная толпа… Что, спросите, случилось? Да ничего особенного. Выходя из банка, где Оруэлл менял валюту, болтая с каким-то клерком, он столкнулся с рабочей демонстрацией. На транспарантах был призыв: «Свободу Сакко и Ванцетти!» Он уже знал, кто это: американские рабочие-анархисты, которые еще в 1920-м были обвинены в убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики в США. Дело их тянулось несколько лет, и смертный приговор вступил в силу как раз в августе 1927-го – обоих вот-вот должны были посадить на электрический стул.

– Их, этих чертовых анархистов, надо было просто повесить, – буркнул Оруэллу его спутник.

– Но ведь они, – возразил Оруэлл, – могут быть не виноваты в преступлениях…

Клерк глянул на него ошарашенно и будто испарился. А Оруэлл лишь потому запомнил этот случай, что впервые за пять лет почувствовал: больше можно не притворяться, не прятать глаз, как в Индии, не молчать. Через десять лет он сам окажется в рядах испанских анархистов, а на автора книги о Николе Сакко и Бартоломео Ванцетти будет едва ли не молиться. Но отныне, с марсельской демонстрации, он будет говорить и то, что думает, и тогда, когда сочтет это нужным. Тоже ведь – возвращение к себе…

Нет, все-таки в августе 1927 года ему было не «еще» – «уже» двадцать четыре года. Половина отпущенного ему на земле срока, хоть он и не мог знать этого. Но мы зато знаем: он не опоздал! Ему, как и Ганди, еще не поздно было «начать чистую, праведную жизнь и встать на сторону тех, кто живет хуже тебя…». Не поздно отвечать на «неправильные» вопросы жизни – и даже

замахиваться на вопросы «правильные».

Часть вторая.
«Война – это мир»

Глава 4.
Мятежный пессимист

1.

Через два месяца выяснилась страшная вещь: он совсем не умеет писать. Не выходило ничего! Он показывал наутро написанное подруге своей старшей сестры, Рут Питтер, поэтессе и художнице, выпустившей уже два сборника стихов, – и, читая его «прозу», они просто заливались от смеха. «Мы даже плакали от хохота над отрывками, которые он показывал», – вспомнит потом Рут. Это он-то! Он, мечтавший чуть ли не «мир переделать» своими книгами, – и вдруг графоман.

Так и думал про себя: «Я графоман!..» Это правда. Но правда и то, что он научится писать, выработает столь оригинальный стиль, что великий Томас Стернз Элиот восхищенно выдохнет: это «крепкий слог коренной прямоты». Он так отточит свое перо, что уже в 2013-м один из лучших наших переводчиков Виктор Голышев, говоря о трудностях перевода на английский русского классика Андрея Платонова, вдруг скажет, что и в текстах Оруэлла переводчику «негде разгуляться», что Оруэлл пишет «так точно и так скупо», что переводящему его «даже не повернуться» в словах. Заметит, что «Оруэлл, конечно, вреден для организма», но призна́ет: «Интересное слово не подберешь – только точное подобрать можно… Оруэлл не врет, не козыряет, его никуда не несет. Он как математика – такая же честная вещь…»

Но пока всё вообще, не только прозаические «экзерсисы», складывалось против него. С ним отказалась встретиться Джасинта, хотя в мечтах он всё еще связывал свою жизнь с ней. А в Саутволде, где жили родители и куда он после двух парижских недель ввалился с чемоданами и баулами, было воспринято в штыки желание его навсегда бросить службу. Особо бушевал отец. Его сын отказывался служить «во имя империи», плевал на традиции семьи, на приличный «жизненный уровень», который можно обеспечить только горбом. А Эрик отрицал (что было обиднее всего) даже не саму работу – именно «преданность нации». Но главное, что возмутило почти всех, – желание стать писателем. В конце концов отец, столкнувшись с упрямством сына, плюнул и, обозвав его дилетантом, почти порвал с ним. Единственное, что Эрик твердо пообещал родителям, так это не висеть у них на шее; он даже поклялся, что «сам будет

зарабатывать на жизнь».

Телеграмма, ответ на прошение Оруэлла об отставке («Правительство Бирмы рекомендовало принять ее»), пришла в Саутволд, когда Эрик уже не жил там. Он еще в сентябре 1927 года снял комнату в Лондоне на Портобелло-роуд, 22, и тогда же засел за работу. Комнату – малопригодный для жилья чердак – ему подыскала та же Рут Питтер. Она была на несколько лет старше Оруэлла, но у них почти сразу «завязался роман». Эрик призна́ется потом, что, увидев ее после Бирмы, прежде всего подумал: «Интересно, легко ли овладеть этой девушкой?» «Любовь» окажется короткой, но отношения сохранятся. Именно Рут, узнав, что по утрам он, прежде чем сесть работать, согревает над свечой озябшие пальцы, достанет и втащит на чердак старую газовую печку. И она же, что куда важней, даст верный совет: попробуй писать о том, что хорошо знаешь… Но и наш «графоман», и она, поэтесса, конечно, не догадывались, что через десятилетия у подъезда дома, где миссис Крейг, «высокомерная грымза», сдала Оруэллу этот угол под крышей, будет висеть первая мемориальная доска… В его честь доска.

Для писавших и пишущих о нем этот год – едва ли не первая «засада» его биографии. Мы ни слова не знаем, о чем он говорил и что выслушивал в ответ, когда решил посоветоваться о будущем со своим итонским наставником Эндрю Гоу. У нас нет ни единого факта, как проводил время с Деннисом Коллингсом, сыном семейного врача Блэров, с которым подружился после Бирмы (их судьбы оказались схожи, ибо Деннис только что вернулся из Мозамбика, где проводил антропологические изыскания). Наконец, мы почти ничего не знаем о творческих планах, писательских амбициях его. Возможно, и сам он знал лишь позицию свою: «за что» и «против чего» писать. Но как ее выразить? И в чем: в статье, очерке, пьесе? Не в прокламации же, черт побери?..

Единственной ниточкой, хоть как-то объясняющей его дальнейшие шаги, стали «Люди бездны» Джека Лондона. В период поисков себя, пишут Стански и Абрахамс, как раз зимой 1927–1928 годов, он «обратил свое внимание» именно на эту книгу. Книга была «ровесницей» его, Джек Лондон опубликовал ее в 1903-м. Эрик читал «Людей бездны» еще в Бирме и вот, разворошив заграничный багаж, вновь взялся за нее. Душа его, как мембрана, не могла не отозваться на нее: текст отвечал его взглядам, был про «униженных и оскорбленных», но главное – словно говорил: «Делай как я!». Иди к нищим, иди к отбросам, опустись ниже плинтусов и уличных поребриков.

Неизвестно, знал ли он, что Джек Лондон с юности читал

«Коммунистический манифест», упорно штудировал Бабёфа, Сен-Симона, Фурье и Прудона, что настольными книгами его были «Грядущее единство» Уильяма Оуэна, «Капитал и прибыль» Бём-Баверка, «Социалистический идеал – искусство» Уильяма Морриса? Что там, за океаном, Лондон считался «опасным социалистом», выступал на митингах и – действительно – лично писал листовки для рабочих? Но по книге «Люди бездны» точно знал, что, получив командировку от ассоциации *Americam Press* в Южную Африку – писать репортажи об Англо-бурской войне – решил по пути заехать в Англию и взять пару-тройку интервью у британских генералов. Увы, в Лондоне писателя-американца нагнала телеграмма, которая отменяла его африканскую поездку. Что было делать? – задался вопросом в чужом городе Джек Лондон. И, прослышав, что самым страшным местом в британской столице является Ист-Энд, отважно ринулся изучать этот «ад на земле». Мог бы, замечу приватно, провести время в салонах литераторов – в Англии уже вышел первый сборник его рассказов, – но вместо этого отыскал какую-то лавку старьевщика, купил поношенные брюки, почти истлевший пиджачок с одинокой пуговицей, засаленную кепку, – и отправился в «бездну», в гущу бродяг и нищих. «Бездна, – перечитывал его строки Оруэлл, – это… ни просвета, ни проблеска надежды… От Бездны исходит притупляющая атмосфера оцепенения, она плотно окутывает человека, умерщвляет его… На дне волчьей ямы, именуемой “Лондон”, пропадают ни за грош человеческие существа – четыреста пятьдесят тысяч – сию секунду…»

Вот ведь как надо писать, Эрик! И вот о чем. «Сию секунду», а значит – и сейчас…

Вопрос из будущего: *Вы заметили, Джек Лондон пишет, что там, в «Бездне», «бродят странные запахи». Ведь это ваша «фобия»? За это вас скоро будут попрекать и в социалистической печати. Помните четыре «зловещих слова», которые вы зареклись произносить?..*

Ответ из прошлого: *Низшие классы дурно пахнут…*

В.: *Их вам до конца жизни не простят «ревнители социализма». Не фобия?*

О.: *Барьер… Здесь – разгадка глубинного социального противостояния, причина, по которой воспитанный в буржуазной среде европеец, даже называя себя коммунистом… не способен воспринять пролетария равным себе. Можно преодолеть национальную вражду, религиозную рознь, разницу в образовании, характере, интеллекте, но физическое отвращение – невозможно…*

В.: *У вас ведь даже социализм «пахнет», но – «комичностью»…*

О.: *Поймите, если… ты вырос с убеждением в органичной нечистоплотности пролетария – пагубное дело сделано. Нас приучили верить: они – вонючие грязнули… Чувство, которое пропастью разделяет верхи и низы общества. Странно, что это редко признаётся…*

В.: *Ну почему же? Ваш Сомерсет Моэм тоже пишет об этом. «На Западе, – пишет, – нас отделяет от собратьев обоняние… идущий от них душок». И заявляет: «Утренняя ванна делит общество на классы более эффективно, нежели воспитание и благосостояние…» Это уже почти формула.*

О.: *Люди из среднего класса уверены не только в том, что пролетарий вечно ходит чумазым и в несвежем белье… но хуже – в том, что грязен он как-то от природы… Проклятие классовых различий встает между вами каменной стеной. Ладно, пускай не каменной – тонкой стеклянной стенкой аквариума, но сквозь которую никак не проникнуть. К сожалению… модно делать вид, что это стекло проницаемо…*

В.: *Но вот же – «Люди бездны»?.. Разве книга не опровергает это?..*

О.: *Читая «Людей бездны», я страшно переживал за пролетариев, но…*

В.: *Но их запахи…*

О.: *Но, оказавшись рядом с ними, по-прежнему их презирал и ненавидел. По-прежнему бесило их косноязычие, коробили их грубые привычки…*

Оруэлл окажется «рядом с ними» – и среди них. Прямо из своего «скворечника» отправится на «дно». Занятно, но обоим – и Джеку Лондону, и Оруэллу, – когда они шагнули в «бездну», было по двадцать шесть лет. И двадцать шесть лет прошло между их скорбными «одиссеями». Но поразительней другое: то, что для Оруэлла, в отличие от Джека Лондона, это «путешествие» станет камертоном, фокусом всего творчества на всю оставшуюся жизнь. И если у Лондона, несмотря на все его революционные статьи, герои почти всех рассказов гибнут порой за «презренный металл», и это возводится писателем в известный «смысл жизни», то все будущие книги Оруэлла – документальные и художественные – были против денег и богатства, и за угнетенных и приниженных. И никакие «запахи бедноты» не могли уже остановить его…

– Не спать! – бил палкой Утюг закемаривших нищих на набережной. – Не спать, сучье отродье! Не положено!..

«Улицы в этот час были пустынны до ужаса, – пишет Оруэлл. – Благодаря ярким фонарям они были светлы как днем, – но это был мертвенный свет, отчего и сам Лондон был похож на труп города…

Я попробовал, – пишет, – переночевать в склепе церкви Св.Мартина-в-полях, там были спуски вниз, где можно было укрыться, но мне сказали, что нужно просить об этом у каких-то женщин, у какой-то известной всем “Мадонны”, и я остался на ночь все-таки на площади. Это было совсем неплохо, но холод и полиция так мешали, что было невозможно сомкнуть глаз, и никто, кроме закаленных бродяг, даже не пытался сделать это. Есть, конечно, местечки для примерно 50 человек, но остальные должны были просто сидеть на земле, что само по себе запрещалось по закону. Каждые несколько минут кто-нибудь кричал: “Утюг идет!” – и надо было успеть растолкать тех, кто успел задремать…»

Утюг, полисмен, всего лишь соблюдал закон, принятый самым демократичным в мире парламентом. Здесь, в центре Лондона, на Трафальгарской площади, что в паре кварталов от Вестминстерского аббатства, за бездомными следили особенно строго. А «человеколюбивый закон» в 1928 году гласил: ночь провести на улицах можно, но спать даже на скамейках – нельзя. Считалось, что заснувший человек беззащитнее перед холодом и может, упаси бог, заболеть, а то – неровен час – и умереть. «Англия, – напишет Оруэлл, – не имеет права позволить себе, чтобы один из ее сыновей умер бы на улице…»

Всё это происходило меньше века назад! Нищие, грязь, лохмотья, сброд! Пьеса Горького «На дне», не меньше. Но, может, всё это неправда, может, писателю, вчерашнему полицейскому, всё это пригрезилось? Увы…

«Когда пробило три, я пошел за Гвардейский плац, где был участок, поросший травой, и там увидел проституток и мужчин, лежавших парами в тумане и росе… Одна из них валялась на земле и горько плакала: ее клиент ушел, не заплатив ей шесть пенсов… Под утро иные получают за это не шесть пенсов – просто пару сигарет. Около четырех кто-то раздобыл пачку плакатов из газетной бумаги, и мы вшестером, уплотнившись на скамье, упаковав себя в огромные куски их, смогли сохранить тепло до открытия “Стюарта”, кафе… Там можно было посидеть с пяти до девяти за чашкой чая (три или четыре человека могли позволить

себе чашку чая вскладчину), а кроме того, там до семи утра разрешали спать, положив голову на стол. Тут толклись разные типы – бродяги, грузчики, первые деловые люди, уже спешащие на работу, и последние проститутки, меж которыми вспыхивали постоянные ссоры. Скажем, старая и очень некрасивая баба, жена в прошлом какого-то портье, грубо набросилась на двух проституток за то, что они могли позволить себе более хороший завтрак… "Это цена уже не за е…ю, – орала, – за что-то другое!.. Мы копченую рыбу на завтрак не едим. А чем, вы думаете, эта заплатила за пончик? Знаем, знаем, за того негра"».

Говорят – и довольно, кстати, ехидно! – что любое «почему» умеет посмеяться над любым «потому». Что нет, как правило, никакой последовательности, что делами человека правит инстинкт. Всё так. Но, вдохновившись «Людьми бездны», Оруэлл пошел много дальше. Если Джек Лондон, отправившись «на дно», не стал скрывать от бродяг, что он вообще-то писатель и собирает «материал» (что куда как безопасней!), то Оруэлл этот «спасительный шест» для баланса над новой «выгребной ямой» отбросил заранее. Никто не должен был знать, кто он – и зачем здесь. Другими словами, последовательность хороша для учеников, а он, перечитывая Джека Лондона, сам хотел стать учителем.

«Продавать свой костюм я отправился в Лэмбет, бедняцкий район, где всюду торгуют ношеным тряпьем, – пишет Оруэлл о первых ступенях своей лестницы в «ад». – Торговец, блондинистый мясистый малый, быстро и пренебрежительно пощупал ткань:

– Жиденький материальчик, прям дешевка… Почем сдаешь?

Я объяснил, что хотел бы получить одежду пониже качеством плюс разницу в цене, на его усмотрение. Секунду он размышлял, потом набрал каких-то замызганных тряпок и кинул мне… И выложил шиллинг… Полученное старье состояло из пиджака, в свое время темно-коричневого, пары черных холщовых брюк, шарфа и матерчатой кепки («Без кепки бродяга ощущает себя нагишом в витрине», – заметит позже. – *В.Н.*). Рубашку, носки и ботинки я оставил свои, в карман переложил расческу и бритву. Очень странное ощущение возникло в новом наряде… Часом позже на улицах Лэмбета мне встретился какой-то бредущий с видом нашкодившего пса субъект, явно бродяга; присмотревшись, я в витринном зеркале узнал себя. И лицо уже покрыто пылью. Пыль чрезвычайно избирательна, – сразу же замечает Оруэлл, – пока вы хорошо одеты, она минует вас, но лишь появитесь без галстука – облепит со всех сторон…»

Его облепила не только пыль. Его «облепил» вдруг

совершенно незнакомый ему город. До ночи он безостановочно ходил, опасаясь, что полиция примет его за попрошайку и арестует. Просто просить милостыню тоже было запрещено законом, неким «Актом о бродяжничестве». А открывать рот Оруэлл и сам опасался – еще заметят разницу между безупречным произношением и одеянием. Лоточник, которому он помог собрать рассы́павшийся товар, кинул с улыбкой: «Спасибо, браток». «До сей поры “братком” меня никто не называл». И впервые заметил, как поменялось к нему отношение женщин. Их невольно передергивало, и они брезгливо отшатывались от него, как от дохлой кошки…

«Крещение» его состоялось в первой же ночлежке – Оруэлл узнал ее по вывеске «Отличные койки для одиноких мужчин». «Господи, – пишет он, – как же пришлось подхлестнуть свою отвагу, чтобы переступить порог! Я ведь, знаете ли, еще побаивался пролетариев… Вошел я с тяжким предчувствием драки. Сейчас призна́ют во мне чужака, решат, что я прибыл шпионить, накинутся и отдубасят…

Откуда-то изнутри, – пишет он, – появился мужчина в рубашке с засученными рукавами – “управляющий” заведения. Я сказал, что хотел бы переночевать. Никакого настороженного взгляда мой выговор не вызвал, человек просто потребовал девять пенсов и показал, где спуститься в душную подвальную кухню. Внизу пили чай, играли в шашки портовые грузчики, землекопы, несколько матросов. Были тут и матерые бродяги, узнаваемые по их посохам и дубинкам… На меня метнулся молодой здоровяк… Я напрягся: драка казалась неминуемой. Но здоровяк, кинувшись мне на грудь, обхватил ручищами мою шею: “Чайку испей, браток!.. Испей-ка чайку!”… Так состоялось своего рода крещение… Сев к столу, я почувствовал странное шевеление под ногами; поглядев вниз, увидел плавно текущую сплошную черную массу – тараканы… Но никто не подвергал сомнению мою личность, не донимал любопытством; все принимали меня с полным доверием…» «Я был счастлив – удалось! – призна́ется через год. – Я наконец в… нижайшем геологическом слое!..»

Что же случилось за этот год? И как воспитанный, начитанный и образованный человек, брезгливый от рождения, ироничный, предпочитающий уединение, – превратился вдруг в бомжа, бродягу, нищего без гроша в кармане? И как надо было возненавидеть несправедливость общества, как устыдиться чудовищного неравенства, чтобы так круто восстать против них? Ведь если попытаться объяснить себе причину его «падения» (может быть, возвышения?) в нищие, то причиной этой окажется не праздное любопытство, не желание описать нечто

«экзотическое» ради будущей личной славы, нет: чувство острой – и собственной – вины. «Я много размышлял на эту тему, – признавался он, – планировал, как всё продам, раздам, изменю имя и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из обносков… И – доля вины с меня, – выводит он главную фразу, – спадет». Тут читался уже не столько Джек Лондон, сколько Ганди, чистивший нужники париев. Тут «попахивало» чуть ли не «бунтом» Льва Толстого, задумавшего бегство от сытости и благополучия. Но если Толстой хотел всё раздать к старости, то у Оруэлла это стало прелюдией к вступлению в литературу.

Вообще, у каждого из нас – верю, у каждого (вот в чем сходятся и Запад, и Восток!) – хоть раз, но бывала в жизни встреча-столкновение вашего, пусть и мгновенного благополучия с резкой, ужасающей, беспросветной бедностью. Встреча, окатившая вас вдруг острым чувством какой-то смутно ощущаемой, но неизбывной вины. Мне, например, не забыть встречи на вечерней Мясницкой году в 1995-м. Мы с женой поехали покупать бежевый плюшевый плащик, приглянувшийся ей накануне (вещь по тем временам и дорогая, и бесполезная; он был не от непогоды, а так, покрасоваться раз-другой). И вот, когда мы вываливались из машины прямо перед сияющей витриной магазина, нам навстречу шагнули с тротуара два ребенка: мальчик лет десяти, весь закутанный в какое-то тряпье, с диким каким-то клобуком на голове, и девочка – видимо, сестра его – лет пяти-семи. Они ничего не просили, не прикоснулись к рукаву моему, они просто во все глаза смотрели на нас, нарядных, веселых, сытых. Я, помню, трусливо оглянулся: где же их родители или кто-то из близких? Но никого не было, они были одни в текущей мимо толпе, тоже нарядной и тоже веселой – дело было перед Новым годом. Вот тогда я, помню, остро, чуть не до брызнувших слез почувствовал: куда-то мы, наша страна, наше сообщество, еще четыре года назад защищавшее Белый дом, отплываем не туда. Что-то не срастается в нашем королевстве, что позже непременно скажется – в этих детях, в этом новом устройстве общества. Жена тащила меня за руку, ее плащик еще висел в витрине, и я, помотав головой, шагнул за ней в бликующую стеклянную дверь. А когда мы вышли, замерзших детей на панели уже не было. Что с ними стало? Неведомо. Но, читая про «чувство вины» Оруэлла, я, мне кажется, в чем-то понимаю его. Да и кто не поймет?..

Одно поражает в Оруэлле больше всего – его невероятное упрямство. Ведь его путешествие по «подземельям» общества продолжалось не год – больше трех лет. Сначала – Лондон, потом

– Париж, а потом – вновь Лондон. Вернее, так: в самый дождливый период, в сентябре-октябре 1927 года, еще даже не получив уведомления об отставке с полицейской службы и формально будучи и сам «служителем закона», он впервые под видом нищего на свой страх и риск отправляется бродяжить в бедные районы Лондона. Первый, не от безденежья, опыт общения с париями. Весной 1928 года вновь отправляется «в нищие», но уже на длительный срок. А в мае 1928 года, окончательно утвердившись в желании стать писателем (ему всё еще двадцать четыре года без одного месяца), катит в оазис литературного творчества – в Париж, где, живя случайными заработками, не только начинает аж два романа (он их уничтожит после), но, установив связи с левыми газетами и журналами, опубликует свою первую в жизни статью «Цензура в Англии». Однако убеждения и взгляды его, в том числе и относительно «свободы слова», не выковывались – шлифовались уже все-таки в трущобах Лондона.

Вопрос из будущего: *Поражает, что эта «преисподняя» существовала ведь не так и давно. Да что говорить, есть бродяги, бомжи и в нынешней Англии – на сленге их называют ныне «hit the road». Хотя – кого считать бродягами?*

Ответ из прошлого: *Бродяга, если вдуматься, явление очень странное… Оно основано на уверенности в том, что каждый – ipso facto*[16] *подлец. О подлости бродяг нам твердят с детства, и в сознании складывается образ… идеального бродяги – гнусного и довольно опасного существа, которое… не заставишь работать или мыться, которое желает только клянчить, пьянствовать и воровать.*

В.: *А разве не так? Говорят, что им даже нравится это…*

О.: *Злодеев среди бродяг – единицы… Понаблюдав, как бродяга позволяет всяким приютским служащим измываться над собой, видишь, что это существо на редкость покорное… Так же и с повальным алкоголизмом их – где же виданы бродяги с этаким капиталом на пиво?.. Я не настаиваю на ангельской натуре бродяг; я говорю только, что они если и отличаются не лучшей манерой поведения, то это следствие, но не причина.*

В.: *А трудно было вам косить, как сказали бы ныне, под нищего?*

О.: *Вначале нелегко. Требовалось притворяться, а у*

меня ни капли актерских талантов… Мне часто говорили потом: «Бродяги, безусловно, сразу видят, что вы не из них… Иные манеры, иная речь». Должен сказать, немалая часть бродяг не замечает вообще ничего… И даже если станет известно о твоем чуждом происхождении, отношение к тебе вряд ли изменится – ты, как и все тут, «в заднице»…

В.: *А не казались ли вам эти изгои на одно лицо? Тряпье, ухватки, грязь, мат?..*

О.: *Это предмет более сложный, чем кажется. Есть много специализаций, к тому же между просто попрошайками и теми, кто старается что-то дать или показать за деньги, – резкая социальная грань. Сборы за те или иные «трюки» тоже ведь различаются… Среди процветающих – уличные акробаты и фотографы. На хорошей «точке»… акробат может собирать по пять фунтов в неделю…*

В.: *«Акробаты», «фотографы» – их на сленге звали еще, как помню, «трюкачи» и «мордоловы». Есть еще, вы пишете, «лучники» – те стерегут чужие автомобили… Но вот вопрос: это же, по сути, работа, труд? Тогда они – не нищие?*

О.: *Да, и «пономари» – уличные певцы, и «топтуны» – танцовщики, все, подобно шарманщикам, считаются не столько нищими, сколько артистами… Ступенькой ниже, конечно, были те, кто поют на улицах псалмы или же предлагают купить спички, шнурки, пакетики со щепоткой лаванды под благородным наименованием «сухих духов».*

В.: *Но разве последние – не розничные торговцы?*

О.: *Нет, откровенные попрошайки…*

В.: *Но они же продают товар?*

О.: *Имитация торговли ради соответствия абсурдным статьям английского законодательства. По закону о нищенстве, если вы напрямик попросите у незнакомца пару пенсов, тот может сдать вас под арест… Прямо просить деньги на еду… является преступлением, а с другой стороны, совершенно законно продавать любую мелочь или будоражить граждан, делая вид, что развлекаешь их.*

В.: *А как закон определяет статус нищих? Кого принято считать ими?*

О.: *Нищие – особое племя изгоев, подобно ворам и проституткам… Их, обитающих в лондонских*

ночлежках, по меньшей мере тысяч пятнадцать… Говорят: нищие не работают. Но что тогда работа? Землекоп работает, махая лопатой; нищий работает, стоя во всякую погоду на улице, наживая тромбофлебит и хронический бронхит. Ремесло… бесполезное? Но и множество уважаемых профессий бесполезны. Нищий даже выигрывает в сравнении с иными: он честнее продавцов патентованных снадобий, благороднее владельцев воскресных газет, учтивее торговцев-зазывал… Не думаю, что в нищих есть нечто, позволяющее… большинству сограждан презирать их.

В.: *Но их реально презирают, все ваши тексты об этом!*

О.: *За то, что они зарабатывают меньше других… Сумей нищий зарабатывать десяток фунтов в неделю, «профессия» его сразу стала бы уважаемой. Реально нищий – такой же бизнесмен… с тем же стремлением урвать где можно… Он лишь ошибся – выбрал промысел, где невозможно разбогатеть…*

В.: *Кстати, вы пишете, что и нищие, в свою очередь, презирают тех, кто им подает. Так?*

О.: *Принимающие подаяние практически всегда и глубоко ненавидят своих благодетелей (многократно доказанное свойство человеческой натуры), и под прикрытием толпы дружков нищий свою тайную ненависть проявит всегда…*

Читать Оруэлла про бедовую жизнь нищих, на мой взгляд, очень интересно. Поражает не отстраненность его, такая изначально лживая позиция «наблюдателя» вроде газетной рубрики «Журналист меняет профессию», нет – включенность в эту «профессию», а по сути, в реальную жизнь. Я так и вижу его, сидящего над листом бумаги и то переживающего «до слез» горести очередного оборванца, а то смеющегося или хотя бы улыбающегося при воспоминании, как двое бродяг до крови схватились из-за слова: один другому крикнул: «Больше жри!», а тому послышалось: «Большевик». Оказывается, худшего оскорбления у нищих просто не было…

Оруэлл всё испробует. Ричард Рис, итонец, который вот-вот станет его другом, напишет потом про Оруэлла: «Он шел по жизни, содрогаясь при виде ее мелких тошнотворных ужасов, однако изо всех сил старался, чтобы на его долю их выпало больше, чем он в состоянии был вытерпеть». Нарывался! А Айда, мать его, когда Эрик переехал в Лондон, еще радовалась, что он

окажется как бы под присмотром Рут Питтер и это обеспечит ему, в отрыве от семьи, некую «респектабельность существования». Ну-ну! Вспомните его первое «купание» в ночлежке: «Полсотни грязных, совершенно голых людей толклись в помещении метров шесть на шесть, снабженном только двумя ваннами и двумя слизистыми полотенцами на роликах. Вонь от разутых бродяжьих ног мне не забыть вовеки. Меньше половины прибывших действительно купались… но все тут мыли лица, руки, ноги и полоскали жуткие сальные лоскутья, которую бродяги навертывают на переднюю часть ступни. Чистую воду наливали лишь тем, кто брал полную ванну… Когда очередь дошла до меня, на вопрос, нельзя ли ополоснуть липкую грязь со стенок ванны, сторож рявкнул: “Заткни е… пасть и полезай!”…» «Респектабельно», не правда ли? И можно ли не ужаснуться, когда, ночуя в работном доме, он вдруг впервые испытал на себе гомосексуальные приставания соседа (гомосексуализм – обычное дело среди бродяг)? Или тому, что встретил вдруг в другой ночлежке такого же, как он, итонца? Когда, услышав над ухом, среди вшей и клопов, знакомую песенку, спетую почти шепотом: «Свеж ветерок попутный, / И веет от лугов…», он открыл глаза и увидел над собой фигуру в тряпье, которая забормотала: «Вы – мальчик из славной школы?.. Нечасто встретишь в этих стенах…» Тоже ведь – привет из «респектабельного мира»! И всё это была его разная родина.

«Это была Англия», – этими словами закончил он главу о лондонских мытарствах.

3.

А потом был Париж. Грязная мокрая тряпка – и чудный пикантный луковый суп. Отжатая вонючая тряпка – прямо в тарелку супа, который на его глазах понесли в ресторане развалившемуся за столиком богачу. Бр-р-р!.. Но это не метафора, отнюдь. Это, читатель, жизнь!..

В Париже Оруэлл окажется в мае 1928 года. Здесь, за почти два года жизни, сформируется как писатель, тут поймет, что без «политической цели» для него нет и, видимо, не будет уже литературы. Наконец, в Париже обретет остойчивость на «канатах жизни». И ни слова не проронит – поразительно! – о красоте французской столицы: о бульварах в цвету, о древних, «мушкетерских» еще домах, о жареных каштанах, великих памятниках, вуалетных женщинах, легкой, слегка сумасшедшей, но в целом красивой жизни коренных парижан. Впрочем, одна

женщина, но, правда, без вуали, возникнет у него и в Париже. Обчистит до нитки…

Вообще всё здесь у него будет ровно наоборот, чуть ли не как всегда – вверх ногами! Он будто лазутчик войдет в город с «черного хода» и бесстрастно займется «подноготной» Парижа, сдергивая стыдливые шторки, маски и покрывала показной пристойности; он сунет нос за вислые кулисы трущоб, в самые темные и пыльные углы этого вечного «праздника» и, как зануда-ревизор, как вчерашний полицейский, подметит все недостатки, недочеты, гадости и противности. Чего стоит только изнанка той самой ресторанной жизни, когда он напишет, что официант Жюль, горя «мщением и гневом», признался ему, и не без гордости, что частенько, перед тем как подать клиенту суп, «отжимает над тарелкой грязную мокрую тряпку…» Жри, буржуа, вкушай, капиталист!..

Не помню, чьи слова, но, кажется, Бродский сказал как-то: человек – не сумма убеждений его, а сумма поступков. Не уверен, что сравнение правомерно (что тут из чего вытекает – не вполне ясно), но к Оруэллу в его парижскую бытность эта максима подходит. Убеждения его были еще смутные, неопределенные, а вот поступки – вполне конкретные. В Париже он окончательно решил посвятить свое будущее описанию жизни, а жизнь, в свою очередь, если можно так сказать, «опишет» уже его. Такой вот поворот.

Надо сказать, он в свой «двадцатник» (да, впрочем, и потом) был очень застенчивым человеком. И, как все такие, силен был, что называется, задним умом. Здесь тоже, конечно, неясно, что из чего вытекает: застенчивость из, так сказать, «позднего зажигания», или наоборот. Но Оруэлл «переживал пережитое» не столько в момент действия и поступка, сколько после – над листом бумаги. Запоздало жалел встречных и поперечных, зло, пусть и заочно, отвечал на обиды, радовался удачам и остро, до болезненности удивлялся несправедливости постфактум. Из-за этой особенности, свойственной многим, но писателям в первую очередь, он в своих очерках, эссе, заметках оказывался порой гораздо категоричнее и смелее, безапелляционнее, чем требовалось. Он сам призна́ется как-то, что допускал перебор в гневе и обвинениях, «слишком заострял свои критические стрелы». Ричард Рис скажет: он «иногда делал категорические заявления, основанные на плохо проверенной информации». Вряд ли это относится к Жюлю, официанту, и его тряпкам в супе. Такую историю не выдумаешь, про нее можно лишь промолчать. Но с другой стороны – с какой стати? Писать так писать!.. Тем более что в следующей фразе Ричард Рис образно подчеркнет:

«Подобно железной стружке, притягиваемой магнитом, ум Оруэлла всегда ориентировался на ту простую истину, что в мире царит несправедливость и что большинство попыток перестроить мир отдает лицемерием и неискренностью». И как магнитом (докручу я мысль) Оруэлл притягивал к себе факты, случаи, события вопиющей неправедности мира – и свидетельства лицемерия общества по отношению к людям беззащитным. Именно потому Париж – «Праздник, который всегда с тобой», как скоро назовут этот город такие же молодые писатели, – станет для него не только не праздником – кошмаром. Там и начался, напишет потом в «Фунтах лиха в Париже и Лондоне», его «личный опыт бедности».

«Париж, улица дю Кокдор, семь утра, – вот первые слова его «Фунтов лиха в Париже и Лондоне». – С улицы – залп пронзительных бешеных воплей: хозяйка маленькой гостиницы напротив, мадам Монс, вылезла на тротуар сделать внушение кому-то из верхних постояльцев:

– Чертова шлюха! Сколько твердить, чтоб клопов не давила на обоях? Купила, что ли, мой отель? А за окно, как люди, кидать не можешь? Ну и потаскуха!

– Да заткнись, сволочь старая!

Следом под стук откинутых оконных рам со всех сторон – разнобой ураганом летящих криков, и половина улицы влезает в свару…»

Так встретил Оруэлла Париж – оазис литературы, путеводная звезда писателей. Только поселится он реально на *Rue du Pot de Fer*, 6, в дешевом отеле рабочего квартала. За 50 франков в неделю. «О злейший яд, докучливая бедность!» – поставит фразу Чосера эпиграфом к книге.

Улица, пишет, – просто ущелье из «громоздящихся, жутковато нависающих кривых облезлых домов, будто застывших при обвале». Сплошь гостиницы, до крыш набитые постояльцами, в основном арабами, итальянцами, поляками, русскими. На первых этажах – крохотные бистро с мокрыми от вина столиками, где шиллинг обеспечивал щедрую выпивку. Работяги, отхватывающие ломти колбасы складными тесаками, стук костяшек в играх на аперитив, танец какого-то араба с подругой, в котором кавалер «манипулировал раскрашенным деревянным фаллосом размером со скалку», и песни про Мадлен, гадающую, «как выйти замуж за солдата, если она любит целый полк?..» Обсуждались тут три темы: любовь, война и наилучшие методы *faire la révolution*[17]. В субботу треть квартала перепивалась. Велись сражения из-за женщин, кто-то, нализавшись, ползал на четвереньках, изображая собаку, а кто-то уже выяснял отношения с помощью стульев, а

подчас и револьверов. «Полицейские патрули ночью улицу обходили только парами». Но среди грохота и смрада жили и обычные добропорядочные французы: прачки, лавочники, пекари, аптекари… И каждый был уверен: собрались тут лучшие из людей.

Его жилье называлось «Отель де Труа Муано» (гостиница «Три воробья»). Ветхий пятиэтажный муравейник, мелко порубленный дощатыми перегородками на сорок комнатушек. «В номерах грязь вековая, так как горничных не водилось, а мадам Ф., нашей хозяйке, ослепительной крестьянке из Оверни, то и дело глотающей рюмочки малаги “для желудка”, подметать было некогда. По хлипким, спичечной толщины стенам наляпаны розовые обои, которые, отклеиваясь, давали приют бесчисленным клопам. Их вереницы, днем маршировавшие под потолком будто на строевых учениях, ночами алчно устремлялись вниз, так что часок поспишь – и вскочишь, творя лютые массовые казни…»

«Парижские трущобы, – пишет, – сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными». В свою «колею» въехал и Оруэлл. Преимуществом отеля была его дешевизна. Вторым преимуществом была близость Сорбонны и ее библиотеки, куда можно было записаться, даже не будучи студентом. И рядом, на улице Ульм, – знаменитая Высшая нормальная школа («Эколь нормаль»), где можно было слушать лекции. В «Эколь нормаль» как раз в 1928-м поступил почти ровесник Оруэлла (на два года младше нашего героя) Жан-Поль Сартр, который в будущей книге «Что такое литература?», изданной еще при жизни Оруэлла, напишет: «Мы имеем полное право поинтересоваться у прозаика: “Для чего ты пишешь? Что ты хочешь, и почему тебе приходится писать?”». За ответами на эти вопросы Оруэлл и приехал в Париж. Наконец, в «Эколь нормаль» и Сартру, и его будущей жене Симоне де Бовуар английский преподавал молодой тогда Сэмюэль Беккет – основоположник театра абсурда. Совпадение тут в том, что на первых порах уроки английского пытался давать в Париже каким-то богатеньким отпрыскам и Оруэлл (за 36 франков в неделю). А театр абсурда… Что ж, театр чистого, дистиллированного абсурда уже вовсю бушевал вокруг него. Да и в нем, кажется…

Вообще, в Париже в ту пору жила тетка Оруэлла, уже знакомая нам Нелли Лимузин. Она к тому времени сочеталась гражданским браком с Юджином Эдамом, довольно состоятельным человеком, но убеждений самых социалистических. А кроме того, Эдам был известным и страстным эсперантистом, сторонником общего мирового языка.

И эсперанто, и «убеждения» мужа (они, правда, несколько скисли, когда Юджин побывал в СССР) «прогрессивная» тетка Оруэлла разделяла вполне, но племяннику, пишут, и просто не раз пыталась помочь деньгами (он ни разу не воспользовался предложением), и часто советовала заняться каким-нибудь «полезным делом». Например, садоводством, раз «мальчик любит возиться с растениями». «Конечно, семена стоят кой-каких денег; удобрения и инструменты – тоже, – напишет ему в одном из писем, – но я надеюсь, что ты сможешь занять их или украсть…» Такая вот социалистка!

«Мальчик» действительно любил растения. Не помянув ничего о красотах Парижа, он дважды отзовется о живой природе столицы мира. Через много лет, незадолго до смерти, спросит в письме женщину, в которую был влюблен тогда, уехавшую в Париж: «Бываешь ли в Ботаническом саду?» И призна́ется: «Я когда-то любил его». Впрочем, на первых порах отдал дань и монпарнасским кафе – наблюдал тот вселенский «праздник», который гудел вокруг.

Чашка кофе, бокал дешевого вина – это он мог позволить себе; он изо всех сил растягивал накопленную после Бирмы сумму, которая должна была помочь ему стать писателем. Более того, забегая вперед, скажу: он, приехав в Париж, отнюдь не планировал превратиться в «плонжера» – мойщика посуды. Он хотел писать. И на первых порах, говорят, пробовал, как и другие, как раз в кафешках писать и статьи, и романы. Но «ни разу не осмелился подсесть к кому-нибудь из литературных знаменитостей. В этом также проявилась его природная застенчивость, нежелание навязываться в знакомые и в то же время чувство гордости и самодостаточности». Впрочем, одна роковая встреча как раз в кафе, встреча с «упругой» женщиной, чье имя история не сохранила, и сбросит его на самое дно. Я еще расскажу об этом…

О чем же он писал днем в кафе, а по ночам – в убогом отеле? Так вот, первым опытом, увидевшим свет, стала статья, как нельзя лучше подходящая ко всей его будущей литературной карьере – «Цензура в Англии». Словно, прежде чем ворваться в изящную словесность, он заранее открывал огонь по заградительным бастионам ее.

Статья вышла 6 октября 1928 года. Напечатал ее «красный» политический и литературный журнал, редактируемый писателем-коммунистом Анри Барбюсом. Помог публикации вроде бы муж тетки Оруэлла, Юджин Эдам; он был, как предполагают Ю.Фельштинский и Г.Чернявский, знаком с Барбюсом. Но как раз политической цензуры (в нынешнем

понимании) Оруэлл в Англии не нашел. Писал, скорее, о «моральных запретах»: о том, например, что каждую новую пьесу авторы вот уже полвека должны были представлять в специальный департамент правительства, «который может либо запретить пьесу, либо потребовать изменений в ней». Так запрещались и пьесы Ибсена, и некоторые пьесы Б.Шоу. На прозу, признаёт в статье, никакой «объявленной цензуры», конечно, нет, но на издателей ее в спорных случаях оказывается такое давление, что книги попросту не выходят. Всё решает, возмущался он, «общественный резонанс». Сначала книги осуждаются «как богохульные» в проповедях какого-нибудь священника, потом «дело» попадает в газеты, позже, по письмам читателей, – в министерство внутренних дел, и публикации попросту подавляются. Совсем как сейчас – иногда…

В этой первой статье удивительно всё. Почему именно эта тема взволновала молодого человека (ведь им не было написано еще ни одной ни запретной, ни разрешенной строки), откуда в нем столь яростное противоборство власти и обществу, отчего он заступался за тех – именитых и известных, – которые и сами вполне могли постоять за себя? Наконец, удивительно, что в этой статье он в чем-то противоречит себе же будущему; ведь позже столь же яростно он будет выступать против феминизма, однополой любви, за традиционные английские ценности, за «мораль здравого смысла», просто за простых людей и их человеческое достоинство…

Наконец, тогда же, в 1928–1929 годах, пишет и публикует в трех номерах парижского журнала *Le Progrès Civique* статью «Безработица», посвященную положению рабочих в Англии, в которой четко виден будущий Оруэлл: цепкий к «говорящим фактам», глубокий в докапывании до истин и в то же время – образный и доступный. Позже, в книге «Дорога на Уиган-Пирс», рассказывая о жизни шахтеров Ланкашира, вернется к этой теме: «Сам я впервые осознал эту проблему в 1928-м. Я тогда только что вернулся из Бирмы, где “безработица” была лишь словом… И в первых встречах с безработными меня просто сразило, что они *стыдились* своих горестных обстоятельств… Помню собственное изумление, когда, узнав среду бродяг и нищих, я обнаружил, что изрядная доля людей, которых меня приучили считать бандой циничных паразитов, состояла из вполне благонравных молодых шахтеров и ткачей, глядевших на свою судьбу… как звери, угодившие в капкан… Они ведь созданы трудиться, а нате-ка!..»

Так напишет в 1936-м. А в 1928-м писал об отставании Англии в производстве, о загибающейся сталелитейной промышленности, в результате чего число безработных выросло

до полутора миллионов, что реально грозит голодом и революцией. «Рабочий, – доказывал, – оказался козлом отпущения… Единственная надежда – что в один прекрасный день у нас появится такое правительство, чей разум и устойчивость будут способны привести к положительным изменениям». Иначе безработным придется сделать «выбор между воровством – или смертью от нищеты…»

Голос не мальчика – мужа. Так что зря, кажется, Ричард Рис напишет потом, что Оруэлл до тридцати лет «не связывал политику с проблемой справедливости, как ее понимал». Очень даже связывал. А помимо статей он в это время бешено кропал рассказы и два романа. Один назывался «Человек в кожаных перчатках», а второй был, видимо, начальным вариантом романа «Дни в Бирме». Первый роман и сборник рассказов послал литературным агентам издательства *Doubleday and McClure* в Лондоне – и то, и другое там отклонят. В 1945-м в кратком очерке о своей жизни призна́ется: «В 1928 и 1929 годах я жил в Париже, писал роман, который никто не собрался публиковать и который я позже уничтожил, а когда деньги закончились, пошел работать в гостиницу просто “посудомоечной машиной”, а затем – и в русский ресторан…»

Стоп, стоп! Деньги отнюдь не закончились, – во всяком случае, не все; остатки его средств, чуть больше 200 франков, у него попросту украли. Хорошо, что успел почти столько же (последний гонорар из журнала за статью «Нищие в Лондоне») заплатить вперед за отель. «Оставшихся денег от последних учеников, – напишет, – вполне хватало прожить месяц, в течение которого место наверное бы отыскалось. Я намеревался сделаться гидом или, может, переводчиком какой-нибудь из туристических компаний. Увы, злой рок нанес опережающий удар…»

Его банально обокрали; обокрал, как пишет, некий итальянец, который подделал ключи от нескольких комнат отеля и обчистил их. Но на деле, как установили ныне, виноват был не мифический итальянец, а та «упругая» женщина – смазливая проститутка.

«Он подобрал ее в кафе», – пишут биографы. Ни имени, ни фамилии ее мы не знаем. Такого рода подробностей у скрытного Оруэлла мы и дальше не найдем. Известно лишь, что знакомство не было коротким: он даже так «запал» на девушку, что она просто переселилась к нему. Позже он простит ее и будет вспоминать о ней довольно добродушно. «Он однажды рассказал, – приводят его слова биографы, – что из всех девушек, которых он знал, прежде чем встретил жену, ему больше всего понравилась маленькая проститутка в Париже. Она была

красивой, у нее была фигура, как у мальчика итонской породы, и она была желанной во всех отношениях… Но наступил момент, когда… эта великолепная особа испарилась со всем его имуществом… вообще со всем…»

Это была катастрофа! И случилась она не от того, что он оставил девицу без присмотра: выскочил в магазин, засиделся в читальном зале, – нет. Он впервые серьезно заболел, свалился с воспалением легких и на две недели загремел, как напишет, в «госпиталь Икс». На деле 7 марта 1929 года его уложили в бесплатную муниципальную больницу – в очередной ад его. Он опишет больницу в 1946-м, кстати, после последнего своего посещения Парижа, и, надо сказать, семнадцать пролетевших лет не выветрят из его памяти кошмарных подробностей «излечения». «Излечения» даже не от болезни – от наивных представлений о «добром мире» вокруг. Он ведь и очерк о больнице назовет спустя годы полувопросом – «Как умирают бедняки»…

В больницу попал с температурой под сорок. Но до него настолько никому не было дела, что, выдав ему ночную рубашку, фланелевый халат и не найдя тапочек его размера, его босиком поведут через ледяной больничный двор. «Сопровождающий ковылял впереди с фонарем, дорожная галька едва не примерзала к ступням, а ветер, как хлыстом, стегал меня по голым икрам». Самое поразительное, что все манипуляции с ним: банки на спину, горчичный компресс и прочее – проделывались как с манекеном, в полном молчании сестер и при общем возбуждении шестидесяти соседей по палате.

Можно долго рассказывать о его первом больничном опыте, а можно привести лишь один факт и всё понять. Он лежал в палате, где койки стояли так плотно, что дыхание людей едва ли не смешивалось, где царили грязь и вонь, где даже лежачим больным надо было самим не только опорожнять «утки», но, как и в тюрьмах, выносить по утрам общую парашу, которую здесь стыдливо называли «кастрюлькой». Сравнение с тюрьмой не случайно: когда в больницу доставили из реальной тюрьмы знаменитую мошенницу мадам Ано, то она – вот тот красноречивый пример! – двумя днями позже, ускользнув от санитаров, прикатила в чем была в свою же тюрьму, «объяснив, что там ей болеть куда удобнее». А Оруэлл, насмотревшись за две недели смертей, призна́ется в очерке, что лучше «принять насильственную смерть», чем умереть в бесплатной больнице. Он не знал еще – предметно не знал, – как выживают бедняки за заборами таких больниц. Об этом будет написана не статья – та самая книга, «Фунты лиха…».

4.

Вопрос из будущего: *Как же все-таки она приходит – бессмертная особа по имени Бедность? Да еще в Париже – может, самом беспечном городе в том 1929-м?*

Ответ из прошлого: *Всё неожиданно… Предчувствовал, что рано или поздно это настигнет, ждал, робел, готовился, столько раз представлял. Думалось, простота – нет, поразительные сложности. Думалось, кошмар – нет, унылая серая скука… Открываешь еще одну непременную спутницу нищеты – потаенность…. Изворачиваешься враньем…*

В.: *Враньем кому? Себе?*

О.: *Перестаешь, например, отдавать белье в стирку, а на вопрос поймавшей тебя у подъезда прачки бормочешь нечто невразумительное, и прачка, убежденная, что ты переметнулся к ее конкурентке, с этого дня твой вечный враг. Хозяин табачной лавки интересуется, отчего ты стал меньше курить… Кончаются мыло и бритвы… И потом стол – пожалуй, гнуснейшая проблема… Идешь в булочную купить фунт хлеба… Но небрежная продавщица отрезает чуть больше: «Pardon, monsieur, – щебечет, – не возражаете побольше на два су?» Но в кармане ровно франк… Спасаешься паническим бегством… Решаешь франк потратить на килограмм картофеля, но одна из монет оказывается бельгийской, и зеленщик ее бракует. Выскальзываешь из лавки с тем, чтобы уже никогда там не появляться… Роятся планы схватить батон и сожрать на бегу.*

В.: *Как же вы выжили? После последнего франка?..*

О.: *Продавал что-нибудь из вещей… тащил в скупку… Там был рыжий еврей, наглейший хам, впадавший при виде клиентов в ярость… «Merde!*[18] *– кричал он. – Опять явился? Тебе что тут? Бесплатный суп?»… Норовил не купить, а обменять… Взяв у старухи еще вполне приличное пальто, сунул ей в руку два бильярдных шара и вытолкал…*

В.: *Ну хорошо, но как же виделось будущее?*

О.: *Будущее исчезает… Чем меньше денег, тем меньше тревог. Единственная сотня франков повергает в отчаянное малодушие; единственные три франка не нарушают общей апатии: сегодня три франка тебя прокормят, а завтра – это слишком далеко… Смутно раздумываешь: «Через пару дней придется просто*

голодать…» И рассеянная мысль тускнеет… Люди, здоровья ради голодающие, уверяют, что начинаешь великолепно себя чувствовать… Не знаю… Голод вызывает абсолютное размягчение тела и мозгов… И еще постоянно сплевываешь, причем слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев кукушкина льна… И еще чувство, дарующее в нищете великое утешение… Чувство облегчения, почти удовлетворения от того, что ты наконец на самом дне. Говорил, что докатишься, – ну вот и докатился…

В больницу он еще недавно попал с температурой, если уж точно, 39,4 по Цельсию. Он, конечно, «был писателем, – заметит уже в наши дни Кристофер Хитченс, – который всегда придерживался своей собственной температуры. Его столбик термометра поднимался слишком высоко или опускался слишком низко, он предпринимал меры, корректируя проблему». Но в те дни, как ни посмотри, он жил и по Цельсию, и по Фаренгейту просто в горячке – трепыхался, будто карась на сковородке. Про «сковородку» не преувеличение – реальность! В той «преисподней», где он окажется скоро, где по четырнадцать часов будет работать несколько месяцев, термометр в натуре будет показывать обычно 43 градуса по Цельсию, а иногда – и все 52.

Спас его в те дни не сородич-бритт, не француз, не залетный американец – русачок, славянин: крупный красавец, тридцатипятилетний капитан Второго сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда русской армии, а ныне – отставной официант отеля *Scribe*. Не знаю уж, как вам, а мне личит, мне приятно, что Оруэлл, якобы будущий «ненавистник России», был возвращен к жизни русским эмигрантом – широкой натурой, бесстрашным драчуном, неунывающей «военной косточкой». Революция, расстрелявшая его богатых родителей, Гражданская война оставили ему, Борису, только его медали и полковые фотографии – их он сохранил, даже когда всё ушло на продажу…

«*Voilà, mon ami*![19] – пританцовывал он у кровати, раскладывая фотки в очередной раз. – Вот взгляни-ка, это я во главе моей роты. Молодцы ребята, богатыри, а? Не то что крысята-французики… Жизнь – это взлеты и падения!.. В шестнадцатом году я неделю снимал люкс в “Отеле Эдуард VII”, в двадцатом туда попросился ночным сторожем. Побывал уборщиком, кладовщиком, плонжером и смотрителем клозета. И сам давал чаевые, и принимал их с поклоном. Эх, знавал я, что такое жить джентльменом. Не ради хвастовства скажу: на днях

пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было, – и вышло больше двухсот. Да, за двести точно… Эх, ладно, *ça reviendra*![20] Победа с теми, кто не сдается! Выше нос!» И приводил историю, шибавшую такой хлестаковщиной, что Оруэлл, может, и верил ему, да мы поостережемся. Якобы ему, когда он работал официантом, какой-то янки заказал подать «пару дюжин коктейлей с бренди». Борис, составив на поднос 24 стакана, понес их пьяному американцу. А тот возьми и скажи: мы, гарсон, пьем их поровну – «я дюжину, и ты дюжину». И поставил условие: если Борис дойдет после этого до двери, то получит «в лапу» 100 франков. И неделю после этого чудак-штатник повторял этот «заказ»: дюжину коктейлей в глотку Бориса, 100 франков – в руку. «Что-то в них есть милое, в этих американцах», – закончил Борис. Занятно, да? Это тебе не «пушистой слюной» сплевывать!..

Если не половина, то уж добрая четверть книги «Фунты лиха» посвящена «дорогому Борису» – ваньке-встаньке с улицы Марше. «Вообще, русские, – напишет Оруэлл, – народ выносливый, крепкий в работе, терпевший злоключения гораздо лучше, нежели это удалось бы англичанам тех же сословий». С Борисом они вместе жевали горбушки, брились двухмесячным лезвием и спали на полу в чердачных номерах. Наконец, вместе «складывали» сносный костюм – твой пиджак, мои еще приличные брюки! – когда кому-нибудь надо было отправляться на «ответственную встречу».

Однажды на правах старшего Борис огорошил Оруэлла: «Скажи, *mon ami*, есть у тебя политические убеждения?» «Нет», – честно ответил тот. «То есть… ты бы не прочь слегка подзаработать на коммунистах? Понимаешь, в Париже действует подпольное русское общество. Они там коммунисты, а на самом деле большевистская агентура: обхаживают эмигрантов, сманивают к большевикам… Вроде корреспонденты каких-то московских газет и хотят статьи про политику Англии. Появимся у них – они могут заказать эти статейки тебе…» «Мне? – удивился Оруэлл. – Но я ничего не смыслю в политике». «*Merde*! Они тоже. Кто ж действительно что-либо смыслит в политике? Перепишешь из английских газет. Нельзя упустить этот шанс, тут светят сотни франков».

Разумеется, дело оказалось чистой аферой. Тем более что сами заговорщики, разыгрывавшие из себя подпольщиков, тоже оказались аферистами и, потребовав «вступительный взнос» в 20 франков (получив, правда, от Бориса всего 5), заказав «серию статей», почти сразу испарились, бросив «явку», пароли и… портреты Ленина.

Вообще же великой мечтой Бориса было когда-нибудь стать

метрдотелем какой-нибудь тепленькой «едальни», накопить тысяч пятьдесят и завести «аристократический ресторанчик на Правом берегу». А Оруэлла он видел, увы, не больше чем официантом.

– К писательству, говоришь, тянет? – гремел баском Борис, затирая чернилами просвечивающие сквозь дыры в носках пятки. – Это трепотня. Писателю один путь – жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный. У тебя главное, что нужно: ростом высок и по-английски говоришь. Поживешь наконец по-человечески. Не тушуйся, помни правило маршала Фоша: *«Attaquez! Attaquez! Attaquez!..»*[21]

До официанта Оруэлл так и не дорастет, а вот плонжером, мойщиком посуды, не только станет, но будет дорожить этим местом. Он ведь и «Фунты лиха» хотел назвать сначала «Дневник посудомоечной машины». В любой другой «бросовой» работе ему неизменно отказывали: не взяли мойщиком вагонов, дворником в цирк, грузчиком на рынке. А вот плонжером взяли. И первой мойкой первого ресторана стал «Отель Икс». На деле – гостиница *Lotti* в центре города. Здесь он буквально тонул в грязной воде мойки, из последних сил атаковал распухшими клешнями пизанские башни скользких тарелок, египетские пирамиды кастрюль, бачков и сковородок.

«Я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами; жарища градусов сорок пять и потолок, мне лично не позволявший распрямиться», – пишет о первом рабочем дне.

– Англичанин, да? – рявкнул ему официант-итальянец и показал кулак. – Давай трудись! Станешь отлынивать – рога сверну… И в любой заварухе я всегда прав, понял?

Посуда, уборка, чистка ножей, тысяча обязанностей на побегушках, и вновь – горы посуды да кусок черного мыла, которое не мылится. Чад, огненные блики, пот, железо раскаленное. С семи утра до девяти вечера. Багровый шеф-повар беспрерывно выкрикивает: «Готово, два яйца-меланж! Готово, один картофельный соте-шатобриан!», – изредка отвлекаясь на проклятья в адрес плонжера. «Откуда ты… идиот, сучье отродье?» – орет будущему великому писателю. А Оруэлл, уже не вытирая капавший со лба пот, лишь считал: за день его обозвали сутенером тридцать девять раз… Только в четверть десятого в дверь вновь просунул голову итальянец. Он вдруг подмигнул: «Кончай, малыш. Идем-ка ужинать. Каждому тут полагается по два литра вина, да я еще бутылку припрятал!..»

Взмокший, уставший, но разомлевший от обильной еды, Оруэлл тем же вечером схлопотал «идиота» уже и от Бориса. Подвела природная честность. Накануне им с Борисом пообещали работу в одном русском ресторане, который должен был

открыться через две недели. Поэтому, когда к Оруэллу после первой отработанной смены подошел управляющий и предложил поработать уже месяц, Оруэлл, хоть и рад был согласиться (все-таки 25 франков за смену), но, вспомнив про русский ресторан, отказался. Это-то и взъярило Бориса. «Идиот! – орал он посреди ночной улицы. – Что толку клянчить, добывать тебе работу, если ты вмиг ее прохлопал?.. Одно ведь требовалось – обещать им этот месяц». «Честнее все-таки предупредить», – возразил Оруэлл. «Честней! Честней! Кто и когда что-нибудь слышал о чести плонжеров? *Mon ami*, – Борис порывисто ухватил Оруэлла за лацкан, и голос его потеплел, – *mon ami*, ты целый день там работал, ты видел, каково это; ты полагаешь, уборщики могут позволить себе благородные чувства?.. Быстро беги обратно, скажи, что очень даже готов проработать месяц…»

«Это был первый урок плонжерской этики, – заканчивает Оруэлл. – Впоследствии я понял, насколько тут нелепа щепетильность». И подобных «уроков» у него наберется вагон и маленькая тележка. Позвякивая заработанными монетами, он на другой уже день отважно обмолвится: «легкая работа». Да, легонькая такая работенка. Но правда, истинная правда, как правило, в деталях. И не дай бог узнать эти «детали»!

Шквал его «работенки» наступал трижды в день: в восемь, когда постояльцы отеля, проснувшись, требуют завтрак; с двенадцати до двух, когда у клиентов начинался ланч; и в семь вечера – время ужина. Топот, крик, яростные звонки, подъемники падают в его подвал одновременно, а в них – отборный итальянский мат официантов всех пяти этажей. В авралы Оруэлл должен был и готовить чай и кофе, и разливать шоколад, и доставлять блюда из кухни, ви́на – из погреба, фрукты – со склада. По двадцать километров набегал порой. А кроме того: нарезка хлеба, поджаривание тостов, свертывание рулетиков масла («Товарищи мои хохотали, когда я мыл руки, прежде чем взяться за масло»)…

Легонькая работа – для угорелых! «Только возьмешься жарить тосты, – пишет он, – бах! сверху прибывает подъемник с заказом на чай, булочки и джем трех сортов. И тут же – бах! – требование отправить яичницу, кофе и грейпфрут. Молнией летишь в кухню за яичницей, в столовую за грейпфрутом, чтобы вернуться к подгоревшим тостам, держа в голове: “Срочно – чай, кофе!” – и еще с полдюжины заказов…» В минутных перерывах «метешь пол… и стаканами глотаешь кофе, воду, вино – что-нибудь, лишь бы влага». И всё под аккомпанемент чистой, как та белая голодная слюна, ярости вскипающих ссор. В это время все глаголы «подземных демонов» заменяются одним – «пошел ты!..».

Верх – и низ жизни. Небеса и преисподняя. Два мира, две расы, как когда-то в Бирме. Занятно было, стоя в помойной конуре, пишет, представлять сверкающий за двумя всего лишь дверями зал ресторана. Там снежные скатерти, букеты, зеркала, серебряные приборы у тарелок. И там – там был мир их общих врагов. Однозначно!

Призна́юсь, прочитав «Фунты лиха», мне как-то расхотелось ходить в рестораны. Шут его знает, что готовят нам невидимые повара… Французский повар, со знанием дела утверждал Оруэлл, способен плюнуть в ваш суп. «Когда шеф-повару передают для заключительного оформления какой-нибудь бифштекс, вилкой маэстро не пользуется. Он хватает мясо рукой, хлопает его на тарелку, укладывает пальцами, облизав их с целью проверить соус… И официант… несет тарелку, запустив в соус свои пальцы – мерзкие, сальные пальцы, которыми он беспрерывно приглаживает густо набриолиненную шевелюру. Всякий раз, уплатив за бифштекс свыше десяти франков, можно не сомневаться в пальцевой методе приготовления… Грубо говоря, чем выше цена в меню, тем больше пота и слюны достанется вам гарниром». Ужас ведь! «Хлеб падает на пол, в месиво грязных опилок – ну и что, не с новым же возиться?.. Когда официант уронил однажды в шахту подъемника жареного цыпленка, приземлившегося на слой крошек, корок и прочей пакости, мы вытерли его тряпкой и тут же вновь отправили наверх». А ведь это был отель, который «входил в дюжину самых роскошных»…

Записки Оруэлла – это не роман «Дни в Бирме»: документальный репортаж, живое свидетельство «собачьего существования». Ау, Хемингуэй и Фицджеральд! Оруэлл писал всё как есть и, кстати, не очень и надеялся на публикацию. Больше скажу: когда потом, через пару лет, все издательства откажутся печатать «Фунты лиха», он забросит рукопись знакомой с наказом прочитать (если захочет), а потом уничтожить. За ненадобностью. Похоже, не верил он в справедливое устройство даже «литературного мира». Известность в литературе – это все-таки зачастую великая случайность!

Я говорил уже, что Оруэлл вроде бы просто описывал жизнь, а жизнь, читающаяся между строк этого дневника, невольно «описывала» его. Так вот, бедность, нищета доконает в Париже воспитанного итонца, вычерпает до донышка и корректность его, и манеры, и даже простое человеческое сочувствие. И если сначала он удивлялся приметам нищеты, манерам и ухваткам этого мира, то, поварившись в этой среде, заметил, что и сам меняется в худшую сторону. Когда он перейдет в еще один ресторан, где будет работать плонжером уже по семнадцать часов

в сутки, где времени будет не хватать и на то, чтобы «полностью раздеться перед сном», он поссорится даже с другом Борисом; они, как пишет, уже через неделю будут общаться только «сквозь зубы». Про остальных и говорить нечего. Он натурально терял человеческий облик. И если раньше обзывали его, то теперь уже он крыл всех вокруг последними словами. Он, джентльмен, даже повариху, в общем-то, несчастную женщину, уже через месяц звал просто «клячей», а когда она просила подать ей, к примеру, кастрюлю, орал, удивляясь на себя, вдогонку: «По шее тебе дам, старая шлюха, а не кастрюлю!..» Да, друзья, да: «Сначала хлеб, а нравственность – потом!» – это Бертольт Брехт, помните? И это еще «приличный» перевод фразы. К Оруэллу теперь подошел бы другой, от грубости которого и я в свое время дрогнул: «Сначала жратва, а мораль – потом». Тут один шаг не только до плевка в суп… Так что правда не просто в деталях, она еще – в нюансах чувственных…

Погиб бы он в трущобах Парижа? Не знаю. Но когда он получил из Лондона письмо от своего приятеля, что в Англии есть работа для него репетитором – присматривать за «врожденным дебилом», – он не только с жаром откликнулся на него, но почти мгновенно уволился. Беги, Кролик, беги! – хочется присвистнуть ему вслед литературной аналогией…

Вопрос из будущего: *А первый день «освобождения» помните?*

Ответ из прошлого: *Сразу же лег спать и спал почти сутки. Затем впервые за полмесяца… вымылся, сходил постричься, выкупил одежду. И два дня восхитительного безделья. Я даже… посетил наш «Трактир» – небрежно прислонившись к стойке, кинул пять франков за бутылку английского пива. Прелюбопытно заявиться праздным гостем туда, где был последним из рабов…*

В.: *А тот парень, который выжимал тряпку в суп, – он еще работал? Он реальная фигура? Ведь такого не забудешь…*

О.: *Это был венгр, смугловатый и быстроглазый… очень болтливый… Сладчайшим воспоминанием Жюля был эпизод, когда одному дерзкому клиенту он выплеснул за шиворот горячий суп… Рубя воздух взмахами кулака… подстрекал меня к бунту: «Брось ты швабру, не дури! Мы… бесплатно не работаем, мы не проклятые русские крепостные!.. И… не забывай – я коммунист!..»*

В.: *То есть «мир – это война»? И в подвалах, и наверху общества?*

О.: *Инстинктивное желание навеки сохранить ненужный труд идет просто из страха перед толпой. Толпа воспринимается как стадо, способное на воле вдруг взбеситься, и безопаснее не позволять ей от безделья слишком задумываться… Плонжер – раб… И культурные люди, от которых должны бы идти помощь и сострадание, внутренне одобряют его рабство, так как ничего про сегодняшних рабов не знают и потому сами их опасаются…*

Вот оно – пока чувственное, не умственное объяснение мира. Оруэлл воспринимал еще жизнь будто бы с «чистого листа». Он как бы смахивал с доски цивилизации все фигуры; дескать, начнем партию с начала, *ab ovo*, «с яйца». Да и то сказать: само это латинское выражение, «*ab ovo usque ad mala*», в переводе на русский – «от яйца до яблок», означает – не удивительно ли? – отношения, если хотите, первых господ мира и первых… «официантов», рабов, ибо у свободных латинян как раз с яиц начиналась любая трапеза. Это факт. Вот и Оруэлл, танцуя «от печки», то бишь от ресторана, пытался разобраться, что из чего «вытекло»: нещадная эксплуатация – из «разумной цели» или цель – из эксплуатации? Словно до него не было ни первобытных восстаний, ни борьбы классов, ни Фейербаха с Марксом и Лениным, ни даже Джека Лондона с его «Железной пятой»… Но так – от простейшего чувства справедивости – развивалась мысль и начиналась эволюция взглядов этого мятежного юноши; все-таки юноши еще. Но он придет к социалистическим убеждениям. Это тоже, представьте, факт! Считанные годы оставались до фразы, что он был и останется «за демократический социализм». Правда, опять своенравно добавит: «Как я его понимал»…

5.

Bad egg – «испорченное яйцо». Есть такое выражение в Англии. Называя так человека, британцы подчеркивают: это белая ворона, человек не от мира сего. А Оруэллу, который и был «испорченным яйцом», как раз и предстояло начинать жизнь, если хотите, «с яйца», заново. Опять сначала…

В книге «Фунты лиха» он напишет, что получил не только письмо из Англии от приятеля про работу репетитором, но и присланные ему пять фунтов. Кто был этим «приятелем», и существовал ли он вообще, – неясно. «Несудоходно». В книге говорится лишь, что с репетиторством в Лондоне ничего не

вышло – и всё «разом рухнуло…».

На деле не рухнуло пока ничего. Более того, в родительском доме в Саутволде, где он, с перерывами, проживет пять лет, будущее после парижских страданий рисовалось ему чуть ли не раем. «Фантазия, – пишет, – рисовала ему гуляние по сельским тропам, сбивание тросточкой цветков, жаркое из ягненка, пирог с патокой и сон в простынях, благоухающих лавандой».

На деле в Саутволде его ждали изодранный «кокосовый половичок» на пороге, печь на кухне с коленом трубы, которое вечно забивалось сажей, разваливающаяся мебель, сыроватая столовая, «полотенца размером с носовой платок», всюду развешанные матерью, и – комната отца, «пропитанная особым стариковским запахом». Старый Блэр, как и священник в будущем романе Оруэлла «Дочь священника», становился с годами всё более «сложным» человеком: то есть по пятницам, в «рыбный день», ел не какую-нибудь треску или сельдь, а лишь дорогую, «соответствующую ему» рыбу. Возможно, этим и гордился в любимом гольф-клубе, куда по-прежнему ходил, за что мать Оруэлла костерила мужа почем свет, сидя за очередной партией в бридж с подругами.

Так ли всё было в жизни – не знаю, но похоже, что так. После Парижа сам Оруэлл то ли ходил, то ли хотел ходить по местным магазинчикам «аристократично», то есть «небрежной походкой, рука в кармане», и чтобы на лице была «безучастная джентльменская гладь», хотел, как усвоил натвердо, чтобы никто никогда «не платил за твою выпивку». Попробовал рисовать, завел мольберт и краски и уходил с ними в поля или на берег моря. Катался на велосипеде, а иногда и на прокатных лошадях. А однажды почти два часа плавал в холодном море, когда не захватил купальный костюм (тогда подобный «костюм» включал в себя даже майку), голышом. Конфуз заключался в том, что стоило ему залезть в воду, как на берегу возникла **какая-то компания, которая возьми да и расположись у самой кромки. И Эрик плавал до посинения, пока зеваки не удалились. Впрочем, здесь меня удивила не столько его стеснительность, сколько «стеснительность» (да ханжество, ханжество!) поздних издателей его. Историю эту он описал одной знакомой, но когда, уже в наше время, эти письма публиковали, то редакторы выкинули ее по «моральным соображениям». Ну негоже выставлять классика голеньким! С такими издателями ему и придется иметь дело.**

По счастью, прежде чем он связался с ними, он познакомился с редакцией журнала *Adelphi*, который читал когда-то в Бирме и куда из Парижа еще наугад послал очерк

«Спайк» (название его переводят у нас как «Штырь»[22]**).** Потом, ввиду молчания редакции, напомнил о себе. «Я послал Вам статью, описывающую ночь в приюте для бродяг. Так как прошел месяц, я был бы рад узнать о ее судьбе…»

Журнал *Adelphi* был левым по взглядам и по первости нравился Оруэллу. Основано издание было в 1923-м литературным критиком Джоном Марри, причем название журнала было заимствовано у снесенного жилого квартала Лондона XVIII века, что символизировало интерес к чему-то очень ценному, но утраченному. Но, даже не получив ответа и на письмо-напоминание, Оруэлл вряд ли решился бы отправиться в редакцию лично, если бы не одно знакомство – и как раз в Саутволде.

Вроде бы, пишут, ранней весной 1930 года он «малякал» очередной пейзаж на пляже, когда художником заинтересовалось некое почтенное семейство, возникшее рядом, – семейство Фирцев. Особенно любопытствовала Мейбл Фирц. Ее муж Фрэнсис был довольно крупным предпринимателем в сталелитейной промышленности, а вот жена его не только увлекалась литературой, обладала вкусом, но и любила заводить знакомства в творческих кругах. Именно она, «самоуверенная», как пишут, и «решительная» женщина средних лет, и посоветовала Эрику перебираться в Лондон, заодно пригласила бывать в столице у нее и почти сразу перезнакомила его со своими окололитературными друзьями. Среди них оказался и Макс Плауман – как раз один из редакторов *Adelphi*.

Оруэлл сойдется с Максом. Тот, во-первых, припомнит, как еще в 1929-м получил в «самотеке» очерк «Спайк» неизвестного автора (очерк журнал опубликует, но через год, в 1931-м), а во-вторых, почти сразу станет одним из первых литературных адресатов Оруэлла. Но главное, Плауман познакомит Эрика с редакцией, с помощником редактора, в недавнем прошлом – механиком машиностроительного завода, а теперь – молодым писателем Джеком Коммоном, и с соредактором своим, баронетом Ричардом Рисом.

«Человек благородных кровей, ранее занимавший дипломатические посты и уволенный из внешнеполитического ведомства за явное тяготение к левым, Рис, – пишут биографы, – действительно придерживался социалистических взглядов и даже на некоторое время сблизился с Независимой рабочей партией, которая порвала с лейбористами и тяготела к коммунизму, правда, не к советскому, а к “троцкистскому”». Позже Рис разочаруется в Троцком, но *Adelphi* под его руководством будет и дальше, вплоть до Второй мировой войны, оставаться на «левом

фланге британской литературной жизни», печатая высокохудожественную прозу, поэзию и публицистику.

Они, Оруэлл и Рис, встретятся в кафе недалеко от Блумсбери, 52, где, по моим сведениям, располагалась редакция *Adelphi*. Не уверен, что это была первая встреча их, но первый серьезный разговор – точно. Так вспомнит потом сам Рис.

«Когда пишешь биографию, – покается он в книге об Оруэлле, – очень неприятно обладать памятью, которая запечатлевает только общие ситуации, настроения и мысли, но не конкретные факты. Мне довелось быть знакомым с Оруэллом двадцать лет, и тем не менее я сохранил в памяти очень немного фактов о нем… Я припоминаю, как беседовал с ним в кафе… Он произвел на меня приятное впечатление, но я и не догадывался, что ему приходится вести борьбу за существование». Оруэлл, в свою очередь, запомнит его как человека, чья «состоятельность была ему попросту недоступна». Риса ныне считают прототипом мистера Равелстона, наставника и покровителя героя романа Оруэлла «Да здравствует фикус!». Там даже журнал, в котором Равелстон печатал стихи юного поэта, назывался, как и *Adelphi*, на «А» – «Антихрист». Более того, исследователи пишут ныне, что Рис не только узнал себя в Равелстоне, но и слегка обиделся на выведенный Оруэллом образ «социалиста-богача».

«Высокий, худощавый и широкоплечий, – пишет Оруэлл о Равелстоне в романе, – с грацией аристократических манер», органично элегантный. «Старое твидовое пальто (которое, однако, шил великолепный портной и которое от времени приобретает еще более благородный вид), просторные фланелевые брюки, серый пуловер, порыжевшие кофейного цвета ботинки. В этом – наглядно презирающем буржуазные верхи – костюме Равелстон считал возможным бывать и на светских раутах, и в дорогих ресторанах…» И при всем при том он «свято верил, что социализм скоро восторжествует».

Именно тогда, в кафе, он дал совет недоверчивому Эрику:

– Вам… стоило бы прочесть Маркса, даже необходимо. Вы бы увидели тогда наше грустное время как стадию…

– Ну не волнует меня ваш социализм, – отвечал Равелстону в романе герой, – от одного слова зевота раздирает.

– Серьезный аргумент, а других возражений не имеется?

– Аргумент у меня один: никто не рвется в это светлое будущее.

– О! Как же можно так говорить?

– Можно и нужно. Ведь никто не представляет, что это за штука.

– А вы, на ваш взгляд?..

– Знать бы! – зло отхлебнул пива его собеседник. – Нам ведь всегда известно лишь то, чего мы не хотим и отчего нам нынче плохо. Застряли бурдановым ослом… Не желаю просто так уступать… хотелось бы сначала прикончить хоть парочку врагов…

– Кто же враги?

– Любой с доходом больше пятисот фунтов в год…»

Равелстон-Рис при этих словах стыдливо вспомнил, что его «чистый доход» составлял где-то около двух тысяч. «Как возражать?..» – подумал он при этом.

Подобные стычки с упрямцем Оруэллом (а его социальная задиристость выписана в романе, на мой взгляд, довольно точно) не помешают реальному Рису, который был на три года старше, стать другом Оруэллу, приглашать домой, читать его «поэтические опыты» и печатать первые заметки, обзоры и рецензии. Самой первой, кстати, публикацией в *Adelphi* стала рецензия Оруэлла на книгу Льюиса Мамфорда «Герман Мелвилл»[23]. «Перед нами, – писал о Мелвилле Оруэлл, – гениальный, непрерывно работающий человек, живший среди людей, для которых он был ни кем иным, как утомительным, непонятным неудачником». Потом была рецензия Оруэлла (тогда еще Блэра) на роман Пристли «Улица Ангела». А в апреле 1931 года, как пишет уже Рис, «мы опубликовали его “Спайк”, который позже вошел составной частью в книгу “Фунты лиха”». Повествуя о жуткой ночи в приюте, Оруэлл дерзко проводил мысль, что любой власти над людьми (власти государства, капитала, авторитета или даже моды) присуще «зло само по себе», а следовательно, делают вывод биографы, зная будущие книги Оруэлла, можно однозначно сказать: очерк его явился как бы основой будущей «характеристики Оруэллом любых тоталитарных систем». Другими словами, стал первым штырем – «гвоздем», вбитым писателем в гроб фашизма.

«Ригорист» – Оруэлл, на мой взгляд, уже вполне сформировался как ригорист. Это французское словечко «*rigorisme*» означает буквально «твердость и строгость». В силу, видимо, этого он, непреклонный, наряду с первыми рецензиями, всю весну и часть лета 1930 года упорно приводил в порядок свои «парижские записки», пытаясь превратить их в полноценную книгу. К осени она была закончена и поначалу оказалась довольно короткой и лишь «парижской». В сентябре, поставив в рукописи точку, выложил ее Ричарду Рису. Тот посоветовал послать книгу Джонатану Кейпу, крупному издателю, который с 1921 года выпускал художественную и публицистическую литературу. В любимчиках у него ходили и поэт Сэмюэль Батлер,

и супруги-теоретики тред-юнионизма начала XX века, между прочим, основатели так называемого «фабианского социализма» Сидней и Беатриса Вэббы, и писатель-разведчик Артур Рэнсом, буквально не вылезавший в 1910-е годы из Санкт-Петербурга, где ухитрился взять интервью у Ленина и Троцкого, и даже входящий в моду Хемингуэй. Но Оруэлла с его «Дневником посудомоечной машины» Кейп, увы, отверг. У книги «не найдется читателя», заявил, она не только фрагментарна, но и «малоинтересна». Этот Кейп, кстати, если забежать вперед, будет и дальше вставлять Оруэллу палки в колеса – во всяком случае, в 1944-м он, по наущению министерства информации, воспрепятствует публикации «Скотного двора». Но тогда, в 1930-м, отказ Кейпа не особо смутил Оруэлла – он представит рукопись еще в два издательства. На этот раз книгу перепишет и назовет «Дневником», но уже – «поваренка». Впрочем, ему вновь откажут в публикации. Но в одном из издательств посоветуют книгу все-таки расширить.

Расширить? Конечно, за счет своих прошлых «походов» на «дно» Лондона. Записи о них сохранились, но хватит ли их? Вот тогда он и решил вновь встретиться с «бездной», с людьми ее. Но на этот раз ему нужны были личности, физиономии, характеры.

«Однажды, – вспомнит потом Рис, – он пришел ко мне и попросил разрешения переодеться. Оставив свою приличную одежду у меня в спальне, он появился одетый чуть ли не в лохмотья. Ему хотелось, как пояснил он, узнать, как выглядит тюрьма изнутри; и он надеялся, что сумеет добиться этого, если будет задержан в пьяном виде в Ист-Энде…» Что из этого вышло, я еще расскажу, но он не только переодевался – он нарочно мазал лицо сажей, и делал это и в доме Риса, и в Саутволде. Ведь чуть ли не теми же словами вспоминала об этом и Бренда Солкелд, учительница в школе для девочек, за которой Эрик, вернувшись из Франции, попробует приударить. **Однажды, пишет она, после очередной «бродяжьей экспедиции» он буквально ввалился к ним: «Выглядел он ужасно, и мама моя, стоило ему шагнуть внутрь, оказалась отнюдь не в восторге. Я сказала: “А не принять ли тебе сначала ванну?” А когда он согласился, одна из моих сестер рассмеялась: “Надеюсь, он не воспользовался моей губкой?..” Все эти дела с бродяжничеством, – заканчивает Бренда, – были абсолютным идиотизмом. У него же был свой дом, была хорошая семья…» Не учла Бренда лишь ригоризма своего друга и его желания непременно стать писателем…**

Он пропадал теперь не на день-два – на недели. Зимой, весной, летом. Более того, через год, когда книга была сбита, он

вновь погрузится «на дно», вновь облачится в лохмотья и отправится с бродягами на хоп-сбор – ежегодную уборку хмеля в Кенте, на эту легальную, узаконенную каторгу в передовой, развитой, казалось бы, Англии. Хоп-сбор – это в кровь сбитые руки от иголок хмеля, это крики старшин-надсмотрщиков, холодные ночи в копне сена, невозможность просто умыться и подлый обман сборщиков при расчете за месяц работы. Всё это, повторяю, даже не попадет в «Фунты лиха…», останется в дневнике Оруэлла, но каждая строка об этом – это беспощадная критика Англии, камня на камне не оставляющая от ее «прав человека» и «гуманизма».

Вопрос из будущего: *Джек Лондон провел в «бездне» меньше месяца, вы – с лихвой три года. Да еще эта уборка хмеля – зачем? Он бедовал в Лондоне, вы, после Парижа, – уже по стране? Вам мало было «фактуры» для книги? Да и есть ли разница в нищете между Парижем и Лондоном?*

Ответ из прошлого: *В Лондоне даже присесть бесплатно нельзя… Падди Джакс… мой спутник на ближайшие полмесяца… направлялся в Эдбери и предложил идти вдвоем… Десятки тысяч ему подобных топчут дороги Англии. Довольно высокий, начинающий седеть блондин лет тридцати пяти… Своего положения он ужасно стыдился, но… беспрестанно шарил глазами по мостовой, не пропуская ни единого окурка… На пути в Эдбери он увидал и мигом цапнул валявшийся газетный сверток с двумя окаменевшими сэндвичами; добычу мы разделили. Он никогда не проходил мимо торговых автоматов, не дернув за рычаг (механизмы дают иной раз вытрясти монеты). Но криминальных действий избегал…*

В.: *Но ведь в Кент на сбор хмеля вы вообще отправились с уголовниками. Один – я ахнул! – шесть раз сидел в тюрьме за кражи со взломом…*

О.: *Джинджер… безмозглый, но зато безоглядно смелый и… самый интересный в компании… Был еще молодой, лет двадцати, парень по кличке Имбирь, круглый сирота. И совсем отвратительным был еврей по кличке Ливерпуль – патентованный беспризорник. Этот был так жаден в еде, ну прямо как свинья, он постоянно вертелся у мусорных баков, и лицо его при этом было как у голодного зверя…*

В.: *Вы пишете, что нищих в Англии – многие тысячи. Но что в ваше время было главной причиной, вытолкнувшей их на панель?*

О.: *Разъедающий душу позор… Однако это лишь третье из зол. Первое – голод… А второе зло, вроде менее серьезное, но на деле действительно второе – бродяга лишен контактов с женщиной…*

В.: *Но ведь это, наверное, следствие?*

О.: *Я о другом… Бродяги отлучены от женщин тем, что в этой социальной группе женщин чрезвычайно мало. Для бродяги это приговор к пожизненному безбрачию… Дама с более высоким – хотя бы чуточку повыше – положением недоступна ему как солнце… Последствия очевидны: и гомосексуализм, и случаи насилия. А за всем – внутренняя деградация человека… его не воспринимают даже как брачного партнера… И день за днем их несметные силы – силы, способные вспахать гектары пашен, выстроить кварталы домов, проложить многие мили дорог, – тратятся на бессмысленные переходы от ночлежки к ночлежке…*

В.: *В книге вы пишете, что больше всего им невыносима как раз невостребованность обществом.*

О.: *Бродяги ничего не делают вообще. Одно время их направляли бить щебенку, но вскоре прекратили, так как гигантские, на много лет вперед, запасы щебня лишили работы настоящих дробильщиков камней. Нынешняя праздность бродяг – от того, вероятно, что де́ла не находится… Это лишь очень сырая идея, которую легко оспорить. И все-таки она намечает путь к более достойной жизни бродяг… Решение в любом случае где-то здесь…*

Почему он не сбежал домой, мучился я, погружаясь в его дневник. К любимым книгам, к необязательной болтовне в *Adelphi*, к разговорам о литературе «под пивко», незаконченным рукописям, к тому же мольберту с красками, да просто к одиноким прогулкам, о которых мечтал в Париже. Кей Икеволл, будущая «подружка» Оруэлла, скажет через много лет после его смерти, что он не «приключений» искал – он «действительно хотел знать реальность». И добавит: «Если у вас есть тыл, куда всегда можно вернуться, тогда не так-то просто опустить себя на место тех, кому реально невозможно жить». Нам остается лишь гадать, о чем он, брезгливый и чистенький, думал, пережевывая выброшенные кем-то сэндвичи, о чем размышлял, пытаясь уснуть с грязной пяткой соседа под носом, как смеялся, ругался, жалел, издевался и горевал вместе с бродягами. И уж совсем потрясло меня, что, вернувшись с уборки хмеля, он не домой отправился

(отмыться, привести себя в порядок, залечить кровоточащие раны на ладонях), нет: он и неизменный спутник его Имбирь вновь поселились в ночлежке, а работать отправились на городской рынок – таскать ящики с рыбой, до ста килограммов весом, или помогать сторожам. И лишь через две недели, понимая, что так ему не написать задуманных статей, снял комнату на Виндзор-стрит и засел за работу. Но и тогда – не спешите! – ничего еще не кончилось.

«В определенной мере, – пишет в одном из предисловий к его книгам Вера Домитеева, переводчица Оруэлла, – он осуществил исконный русский идеал “жить по совести”… Он вообще, – итожит Домитеева, и с ней трудно не согласиться, – свойствами натуры больше напоминает не писателя, а того самого идеального героя, которого настойчиво, но тщетно искала великая русская литература. Что-то такое было в нем, что давало знакомым качествам отзывчивости, чуткости особую энергию, уверенную победительную силу». И хочется спросить: не велико ли «искупление» за грехи буржуазного рождения? Не многовато ли испытаний всего лишь для книги? Во всяком случае, вот вам три последних фразы его первой книги «Фунты лиха»: «Я просто рассказал: есть мир, он совсем рядом, и он ждет вас, если вы вдруг окажетесь без денег… Пока… мне приоткрылся лишь краешек нищеты». И последние два слова: «Начало есть».

* * *

Комментарий: Война идей и людей

Тридцатые годы – предпоследнее десятилетие Оруэлла. Но, может, потому, повинуясь чутью, он проживет их жадно, лихорадочно. А главное – невероятно продуктивно. Вы не поверите, но, женившись в середине тридцатых, он уже через неделю горько упрекнет жену в том, что из семи первых дней совместной жизни «у него было только два дня для хорошей работы…». Жена надолго запомнит этот упрек.

Тридцатые войдут в жизнь нашего ровесника века нескончаемыми спорами, любовью и ненавистью, дружбами и драками, атаками и обороной, идеями, конфликтами, далеким и туманным коммунизмом и близким, реальным фашизмом. Наконец, преломлениями жизни в литературе и литературы – в жизни.

Уже не только была написана утопия Герберта Уэллса «Люди как боги», в которой «коммунизм», установленный «умными и

образованными», упразднял частную собственность, деньги, правительства и ликвидировал в будущем обществе даже микробы и плохую погоду, но был напечатан и гораздо более опасный его трактат – «Открытый заговор: план мировой революции». В нем фантаст предупреждал: национализм и милитаризм могут привести мир к краху – и возвещал: единственное спасение – всемирное государство. «Открытый заговор завоюет школы и колледжи, – писал Уэллс, – привлечет молодых людей, достойных и умелых, честных и прямых, решительных и непоколебимых, и в конце концов охватит все человечество». Его поддержал Бертран Рассел: он готов не только сам вступить «в круг заговорщиков», но и привлечь в него даже Эйнштейна. Сам Ллойд Джордж написал, что суть «Открытого заговора» отражает суть всего либерализма. И пока Оруэлл скитался по закоулкам нищеты в Англии и Франции, среди интеллигентов стали возникать группы и объединения «заговорщиков по Уэллсу». Ныне даже считается, что из посиделок и разговоров подобных «заговорщиков» и возникли позже и Декларация прав человека, и ЮНЕСКО, и само движение за всеобщее разоружение. Что ж, возможно, и так. Но на утопические мечтания Уэллса фактически ответил в 1932 году своей антиутопией «О дивный новый мир» Олдос Хаксли. Да, в мире, придуманным такими, как Уэллс, писал Хаксли, исчезнут нищета, болезни и войны, зато всё будет излишне механизировано, умрет искусство, женщины перестанут рожать, а понятие души исчезнет вообще. Это была пародия на Уэллса, пародия умная и смешная. Война идей! Герой Хаксли требовал как раз полноты жизни в будущем, а следовательно, в «благолепии будущего механизированного рая» хотел бы иметь право на грех, на несчастья, на старость, уродство, бессилие, право на недоедание, на вшивость, даже на сифилис и рак. «Это всё мои права, и я их требую», – бросает в лицо правителю стерильного мира герой Хаксли. Конечно, «человеку нужен его дивный старый мир, – иронизирует Максим Чертанов, биограф Уэллса, – но неясно, почему это противопоставлено “удобствам” и почему нехорошо бороться против… лютых болей… Когда раком заболел сам Хаксли, – уже почти издевается биограф, – он не пожелал воспользоваться своим правом на страдание… а предпочел принимать ЛСД и покинул дивный мир с помощью… инъекции».

Все эти споры, полемики, драки и драчки были, думаю, известны и Оруэллу, но, в отличие от «интеллектуалов», которых он прекрасно знал и слегка презирал за их «импотенцию» в поступках, он давно решил: всё надо познать из первых рук, во

всем убедиться самому, всё лично попробовать на вкус, на цвет, на зуб… на смысл. И свое «просвещение» начал с самых бесправных в мире, у которых с лихвой нашел «права» на «старость, уродство, бессилие, на недоедание, вшивость и тиф…».

Ныне книгу Оруэлла «Фунты лиха в Париже и Лондоне» даже поклонники писателя называют «простоватой», «описательной», а иногда – вообще «беспомощной». А меры, предлагаемые им для искоренения бедности, – ну очень наивными. Разве исправишь катастрофическое положение бродяг, если разрешишь им «законодательно» все-таки спать на улице? Снизишь ли число бездомных, если обяжешь содержателей ночлежек обеспечивать жильцов «достаточно пригодными матрасами и постельным бельем» – и перегородками в спальнях, ибо, как пишет Оруэлл, «человеку необходимо спать в одиночестве»? И что изменится в «бездне», если при каждой ночлежке «организовать ферму или огород»?

Наивно! Он и сам потом призна́ется, что «не предложил в книге путей улучшения положения нищих, так называемой “социальной инженерии”», отговорившись тем, что он не политик, а «регистратор» событий. Но, замечу, в год столетия Оруэлла газета *Evening Standart* послала своего корреспондента под мосты и в притоны Лондона, по стопам юбиляра. Послала – и ахнула. Если в годы Оруэлла бездомных в Лондоне было чуть больше двух тысяч, то в 2003-м их оказалось свыше пятидесяти. «Их, правда, полиция не гоняет, как раньше, – пишет газета, – и, если бездомный другим лондонцам не мешает, он может устраиваться на ночлег где пожелает». Выходит, помог, хоть и малым, наш «регистратор событий». Только вот «правда», высказанная им, по первости оказалась не нужна никому.

Публиковать его «бездну» не горела желанием ни одна живая душа. Сочувственный, даже благожелательный отклик прислали ему только из *Farber & Farber* – прислал сам Т.С.Элиот, довольно известный уже поэт, но рукопись при этом отклонил: «Мы нашли это очень интересным, но, к сожалению, едва ли возможным для публикации». И, вероятно, Оруэлл вообще бы забросил книгу, как забросил когда-то два романа, если бы не Мейбл Фирц, к которой он время от времени заглядывал. А покажите-ка ее мне, вроде бы сказала она. И Эрик, то ли стесняясь, то ли, напротив, бравируя, не только занес ей рукопись (он, окрыленный уже первыми публикациями в *Adelphi*, вовсю работал над романом «Дни в Бирме»), но и, убегая, наказал по прочтении уничтожить книгу – но «сохранить скрепки». Хорошо, что Мейбл не послушалась. Она, связавшая его когда-то с *Adelphi*, на этот раз обратилась к Леонарду Муру, знакомому литагенту. Тот не просто одобрил

рукопись – но сразу понял, кому это можно продать. Так в жизни Оруэлла появились не только Мур, но и Виктор Голланц – первый издатель его, с которым он прошагает все тридцатые. И хоть оба – и Мур, и Голланц – в разные годы, но дрогнут перед крутой смелостью своего подопечного, нельзя не признать: без них он как писатель, возможно, и не состоялся бы.

Виктор Голланц, чье имя даже в начале 2000-х годов с трудом, но читалось еще на улице Генриетты над витриной давно заброшенного лондонского офиса его – «*Victor Gollancz, LTD.*» – был фигурой сложной, компромиссной: смелой, как все британские «левые», там, где «разрешалось», но и осторожной, если чуял опасность. Это ведь он откажется печатать будущую испанскую книгу Оруэлла, а затем – напрочь – и «Скотный двор», и роман «1984», о чем как коммерсант пожалеет. Они – Оруэлл и Голланц – будут сходиться и расходиться. Про одно «детище» Голланца Оруэлл даже бросит презрительно в 1941-м, что оно – «по существу, детище Скотленд-ярда», – хотя это не помешает вместе с ним, Кёстлером и Расселом попытаться учредить уже в 1945-м «Лигу за достоинство и права человека». Словом, ловкий, увертливый был человек, но в одном ему не откажешь: он был ярким новатором издательского дела.

Где-то я читал, что Голланц поднялся как издатель с появлением среди своих авторов Оруэлла, то есть в начале 1930-х. Это, конечно, не так. Скромный лондонец, выходец из семьи ювелиров, Голланц, окончив Оксфорд, учительствовал, пока после Первой мировой не вздумал заняться сначала изданием журналов, а затем и книг. Он был на десять лет старше Оруэлла, и, пока тот служил в Индии, уже в 1926-м возглавил одно из издательств, где выпускал книги по искусству, а потом и художественную литературу, причем с явным «социалистическим оттенком». Это он, кстати, в 1928-м напечатал брошюру Уэллса «Открытый заговор: план мировой революции». Он всё время искал новое – именно Голланц, утверждают, первым стал покупать под рекламу своих изданий целые полосы в газетах. По взглядам, пишут, примыкал к левому крылу либеральной партии, а в 1930-е какое-то время симпатизировал и коммунистам. В 1936-м вместе с Джоном Стрейчи и Гарольдом Ласки основал так называемый «Клуб левой книги», который помимо издания книг довольно скоро превратился чуть ли не в общественное движение – в лучшие годы клуб насчитывал до пятидесяти тысяч сторонников, а значит, и читателей его книг. Недурно, да?

Не проходной фигурой в жизни Оруэлла окажется и Леонард Мур, сотрудник довольно известного литературного агентства *Christy Moor*, эксперт по вопросам спроса и прибыльности

издательств. Прочитав уже настрадавшуюся рукопись Оруэлла, он не только сообщит автору, что работа ему понравилась, но предложит стать постоянным клиентом. Что-то уже тогда углядел он в этом длинном и лохматом молодом человеке. Правда, предупредит Голланца о возможных проблемах с книгой, об обвинениях ее в непристойности, богохульстве и клевете. Тот и попросит автора смягчить некоторые выражения и убрать бранные слова. Но в основном Голланц не только сочтет книгу «исключительно сильным и социально важным документом», но и тут же выпишет немыслимый для нашего «нищего» аванс в 40 фунтов. Споры вызовут лишь название книги и псевдоним автора.

Тут хотелось бы притормозить и опровергнуть некий миф, довольно давно бытующий в литературе об Оруэлле, в который я и сам, призна́юсь, верил когда-то. Он связан как раз с псевдонимом. Считалось, что Оруэлл подписал «Фунты лиха» выдуманным именем лишь потому, что не хотел, чтобы «благопристойные родители» и знакомые узнали в герое-бродяге своего сына, брата, друга. Это, конечно, не так. В семье если и не знали в подробностях про его «панельные подвиги», то о главном, несомненно, догадывались. А вот почему он выбрал псевдоним и отчего – именно такой, об этом стоит поговорить подробней.

Впервые это имя – «Оруэлл», – как помните, возникло еще в набросках к роману «Дни в Бирме». С другой стороны, отправляясь бродяжить, он в ночлежках и работных домах представлялся как некто Бартон. Но 19 ноября 1932 года, когда почти все вопросы с изданием были решены, Оруэлл в письме Муру вдруг спросил: «Но если Вам не кажется, что это имя звучит, то что Вы скажете о Кеннете Майлзе, Джордже Оруэлле, Г.Льюисе Олвейзе? Я предпочитаю скорее Джорджа Оруэлла». Писал, оставляя выбор за Муром и издателем. Голланц вообще настаивал на предельно нейтральном псевдониме, вроде буквы «Х», но это не устроило автора: с таким псевдонимом «сделать писательскую карьеру невозможно». Короче, все согласились: он подпишет книгу «Джордж Оруэлл». А что? Имя и фамилия «простые» и, на первый взгляд, даже слегка грубоватые. Как точно напишет В.А.Чаликова, имя «всехнее», вытеснившее прежнее, природное – «аристократическое и изысканное». С выбора «правильного» имени, подчеркнет, только и могло начаться выполнение его «прометеева задания» – поиска истинных имен в борьбе с «лукавой словесностью». Не прикрыться псевдонимом – а стать другим!

«У меня нет пока репутации, которую я мог бы потерять, напечатав эту книгу, – написал Оруэлл Муру, – но, если книга будет иметь успех, я могу использовать это имя вновь».

Стеснительность, неуверенность в себе, комплексы? Неведомо. Стивен Спендер, поэт, в статье «Правда об Оруэлле» (1972) почти повторит признание самого писателя: «Блэр, – напишет, – взял псевдоним еще и потому, что хотел, чтобы его книги, если бы они оказались недостаточно хороши, не добавляли бы ему унижения, которое он пережил когда-то под именем Эрик Артур Блэр». Это подчеркнет и Майкл Шелден: «Он не смог бы вынести своего имени на обложке, если бы книга не принесла успеха, он слишком привык считать себя неудачником. С помощью псевдонима он словно хотел избежать ответственности за дальнейшую судьбу книги». То есть, если книга провалится, это будет провал Дж.Оруэлла, а если нет – это будет успех Блэра…

Книга не провалилась. И первые поздравления он принимал под Рождество 1932 года. Он приехал в Саутволд, в родительский дом, и вроде бы с порога узнал: его ждет довольно тяжелая посылка. Колотилось, колотилось наверняка сердце его, когда он принялся надписывать и раздаривать книги родным, друзьям и подругам! Надписывая книгу, особо девушкам в Саутволде, с которыми крутил в это время «шуры-муры», ставил, конечно, настоящее имя – Эрик. А имя родившегося писателя Джорджа Оруэлла мир – весь остальной мир! – узнает только после Нового года. Дата рождения ныне известна – книга появится на прилавках 8 января 1933 года. Рубежный день для Эрика – и для нас…

Уже через два дня в газете *Evening Standart* о книге восхищенно написал Джон Бойнтон Пристли, близкий к социалистам драматург и романист. Через неделю откликнулся солидный литератор Комптон Маккензи: «Джордж Оруэлл создал великолепную книгу и ценный социальный документ. Это самая лучшая книга такого рода, которую я читал за последние годы». Этот Маккензи и через три года, анализируя не только «Фунты лиха», но уже и «Дни в Бирме», и «Дочь священника», призна́ется: «Я без колебаний утверждаю, что ни один писатель-реалист не написал за последние пять лет такие три книги, которые по своей прямоте, силе, смелости и жизненности могли бы сравниться с тремя книгами, вышедшими из-под пера мистера Джорджа Оруэлла». А в приложении к газете *Times* Оруэлла сравнили даже с его любимым Диккенсом – сравнили, конечно, героев его с «эксцентричными типами романов Диккенса». Одна из рецензий вообще включила книгу в число бестселлеров. Правда, некий Гумберт Поссенти в той же *Times* написал, что Оруэлл оклеветал парижские рестораны. Эрик, прочитав это, ответил: «Господин Поссенти, похоже, считает, что я проявляю какую-то патриотическую враждебность по отношению к французским

ресторанам, противопоставляя их английским. Я далек от этого. Я писал о парижском отеле и ресторане, так как знал об этом из личного опыта, и ни в коем случае не имел в виду предполагать, что в смысле грязных кухонь французы хуже, чем любая другая нация…»

«Становление писателя – это сложный процесс, – напишут в 1972 году Питер Стански и Уильям Абрахамс в книге «Неизвестный Оруэлл». – И кто может сказать с уверенностью, где и когда он начинается – с первой книги или с первого дня в школе, в день его рождения или за поколения до него, в сплетениях генеалогии?.. Поначалу, – пишут они, – Оруэлл был псевдонимом; затем, позднее, он нашел в Оруэлле свое второе “Я”, средство реализовать себя как художника и моралиста и стать одним из важнейших английских писателей нынешнего столетия… Превращение в Джорджа Оруэлла было его способом превратить себя в писателя и одновременно расстаться с собой как с джентльменом, выйти из благородного “нижне-высше-среднего” класса, к которому принадлежал… Но важнейшим результатом было то, что оно позволило Эрику Блэру “договориться” со своим миром. Блэр был человеком, с которым случались разные вещи, Оруэлл – человеком, который писал о них…»

Ну и напоследок, что ли, улыбнитесь вместе со мной. Когда он в конце жизни переберется на почти необитаемый остров Юра, то именно там псевдоним сыграет с ним, может, самую курьезную штуку. Вместе с Оруэллом, уже смертельно больным, и малышом, приемным сыном его, переедут на остров его сестра Эврил и няня, взятая для присмотра за ребенком. Так вот, две женщины не просто не уживутся друг с другом – рассорятся. Тоже война людей и идей. Рассорятся… из-за псевдонима. Няня, обращаясь к писателю, звала его Джордж, а Эврил всякий раз раздраженно поправляла ее: «Нет, его зовут Эрик!..» Как напишет позже сын Оруэлла, именно из-за этого женщины и разругались, и няне его, которую он успел полюбить, пришлось спешно покинуть и остров, и человека, имевшего два имени.

Глава 5.
Шуры энд муры

1.

Вот не могу представить, как он, – иронист, насмешник, каких поискать, – обмывал статую женщины. Да не прикола ради – всерьез. И не просто женщины – Девы Марии. И не просто водой, а какой-то специальной, «луковой». Наконец, не напоказ, для публики – в одиночестве, в церковном дворике забытого сельского храма.

Мой бывший зять – прошу прощения за личный «мемуар»! – молодой художник-авангардист, когда-то, в начале 1990-х, повез из Москвы в Петербург два ведра воды, чтобы обмыть ноги знаменитым мраморным атлантам Эрмитажа – выполнить, так сказать, «урок поклонения искусству». «Акция», говорили тогда, «перфоманс», входивший в моду… А Оруэлл, не верующий ни в какого Бога, вымыл вдруг статую в качестве (как написал одной девушке, в которую был влюблен) «своего вклада в содержание церкви». Да еще «нахулиганил» – постарался, пишет, придать Деве Марии облик дамы «фривольной», вот как во французском издании *La Vie Parisienne*. В чем состояло «хулиганство» – не пояснил. Но в числе всех «необычностей» его, начиная со стояния на голове до упорного курения вечных самокруток вместо превосходных английских сигарет, этот поступок особенно и не удивлял. Не удивит меня и совсем уж дикий, чисто подростковый курбет его, который случится вот-вот, когда он, работая учителем в частной школе, пошлет на день рождения городскому инпектору… дохлую крысу. С крысами, как помним, у него были какие-то свои – личные – счеты…

Удивляет другое: его необычное на протяжении всей жизни отношение не к Богу, не конкретно к Деве Марии – отношение к встреченным женщинам. Об этом, правда, мало известно: мало писем, свидетельств и воспоминаний. Скажем, в дневниках его, писать которые он бросал порой на долгие годы, но которые тем не менее насчитывают почти 400 страниц, о любви к женщинам, да к тем же будущим женам нет, считайте, ни слова. Негде «разгуляться» биографу.

Сразу скажу: святым не был. И хорошо. Один из последних биографов его, Гордон Боукер, прямо пишет, что он в одной из ранних переписок с девушкой был даже, пожалуй, «похотлив». В

другом месте можно прочесть по его адресу: «сексуальный хищник». Его подружка Бренда Солкелд позднее, в 1960 году, скажет в эфире «Би-би-си», что «в действительности он не любил женщин». Но та же Мейбл Фирц возразит: «Он был скорее бабником, хотя и боялся, что непривлекателен». Он часто говорил ей якобы, «что есть одна вещь в мире, которую он бы очень желал себе, – это быть привлекательным для женщин. Он любил женщин, и, вероятно, у него было много подруг в Бирме, – пишет она. – У него была девушка в Саутволде и еще одна в Лондоне… Какой-то свет на то, каким он был в реальности, – утверждала Фирц, – проливает его роман “Да здравствует фикус!”, который описывал – нет, не его в точности, не то, о чем он думал, – манеру вести себя. Даже не так, – поправляет она себя, – то, как он хотел бы вести себя…».

Вот это – «любил женщин» и одновременно считал себя «непривлекательным» – это, пожалуй, так. «Ни одна не посмотрит, не оглянется… – как напишет потом в одном из романов про своего героя. – Тридцать скоро, кислый, линялый, необаятельный». Правда, Малькольм Маггеридж много позже скажет: «В действительности он не был ни в коем случае нелюбим окружающими и обладал большим обаянием; женщины, быть может, даже больше мужчин находили его привлекательным. Однако ничто не могло излечить его от убеждения, что он и плохо сложен, и лишен грации, и некрасив…»

Но святым, повторю, не был! Обычным был человеком. Ну, может, более скрытным, чем остальные, скорее молчаливым, чем болтливым, излишне, возможно, задумчивым, словно решавшим какой-то вечный вопрос, – и очень одиноким внутренне.

Когда Кей Икеволл, девчушку-машинистку, с которой у Эрика возникнет роман, спросили в том откровенном интервью: «А на ваш взгляд, Оруэлл был человеком замкнутым?», она, уже старушка за семьдесят, ответила: «В каких-то отношениях – да. Он обсуждал что-либо только с теми людьми, которых чувствовал. И не думаю, что он легко расширял свой круг… Конечно, многие говорят, что он был довольно скрытным, но я должна признаться, что он был… и очень честен…»

Этот «честный» человек в Саутволде и одновременно в Лондоне «честно» крутил в те два-три года романы не с двумя – сразу с тремя девушками. Осуждать? Но за что же? Скорее, завидовать! Тем более что двух из них он честно звал замуж. Обе – это известно – отказались. Согласится позже четвертая – Эйлин, которая и станет любимой женой.

До 1932 года, пока «уходил в низы», Оруэлл перебивался с жильем в Лондоне, снимая дешевые углы, и время от времени

наведывался в родительский дом, в Саутволд. Осел в домашнем гнезде, когда поставил точку в «Фунтах лиха» и когда почти сразу, достав пожелтевшие уже листы набросков к «бирманскому роману», всерьез взялся за новый труд. Для заработка с начала тридцатых искал работу, по первости репетитором, а позже – даже учителем в двух, одна за другой, школах.

Первым его «репетируемым» стал ребенок-инвалид в Саутволде, которого он взялся натаскивать «в науках» (о нем, увы, ничего не известно), а сразу за ним взял в ученики трех юных братьев Петерсов. Один из них, Ричард, вырастет потом в знаменитого ученого, станет профессором философии и в 1970-х годах вспомнит, каким увидел когда-то Оруэлла. «Это был, – напишет, – худой долговязый человек, с огромной, дыбом стоящей копной волос, качавшейся в такт его легким широким шагам. С тихой обезоруживающей улыбкой, которая давала понять, что вы ему интересны и забавны… Никогда не держался свысока… На уроках… ни тени догматических нравоучений».

В это вот время и появилась в его жизни Бренда – Бренда Солкелд, дочь бедфордширского священника, жившего в Саутволде по соседству. До этого Эрику нравилась какая-то Дора Жорж, местная школьница, которой он еще в 1930-м посвятил таинственный стих «Ода темной леди», и вот – возникла Бренда, воспитательница школы-интерната для девочек. То есть как – возникла? Он знал ее давно, она дружила и с ним, и с его сестрой Эврил, а влюбился – уже потом. И потом сделает ее героиней своего второго после «Дней в Бирме» романа – «Дочь священника».

Бренда работала в школе тренером по гимнастике. Была чуть старше его, была доброй, самоотверженной, ответственной и глубоко верующей девицей, которая взваливала на себя всё: от заботы о старом отце с «запросами» (он вечно требовал от дочери вместо слова «обед» говорить «ланч»!) до помощи местной церкви и, конечно, до убойной работы в школе, где она была организатором всего и вся, начиная с проведения экскурсий и заканчивая организацией спектаклей и всяческих концертов.

«Простая вязаная кофточка, махровая на швах юбка из твида, шерстяной жакет, чулки, не подходящие по тону, изношенные туфли». И – велосипед, чтобы успевать всюду (кому воды из колодца набрать, кому старые ноги растереть с какими-то примочками, с кем-то – просто помолиться вместе). И – вечно мокрая обувь из-за утренней росы. Так он изобразит ее в романе «Дочь священника», хотя сама она решительно отрицала, что Эрик воспроизвел «ее черты». На деле эта «примерная девочка» была и **начитанной, и трезвомыслящей незамужней девицей,**

а если по годам ее, то, считайте, и старой девой…

Они с Эриком, вспоминала, гуляли в окрестностях, спорили, болтали, он рассказывал ей о Бирме, посвящал в свои планы, «грузил» историями реальными и вымышленными и издевался, как и герой его романа, над «запахами», по которым умел различать коттеджи в их городке. Может, потому **оба нанимали иногда верховых лошадей и – «седло к седлу» – выбирались за город, где потом в каком-нибудь прибрежном кабачке тормозили перекусить и что-нибудь выпить. «Мы всегда уединялись в небольшом зальчике, – вспоминала Бренда, – где можно было поговорить. Мы любили книги и могли часами говорить о них. Он вечно шокировал меня какими-то странными фактами и, когда ему удавалось это, не мог скрыть своего удовольствия…»**

Чем шокировал? Ну, например, разочарованием в Бернарде Шоу, живом классике, про которого не только говорил, что он «всего лишь смесь Карлейля с водой», но и настаивал, чтобы Бренда донесла эту «ценную» мысль до своих учениц. Или, напротив, восхищением Джойсом и его «Улиссом», который был запрещен в Англии, но который ему удалось прочесть в «контрабандном» варианте[24]**. Он не просто был сражен Джойсом – уничтожен. В письме написал:** «Когда я читаю такую книгу и затем возвращаюсь к своей работе, у меня возникает чувство евнуха, который… смог подделаться под бас или баритон, но, когда вы прислушиваетесь, вы улавливаете только писк…» **Ну и, конечно, фраппировал примерную Бренду уже не словами – руками: своими приставаниями, если, как в романе – то «**яростными, непристойными, безобразными и даже грубыми». Это и пугало ее, и притягивало**. Но вообще, судя по переписке, заполнял письма к ней «многочисленными случайными ремарками и наблюдениями, на которые Бренда не только не была способна ответить, но и знала: он и не ожидает этого. Он просто мыслил вслух, а она была всего лишь аудиторией».** Он был, призна́ется, «великим мастером писать письма». «Скорее возвращайся, дорогая, – писал ей, когда она уехала в отпуск. – Может быть, ты успеешь возвратиться до начала занятий…»

Да, желая покончить с холостяцкой жизнью, Оруэлл звал ее замуж. Впервые – еще в начале 1930 года, а потом, по ее словам, еще несколько раз, пока наконец она не отказалась бесповоротно. Отвергла, поскольку сочла «человеком, не приспособленным» к семейной жизни. «Он влюбился, – призна́ется потом, – но брак был не для меня. Я уверена, что с

ним *невозможно* (курсив мой. – В.Н.) было бы жить…»

Настойчивым он был и с другой – с Элеонорой Жак – и добился ее, но даже это не принесло ему счастья. Это ей, Элеоноре, он и напишет, что вымыл статую Девы Марии. К тому времени (а шел конец лета 1932 года) он вновь переехал в Саутволд, чтобы помочь родителям обустроиться на новом месте – они на какое-то наследство купили уже собственный дом. По утрам писал «Дни в Бирме», днем вместе с отцом и Эврил возился в саду и по хозяйству, а вечера проводил с Элеонорой, тоже соседкой по городку. Родители ее были канадскими французами, которые перебрались в Англию еще в 1921-м. Оруэлл и девушка – она была на три года моложе его – довольно скоро стали любовниками, только вот заниматься любовью им было негде: снимать номер даже в самой дешевой гостинице ему было не по карману, а в родительских домах всегда кто-нибудь был… Выручали укромные уголки в кустах, перины мха в лесу, солнечные полянки, скрытые от посторонних глаз. В одном из писем из Лондона вспоминал: «Прекрасная была погода в Саутволде, и я не могу припомнить, когда еще я радовался прогулкам, которые были у нас. Особенно тот день в лесу, где были эти глубокие постели из мха. Я всегда буду помнить твое прекрасное белое тело на этом темно-зеленом мхе…» Цитирую этот эротический отрывок исключительно по Майклу Шелдену, ибо в первом томе собрания эссе, статей и писем Оруэлла именно эти слова были вычеркнуты редакторами – по опять-таки «моральным» (кто бы сомневался) соображениям. И отнюдь не по «моральным» – по некомфортным – соображениям это всё меньше нравилось Элеоноре: прозаичной, практичной и требовательной девице. Ее, в отличие от Бренды, скоро стали раздражать и эти прогулки «в поля», и недорогие ресторанчики, куда он водил ее по бедности («Как, вы даже кофе не закажете?..» – округляли глаза официанты), и посещения каких-то музеев, когда им случалось быть в Лондоне и они замерзали от хождения по улицам. Довольно скоро ей опротивели, кажется, и их соития на подстилках в лесу. Она еще приезжала к нему в Хейс, где он начал преподавать в маленькой школе и где сошелся с викарием местной церквушки, для которого и вымыл статую Девы Марии, но чувства «девы Элеоноры» увядали на глазах.

На свою беду, он познакомил Элеонору с Деннисом Коллингсом, который также влюбился в нее. После этого Элеонора почти перестала отвечать на письма Эрика, а затем прямо написала, что не любит его и просит ее оставить. Вместе с Деннисом укатила в Сингапур, где тому предложили место заместителя директора местного музея и уникальную

возможность участия в антропологических исследованиях. А Оруэлл потерял сразу двух друзей. Позже напишет, хотя и по другому поводу: «Самая страшная пощечина – та, на которую у тебя нет возможности ответить». Правда, через много лет уже Деннис вспомнит: «Когда я женился на Элеоноре, это не привело к каким-либо проблемам между Эриком и мною. Не думаю, что он хотел на ком-нибудь жениться вообще, и уж тем более на Элеоноре, у которой были свои собственные идеи на этот счет… Если бы она поняла, что ошиблась, она бы признала это. А склонить ее к притворству, уговорить ее было, конечно, невозможно. Эрик же был интеллектуальным упрямцем, и это не в упрек ему – просто он был таким. Он нежно относился к Элеоноре, и всё у них шло хорошо. Просто Элеонора поняла: Эрик – не из тех, кто *может жениться…*» (Курсив мой. – *В.Н.)*

Так – и по одной и той же причине – развалилась еще одна «лав стори» Оруэлла. Приятный, нежный Эрик, интересный человек – и к тому времени известно было уже, что и талантливый (ведь в *Adelphi* регулярно печатались его статьи), – а вот в мужья почему-то не годился. Он не подойдет для этой роли еще одной девушке. На «шуры-муры» сгодится, а на замужество – не подойдет…

2.

– Миссис Икеволл, ведь Оруэлл в некотором роде был довольно романтичным человеком? – спросил у Кей в 1984-м корреспондент «Би-би-си».

– О, да, он был слегка старомодным в этом отношении. Но большинство моих подруг, и я в том числе, думали о себе как о свободных женщинах, передовых, что ли, – в двадцать три года это нормально… Я имею в виду, что между нами никогда и речи не было о браке или о чем-нибудь таком, мы были просто друзьями…

– А какое самое яркое ваше впечатление?

– Я думаю, это прогулки, которые мы совершали, беседуя о птицах и о животных… Он был очень самодостаточной личностью. Он мог готовить, мог чинить одежду и делать все прочее в этом роде. И я без меры восхищалась им за это. Но больше всего я радовалась тому, что узнавала от него. У меня ведь совсем не было опыта. Я просто чувствовала, что поглощаю много новых, незнакомых мне идей…

Жутко интересное интервью дала престарелая Кей Икеволл, и я еще вернусь к нему. Но прежде надо рассказать, как он

перебрался в Лондон, как и зачем пошел преподавать в школы, как входил в «литературные круги», как, наконец, писал второй роман свой и «делал жизнь», которая станет основой романа третьего. Тоже ведь «шуры-муры» молодого писателя, но уже – с литературой! С идеями, витающими в воздухе, с новой для себя средой. Те поиски себя, без которых нет, наверное, ни одной писательской биографии.

Он был самодостаточным, верно (мог заштопать носки и «положить брюки под матрас», чтоб наутро они выглядели отглаженными), у него была воля стать писателем, но у него – не будем забывать – не было профессии, а значит, и денег на жизнь. Деньги, ухмыльнется позже, «как труп, обязательно всплывут». Дело решило репетиторство: зарабатывать он мог лишь учительством, и потому весной 1932 года обнаружил себя в городке Хейс, в «одном из самых забытых Богом мест», а на деле – в двух десятках километров от Лондона, в маленькой частной школе для мальчиков. Взяли его преподавателем «гуманитаристики». Именно так!

«Слышь, Эмма, у меня идея! Что скажешь, если школу завести? Денег она полно дает, а потеть, как при лавке или пабе, там не с чего, – так, с обращения к жене какого-нибудь провинциального торговца, начинались тогда в Англии буквально тысячи мелких частных школ. – И потом, дерготни ведь никакой, – убеждал супружницу подобный прохиндей, далекий от всякой педагогики: – плати аренду, наставь скамеек да к стене черную доску. Шику подпустим, наймем по дешевке безработного парня с этого Оксфорда-Кембриджа, нацепим ему мантию, колпак ихний квадратный с кисточкой. Не клюнут, что ль, родители-то, а? Место б только подобрать, где бы поменьше умников…»

Так напишет Оруэлл про школу в Хейсе в романе «Дочь священника», и это окажется правдой. Школ второго сорта, третьего, четвертого можно было по дюжине насчитать в любом провинциальном городке. Получше, похуже, но в основании всех – общее зло: сорвать денег. Заводят их с тем же расчетом, с каким открывают (его слова!) публичный дом или подпольную букмекерскую контору. Лишь «утвержденные» школы (которых одна на десять) проверяются государством. В остальных, пишет Оруэлл, полная воля, как учить, чему учить – или не учить вовсе. «Никто такие очаги знаний не контролирует, кроме родителей, поистине тех самых слепых, ведущих за собой слепцов».

Школа, где оказался он, принадлежала некому Дереку Юнону; тот также рассматривал ее как дополнительную прибыль к своей фабрике граммофонных пластинок. Маленькая школа для детей местных торговцев и лавочников, в ней было всего двадцать

мальчишек. «Дисциплин» особых не преподавали. Оруэллу было даже велено не увлекаться «непрактичными» предметами вроде «худлитературы», истории или, не дай бог, политики. Родители требовали, чтобы школа давала знания, нужные в работе «по хозяйству». Немножко арифметики, чуть-чуть аккуратного письма, ну и начатки французского – это было модным. Главное – чтобы ученики могли получить место клерка в какой-нибудь фирме или продолжить дело предка в лавчонке-палаточке.

Школа (уж лучше «школка») находилась на первом этаже, а второй занимал Юнон с семьей. Там же выделили комнатку и Эрику. Но не зря говорят: талантливый человек талантлив во всем. Эрик всё время выламывался из дозволенных рамок. Таскал учеников по соседним болотам, дабы показать, как из влажной почвы вырывается природный газ, на французском требовал, чтобы ни слова не произносилось по-английски, предлагал «лепить карту Британии из пластилина» (это называлось «заняться географией»), назначал премию в шесть пенсов тому, кто заметит неграмотную рекламу, выставленную в окнах соседних лавок – тех самых, которые принадлежали родителям школьников. А однажды затеял даже постановку одноактной пьесы, которую сам и написал, – пьесы под названием «Король Чарльз II» (имел в виду, как пишут, Карла Второго Стюарта). «Работа» над этой пьесой попадает, представьте, даже в переписку Оруэлла с Муром – только что обретенным литературным агентом.

«Новую книгу я не хотел бы обещать к лету, – напишет Муру 19 ноября 1932 года по поводу «Дней в Бирме». – Я, конечно, мог бы сделать это, если бы не преподавал, но при такой жизни я не могу устроиться на любую работу, хотя ищу ее… Я должен подготовить школьный спектакль, и не только написать, но провести репетиции и, что хуже всего, смастерить костюмы. В результате у меня практически нет досуга…»

Какой там досуг, какая книга, когда, зажав во рту кучу булавок, под бульканье кипящей клееварки надо было ползать по полу среди клочьев пакли (будущих париков), банок с красками, обрывков марли, уже готовых деревянных мечей, картонных кирас и раскроенных ботфортов короля, – ползать, кромсая садовыми ножницами очередной лист упаковочной бумаги. К дьяволу Бирму и роман о ней, если на репетициях надо было срывать голос на бестолковых «актеров», показывать, как рапирой закалывать противника или как пройтись по сцене походкой «знатной леди». До премьеры всего ничего, а не готовы еще шлемы, камзолы, ножны, шпоры, а ведь нужно еще соорудить трон и даже декорации леса… «Эта несчастная постановка, –

выдохнет в следующем письме Муру, – в конце концов, прошла не так уж плохо…»

Неплохо! Спектакль, который войдет потом в роман «Дочь священника», стал великим событием в школе, а 29-летний и драматург, и режиссер, может, тогда и почувствовал впервые, что на деле очень любит детей, и хотел бы, как призна́ется Кей Икеволл, иметь своих – много своих детей. «Я, кстати, говорила с ним однажды на эту тему, – вспомнит она, – и он признался, что хотел бы иметь детей, но не уверен, что они будут у него. Тогда я спросила: “Почему?” “О, – сказал он, – я думаю, что просто физически не могу иметь их”. Тогда я спросила: “Но что заставляет вас думать так? Вы же и не пытались ни разу?” И вот тут он ответил: “Ладно… Не буду иметь, и всё…” Именно поэтому, – скажет Кей, – он и усыновил потом Ричарда…»

Почему не будет иметь детей – мы от него, этой застегнутой на все пуговицы души, так и не узна́ем. Очередная засада, *back to the wall*… Может, врожденная патология, или стыдная болезнь, последствия бирманских «шалостей», а может, вечные простуды и будущий туберкулез? Но он уже в тридцать не догадывался – знал это…

…А вообще потом, в «Автобиографической заметке», которую его, уже знаменитого, попросят написать для американского справочника «Авторы XX века», напишет, что порядок его служб был таким: судомой, репетитор, учитель в «бедной частной школе». Ровно так могли написать о себе многие писатели, те же Грэм Грин и Ивлин Во, которые начинали жизнь с учительства. И ровно как у них, в его каморке на втором этаже среди нагромождения книг, учебников, «оползней рукописей», битых блюдечек – «хранилищ пепла и скрюченных окурков» – стояла громоздкая пишущая машинка, и справа от нее росла стопка готового текста. 1 февраля 1933 года он шлет Муру часть рукописи: «Я вижу, что в нынешнем состоянии всё это ужасно с литературной точки зрения, но я хотел бы знать: если хорошенько отполировать, что-то исключить… и вообще всё несколько сжать, – получится ли что-то вроде вещи, которую захотят прочитать люди?» А 18 февраля победно сообщает домой: «Агенту очень понравились сто страниц моего романа, и он торопит меня с продолжением…»

Про «бедную частную школу» в «Автобиографической заметке» написал, а про вторую (там же, в Хейсе), не упомянул. А это была не «школка» – почти респектабельный Фрейх-колледж, куда он перешел после каникул 1933 года и где обучалось уже две сотни мальчиков и девочек, а некоторые и жили там же, в пансионе. Здесь работал над романом уже ночи напролет –

преподаватели так и запомнили его, непрерывно курившего даже в учительской свои крепчайшие самокрутки и редко спускавшегося по вечерам из своего «стойла» (так звали свои каморки учителя). В этом был некий способ, как напишет в одном из романов, «дать в морду нищете и одиночеству». А когда случалось в очередь дежурить в пансионе, то тащил за собой свою машинку и сразу после отбоя прятался с ней в комнате по соседству (он по-прежнему писал тексты от руки, переписывая куски и по три, и по пять раз, но взял за правило самостоятельно перепечатывать их). Спал ли он когда при такой работе – неведомо, ибо на рассвете, когда смолкал стук машинки, его часто видели притихшим над удочкой на берегу речушки, которая разреза́ла школьный двор.

Впрочем, ученики успели полюбить его и здесь. Один из них вспомнит его как очень добродушного преподавателя, который время от времени наигранно кричал: «О, Господи! Вы доведете меня до Хэнвелла!» – то есть до местной психушки. Но доведет его «до ручки» как раз рукопись, которую он к концу работы просто возненавидит: «Меня тошнит от одного вида ее, – напишет Муру. – Будем надеяться, что следующий роман окажется лучше». Кстати, книгу сам отвез Муру, и, представьте, на мотоцикле – с первой зарплаты неожиданно приобрел подержанную «тачку». Она-то и добьет его. Мотаясь на мотоцикле даже зимой и в Саутволд, и в Лондон, попав однажды под ледяной дождь, он и схватит жесточайшую пневмонию. С его-то легкими…

Это случится в канун Рождества. Когда Оруэлла доставят в больницу, врачи, осмотрев его, лежащего в горячке, телеграфом сообщат матери, что сын находится в «безнадежном состоянии». Это цитата! Айда и Эврил сорвутся и кинутся в Аксбридж. Эрика застанут в бреду, он будет нести что-то невразумительное и вновь и вновь повторять одно слово: «деньги». Ему казалось, что он опять в приюте для бездомных, где прятал деньги под подушкой.

Воспаление легких стало вторым звоночком. Первый, если не считать детства, был после Бирмы, когда, как вспоминала Рут Питтер, она ахнула, встретив его как-то зимним ветреным вечером без пальто, без шапки и перчаток и даже без шарфа. «Я была уверена: он находится в предтуберкулезном состоянии, – напишет. – Я набросилась на него с упреками, пытаясь убедить его обратить внимание на свое здоровье. Всё было тщетно. Его ведь проверяли на туберкулез, но результат вроде бы оказался отрицательным, так он говорил. Он никогда не лечился – пока не стало поздно…»

Две недели пролежал Оруэлл в Аксбридже, а когда вернулся домой, то по общему согласию было решено: к преподаванию он

больше не возвращается. Родители вроде бы успокаивали: проживем, прокормим. Но он знал: «Деньги всплывут». Как труп. Кстати, это тоже цитата. Из третьего романа, из книги «Да здравствует фикус!». В нем бичом и ужасом главного героя – такого же, как он, неприкаянного, бедного и несчастного поэта – станут именно деньги. Отсутствие их. Из-за чего он, главный герой, и объявит им беспощадную войну. Будет демонстративно отказываться от них, отдергивать от них свои незапятнанные руки. Наивно? Задиристо? Но так думал тогда Оруэлл, не замыкая еще напрямую бедность с изменением социальной системы, с социализмом, с революцией. Пока это был всё тот же мятежный пессимизм «интеллектуального упрямца», как назвал его Деннис Коллингс, «головной бунт» думающего и совестливого человека. Тоже ведь, если говорить условно, «шуры-муры» – заигрывание начинающего политика (а он и вырастет в недюжинного политика!) с нарождающимися в обществе свежими идеями – спорными, противоречивыми и в то же время невероятно соблазнительными.

Вопрос из будущего: *Эпиграфом к роману «Да здравствует фикус!» вы взяли строки из первого послания апостола Павла, но издевательски переиначили: «Деньги (а не любовь, написали вы) терпеливы и милосердны, деньги… всему верят, на всё надеются…» То есть проблема вечна? Да?*

Ответ из прошлого: *Мысль, энергия, стиль… всё требует наличных… Вера, надежда, деньги: лишь святому под силу сохранить первые две – без третьего… На деньгах стоит дорогая школа, среда влиятельных друзей, досуг, покой размышлений… Господи, не надо благодати – подкинь деньжат!..*

В.: *«В жизни, – пишете вы, – только два пути: либо к богатству, либо прочь от него…» Вы едва ли не с детства сознательно выбирали второй путь?*

О.: *Я в шестнадцать понял, за что бороться, – против Бизнес-бога и всего скотского служения деньгам…*

В.: *А ведь и в литературе – круговая порука денег? Вам ли не знать этого? «Уже по тому, что рукопись не отбита на машинке, – пишете вы, – они видят, кто ты есть…»*

О.: *Сказали бы прямо: «Не суйся со своими стишками. Мы стихи берем только у парней, с которыми учились в Кембридже. А ты, рабочий скот, знай свое место». А вообще в войне с деньгами нельзя отступать от правил.*

Первое из них – не брать подачек.

В.: *«Живя в гнилом обществе», цитирую ваш роман, есть лишь один путь: «Менять, обновлять саму систему». Нельзя навести порядок, забравшись в свою нору…*

О.: *Жизнь – это открытая площадка для всеобщего кулачного боя, и наилучшим доказательством способности выжить является способность выиграть в этом соревновании… За всем крикливым пустословием насчет «безбожной» России и вульгарного «материализма», отличающего пролетариат, скрывается очень простое желание людей с деньгами и привилегиями удержать им принадлежащее. То же самое относится и к разговорам о бессмыслице социальных преобразований, пока им не сопутствует «совершенствование души»… Знаете… кем-то неплохо сказано, что в нашем мире выживает только святой или мерзавец.*

В.: *Герой вашего романа, вы прямо пишете, – не святой…*

О.: *Тогда, пожалуй, лучше <быть> скромным мерзавцем, без претензий… Видите ли, природа «кроваво-клыкаста и когтиста»… Наверное, быть свирепым плохо, но такова цена, которую надо платить за то, чтобы выжить… Человек сражается против стихий… и в этой борьбе ему не на что и не на кого положиться, кроме самого себя…*

3.

Любил детей, ненавидел деньги. Обожал женщин – но не верил себе и в себя. Имел смелость «смотреть в лицо неприятным фактам», но сомневался в каждой написанной строке и от неуверенности буквально «впадал в панику»; был самодостаточен в быту, но старомоден в отношениях с людьми. На «старомодность» его трижды укажет и Ричард Рис – почти единственный в то время покровитель Оруэлла. Старомоден, скажет, в поклонении перед прошлым, людьми ушедших эпох и утерянными добродетелями, старомоден во вкусах, в каком-то «тяжеловесном обхождении» с окружающими.

Это – если подбивать первые итоги. Их пора и подбить: летом 1933 года ему стукнуло тридцать. «*En l'an trentième de mon âge*», – часто твердил в тот год по-французски первую строку баллады Вийона «Большое завещание»: «Год жизни шел тогда тридцатый». Он, Оруэлл, уже автор одной книги – правда, документальной.

Вторую, роман «Дни в Бирме», только что отвез литагенту. А третью – тоже роман, «Дочь священника», не вполне удачный, как и всякий второй опыт молодого прозаика, – спешно заканчивал в Саутволде после перенесенной пневмонии. «Идея была хорошая, – напишет Муру, – но боюсь, что получилось дерьмо; но это то, на что я сейчас способен…»

Он был упрям и понимал, что одарен. Но он чуть ли не на год «завис» на шее у семьи, чего поклялся когда-то не делать. Особенно это не нравилось отцу. Однажды при встрече Оруэлл вдруг спросил Риса: «Надеюсь, вы любите свою семью?» Тот понял: Оруэлл думал об эдиповом комплексе, «об упреках со стороны отца… И я, – заключал Рис, – могу понять мистера Блэра… Нельзя ждать от отставного чиновника… чтобы он радовался сыну, добровольно ставшему бродягой…».

А ведь они, кажется, были похожи – отец и сын. Может, потому и конфликтовали. Племянница Оруэлла вспомнит, например, что отец Эрика «если и говорил о ком-либо, то непременно после того, как определит “классовое” положение этого человека». Но окончательно убедил меня в похожести отца и сына пустячный случай. Когда тем же летом в Саутволд завезли модную, нашумевшую тогда кинокартину со знаменитым комиком Джеком Хулбертом, то Оруэлл, купив билет, имел неосторожность сказать об этом отцу. Так вот, старший Блэр, успевший посмотреть фильм, просто убил младшего: он буквалистски, но захватывающе пересказал сыну картину от начала и до конца. Билет, считайте, пропал. Попробуйте пересказать книгу или фильм, да так, чтобы отпало желание читать или смотреть оригинал, – это, согласитесь, особый талант, и оба любопытных, жадных до жизни Блэра – отец и сын – обладали им с лихвой…

Во всем сочувствовали Эрику лишь Эврил, сестра его, да тетка Нелли Лимузин. Она-то и найдет место «мальчику», когда в семье разразятся бои местного значения по поводу трудоустройства его. О, как он будет издеваться в романе «Да здравствует фикус!» над мещанистой семьей своего героя, поэта Гордона Комстока, выпустившего к тридцати годам, как и Оруэлл, одну-единственную, «тощую, как блинчик», книжонку! «Тоскливый хоровод родни», «бесцветные неудачники», вечно «обеспокоенные деньгами». Вот они-то, «линялые», кудахтая беспрестанно, и озаботились поисками нашему писателю сытного местечка… А что? Что ты морщишься? Что вообще ты хочешь, что умеешь? Кто вообще будет кормить двухметрового амбала, возомнившего себя писателем?..

Нелли Лимузин нашла ему место помощника книжного

продавца в магазине приятелей своих, супругов Вестропов; она сошлась с ними (особенно «по-женски» – с Фрэнсис) в обществе эсперантистов. Эти милейшие люди владели «Уголком книголюба» – небольшим букинистическим магазином в лондонском районе Хэмпстед. Более того, хозяева его тоже были почти социалистами. Как напишет потом не без ерничества напарник Оруэлла по работе за прилавком Ион Кимче, – «верящими социалистами»: в том смысле, что не пили напитков крепче кофе…

Лондона Оруэлл не любил и раньше, это был тоже один из пунктиков его. «Казалось, всякая жизнь всякой живой твари на улицах этого города, – напишет в романе, – невыносима и бессмысленна… Что-то ужасное есть в оживленном вечернем Лондоне… Уличная толпа – шествие блуждающих мертвецов!.. Семь миллионов человек тесно снуют, замечая друг друга с обоюдным вниманием рыб в аквариуме». В той же «Автобиографической заметке» призна́ется: «Около года я был помощником продавца: работа интересная, но понуждавшая меня жить в Лондоне, чего я терпеть не могу… Я не люблю большие города, шум, автомобили, радио, консервы, центральное отопление и “современную мебель”». И особо не любил «престижные» районы. Увы, Хэмпстед был как раз престижен. Здесь царил «особый левый дух», тут жили Т.С.Элиот, Д.Б.Пристли, Г.Уэллс, лейбористские политики супруги Вэбб. Тут жил, кстати, и Олдос Хаксли.

Не знаю, не проверял, висят ли мемориальные доски на зданиях, где жили эти высокочтимые люди, а вот на доме, где стоял когда-то «Уголок книголюба», доска Оруэллу прибита. Ныне здесь, на углу двух улиц, выстроен стеклянно-бетонный «Дом пиццы». А 20 октября 1934 года, когда Оруэлл впервые вошел туда (кстати, ровно за пять дней до выхода в Америке его романа «Дни в Бирме»), весь первый этаж – точнее, три комнаты – занимали букинистическая лавка и библиотечка, где за почти условную плату («два пенни без залога») можно было взять книги и просто почитать.

Приняли его Вестропы любезней некуда. Взяли на неполный рабочий день. В его обязанности входило открывать лавку по утрам, потом уходить к себе, а после полудня отрабатывать по графику всего лишь пять часов. В бумагах Оруэлла даже сохранилось расписание, которое он составил. «7 утра – поднимаюсь, одеваюсь и т.д., готовлю и ем завтрак. В 8.45 – спускаюсь вниз». В письме Бренде сообщит подробнее: «Открываю магазин, примерно час нахожусь там, до 9.45. Затем возвращаюсь домой, навожу порядок в комнате, зажигаю камин и пр. С 10.30

до часу занимаюсь писательскими делами, в час дня готовлю и ем ланч, с 2.00 до 6.30 я в магазине. Затем возвращаюсь домой, обедаю, мою посуду, потом иногда работаю примерно час…» Ну не блеск ли? Утром можно писать, а вечером – общаться с писателями из *Adelphi*, с Ричардом Рисом и с «литературной компанией» не забытой еще Мейбл Фирц. Тогда же Фрэнсис, миссис Вестроп, фактически распоряжавшаяся хозяйством «Уголка», приветливая и добрая женщина (в новейшие времена, когда обнародовали архивы спецслужб, выяснится, что она не только «приглядывала» за постояльцем, но и доносила о его «левых» убеждениях), показала ему комнатку, где он будет жить. Спросила: нуждается ли он в чем-то еще? «Более всего, – буркнул он, – мне необходима свобода». «Вы хотите, – откликнулась Фрэнсис, – чтобы женщины находились здесь всю ночь?» Оруэлл принялся было отрицать это, но она перебила: «Я только хотела сказать, что мне все равно, будете вы это делать или нет…» Шикарные, короче, условия, хотя именно этот разговор, как отметит Майкл Шелден, «моральные редакторы» мемуаров тоже на всякий случай вырежут… А Вестропы будут и дальше покровительствовать ему. Но знали бы вы, как он опишет их в будущем романе! Словно чуял другую, скрытую «роль» миссис Вестроп. Какие там «женщины на ночь» – хозяйка его из романа запирала наружные двери в 23 часа, подглядывала за постояльцем, чуть ли не читала его почту (любила «поглядеть на просвет» каждый конверт), и даже запрещала ему заваривать у себя чай. И – «патологическая жадность», и «каменная физиономия», и «визгливый голос»…

Магазин, помимо книг, торговал подержанными пишущими машинками, старыми почтовыми марками, гороскопами, запечатанными в конверты, которые «правильно» предсказывали, что вы «невероятно привлекательны», а также календарями и рождественскими открытками. Позднее, в 1936-м, Оруэлл опубликует эссе «Воспоминания книготорговца», в котором, назвав магазинчик, на первый взгляд, «маленьким раем», а дни, проведенные в нем, – «счастливыми», призна́ется, что на деле именно после этой работы не только перестал жадно покупать книги, но – перестал любить их. «Когда-то я действительно любил… их вид, их запах, – напишет. – Не было большей радости, чем купить кучу книг за шиллинг на деревенском аукционе… Забытые поэты XVIII века… разрозненные тома собраний сочинений; подшивки женских журналов “шестидесятых”. Для случайного чтения – например, в ванне или поздно ночью, когда вы так устали, что не можете уснуть, – нет ничего лучше… Но… когда их видишь постоянно, массой в пять-десять тысяч томов, –

книги даже надоедают. Теперь я покупаю их по одной, от случая к случаю, и это всегда книга, которую я хочу прочитать и не могу ни у кого занять. И никогда не покупаю мусор…»

На первых порах, еще в эйфории от найденной работы, он признавался, что, если бы у него было семьсот или даже пятьсот фунтов, он непременно открыл бы свой букинистический, где продавал бы и свои книги. Позже от этой мысли отказался. Во-первых, в таком магазине много работы, его хозяин вкалывал по семьдесят часов в неделю. Во-вторых, холодно: в тепле окна запотевают, «а окна – это витрина». В-третьих, пыльно: «Нигде так охотно не умирают мухи, как на книжных корешках». Но главное – за прилавком надо было всегда ради продаж обманывать покупателей. Он усвоил, что книги (да вся издательская деятельность) – это бизнес, а не филантропия. Убедился, что «и баронеты, и автобусные кондукторы» книги покупают не потому, что в них таятся «кладовые знаний и мудрости», а потому, что в любом читателе можно разжечь аппетит на «любой вкус» и со свистом толкать любых авторов – получше, чем «просроченные сосиски»…

Наметанный «писательский глаз» Оруэлла довольно скоро четко выделил типы посетителей. Вот снобы, гоняющиеся за первыми изданиями, вот восточные студенты, приценивающиеся к дешевым хрестоматиям, вот опустившийся старик, пахнущий плесневелыми сухарями, который приходит по нескольку раз в день и пытается продать никому не нужные книги, а вот и славная старая леди, которая еще в 1897 году прочитала «такую замечательную книгу», но, увы, не помнит ни названия, ни автора, но четко помнит, что «у нее была красная обложка…». Все они попадут потом в роман «Да здравствует фикус!». Но туда, увы, не попадет, например, коллега-продавец Ион Кимче, который запомнил, что Эрик Блэр при первом знакомстве с ним представился уже просто: «Джордж Оруэлл». Кимче был младше, ему было двадцать пять, он считал себя журналистом и историком и был реально связан с социалистическими организациями. Они подружатся, будут встречаться потом, даже работать в одной газете в 1943 году, и Кимче, который станет довольно известным историком, вспомнит позже, что Эрик в магазине никогда не садился: его «слегка неуклюжая фигура» всегда торчала посреди магазина и чем-то напоминала ему «фигуру генерала Шарля де Голля»…

О чем же был сам роман «Да здравствует фикус!»? (Кстати, на мой взгляд, недооцененный. Недооцененный прежде всего Оруэллом, который не считал его «сильной работой»[25].) Если в двух словах, то о «маленьком человеке». Если в одном абзаце – о

поэте, который, как и Оруэлл, служит в книжном магазине и, ненавидя мещанство и вечные фикусы в окнах как символ его, вступает в единоличную схватку со стремлением людей к деньгам. А еще – о «бедной любви» двух неприкаянных душ. И если рассматривать эту книгу в ретроспективе, то нельзя не поразиться невероятной, какой-то монументальной цельности Оруэлла – и творческой, и жизненной. Прав, прав Уильям Стейнхофф – может, лучший исследователь Оруэлла, – сказавший, что «всю жизнь… он писал один и тот же роман». И сто раз права Виктория Чаликова, которая сказала когда-то: «Сквозной герой всех его романов, кончая романом “1984”, – это интеллигент-неудачник. Человек физически слабый, больной, одинокий, скрытный, озлобленный, но внутренне готовый вступить в бой с целым миром и погибающий физически и духовно в этом бою. Всегда – один и тот же человек…» И почти всегда, добавлю от себя, этот человек – сам Оруэлл.

«Уйти, уйти, спрятаться *ниже* всего этого! – размышляет в самом начале герой Оруэлла Гордон Комсток. – Пропасть в толпе теней, неуязвимых для страхов и надежд…» До тридцати Комсток, выходец, как и автор, из родовитой, но обедневшей семьи, был вполне благополучен: у него не только вышел первый поэтический сборник «Мыши», но и двигалась вверх карьера в большом рекламном агентстве, где он придумывал удачные слоганы про «питательно-живительные» супербульоны, но где все говорили только о деньгах. Не желая быть как все, возненавидев деньги, убедившись, что вся реклама – сплошной обман, он сознательно устраивается на дешевую работу в книжный магазин. И с упорством стоика, аскета, монаха отказывается от всего, что может обогатить «хозяев жизни»: от кружки пива, от билета в кино, от приглашения в кафе за счет друга и, уж конечно, от денег «в долг», даже если умирал от голода. Невозможный, короче, тип, который всюду видит либо «печать капитала», либо «позу смирения» перед ним. «Продаю душу дьяволу, – записывает потайные мысли героя Оруэлл. – От денег отрекаешься? Отрекись заодно от жизни». Будешь, будешь, рефлексирует, «строчить баллады во славу чипсов», забудешь «мятеж против Бизнес-бога», женишься «со всем набором: стричь лужайку, катать колясочку, слушать концерт по радио и взирать на фикус», станешь «солдатиком огромной армии, которую качает в метро: утром – на службу, вечером – домой». И, протестуя против подобной участи, он вот уже второй год пишет поэму в четыреста строк «Прелести Лондона», которой собирается «потрясти и обрушить мир»…

Интересно сопоставлять жизнь Оруэлла в этот период и

«выдуманную» им – в романе. Если вылущивать из романа реальные эпизоды и, особо, детали, то надо признать: описанное не придумаешь. Вот он, молодой поэт («средней пуговицы на пиджаке нет, правый локоть протерся, мятые брюки обвисли»), собирается в «литературный салон» к критику Полу Дорингу. «Воротничок, для свежести, он вывернул наизнанку, а прореху довольно удачно прикрыл широким узлом галстука. Затем, соскоблив спичкой ламповой копоти, подчернил белесые трещины ботинок… Кроме того, в специально припасенную пустую пачку “Золотого дымка” он по дороге вложил сигарету из автомата “Покури за пенни”… Нельзя явиться вообще без сигарет, ну а с единственной – вполне прилично… Небрежно предлагаешь кому-нибудь: “Закурить не хотите?”, в ответ на “спасибо” открываешь пачку и ахаешь: “Черт! Где же сигареты? Кажется, едва распечатал”. Собеседник смущен: “Нет-нет, последнюю не возьму”, – отказывается. “Да берите мои!” – вступает другой… После чего, разумеется, хозяева дома без конца пичкают тебя куревом. Но одну сигарету для поддержания чести иметь надо обязательно…»

Уловки бедности – это надо было испытать. Да, «побывать в чьем-то доме – уже праздник, – размышляет в романе герой. – Пружинящее кресло под задницей, чай, сигареты, запах женских духов – поголодав, научишься ценить такие штуки…». Но! «Мэтры “скучайных вечеринок” были столь хилыми львами, что свита не дотягивала даже до уровня шакалов… стайки лощеных юнцов, забегавших на полчасика… <Для них> он был пустое место… И, несмотря на постоянство разочарований, как же он ждал этих литературных чаепитий!.. Чертова бедность… Дни за днями не с кем поговорить, ночи и ночи в пустой спальне… Культурный мир! Чего, дурак, полез?.. Нелепая затея посылать стихи всяким “первоцветам”, словно туда пускают подобную шваль… Педики! Жопы драные!.. Гады лживые!» И ведь всё это – люди, окружавшие Оруэлла. «Большинство знавших его в те дни, – подтвердит потом и Кей Икеволл, – находили себя в этой книге». Все эти «педики» и «гады» кучкуются в романе вокруг журнала «Антихрист», а на деле, как я писал уже, – журнала *Adelphi*, где Оруэлл начал свою карьеру. «“Антихрист”, – не без издевки пишет Оруэлл, – был журналом умеренно высоколобых претензий, с направлением неистовой, хотя и весьма туманной левизны. Складывалось впечатление, что выпускала его секта яростных ниспровергателей всех идолов, от Христа до Маркса, совместно с бандой стихотворцев, отвергавших оковы рифм…»

Повторю: Ричард Рис, изображенный в романе как редактор «Антихриста» Равелстон, не просто узнал себя в книге – почти

обиделся на Оруэлла. «Очередная попытка, – пишет Оруэлл о нем в романе, – сбежать от своего класса… Попытка, естественно, провальная, ибо богачу никогда не притвориться бедняком… Кроме того, – язвительно подчеркивает, – он свято верил, что социализм скоро восторжествует и всё уладится». А каков был «социализм» их класса – просто уничижительно характеризует словами любовницы Равелстона Хэрмион, которая, отправляясь в изысканный ресторан, разнежившись в такси, склонив голову на плечо Равелстона, вдруг говорит: «Скажи… почему надо… носиться со всяким сбродом?.. Все эти люди пишут в твой журнал, только чтоб клянчить у тебя. Я знаю, ты, конечно, социалист. И я, мы все теперь социалисты, но я не понимаю, для чего раздавать даром деньги и дружить с низшими классами…» «Хэрмион, дорогая, – откликается Равелстон, – пожалуйста, не говори “низшие классы”». – «Но почему, если их положение ниже?» – «Это гнусно звучит. Называй их рабочим классом, хорошо?» – «О, пусть будет “рабочий класс”. Но они всё равно пахнут!.. Милый… иногда я подозреваю, что тебе нравятся низшие классы». – «Конечно нравятся». – «Боже, какая гадость! Бр-р!» «Она, – заканчивает Оруэлл, – затихла, устав спорить и обняв его сонной нежной русалкой…»

М-да, обидеться Рису все-таки было на что. Хотя он уже после смерти Оруэлла, согласившись, что роман «биографичен», тем не менее увидел в герое откровенную «жалость писателя к себе». Проникнутый такими настроениями, тот больше похож не на святого Георгия, сражающегося с драконом в образе денег, а на «надувшегося мальчишку…». И сравнивает вдруг героя романа – я ахнул! – с Иваном Карамазовым!..

Они, Оруэлл и Рис, и в романе, и в жизни всё чаще спорили. Спорили в редакции, в дешевых пабах, куда затаскивал чопорного Риса Оруэлл, наконец, в доме Риса, в его четырехкомнатной квартире, куда Оруэлл, бросив предварительно в окно камешек, любил-таки заходить. Спорили о Хаксли, о Джойсе, о «социализме» и о самом сущностном – о революции. Да-да, в центре Лондона, оплоте «развитого капитализма» герой романа, какой-то затюканный жизнью поэт, вдруг ошарашивал собеседника:

«– Знаете, я на днях просто мечтал о мировом пожаре. Чуть не молился… Так и вижу: здесь все покойники, ходячие покойники…

– Нам просто, увы, не слишком повезло с эпохой, – ответил Равелстон. – Гибнем, так сказать, накануне возрождения.

– …Насчет возрождения – пока ни весточки… Всё это, что мы с вами говорили, всё это – блядство!

– Что именно?

– Да весь этот социализм-капитализм и прочая мутотень. Нафиг мне современное положение? Да хоть вся Англия, кроме меня, с голоду будет пухнуть – мне наплевать!..

– В определенной мере вы, пожалуй, правы. Маркс говорит нечто довольно схожее, определяя идеологию следствием экономики.

– Да вы вот всё по Марксу! Сами-то по себе не пробовали. Что тяготы – хрен с ним, с тяготами! Такой становишься забитой тварью. Тебя просто сливает, как дерьмо в унитаз…»

А через несколько страниц Оруэлл свяжет революцию и… фикус. «Фикус, – скажет Равелстону, – это самая суть! Никакой революции не будет, – крикнет, – пока в окошках торчат эти фикусы». Почему? Да потому, что в фикусах сосредоточился смысл и суть жизни серых и бедных людей, фикус – символ «жалкого благополучия, всех претензий к жизни большинства». Цветок Англии – не белая роза, зайдется в гневе, а фикус. И «фикус, а не льва и единорога, надо впаять в герб Британии»…

Бросьте, бросьте, успокаивают нас «мудрые» современные литературоведы из тех самых «лощеных умников»: Оруэлл просто прочел уже «Добродетельных голодранцев», роман покойного Роберта Трессола, вышедший еще в 1914 году. Это там, в той книге, рассказывалось об отчаявшемся плотнике, который заложил всё свое имущество, кроме фикуса. Отсюда, дескать, идея. Что ж, возможно, но такую «хилую» идею мог развить в антикапиталистический роман только незаурядный уже писатель.

Фикус – не метафора, реальный цветок – победит главного героя романа. Когда его девушка Розмари, такая же бедная и простая работница, как и он, призна́ется ему, что беременна, – он поймет, что проиграл. Он вернется в ненавистное рекламное агентство с приличными «четырьмя фунтами в неделю», будет писать лживые слоганы о дезодоранте для ног, о готовом хрустящем завтраке («Детишки утром требуют хрустяшек!»), понимая, как и многие в той фирме, что «в жизни нет ничего святого», а реклама – «грохот мешалки в свином корыте». Прощай, и писательская слава; свою неоконченную поэму, пачку затертых страниц, Комсток, затормозив у сточного люка на улице, просунет под решетку – она, как и сам он, булькнет в «унитазе культуры». «Хитер Бизнес-бог! – зафиксирует размышления героя Оруэлл. – Если б он ловил только на всякие такие штучки, как яхты, лимузины, шлюхи, шампанское». Нет, он добрался до самой потаенной «чести-совести» и легко кладет на лопатки даже «совершенно непрошибаемых». «*Vicisti, o ficus*! Ликуй, фикус, ты победил!..» И, подняв голову, герой вдруг замечает: он стоит

прямо под огромным трехметровым подсвеченным плакатом, рекламирующим «Порошковый супербульон». И, как выстрел в мозгу, грохнет в ту минуту: «Войны не избежать». Почему, с какой стати грохнет? Неизвестно. Но «мигание рекламы» полыхнуло для него «предвестием огненных взрывов». «Будучи зрячим, разве не увидишь, что за фасадом гладенько самодовольной, хихикающей с толстым брюхом пошлости – лишь жуть и пропасть, только тайное отчаяние? Всемирное стремление к смерти. Пакты о самоубийстве. Головы в газовых духовках тихих одиноких квартирок. Презервативы и аборты. И зарницы грядущих войн. Вражеские самолеты над Лондоном, грозно ревущий гул пропеллеров, громовые разрывы бомб, – предсказывал уже тогда. – Всё-всё написано на роже “Супербульона”… Гибнет наша цивилизация. Обречена погибнуть… О, как мечталось услышать мощный тяжелый гул штурмовой авиации!.. Гул артиллерии, тучи бомбардировщиков – ба-бах! И вся наша цивилизация, – пишет еще в 1935-м Оруэлл, – летит к черту, куда ей и дорога…»

Этот роман – переломный для Оруэлла, скажет Ричард Рис. «Он знаменует собой конец первого этапа творчества Оруэлла – 1936 год был поворотным пунктом в его карьере». А еще, пишет, в этой книге уже был дух романа «1984», который завершил третий и последний этап творчества. Герой терпит поражение, потому что он – выходец из буржуазного класса, и сам Оруэлл уже, дескать, пришел к мысли, что «рабочий класс сильнее духом», чем кто бы то ни было.

Я, который, как и все в СССР, сначала познакомился с последним романом писателя, как раз с книгой «1984», читая «Да здравствует фикус!», вышедший у нас впервые в 2004-м, не просто видел эти совпадения – чуть не вскакивал поминутно. Нет, всё же Оруэлл – цельнометалличен! Похожесть главных героев, похожесть антиподов их, любовной линии (ведь и там, и там герои случайно знакомятся в коридорах учреждений, а сближаются за городом, «в полях»), идентичность финалов, которые заканчиваются полным крахом главных персонажей. Не знаю уж, хорошо ли быть «цельнометаллическим» в литературе, но в «Фикусе» автор действительно приходит к выводу, что «рабочий класс сильнее духом». Ведь и в романе «1984» герой книги, помните, выводит в потайном дневнике: «Если есть надежда, то она в пролах… Лишь в них, составляющих восемьдесят пять процентов населения Океании… когда-нибудь родится сила, способная уничтожить Партию… Пусть даже через тысячу лет!..»

Скажу больше: читая Оруэлла «с конца» – сначала роман «1984», а затем, через много лет, «Фикус», – я, как в

ретрофильмах, узнавал даже предложения. Романы и начинаются одинаково. «Часы пробили половину третьего», – читаешь в романе «Да здравствует фикус!». А вот первая фраза «1984»: «Был яркий холодный апрельский день, часы били тринадцать…» И почти сразу в «Фикусе», через пару страниц: «На улице было по-зимнему угрюмо… Надорванный угол плаката, воспевавшего “экспресс-соус”, отклеился и судорожно трепетал длинной бумажной ленточкой…» Боже, ведь я уже читал это в романе «1984». Помните: «Внизу, на улице, ветер крутил пыль, и обрывки бумаги… Всё выглядело бесцветным, за исключением всюду расклеенных плакатов… “БОЛЬШОЙ БРАТ ВИДИТ ТЕБЯ”… Ниже бился на ветру другой плакат, с оторванным углом, то открывая, то закрывая единственное слово: “АНГСОЦ”»?..

Да, правы Чаликова, Стейнхофф, Ричард Рис: он всегда писал один и тот же роман, и всегда – про одного и того же героя. И этим героем был он сам: не Оруэлл, конечно, – Блэр. Он ведь и в жизни, как в двух этих романах, все-таки попадет в тюрьму, «добьется» ее – именно так. А разница в его собственных чувствах, если судить от романа к роману, окажется в итоге не больше, чем разница на циферблатах в зачинах этих книгах: от половины третьего дня – до тринадцати часов. Против, заметьте, часовой стрелки, словно от книги к книге он взывал: «Время, назад!» Хотя и тут спрятана какая-то страшная загадка: ведь самая мрачная книга столетия начинается с часов, которые бьют (!) тринадцать. Не двенадцать, как обычные часы! Словно автор говорит: сломался миропорядок, какой-то вечный механизм жизни. Ведь кто-то же скажет о нем: он был человеком, идущим вперед, с лицом, повернутым назад…

4.

– Миссис Икеволл, когда вы впервые встретились с Джорджем Оруэллом?

– Я считаю, что это был конец 1934 года; мы встретились в книжном магазине в начале Понд-стрит. У меня было машинописное бюро вверху этой улицы. А кроме того, я всю жизнь охотилась за подержанными книгами… И когда однажды я зашла в магазин, то увидела там чрезвычайно высокого человека, про которого, помню, подумала, что это ведь очень удобно: он же может дотянуться до тех книг на полках, которые не достать… В общем, как-то так мы начали обсуждать книги, вроде того: «А вы читали…», – и всё такое… А однажды он спросил: не хочу ли я встретиться с какими-то его друзьями, которые тоже

интересуются книгами. Так я впервые оказалась у него… Так встретилась с Райнером Хеппенстоллом, Майклом Сейерсом, миссис Фирц и некоторыми другими людьми, которые были его друзьями. Мы стали видеться довольно регулярно…

Это – из интервью «Я помню Джорджа Оруэлла», которое дала Кей Икеволл в 1984-м тогда корреспонденту «Би-би-си», а ныне – писателю и драматургу Н.Уильямсу.

– Он говорил о Бирме, да? – спросил Уильямс.

– Ах, да, да. Он был отчаянный антиколониалист, как и большинство из нас. Мы обсуждали и вообще политику того времени, но никто из нас не разбирался в ней… И он страстно хотел написать что-то эпическое под Чосера, поскольку был увлечен им… Он даже написал начало, которым был не очень доволен; из-за этого он и решил, что поэзия – не его удел… Может, я слегка высокомерно говорю об этом, но я сама писала стихи тогда. Он был очень интересным, но у него была масса странных предрассудков… У него было своего рода чутье на плохое. И его притягивала именно эта сторона вещей… Он был против феминисток, вегетарианцев, пацифистов, людей, которые пьют фруктовые соки и носят сандалии… Я думаю, что у него были искаженные представления о политике, можно сказать, односторонняя точка зрения, которая в реальной жизни ценности почти не представляла… Но сейчас, когда и «Скотный двор», и «1984» преподают в школах, та картина тридцатых годов, которая нарисована им… выглядит особенно неточной… Я начала даже думать, что он потому стал столь бешеным, что никто, кроме людей, которых он одобрял, не высказал иного взгляда.

– А он вообще-то любил людей?

– Да, я думаю так… У него была способность к дружбе, хотя и здесь он проявлял осторожность. Он обнаружил, например, что вообще-то трудно говорить с теми, у кого не было такого же уровня образования… Может быть, вы знаете, у него были какие-то неудачные дружбы в Бирме, и потом его бэкграунд довольно тяжеловатый…

– Он был англичанином среднего класса, который столкнулся с предрассудками?

– Ну, я не думаю, что он сталкивался со своими предрассудками. Я думаю, что он заботливо оберегал их…

– В книге есть огромное ощущение и стыда, и сомнений. Из-за бедности его?

– Он считал себя ужасно бедным. Я ему говорила: «Смотри, у тебя хватает еды и есть крыша над головой, чего же ты еще хочешь?» Но у него было чувство, что он недостаточно способный человек… Он ненавидел, если вы предлагали ему оплатить что-то

пополам с ним. Думал, что это проявление слабости. И все часто спорили с ним по этому поводу. Мы все зарабатывали примерно столько, сколько и он, так не заплатить ли и нам?..

– В «Фикусе» эти ссылки на отсутствие денег у героя – и самые частые, и самые сильные эпизоды.

– Да, хотя в жизни это было не так страшно… Он жил вполне комфортно…

Так вспоминала Оруэлла 73-летняя Кей Икеволл. Она не только писала когда-то стихи, но и печаталась, в частности, в журнале *Listener* при «Би-би-си», где публиковались и Б.Шоу, и В.Вулф, и Б.Рассел, и где позже будет выступать и Оруэлл.

Почти год они – Кей и Оруэлл – были любовниками. Но речи о женитьбе не было, Кей понимала: ему нужна другая жена – «самоотверженная, готовая отказаться от своих планов и самостоятельности, согласная быть помощницей». Она сразу сказала Эрику, что у нее было немало романов и что замуж не вышла, боясь утратить независимость. Попросила его лишь об одном: чтобы предупредил ее, если встретит другую… И вот тут-то – внимание! – и возникает первая загадка: кем же была в реальной жизни Розмари, героиня романа «Да здравствует фикус!»? Та отзывчивая девушка в кокетливой шляпке и с «треугольным личиком», в которую был влюблен Гордон Комсток и на которой к концу книги он женится? Это была Кей Икеволл или все-таки Эйлин, будущая жена Оруэлла?

– Когда вы читали «Да здравствует фикус!», – спросил Кей Н.Уильямс, – вы узнавали события вашей реальной жизни?..

– Ах, да, конечно, – мгновенно откликнулась она. – Мне кажется… было много реальных случаев, которые я узнала в романе, как та, например, вечеринка, когда он потратил все деньги, полученные им за статью или за что-то еще. Там, в ресторане, было пять или шесть человек, и он угощал всех нас огромным количеством шикарной еды, а затем оказался совершенно пьяным – именно в тот вечер он и напал на полицейского…

«Напал на полицейского…» – это, если угодно, вторая загадка и романа, и жизни Оруэлла. Он реально хотел попасть в тюрьму, чтобы узнать, что она представляет из себя. Ричард Рис, как бы «прикрывая» его, помните, пишет в книге, что Оруэлл хотел бы попасть в каталажку, чтобы «узнать, как выглядит тюрьма изнутри». В другой раз Оруэлл сказал своему другу из *Adelphi* Джеку Коммону, что решил попасть под арест и что для этого попробует «запалить костер на Трафальгарской площади – там, где когда-то спал под газетами». Коммон ответил, что этого мало; чтобы попасть за решетку, надо «пойти как минимум на кражу».

Этого не хотелось уже Оруэллу – он опасался не того даже, что получит срок, а что в суде будет раскрыт его псевдоним.

Так вот, Н.Уильямс прямо спросил Кей Икеволл: «Это было, когда вы уже знали его? Как он пытался и как проник в тюрьму?»

– Он, – ответила Кей, – был пьян, ударил полицейского или что-то вроде этого. Но в полиции нам сказали, чтобы мы забрали его домой и присмотрели за ним…

Занятно, не правда ли? И уже иначе смотришь на иные события в романе. Значит, и свинское «пиршество» в ресторане, и всё, что последовало за ним, – всё было и в жизни? И, значит, Розмари в романе – это все-таки Кей?..

В тот день, говорится в романе, Комсток едва дождался перерыва на обед и, выскочив на улицу, кинулся в ближайший банк. Карман ему просто жег утренний конверт из редакции «Калифорнийской панорамы», а в конверте – умопомрачительное богатство! – чек на 50 долларов, гонорар за стихотворение. В голове героя замелькало: «Улыбки девушек, затянутые паутиной бутылки вина, кружки пива, новый костюм, пальто из ломбарда и, конечно, – уик-энд с Розмари… Вдруг озарило: сегодня ужин втроем – он, Розмари и Равелстон… пару фунтов на такой праздник не жалко…»

– Алло, алло, Равелстон (конечно, Ричард Рис, который узнал себя в романе. – *В.Н.*)? Слушайте, не хотите вечерком вместе поужинать? Что?.. Нет, к черту, это я, я приглашаю!..

Затем – звонок в агентство, где в студии журнальной рекламы трудилась Розмари. «Ужин? – обрадовалась она. – Сегодня? Замечательно!» Комсток хотел еще отправить по почте пять фунтов сестре своей, Джулии, – он за эти годы «назанимал у нее» раз в десять больше, – но послать не успел: «Ладно, завтра с утра…» Зато успел, схватив такси, притормозить у паба и, от широты души ухватив и таксиста, хлопнуть по паре джина…

Равелстон уже ждал его у входа в дивный богемный ресторан «Модильяни», «Гордон с негодованием отверг скотские “ресторанчики”. Вот еще!..» И почти сразу к ним подошла Розмари («Шляпка надвинута под особенно провокационным углом. Сердце гордо забилось: вот она, его девушка!»). У столика Равелстон шепнул ему: «Давайте это будет *мой* ужин?» – «Идите к черту!» «Ну тогда, – робко предложил Равелстон, – пополам?» Но Гордон гордо отрезал: «Плачу я!»

Что было дальше – не знаю даже, как и описать. Когда гости его захотели ограничиться вдруг пивом, нашего героя понесло: «Бросьте!» – крикнул он. Ему требовалось нечто действительно великолепное – шипучее, с роскошно хлопающей пробкой. Шампанское?.. Ага, вот что!

– «Асти» у вас есть?..

Потом возникли тартинки с анчоусами, печеная лососина, жареный фазан под хлебным соусом. И как же засверкал после «интеллектуальный разговор»! О бесчеловечности нынешней жизни и культуры; о чем же еще? Оруэлл (то есть, пардон, Гордон!) «клеймил гиблую современность: пулеметы, кинофильмы, презервативы и воскресные газеты… Милое дело – обличать гниющий мир, жуя деликатесы». Все за столом были умны, но Гордон просто блистал и, с «отвагой автора, известного лишь домочадцам, сшибал авторитеты: Шоу, Джойс, Йейтс, Элиот, Хемингуэй – парочка хлестких фраз – и в мусор…»

– Официант! – поднимал руку. – Еще такая же бутылочка найдется?

Розмари толкала его под столом, Равелстон в который раз предлагал самому заказать вина, но наш герой, опьянев до неожиданно вдруг «утолстившихся пальцев», не замечал уже ничего. Счет был на три с половиной фунта, он «ужаснул Розмари», но Гордон бросил четыре: «Сдачи не надо!» – и громко возгласил: «Идем в кафе “Империал”!» В такси – а он настоял на такси, хотя «Империал» был рядом, – он вдруг очнулся, «как это иногда бывает среди ночи, когда внезапно поймешь, до дна осозна́ешь свою смертность или полнейшую ничтожность прожитой жизни… Он сидел, ясно всё понимая. И то, как глупо выкинул пять фунтов, и то, что собирается подло спустить другие пять… <для> Джулии… Выпить, вернуть недавний вдохновенный восторг!» – и, попросив водителя притормозить, почти на ходу купил литровую бутылку кьянти… Потом, после кофе, несмотря на вытянутые лица друзей, он потянул их в бар («Нельзя упустить пиво!»). На улице потащил Розмари в темный уголок («Хочу тебя поцеловать!»), потом, распугав проституток, прятавшихся там в нишах, «пыхтя и неуклюже», пытался расстегнуть ей платье, за что схлопотал по физиономии, но догнать ее, когда она вырвалась, не смог – ноги не слушались. Равелстон, заметив, что он пьет кьянти прямо из горла, выхватил у него бутылку: «Вы что, хотите, чтобы вас в полицию забрали?» – «Я хочу выпить…» Короче, после этого был паб, где вторая литровая кружка уже не полезла в горло, брякнулась об пол, а народ шарахнулся в стороны. «Быстро поплыли, закружились лица, зеркала, бутылки. Гордон падал…» А после паба, когда Равелстон заплатил за «оставленную разруху» и пытался поймать такси, наш поэт «поймал» двух проституток… Потом была какая-то «дыра» с кривой табличкой «Гостиница», разбитая лестница на второй этаж, грязная постель, потом он как-то съехал с кровати, голова коснулась пола, а ноги в носках остались там, на

кровати… То есть мир, и так перевернутый, перевернулся реально… Только на этот раз он, «поэт», стоял на голове не перед «девочкой с бантом» – перед грязнейшей из проституток Лондона…

Ничего этого Рис в своей книге об Оруэлле не пишет. Да и было ли это? И так ли? Хотя внутренняя мотивация, логика развития характера героя, еще недавно мечтавшего о «мировом пожаре» и крушении мира, здесь, несомненно, присутствует. Катись всё к чертям, и пусть мир рухнет… К чертям собачьим!..

Я пишу не литературоведческую книгу, и всё сказанное, разумеется, не разбор произведения Оруэлла. Меня интересует лишь, что́ из реальной жизни этого «закрытого» писателя попало в его роман. Был ли этот кошмарный ужин в ресторане? Был, кивает нам из прошлого Кей Икеволл. Была ли каталажка, полиция, куда доставили Оруэлла в невменяемом состоянии? Тоже была, и тоже – ее слова. Вот только с нападением на полицейского – вопрос. То есть и слава богу, что вопрос!..

Равелстон и Розмари застали героя в одиночной камере, облицованной от пола до потолка «белой чистейшей плиткой». Эта камера, превратившись потом в камеру пыточного Министерства Любви, целиком попадет в последний роман Оруэлла. Голова Гордона пылала, его постоянно рвало, он ничего не помнил – «возможно, он кого-нибудь убил, – пытался вспомнить он вчерашний вечер и сам себе отвечал: – И наплевать…». К счастью, заглянувший до появления Равелстона констебль, принеся ему чашку чая, успокоил: оказывается, он по пьянке кидался вчера на какого-то сержанта полиции. «Я?» – прохрипел Гордон. «А кто ж еще? Прям-таки озверел… По протоколу у тебя “пьяный дебош”. Хорошо еще, так надрался, что кулаком в лицо сержанту не попал». Так Оруэлл пишет в романе, а в жизни, в чьих-то мемуарах промелькнет – я помню – фраза, что он «сбил с полицейского шлем». «Что же мне теперь будет?» – спросил Гордон констебля. «Пятерик штрафа или две недели отсидишь, – добродушно ответил тот. – Сегодня разбирает судья Грум. Считай, повезло, что не Уокер. Тот-то трезвенник, крут насчет пьяниц».

Так и случилось. Пять фунтов штрафа заплатил за него Равелстон, а потом недели две держал Гордона у себя, отдав ему пижаму и тапки. Единственной явной неправдой в этой части романа были как раз тапки, по роману оказавшиеся слишком большими для героя, а по жизни наверняка маловатыми – он ведь был огромным, Оруэлл, он ведь и в Испанию поедет, купив себе заранее сапоги самого большого размера…

Рис в книге об Оруэлле пишет о каталажке скупее. «Но,

очутившись в ней, – как бы мимоходом замечает Рис, – он выслушал отеческое внушение, провел ночь в камере, а наутро, после доброго напутствия, был выпущен». Как было на деле – не разобраться уже. Для Оруэлла это был опыт, которого он, цельнометаллический, и добивался. Для окружения – повод для разочарования в нем: он не такой, каким казался. Ну, а для нас – лишний штрих в его портрет… Впрочем, после плохой жизненной полосы всегда наступает полоса хорошая, после пьянки – трезвость, а после зимы – скатимся окончательно в трюизм – наконец весна…

«Весна, весна! – пишет в «Фикусе». – Повеяло дыханием поры волшебной, когда оживает и расцветает мир! Когда потоком вешних струй смывает уныние зимы, красою нежной молодой листвы сияют рощи, зеленеют долы, и меж душистых первоцветов кружат, ликуя, эльфы… Ну, и так далее, – снижает он, словно застыдившись, тон. – Находятся немало чудаков, которые всё продолжают воспевать этот вздор в эру центральной отопительной системы и консервированных персиков. Хотя весна, осень – какая теперь разница цивилизованному человеку?» В городах вроде Лондона смену сезонов, пишет он, сменяет лишь тот или иной мусор на тротуарах. «Конец зимы – топаешь по ошметкам капустных листьев, в июле под ногами – россыпь вишневых косточек, в ноябре – пепел фейерверков, к Рождеству – апельсиновые корки…»

Так вот, дорогие мои, именно так: сначала – по капустным листьям, потом – по косточкам, а к Рождеству – и по апельсиновым коркам гуляли по Лондону счастливые Оруэлл и девушка с «треугольным личиком» по имени Эйлин. Это не походило уже на любовные «шуры-муры», здесь всё отдавало чем-то бóльшим, чем «интеллектуальные интрижки». У них со дня знакомства и до женитьбы прошло как раз чуть больше года. И не была ли в ресторане четвертой или пятой именно Эйлин, будущая жена его?..

Короче, после безобразной истории в ресторане Оруэлл в феврале 1935 года оказался жильцом дома там же, в Хэмпстеде, но по адресу Парламент-Хилл, 77, где проживет чуть больше полугода и где также висит мемориальная доска. Квартирку – не такую, разумеется, дешевую, как предыдущие – Оруэлл снял с подачи Мейбл Фирц у ее знакомой Розалинды Хеншель-Обермейер. Розалинда была племянницей композитора, пианиста и дирижера сэра Исидора Хеншеля, с которым дружила миссис Фирц. Была замужем, но разошлась, а лишние комнаты сдавала. О, Розалинда не была против неурочного стука пишущей машинки Оруэлла, его полуночных друзей и подруг, вечерних

чаепитий – и более того, будучи магистром психологии, не только понимала людей творчества, но и себя причисляла к богеме. У нее тоже случались вечеринки друзей по университетскому колледжу, и Оруэлл бывал в числе гостей.

1935-й окажется, может быть, самым счастливым годом его. Еще недавно, в октябре 1934 года, в Нью-Йорке напечатали его «Дни в Бирме», а уже в марте и затем в июне 1935 года и в Англии выйдут последовательно «Дочь священника» и британское издание романа о Бирме. Нельзя сказать, что он стал известным писателем, но определенное имя – может, только интонацию, взятый звук – в литературе уже имел. Он печатает отзывы и обзоры в разных изданиях, публикует стихи в *Adelphi* (одно стихотворение, «На разрушенной ферме вблизи граммофонной фабрики», вошло в антологию «Лучшие поэтические произведения 1934 года»), пишет отклики для еженедельника *New English Weekly*, где в августе 1935-го ему даже предложат вести регулярную колонку рецензий, по поводу чего его приятель по Бирме Малькольм Маггеридж не без доли цинизма заметит: «Постоянная колонка в газете – всё равно что регулярный стул… по заказу». Наконец, в газетах и журналах пишут и о нем, об Оруэлле. А однажды – известна даже дата, 6 июля 1935 года, – открыв журнал *New Statesman*, он обнаружил в нем очередную рецензию на «Дочь священника», которую написал, представьте… Сирил Коннолли.

Непредставимо: они не виделись четырнадцать лет. Со времен Итона. Оказалось, что Сирил, опознав в «писателе Оруэлле» старого друга Эрика, упросил редакцию дать именно ему на рецензию «Дочь священника». А через пару дней после публикации получил письмо от Оруэлла не столько с благодарностью, сколько с призывом посетить его. Да побыстрей!..

Коннолли вспомнит потом, что был поражен тем, как изменился за эти годы его друг. Особо впечатлили его «вертикальные морщины», которые прорезали лицо Оруэлла от глаз до подбородка. Но как бы то ни было, дружба между ними не только вспыхнула с новой силой, но оказалась и полезной. Коннолли, ставший к тому времени довольно известным критиком, был связан с широким кругом лондонской интеллектуальной элиты, в которую введет и Оруэлла. Тогда же организует, кстати, первое выступление Оруэлла – лекцию в литературном обществе графства Эссекс «Признания того, кто был на дне».

Подметит в друге, кстати, не только морщины. Когда позовет Эрика к себе в Челси на «вечеринку с девушками», найдет в нем то,

*о чем и не подозревал. «*Он пришел усталый и лохматый, – вспомнит, – в старом костюме, и держался в сторонке, но в нем угадывалось что-то необыкновенное, что магически действовало на женщин. Они невольно тянулись к нему. Они к этому не готовились, это как при встрече с Иоанном Крестителем, выступившим из пустыни, – женщины сразу чувствуют в человеке нечто подобное, и не имеет значения, какие взгляды исповедовал этот замечательный человек. И такой эффект он, я думаю, – пишет Коннолли, – производил везде…»

Сирил окажется одним из немногих, кто любил и понимал Оруэлла. Он, например, задаваясь вопросом, обладал ли его друг некоторым даром предвидения, прямо писал, что да, обладал, ибо неким прицелом, через который Оруэлл смотрел на мир, были его старые представления о мире. Как любил шутить Коннолли, Оруэлл был революционером, но «влюбленным в далекие 1910-е годы». Он всегда был в восторге от чего-нибудь уже «устарелого», всегда был готов отпраздновать малозначимые для остальных события и отметить в других самые тривиальные увлечения. Это согласуется с тем, что позже напишет Оруэлл и о себе. В будущем предисловии к «Скотному двору» скажет: «Если мне пришлось бы выбирать слова для оправдания себя, я бы выбрал строку из Мильтона – “По известным законам старинной свободы”». Интеллектуальная свобода, но в «традиции, имеющей глубокие корни». Это вот изрядно постаревшее, посеребренное сединой представление о «свободе» и было мерой, с какой он подходил к современности.

С другими, с новыми знакомыми такого единения у Оруэлла, кажется, не было. С одним дело дойдет даже до драки. И, не считая уже знакомых нам Риса и Кей Икеволл, друзьями его станут в основном молодые, как и он, литераторы. К «признанным авторитетам» относился, что называется, «через губу». Преклонялся перед Джойсом, очень уважал Лоуренса, которого звал «честнейшим из честнейших». А вот Томаса Элиота, с которым подружится позже, великого поэта и будущего нобелевского лауреата, звал пока не без задиристости «безвольным Киплингом». А еще одного, и тоже поэта, появившегося в его окружении – Стивена Спендера, – вообще заклеймит «салонным большевиком»…

У Мейбл Фирц в ее «салоне» в тот счастливый год Оруэлл довольно близко сойдется с двумя молодыми «адельфятами»: с писателем и журналистом Райнером Хеппенстоллом (его-то и изобьет вскоре) и ирландским поэтом Майклом Сейерсом. Эти не были «сытыми кембриджскими скотами», которых он ненавидел. Хеппенстолл, к примеру, так хотел сблизиться с прогрессивным

Adelphi, что даже согласился работать поваром в коммуне «Дубки», в летней школе, своеобразном филиале журнала. А второй, Сейерс, не только был единственным поэтом в компании, который, по словам Кей, «разбирался в политике», но и писал о ней статьи. Оруэлл скоро раскусит его[26], а после войны скажет ему фразу символическую: «Мы оба начали с одного места, но вы пошли по сталинской дороге, а я избрал путь противоположный…»

С «одного места» – это ведь не только о спорах и разговорах о политике; это реально, географически с одного места. Ибо в августе 1935 года Оруэлл, Хеппенстолл и Сейерс с помощью всё той же Мейбл Фирц и ради экономии сняли «на троих» одну большую квартиру на Лофорт-роуд. Там, в своеобразной «коммуналке», им удавалось удобней писать, а вот ужиться они не смогли. Сейерс водил туда девушек и, наверное, посмеивался над Оруэллом, которого застал однажды за переписыванием отрывка из «Скромного предложения» Свифта – так наш герой пытался понять секрет своего кумира. А Хеппенстолл не только почти сразу перестал вносить плату за жилье – это стал делать за него Оруэлл, – но, видимо, изрядно выпивал, и потому однажды, что называется, «нарвался». Пьяным ввалился как-то довольно поздно и поднял такой шум, что Оруэлл выскочил из своей комнаты. Вроде бы Хеппенстолл в угаре замахнулся на него, и тогда Оруэлл, схватив трость, за милую душу отдубасил друга, даже нос разбил в кровь. Пишут, что Хеппенстолла спас стул, которым он прикрывался от ударов. Шум, разумеется, стал вообще невообразимым, сбежались соседи, хотя полицию, к счастью, не вызвали, а Оруэлл, заперев в конце концов «пьяницу» в его комнате, наутро велел ему покинуть «коммуналку». Позже попросит съехать и Сейерса. А уже в январе 1936-го, поставив точку в романе «Да здравствует фикус!», оставит это жилье и сам.

Но, и воюя с «квартирантами», с окружением вовне, и сражаясь наедине с собственным стилем, он не только писал роман – он вовсю, без оглядки, потеряв голову, «творил» роман и в жизни. Ухаживал, обхаживал ту особу с «треугольным личиком», которую встретил у Розалинды Обермейер… Ее звали Эйлин О'Шонесси.

Но это уже другая история, и о ней – в следующей главе.

* * *

Комментарий: Война идей и людей

«Не объединяйтесь!» – прокричали в XX веке два русских нобелевских лауреата по литературе. Для художника объединение – смерть. Сначала это сказал Пастернак, к концу века к этому пришел и Бродский. А Оруэлл – тот всей своей жизнью доказывал это. Важный акцент в его биографии!

XX век задал миру новую парадигму и развития, и объединения. Сначала русская революция (если угодно, «большевистский переворот») грубо, но четко поделила мир надвое: за и против. Потом – фашизм и отношение к нему, следом – приснопамятная холодная война, а потом – «борьба за мир», которая, как шутили когда-то, готова была камня на камне не оставить от человечества. Философские идеи, разномыслица, мировоззренческая мозаика – всё это, разумеется, осталось, но, наступая на «горло собственной песне», любой «носитель» их вынужден был так или иначе, но выбирать сторону. И наиболее болезненно эти вопросы решались художниками, писателями, людьми культуры. Вот, например, несколько фактов, которые когда-то поразили меня и которые помогут выявить и понять позицию, занятую Оруэллом к концу 1930-х.

21 июня 1935 года в Париже, в зале дворца *Mutualité* открылся Антифашистский конгресс деятелей культуры, созванный на базе МОРТ – Международной организации революционных писателей, – но инспирированный СССР и лично Сталиным. Лишь недавно стало известно, что идею подал вождю Эренбург (дескать, от Советов на Западе «отталкивают» Драйзера, Андерсона, Дос Пассоса, Томаса и Генриха Манна, «которые могли бы быть на нашей стороне»), что Сталин, переслав письмо Эренбурга Кагановичу, наложил резолюцию: «Он прав…» – и предложил «поставить во главе т. Эренбурга», что позднее к «делу» подключили Михаила Кольцова, который, сообщив из Парижа, что в «Рабочее бюро» по подготовке Конгресса уже «посажены свои люди, французы и немцы, с тем, чтобы прибрать к рукам практическую работу», наставлял московских кураторов, что доклады надо заранее отредактировать, что «для экономии валюты» следует всем едущим еще в Москве сшить по летнему пальто и по паре костюмов и что вызывать его теперь по телефону надо в часы, которые укажет он, и (будто готовилась спецоперация, а не мирный конгресс) – с обязательно зашифрованными именами: «Горький – Анатолий, Барбюс – Андрей, Эренбург – Валентина…»

Не буду перечислять всех скандалов и несуразностей, случившихся в *Mutualité*. Скажу о главном для меня – о том, что приехавший на конгресс Борис Пастернак, выйдя на трибуну, в сумбурной речи своей сказал вдруг невообразимые для

советского писателя слова. Он в конце выступления вдруг выкрикнул – так рассказывал в 1945-м Исайе Берлину: «Не организуйтесь! Организация – это смерть искусства. Важна только личная независимость…» Невероятно, да?! «Не организуйтесь!» – в давно «заорганизованном» мире!

Второй факт связан с Эренбургом. Тот накануне конгресса, выйдя из «Клозери де Лила», нос к носу столкнулся с компанией французских сюрреалистов. Кто-то из них крикнул: «А вот и месье Эренбург». «Ах, это он? – набычившись, прорычал Андре Бретон, глава сюрреалистов, бывший коммунист и… профессиональный боксер. – Тогда настал час расплаты!» И с разворота двинул Эренбургу в скулу. Это назовут потом почему-то «пощечиной»… «Вместо того чтобы ответить тем же, – вспомнит Эренбург, – я глупо спросил: в чем дело?» «Это вам за статью о нас», – обернулся кто-то из смеющейся компании. Оказывается, Эренбург сначала в «Литературной газете», а потом и в сборнике, выпущенном во Франции, опубликовал памфлет «Сюрреалисты», где в духе «идеологической борьбы» написал: «Парижские снобы любят не только коктейли и половые извращения, они любят также “революцию”… Эти фосфорические юноши, занятые теорией рукоблудия и философией эксгибиционизма, прикидываются ревнителями революционной непримиримости», а на деле их программа – «онанизм, педерастия, фетишизм… и даже скотоложество…».

При чем здесь Оруэлл, спросите? Так вот, в тот год его взгляды на «западный социализм» были примерно теми же, что и у Эренбурга. Посетив «летнюю школу» при *Adelphi*, где «прогрессивные» интеллигенты обсуждали доклады, «исследующие социализм», он дает волю сарказму по отношению к людям «нового мира». «Типичный социалист – это или юный сноб-радикал, который лет через пять выгодно женится и станет ревностным католиком, или, еще чаще – строгий, важный человечек, убежденный трезвенник со склонностью к вегетарианству… Публика с причудами. Такое впечатление, что слова “коммунизм”, “социализм” магнитом стягивают нудистов, сексуальных маньяков, энтузиастов траволечения, квакеров и феминисток».

Это писалось, когда в Англии прокоммунистические тенденции достигли просто опасной точки кипения. «Карбонарии» в сандалетах, пишет Ричард Рис, прямо «призывали к нарушению закона и порядка, что могло создать ситуацию, подобную той, которая возникла в 1917 году в Петербурге». Рис пишет – вот еще один факт! – что однажды на пороге его кабинета возник человек, «весьма видное лицо в литературе», который с

горячностью принялся убеждать его, что если он через одну-две недели не поставит свой журнал «на службу революции», то будет уже поздно. «Когда я попросил привести факты, свидетельствующие о наличии революционной ситуации, он заговорил о мятежных настроениях среди солдат гвардейских полков, охраняющих Букингемский дворец… Эти “буржуазные революционеры”, – заканчивает Рис, – казались на словах свирепыми, а на практике были просто ничтожествами… Они не делали почти ничего, если не считать того, что болтали и писали стихи; они не приносили больших жертв и не подвергались опасностям… Оруэлл, – подчеркнет, – не принадлежал к их числу». Он вообще, по словам Риса, «был единственным среди интеллигенции, знавшим крайнюю бедность, и, видимо, оказался одним из тех, кто не потерял головы…».

Не помещался, нет, Оруэлл в «прокрустово ложе» ни той, ни другой идеологии. Он был то короче, то длиннее сего прижизненного гроба. Он был «наособицу», и хитроумная «мышеловка» причинно-следственных связей «ловкачей» от идеологии на него почему-то не действовала. Шел своим путем и, как правило, – напролом! Не «все на одного», а скорей, «один на всех»! «Не объединялся», к чему призвал в 1935 году Пастернак и полвека спустя Иосиф Бродский.[27]

Устоять в этом «сумасшествии», в этом просоциалистическом угаре, охватившем интеллектуальный Запад, было очень непросто. Ведь всё, что в те дни доносилось с Востока, жадно прочитывалось и обсуждалось и в окружении Оруэлла. Тот же Малькольм Маггеридж, бирманский приятель Оруэлла, еще в 1932-м побывал в «красной Москве» и, как казалось ему, разобрался с социализмом «по Сталину». Он в качестве корреспондента одной из газет сопровождал в поездке уже знакомых нам престарелых социалистов, супругов Вэббов; Маггеридж к тому времени был женат на племяннице Беатрисы Вэбб, баронессы Пассфильд. Тогда и случился скандал в «благородном семействе», о котором не мог не знать Оруэлл. Супруги Вэббы, скажем, объехав всю Украину, как-то «изловчились» не увидеть ни пика раскулачивания крестьян, ни крепнувшего в СССР террора, ни даже массового голода, косившего сотни тысяч. Они утверждали, вернувшись, что крестьяне в СССР, напротив, «катаются как сыр в масле»; недаром их книгу «Советский коммунизм: новая цивилизация?», выпущенную в 1935-м, мгновенно издадут и в СССР. А вот Маггеридж, в отличие от них, увидел в России нечто прямо противоположное – и честно написал и об умиравших с голоду крестьянах, и о людях, исчезающих неизвестно куда.

Не знаю, читал ли Оруэлл книгу Вэббов, но вот про встречу со Сталиным супругов Асторов и Бернарда Шоу в июле 1931 года он не слышать не мог. «Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в… мир отчаяния», – громко заявил Шоу журналистам, покидая СССР, и поведал, «как же хорошо его кормили» и какие в Москве «пухленькие дети». Понравилось ему и то, что с уголовными преступниками в СССР обращаются мягко, а за политическое преступление полагается казнь: «Против этого так называемого террора возражают только наиболее глупые люди из жалких остатков интеллигенции»[28].

Невероятно, но нечто похожее напишет в 1933 году об СССР и Артур Кёстлер, ныне британский классик; тот Кёстлер, который в конце 1930-х станет и довольно близким другом Оруэлла и, после книги «Слепящая тьма», – ярым антисоветчиком. Но тогда, в 1933-м, он был еще ярым членом компартии Германии, и, проведя в СССР год, написал книгу «Белые ночи и красные дни». Позже, устыдившись «благостных» своих репортажей, будет каяться: «Я видел опустошительное действие голода на Украине, толпы оборванцев, семьями нищенствующих на вокзалах, женщин, протягивающих к окнам вагонов своих голодных детенышей, похожих на заспиртованных эмбрионов, – с конечностями как барабанные палочки и вздутыми животами… Мне сказали, что всё это – кулаки, которые противятся коллективизации, враги народа, предпочитающие собирать милостыню и не работать; и я, – признаётся он, – принял эти объяснения… Я не мог не заметить… невероятных жилищных условий (две-три семейные пары в одной комнате, разделенной висящими простынями), кооперативных пайков, не спасавших от голода, или того, что цена килограмма масла на рынке равнялась среднемесячной зарплате рабочего; но я научился оценивать факты не сами по себе – не в статике, а в динамике. Жизненный уровень был низким, но при царе он был еще ниже. Трудящимся в капиталистических странах жилось лучше, чем в Союзе, но это – сравнение в состоянии статики: здесь, в СССР, уровень постоянно рос, а там – постоянно снижался… Поэтому я принял как неизбежность не только голод, но и запрет на заграничные поездки, иностранные журналы и книги, и искаженное до абсурда понятие о жизни в капиталистическом обществе…»

Улавливаете соглашательство, свойственное тогда многим интеллигентам Запада, эти оговорки: «я принял объяснения», «принял, как неизбежность», оценил факты «не сами по себе, а в динамике»? «Принял» и «оценил» – вот, если хотите, цена лозунга «объединяйтесь по политическим интересам», корпоративность «идеологических шулеров» с их философскими «наперстками».

Это как раз то, что никому не мог спустить Оруэлл, из-за чего он и «выламывался» из прокрустова ложа всех и всяческих «прогрессов».

Вряд ли все в окружении Оруэлла разделяли его бунтарство. Слишком мало было конкретной информации. Слишком туманны выводы. Наконец, всё для всех было чересчур ново в том, что происходило в СССР. По-разному писали в те годы об СССР и Сталине и Барбюс, и Фейхтвангер, и Андре Жид. Оруэлл не был знаком с ними. Другое дело – А.Кёстлер или, например, Герберт Уэллс, с которым он будет переписываться и которому с детства мечтал подражать. Как было не верить Уэллсу, который в августе 1934 года, вернувшись из СССР, был не просто очарован Сталиным, но тогда же написал: «Я никогда не встречал более искреннего, прямолинейного и откровенного человека… Русские лукавы, но Сталин – грузин, и он не ведает хитростей…» Чуть позже Уэллс многое опровергнет, напишет, что «милый простак» Сталин вообще-то вреден для социалистического движения, ибо он – «упертый» марксист-ортодокс. А Россия идет… к царизму. Но это будет позже и, как сказали бы у нас, «мелким шрифтом»…

Всё это взахлеб читалось «левыми» в Англии. И Оруэллом. Он не мог не заметить, что Барбюс в книге «Сталин» впервые ввел в оборот применительно к советскому вождю слова «старший брат» (не отсюда ли «Большой Брат» его последнего романа?). Что Андре Жид назвал Сталина «простодушным добряком»: «Его считают беспощадным, а он в продолжение многих лет борется за то, чтобы привлечь на свою сторону способных троцкистов, вместо того чтобы их уничтожить» (этот «добряк» дотянется скоро до троцкистов в любом уголке мира и едва не уничтожит самого Оруэлла в Испании). Наконец, Оруэлл не мог не предполагать, что и Шоу, и Барбюс, и Фейхтвангер невольно становились «соучастниками» сталинских преступлений, подельниками его, хотя лично ничего не делали – так, болтали себе по гостиным…

«Качание ножкой» – вот, на мой взгляд, символ «прогрессивной» западной интеллигенции. Ну, знаете, как бывает: сидим ли за кофе, за кружкой пива и, перекинув нога за ногу, покачивая носком ботинка и разглядывая его, глубокомысленно размышляем вслух, роняем слова. Нужна ли, например, народу революция? есть ли действительно «антагонистические противоречия» между классами? устарел ли марксизм? допустимы ли «небольшие жертвы» ради «больших целей»? и так ли уж страшен тоталитаризм? Такие вот «шуры-муры» с политикой, отстраненное «бла-бла-бла» при реально льющейся где-то крови, дыме над кострами из книг, лязгающих засовах темниц и средневековых криках пытаемых перед расстрелом. И

«бла-бла-бла», болтовня эта – отнюдь не безобидна: ибо она так или иначе, но влияла на парламентские решения, документы правительств, международные соглашения. Всё это не мог не видеть – и не возненавидеть! – наш бешеный ригорист, мизантроп, соглядатай.

Единомышленников для него, повторюсь, не было; он не признавал «единого мышления». Но три довольно простые вещи, важные для его будущего, понял уже тогда. Понял, что его честный, может быть, наивный подход к «войне идей» – это результат детства и воспитания, но «по мне, – подчеркнул, – лучше быть так воспитанным, чем уподобиться левым интеллектуалам, настолько “просвещенным”, что они не могут понять самых обыкновенных чувств». Понял, во-вторых, что интеллигенция не выносила и не выносит правды, основанной на этих «обыкновенных чувствах». Не выносит, потому что в любом конфликте носительницей единственной «правды» считает лишь себя. А третью истину он, отвергавший уже фальшивый «социализм» левых интеллектуалов, сформулировал тогда и образно, и – предельно кратко: «Чураться социализма из-за обилия толпящихся при нем тупиц и клоунов, – сказал, – так же абсурдно, как отказаться ехать поездом, поскольку вам противно лицо вагонного кондуктора».

Глава 6.
Путь к причалу, которого не было

1.

Кстати, о кондукторах. Иногда мне кажется, что Оруэлл в тот 1936 год был похож на персонаж из нашего почти анекдота: «Назло кондуктору куплю билет и… пойду пешком». Так вот, в том «поезде», который худо-бедно вез «левых» всего мира в «страну социализма», Оруэлла не было, однако он, образно говоря, шел в ту же сторону, но пешком. И – по какой-то своей колее… «Я существо не стадное», – когда еще сказал!

Чтобы понять этот феномен, надо попытаться увидеть внутреннюю логику его жизни, устремления, да и вообще смысл бытия. Понять, почему для обывателей, для обычного человека он был как минимум «странноватый чудак», «чокнутый», как сказали бы у нас, или «*babe at the woods*», как припечатали бы на сленге в Англии. Дословно – «дитя из леса». А по смыслу – «свалившийся с Луны»…

«Он был такой настоящий мужчина, – вспомнит его в 1936-м одна семейная пара. — Он, правда, мало о чем говорил… и тем не менее… *вы чувствовали в нем тепло, вы чувствовали, и вам нравилось его беспокойство». А про женщину, которая в 1936-м станет его женой, уже сказали: она была «чистой поэзией». Сказали не без издевки:* «Если Оруэлл был неудачный поэт, то Эйлин со своей стороны была чистой поэзией…»

Ее звали Эйлин Мод О'Шонесси. Девушка, родившаяся на реке Тайн. И тайны, надо сказать, сопровождали ее. «Ни в чем, – напишет Дэвид Тейлор, биограф писателя, – плотная эмоциональная завеса, нависающая над жизнью Эрика Блэра, не сгущается до такой степени непроницаемости, как над его отношениями с Эйлин». И добавит: она «всегда была загадочной фигурой». А последний биограф, Гордон Боукер, вообще назовет ее «темной фигурой». Странно, не правда ли? «Чистая поэзия» – и «темная фигура»?

«Темная» – потому, что «никогда не оживала, не приобретала собственного голоса» в воспоминаниях, что «череда комплиментов в ее адрес», расточаемая, например, Сирилом Коннолли, поразительным образом ничего нам не открывала: «Очаровательная, умная, независимая». Но «разве не все мы такие?» – не без юморка заметит Тейлор. И чем отличаются от

слов Коннолли слова об Эйлин той же Кей Икеволл: «Она была веселой, и живой, и интересной, и гораздо больше подходила ему…»

Короче, туман. Точно известно, что была весна 1935 года – «пора волшебная», как написал Оруэлл, – была вечеринка наверху у Розалинды Обермейер, и было несколько гостей, студенток – подруг хозяйки дома. Точно известно также, что стройная девушка с широкими и высоко поднятыми плечами, с «треугольным личиком» или, как кто-то сказал, лицом в «форме сердца», с голубыми глазами и густыми темно-коричневыми волосами, «лежавшими естественными волнами», настолько приглянулась Оруэллу, что он, проводив ее до автобуса, зашел к Розалинде и неожиданно сказал: «На этой девушке я хочу жениться…» Ну и известно, что Оруэллу был уже тридцать один год, а Эйлин – полные двадцать девять.

«Вообще когда-нибудь жениться надо, – писал он в это время в романе про “фикус”. – Брак плох, а одному навеки – еще хуже. На минуту даже захотелось надеть оковы… очутиться в этом страшном капкане. И брак должен быть настоящим, нерушимым – “на радость и на горе, в бедности и богатстве, пока смерть не разлучит вас”».

Кем же была Эйлин, прожившая с Оруэллом десять лет, до неожиданной смерти своей в 1945-м? Она, единственная дочь Мари и Лоренса О’Шонесси, коллектора, сборщика налогов, родилась в Саут-Шилдсе, в графстве Дарем, в маленьком, но очень древнем, чуть ли не с римских времен, городке на северо-востоке Англии, на берегу реки Тайн. Красиво звучит, если читать название по-русски. Забегая вперед, скажу: в агломерации, в регионе Тайнсайд, она и Оруэлл и усыновят в будущем младенца Ричарда, и там же, в том же госпитале, где работал когда-то родной брат Эйлин, она и умрет.

Пока же, окончив среднюю школу при церкви Сандерленда – одну из старых школ округа, – Эйлин поступила в женский колледж Санкт-Хью при Оксфордском университете – тоже старейший, основанный еще в 1886 году внучатой племянницей знаменитого поэта Вордсворта. Эйлин окончит его, избрав будущей специальностью филологию. Тогда же стала писать стихи, и одно стихотворение, написанное за год до встречи с Оруэллом и названное, представьте, «Конец века, 1984», еще сыграет свою роль в жизни Оруэлла. Так что филология – не случайный выбор, хотя прямо по специальности не работала: была воспитательницей в женском пансионе, недолго – секретаршей, потом работала «чтицей» – читавшей по найму книги для какой-то богатой дамы, а потом, как пишут,

«обзаведясь офисом на Виктория-стрит в Лондоне, занялась набором текстов и секретарской деятельностью». Между прочим, нештатно пописывала заметки в газету *Evening News*. А кроме того, с начала 1930-х помогала старшему брату Фредерику Лоренсу О'Шонесси, которого, кстати, звала Эрик, как и Оруэлла, – успешному хирургу и автору научных работ по легочным и сердечно-сосудистым болезням (редактировала статьи). Позднее Лоренс посвятит себя лечению грудной клетки, новейшим методам борьбы с туберкулезом, а дальше даже станет основателем клиники сердечно-сосудистых болезней в госпитале *Lambet* и консультантом туберкулезного санатория *Preston Hall*. Всё это окажется потом важным для Оруэлла. Что же касается Эйлин и Лоренса, то более близких людей на свете не было. Она напишет потом: «Если бы мы находились на разных концах земли и я бы послала ему телеграмму *"*Приезжай сейчас же*"*, он бы немедленно приехал». Эрик, пишет она, «этого бы не сделал, для него прежде всего – его работа…».

Уж не знаю, читала ли она до знакомства с Оруэллом хоть что-то его. Знаю, что за год до встречи их Эйлин снова пошла учиться – поступила в университетский колледж Лондона на двухлетнюю программу для лиц с высшим образованием, желающих получить квалификацию в области психологии. Ее привлекло тестирование интеллекта у детей, и она почти сразу решила: здесь есть предмет для научной работы. Там же в качестве аспирантки начала работу над диссертацией, которую, правда, не дописала; но честно «отходила» полный курс. И там же, в университете, познакомилась и с Лидией Джонсон, которая станет ее подругой, и с Розалиндой, нашей «соломенной вдовушкой», у которой снимал комнату Оруэлл.

На вечеринку к Розалинде Эйлин пришла с Лидией, а Оруэлл – с Ричардом Рисом. Кто был еще – вопрос. Никаких свидетельств этого скромного «пати» не сохранилось: ни о чем говорили, ни что пили (если пили), ни что поделывали, собравшись. Но две «речки», образно говоря, – «река Тайн» и «река Оруэлл», – если и не слились сразу, то ласково плеснулись друг к другу. Оруэлл почти весь вечер проговорил с Эйлин, а позже вызвался проводить ее. Через две встречи, как напишет Лидия Джонсон, Оруэлл предложил Эйлин руку и сердце.

Лидия Джонсон – она была старше Эйлин на шесть лет – была, однако, совсем даже не Джонсон. Настоящее имя ее – Лидия Витальевна Жибуртович. Русская. Эмигрантка, родившаяся и жившая в России. И, кстати, довольно известная будущая писательница и переводчица, выступавшая под псевдонимом Елизавета Фень. Она переживет и Эйлин, и Оруэлла, и скончается

в 1983 году, оставив после себя большую книгу о Чехове, которым занималась присяжно, и четыре тома автобиографической повести «Жила в России девочка» (1970) – о детстве в предреволюционной России, о гимназии, о своей первой любви и русской Англии. Лидия – вторая, после Бориса в Париже, наша соотечественница в окружении Оруэлла, – личность настолько незаурядная, что о ней уже в наше время, в 2012 году, выйдет книга «Вспоминая Елизавету Фень: в работе и в жизни». Мне книгу разыскать не удалось – пусть это сделают следующие биографы Оруэлла, но, возможно, тогда поклонники его и узнают побольше об отношениях Оруэлла уже с самой Лидией. Он если и не влюбится в нее позже, то сильно увлечется…

Но пока – пока наш молодой писатель буквально терял голову от Эйлин.

«– Что? Уже? После второй встречи? – спросила Лидия у Эйлин, когда та призналась, что Оруэлл сделал ей предложение. – Что он сказал?

– Он сказал, – помялась Эйлин, – что на самом деле он не заслуживает, но…

– И что ты ответила?

– Ничего… Я ждала. Пока он выговорится.

– И как ты собираешься поступить? – изменила тот же вопрос Лидия.

– Я не знаю… Видишь ли, я сказала себе, что, когда мне исполнится тридцать, я приму первое предложение мужчины, который захочет на мне жениться.

– Ну…

– Мне будет тридцать в следующем году…»

Так напишет впоследствии Лидия. Дэвид Тейлор, биограф, напишет несколько иначе: «Оруэлл был Оруэлл, – пишет, – времени после вечеринки он не терял. Полгода жизни в Хэмпстеде, где он работал в книжном магазине, уже включали несколько романтических увлечений, но серьезность его намерений в отношении Эйлин породила ураганное ухаживание». Они ездили верхом на лошадях в Блэкхит, гуляли до звезд, смеялись, и через три недели (а не после «второй встречи»!) он сделал ей предложение. «Заинтригованная и, быть может, смутно встревоженная его порывистостью, Эйлин, – утверждает Тейлор, – отвергла его, но оставила надежду на вторую попытку. Тогда же Оруэлл сообщил Райнеру Хеппенстоллу, другу своему, что Эйлин – *“самая приятная персона, которую довелось встретить ему за последнее время”…».*

«Персона» оказалась не только «очаровательным человеком», не просто отважной, самоотверженной и в чем-то авантюрной

фигурой, но и девушкой «широких взглядов», что особенно привлекло Оруэлла. Она не принадлежала к какой-либо партии, не очень интересовалась политикой, но, как пишут, «в общем и целом тяготела к социалистическим идеям в их демократической интерпретации…»

Год продолжались их встречи. Оба ничем не были ограничены, не обременены собственностью, а кроме того, последние десять лет вели свою и разную жизнь. Конечно, Розмари в романе «Да здравствует фикус!», который писал в тот год Оруэлл, – образ собирательный. В нем узнала себя Кей Икеволл, но с тем же успехом могла узнать себя и Эйлин. Ведь если Кей было двадцать три года, то Розмари в романе, как и Эйлин, – около тридцати. Скажем, герой романа Гордон Комсток не раз и не два с грустью замечал в волосах возлюбленной седые волосинки. Не у Кей же замечал…

Оруэлл как-то признался: ему с трудом удавалось замаскировать в художественном произведении пережитую реальность. И слава всевышнему: благодаря этому мы, как изюм из булки, можем порой по крохам восстановить и какой-никакой портрет Эйлин, и какую-никакую канву этой «покрытой тайной» любви.

«Вон она, шагах в тридцати, словно по волшебству явившись на зов его души и тела, – пишет в романе Оруэлл, когда герой его случайно сталкивается на улице с уже полюбившейся ему Розмари. – Она… шла навстречу; гибкая проворная фигурка ловко пробиралась через грязь, лицо едва виднелось из-под плоской, по-мальчишески надвинутой на глаза черной шляпки…

– Боже, какое счастье снова тебя увидеть!.. Почему ты не появлялась?..

Он взял ее за руку, но она вырвалась, хотя пошла рядом. Шаги ее были короче и быстрее; казалось, сбоку прилепился шустрый зверек вроде бельчонка… Розмари ростом была всего чуть-чуть пониже Гордона и лишь на полгода моложе. Никому, однако, она не виделась старой девой под тридцать, какой фактически являлась… Искренне воспринимая себя юной, она уверенно убеждала в том же и остальных…

– Гордон, ты самое презренное животное!.. Отчего не привести себя в порядок? Пугало огородное… И пуговица… на последней нитке?

– Меня подобная чепуха не трогает. Дух мой парит над суетой пуговиц…

Гордон развернул ее спиной к мокрым выщербленным кирпичам, и она, доверчиво подняв лицо, обняла его с детской нетерпеливой пылкостью… Очень редко удавалось пробудить в

ней первые волны страсти; причем она, казалось, потом напрочь об этом забывала, так что каждый раз его натиск начинался словно заново. Что-то в ее красиво скроенном теле и стремилось к физической близости, и всячески сопротивлялось. Боязнь расстаться со своим уютным юным миром, где нет секса».

Она не была «пугливой нимфой», пишет он, боявшейся мужских взглядов на улицах. У нее, по книге, был «упрямый подбородок», «маленькие груди», «изумительный характер», она была «великодушна и без всяких склонностей к девичьему коварству». Была изящна и независима, что «в сочетании с постоянной шутливостью создавало благоприятнейшее впечатление о ее развитии и воспитании». С молоком матери она «впитала два правила: честно вести игру и не соваться в чужую жизнь». И, как человек, чья юность избавлена от скуки, «с девичеством расстаться не спешила…». Короче, «они, эти двое, – пишет в романе Оруэлл, – были очень счастливы, представляя друг для друга постоянный объект насмешек». И было радостно «воевать» им, идя рядом.

О чем «воевали», о чем спорили и обменивались колкостями? Да обо всем! О «вечной борьбе мужчин и женщин», о том, что «основа сексуальных поединков – всегда игра», о «мужской грубости и женской бездуховности», о «врожденной подчиненности слабого пола и безусловном блаженстве от такой покорности». А леди Астор? – словно подначивали они друг друга. А кроткая Гризельда? А Чосер и Боккаччо? А восточное многоженство? А судьба индийских вдов? И если ей в этих разговорах «очарования было не занимать», то у него, по собственному выражению, не раз «шерсть вставала дыбом» на ее «смешливые возражения»… Похоже? Мне, зная в общих чертах дальнейшую жизнь обоих, кажется – очень. Он не роман писал – репортаж по горячим следам о своей любви. А если отвлечься от художественной ткани романа, вообразить, как было в жизни, то Эйлин, видимо, нравилось, что Эрик горячо отстаивал «святое право иметь собственное мнение», что ему хотелось быть «непохожим на других»: «Курить плохой табак, читать запрещенные романы, ходить пешком, а не водить машины, измерять расстояния в ярдах, а не в метрах», нравилась его манера вести долгие дискуссии о том, как приготовить чай, как сажать цветы и кусты роз и как выбрать, к примеру, детектив. И нравилось, что ради одной хорошо написанной им страницы он готов был «испортить десять других»…

Они встречались на «чердаке» у Розалинды, пока отношения их не перешли в близость. Тогда, пишут биографы, он, по совету Мейбл Фирц, и снял «на троих» с Хеппенстоллом и Сейерсом ту

самую квартиру на Лофорт-роуд. А когда «выжил» приятелей из квартиры, у него и Эйлин наступило недолгое добрачное счастье. Об этом при обоюдной их скрытности не известно ничего. Можно лишь скупо процитировать счастливый любовный финал законченного к тому времени романа.

«Спальня, гостиная, кухонька, ванна, – пишет Оруэлл. – Последний лестничный марш они одолели чуть не вприпрыжку. К себе!.. Так интересно было заиметь свое жилье. Ведь даже собственной кровати до сих пор ни у нее, ни у него не бывало; после родительского дома – только в съемных меблированных комнатках. Войдя, они неспешно прогулялись по апартаментам, внимательно и восхищенно осматривая всякую деталь. Двойная кровать с розовым стеганым одеялом! В комоде – стопки простыней и полотенец! Раздвижной стол, четыре жестких стула, диван, два кресла, книжный шкаф, индийский коврик и так удачно купленное на барахолке медное ведерко для угля! И всё свое, каждая тряпка (по крайней мере, пока взносы платятся вовремя). Они вошли в кухоньку. Изумительно, всё есть: и холодильник, и плита, и столик с эмалированной крышкой… кастрюли, чайник… даже коробка мыльных хлопьев, даже банка стиральной соды — хоть сейчас начинай хлопотать…

– Ох, милый, что за счастье – у себя! И никаких хозяек!

– А мне больше всего нравится, что мы будем теперь завтракать вместе. Столько знакомы, а ведь никогда вдвоем не завтракали. Представляешь, я сижу, а напротив – ты, кофе мне наливаешь?.. Супруги навек, “пока смерть не разлучит вас”.

– Даже страшновато, да?

– Ну, справимся как-нибудь. Заведем свой домик, с колыбелькой, с фикусом…

Он приподнял, поцеловал ее лицо. Сегодня она впервые чуточку и не слишком удачно подкрасилась. Вообще, лица молодоженов на ярком свету юностью не сияли… Но свои три белые волосинки Розмари накануне вырвала…»

В книге любовь героев закончилась скромной свадьбой, на которой присутствовал одинокий Равелстон. А в жизни реальных Эрика и Эйлин всё еще только начиналось. Через три месяца они, как мечтали и герои романа, «заведут свой домик» под Лондоном: с садиком, козой и крохотной сельской лавочкой. Но как раз в те три месяца до аренды «своего домика» из уюта квартирки на Лофорт-роуд, из любовной идиллии Оруэлла вырвет издатель его, Голланц. Предложит нашему влюбленному отправиться на шахтерский север Англии и написать о жизни рабочих. Надо ли говорить, что Оруэлл мгновенно согласится? Даже ухватится за это предложение. Не «качать же ножкой», рассуждая «по

гостиным» о бедах своей страны?

2.

Ничего пронзительнее этой сцены я про Англию тридцатых годов не читал. Как ему удалось поймать, а главное, «прочесть» тот взгляд? Он дважды опишет эту сцену – сначала в дневнике, который вновь стал вести, а потом и в книге «Дорога на Уиган-Пирс».

«Обходя боковые закоулки, – запишет в дневнике 15 февраля 1936 года, – я увидел довольно моложавую бледную женщину, которая, стоя на коленях у сточной канавы возле дома, тыкала палкой в забитый отходами трубный слив. Я еще подумал: какая ужасная судьба – стоять в грязи на коленях, согнув спину на морозе, и проталкивать палкой засорившийся сток. В ту же минуту она подняла голову, мы встретились глазами, и выражение ее взгляда было как пустыня – ничего подобного я никогда еще не видел. Меня поразила мысль, что и она подумала то же самое…»

В книге эта «пустыня» еще ужасней: «У меня было время хорошенько рассмотреть ее – ее холщовый фартук, красные от холода руки. А когда она вскинула голову… я, находясь довольно близко, поймал ее взгляд. Круглое бледное лицо, обычное изнуренное лицо трущобной девушки, которая в свои двадцать пять выглядит сорокалетней, и на нем, за секунду, мне открылось самое безутешное выражение горечи и безнадежности. До меня вдруг дошло, как ошибаемся мы, говоря, что “им ведь всё это совсем не так, как было бы для нас”, что трущобному жителю и не представить ничего, кроме трущоб. Нет, страдание в ее лице не было неосознанной животной мукой. Девушка превосходно знала, не хуже меня понимала, каково ей приходится, что за жуткая участь – в лютый холод стоять коленями на осклизлом камне и палкой чистить помойный водосток…»

А ведь тут была одна, если можно так сказать, нечаянная параллель. Перехватив ее взгляд, Оруэлл – удивительно – ни тогда, ни потом почему-то не вспомнил, не связал, что девушка у сточной канавы могла ему напомнить ту дочку водопроводчика, с которой дружил ребенком. Тогда он запоздало устыдился «семейного чванства», теперь – ужаснулся. Но вот ведь в чем штука, урок судьбы! Ведь если б тогда он не устыдился себя шестилетнего, то в свои тридцать два не очутился бы, возможно, в беднейших районах Англии с желанием честно описать их. Образно говоря, он холодной зимой 1936 года, в некрепкой

одежде, с небольшим запасом денег и с широко раскрытыми глазами делал в командировке едва ли не то же, что и девушка: он тоже «прочищал» – и тоже почти без надежды – наглухо засорившиеся отстойные стоки, путепроводы бесчеловечной социальной системы. Только кто бы заглянул в его глаза?..

Два месяца просыпался он не с Эйлин под «розовым одеялом» – в незнакомом мире, в шахтерских семьях и рабочих общежитиях. В дневнике запишет: «Утром я слышу, как спешат вниз по мощеной улице девочки с мельниц – все в сабо, и звук их почти грозен, будто целая армия спешит в бой. Думаю, это типичные звуки Ланкашира. И типичны следы их сабо, словно от стада коров. Сабо дешевы… их можно носить много лет…»

Их можно носить тысячи лет – вот что ужасало. Проще, размышлял он, объявить и сабо, и владелиц их «несуществующими» – и позабыть о них; но ведь таких десятки, сотни тысяч. Подумать только: «Колумб переплыл Атлантику, заработали двигатели первых паровых машин, бандиты XIX века, молясь Господу, набили карманы, – и все это вело сюда: в лабиринты трущоб, тесноту полутемных кухонь». И это – вершина цивилизации?!

Голланц, предложив ему отправиться на север Англии, уже задумал свой «Клуб левой книги», дабы «объединить силы интеллектуалов в борьбе за сохранение мира против фашизма и за достижение лучшего социально-экономического порядка», и одной из первых новинок клуба должна была стать книга Оруэлла. Другое дело, что издатель ожидал от Оруэлла просто серию «социальных очерков», некое «быстрое расследование и социальных условий жизни, и экономической депрессии», а получил «на выходе» не совсем то, что хотел, – по сути, «революционную прокламацию» в 150 страниц. Немудрено: уж больно самостоятельным стал уже его упрямый подопечный…

«Поезд уносил меня вдаль сквозь чудовищный ландшафт с терриконами шлака, дымящими трубами, грудами чугунного лома, грязными каналами, перекрестьями черных как сажа тропинок… Стоял жуткий холод, и всюду темными от копоти валами лежал снег… Лунный пейзаж… В прямом смысле отбросы, выкинутые на землю, – словно великан опрокинул на мир помойное ведро… Шлак в отвалах часто загорался, ночами были видны алые ручейки змеящегося по насыпям пламени и слабо тлеющие синие огоньки серы». Он объедет несколько городов: Шеффилд («самый безобразный город Старого света»), Ковентри, Ливерпуль, Манчестер, Лидс, Бирмингем. На местах будет ходить только пешком – 16, 13, 18 миль ежедневно. Везде – беспросветная бедность, жилища-клоповники («четыре кровати на

десятерых»), убогие пансионы, вечно полный ночной горшок, забытый под обеденным столом, ибо уборные – в 50–100 метрах от домов, дворики с вонючими мусорками, мешковатая одежда, отвратная еда, «удушливое пекло» шахт, куда он спускался трижды, где ему, рослому, приходилось почти ползти.

Вникал во всё: почему хлеб «с трухой», что курят здесь и каков прожиточный минимум, чем лечатся, почему после тридцати почти все беззубые, а подростки считают учебу «не мужским делом» и массово бросают школы. Сидел в библиотеках, изучал расчетные книжки шахтеров, больничные листы, страховые договоры – всю ту рабочую статистику, которая, как заметил Кристофер Хитченс, «сделала бы честь самому Фридриху Энгельсу». А кроме того, ходил на собрания профсоюзов, на митинги, спорил вечерами с лидерами Независимой рабочей партии, даже участвовал в грозных стычках с местными фашистами. И – «очернял», «очернял» без устали родину, да так рьяно, что еще во время командировки обозреватель *Manchester Guardian* съязвит по его поводу: «Сидя в Уигане или в столичном Уайтчепеле, мистер Оруэлл неизменно являет нам свой безошибочный дар упускать из вида любого рода позитивные моменты, дабы от всей души чернить и клеймить человечество…» Но, может, потому, как закончит Хитченс, одного имени Оруэлла и сегодня «достаточно, чтобы вызвать в политической и культурной левой среде дрожь отвращения…».

В поездке Оруэлл познакомится с политическими и профсоюзными деятелями: с Дж.Кеннаном, безработным электриком и видным социалистом (с ним он спускался в одну из шахт в Уигане, и именно Кеннан свел его с Национальным движением безработных, которое организовывало тогда прогремевшие «голодные марши»); с Франком Мидом, вожаком профсоюза; с супругами Дейнерами из Ливерпульского отделения *Adelphi*, у которых жил одно время*; наконец, с Джеффри Горером,* корреспондентом *Daily Worker*, который подшучивал над ним, что он «постоянно задевал мебель», «был долговязым молодым человеком с очень плохой координацией» и, видимо, считал, что «даже неодушевленные предметы – и те против него». Они подружатся, будут переписываться, но после Испании Оруэлл порвет с ним из-за отхода последнего «от коммунистической позиции». Зато до конца жизни сойдется с Джорджем Гарретом, здоровенным мужиком тридцати шести лет, бывшим матросом, грузчиком, а ныне – безработным и, как окажется, писателем. «Если бы я знал раньше, – тогда же запишет в дневнике, – что это тот, кто пишет в *Adelphi* под псевдонимом Матт Лоу». Оруэлл будет уговаривать его написать про свою жизнь, но тот, живущий

с семьей на пособие, мог выдавать лишь рассказы. «Работу он не мог найти не только из-за безработицы, – пишет Оруэлл, – но и потому еще, что был занесен в черный список как коммунист…»

Возможно, вместе были они на встрече с одним из лидеров Национального движения безработных Волом Ханнингтоном. «Был плохой динамик, – запишет Оруэлл в дневнике, – а кроме того, оратор использовал все клише социалистических вожаков, но все равно успех был явным. Был удивлен преобладанием в зале коммунистических настроений. Бурными аплодисментами, к примеру, были встречены слова Ханнингтона, что если Англия и СССР вступили бы в войну между собой, то победил бы СССР…» Коммунистическим же митингом, который Оруэлл также посетил, был разочарован. И тем, что ораторы были косноязычны, и бесконечными «вопреки», «несмотря на» и «как бы то ни было», и тем, что выступления, как показалось Оруэллу, были просто заученными наизусть. Зато на встрече рабочих с главным английским фашистом – сорокалетним Освальдом Мосли – городской зал был набит битком. «Было человек 700, – пишет Оруэлл. – Около 100 чернорубашечников дежурили на охране… Вначале Мосли освистали – но бурно хлопали в конце. Кое-кто пытался задавать вопросы, но таких быстро выдворили из зала, а на одного, насколько я мог видеть, попросту набросились с градом ударов… Речь Мосли – обычная болтовня: империя, свобода торговли, долой евреев и иностранцев… Вину за всё валил на таинственную международную банду евреев, которая, оказывается, финансирует и лейбористскую партию, и СССР…»

Сам Оруэлл про набирающий силу фашизм понял если не всё, то многое. В книге «Дорога на Уиган-Пирс» напишет: «Английский фашизм, если он возникнет, будет, конечно, солидней, элегантней (поначалу, наверное, и называться фашизмом не будет)… Но меня занимает явная у некоторых искушенных мудрецов симпатия к фашистам… И если вы позволяете видеть социализм в дурном и ложном свете… вы рискуете толкнуть людей к фашизму, заставляете нервного интеллектуала занять такую яростно-оборонительную позицию… Подобные настроения, – пишет Оруэлл, – уже отчетливы у ряда крупных мастеров (Эзра Паунд, Уиндем Льюис, Рой Кэмпбелл), у католических авторов… и даже, если копнуть поглубже, у столь превосходящего обычных консервативных умников Элиота и его бесчисленных последователей». Оруэлл уже не только четко различал фашизм и социализм, как их понимали тогда в «интеллектуальных кругах», но был более «социалистичен», чем все «социалистические» движения Британии вместе взятые. «Своя колея», помните? Пока же, как писатель-эмпирик, выявлял, и не

без успеха, скрытые пружины борьбы идеологий, то, о чем спорили «левые интеллигенты» в летних марксистских школах, пока лишь улавливал тенденции развития общественной мысли и чуял, ощущал рецепторами «запашок» фашизма, гибельную опасность его в нетоталитарных, казалось бы, странах. Как те же канарейки, которых берут с собой в шахту горняки, ибо они, птицы эти, лучше людей улавливают запах газа в штреках и тем самым предупреждают смертельный взрыв. «Хотите убедиться в растущем среди англичан сочувствии фашизму, – бомбил он мозги расслабленного общества, – почитайте газетные письма с поддержкой итальянцев в Абиссинской войне, а также восторги англо-католического клира по поводу фашистского мятежа в Испании…»

Он писал эти строки и не знал еще, что через полгода отправится в Барселону как раз сражаться с фашизмом. Иллюзий относительно будущего, которое нес фашизм, он не питал. «Фашизм притягивает не только консерваторов крайне скверного пошиба, но и вполне порядочных людей, – писал, вернувшись из Уигана. – Уважение к традиции и дисциплине – уже почва этой притягательности… Убеждая себя, что это лишь временное умопомрачение, которое пройдет само собой, вы грезите во сне, от которого вас разбудят ударом резиновой дубинки…» Бился в книге, что та канарейка. «Ситуация отчаянная, – пишет. – Угроза фашизации Европы стремительно растет. И если не удастся очень быстро и широко распространить систему *живых, действенных* социалистических идей, нет никакой уверенности, что фашизм когда-нибудь будет низвергнут. Перед социализмом сейчас единственный враг – фашизм… Фашизм стал международным движением, обнаружив… еще не до конца оформленные претензии на весь мир. Мечту о государстве сменила мечта о планетарном господстве… И называть фашистский предел мечтаний “муравейником” – это незаслуженно обижать муравьев; уместнее образ курятника под управлением хорьков…» Говорящая метафора, если помнить его «Скотный двор». Мысли его всегда поражали цель, да и слова не промахивались.

Увы, со «связкой» рабочих и интеллектуалов, о которой он мечтал, была проблема. Интеллектуалы даже в семьях не могли объединиться, даже в родовых кланах. И Оруэлл здесь не исключение. Скажем, в последние дни командировки он, дав себе короткий отпуск, навестил в Лидсе и прожил несколько дней в семье своей старшей сестры Марджори и ее мужа, Хэмфри Дакина. Того Дакина, который измывался когда-то над ним, еще ребенком. Теперь он вновь посмеется над ним. И над тем, что Оруэлл приобрел в поездке два латунных подсвечника и,

вообразите, «корабль в бутылке», и над тем, что неловкого в быту родственника в семье звали, смеясь, Лоурел – по имени знаменитого актера-комика, – и над тем, что хозяин местного паба, куда они с Оруэллом как-то наведались вечерком, шепнул Хэмфри потом: «Не приводи сюда больше этого мудака». Бармен имел в виду, что Оруэллу оказались неинтересны «бросание дротиков в пабе, хождение между столиками с кружкой в руке и даже модные музыкальные автоматы, куда посетители охотно совали свои пенсовики». А если обобщить, то и хозяину паба, и Хэмфри не понравилось, что Оруэлл как бы «притворялся» простым человеком, «не будучи им»…

Вопрос из будущего: *А и впрямь, живя в шахтерских семьях, стали ли вы там «своим»?..*

Ответ из прошлого: *Своим… не стал… хотя и… не был им неприятен. Даже с шахтерами, считавшими себя коммунистами, потребовались деликатные маневры, чтобы они не называли меня «сэр»… Я там ходил как иностранец…*

В.: *Как аристократ духа?.. Бердяев в «Философии неравенства» пишет, что есть «аристократический социализм», и только он «благороден». «Социализм пролетарский, – утверждал, – низменен и корыстен… Обида, озлобление, зависть – вот подпольная психология духовного типа пролетария». А вот аристократы духа – они «чувствуют не обиду, а вину…» Вы встречали таких?*

О.: *Я знавал множество социалистов из буржуазной среды… Да, голосует такой за коммунистов, но по-прежнему крепки его связи с людьми своего круга… Я много размышлял на эту тему… Всем желательно покончить с классовой рознью… Отсюда соблазн разрешить проблему бодрым кличем на манер скаутских вожатых. Эй, парни, бросьте-ка величать меня «сэр»!.. Просто большинство благовоспитанных социалистов… клещами цепляются за мельчайшие знаки… социального престижа.*

В.: *«Почему все эти отчаянные социалисты и коммунисты… такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист… тем сильнее и собственник?..» Это уже Достоевский, это его «Бесы».*

О.: *Я помню ужас, охвативший меня при посещении митинга Независимой рабочей партии… Вот эти пошленькие скопидомы, думал я, и есть борцы за дело*

пролетариата?.. Для трудяг, которых видишь в любом пабе субботним вечером, социализм главным образом означает повышение зарплаты, сокращение рабочего дня и укрощение наглых боссов… А глядя на социалиста, пишущего трактаты… с его лохматой шевелюрой, джемпером и цитатами из Маркса, я недоумеваю: что же, черт возьми, воодушевляет его? Полагаю… просто гипертрофированная тяга к порядку… Вот, например, пьесы такого пожизненного социалиста, как Бернард Шоу. Много ли в них понимания пролетарской жизни?.. Бедность, в особенности убожество бедняцкого мышления, по его мнению, следует упразднить сверху… Отсюда… влечение к диктатурам, фашизму или коммунизму; Сталин и Муссолини для него одинаково крупны…

В.: *А вы, кем вы вернулись после вашей командировки к шахтерам? Кем ощутили себя: «пролетарием» от писательского стола или – писателем… для пролетариев?*

О.: *Бедность есть бедность, орудуешь ты кувалдой или авторучкой… Я не испытываю особой любви к тому идеализированному «рабочему», которого рисует воображение коммуниста от буржуазии, но когда я вижу рабочего в жизни, рабочего из плоти и крови, вступившего в конфликт со своим естественным врагом, мне даже не надо спрашивать себя, на чьей я стороне… Что касается лично меня, в критический момент я буду с рабочим классом…*

Как он там сказал про «кондукторов»? «Чураться социализма из-за обилия толпящихся при нем тупиц и клоунов – так же абсурдно, как отказаться ехать поездом, поскольку вам противно лицо вагонного кондуктора»? Он, кажется, только-только начал догадываться, что утопии – и социальные в том числе – это скорее зло, чем добро. А ведь тот же Бердяев уже пустил гулять по свету вывод всей своей жизни, свой знаменитый парадокс: «Всякая попытка создания рая на земле есть попытка создания ада». Человечеству еще не раз придется убедиться в правоте этого. А Оруэлл верил, пока верил в некую утопию. И «дубинкой», которая разбудит его, станет как раз Испания, реальная встреча с фашизмом. Впрочем, о «социализме», как понимал его ранний Оруэлл, надо говорить серьезно.

3.

Один, всего один раз он в книге «Дорога на Уиган-Пирс» скажет о себе в третьем лице. Но именно там и подстережет его досадная ошибка. Он о ней при жизни не узнает. Как не узнают о ней до начала нового тысячелетия ни читатели, ни даже издатели его.

В третьем лице напишет о себе в конце 4-й главы «Дороги», как раз там, где приведет мнение уже упоминавшегося обозревателя *Manchester Guardian*, обвинившего автора в очернительстве жизни. «Неправда, – напишет. – Мистер Оруэлл довольно долго “просидел” в Уигане, ничуть не вдохновившись заклеймить тамошнее человечество. Он очень полюбил Уиган, не пейзаж – его народ. Но одно, – добавит, – им и впрямь упущено из вида: знаменитый Уиганский пирс. Увы! – пишет. – Старинный деревянный пирс снесен, и даже ме́ста, где он находился… не определить…»

После этих слов во всех изданиях книги, даже в русском переводе, вышедшем у нас в 2014-м[29], дается сноска: «Построенный на канале XV века пирс для угольных барж был снесен в 1929 году». Так вот, ошибка в том, что этого знаменитого пирса, причала, который и дал название книге, никогда – ни в далекой древности, ни потом – не было. Кто-то сказал Оруэллу, что на заброшенном участке канала, ведущего к морю, был когда-то оживленный торговый пирс. «Не проверив сказанного, – пишут ныне в Англии, – автор дал книге красивый заголовок, который должен был символизировать хозяйственное запустение, безработицу и нищету. Но оказалось, что никакого пирса не было и торговые корабли оттуда никуда и никогда не отправлялись…»

Может, и хорошо, что не было. Ведь ошибка, подумалось, оказалась едва ли не мистической. Оруэлл искал в Уигане некую опору, спасительную пристань в том смытом временем пирсе, путь к оживлению округи, хоть какую-то дорогу к надежде. А их в принципе не оказалось. Ведь и в жизни не нашлось позже ни выхода из бушевавшего экономического кризиса, ни возрождения угольной промышленности («В настоящее время, – так сообщают справочники, – в ней занят всего 1% населения»). Так что «ошибка» оказалась почти провидческой. Зато на месте складов Уигана, которые Оруэлл принял за остатки верфей, возник ныне Центр исторического наследия. Это тяжелое краснокирпичное трехэтажное здание не только носит сегодня имя писателя, но «книга Оруэлла об Уигане, – как пишут, – занимает в нем одно из самых главных мест».

И была еще одна – и тоже почти мистическая – загадка, связанная с его поездкой. Разгадка ее опять-таки случилась лишь в 2000-х, когда спецслужбы рассекретили архивы. Она связана с

тем, что до недавнего времени иные критики Оруэлла не просто упрекали – прямо звали его «параноиком». «Он видел заговоры повсюду, многие из которых были направлены против него лично», – упрекали его. Он якобы помешался на слежке. А уже наши вчерашние «контрпропагандисты», основываясь на этом, обвиняли его даже в «работе на спецслужбы» – дескать, намеками на слежку за собой он как бы прикрывался…

Так вот, всё оказалось более чем правдой. За ним, я уже писал об этом, следили еще в Индии. Но прямо и плотно «вести» его стали именно в этой поездке. Ныне известно даже имя начальника полиции Уигана Томаса Пея, который слал запросы в Скотленд-Ярд относительно этого «странного приезжего». Майкл Шелден пишет, что «главный констебль Уигана приказывал своим людям всюду следовать за Оруэллом и тщательно проверять его корреспонденцию. Он даже попросил Скотленд-Ярд прислать ему детальную справку о писателе… Предупрежденный о том, что Оруэлла видели беседовавшим с местными членами компартии, – пишет Шелден, – Скотленд-Ярд основательно “покопался” в прошлом писателя и составил досье о его жизни на четырех страницах. В нем Оруэлла прямо называли личностью “подозрительной”, вспоминали его службу полицейским в Бирме, откуда он ушел в отставку “по причине нежелания заставлять себя арестовывать людей”, и приводили даже даты школьных семестров его, даже мелкие детали биографии». А венчала бумаги фотография с паспорта Оруэлла времен Бирмы…

Да, паранойя! Но – паранойя власти, которая, начав следить за ним, так никогда и не снимет этого «пригляда». И в Испании в 1937-м, и в Англии в 1938-м следили, а в 1941-м уже *МИ*-5, пометив у себя, что он «известный коммунист», взяла его в «разработку серьезную». Мог ли он не чувствовать, не замечать этого?..

К чести его надо сказать: он и не скрывал «коммунистических взглядов». В той же «Дороге на Уиган-Пирс» он всю вторую часть книги прямо посвятил социализму, как понимал его тогда. Это пришлось не по нраву не только противникам, но и многим друзьям Оруэлла. Что-то вроде «моральной судороги» испытает от книги даже заказчик ее, Виктор Голланц, – и не только поспешит оговорить свою «особую» позицию в предисловии, но и не издаст больше ни одной рукописи писателя. Не его оказался «социализм». Даже недавняя подружка Оруэлла Кей Икеволл недвусмысленно выскажется потом. «Ужасная книга, – скажет. – Мне кажется, он опорочил всех социалистов, он представил рабочий класс в ужасном, грязном свете… Он восхищался шахтерами, но их физической крепостью, а не определенного

рода политическими обязательствами». Кей даже пустится в обобщения: «Ведь шахтеры в те дни были очень политичны, они во многом были авангардом профсоюзного движения. А он, мне кажется, игнорировал всё, что было положительного в их политике, и концентрировал внимание лишь на грязных аспектах. И, конечно, – скажет, – там есть вторая часть, где он протестует против любого рода социалистов… которые больше похожи на “тетю Салли” и совсем не похожи на тех, кого я встречала». Что ж, тем интересней, подумалось, разобраться в его «социализме», как он представлял его в 1936-м, в той собственной дороге писателя к будущему, в тех надеждах, которых, как того пирса, возможно, и не было совсем…

«Мы живем в мире, где все несвободны, – начинает он вторую часть книги, – где фактически никому не гарантирована безопасность, где почти невозможно существовать, сохранив честность и порядочность. У огромной части рабочего класса… нет шансов улучшить свое положение без кардинальных изменений всей системы…» И приходит к собственному выводу – к радикальному: «Каждому, у кого шевелятся мозги, известно, что есть такой выход, как мировая, искренне и честно налаженная система социализма… Вообще, это же столь элементарный здравый смысл, что я порой изумляюсь, отчего он еще не утвердился прочно и повсеместно…»

Лихо, не правда ли? Вот только какой социализм имел он в виду?

Представления о социализме и до Оруэлла были различны. Был «научный социализм» и, скажем мягко, не очень. Был утопический социализм, был «уравнительный», «христианский» и «казарменный», «анархистский», а если по Бердяеву, то и «аристократический». Наконец, ко времени прозрений Оруэлла был так называемый «реальный социализм», который достигался революционным переворотом, и новый: «троцкистский», «левый» и «правый», просто «эволюционный» – пошаговый комплекс мер по изменению сложившихся социальных систем. После Оруэлла мозаика социальных представлений запестрит не только невероятными – полярными красками. Социализм с «человеческим лицом» и без оного, «шведский», «китайский», «азиатский» и даже «кхмерский», социализм массовых убийств.

Но пока что, размышляя о впечатлениях, полученных в Ланкашире и Йоркшире, Оруэлл был еще, на мой взгляд, на одной из первых ступеней своего понимания социализма. И его «социализм» 1936 года я бы назвал – пусть достанет мне мужества или легкомыслия! – социализмом «утробным». В двух смыслах этого слова: и как неким завязывающимся в его душе

«эмбрионом» поздних революционных размышлений, и как первоосновой их, дорогой от простейшего, от условий жизни беднейшего класса: от еды, жилья, мытья, курева, жалких развлечений бедняков.

«К явному недовольству Голланца и его “Клуба левой книги”, – пишут, например, Ю.Фельштинский и Г.Чернявский, – Оруэлл впервые в своей публицистической практике остро критиковал не только правящие круги, но и британские социалистические течения, которые он считал умозрительным порождением социалистических интеллектуалов». Биографы пишут, что он к тому времени успел познакомиться с «Капиталом» и некоторыми другими работами Маркса, и они его «не впечатлили». «Он считал, что эти воззрения узки, крайне оторваны от реальной жизни, не учитывают в должной мере психологические, моральные и семейные факторы, национальные традиции – всё то, что не находится в прямой зависимости от уровня экономического развития».

«Оруэлловский социализм, – пишут они, – с самого его зарождения в первой половине 30-х годов и до конца жизни писателя оставался весьма неопределенным, *этическим*, включавшим в сферу будущего справедливого общества… не только рабочий класс и другие низшие группы населения, но также средние слои. Иначе говоря, – утверждают они, – сам термин “социализм” был для Оруэлла только *словесной маской*, некой неопределенной формой, *своего рода вывеской*, куда вкладывалось столь же неопределенное содержание, которое лишь с большим трудом можно было бы отнести к одному из социалистических направлений»… И – делают вывод исследователи – «оруэлловский этический социализм» оказывается «в тупике»…

Я, со своей стороны, не стал бы торопиться с окончательными выводами. Как-то так получилось, что наивный «этический социализм» писателя обернется в будущем едва ли не самым важным – «социализмом с человеческим лицом». Да и ныне, в «капитализме», мы всё больше ностальгируем как раз по «человеческому лицу». Но тогда, в 1936-м, эволюция взглядов Оруэлла шла всего лишь от нормального людского миропонимания, просто от размышлений писателя по поводу несправедливого устройства мира. Помните, он сказал: «Я в шестнадцать лет понял, за что бороться – против Бизнес-бога и всего скотского служения деньгам», – а после Бирмы добавил: «Мне тогда казалось, что любая экономическая несправедливость прекратится в тот момент, когда мы захотим, чтобы она остановилась… неважно, какие методы при этом будут

использованы…»

Виктория Чаликова, уловив «душевные движения писателя», тонко подметит потом: «Об условности оруэлловского социализма говорят такие формулы в его творческих портретах, как “озарение социализмом”, “обращение в социализм”, “крещение социализмом”. Речь идет, – пишет она, – о вере, а не о научном мироощущении». На простоту его тогдашних взглядов – а я бы повторил: на «утробность» их – она указала чуть ли не морфологически: «В левых литературных салонах, в которые он вошел, – пишет В.Чаликова, – принято было говорить “*under socialism*” – буквально “под социализмом”. Подразумевается, очевидно, “при социализме”, но для Оруэлла, – утверждает исследовательница, – это не очевидно. Он буквально “цепляется” за предлог: “Они так это себе и представляют: социализм, а они – наверху”. Предлог выдает Оруэллу “тайную мечту английской интеллигенции… создать иерархическое общество, в котором они были бы на вершине и в котором протест против них стал бы физически невыразимым”». Оруэлл и сам ведь уже четко сказал: «Правда состоит в том, что для многих людей, именующих себя социалистами, революция не означает движения масс, с которыми они надеются связать себя; она означает комплект реформ, которые “мы”, умные, собираемся навязать “им”, существам низшего порядка…» Другими словами, и здесь, по сути, всё тот же тупик. И если дорога и тянулась к пристани, образно говоря, к причалу, то – к мифическим, которые пока только мнились ему…

Вопрос из будущего: *Сам собой социализм нигде не наступит и после вашей жизни. Вы в Англии, кажется, поняли это раньше многих?*

Ответ из прошлого: *Социалисты – особенно ортодоксальные марксисты – объясняли мне снисходительно, что социализм настанет согласно неким таинственным законам «исторической необходимости». Вера в такие чудеса, возможно, не иссякла, но, мягко говоря, заметно пошатнулась… И прошу обратить внимание, что сам я в этом споре – на стороне социализма, хотя и вынужден выступить «адвокатом дьявола».*

В.: *Вера молчаливого большинства – или крикливого меньшинства?*

О.: *С одной стороны, полный гнева социалист-пролетарий – этот не очень представляет общие принципы, желает только ликвидировать нищету. С*

другой – социалист начитанный, теоретически постигший, что нынешней цивилизации пора на слом… К вящему несчастью, здесь же… присутствует упомянутый выше разнообразно крикливый народ – громящие буржуазию на манер Шоу пустозвоны и… молодые социал-литераторы, сегодня коммунисты, завтра фашисты… <которые> слетаются на запах всего «прогрессивного»… У обычного порядочного человека… от данной публики впечатление, что все эти партии социалистов – дело чуждое и сомнительное… Множество людей… социализм отвергают… по причинам внутренним, духовным… И вовсе не потому, что в их представлении социализм «не будет работать», а как раз потому, что работать он будет слишком хорошо. Страшит их не действительность собственных дней, а реальность победившего социалистического будущего. Мне крайне редко встречались убежденные социалисты, способные понять, что думающим людям может быть неприятна цель, поставленная социализмом…

В.: *Коммунизм, что ли?*

О.: *Нет, технический прогресс… Социалистическая идея тесно связана с идеей машинного производства… Социалистический мир всегда изображается чрезвычайно организованным и полностью механизированным, зависящим от машин… Такая вот прелесть (или гадость) … Недаром же столько пропагандистских материалов посвящается быстрому подъему промышленности в Советской России (плотина на Днепре, тракторные заводы и т.д.)… И социалисты не способны представить, что на сей счет имеется чье-то совсем другое мнение. Самый убедительный, как им кажется, аргумент – это потрясти вас сообщением, что нынешняя техника – ничто в сравнении с завтрашней, при всемирном социализме… Сплошной порядок и эффективность! Но от видений <такого> будущего… чуткую душу бросает в дрожь.*

В.: *Вообще-то, как я помню, целью коммунизма, по Марксу, является «свободное время». «Единственное богатство» – время, предназначенное «для свободной игры физических и умственных сил»…*

О.: *Смысл работы… «обеспечить нас досугом»?.. Досугом для чего?.. Чтобы меньше трудиться, меньше думать, меньше страдать, повышать гигиеничность, эффективность, организованность, – и давать еще больше*

гигиены, порядка, машин… до рая… вконец отупевших людишек. Разумеется, будущими отупевшими людишками мечтатели себя не видят… видятся они себе Людьми-Богами. Только с чего бы это?.. Гражданин Утопии, нам говорят, после работы, где он ежедневно два часа щелкает кнопкой на заводе томатных консервов, дома будет услаждать себя… выпиливанием узорных дощечек, росписью глиняных горшочков или ручным ткачеством… <Но> никто не ходит за водой с ведром, если вода течет из крана… Весь грезящийся прогресс сводится к неистовой борьбе за достижение цели, до которой не дай боже когда-нибудь добраться. Нечасто… встречаешь людей, уловивших, что нечто под названием «прогресс» влечет за собой нечто под названием «вырождение»… Человек – не брюхо на ножках, как представляется вульгарным гедонистам; ему также даны мозги, глаза, руки. Оставляя руки без работы, отключаешь огромную часть сознания… Предельно оснастите мир машинами – и они полностью избавят вас от любых действий; иначе говоря, от самой жизни… Так что нелепость утопического спасения души возней с лобзиком очевидна. Там, где всё смогут выполнять машины, они и будут всё выполнять… И очень скверно, что сегодня в общественном мнении «социализм» неразрывно связан с «прогрессом»…

В.: *Да ведь и «прогресс» бывает негативным – изобретают ведь и крылатые ракеты?..*

О.: *Отправьте пацифиста трудиться на пушечном заводе – через два месяца он вам представит улучшенный снаряд… На словах мы согласны: машина для человека, а не человек для машины. На практике… процесс машинизации сам стал машиной, сверкающим огромным лимузином, мчащим нас невесть куда. По-видимому, к пуховым перинам светлых утопий и закупоренным в склянке мозгам… И, к сожалению, из-за вбитой в головы связки «социализм – прогресс – техника – Россия – трактор – гигиена – техника – прогресс» людям, которых машинная среда угнетает, обычно противен и социализм.*

В.: *Как раз про таких вы и пишете, что они чуть ли не лакомый «резерв» для фашизма. Они – будущие батальоны его?..*

О.: *Надо успеть убедить человека… Социалистам непозволительно и дальше впустую тратить время на свои догматичные проповеди. Их задача – быстро, безотлагательно ширить ряды приверженцев социализма,*

а не плодить фашистов… Со слегка снисходительным умилением мы отправляемся приветствовать пролетарских братьев, и нате-ка! Пролетарские братья не просят наших приветствий – просят они, чтобы мы удавились. Подойдя в своих размышлениях к этому *пункту, дрогнувший интеллектуал кидается прочь и, если резво припустит, способен добежать до фашизма…*

В.: *Интеллектуал – к фашизму?..*

О.: *Коль дело дойдет до крайностей, то интеллигенция в подавляющем большинстве перейдет к фашизму…*

В.: *Ну и ну!.. Не думаю, что ваши слова понравятся ныне и западным, и восточным интеллигентам. Уэллс, кажется, впервые написал, что либерализм бывает «фашистским». Хотя интеллектуалов и фашистов всё чаще стали сближать и в наши дни…*

О.: *Рядовой фашист зачастую представляет собой благонамеренного обывателя, встревоженного, например, ужасным положением безработных… А единственное, за что нам надо бороться, – свобода и справедливость, ведущий принцип социализма… Хотя «ведущий» как-то перестало соответствовать.*

В.: *Вы имеете в виду «идеал социализма», который в том же Советском Союзе почти сразу после 1917 года стал извращаться?*

О.: *Идеал почти полностью забыт. Погребен, как бриллиант под грудами навоза, под горой догматизма, доктринерства, партийных склок… Задача социалиста – вновь извлечь алмаз на свет… Увы, мы же пока достигли той точки, когда само слово «социализм» вызывает представление, с одной стороны, о самолетах, тракторах, заводах из бетона и стекла, а с другой – о толпе странных фигур, среди которых козлобородые вегетарианцы, большевистские комиссары из породы гибридов гангстера с граммофоном, возвышенные леди в сандалетах, лохматые марксисты с их жвачкой многомудрых терминов, фанатики ограничения рождаемости и подлипалы парламентских лейбористов. Социализм – по крайней мере, на нашем острове – не пахнет более бунтарством и свержением тиранов; пахнет он нелепым чудачеством, культом машин и тупым преклонением перед Россией… Социализм – ниспровержение тирании всюду… Установите этот твердый ориентир – и у вас не возникнет… сомнений…*

В.: *Но ведь вас, помню, не устраивали социалистические объединения, которые существовали тогда. Значит, что? Нужна какая-то новая социалистическая партия?*

О.: *В ближайшие годы у нас получится или не получится создать ту партию социалистов, в которой мы нуждаемся… Партия должна стать по-настоящему решительной и достаточно сильной численно… Не получится – вспухнет свой фашизм… Получится – будет борьба, самая настоящая, поскольку наши плутократы смириться с властью подлинно революционной не захотят… И тогда, может быть, вся эта хмарь классовых предрассудков рассеется, и мы, тонущий средний класс – школьный учитель, полуголодный журналист-внештатник, живущая на пенсию дочь полковника… морской офицер без корабля, клерки… все мы плавно опустимся еще ниже, став рабочим классом, которым, собственно, давно являемся. И, вероятно, там окажется не так ужасно, как мы боялись. Ведь кроме безупречного произношения терять нам, в общем-то, и нечего…*

В.: *Как пролетариату – цепей?.. Но сами-то вы верите в это?*

О.: *Сам я – может быть, без достаточных оснований – верю, что рано или поздно обычный человек победит в своей борьбе, и я хочу, чтобы это произошло не позже, а раньше…*

Ну чем не прокламация эта книга? Начав с прочистки отстойных «стоков» системы, как та несчастная девушка на морозе, он закончил прямым призывом к революции. Понятно, почему за ним следили власти. А ведь скоро он просто будет звать к «крови на баррикадах» Лондона… Такой вот «антикоммунист», «исчадие ада», каким считали его почти полвека в СССР!

* * *

Комментарий: Война идей и людей

«Мне нравится, что вы больны не мной, / Мне нравится, что я больна не вами…»

Эти стихи Марина Цветаева написала в Москве о

неслучившейся любви в 1915-м. А могла бы написать в 1926-м – и в Лондоне, когда у нее возникла симпатия к блестящему во всех смыслах человеку: родовитому русскому князю, поэту, критику и переводчику, тогда – доценту Королевского колледжа Лондонского университета, чьи лекции о Толстом и Достоевском на безупречном английском собирали толпы слушателей. «Зал, где он читал, всегда был набит до отказа, студенты всех факультетов бросали всё, чтобы прилепиться на подоконниках, и при распахнутых дверях стояли не шелохнувшись на площадке и на лестнице», – писала о них свидетельница.

Цветаеву князь боготворил: «Одна из самых пленительных и прекрасных личностей». И тогда же, в 1926-м, опубликует статьи о Цветаевой в четырех русских и одном английском журнале, а также в своей «Истории русской литературы», вышедшей на английском. Цветаева приехала к нему в Лондон и провела с ним две недели. Флирт, легкий роман? Возможно. Во всяком случае, с тех дней он регулярно помогал ей деньгами и даже оплачивал ее парижское жилье. Так вот, имя этого джентльмена русских кровей – если вы не догадались еще – Дмитрий Святополк-Мирский. Сын министра внутренних дел, выпускник филфака, участник Первой мировой, а потом и Белого движения в России, Мирский еще в 1922-м примкнул к евразийству и вместе с мужем Цветаевой стал соредактором журнала «Вёрсты», любимого Цветаевой.

Вы спросите, отчего вдруг в книге об Оруэлле я вспомнил и нашего поэта, и Святополка-Мирского? Да оттого, что в «Дороге на Уиган-Пирс», не считая Ленина и Сталина, я встретил лишь одно русское имя – как раз Святополка-Мирского. Но, боже мой, как же Оруэлл пишет о нем!

«Ярчайший пример травли буржуазного сословия мне встретился в книге Мирского «Британская интеллигенция»[30], – пишет Оруэлл. – Сочинение, с которым стоит ознакомиться, чтобы понять *возвышение фашизма* (курсив здесь и далее мой. – *В.Н.*). Мирский (в прошлом князь Мирский) – русский белоэмигрант, приехавший в Англию и несколько лет читавший лекции по литературе в Лондонском университете. Позднее он был обращен в коммунистическую веру, вернулся в Россию и написал свою книгу как некое разоблачение британской интеллигенции с позиций марксизма. Книга *дико злобная*… – констатирует Оруэлл, – с откровенным подтекстом “Теперь вам меня не достать и можно как угодно вас расписывать!”… Литератор аристократических кровей, ни разу в жизни, вероятно, не общавшийся с рабочими на равных, изрыгает *потоки ядовитой клеветы*, *свирепо понося* “буржуазных” коллег. Почему? По всей видимости, исключительно *от злости*. Автор воюет против

британской интеллигенции, но *во имя чего* (курсив Оруэлла. – *В.Н.*)? На это в тексте – ни намека. В итоге создается ощущение, что коммунизм не предлагает ничего, кроме *ненависти* (курсив Оруэлла. – *В.Н.)*… Тот же *яд* и то же *мошенничество*…»

Вот она, «война идей» в химически чистом виде! Ведь трагедия умных и совестливых людей XX века – может, лучших человеческих экземпляров – заключалась не только в том, что с ними рано или поздно, но расправлялись любые государственные режимы (капитализм, социализм, фашизм), но и в том, на мой взгляд, что сначала, «не узнавая друг друга», они – талантливые и совестливые! – безжалостно уничтожали друг друга. Границы государств здесь не играли роли. Воевали идеи в их головах…

В марте 1937 года огромным тиражом в «Клубе левой книги» выйдет «Дорога на Уиган-Пирс». А через три месяца, в июне 1937-го, в Москве будет арестован вернувшийся пять лет назад в СССР член Британской компартии с 1931 года князь Святополк-Мирский. Он умрет в лагере. Но знаете ли вы, за что его арестовали в Москве? По сути, за ту же книгу, которую «исхлестал» в Лондоне как раз Оруэлл! Не верите?..

Об аресте князя расскажет бывший редактор «Известий» Иван Гронский: «Я сказал о своих сомнениях Ягоде и просил его заняться Мирским: подозрительный тип! Он говорит: “Ну, ты всех подозреваешь!” Я говорю: “Очень попахивает Интеллидженс Сервис!”

Я, – признаётся далее Гронский, – сказал об этом и Сталину. Оказывается, Сталин был у Горького, и там был Мирский. Сталин говорит: “Он на меня произвел впечатление фальшивого человека. Дайте распоряжение Ягоде от моего имени, чтобы он этим персонажем занялся”…»

По Оруэллу, Мирский – «мошенник» (умственный, разумеется), по Сталину – «фальшивый человек»… Пожмите друг другу руки, товарищи!

Мирский, поменявший «флаги» по тем же, в принципе, причинам, что и Оруэлл, – из-за неприятия буржуазии! – думаете, не понял, что произошло с ним? Прекрасно понял. Однако в Москве сначала «просвещенчески» писал об Элиоте, Джойсе, даже о Хаксли, но довольно скоро вынужден был, не мог не принять участие в общем «шабаше», в знаменитых «московских процессах» против троцкистов.

25 января 1937 года на президиуме Союза советских писателей, который был посвящен процессу над Бухариным, писатели Вс.Иванов, Б.Пильняк и К.Федин потребовали «крови подсудимых». 26 января «Литературная газета»» напечатала передовую статью «Нет пощады изменникам!» и тьму

писательских откликов на процесс: статьи Толстого, Новикова-Прибоя, Шагинян, Вишневского, Леонова, Маршака, Луговского, Лавренева, Малышкина. И, представьте, – Андрея Платонова, Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Виктора Шкловского. И в том числе поклонника Цветаевой – Мирского!.. Ну разве не вселенская мясорубка, не безжалостные «жернова» государств? А ведь сражались, казалось бы, только идеи… Как тут не вспомнить покойного Григория Померанца? «Дьявол, – написал он, – начинается с пены на губах ангела, вступающего в бой за светлое и правое дело. Всё превращается в прах – и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему зло на Земле не имеет конца…»

Оруэлл к похожему выводу еще придет. Но пока, на последних страницах «Дороги на Уиган-Пирс», он, словно «от яйца», сначала призна́ет, что «у социалистов работы непочатый край», а в конце концов и остережет: опасно менять мир по «плану» классиков марксизма-ленинизма, но еще опасней – менять вообще без плана… Вот откуда брала начало его особая, ни на что не похожая «колея» к социализму…

Ричард Рис назовет «Дорогу…» книгой-сенсацией. Еще бы: «Бывший студент закрытого колледжа… стал проповедовать социализм, но не преклоняясь перед Марксом или Сталиным и не извиняясь за свой тон и манеры, – напишет Рис, – а высмеивая социалистов из буржуазии, критикуя таких высокочтимых столпов социализма, как Уэллс, Шоу и Вэббы… До этого он шел ощупью, а “Дорога” раскрыла ему его же сущность – “истинную натуру”». Социализм, верно отметит, стал для него «вопросом совести, а не вкуса, моды или выгоды». И подчеркнет, что если первая часть книги Оруэлла и ныне представляет документальный интерес, то во второй части (по сути, социалистической листовке) он сделал всё, «чтобы навлечь на себя нападки как прогрессистов, так и реакционеров». Стал третьим в споре двух…

Рис пишет, например, что в 1936-м, когда Оруэлл писал «Дорогу», его приглашали выступать в летний лагерь социалистов, организованный *Adelphi* в Летчуорте, и Оруэлл возмущался, что устроители, сообщая об условиях работы лагеря, просили его заранее известить, какую он предпочитает кухню: «обычную или вегетарианскую»? Одной этой детали, негодовал писатель, достаточно, чтобы оттолкнуть множество приличных людей. То есть давайте заботиться или о будущем человечестве – или о здоровье «своей туши»… Такой летний лагерь был не единственным тогда. Оруэлл не без яда отметит и это: «Даже сам герцог Йоркский (ныне уже король Георг VI) опекает ежегодный

летний лагерь, где питомцы закрытых школ должны на отдыхе подружиться с трущобными мальчишками, – где эти ребята и сосуществуют наподобие цирковой “счастливой семейки” из пса, кота, двух хорьков, кролика и трех канареек, настороженно и нервно сидящих в одной клетке под зорким оком дрессировщика». Напрасный труд, напишет. «Пока буржуа и бородатые пропагандисты фруктовых соков смотрят на пролетариев через перевернутый бинокль, они на все готовы ради бесклассового общества, но, доведись им испытать *реальный* контакт с пролетарием (например, в субботней ночной драке с пьяным грузчиком), – их мигом отшатнет к самому пошлому буржуазному снобизму…»

Кстати, на тех выступлениях в лагере (один доклад Оруэлл назвал «Депрессивные районы: взгляд со стороны») он, по свидетельству Риса, среди шевелюр, свитеров, снуло поблескивавших очочков интеллигентов – и сплошных цитат из Маркса-Энгельса, «удивляя всех, в том числе и марксистских теоретиков… не выставляя напоказ свою ученость, так интерпретировал поразительные марксистские парадоксы и эпиграммы, что загадочные и непонятные положения начинали выглядеть как вполне очевидные и простые». Он, высмеивая обещания политических деятелей «повысить уровень жизни вдвое» в течение двадцати пяти лет и, с другой стороны, похвальбу русских, что вскоре они «станут богаче американцев», упорно задавал вопрос: а что потом? Что делать с этим богатством, если не будет войны? Помочь азиатам и африканцам стать столь же богатыми, как и мы? Ну а потом? Колонизировать Луну? Ну а потом?.. Дальше?.. «Во время одной из дискуссий, – удивляясь, пишет Рис, – я заметил, как некий видный марксист смотрел на него просто с восхищением». А в зале между тем сидели и ставшие уже друзьями Оруэлла Макс Плауман из *Adelphi*, Джек Коммон, Райнер Хеппенстолл, и видные политические деятели социалистического толка: Джон Стрейчи, тогда один из лидеров лейбористов, Феннер Броквей, генсек Независимой рабочей партии, Дуглас Мойл, Пэдди Донован – и Джон Макнейр, с котором через полгода Оруэлл близко сойдется в воюющей Барселоне.

На деле, разумеется, Оруэлл и сам не знал пока ответов даже на гораздо более простые вопросы. Социализм по Оруэллу, пишут Ю.Фельштинский и Г.Чернявский, был только «эмоционален». Корни социальной несправедливости он «видел в духовной стороне, в эгоизме человека, в недостаточной просвещенности населения», а не в «объективных закономерностях функционирования частной собственности и рыночных

отношений». Такой, дескать, революционный романтизм. И, конечно же, подчеркивают авторы, он не знал, какие именно действия следовало бы предпринять…

Все эти вопросы возникнут и к рукописи «Дороги», когда Оруэлл представит ее Голланцу и издательскому комитету «Клуба левой книги», куда вошли уже и упомянутые Джон Стрейчи и Гарольд Ласки. «Честно говоря, – напишет Голланц в предисловии к книге, – я отметил более чем сотню мест, по поводу которых счел бы необходимым поспорить с господином Оруэллом». И тогда же упрекнет Оруэлла, что тот «не ведет борьбу против мирового фашизма». Книга с этим упреком – вот уж действительно абсурд! – вышла в 1937-м, когда обвиненный в этом Оруэлл не болтал по гостиным про опасность фашизма, а реально – подчеркиваю, реально – воевал с фашистами в Испании…

«Дорога на Уиган-Пирс», серийное издание «Клуба левой книги», имела невиданный для работ Оруэлла тираж – 44 тысячи экземпляров. Кроме того, Голланц предварительно напечатал 2000 экземпляров для розничной торговли и опубликовал небольшую брошюру тиражом в 500 штук с наиболее яркими фрагментами книги. Это не говоря о том, что книга будет дважды переиздана потом.

Скептически откликнулся на «Дорогу» сын знаменитого историка Арнольда Тойнби Филип, сам крупный писатель и журналист, директор к тому времени Королевского института международных отношений. Работа, написал, «читается подобно докладу, представленному неким гуманным антропологом, который только что возвратился после изучения условий жизни угнетенных племен на Борнео». Остроумно сказал, поаплодируем ему!.. В свою очередь, социалисты и коммунисты, признавая яркость книги, отмечали, что она «поверхностна», ибо не давала рецептов борьбы с нищетой и безработицей. До рецензии на книгу в *Daily Worker*, рабочей газете, снизойдет даже вождь британских коммунистов Гарри Поллит, который, надо сказать, больше оценил (пренебрежительно и высокомерно) не содержание ее, а личность автора, назвав Оруэлла «маленьким мальчиком из среднего класса» и «бывшим империалистическим полицейским», который, дескать, взялся писать о «предмете, в котором не смыслит». Наконец, откликнулся на книгу Гарольд Ласки, теоретик лейбористской партии, руководитель и профессор Лондонской экономической школы. Он написал, что социалистическая пропаганда Оруэлла «игнорирует всё, что подразумевается необходимым в повседневной реальности классового антагонизма», что он «отказывается от рассмотрения

сложных проблем государства» и «не понимает исторического развития экономического процесса» – то есть как раз то, что Оруэлл сознательно отвергал, считая это жонглированием «марксистскими терминами», от которых простой работяга впадал в зевоту. Хотя в главном это и было целью его – он колотил по головам обывателей, зовя их двинуться наконец к «реальным революционным переменам». Эта «философия драки» и станет основой его «эмоционального» – но всё еще утопического социализма.

Не знаю, вспоминал ли в Лондоне в своих блестящих лекциях о Достоевском Святополк-Мирский мысль великого классика о «свободе» и «миллионе». «Свобода. Какая свобода? – вопрошал Достоевский. – Одинаковая свобода всем делать всё что угодно в пределах закона. Когда можно делать всё что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым делают всё что угодно…» Ровно так мог бы сказать вслед за русским классиком нарождавшийся классик Оруэлл. Извечная несправедливость мира была первоосновой его «социализма». Он был еретиком, и его взгляды не совпадали ни с марксизмом коммунистов, ни с реформизмом лейбористов. В «Дороге» он, повторю, написал: «Противостоять социализму… самоубийственно». Написал, не зная еще, что самоубийственно было, как для «врага» его, Мирского, и въезжать в «реальный социализм» СССР. Но самую «еретическую» фразу, даже зная уже если не всё, то многое про «сталинский социализм», Оруэлл скажет через три года, когда на улицах Лондона начнут рваться первые немецкие бомбы. Скажет радикальней некуда: «Мы не можем ни выиграть войну с фашистами без введения в Англии социализма, ни построить социализм без победы в этой войне…» И – призовет к крови!

4.

Свою собаку, большого доброго пуделя, Оруэлл окрестит Марксом. Смешно!.. А козу назовет Мюриель. Под таким именем она и войдет потом в его «Скотный двор». Воображаю, как хохотала Эйлин, когда они вместе придумывали клички домашнему скоту из его сказки, – жена его, пишут, выхватывала из-под руки написанные уже куски и даже покатывалась от смеха, валяясь на кровати…

Всё это будет происходить в тридцати пяти километрах от

Лондона, в Уоллингтоне, куда 2 апреля 1936 года, сразу после Уигана, вместе с чемоданами, портпледами и бесконечными столбиками книг переехали Эрик и Эйлин. Так в одночасье он стал писателем-фермером, садоводом и даже бакалейщиком. Тоже смешно – «бакалейщик»! Но так любил звать себя. Так представится, когда приедет в Барселону записываться в ополчение. «*Grocer*», если по-английски. А по-русски, если попросту, то и «лавочник». Но Оруэлл «всегда хотел, чтобы его принимали за трудового человека». Короче, как бы то ни было, но теперь он будет подписывать письма отсюда всего двумя словами: «Магазин. Уоллингтон».

Уоллингтон – это в графстве Хартфордшир, неподалеку от Истборна, где он учился когда-то в школе Св.Киприана, и всего в трех милях от маленького городка Болдок. Деревушка не деревушка, сельцо не сельцо, но, чтобы всё стало ясно, – в Уоллингтоне жило тогда всего тридцать пять семей. Был там небольшой прудик, две пивные и игрушечная, бурого камня, церквушка Святой Марии, где через два месяца Оруэлл и обвенчается с Эйлин. Жить будут в двухэтажном, с крышей-горкой коттеджике с черными сараями рядом и бывшей лавочкой в придачу – магазином, к тому времени закрытым. И коттедж, и магазин Оруэлл взял в аренду за баснословно низкую цену – за два фунта. Правда, при условии: мистер Дирман, хозяин дома, настоял, чтобы Оруэлл эту лавку открыл вновь – и вообще открывал хотя бы на пару часов, ибо только здесь и можно было купить самое необходимое, от лампового масла до леденцов детишкам…

На деле, конечно, это был не дом, а дыра дырявистая. Просто развалюха. Он, как всегда, из худших вариантов выбрал наихудший. Проживут они здесь четыре года, до начала войны, потом будут приезжать на выходные, а откажется от аренды Оруэлл вообще в 1947-м. Пишут, что подыскала ему этот дом всё та же Нелли Лимузин. Оруэлл после Уигана как раз искал уединенное местечко для работы, желательно в сельской местности, к которой привык с детства, и – вы удивитесь! – с возможностью открыть какой-никакой магазинчик, чтобы было чем «кормиться». Теперь же напишет Джеффри Гореру, что в этой лавчонке «не хлопотно и не надо слоняться без дела, как это было в книжном, – сюда ходят, чтобы купить что-нибудь, а не провести время…»

Другой приятель, одним из первых навестивший его, – Деннис Кинг-Фарлоу, итонец, выпускавший когда-то с ним журнал, – вспомнит и дом, и лавку далеко не лестно. Когда они двинулись к леску, дабы прогуляться и поговорить о своем, об

«итонском», и Оруэлл мимоходом бросил, что хотел бы написать очерк о «быте заключенных», Деннис даже обернулся невольно на «коттедж» – какая, дескать, еще фактура нужна для этого?..

Это правда, и это уже не смешно. Дом сохранился и ныне: три окна на каждом этаже, дымовая труба, обнесенный штакетником палисадник с калиткой. Но не было электричества, дом освещался и обогревался газом, не было уборной – она была во дворе, – и во дворе же, в глубине сада, стояла колонка с водой. В дождливые дни под полом в закутке, что считался кухней, скапливалась вода, а забитые стоки превращали жилье в вонючую яму. Продукты в такой атмосфере моментально плесневели, хотя в доме даже в июне стоял страшный холод. Дверь в магазин напоминала лаз в преисподнюю – она была 140 сантиметров в высоту, и миновали ее свободно лишь дети, прибегавшие за горсткой сладостей. А над гостевой спальней на втором этаже между потолком и крышей бесчинствовали птицы, свившие там гнезда, и, хотя их пение по утрам было, как пишет, например, Лидия Джонсон-Жибуртович, «божественным», по ночам они яростно дрались, как целая «армия демонов». «Люди думают, – растягивал слова Оруэлл, – что это крысы», – причем говорил это, как вспоминала она, с характерной своей усмешечкой, «которая появлялась у него, когда ему нравилось чувствовать себя чуть-чуть садистом». Нет, поспешно добавляет Лидия, «я очень любила компанию Эйлин и Эрика, но выходные дни на их даче были в известном смысле тестом на выживание». Однако и не оставаться на ночь было невозможно: уехать из-за транспорта можно было лишь на следующий день…

Думаете, все эти неудобства трогали жениха и невесту? Нисколько! Они были счастливы, а Оруэллу так вообще нравилось всё. Засучив рукава, он принялся приводить в порядок сад и огород – он любил возиться с землей; копал, удобрял, подрезал, поливал и окапывал, сажал и пересаживал кусты роз, обносил изгородью загоны для живности, которую планировал завести, поправлял крыльцо, сооружал полки для книг, сделал новый прилавок для магазинчика, а по вечерам, думаю, свернув последнюю самокрутку, усаживался на приступок и любовался закатами. Через месяц, наладив связи с поставщиками, найдя партнеров в Болдоке (у них прикупал недостающий товар, за которым ездил на велосипеде едва ли не ежедневно), открыл и магазин. На прилавке у несостоявшейся университетской диссертантки Эйлин стояли весы, справа лежал нож для резки бекона, за спиной – несколько полок с ходовым товаром и контейнеры для сахара и муки, а на «треугольном личике» самой продавщицы – радушная улыбка. Ну чем не счастье? Когда же два

десятка цыплят превратились в несушек, когда запел петух и заблеяла первая коза, оба решили, что им теперь сам черт не брат. Вдохновлял, кстати, и пример Киплинга, который тоже с возрастом завел в своем имении целый «колхоз»: лошадей, коров, свиней, гусей, кур и даже молочную ферму. А Оруэлл настолько полюбил это дело, что в одном из писем к Генри Миллеру даже извинился на полуслове: «Сейчас мне нужно прерваться и подоить козу, но я продолжу, когда вернусь…» Кто-то из местных скоро скажет ему, что козье молоко куда приятнее, если доить козу при первых лучах солнца. Поверив этому, он начнет вставать на рассвете, чтобы надоить парного молочка и принести кружечку сонной еще Эйлин. Нет, было, было в жизни этого одинокого и колючего человека, «высокого, костлявого – как пишут, – с лицом, застланным болью, с глазами, которые, казалось, смотрели из пещер, с тонкими губами и жесткими волосами», короткое мужиковое счастье: укорененность местом, умиротворенность бытом, удовлетворенность физическим трудом, улученность любимой женщиной и, конечно же, уединенность над листами будущих книг. А Эйлин? Про нее Джеффри Горер напишет потом, что она оказалась существом «чудным, безгранично ему преданным, редким типом леди и интеллигентки в одном лице». Она была и полезной: владела французским, быстро печатала на машинке и даже знала стенографию.

Обвенчались «молодые» 9 июня 1936 года в той самой бурой церквушке. Ровно две недели оставалось Оруэллу до своих 33-х – возраста Христа. Оба, думаю, как законченные атеисты, вряд ли вспомнят про это. Умные, ироничные, насмешливые, они и дальше – как бы тяжело им ни было – не обращались к Богу. Одной знакомой Оруэлл уже в день свадьбы успел черкнуть пару слов: «Как раз сегодня утром я женюсь – и реально одним глазом смотрю на часы, а другим – в молитвенник, который уже несколько дней изучаю в надежде отвлечь себя от мерзости свадебной службы». Вот так – «от мерзости»… Хотя в эту старую церковь (на одном из могильных камней можно было еще разобрать дату «1693») с органом и витражом Оруэлл, толкнув дубовую дверь, внес, пишут, невесту на руках. Перепутал обряд – вносят в церковь покойников, а вот невест на руках всё-таки выносят. Оплошность еще аукнется – Эйлин ведь умрет раньше него.

Свадьба была скромной – закончилось всё просто «семейным обедом» в одном из двух местных пабов. На торжество приехали мать Оруэлла и неизменная Эврил (отец чувствовал себя неважно). Они торжественно вручили Эрику часть семейного столового серебра, вывезенного еще из Индии. Со стороны Эйлин

были мать и Лоренс – любимый брат – с супругой. Вот, кажется, и всё. Эйлин рассказывала потом (факт, обнаруженный в лондонском архиве писателя), что мать и сестра Эрика позвали ее на второй этаж и там, чтобы никто не слышал, сказали, «что им очень жаль ее». Знали, что говорили, – Эрика знали… Позднее, когда Эйлин проведет неделю в семье Оруэлла, она в одном из писем вспомнит это еще раз. «Семья, в общем, интересная, – напишет, – а необычное их отношение ко мне, думаю, проявляется потому, что все они обожают Эрика, но, с другой стороны, считают, что с ним совершенно невозможно жить. Скажем, в день свадьбы миссис Блэр покачала головой и сказала, что посчитала бы меня девушкой храброй, если бы я действительно понимала, на что иду, а Эврил, сестра, добавила, что я точно не знаю, на что иду… Они, мне кажется, еще не уяснили, что я и сама по темпераменту во многом такая же…»

С ним и дружить-то было трудновато, не то чтобы жить. Это тоже правда. Скажем, Джереми Льюис, наш уже современник, в одной из статей, опубликованных в 2002 году, вдруг сообщил: «Занимаясь как-то биографией Сирила Коннолли, я был удивлен – почти шокирован, – встретив вдруг записку Оруэлла к своему школьному другу. Он писал Сирилу, что им следует осматривать книги, которыми они обменивались в последнее время: “Ты исцарапал мою, – пишет Оруэлл. – Что ж, я поцарапаю твою…”» И, если исполнил обещание, если это не «догнавшая» их шутка детских еще времен, то и впрямь можно впасть в шок! «Возможно, – попытался объяснить всё это Льюис, – это какая-то родовая черта Оруэлла, как человека-парадокса… Ведь даже Стивен Рансимен, другой товарищ по Итону, как-то заметил, что Оруэлл “жалел человечество, но не сильно жалел конкретного человека”. А Хилари Сперлинг, подруга Сони Браунелл, его второй жены, даже предположила, что “идеи для него значили больше, чем люди”…»

Словом, таким увидела его Эйлин в первый год их жизни. Но она не просто полюбила его, не просто стала терпеть его эксцентричность – она во многом отказалась от собственной оригинальности: той оригинальности, которая просвечивает в ее письмах. Она в браке оказалась самоотверженней Оруэлла, – и делала всё, чтобы Эрик смотрел на жизнь оптимистичней. Ей были свойственны, как вспоминала подруга Лидия, «внутренний героизм и спасительное чувство юмора». Она не пыталась заставить его найти постоянную работу, изменить несколько богемный стиль жизни. Живая, обладающая способностями женщина, махнувшая рукой на свою карьеру, она, устраиваясь в продуваемой сквозняками хижине, святой обязанностью считала

помогать ему: печатала его статьи и книги, подбирала литературу, подбадривала в начинаниях. А он, помните, уже через неделю после свадьбы упрекнул ее, что из семи дней после свадьбы ему удалось хорошо поработать над книгой только два дня. Кошмар! В другой раз, хоть и жил почти в сарае, как бы невзначай попенял, что джем надо подавать на стол в розетке, а не выставлять «банку с ложкой». А однажды – видимо, демонстративно – стал протирать в буфете ту посуду из серебра, ну, «чтобы она светилась за стеклом»…

Отношения их со временем будут только усложняться. Их тянуло друг к другу, «временами, – как пишут биографы, – они были нежны, и казалось, что это действительно счастливый брак. Но оба были людьми со своими нравами и привычками. Оба были упрямы в отстаивании своих принципов». Эйлин, например, едва ли не сразу почти «пошутила» в письме к подруге: «После замужества, – написала, – у меня на несколько недель исчезла охота к регулярной переписке, потому что мы ругались постоянно и ожесточенно, и я подумала тогда, что сэкономлю кучу времени, если напишу всем лишь по одному письму, но когда убью его или разойдусь с ним…» Биографы не приводят дальнейших слов этого письма, а ведь там довольно красноречивые детали. Эйлин, которая подписывала свои письма подруге словом «*pig*» – «свинка» (видимо, школьное прозвище ее), пишет, что в первые недели не могла справиться с печью-духовкой («а от сваренных яиц, исключительно которыми и питался Эрик, ее уже просто тошнит»), что в течение шести недель ежедневно шел дождь («и всё это время в кухне стояла вода»), что целую неделю после свадьбы ее донимала мать («да так, что я всё время плакала»), что потом у Эрика был бронхит («и он три недели не мог справиться с ним»), а когда к ним приехала и прожила в доме два месяца тетка Эрика, то это вообще было ужасно («мы без конца ссорились с ней и просто стонали друг от друга…»). Наконец, замечает, что дважды собиралась вырваться из Уоллингтона, чтобы навестить подругу, и дважды это срывалось («у Эрика всегда появляется что-то, что надо сейчас же сделать…»). Ну и, конечно, писала об отсутствии денег: лавка, как выяснилось, едва покрывала плату за аренду, а гонорар за «Фикус» всё не шел и не шел…

«Женщины, женщины! Вот неотвязная проблема! – легкомысленно писал Оруэлл недавно в романе «Да здравствует фикус!». – Ну что бы человеку забыть про это или, как дано прочей живой твари, лишь изредка прерывать равнодушное целомудрие вспышками минутного вожделения. Как петушок – потоптал, спрыгнул и пошел; ни обид, ни угрызений, никакой занозы в мозгах». Но так можно было «спрыгнуть» с женщинами

«особого разбора» в трущобах Рангуна, с безобидными бирманскими наложницами, с той проституткой в Париже, на которую когда-то запал. Так можно было даже с Кей Икеволл. Но с женой… с которой перед алтарем… с любимой, единственной?.. Неужели пристань, семейный причал – и тот всего лишь померещился ему, привиделся?..

Он яростно марал бумагу, писал книгу-прокламацию про Уиган, рвал куски, переписывал страницы и понимал: для такой работы нужно полное душевное спокойствие. А какое тут спокойствие с молодой женой?.. Подкосило их и то, что, как скоро выяснилось, они не могли иметь детей, чего страстно желали. Кто не мог и по какой причине – это и ныне не вполне ясно. Судя по словам Кей Икеволл, – Оруэлл. А что касается Эйлин, то меня, если одним глазком заглянуть в ее будущее, поразят слова ее, когда через восемь лет они усыновят мальчика-младенца. Она скажет тогда, что «снова захотела жить»… Страшновато ведь звучит? Но самое ужасное, что ровно через девять месяцев после этих слов она и умрет. Словно сама судьба оборвет пуповину с не ею зачатым дитятей…

«В игре, которую мы начали, нам не выиграть, – скажет герой последнего романа Оруэлла Уинстон Смит. Скажет Джулии, в которую влюбится. – Просто из двух зол выбирают меньшее, вот и всё…» Я уже приводил эти слова. И еще он напишет, что «на свете нет такой вещи, как счастье», что «победа может быть только в будущем… после твоей смерти» и что, когда ты начинаешь личную «войну», «лучше всего считать себя трупом…». Витальная Джулия в романе с этим не согласится. А витальная Эйлин? И когда она устанет жить?..

Нам известно лишь, что уже через год после свадьбы у обоих начнутся флирты на стороне. По странному совпадению, у обоих – с русскими. У Эйлин, когда она ринется вслед за мужем в воюющую Испанию, – с бесстрашным командантe, другом Оруэлла Жоржем Коппом: бельгийцем, который на самом деле окажется петербуржцем Георгием Александровичем Коппом. А у Оруэлла – с лучшей подругой Эйлин, Лидией Джонсон-Жибуртович… Нет, неисповедимы пути твои, Господи…

Оруэлл, скрытный и молчаливый, разоткровенничается лишь после смерти Эйлин, в 1945-м. Слова его сохранятся, хоть и не предназначались для чужих ушей: «У меня было очень слабое чувство чисто физической ревности, – напишет в одном из писем. – Я особенно не заботился о том, кто с кем спит, мне казалось, что имеет значение верность в эмоциональном и интеллектуальном смысле. Иногда я изменял Эйлин и плохо обращался с нею. Наверное, и она временами плохо со мной

обходилась. Но это был подлинный брак в том смысле, что мы вместе прошли через жуткие битвы…»

Глава 7.
Рядовой свободы

1.

Пуля, прилетевшая из-за бруствера в пять утра, угодила ему в шею. Жизнь кончена, понял он. Он никогда не слышал, чтобы человек или зверь выживали, получив пулю в шею. А коль так, жить ему оставалось несколько минут.

Это случилось 20 мая 1937 года под Уэской, после пяти месяцев его личной войны против Франко. Он был уже лейтенантом, у него было почти тридцать бойцов. Днем они гнили в окопах, готовили еду на жиденьких кострах, мурлыкая под нос революционные песенки (каждый – на своем языке), а по ночам ходили в рейды и брали в плен фашистов. И вот та шальная пуля; он как раз инструктировал смену часовых.

«Мешки с песком, сложенные в бруствер, вдруг поплыли прочь…» Часовой, с которым он только что говорил, нагнулся: «Эй! Да ты ранен!» Потом попросил нож, чтобы разрезать рубаху. Оруэлл потянулся достать свой, но понял: правая рука парализована. «Поднимите его! – кричали со всех сторон. – Да расстегните наконец куртку!» А он лежал и понимал: его подвело рассветное солнце, его голова над бруствером в свете первых лучей оказалась отличной мишенью. А еще почти сразу вспомнил Эйлин и ее слова, что она даже хотела, чтобы его ранило. Он удивился еще, а она сказала, что просто мечтает, чтобы его ранило, а значит, не убило бы.

Крови почти не было. Кровь хлынула изо рта, когда Оруэлла попробовали приподнять. Тогда его и заколотило. «Ранение в горло», – шепотом сказал Гарри Вэбб, санитар, прибежавший с бинтом и спиртом. А начальник Оруэлла, молодой польский еврей капитан Левинский, на неописуемой смеси языков сокрушался: «При таком росте – и стоять в полный рост… Чудо, что не убили…» И, конечно, чудо – это выяснится потом, – что пуля не задела сонную артерию, прошла в миллиметре от нее. А ведь за одиннадцать дней до ранения, 9 мая 1937 года, он уже написал Голланцу: «Очень надеюсь выйти из всего этого живым, хотя бы для того, чтобы написать об этом книгу…» И вот – конец. «Мне, – пишет, – стало обидно покидать этот мир, который, несмотря на все его недостатки, вполне меня устраивал. Я думал также о подстрелившем меня… Поскольку он фашист, я бы его

убил… но если бы его… привели, я поздравил бы его с выстрелом…»

Что он не умер, стало понятно, когда его, уложив на носилки, бегом потащили в медпункт. Два километра по скользкой тропе, когда ветки кустов буквально хлестали его по лицу, когда он и ругался от боли, и сдерживался как мог, ибо рот сразу же наполнялся кровью. Первый же врач, сменив ему повязку и всадив морфия, отправил его в Сиетамо, в наспех сколоченные бараки, которые назывались «госпиталь». Перевалочный пункт. Но именно здесь его успели нагнать двое друзей, отпросившихся с позиций.

– Привет! – разулыбались они. – Значит, ты жив? Хорошо. Давай нам свои часы, револьвер и электрический фонарик. И нож, если есть…

«Так поступали с каждым раненым, – пишет Оруэлл. – Часы, револьвер и другие вещи были необходимы на фронте, а если оставить их у раненого, их наверняка стащат по дороге». А еще пишет, что день этот – самый трудный в его жизни – закончился долгой дорогой в Барбастро, когда санитарные машины, загруженные под завязку, отправились в тыл. «Адское путешествие». Не зря гуляла шутка, что если тебя ранило в конечности, то ты после этой тряски выживешь, но если в живот – пиши пропало. Раненых ведь даже не привязывали к носилкам. Кого-то в кузове выкинуло на пол, другой, вцепившись в борт, всю дорогу блевал. А он, ухватившись левой рукой, в которой еще чувствовалась сила, в край носилок, лежал и вспоминал, как всё это началось. Как он оказался в этой чужой ему стране, зачем? И почему потом он назовет эту войну «вторым рождением»? И отчего, наконец, скажет позже Артуру Кёстлеру странную, необъяснимую фразу, что в Испании в 1936-м «остановилась сама история». До Фрэнсиса Фукуямы с его «концом истории»[31] было еще бесконечно далеко, но Кёстлер с лету поймет друга, вот в чем штука…

Оруэлл возник в Барселоне 26 декабря 1936 года. С перекинутыми через плечо сапогами и, видимо, в парижской еще куртке (ее два дня назад подарил ему великий Генри Миллер), он широко шагнул в уютный холл отеля «Континенталь». Сапоги и покорили Дженни Ли, дочь британского шахтера, партийного лидера, которая станет потом баронессой и даже первым министром искусств в правительстве Англии.

«Я, помню, сидела с друзьями, когда высокий худой человек подошел к нашему столу, – напишет она в 1950-м. – Он спросил, не могу ли я сказать, где тут регистрируются. Сказал, что он писатель… и вот приехал, чтобы водить машину или делать что

потребуется, но желательно, чтобы это было там, где сражаются. Я не без подозрительности спросила, а есть ли у него рекомендации из Англии. У него не нашлось ни одной. Он никого не видел, просто заплатил за билет и приехал. Он покорил меня, показав на перекинутые через плечо связанные сапоги… Это и был Джордж Оруэлл и его сапоги, прибывшие воевать в Испанию…»

Говорящая деталь эти сапоги. С десяток биографов Оруэлла вроде бы не заметили этого факта. А напрасно. Из-за другой пары башмаков, которые закажет уже в Барселоне, он и увидит ту «майскую катастрофу», не только перевернувшую его сознание, но ставшую, по сути, главной темой его будущей книги об Испании. О той обувке рассказ впереди, а про эту – на плече – я, увы, не знаю даже, где он приобрел их. Возможно, еще в Лондоне, когда, заложив фамильное серебро, отправился в Испанию, а может, уже в Париже, где по пути остановился на пару дней.

В Париже, где всё напомнит о его молодости, ему до зарезу надо было отыскать маленький особнячок на улочке со странным названием *Villa Seurat* – Вилла Сера. Там в частном доме жил его кумир – Генри Миллер. Оруэлл им восхищался. Во всяком случае, когда еще в 1934-м у того вышел его топовый «Тропик Рака», почти сразу запрещенный в Англии «за безнравственность», Оруэлл, напротив, написал на него восторженную рецензию: «Он ведь знает обо мне всё… Я чувствую, что он пишет всё это для меня…»

Ох уж эти встречи великих! Пишут, что Оруэлл вроде бы хотел уговорить Миллера поехать сражаться с фашизмом. А Миллер – он был старше на тринадцать лет – назвал это всё «сущим бредом»: «Глупо ввязываться в драку посторонних из чувства долга или вины…» Тоже, впрочем, позиция!.. Что ж, на Вилла Сера столкнулись не просто писатели – два мировоззрения, миропонимания: наблюдателя и делателя – писателя-бойца…

Вообще, мы бы мало узнали об этой встрече, если бы не еще один литератор – Альфред Перле, друг Миллера. Он в мемуарах напишет, что однажды утром «довольно высокий истощенный англичанин вошел к Миллеру и представился как Джордж Оруэлл».

Нет, не всё, видимо, знал Миллер об Оруэлле. «На первый взгляд, – пишет Перле, – у них должно было быть много общего: оба прошли суровую школу, оба пожили “собачьей жизнью”. Но какая разница… во взглядах на жизнь! Это была почти разница между Востоком и Западом. Миллер, с его полувосточными склонностями, принимал жизнь, все радости и бедствия ее, как принимают дождь или лучи солнца. Склонности Оруэлла были,

так сказать, сложившимися в силу обстоятельств. Миллер был анархичным и не ожидал ничего от мира. Оруэлл был жестким, упругим и всегда по-своему стремящимся улучшить этот мир. Миллер был гражданином Вселенной и не очень-то гордился этим… Оруэлл, скептичный и разочарованный, тем не менее верил в политические догмы, в совершенствование масс с помощью смены правления и реформ… Оба любили мир, но если Миллер отказывался сражаться за *любые* цели, то Оруэлл горел желанием воевать, если цель, по его мнению, была справедливой…»

– Все ваши идеи о борьбе с фашизмом или за защиту демократии, – ошарашил гостя Миллер, – это чистый вздор…

Такого Оруэлл и в Англии наслышался от интеллектуалов, от левых и правых – от «наблюдателей». И все аргументы его кумира ему были отлично известны: и про то, что мир не достигается боевыми действиями, и что он уже достаточно «настрадался от жизни» и нельзя бесконечно «наказывать себя» испытаниями, и, наконец, про то, что он будет «больше полезен человечеству живым, чем мертвым…». Оруэлл ведь не знал, что тому же Перле Миллер как-то написал фразу, всё объясняющую: «Я всегда был счастлив с собой и в себе», – чего наш герой не испытывал, кажется, никогда. И уж, конечно, не ведал, что тот скоро «вбросит» в мир фразу ошеломяющую, дикую с его точки зрения: скажет, что «лучший способ победить Гитлера – это добровольно сдаться ему…». Короче, Оруэлл вроде бы горячился в ответ, говорил, что «на карту поставлены права и само существование целого народа», что не может быть и речи об «уклонении от самопожертвования». Он, прямой и цельный, и через четыре года вспомнит об этом разговоре в очерке «Во чреве кита». В нем, сравнив иных современников с библейским пророком Ионой, напишет, что они, как Иона, отсиживались в убежище, когда «сама свобода» оказалась под угрозой. А о Миллере скажет, что он художник и его «до́лжно защищать ради его искусства, даже если он безответственен в социальных отношениях…».

Впрочем, встреча двух писателей закончилась вполне мирно.

– Есть только одна вещь, – сказал Миллер, поднимая бокал в знак полного примирения. – Я не могу позволить вам ехать на войну в вашем прекрасном костюме с Сэвил Роу. Потому позвольте мне предложить вам эту вот вельветовую куртку… Она, конечно, не пуленепробиваемая, но по крайней мере будет держать вас в тепле. Возьмите в качестве, если хотите, моего вклада в республиканское дело Испании…

Оруэлл, разумеется, стал яростно – так пишут! – отрицать, что был одет в костюм с Сэвил Роу, лондонской улицы, где

располагались ателье самых престижных портных. Но подарок принял. А Миллер вроде бы воздержался – и весьма осмотрительно! – чтобы со свойственным ему цинизмом не добавить, что предложил бы эту куртку, «даже если бы Оруэлл решил сражаться на противоположной стороне». Для нашего ригориста это стало бы плевком в лицо. Что же касается сути разговора, то должно было пройти больше десяти лет, чтобы Оруэлл не то чтобы пришел к пониманию Миллера, но, во всяком случае, получил от жизни тот вселенский взгляд на человека, который позволял ему не презрительно, но с некой мудрой высоты разбираться в вечных проблемах бытия…

А вообще Барселона встретила Оруэлла таким откровением, такой небывалой новизной, что от привычной британской невозмутимости его не осталось и следа. «Я впервые дышал воздухом равенства, – с первобытным восторгом запишет он. – Я впервые находился в городе, власть в котором перешла в руки рабочих…» Праздник свободы, карнавал революции, какой-то дикий испанский танец на костях старого мира под рвущийся из всех репродукторов нескончаемый победоносный ор! Почти все отели, магазины, кафе были реквизированы и обвешаны красными знаменами либо красно-черными флагами анархистов. Всюду на стенах были намалеваны серп и молот. Национализированы частные автомобили, а трамваи и такси были только красно-черные. В парикмахерских бросались в глаза плакаты, возвещавшие, что парикмахеры «больше не рабы». Призывы на стенах звали даже проституток не заниматься своим «ремеслом». А официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо. Оруэлла как пацана отчитал управляющий отелем за попытку всучить лифтеру чаевые – они были запрещены законом! И никто не говорил больше «сеньор» или «дон», все обращались друг к другу «товарищ» и вместо «*Buenos dias*» кричали «*Salud*!».

«Салют!» – скандировали и вскидывали вверх сжатые кулаки толпы народа, вливающиеся на Рамблас – центральную улицу. «Салют!» – приветствовали прохожих даже испанки, выстраивающиеся в длинные очереди за хлебом. Да, почти сразу исчезло из продажи мясо и молоко, не хватало угля, сахара, бензина, по ночам город почти не освещался, но народ, казалось, не замечал этого. Даже Троцкий в книге «Испанская революция» признал позже, что «по политическому и культурному уровню испанский пролетариат на день революции стоял не ниже, а выше русского в начале 1917-го». А Оруэлл напишет: «Многое из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу понял, что за это стоит бороться… Я верил, что нахожусь в рабочем государстве, из которого бежали буржуа, а

оставшиеся были уничтожены или перешли на сторону рабочих… Главное же – была вера в революцию и будущее, чувство внезапного прыжка в эру равенства и свободы».

Дженни Ли, которую он встретил в Барселоне, в одном, кажется, ошиблась: у него была рекомендация, захваченная им в Лондоне; она-то и сыграла с ним роковую шутку, из-за которой он чуть не погибнет. Он ведь, прежде чем кинуться в Испанию, зная, что пересечь границу удается лишь тем, кто едет, что называется, «от левых», обратился прежде всего к «главному коммунисту» – к генсеку компартии Гарри Поллиту. Тот знал Оруэлла, но к «политической надежности» его отнесся с некоторым подозрением. Вроде бы спросил: думает ли Оруэлл присоединиться к интербригадам? И если да, пусть получит своеобразную «охранную грамоту» в посольстве Испании в Париже… Но Оруэлл, ненавидя ограничения и не желая связывать себя ничем, обратился к британской Независимой рабочей партии. Там-то, еще в Лондоне, ему и дали рекомендательное письмо к своему представителю в Барселоне, к уже знакомому ему по «летним школам» Джону Макнейру, которого он и пустился разыскивать. Проблема была лишь в одном: Независимая рабочая партия оказалась идейно связана в Испании с местной партией ПОУМ – Объединенной марксистской рабочей партией, наполовину анархистской. Именно ее потом и объявят «троцкистской», именно ПОУМовцев и будут уничтожать как якобы «пятую колонну».

«Какая разница, та партия или эта?» – думал, видимо, он, входя в штаб-квартиру ПОУМ. Ведь главное – получить винтовку и оказаться на фронте. Через много лет, уже в 1945-м, в кратком очерке о своей жизни напишет, что присоединение к ПОУМ «было всего лишь случаем», хотя позже он был «даже рад этому, так как это позволило изнутри увидеть те политические события, которые в противном случае не увидел бы». Именно этот почти случайный выбор окажется развилкой, можно сказать, судьбоносной развилкой. Иначе не было бы его бунтующей, взорвавшей интеллигентский Запад книги об Испании, и не было бы главного – «перерождения» Оруэлла, когда он еще в те годы сумел увидеть в будущем мира нечто такое, что было непонятно тогда ни одной живой душе. Почти по Шопенгауэру: «Талант попадает в цель, в которую другие попасть не могут. Гений попадает в цель, которая другим не видна…»

Макнейра в штабе ПОУМ он не застал – тот уехал встречать самолет из Англии с медицинским оборудованием, – и Оруэлл пару часов беседовал с его помощником – Чарльзом Орром, журналистом. Орр гордился потом, что это он перетянул Оруэлла

на сторону ПОУМ: «К счастью, – напишет, – мы смогли овладеть им, прежде чем он оказался в руках коммунистов». Для Британской рабочей партии, и особливо для ПОУМ, которая была еще в силе, важно было залучить в свои ряды довольно известного писателя. Одно смутило гостя – фраза Орра, которую он произнес как бы впроброс. «Эта война, – процедил, – такое же надувательство, как и все другие…» «Его слова, – напишет позже Оруэлл, – глубоко потрясли меня, но в то время я посчитал, что он не прав…»

Появившийся Макнейр первым делом спросил, не стал ли Оруэлл за это время сталинистом. И, не дослушав объяснений, предложил поработать в его штаб-квартире, потом побывать на фронтах и позже – написать книгу. Оруэлл на штабную работу не согласился (секретарем Макнейра станет, кстати, жена Оруэлла, когда через пару месяцев догонит мужа в Испании), да и «журналистика, – вроде бы сказал он Макнейру, – дело вторичное…». Тогда-то его и отвели к командиру милиции ПОУМ Хосе Ровире, а тот сразу сообщил ему, что воевать он будет на Арагонском фронте.

Это было пока единственное, что Оруэлл был способен понять: «Он будет наконец воевать». Всё остальное казалось еще странным и не очень понятным. Почему его важно «перетянуть» на свою «сторону» – ведь для него было только две стороны: они – и фашисты? Почему в ПОУМ обрадовались, что он не окажется на стороне коммунистов, – разве тот «карнавал революции» не был делом рук как раз коммунистов? Почему интербригады, которые формировались Коминтерном из тысяч таких же европейских и даже американских добровольцев, противопоставлялись милиции ПОУМ? Почему его спросили, не сталинист ли он? И почему, наконец, прозвучала та фраза, что эта война «такое же надувательство», как и все другие?

* * *

Комментарий: Война идей и людей

«Над всей Испанией безоблачное небо!» – эту красивую фразу радиостанция в городе Сеуте разнесла над страной в ночь с 18 на 19 июля 1936 года. Запоминайте даты, это важно! До появления Оруэлла в Барселоне было еще больше пяти месяцев. А слова про «безоблачное небо» стали – так пишут – тайным сигналом Франко к началу путча. Сутками ранее мятежные генералы получили просто будничный текст – телеграмму из четырех слов:

«Семнадцатого в семнадцать. Директор». Так «Директор», на деле – генерал Эмилио Мола, предупредил шесть военных округов об одномоментном выступлении.

Самолет, доставивший в Испанию главу заговора военных Франсиско Франко, тоже назывался красиво – «Стремительный дракон». Но кто бы знал, что этот двухмоторный самолетик с «мультяшным» названием был английским, что вылетел он из пригорода Лондона, что за штурвалом сидел англичанин, журналист Луис Болин, и что вся «операция» по доставке Франко с Канарских островов была более чем секретной. Настолько секретной, что Луису Болину пришлось разыграть почти спектакль: захватить на борт не только своего друга – тоже британского журналиста Арнольда Ланна, члена английской организации «Друзья националистической Испании», но и двух девиц – якобы «летим развлечься». Какие уж там «развлечения», если им было известно: Франко должен был возглавить Южный фронт. Так и случится, причем Франко тотчас же расстреляет местных представителей правительства, чем приведет в шок Мадрид. Ныне пишут: «Если бы столица прислушалась к тем, кто требовал немедленно вооружить народ, мятеж был бы задушен в зародыше. Но 35 часов полного бездействия дорого обошлись стране…»

Оруэлл писал: «Когда 18 июля в Испании разгорелись бои, в Европе, наверное, не было антифашиста, в чьем сердце не затрепетала бы надежда. Казалось, что наконец-то демократия попытается противостоять фашизму». Интеллектуалы Запада, левые и рабочие партии решили: сейчас – или никогда!.. Ведь японцы уже вовсю хозяйничали в Маньчжурии, Гитлер резал своих противников в Германии, Муссолини бомбил абиссинцев, и даже баронет Освальд Мосли, плоть от плоти британец, всё выше поднимал голову в Англии. Но, увы, уже через месяц после мятежа почти половина Испании оказалась «под Франко». На стороне путчистов выступило 80 % сухопутных сил страны (120 тысяч штыков), плюс колониальные войска (47 тысяч), плюс штурмовые отряды. Уже 25 июля Франко отправил гонцов с письмом к Гитлеру, где просил того о поддержке. Тогда-то Долорес Ибаррури и выступила по радио с историческими словами «Но пасаран!» – «Они не пройдут!». Обратились франкисты за помощью и к Франции, и та поначалу согласилась помогать оружием, но, когда в Париже вспыхнули протесты («нас втягивают в чужие войны»), именно Франция призвала Италию, СССР, США и еще 22 государства организовать режим невмешательства. Но куда там: никто и не думал соблюдать «декларацию».

Вообще-то события в Испании развивались куда замысловатей. Там и впрямь решалась чуть ли не «судьба человечества». Так думал и «вечный революционер» Троцкий, который считал, что гражданская война в Испании станет стимулом к мировому революционному подъему. Пишут, что Троцкий даже собирался переправиться в Испанию, чтобы лично возглавить движение и превратить гражданскую войну в общеевропейскую «перманентную революцию», но по трезвом размышлении отказался от этой мысли. А ведь сторонников Троцкого в Испании хватало. В 1930-м их объединил тогда еще единомышленник Троцкого, опытный коммунистический деятель Андрес Нин, ранее находившийся в эмиграции в СССР и ставший к тому времени членом Исполнительного бюро Красного интернационала профсоюзов (Профинтерна). Наиболее активная часть сторонников Нина оказалась в его родной Каталонии – самой развитой провинции страны. Там, в столице Каталонии Барселоне, конфедерация, вобрав в себя несколько левых групп, стала основой возникшей на съезде 29 сентября 1935 года Объединенной рабочей марксистской партии (ПОУМ). Она вошла в «Народный фронт», составив в нем вместе с анархистами крайне левое крыло, и тогда же и довольно резко разорвала отношения с Троцким. Тот тоже отвернулся от ПОУМ, даже написал статью «Измена Испанской рабочей партии марксистского единства». Но всё это не помешает потом Сталину и дальше считать ПОУМ «троцкистским» образованием и даже объявить ее впоследствии «пятой колонной».

«Мотором» социалистической революции стала Барселона, где и разгорелись июльские бои 1936 года, предшествовавшие путчу. В уличных боях, еще до приезда в Испанию Оруэлла, погибнет три тысячи человек. Тогда же под контроль анархистов и ПОУМ перейдут предприятия, административные здания, отели, даже телефонная станция, а в новом правительстве Каталонии объединятся Левая республиканская партия, две организации анархистов – Национальная конфедерация трудящихся и Иберийская федерация анархистов, а также другие партии «Народного фронта», в частности, коммунисты, представленные двумя враждующими партиями – антисталинской ПОУМ, поддержавшей анархистов, и просталинской ПСУК (Объединенной социалистической партией Каталонии). Более того, Нин даже войдет в каталонское правительство, став министром юстиции и создателем собственных боевых отрядов – милиции при ПОУМ.

После франкистского путча Испания стала для мира ареной борьбы с фашизмом («мы» или «они»!). Но не так смотрели на нее

Сталин и Гитлер. Для них Пиренеи стали полем игры политических сил, преследующих свои цели. Скажем, еще до путча Франко, в мае 1936 года, Коминтерн с подачи СССР принял документ, в котором говорилось, что испанская компартия должна приложить все усилия для достижения «полной победы демократических и революционных сил над фашизмом и контрреволюцией, укрепления народного фронта и ни в коем случае не выдвигать… социалистических идей…» Удивились? СССР оказался против социализма! В Москве было даже решено отказать Испании в просьбах о военной помощи. Но когда Германия, Италия и Португалия стали нарушать «декларацию о невмешательстве», Сталин позицию изменил, и уже летом 1936 года глава Коминтерна Георгий Димитров поддержал идею приехавшего в Москву генсека французской компартии Мориса Тореза о создании в европейских странах интербригад. Сталину идея интербригад тоже понравилась – через них можно было неофициально оказывать военную помощь, слать оружие, советников, специалистов.

Тогда же, в самых первых числах августа 1936-го, спецкор «Правды» Михаил Кольцов, находясь в деревне Резиновка Воронежской области, где хотел встретиться с последним крестьянином-единоличником, неожиданно получил телеграмму. Лев Мехлис, редактор «Правды», сообщал: «Испании свергнут король Альфонс тчк Немедленно выезжайте Мадрид». 6 августа Кольцов вылетел на свое, как пишут, самое главное задание, которое принесло ему и всенародную славу, и бесславный конец. Последней посадкой его самолета стали Великие Луки, где он, выпив парного молока с краюхой хлеба, сорвал у самолета букетик полевых цветов. Следующей остановкой была Барселона. До приезда туда же Оруэлла оставалось 4 месяца и 20 дней.

Кольцов, как и Илья Эренбург, был послан в Испанию для пропаганды – для оправдания действий советского правительства. Так что теперь следите не только за датами, но и за «руками»! Ведь цели Сталина были не просто далеки от поддержки социалистической революции, но прямо противоположны ей. Цели были практические и даже, пардон, едва ли не меркантильные.

Смотрите: 27 августа 1936 года в Мадрид прибыл Марсель Розенберг – новый советский посол, птенец гнезда Чичерина, когда-то его секретарь, человек с «французским именем, еврейским отчеством и немецкой фамилией». Он, «гроссмейстер» дипломатии, еще вчера представлял Россию в Лиге Наций, и вот по велению Сталина был брошен в пламя испанской войны, с тем чтобы через полтора года быть Сталиным и расстрелянным.

Розенберг прибыл с тучей советников и с одним из руководителей военной разведки СССР Яном Берзиным, тоже кандидатом на расстрел. И НКВД, и Разведупру было поручено разработать план мероприятий по «Х», и уже 29 сентября на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) этот план обсуждался. Было решено через создание за границей спецфирм организовать поставки оружия. И, видимо, тогда же был решен и вопрос с золотым запасом Испании, который премьер-министр Испании Ларго Кабальеро просил СССР «принять на хранение». Решили «принять» – но «в качестве оплаты» за будущее вооружение. 635 тонн золота, три четверти всего испанского запаса на сумму в 518 миллионов долларов. Не шутка!

Тайные переговоры о золоте вел в Испании как раз Розенберг. А 15 октября 1936 года Александр Орлов (оперативный псевдоним «Швед», чекистский псевдоним «Никольский», а настоящая фамилия Фельдбин), резидент НКВД в Испании, получил шифротелеграмму от наркома Ежова: «Совместно с полпредом Розенбергом организуйте отправку золотого запаса Испании. Используйте для этой цели советское судно. Операцию следует провести в абсолютной тайне. Если испанцы потребуют от вас расписки, откажитесь и объясните, что формальная расписка будет выдана Госбанком в Москве. На вас возлагается персональная ответственность за успех операции… Иван Васильевич». «Иван Васильевич» – так секретные депеши подписывал сам Сталин.

На один пароход все ящики с тоннами слитков не уместились, и из военной базы Картахена, с перерывами в сутки, в Одессу вышло четыре судна: «Ким», «Кубань», «Нева» и «Волголес». Все участники этой «операции» по разным поводам были вскоре расстреляны: и Берзин, и министр финансов СССР О.Финько, и торгпред СССР в Испании, а на деле – работник НКВД А.Сташевский, и зам. наркома иностранных дел Н.Крестинский, подписавший в Москве акт о приемке золота, и, как я уже сказал, «гроссмейстер» интриг – Розенберг. Кстати, оставшуюся четверть испанского золота приняла на хранение Франция (тоже по просьбе испанцев), но она ее в 1939 году вернула. А мы три года в счет слитков поставляли оружие. Но вот вопрос: ныне, когда опубликовано всё и вся, можно ли сравнить поставки наши – и ту военную помощь, которую оказывали фалангистам западные страны, даже, представьте, США, славшие фашистам сотни грузовиков и цистерны нефти (этим всегда было всё равно, с кем торговать, – хоть с чертом лысым; они ведь и Гитлеру будут помогать, даже находясь с ним в состоянии войны). Мы, к примеру, поставили 648 самолетов, 347 танков, 1186

орудий, 20 486 пулеметов и еще много чего «по мелочи». Но ведь и «противная сторона» поставила франкистам вполне сопоставимое и даже превосходящее количество оружия: 800 самолетов, 700 танков, 2 тысячи орудий, даже 10 подводных лодок и 4 эсминца – в противовес нашим четырем торпедным катеркам.

Да, «игра» пошла по-крупному. Всё это надо знать, чтобы понять «ситуацию» Оруэлла. Так вот, к декабрю 1936 года, к появлению Оруэлла в Барселоне, в Испанию прибыло около 20 тысяч добровольцев из 54 стран и было создано четыре интербригады. Потом приедут еще 20 тысяч, а бригад будет и 15, и 16, и 20. Фашистская печать в Европе бесстыдно преувеличивала помощь Испании людьми и оружием со стороны СССР. Из всего нагромождения лжи, напишет потом Оруэлл, достаточно взять лишь один факт – присутствие в Испании русских войск. В газетах и по радио цифра эта росла как на дрожжах, и довольно скоро «всем вбили в голову», что «численность советских частей в Испании составляет чуть не полмиллиона». «А на деле, – писал Оруэлл, – никакой русской армии в Испании не было. Были летчики и другие специалисты-техники, может быть, несколько сот человек, но не было армии. Это могут подтвердить тысячи сражавшихся в Испании иностранцев… Зато этим пропагандистам хватало наглости отрицать факт немецкой и итальянской интервенции, хотя итальянские и немецкие газеты открыто воспевали подвиги своих “легионеров”…»

Да, ныне точно известно: среди советских добровольцев в Испании воевало всего 160 летчиков, примерно такое же количество танкистов и моряков и 2044 специалиста. Другое дело – наши спецслужбы. Этих действительно было многовато на каждый квадратный километр, и вели они себя почти по-хозяйски. Школы диверсантов, учебные лагеря, тайные тюрьмы «для врагов», даже собственный секретный крематорий, который позволял НКВД «без следов избавляться от жертв», – всё это разворачивали именно наши спецслужбы. Одну из школ, например, по приглашению майора НКВД Н.И.Эйтингона посетил даже Хемингуэй[32]. А с осени 1936 года чекисты занялись борьбой с вымышленным Сталиным «троцкизмом» в рядах восставших, то есть с ПОУМ. Другими словами, Оруэлл, еще не приехав в Барселону, уже стал врагом СССР. ПОУМ как военная сила в борьбе с фашизмом (а она, между прочим, насчитывала к тому времени более 50 тысяч штыков) была еще нужна, а вот как сила политическая была уже не просто вредна – опасна. Она была против фашизма, но одновременно, вопреки «линии» Москвы, за

социалистическую революцию. Хуже того – за революцию, которая была «не похожа» на победившую в России. Ведь именно партийная газета ПОУМ «Баталья» («Борьба»), не желая подчиняться никому, первой в Испании, да и в мире честно публиковала «свежую» правду о московских процессах и прямо звала Сталина «кровавым диктатором».

Да, повторяю: СССР был против социализма в Испании! «Остановите революцию, или не полу́чите оружия!» – вот требование, на котором, несмотря на полученное уже золото, настаивал СССР. И удивительно, но испанская компартия подчинилась требованиям СССР и стала сползать на самые умеренные позиции, выступать за буржуазное правительство, за демократические, но не социалистические перемены. А вот левые силы, и особенно ПОУМ и анархисты, по-прежнему считали социальную революцию «неотделимой частью гражданской войны». Они были за «диктатуру пролетариата». Они готовы были драться и против Франко, и против установившейся «буржуазной республики», а значит, стали врагами и соотечественников-республиканцев, и коммунистов в Испании, и Троцкого в изгнании, и Сталина в СССР, и, разумеется, Гитлера в Берлине. Вот какая заварилась не виданная еще каша! И вот на чьей стороне оказался невольно Оруэлл.

2.

«Эрик легко ранен быстро поправляется беспокоиться не о чем Эйлин». Такую телеграмму получили в Саутволде родители Оруэлла 24 мая 1937 года. Но «беспокоиться» вообще-то было о чем, ибо через четыре дня после этой телеграммы Оруэлла наконец-то осмотрел первый толковый врач. Ухватив распухший язык писателя шершавой марлей и вывернув его наружу, он, словно про себя, сказал: одна из связок парализована.

– А когда вернется голос? – беззвучно спросил Оруэлл.

– Голос? – переспросит тот и почти весело добавит: – Никогда не вернется…

К счастью, эскулап ошибся. Голос и в прямом, и в переносном смысле к нему вернется, и он напишет об этой войне, как, пожалуй, никто. Почти единственную честную книгу о первой битве с фашизмом – о той «каше», которая закипала на Пиренеях.

«Ленинские казармы, где готовили к фронту ополченцев, представляли собой квартал великолепных каменных зданий с манежем и огромным мощеным двором. Это были кавалерийские казармы… Моя центурия, – пишет Оруэлл, – спала в одной из

конюшен под каменными кормушками, на которых еще виднелись имена лошадей… В казармах жило тогда, должно быть, около тысячи мужчин… а также жёны ополченцев, варившие для нас еду». Он запомнит неуверенные звуки горна на рассвете, долгие парады под зимним солнцем и азартные футбольные матчи на посыпанном гравием манеже. Ледяная вода из колонки во дворе, где все, толпясь, умывались по утрам, доски на козлах, служившие столами, за которыми из жестяных мисок ели свое варево ополченцы, и вечно занятые сортиры, то есть просто дыры посреди скользких каменных плит. И – переклички, когда, рядом со звучными испанскими именами – Мануэль Гонсалес, Педро Агилар, Рамон Фенелос, смешно звучало его короткое Блэр. Он ведь представился как «бакалейщик Блэр», помните? Но наш бакалейщик оказался подготовлен к войне гораздо лучше необученных каталонских новобранцев. «Если бы у нас была сотня таких людей, как он, мы бы выиграли эту войну», – скажет о нем командир милиции Хосе Ровира тому же Макнейру, когда оба, посетив казармы, увидят, как этот «штатский писатель… бодро занимается с группой испанцев». Это вспомнит Макнейр. Он, правда, не добавит, что учил Оруэлл в основном мальчишек 16–17 лет из бедных кварталов, которых, несмотря на их «революционный задор», почти невозможно было даже построить – любой мог выйти из строя и затеять спор с командиром. Рядом со взрослыми – бойцами из рабочих – был и совсем уж «бесполезный элемент» – 12–13-летние пацаны, которых записывали родители ради десяти песет в день да хлеба, который ополченцы получали вволю. Но и тем, и другим, и третьим надо было объяснять не только как зарядить винтовку или выдернуть чеку из гранаты, но даже как целиться. Они знали лишь, откуда вылетают из ружья пули.

Да, он напишет об этой войне как никто. Как, прежде чем их загрузили в поезд, еще на рассвете, еще при свете факелов их строили на плацу в торжественную колонну. Как вели к вокзалу самым длинным путем, чтобы весь город видел, как гордо выпячивали они груди, как салютовали им прохожие, выбрасывая кулаки вверх, а из окон домов по пояс выпрастывались женщины, махавшие вслед. И как на Рамблас, где через четыре месяца вырастут баррикады в той «второй войне», был устроен митинг с «Интернационалом», с красными, стрелявшими на ветру знаменами и речами. «Каким естественным всё это казалось тогда, каким невероятным кажется сегодня!» – вздохнет он потом в книге.

Не так встретил их фронт под Сарагосой, в деревне Алькубьерре, в двухстах километрах от Барселоны. Здесь убивала,

напротив, тишина. И запахи. И хотя до фронта было еще пять километров, он учуял этот «аромат войны» – «запах кала и загнивающей пищи». Он видел уже в деревне церковь, где испражнения покрывали весь пол – так испанцы выражали презрение к церковникам, которые поголовно поддержали фашистов.

Когда их, покинувших вагоны, наконец построили, отряд возглавил на гарцующем коне Жорж Копп, командир 3-го полка Ленинской дивизии. Тот «кряжистый бельгиец» по паспорту, но русский по рождению, который станет другом Оруэлла и который скоро влюбится в Эйлин. А еще позже, через годы, все трое вообще станут родственниками – Копп женится на сестре жены брата Эйлин. Так вот, Копп да Бенжамен Левинский и повели колонну к передовой. И чем ближе был фронт, тем громче подростки, шедшие впереди со знаменем, выкрикивали лозунги: «Да здравствует ПОУМ! Фашисты – трусы!» Им казалось, что их крики звучат грозно, но в детских устах они походили, пишет Оруэлл, на мяуканье котят. Их и будут убивать как котят…

Фронтом оказалась «неровная баррикада из мешков с песком, развевающийся красный флаг, дым костра и всё та же тошнотворная, приторная вонь». Здесь было отрыто около тридцати окопчиков, напоминавших крысиные норы. «А где же противник?», – выглянув из-за бруствера, спросил Оруэлл Бенжамена. «Там», – неопределенно ответил тот и описал рукой широкий круг. В семистах метрах от бруствера Оруэлл с трудом разглядел красно-желтый флаг над окопами фалангистов. Правда, почти сразу он впервые в жизни выстрелил в человека – маленькую черную точку над бруствером. Уговорил его часовой-испанец – «сущий ребенок: он продолжал показывать винтовкой на одну из точек, нетерпеливо скаля зубы, как собака, ждущая момента, когда она сможет броситься вслед за кинутым камушком. Не выдержав, – пишет Оруэлл, – я поставил прицел на семьсот метров и пальнул. Точка исчезла». В ответ выстрелили в него, и пуля тоже прошла рядом. «Я пригнулся, – пишет он и казнит себя: – Всю жизнь я клялся, что не поклонюсь первой пуле… но движение это, оказывается, инстинктивное…» А когда случится первая ночная атака фашистов, он вдруг поймает себя на мысли, что вообще-то страшно испугался. «Нас поливали огнем, должно быть, пять пулеметов, глухо рвались гранаты, – напишет. – В темноте вокруг нас цокали пули – цок-цик-цак… И, к моему унижению, я обнаружил, что испугался… Боишься ведь не столько того, что в тебя попадут, сколько неизвестности – куда. Все время думаешь, куда клюнет пуля, и все тело приобретает в высшей степени неприятную чувствительность…»

Здесь, на Арагонском фронте, он проведет почти четыре из шести испанских месяцев, и здесь почти сразу выведет свою «формулу» окопной жизни: «Дрова, еда, табак, свечи и враг». Почти стихи. Причем «враг» в этой строфе занимал именно последнее место. «Противник – это далекие черные букашки, изредка прыгавшие взад и вперед. По-настоящему обе армии заботились лишь о том, как согреться…»

Все эти месяцы он будет вести дневник, но его заберут при обыске в барселонском отеле. Он запомнит, что чаще всего в нем повторялось слово «дрова». «Мы воевали с воспалением легких, а не с противником». На весь гарнизон в сто человек имелось двенадцать шинелей, которые выдавались часовым. «С удивительной быстротой, – запишет он, – привыкаешь обходиться без носового платка и есть из той же миски, из которой умываешься. Через день-два перестает мешать то, что спишь в одежде». А искупается он впервые только весной, когда у самых окопов «забурлит зеленый ручеек»…

Через три недели к ним в подкрепление прислали почти три десятка англичан; всего на стороне республиканцев их воевало более двух тысяч. Вот новички эти и поведают нам потом, что, несмотря на признания Оруэлла: «я испугался по-настоящему» да «я пригнулся», – он на фронте оказался «совершенно бесстрашным». «Примерно в семистах ярдах от наших линий и очень близко к пулеметному гнезду фашистов, – расскажет потом один, – находилось большое картофельное поле; там остался кой-какой урожай… Оруэлл, взяв мешок, примерно три раза в неделю заявлял: “Я иду за картошкой”… Говорил: “Они не смогут в меня попасть. Я это уже понял”». А другой британец, Джон Донован по прозвищу Яростный, добавит: он, Блэр, «всегда стремился к действиям, не хотел отлеживаться и… всегда брал инициативу на себя». Да, он будет на войне всего лишь ранен. Но в Испании – мы же знаем это! – погибли семь известных писателей. Британцы Джон Корнфорд (правнук, кстати, Чарльза Дарвина), Ральф Фокс и Кристофер Спригг, писавший под псевдонимом Кодуэлл, кубинец Ториенте Брау, поэт из Хайфы Исаак Иоффе, немец Ульрих Фукс (последний, прежде чем погибнет под Теруэлем, успеет даже написать гимн Чапаевской интербригады), и, наконец, приехавший из СССР венгерский писатель Мате Залка. Последний погиб под Уэской от прямого попадания бомбы в его машину – машину комдива 45-й дивизии генерала Лукача, таков был испанский псевдоним писателя.

Вопрос из будущего: *Вы и впрямь считали эти 115 дней войны «бесполезными»?*

Ответ из прошлого: *Оглядываясь назад, я уже не сожалею о потраченном времени. Мне хотелось бы… больше сделать для испанского правительства; но с точки зрения моего личного развития эти первые три-четыре месяца на фронте были совсем не такими бесполезными, как я думал тогда.*

В.: *Давили вшей, ели мокрый хлеб, стреляли из того, из чего нельзя стрелять?..*

О.: *Вши в моих штанах и впрямь размножались быстрее, чем я успевал их уничтожать… <Но> всё то, что принято называть ужасами войны, почти не коснулось меня. Самолеты не сбрасывали бомб поблизости, снаряды… никогда не разрывались ближе чем в пятидесяти метрах от меня. Лишь раз я участвовал в рукопашной схватке. (Замечу, что один раз – это на один раз больше, чем нужно.).*

В.: *А убили ли вы хоть одного фашиста? Вы, кажется, мечтали об этом? Мне, прочитав всё, что вы написали об этой войне, показалось, что – нет?..*

О.: *Вступив в ополчение, я дал себе слово убить одного фашиста – в конце концов, если бы каждый из нас убил по одному фашисту, то их скоро не стало бы совсем… Но как-то я подсчитал свои патроны и обнаружил, что в течение трех недель трижды выстрелил по врагу. Говорят, что нужно выпустить тысячу пуль, чтобы убить человека; следовательно, должно было пройти двадцать лет, прежде чем мне удастся убить первого фашиста.*

В.: *Через шесть лет, в статье «Вспоминая войну в Испании», вы написали не как стреляли в фашистов, а как, напротив, – не стреляли. Ну, тот ваш фашист, со спущенными штанами?..*

О.: *Такое происходит на любой войне…*

В.: *Но не со всеми. Вы ведь специально поползли на «нейтралку»?..*

О.: *В секрет, чтобы вести снайперский огонь по фашистам… В тот раз ни одного фашистского солдата не появилось – мы просидели слишком долго, и нас застигла заря…*

В.: *И тут случился авианалет, и на позициях противника началась паника…*

О.: *И… из окопа выскочил солдат… он побежал, поддерживая штаны обеими руками… Он не успел одеться… Я не стал в него стрелять… Да… из-за того,*

что у него были спущены штаны. Я ведь ехал сюда убивать «фашистов», а этот – какой он «фашист»? Просто парень вроде меня, и как в него выстрелишь?!

В.: *А неужели вы сразу не поняли, что это – очень «странная» война?*

О.: *Я… не имел представления о ее характере… Английская и американская интеллигенция в массе своей явно не представляли,что случилось. У людей короткая память, но оглянитесь чуток назад, полистайте старые номера газет. Сколько там бессмысленных фраз! И какая невообразимая в них тупость!..*

В.: *Но как вы разобрались в той «каше», в которую превратилась эта война?*

О.: *Невозможно писать об испанской войне с чисто военной точки зрения, – это была прежде всего война политическая… Что касается калейдоскопа политических партий и профсоюзов с их нудными названиями ПСУК, ПОУМ, ФАИ, СНТ, УГТ… – то они просто меня раздражали… Я знал, что служу в чем-то, носящем название ПОУМ… но мне и в голову не приходило, что между партиями имеются существенные различия… Мне казалось идиотизмом, что народ, борющийся за свою жизнь, делится на партии. Я стоял на простой точке зрения: «Отбросим всю эту партийную чепуху и займемся войной»… Но такое отношение нельзя было сохранить в Испании, особенно в Каталонии…*

В.: *Нужно было выбрать свой «окоп»?*

О.: *То, что произошло в Испании, было не просто вспышкой гражданской войны, а началом революции. Именно этот факт антифашистская печать за пределами Испании старалась затушевать любой ценой… Коммунистическая печать за границей трубила, что в Испании нет ни малейших признаков революции, что захвата рабочими заводов… не было, а если даже они имели место, то не следует «придавать им политического значения»… Но каково было видеть пятнадцатилетнего испанского парнишку, выносимого на носилках из окопа, смотреть на его безжизненное белое лицо и думать о прилизанных ловкачах в Лондоне и Париже, строчащих памфлеты, в которых доказывается, что этот паренек – переодетый фашист?.. Война научила меня – это один из самых ее неприятных уроков, – что левая печать так же фальшива и лицемерна, как и правая… Разница заключается лишь в том, что если обычно журналисты*

приберегают свои ядовитейшие оскорбления для врага, на этот раз коммунисты и ПОУМ постепенно стали писать друг о друге хуже, чем о фашистах…

3.

Дикую вещь скажу: не было бы книги Оруэлла об Испании, если бы не пара каких-то сапог… Что ни говорите, а судьба, его величество Случай, бог знает что делает порой с великими людьми! С ними – особенно!

По книге мы знаем: именно «вторая война» в центре далекой от фронтов Барселоны, разразившаяся 3 мая 1937 года, перевернет сознание Оруэлла. Но он ничего бы не понял, если бы вернулся из отпуска на фронт, как и должен был, – в конце апреля. К счастью, приехав в отпуск практически босиком, он почти сразу заказал себе новые башмаки, а обувщик провозился с заказом лишнюю неделю. Фантастика, да?! «Такие мелочи, кстати, и определяют судьбу человека», – призна́ется потом. Не ждал бы крепких ботинок – не увидел бы уличных боев и баррикад. А не увидев – поверил бы, возможно, «в официальную версию событий». И мог бы перейти под командование коммунистов, чтобы принять участие в обороне Мадрида. Словом, не было бы Оруэлла, каким мы знаем его, ибо цепочка этих фактов и приведет его и к сказке «Скотный двор», и к роману «1984»…

Вообще-то всё в том апреле начиналось для него и мирно, и даже счастливо. Он приехал с фронта в отпуск, и в Барселоне его ждала Эйлин. Никаких страшных предчувствий; просто весна, тыловая Барселона – и Эйлин…

Эйлин догнала мужа в Испании через полтора месяца. У них не было денег уехать вместе, а кроме того, она должна была в Лондоне присмотреть за выходом «Дороги на Уиган-Пирс». Об отношении Эйлин к поездке «на войну» стало известно сравнительно недавно, когда обнаружилась пачка ее писем к школьной подруге Норе Майлз – в письмах к ней Эйлин и подписывалась школьным прозвищем Свинка. Норе Эйлин, столкнувшись с трудностями разрешения на въезд в Испанию, не без яда написала: «Даже если Франко поручит мне быть маникюрщицей, я пошла бы и на это в обмен на *salvo conducto*…» – на «свободный проезд» в страну. А по поводу фронтовых лишений мужа иронизировала с чисто английским юмором: «Испанское правительство кормит Джорджа хлебом без масла и “весьма грубой пищей” и всё устраивает так, чтобы он не спал вовсе, так

что беспокоиться ему абсолютно не о чем…»

Она всё успевала и ни на что не жаловалась: идеальная жена. В Барселоне, обосновавшись в «Континентале» и приняв предложение Макнейра стать его секретаршей в штабе партии, она первым делом наладила «канал» передачи мужу небольших посылочек: чай, шоколад, даже сигары, «когда удавалось достать их». «Дорогая, ты действительно замечательная жена, – черкнет ей Оруэлл. – Когда я увидел сигары, мое сердце растаяло… И не ограничивай себя, и прежде всего в продуктах. Боюсь, нет смысла ожидать отпуска раньше 20 апреля… Но зато как же мы тогда отдохнем и сходим на рыбалку, какой бы она здесь ни оказалась… До свидания, любовь моя. Я напишу еще».

Второго письма не случилось. Скорей всего, потому, что Эйлин сама вырвется к нему на фронт – на день и две ночи. Поездку устроит бесшабашный и обаятельный Копп. «Никогда не получала большего удовольствия», – скажет она об этой вылазке.

«Я очень рада, что оказалась на фронте, – напишет матери 22 марта. – Поездка и закончилась по-фронтовому – просто Копп сказал, что у меня есть “несколько часов”, пока он найдет автомобиль, и что мы должны уехать обратно в 3:15 утра. Мы легли спать в 10 или около того, а в 3 Копп разбудил нас… Короче, Джордж получил две ночи полноценного отдыха… Вообще, вся поездка была какой-то нереальной, там совсем не было света: ни свечи, ни факела; любой и вставал, и шел спать в полной темноте, а в последнюю ночь точно так же я вышла в кромешную тьму – и оказалась по колено в грязи. Пока не увидела слабого света от здания комитета, где Копп с автомобилем и ждал нас…

Барселоной, – писала матери, – я наслаждаюсь… Вчера вечером я взяла наконец ванну – ну полный восторг… Я пью кофе трижды в день, и часто – всякие другие напитки, и, хотя теоретически я стараюсь есть не меньше шести раз в неделю, делаю это всегда в одном из четырех мест, где кормежка по-любому хороша… Каждую ночь я хочу вернуться домой пораньше, писать письма и прочее, и каждую ночь прихожу почти под утро… А херес абсолютно *непригоден для питья* – я привезу пару маленьких бутылочек!..»

Я привожу это письмо лишь для того, чтобы можно было почувствовать атмосферу Барселоны, в которой, несмотря на сражающихся на фронте посланцев ее, шла почти обычная жизнь. Впрочем, допускаю, что Эйлин в письме скорее храбрилась, чтобы не пугать родных. Ибо в те же дни, незадолго до приезда в отпуск Оруэлла, Барселону посетил Ричард Рис. Он тоже не усидел дома и в Испании стал шофером «скорой помощи». А оказавшись в

Барселоне, отыскал Эйлин. В книге об Оруэлле напишет: «Когда я проезжал через Барселону, как раз перед началом уличных боев, я навестил Эйлин в комитете ПОУМ – и застал ее в очень странном, поразившем меня умонастроении. Она казалась рассеянной, озабоченной и чем-то ошеломленной. Поскольку Оруэлл был на фронте, я приписал ее странное состояние беспокойству о муже. Но когда она заговорила о риске, которому я подвергнусь, появившись на улице в ее обществе, я понял, что дело было не в этом. В действительности, – пишет Рис, – передо мною впервые был человек, который жил в условиях политического террора… коммунистического царства террора…»

Оруэллу дадут отпуск всего на несколько дней. На этот раз Барселоны он не узнал. За три месяца полностью исчезла «революционная атмосфера». Исчезли форма ополчения и синие комбинезоны; все были одеты в модные летние платья и костюмы. «Шикарные рестораны и отели были полны толстосумов, пожиравших дорогие обеды, в то время как рабочие не могли угнаться за ценами на продукты… Исчезли “революционные” обращения, вернулись “сеньор” и “вы”… Официанты вновь нацепили свои крахмальные манишки. Вернулись чаевые.. открылись публичные дома… Если вы имели деньги, вы могли купить всё… Этот контраст был невозможен, когда рабочий класс был у власти…»

Вопрос из будущего: *Но, может, причиной была усталость от войны?*

Ответ из прошлого: *Настроение ощущалось. Всюду слышны были нарекания: «Ох уж эта мне война! Кончилась бы она поскорее».*

В.: *Но вы пишете, что и ополчение «вышло из моды»…*

О.: *Вышло. Велась систематическая пропаганда, направленная против ополчения и восхвалявшая Народную армию… Все успехи неизменно приписывались Народной армии, а вину за неудачи сваливали на нас. За всем этим угадывалась ожесточенная политическая борьба… Источник опасности был очевиден: борьба между теми, кто хотел двигать революцию вперед, и теми, кто хотел ее задержать или предотвратить, то есть между анархистами и профсоюзами и, с другой стороны, – коммунистами…*

В.: *И вы, конечно, включились в нее? Невзирая на отпуск?*

О.: *Нет, избавь меня Господь от искушения изображать себя лучше других. После фронтовых*

лишений я с жадностью набросился на приличную еду, вино, коктейли, американские сигареты. Признáюсь, я не отказывался ни от какой роскоши; разумеется, в пределах моих денег. В первую неделю до начала уличных боев я с головой ушел в несколько занимавших меня дел. Прежде всего я старался ублажить себя. Во-вторых, переев и перепив, я прихварывал и всю неделю чувствовал себя неважно…

В.: *А в-третьих, в-четвертых?*

О.: *Мне до зарезу был нужен револьвер – в рукопашной схватке оружие гораздо более полезное, чем винтовка, – а достать его было трудно. Приятель-анархист ухитрился раздобыть для меня маленький 26-миллиметровый автоматический пистолет – оружие скверное, пригодное лишь для стрельбы в упор… Кроме того, я готовился покинуть ополчение ПОУМ и перейти в другую часть, с тем чтобы попасть на Мадридский фронт… Надо было вступить в интербригаду, а для этого необходима была рекомендация члена коммунистической партии. Я отыскал приятеля-коммуниста, служившего в санитарных частях… Он загорелся и попросил меня, если возможно, убедить еще несколько англичан перейти вместе со мною…*

И было еще «в-пятых». Была новая обувь его размера – ожидание, когда она будет готова.

Но в одну из последних апрельских ночей Оруэлла разбудили выстрелы за окном. Утром выяснилось: убили члена крупнейшего объединения профсоюзов. Оруэлл, конечно, знал «по слухам» о мелких стычках, происходивших по всей Каталонии, об облавах на анархистов в иных районах, слышал, что на французской границе отряд карабинеров захватил таможню, которую занимали анархисты, убив при этом известного анархиста Антонио Мартина. Но он не догадывался, конечно, что по упорным требованиям Москвы уже были разорваны мирные договоренности между Андресом Нином, главой ПОУМ, и руководителями испанской компартии Хосе Диасом и Долорес Ибаррури, что коммунисты потребовали закрыть газету ПОУМ «Баталья», которая прямо обвиняла их в создании «тайных тюрем» для ПОУМовцев, и что операторы центральной телефонной станции Барселоны, заявив, что все линии перегружены, отказались соединить президента республики Мануэля Асанью с главой каталонского правительства, чем настроили против анархистов и ПОУМ уже центральное руководство страны. Всё

стало понятно 3 мая, когда отряд полиции захватил взбунтовавшуюся «Телефонику». Это стало сигналом барселонским профсоюзам и анархистам к всеобщей стачке. В считанные часы она переросла в настоящее, полнокровное во всех смыслах восстание.

«В этот же день, часа в три или четыре пополудни, идя по Рамблас, я услышал за собой несколько выстрелов, – пишет он. – Обернувшись, я увидел молодых ребят с винтовками в руках и красно-черными анархистскими платками на шее, кравшихся по боковой улице… Они, видимо, перестреливались с кем-то, засевшим в высокой восьмиугольной башне… Я сразу подумал: “Началось!”»

Улицы вымерли мгновенно. Мимо него пронесся грузовик, набитый анархистами с винтовками в руках, на кабине которого, вцепившись в легкий пулемет, лежал растрепанный паренек. А в холле отеля «Фалькон» и в комитете ПОУМ уже вовсю гудел возбужденный народ. На верхнем этаже высокий мужчина с бледным лицом раздавал пачки патронов и винтовки, а на улице сразу выросли две баррикады. Выяснилось, что жандармы, захватившие телефонную станцию, стреляют по каждому прохожему. По сути, они «выступили против рабочего класса в целом…».

В «Континенталь», а потом в комитет ПОУМ Оруэлл добирался перебежками. Оттуда по приказу Коппа тотчас отправился на крышу кинотеатра «Полиорама» – прямо против здания ПОУМ. С крыши три-четыре бойца с винтовками легко могли сорвать любую атаку. «Сидя на крыше, – вспомнит он, – я раздумывал о безумии всего происходящего. Из маленького окошечка… открывался вид на стройные здания, стеклянные купола, причудливые волны черепичных крыш… Весь этот огромный город… застыл в судороге, в кошмаре звуков, рождение которых не сопровождалось ни малейшим движением. На залитых солнцем улицах было пусто. Только баррикады и окна, заложенные мешками с песком, изрыгали дождь пуль…»

Ныне на крышу бывшего кинотеатра «Полиорама» водят экскурсии. Из-за Оруэлла водят. Но не все знают, что три дня он сидел здесь «в засаде» вместе с журналистом, представителем норвежских газет Хербертом Эрнстом Карлом Фрамом – будущим федеральным канцлером ФРГ и лауреатом Нобелевской премии мира – Вилли Брандтом. Но тогда обе знаменитости были лишь рядовыми антифашистами, солдатами свободы…

Воевать всерьез не хотел никто – постреливая друг в друга, враги даже перекрикивались. «Эй, мы не хотим в вас стрелять, – кричали гвардейцы с соседней крыши. – Мы такие же рабочие,

как и вы». А Оруэлл орал в ответ: «Пива, пива у вас не осталось?..» Все считали еще, что происходит «пустяковая потасовка» между анархистами и полицией, но официальная версия уже тогда назвала это «спланированным восстанием». С тучей слухов Оруэлл столкнется, когда окажется в «Континентале». Здесь толкались «иностранные журналисты, люди с подозрительным политическим прошлым… коммунистические агенты, в том числе, – пишет Оруэлл, – зловещий русский толстяк с револьвером и аккуратной маленькой бомбой за поясом, о котором говорили, что он агент ГПУ (его сразу же прозвали Чарли Чаном)». Эйлин кого-то торопливо перевязывала, а Оруэлл, найдя какой-то диван по соседству, свалился и проспал всю ночь. Наутро узнал: из Валенсии отозваны в Барселону шесть тысяч солдат, а ПОУМ в ответ сняла пять тысяч бойцов с Арагонского фронта. Говорили, что в гавань Барселоны вошли английские эсминцы (и слух этот потом подтвердился), что анархистам сдались 400 гвардейцев, а в рабочих кварталах города профсоюзы уже полностью контролируют ситуацию. Но всё Оруэлл понял, когда Копп, вызвав его, с самым серьезным видом сказал, что, по имеющимся сведениям, «правительство собирается поставить ПОУМ вне закона и объявить ему войну». «Я смутно предвидел, – пишет Оруэлл, – что по окончании боев всю вину свалят на ПОУМ – эта партия подходила для роли козла отпущения». Откуда ему было знать, что в Мадриде и Барселоне давно «были созданы специальные тюрьмы ОГПУ, что агенты его убивали и похищали людей и что вся эта сеть функционировала совершенно независимо от законного правительства»? И с войной явной на площадях Барселоны шла война тайная: ее вела против «карбонариев» одна из самых могущественных спецслужб мира.

Ничего этого Оруэлл тогда не знал. Он только слышал, что прекратилась стрельба, видел, что с крыши телефонной станции исчез анархистский флаг, что означало поражение рабочих, и что на стенах в одночасье появились плакаты с призывами запретить ПОУМ. Партия была объявлена фашистской «пятой колонной» и изображалась в виде человека, у которого под маской с эмблемой серпа и молота скрывалась отвратительная рожа, меченная свастикой. Наконец, тогда же, в гостинице, как черт из табакерки, перед ним вырос тот самый коммунист, с которым он обсуждал возможность перехода в интербригаду. Говорят, это был некто Уолтер Тапселл, британский коммунист, который успел уже оповестить всех, что ему удалось переманить Оруэлла на «нашу» сторону. В отчете, посланном Тапселлом Гарри Поллиту в Лондон и, как утверждают, одновременно в штаб НКВД, он написал:

«Самая заметная личность и самый уважаемый человек (в ПОУМ. – *В.Н.*) – это писатель Эрик Блэр. Политического чутья у него мало. Партийной политикой не интересуется и приехал в Испанию как антифашист. Однако в результате своего фронтового опыта он невзлюбил ПОУМ и ждет увольнения из их ополчения. В разговоре 30 апреля Блэр поинтересовался у меня, помешают ли ему связи с ПОУМ записаться в интербригаду. Он хочет сражаться на Мадридском фронте и заявляет, что через несколько дней официально подаст заявление к нам…»

Ошибся Тапселл, кажется, в одном – в отсутствии у Оруэлла «политического чутья». Ибо, когда они столкнулись вновь и Тапселл спросил, переходит ли он к ним, Оруэлл в ответ лишь усмехнулся: «Но ваши газеты пишут, что я фашист. Перейдя к вам из ПОУМ, я буду человеком подозрительным…» «О, это не имеет значения, – рассмеялся коммунист. – Ведь ты же только выполнял приказ». «Пришлось сказать ему, – заканчивает Оруэлл, – что после всего виденного мною я не могу служить в части, контролируемой коммунистами. Это значило бы, что меня рано или поздно заставили бы выступить против испанского рабочего класса… В таком случае, если мне придется стрелять, я предпочту стрелять не в рабочий класс, а в его врагов».

Оруэлл остался верен себе. Позже он, предположительно, напишет, что в те майские дни в Барселоне было убито 400, а ранено около 1000 человек. На деле убитых окажется в два раза больше – 900 человек, а раненых – около 4000. И в основном – как раз рабочих. Это скажет в статье «Оруэлл и испанская революция» Джон Ньюсингер. И он же напишет, что с той встречи в отеле и началось «политическое образование» Оруэлла…

Святая правда! Те дни и стали «университетами» Оруэлла. Вот когда он вспомнит фразу Орра, услышанную в начале: «Эта война – такое же надувательство, как и все другие». И вот когда в нем начнет крепнуть убеждение, высказанное им через много лет: «Всякий писатель, который становится под партийные знамена, рано или поздно оказывается перед выбором – либо подчиниться, либо заткнуться…»

4.

Если бы меня спросили, что́ реально спасло Оруэлла от верной гибели в Испании, я бы ответил: ранение в шею. Иначе он кончил бы дни в тюрьме НКВД: всё шло к тому; я еще докажу это. Спасло уже то, что 10 мая, сразу после событий в Барселоне, он, как и некоторые другие, был отправлен на ставший по сути

спасительным фронт – под Уэску. В ту часть, которая всё еще удерживала фронт.

Перед отправкой, кстати, заскочил за новыми ботинками. «Я трижды посетил мастерскую, где заказал их, – напишет в книге: – до начала боев, после их окончания и во время короткого перемирия 5 мая». А уже 10 мая он был под Уэской, где его дивизия Ленина была срочно переименована просто в 29-ю дивизию, а он, как и все командиры, получил отныне звание «*teniente*», что соответствовало младшему лейтенанту. Он по-прежнему охотился за фашистами и «был уверен, что рано или поздно, но своего фашиста подсидит…». Однако всё случилось наоборот. Через десять дней, 20 мая, «подсидели» его – ранили в шею. А ровно через месяц, 20 июня, поздним вечером, он, уже «ходячий», в последний раз приехал в Барселону. Увольнение с печатью его родной, бывшей Ленинской дивизии и справка докторов, признавших его негодным к службе, были в кармане. Путь в Англию, домой, был, казалось, открыт, но то, чем встретил его «Континенталь», повергло Оруэлла в ужас.

«Войдя в гостиницу, – пишет он, – я увидел в холле мою жену. Она встала и пошла ко мне с видом, показавшимся мне чрезмерно непринужденным. Жена обвила рукой мою шею и с очаровательной улыбкой, обращенной к людям, сидевшим в холле, прошептала мне в ухо: “Уходи!” – “Что?” – “Немедленно уходи отсюда!.. Не стой здесь! Выйдем отсюда!”» Знакомый француз, попавшийся по пути, вытаращил глаза: «Слушай! – прошептал он. – Ты не должен здесь появляться. Быстро уходи!»

Едва они оказались на улице, Оруэлл накинулся на Эйлин:

– Что? Что всё это значит?..

– ПОУМ запрещена. Почти все – в тюрьмах. Говорят, что начались расстрелы…

Это было правдой. Найдя в боковых переулках полупустое кафе, Эйлин торопливо пересказала ему, что случилось. Оказывается, еще 15 июня полиция внезапно арестовала Андреса Нина. Прямо в кабинете. И в тот же вечер, совершив налет на отель «Фалькон», арестовала всех, даже приехавших в отпуск ополченцев. Отель просто превратили в тюрьму, до предела набитую заключенными. В течение двух дней были арестованы почти все сорок членов Исполнительного комитета ПОУМ. Жен, не успевших скрыться, держали, как и Эйлин, в заложницах. Брали даже раненых ополченцев в госпиталях. Но больше всего поразило Оруэлла, что взяли и Коппа. Тот оказался в Барселоне с письмом, адресованным военным министерством полковнику, командовавшему инженерными частями на Восточном фронте. Копп завернул в «Континенталь» захватить вещевой мешок, а

служащие отеля вызвали полицию. «Копп был моим другом, – пишет Оруэлл. – Он пожертвовал семьей, родиной, чтобы приехать в Испанию… Пройдя путь от рядового до майора, он участвовал в боях, был ранен… И за всё это они отплатили ему тюрьмой…»

Тут же, в кафе, Эйлин заставила мужа вывернуть карманы. Они разорвали его удостоверение ополченца, на котором большими буквами значилось: ПОУМ, уничтожили фотографию бойцов, снятых на фоне ПОУМовского флага, – за такие вещи, сказала Эйлин, теперь – тюрьма; оставили лишь свидетельство об увольнении со службы. На нем, правда, стояла печать 29-й дивизии, и полиция наверняка знала, что она была ПОУМовская, но без этого документа его могли арестовать как дезертира. И тогда же, в кафе, оба поняли: надо срочно выбираться из Испании. Условились встретиться на следующий день в британском консульстве, куда должен был прийти и Макнейр. Им нужно было проштемпелевать паспорта у начальника полиции, у французского консула и у каталонских иммиграционных властей. Опасен был лишь начальник полиции, но они надеялись, что британский консул как-то уладит всё, скрыв, что они были связаны с ПОУМ. «Испанская тайная полиция, – не без иронии напишет Оруэлл, – напоминает, конечно, гестапо, но ей не хватает гестаповской оперативности…»

Как они расстались тогда – неизвестно. Эйлин вернулась в отель, а он отправился в ночь – искать место для ночлега. «Всё мне опостылело, – вспоминал. – Я мечтал провести ночь в постели! Но пойти было некуда». ПОУМ не имела подпольной организации, не было ни сборных пунктов, ни явочных квартир, ничего. Пробродив полночи по городу, Оруэлл забрел в какую-то разрушенную церковь без крыши, нашарил в полутьме нечто вроде ямы и улегся на битый кирпич. Он так и не узнает, что ночная и враждебная ему площадь с разрушенной церковью будет через много лет названа его именем. Он лишь напишет, что лежать на кирпичах было не очень-то удобно, но зато – безопасно… Так проведет четыре последние ночи в Испании…

Дни были сравнительно спокойны. Надо было лишь не вертеться возле зданий ПОУМ, избегать гостиниц и не заходить в те кафе, где тебя знали в лицо. Полдня он проведет в городской бане – это казалось надежным, – но на другой день там было уже так много преследуемых, что вскоре и в бане случилась облава: ему рассказывали потом, что в ней было арестовано немало «“троцкистов” в костюме Адама»… Он же тем не менее всё равно повиснет на волосок от гибели – когда попытается вытащить из тюрьмы Коппа. Дикий поступок, но, помня, что он всегда выбирал

не силу, а порядочность, – объяснимый.

«Тюрьмой» Коппа оказалось подвальное помещение бывшего магазина: две комнаты, куда набили человек сто, среди которых были даже дети. Ни нар, ни скамеек – лишь каменный пол, несколько одеял и нацарапанные на стенах слова: «ПОУМ победит!» и «Да здравствует революция!» Еще не видя в толпе Коппа, Оруэлл наткнулся на своего подчиненного, на Милтона, который еще недавно выносил его с позиций на носилках. Оба не подали даже вида, что знают друг друга. А протолкавшийся к ним Копп (был час свиданий, и народу набралось так много, что нельзя было двинуть и рукой) разулыбался. «Ну что же, – сказал почти радостно, – нас, должно быть, всех расстреляют». Говорила с ним в основном Эйлин – раненое горло Оруэлла издавало лишь писк. Но когда Копп сказал, что письмо из военного министерства, которое он привез полковнику, у него отобрали и оно хранится у начальника полиции, именно Оруэлл сообразил: письмо может помочь вырвать друга из застенка, подтвердит его «репутацию». Рисковый, смертельный поступок, но он, оставив Коппа и Эйлин, кинулся вон.

«Это был бег наперегонки с временем, – вспоминал. – Была уже половина шестого, полковник, наверное, кончал в шесть, а завтра письмо могло оказаться бог знает где». Он поймал такси, домчал до набережной, где было военное министерство, «помахал увольнительным удостоверением» преградившему путь часовому и, среди лабиринтов лестниц, коридоров и кабинетов, крича всем на ломаном испанском: «Полковник, начальник инженерных войск, Восточный фронт!..» – нашел нужную приемную. Квакающим голосом объяснил адъютанту, маленькому офицерику в ладно сидящей форме, что прибыл «по поручению своего начальника, майора Хорхе Коппа, посланного с важным заданием на фронт и по ошибке арестованного», и сказал про письмо, которое необходимо забрать. Да, кивал офицерик, возможно, Коппа арестовали по ошибке, да, надо разобраться, да, *mañana,* сказал, «завтра»… Эта «*mañana*», обещание испанцев сделать что-либо «завтра», всё время бесило Оруэлла. Из-за него опаздывали поезда, не начинались атаки и даже бессмысленно гибли люди. «Нет, не *mañana*, – срывая голос, запротестовал он. – Дело не терпит отлагательств. Коппа ждут на фронте». И вот тогда офицер и задал тот вопрос, которого Оруэлл боялся: «В каких частях служил майор Копп?» «В ополчении ПОУМ», – честно ответил Оруэлл. «Темные глаза офицера скользнули косо по моему лицу, – пишет он. – Последовала длинная пауза, после чего он медленно произнес: “Вы говорите, что были с ним вместе. Значит, и вы служили в ПОУМ?” – “Да”. Он повернулся и нырнул в

кабинет полковника. До меня доходили лишь звуки оживленного разговора. “Кончено, – подумал я. – …Сейчас позвонят в полицию, и меня арестуют…” Наконец офицер вышел, надел фуражку и сухо предложил следовать за ним. Мы отправились к начальнику полиции. Идти надо было довольно долго, минут двадцать… За всю дорогу мы не обменялись ни одним словом…»

Приемная начальника полиции была набита толпой «шпиков, доносчиков, продажных шкур всех мастей». Офицер прямо прошел в кабинет, из которого послышался длинный возбужденный разговор, даже яростные крики. Но письмо Коппа было получено и, как пообещал офицер, будет вручено кому следует. «А Копп? – спросил Оруэлл. – Нельзя ли освободить его из заключения?» Офицер лишь пожал плечами. Причина ареста неизвестна, но, сказал он, «вы можете быть уверены, необходимое расследование будет проведено». Это Оруэлл с женой и передадут Коппу на другой день, когда вновь, рискуя жизнью, навестят его. А тогда, закончив разговор, маленький офицерик поколебался секунду, потом шагнул к Оруэллу и… протянул руку.

«Не знаю, – вспоминал наш смельчак, – смогу ли я передать, как глубоко тронул меня этот жест… всего лишь рукопожатие… но… всюду царили подозрение и ненависть, ложь и слухи, а плакаты всюду вопили, что я и мне подобные – фашистские шпионы… У меня, – пишет Оруэлл, – много скверных воспоминаний об этой стране, но я никогда не поминаю лихом испанцев… Есть в этих людях щедрость, род благородства, столь несвойственного двадцатому веку. Именно это наводит на мысль, что в Испании даже фашизм примет формы сравнительно терпимые. Очень немногие испанцы обладают качеством, которое требует современное тоталитарное государство, – дьявольской исполнительностью…»

Именно это, кстати, спасло и Эйлин, когда в те же дни к ней в «Континенталь» нагрянули с обыском. Спасло то, что она, открыв на рассвете дверь шестерым полицейским с ордером на обыск, тут же невозмутимо вновь улеглась в постель. Полицейские простучали стены, подняли половики, рассмотрели на свет даже «предметы туалета» и содержимое мусорной корзины. Обнаружив «Майн кампф» на французском, пришли в дикий восторг. Найди они только эту книгу, Эйлин не спасло бы ничего, но вслед за ней им попалась брошюра Сталина «Методы борьбы с троцкистами и другими двурушниками». В то утро они и забрали военные дневники писатели. Они «работали» часа два, но ни разу не дотронулись до кровати, где лежала Эйлин. «Под матрасом, – пишет Оруэлл, – могло оказаться с полдюжины автоматов, а под подушкой – целый архив троцкистских документов. Но они не

заглянули даже под кровать. Не думаю, что ОГПУ вело бы себя так же… Но эти были испанцами, они не могли себе позволить поднять женщину с постели…» Хотя под матрасом были и важные бумаги, и их паспорта…

Наконец, они едва не погибли, когда добрались до границы. Их спас, вообразите, «буржуазный вид». Когда шесть месяцев назад Оруэлл въезжал в Испанию, сосед-француз в поезде посоветовал ему снять «воротничок и галстук» – «в Барселоне их с вас сорвут». «Теперь, – пишет он, – походя на буржуа, вы были почти вне опасности…»

Первый поезд во Францию ушел на полчаса раньше расписания – обратная сторона этого вечного испанского «завтра». Эйлин должна была заранее заказать такси, упаковать вещи и выскользнуть из отеля в последний момент. Так она и сделала на следующее утро. Макнейр, Коттман и Оруэлл встретили ее у вокзала, Оруэлл успел еще раз написать письмо в военное министерство насчет Коппа, хоть и сомневался, что его прочтут, а затем, уже в поезде, все четверо отправились в вагон-ресторан. Два сыщика обходили купе, записывая имена иностранцев, но, увидя их в ресторане, решили, что это люди респектабельные, и… прошли мимо. Потом, на границе, при проверке паспортов полицейские заглянули в список подозрительных лиц, но их имен там, по счастью, не оказалось. Там не было даже Макнейра, хотя в первой же французской газете они вот-вот прочтут, что в Барселоне он уже арестован «за шпионаж». Их, правда, обыскали с головы до ног, но не нашли ничего подозрительного, кроме свидетельства Оруэлла о демобилизации. К счастью, карабинеры не знали, что 29-я дивизия была ПОУМовской частью. «Мы начали как героические защитники демократии, – с горечью напишет Оруэлл через несколько дней Райнеру Хеппенстоллу, – а закончили, тайно выскользнув за границу, когда полиция дышала нам уже в затылок…»

* * *

Комментарий: Война идей и людей

Вот ровно 1 мая 1937 года, когда в Барселоне начали разворачиваться самые драматические события, в Кремле на приеме по случаю Дня солидарности слово взял вдруг Климент Ворошилов.

– Товарищи! – сказал, вставая. – Сейчас происходит война в

Испании. Упорная война, нешуточная. Воюют там не только испанцы, но разные другие нации. Затесались туда и наши русские. И я предлагаю поднять бокалы за присутствующего здесь представителя советских людей – товарища Михаила Кольцова!

Кольцов, который числился в Испании не просто спецкором «Правды», но бригадным комиссаром и одновременно советником при генеральном военном комиссаре Альваресе дель Вайо, Кольцов, про которого сам Хемингуэй напишет потом в романе «По ком звонит колокол», что он, «тщедушный человечек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах, с крошечными руками и ногами», который всегда говорил так, точно «сплевывал слова сквозь зубы», который, по словам Хемингуэя, «непосредственно сносясь со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании», да просто «самым умным из всех людей», – так вот, Кольцов, накануне отозванный из Мадрида, чуть пригубив шампанского, тут же с бокалом подошел к Сталину. Про Испанию успел сказать лишь одну фразу: «Если бы у них было больше порядка, товарищ Сталин…». На что вождь хмуро кивнул: «Слабые они. Слабые…»

А через три дня, 4 мая, когда «война» завалила Барселону трупами, Кольцова вызвали к Сталину. В кабинете были Молотов, Ворошилов, Каганович и нарком НКВД Ежов. Один из вопросов Сталина заставил Кольцова замешкаться.

– Что это вы замолчали, товарищ Кольцов? – спросил вождь. – Что вы смотрите на товарища Ежова? Вы не бойтесь товарища Ежова…

– Я вовсе не боюсь Николая Ивановича, – ответил Кольцов. – Я только обдумываю, как наиболее точно и обстоятельно ответить на ваш вопрос…

Три часа Кольцов отвечал на вопросы. А потом вождь подошел к нему и поклонился.

– Мы, благородные испанцы, благодарим вас за отличный доклад. Спасибо, дон Мигель…

– Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин! – ответил Кольцов.

«И тут, – пишет в воспоминаниях брат Кольцова Борис Ефимов, – произошло нечто непонятное… “У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?” – спросил Хозяин. “Есть, товарищ Сталин”. – “А вы не собираетесь из него застрелиться?” Еще больше удивляясь, Кольцов ответил: “Конечно, нет, товарищ Сталин. И в мыслях не имею”».

Пересказывая это брату, Кольцов сказал: «Но знаешь, что я совершенно отчетливо прочел в глазах Хозяина, когда уходил?.. Я прочел в них: слишком прыток…»

В чем он был «слишком прыток» – можно лишь догадываться. Ведь Кольцов всё и всегда делал «как надо». Успел написать Сталину письмо с просьбой выдвинуть его в депутаты Верховного Совета СССР (выдвинули и выбрали пожиже – в Верховный Совет РСФСР), успел опубликовать в «Правде» восхищенный очерк о «железном Ежове» (все-таки побаивался этого карлика), написал книгу о Сталине (тот почему-то заартачился и не разрешил публиковать ее) и даже успел сказать Луи Арагону знаменитую фразу: «Запомните, – сплевывал сквозь зубы, – запомните: Сталин всегда прав!..»

Кольцов и в Испании делал всё «как надо». В частности, не только поддерживал коммунистов в их борьбе с испанским коммунизмом (уже смешно!), но и клеймил ПОУМовцев и их партию, твердя, что ПОУМ – «троцкистская организация», хотя прекрасно знал, что и Троцкий, и партия эта давно и публично отмежевались друг от друга. Так вот, мы, в свою очередь, знаем ныне: когда через год Кольцова прямо в редакции «Правды» арестуют и затем приговорят к расстрелу, он не только сам будет назван «троцкистом» (да еще с 1923 года), его не только прямо обвинят в связях с ПОУМовцами, но он лично – сначала в собственноручно написанных «признаниях», а потом и в протоколах допросов, – сплевывая уже не слова, а выбитые зубы, будет называть себя именно «троцкистом» и даже «ПОУМовцем»… Был, скажет, связан в «шпионских делах». То есть от проклятия других – к «проклятию» самого себя!.. Именно это станет потом финалом антиутопии Оруэлла – романа «1984».

Мне, возможно, скажут: с чего это я вспоминаю Кольцова и так ли связаны в истории эти два имени – советского правоверного журналиста и Оруэлла? Испания, добровольчество, журнализм – это все-таки внешние сходства. Но вот вам факт гораздо более глубокой связи – уж раз я обещал сосредоточить свое внимание на теме «Оруэлл и Россия». Этого почти никто не знает, но после встречи Кольцова со Сталиным этот «слишком прыткий» человек 15 мая 1937 года печатает в редактируемой им тогда московской газете «За рубежом» хвалебную, представьте, рецензию некоего Д.Ихока на… Оруэлла. На книгу «Дорога на Уиган-Пирс». Так впервые, насколько мне известно, имя Оруэлла появилось в советских СМИ. Д.Ихок писал: Оруэлл «не марксист, не коммунист; его рассуждения о причинах классовой розни часто наивны, а иногда просто неверны. Но в своей критике империализма и капитализма он на правильном пути. Он зло и едко высмеивает и бичует их…».

Как вам это? Оруэлл в то время – опять на фронте; более того, он всё уже понял про «социализм по-сталински», а Кольцов,

косвенно восхваляя писателя в своей газете в СССР, в Испании буквально развязывает войну против несогласных!

«Сумасшествием» назовет Оруэлл события в Испании в 1937-м. Но сумасшествие творилось и в СССР. Более того, оно «творится» и ныне, в 2000-х. Уму непостижимо, но в книге о Кольцове «Он был “слишком прыток”…», с подзаголовком «Жизнь и казнь Михаила Кольцова», в книге, которая вышла в 2013 году, племянник Кольцова, журналист-международник Михаил Ефимов вновь на «голубом глазу» величает партию ПОУМ «троцкистской». Это они, «ПОУМовцы», пишет, «науськивали» анархистов на своих союзников, выдвигая лозунги немедленной социальной революции, что было тогда «чистой воды» авантюрой. Пишет и тем самым как бы невольно оправдывает разразившийся в Испании «политический погром». Ведь, признав «ПОУМовцев» троцкистами и тем самым как бы оправдав их уничтожение, племянник даже ныне невольно признает логичным (ну так выходит!) и расстрел родного дяди?.. Восемьдесят лет прошло, изменились не просто государства – социальные системы, человечество давно, казалось бы, расставило все точки над «*i*» в сложном процессе зарождения чумы XX века – фашизма, а рожденные Сталиным и сталинцами «клише», обвинения, из-за которых погибли в Испании тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей, живы до сих пор.

Горы лжи наворочены в истории, и разбирать их придется, думаю, и нашим детям, и даже, боюсь, внукам. «Спусковым крючком» террора против ПОУМ стали для Сталина, как утверждают ныне, донесения наших агентов из Германии. В частности, берлинский резидент НКВД сообщал, что в ряды ПОУМ проникают германские агенты, которые готовят путч против правительства, и что ПОУМ «поддерживает тесные связи с гестапо». Много ли Сталину надо было для подозрений?

Мне, возможно, возразят: где Оруэлл – и где наши спецслужбы? Ну какое дело было нашему НКВД до какого-то «бакалейщика» из Англии? Но, увы, факты – упрямая вещь. Оруэлл и Эйлин в те дни лишь предполагали, что их могут арестовать. Но в 1989 году британка Кэрон Хазерли, работая над диссертацией, наткнется в Национальном историческом архиве в Мадриде на сохранившийся доклад испанской полиции безопасности. Как будет гласить этот документ (его опубликует газета *Observer* 5 ноября 1989 года), «республиканская полиция безопасности» как раз в июне 1937-го направила в Валенсию, в трибунал по делам о шпионаже, обширную докладную о деятельности «Энрико Блэра и его жены». А 13 июля 1937-го (Оруэлл был уже в Англии) барселонский трибунал по делам

измены родине сформулировал и обвинение обоим: «Их переписка свидетельствует о том, что они – оголтелые троцкисты… связные между Независимой рабочей партией и ПОУМ». Кристофер Хитченс вообще утверждает, что была некая секретная докладная нашего НКВД от того же июля 1937 года, в которой утверждалось, что «ярко выраженные троцкисты» Блэры не просто сотрудничали с местными франкистами, но «поддерживали контакты с оппозиционными кругами в Москве». Бред!..

Мария Карп, занимавшаяся этой проблемой, в статье «Оруэлл в Испании» пишет, что к Оруэллу, Эйлин и Коппу был действительно «приставлен шпион, направленный Коминтерном»[33]. Это был юный лондонец Дэвид Крук, учившийся в Америке, а затем отправившийся воевать в Испанию, который в феврале 1937 года был «завербован агентом Коминтерна». Крук прошел подготовку к будущим «спецзаданиям» в Альбасете, где размещался штаб НКВД и где испанскому языку его обучал лично Рамон Меркадер, тот самый красавец, который скоро убьет ледорубом Троцкого и пойдет за это в тюрьму. Крук на старости лет не только признался в этом, но и повинился, назвав свою прошлую тайную работу «историей, которой я не горжусь». А тогда, оказавшись в Барселоне, он познакомился с Эйлин и практически сразу «стал своим человеком в штабе Независимой рабочей партии». В обеденные перерывы, когда все отправлялись в кафе, он «проникал в пустые кабинеты, рылся в столах, брал нужные документы и относил их в советское консульство, где их фотографировали». Информация иногда передавалась им через еще одного лондонца, Хью О'Доннелла, «тоже работавшего на Москву и направленного в Барселону непосредственно Гарри Поллитом». Темная история, но что поразительно: Хью О'Доннелл, агент Москвы, имел псевдоним, как установили ныне, «О'Брайен» – ровно то имя, каким через много лет Оруэлл в романе «1984» назовет самого зловещего героя. Каково совпадение, а?!

Вот после всех этих фактов мне уже не кажется странным то, что произошло с дневниками Оруэлла. Тоже ведь тайна из тайн!

Дневники его были изъяты, как помните, у Эйлин, в отеле «Континенталь». Так вот, ныне один из наиболее осведомленных современных биографов писателя Питер Дэвисон утверждает, что «по крайней мере две тетради его дневников находятся в архиве НКВД в Москве, вместе с досье, составленным на Оруэлла в советских спецслужбах». Он, Дэвисон, не ссылается прямо на своего предшественника, Дэвида Тейлора, но известно, что Тейлор еще в 2004-м в одной из статей в британской *Guardian*

прямо написал, что в недрах нынешнего ФСБ России до сих пор хранятся все изъятые при обыске материалы Оруэлла. Правда ли это – неведомо. Но В.Г.Мосина (Науменко), работая над первой докторской диссертацией о творчестве Оруэлла, запрашивала в конце 1990-х годов Центральный архив ФСБ на этот счет – и получила, как пишет, «отрицательный ответ». Не время? Или документов действительно нет? Тоже неведомо…

Что ждало Оруэлла, окажись он в руках полиции и затем – работников НКВД? Это – тоже область предположений. Но с подозреваемыми в «троцкизме» расправлялись сурово. Жорж Копп выйдет из тюрьмы через полтора года инвалидом, с палочкой. Боб Смилли, студент, приехавший воевать «за правду», умрет в тюрьме. Это то, что знал Оруэлл. А мы знаем ныне, что по приказу Андре Марти, генерального комиссара интербригад, назначенного Коминтерном, главного палача испанской революции, было расстреляно по «подозрению в принадлежности к ПОУМ или сочувствию троцкизму» только среди интербригадовцев «около пятисот человек». Этот факт приводит в своей книге как раз племянник Кольцова – Михаил Ефимов. Сколько было расстреляно ПОУМовцев и «иностранных разведчиков» среди них – он не пишет. Зато – спасибо и за это! – черным по белому подтверждает: с Андреса Нина, руководителя ПОУМ, бывшего министра Каталонии и бывшего переводчика на испанский романов «Анна Каренина» Толстого и «Преступления и наказания» Достоевского, «с живого содрали кожу, добиваясь признания в его связи с Франко». Такое вот «наказание» без «преступления»… И делали это не испанцы – наши «рыцари плаща и кинжала».

Самые «интересные дела» вершились в мае–июле 1937 года в испанском местечке Альбасете, где располагался руководящий центр интербригад, где находился штаб НКВД и одновременно – секретная тюрьма для оппозиционеров и где «орудовали», выполняя указания Москвы, и высокопоставленный «наместник» НКВД в Испании Орлов, и «главный палач Альбасете» – так его называет в своей книге о Кольцове Михаил Ефимов – Андре Марти. О зловещей роли Андре Марти Михаил Ефимов пишет довольно подробно, и всё сказанное им – правда, но он совсем не пишет о зловещей роли в развернувшихся событиях своего дяди Михаила Кольцова, – в частности, об истории, связанной с буквой «Н». А ведь в двух газетах с разницей в два дня был опубликован один и тот же факт об этой якобы «нерасшифрованной букве». Сначала, 19 июня 1937 года, факт этот «прозвучал» в «Правде», в статье Кольцова «Фашистско-шпионская работа испанских троцкистов», а затем, 21 июня, – в британской *Daily Worker*, в

статье «Испанские троцкисты в сговоре с Франко». Позже первая статья была перепечатана в книге Кольцова «Испания в огне», а вторая процитирована (вот уж и впрямь сближения истории!) в книге Оруэлла.

Помните, еще Эйлин в ночном кафе сказала мужу, что, кажется, арестован Андрес Нин, чья популярность в Каталонии была сравнима с популярностью Долорес Ибаррури. «Где Нин?» – тогда же задавались вопросом уцелевшие ПОУМовцы. «Где Нин?» – тайно писали они метровыми буквами на стенах города. Ведь он же был иконой революционных рабочих. Так вот, в те дни сначала «Правда», а потом и *Daily Worker* написали, что после ареста «большого числа видных фашистов в Барселоне… стали известны в конце недели детали одного из чудовищнейших шпионских заговоров, какие знает история войн». Было «доказано», сообщалось в заметках, что «руководители ПОУМ передавали по радио военные секреты генералу Франко, были связаны с Берлином, сотрудничали с подпольной фашистской организацией в Мадриде…» И добавлялось: донесения писались «симпатическими чернилами», и одно было подписано буквой «Н», то есть лично Нином…

В подшивке «Правды» и ныне хранится заметка Кольцова, в которой приводятся «неопровержимые» подробности о «найденном» у одного из захваченных шпионов плане Мадрида, на обороте которого невидимыми чернилами, да к тому же шифром, было написано письмо, адресованное генералу Франко. В расшифрованном виде текст письма гласил: «Ваш приказ о просачивании наших людей в ряды экстремистов и ПОУМ исполняется с успехом. Выполняя ваш приказ, я был в Барселоне, чтобы увидеться с Н. – руководителем ПОУМ. Я ему сообщил все ваши указания. Он обещал мне послать в Мадрид новых людей, чтобы активизировать работу ПОУМ. Благодаря этим мерам ПОУМ станет в Мадриде, как и в Барселоне, опорой нашего движения…»

Сама фальшивка была состряпана не Кольцовым, нет – он лишь распространил ее. А выполнена она была по указанию из Москвы двумя испанцами из Альбасете. Их имена обнародовали в 1992 году сотрудники телевидения Каталонии. Они установили, что «план фабрикации фальшивки» был разработан нашим НКВД, а исполнителями подлога были сотрудники испанской республиканской разведки А.Касталья и Ф.Хименес[34]. И правда об этом всплыла, повторяю, только в 1992-м!..

Что известно о расправе над Нином? Это попыталась выяснить уже упомянутая Мария Карп. В статье об Оруэлле она пишет: «Как выяснилось позднее, Нина похитили из тюрьмы и

несколько дней пытали, вынуждая признаться в сотрудничестве с фашистами. Организатором похищения был резидент НКВД Александр Орлов, впоследствии – автор знаменитой книги “Тайная история сталинских преступлений”. Этот эпизод, известный под кодовым названием “Операция Николай”, он в своей книге по понятным причинам не описывает. Но в архивах НКВД, – пишет М.Карп, – сохранился его отчет о похищении, написанный 24 июля 1937 года».

Нин, утверждает М.Карп, даже под пыткой отказывался признавать себя виновным в связях с фашистами. «Тогда, посоветовавшись с Москвой, Орлов принял решение его убрать. Главу ПОУМ расстреляли на шоссе около Алькала-де-Энарес под Мадридом и зарыли в поле в ста метрах от дороги – об этом тоже свидельствует направленная в Москву записка. Однако, – продолжает М.Карп, – убить Нина сотрудникам НКВД было мало, им надо было еще скрыть это. По одной из версий, они организовали небольшой спектакль, в ходе которого немецкие товарищи из интербригад, переодевшись в форму фалангистов, ворвались на виллу, где пытали Нина, якобы с тем, чтобы прийти ему на помощь… “Улики”, подтверждавшие атаку их, – немецкие документы, фалангистские значки и банкноты франкистов – были затем разбросаны по дому. Официальная линия компартии, опубликованная в газетах, гласила, что Нин был освобожден фалангистами и скрывается в Бургосе, где размещался штаб Франко. И под надписями “Где Нин?”, появлявшимися на стенах домов в Барселоне, коммунисты долго приписывали “Саламанка иль Берлин”, намекая на то, что он помогает фашистам…»

Ничего этого Оруэлл так и не узнает. Но, не зная фактов про «тайные убийства», не догадываясь о масштабах погрома, не предполагая участия в этом Сталина, Оруэлл, благодаря опыту всей предыдущей жизни, умению видеть за мельчайшими черточками проблемы глобальные, сумел-таки многое понять. Именно этого ему не простят, когда он напишет книгу «Памяти Каталонии»…

Есть такая расхожая, общеупотребительная в мире метафора: правда – это свет, а ложь, какой бы она ни была, – тьма. Для кого-то это – святая формула, для кого-то – чистая метафизика, чуть ли не красивая благоглупость. Но помните ли, что́ именно – и ровно 400 лет назад, в 1615 году, – написал великий испанец Сервантес на гербе своего Дон Кихота? Помните, что девизом «рыцаря печального образа» были библейские слова «*Post tenebras spero lucem*!» – «После тьмы надеюсь на свет!»?.. Так вот, последними словами в Испании Михаила Кольцова станут как раз эти слова. Ими он завершит заключительное выступление на

Международном антифашистском конгрессе писателей, который начнется в Валенсии через десять дней после отъезда Оруэлла, 4 июля 1937 года.

СССР представляли на конгрессе Вс.Иванов, А.Толстой, А.Фадеев, В.Вишневский, А.Барто, В.Финк. Так вот и про Толстого, и про Эренбурга Кольцов на лубянских допросах «покажет», что к 1937 году все они уже давным-давно были «агентами французской разведки».

Гримасы истории? Да нет, всё та же война идей и людей. Ведь не поверите, но как Сталин бросил многих русских участников испанской эпопеи в тюрьмы и лагеря, точно так же встретил иных интербригадовцев и свободный Запад. Друг Оруэлла Артур Кёстлер, чудом вырвавшийся из Испании, где сидел в тюрьмах Франко, был схвачен уже французами и брошен в лагерь в Ле Верне, почти рядом с испанской границей. Поразительно, как сходятся противоположности в необъявленной войне идей. «Нас было в лагере Верне две тысячи, – пишет Кёстлер. – Это было то, что осталось от интернациональных бригад – былой гордости революционного движения Европы, передового отряда левых… Коминтерн бросил рабочий класс…»

«Направляясь на этот Конгресс, – скажет с трибуны, закрывая Конгресс, Кольцов, – я спрашивал себя: что же это, в сущности, такое? Съезд донкихотов, литературный молебен о ниспослании победы над фашизмом или еще один интернациональный батальон добровольцев в очках?.. По другую сторону стоят гитлеровская тирания, бездушное властолюбие итальянского диктатора, троцкистский терроризм, неутолимая хищность японских милитаристов, геббельсовская ненависть к науке и культуре…. Мы требуем от писателя честного ответа: с кем?.. Отвечайте же скорее!..» И были в выступлении его еще две фразы, которые сегодня стыдливо прячут его биографы. Цитируя почти полностью все его «высокопарности», даже автор книги «Дело Кольцова» В.Фрадкин не поминает, что он, выступая на Конгрессе, просто воспел НКВД. «Наша страна, – сказал, – полностью застрахована от авантюр больших и маленьких франко. Она застрахована тем, что при первом же шаге троцкистских франко им преграждают путь органы советской безопасности, их карает военный суд при поддержке всего народа…»

«После тьмы надеюсь на свет!»… Сервантес в гробу бы перевернулся, узнай, как использовали девиз Дон Кихота через четыре века. Немыслимо, но вопрос «с кем вы, писатели?» задавал не столько писатель, сколько «видавший виды» идеолог, отлично знавший к тому времени и про ложь публичных процессов в СССР, и про коварного Хозяина, и про фальшивки о «пятой колонне», и

про тайные группы А.Орлова, убивавшие людей. Он, в отличие от многих других в зале Конгресса, знал это точно. Но – два в уме. А если надо – и три, и пять… «Новояз» и «двойное мышление» было для таких уже просто нормой жизни…

Конгресс завершился, когда до окончательного предательства испанской революции было полтора года. А до расстрела Кольцова – чуть больше двух. Он еще потрепыхается в Москве, получит орден и, возглавляя по-прежнему 39 различных газет и журналов, станет фактически и главным редактором «Правды». Но всё «перетянет» Испания – донос того самого Андре Марти, «палача из Альбасете», человека «в непомерно большом берете цвета хаки, в пальто и с револьвером на длинном ремне», как напишет о нем Хемингуэй, генерального комиссара всех интербригад и главного врага Кольцова.

«Мне приходилось и раньше, товарищ Сталин, обращать ваше внимание на те сферы деятельности Кольцова, которые вовсе не являются прерогативой корреспондента, но самочинно узурпированы им, – найдут донос Андре Марти в личном архиве Сталина. – Его вмешательство в военные дела, использование своего положения как представителя Москвы сами по себе достойны осуждения. Но в данный момент я хотел бы обратить ваше внимание на более серьезные обстоятельства, которые, надеюсь, и Вы, товарищ Сталин, расцените как граничащие с преступлением: Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты не носят случайный характер…»

Вот и всё. Несколько строк чистейшей, без малейших примесей лжи – и нет человека. Кольцов громил ПОУМовцев, разгромил бы и Оруэлла, доведись ему прочесть «Памяти Каталонии». А Оруэлл защищал и защитил бы Кольцова как невиновного, узнай о дальнейшей судьбе его. Во всяком случае, не виновного в тех грехах, которые ему припишут. Был ли выбор у Кольцова? Был. В.Фрадкин, написавший книгу о нем, которую почти всю цитирует журналист-международник Михаил Ефимов, заканчивает свое повествование категоричным выводом: да, Кольцов был фанатично предан Сталину, да, некоторыми своими публикациями он «несомненно, поддерживал деяния Сталина», но «подобный упрек можно отнести практически ко всем писателям и деятелям культуры того времени, за *редким исключением*…». Сегодня мы знаем эти «исключения» – великих русских писателей XX века, писавших вопреки воле Сталина. Выбор всегда есть! Но и ныне, оправдывая Кольцова, в послесловии к книге Фрадкина еще один очень известный журналист-международник (уж не буду

называть его имени из уважения к его сединам!) как встарь лукавит: задается вопросом, который без изумления читать невозможно. «Зачем Сталину нужно было уничтожать Михаила Кольцова, человека, который был предан советской власти? – спрашивает он. И добавляет: – Причем, если можно так сказать, умно предан?..»

«Умно предан»: умри – лучше не скажешь! Миллионы советских людей были «глупо» преданы, а некоторые «умно» внушали им эту «преданность». Браво! Так не сказал бы даже иезуит О'Брайен из последнего романа Оруэлла! Но и тех, и других «преданных» смела система, идеи, в которых изначально была заложена эта «ловушка». Да, правда – свет, а неправда – тьма. Но увидеть это могут далеко не все.

Ложь, увы, живуча. Это и станет главной темой книг об Испании: «Испанского завещания» А.Кёстлера и «Памяти Каталонии» Дж.Оруэлла. Впрочем, как раз скрупулезные доказательства этой лжи Оруэллу и будут настоятельно рекомендовать в Англии выбросить из текста. «Зачем вы напичкали книгу всей этой ерундой? – будет кричать ему один из «доброжелателей», имея в виду сопоставления каких-то «газетных выдержек» и бесконечные цитаты. – Ведь вы превратили хорошую книгу в чистый журнализм…» Но Оруэлл, «белая ворона», «*bad egg*», знал уже: лишь единицы на Западе понимали тогда или догадывались, что совершенно невинные люди были обвинены напрасно. «Если бы я не был возмущен этим фактом, – скажет скоро, – я бы никогда не написал эту книгу». Через десять лет, подтверждая свое понимание долга, скажет: «Когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: "Хочу создать произведение искусства". Я пишу ее потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание, и главная моя забота – постараться, чтобы меня услышали…»

Солдат свободы – разве он мог иначе?!

А потом были шлагбаум и та невидимая глазу черта – граница, – которая разделила для него Вселенную на войну и мир, на тюрьму и свободу, на террор подозрительности и, скажем так, всеобщее равнодушие всеобщей демократии. «Месяцы напролет, – пишет он, – мы говорили себе, что "когда выберемся наконец из Испании", то поселимся где-нибудь на средиземноморском побережье, насладимся тишиной, будем, быть может, ловить рыбу. И вот теперь, когда мы оказались здесь, на берегу моря, нас ждали скука и разочарование. Было холодно, с моря дул пронизывающий ветер, гнавший мелкие мутные волны, прибивая к набережной грязную пену, пробки и рыбьи

потроха. Это может показаться сумасшествием, – заканчивает он, – но мы с женой больше всего хотели вернуться в Испанию. И хотя это не принесло бы никакой пользы… мы жалели, что не остались в Барселоне, чтобы пойти в тюрьму вместе со всеми…»

Глава 8.
«Беглец из лагерей победителей»

1.

В тот сентябрьский день 1938 года он почти не покидал палубу парохода *Stratheden*, рассекавшего Бискайский залив. Со стороны – скучающий турист, но на деле – «романист», как записался уже в списке пассажиров, писатель, который думал не об очередном романе (хотя он даже начал его), а о книге, только что выпущенной, – о «Памяти Каталонии». Испания не отпускала его, и именно ее он силился разглядеть слева по борту – корабль как раз огибал Пиренеи.

Мы никогда не узнали бы, и как, и сколько он стоял в одиночестве, если бы на пароходе не оказался Тони Хайамс, когда-то – ученик Фрейх-колледжа, где преподавал Оруэлл. Тони с матерью плыл в Судан – там служил его отец, – и, опознав в высокой фигуре «учителя Блэра», подошел поздороваться. Оруэлл обрадовался ему, но Тони понял: учителю не до него. «Он сказал мне, что воевал в Испании и теперь реально опасался, что, если бы он следовал в Марракеш через Испанию, его вполне могли бы арестовать и отправить в концлагерь». Конечно, ехать в Марокко поездом через Францию и Испанию ему и Эйлин обошлось бы дешевле, но в Барселоне, он знал это, как раз готовился процесс над ПОУМовцами.

За год, случившийся после Барселоны, Оруэлл много чего успел. Написал книгу, четыре статьи и двенадцать рецензий, возродил запущенный коттеджик (тетя Нелли, не вынеся условий жизни, слиняла из Уоллингтона еще до возвращения их), прикупил несколько несушек и петуха, которого окрестил Генри Фордом, и еще одну козу (ее назвали Кейт – это было второе имя тети Нелли). Успел разойтись с Голланцем и встретить нового издателя, рассориться со многими и, напротив, приобрести стойких сторонников даже среди врагов, успел получить письмо, представьте, из самой Москвы и, с другой стороны, лестное предложение вновь переехать в Индию, чтобы возглавить, по сути, самую «прогрессивную газету». Наконец, успел влюбиться заочно в одну из читательниц – и завести интрижку на стороне. Ну и главное: за этот год не только задумал, но начал писать новый роман, которому заранее нашел название, что редко случалось с ним, – заголовок говорящий: «Глотнуть воздуха». Воздуха – в

переносном, да и в прямом смысле – ему не хватало уже. Он ведь знал: жить ему придется отныне в кольце.

Теперь он напряженно вглядывался в лица встречных – учился читать по ним. Изменился он, изменились даже местные, даже соседи его по Уоллингтону. Им казалось, что этот странный человек, вернувшийся «сипящим» и «свистящим» от непонятной раны с «непонятной войны», который допоздна долбит что-то у себя на машинке, – наверняка какой-нибудь шпион, затаившийся в их глуши. Оруэлл понял это по визиту местного викария, который не так давно венчал его. Теперь священник спросил: правда ли, что он выступал в Испании за республиканцев, за «революционеров», которые, как он читал, «разрушали церкви и казнили священников»? Что мог ответить святой святому? Да, правда. Викария обрадовало лишь то, что дело там касалось исключительно римско-католических церквей, но общего подозрения не развеяло. Оно сквозило на простодушных физиономиях односельчан и даже на всё понимавшем лице единственного фермера здесь, Джона Иннеса, жившего напротив. Тот не преминул, конечно, похвастаться только что выхоженным выводком отличных беркширских свиней (и Иннес, и его боровы войдут потом в «Скотный двор»[35]), но на его красной от пьянства физиономии наши «испанцы» ясно читали: вы, конечно, нищие коммунисты, и все мы тут догадываемся об этом!..

В кольце остракизма, в мире скрытой цензуры и почти открытого преследования со стороны вчерашних соратников и надо было учиться жить. «Ну и спектакль!» – возмутился Эрик в одном из писем литагенту. Он был разъярен прессой, которая день ото дня взрывалась заголовками: «Пятая колонна в Барселоне», «Фашистский заговор», «За что выступает НРП – за помощь Франко?». Из-за нападок на Независимую рабочую партию, да еще потому, что она «единственная партия, целью которой является социализм», он и вступит в нее, но почти сразу и выйдет – не его окажется и этот «окоп».

Год назад, еще из Франции, ускользнув из-под носа испанской полиции, он послал телеграмму в самый, казалось, правдивый журнал – в *New Statesman*. Предложение написать об Испании было с радостью принято, но когда он, не добравшись еще до Уоллингтона (они с Эйлин на неделю остановились в Гринвиче, у Лоренса, брата ее), написал и отослал очерк «Барселона: взгляд очевидца», то Кингсли Мартин, почтенный редактор журнала, социалист «по убеждениям», материал вежливо отклонил. Причиной стало описание разгрома ПОУМ. «Чтобы подсластить пилюлю, – издевался Оруэлл, – они послали мне на рецензию довольно хорошую книжку, которая без дураков

описывает то, что там происходило, но и рецензию не напечатали: предложили деньги за нее – ну, чтобы я заткнулся!» Отказ от рецензии объяснили коротко: «Любая враждебная критика современного российского режима неизбежно будет принята как пропаганда *против социализма*». Это и взбесило Оруэлла. Его, видевшего реально «умиравших за социализм», учили социализму! В ярости он отписал редактору, что своим отказом тот продемонстрировал «ментальность шлюхи». Так и написал.

Тогда же, в первые недели после бегства из Барселоны, пришел отказ печатать его будущую, не написанную еще книгу об Испании, и от Голланца, с которым он был связан, казалось, жестким контрактом. Тот отказал не читая. Забегая вперед, скажу: Голланц раскается в своем решении, попытается еще протянуть писателю руку дружбы. Через два года, в августе 1939-го, после пакта Молотова–Риббентропа напишет Оруэллу, что ничего не знал «о роли советской разведки в Испании» и даже не догадывался, что коммунисты в Испании «проводили политику, отличную от “Народного фронта”». А Оруэлл, заметив тогда же, сколь тесно его издатель был связан с крайними левыми, с грустью призна́ется: «Ужасно, что столь невежественные люди могут обладать таким большим влиянием…»

Похожее отношение к событиям на Пиренеях было свойственно почти всем. Все опасались, что «правда о коммунистах или о Советском Союзе неминуемо будет “лить воду на мельницу врага”». Но как раз эти умолчания и стали, образно говоря, мельницами нашего Дон Кихота. Он не был бы собой, если бы не нашел способа донести свою точку зрения до читателя. «Взгляд очевидца» он опубликовал в журнале *Time and Tide*, а вторую – «Отливая испанские пули» – в еженедельнике *New English Weekly*. «Сегодня компартия… контрреволюционная сила… Нас ждет режим, – наотмашь бил Оруэлл, – в котором вся оппозиция и все газеты будут запрещены, а всякий сколь-нибудь значимый диссидент окажется в тюрьме. Разумеется, такой режим будет фашистским. Он будет не таким, как у Франко, он будет лучше… но это будет фашизм. И поскольку установят его либералы, называться он будет иначе…»

Вот когда – еще в 1937-м – завязывались корни его будущих книг. Ведь даже сравнение со свиньями прозвучало уже тогда, в той же статье про «испанские пули». Говоря об испанском «Народном фронте» как об «антиреволюционной коалиции коммунистов и правых социалистов», он заклеймит его как «свинью с двумя головами». А два главных борова в его «Скотном дворе» будут олицетворять два направления «коммунизма» –

Сталина и Троцкого. Да и два понимания демократии…

«Троцкист», «предатель», «фашист» – вот ярлыки, которые клеила ему газета коммунистов *Daily Worker*. «Отсюда, – гневно написал он Голланцу, – всего шаг до того, чтобы назвать меня трусом, саботажником и т.п., – и я не сомневаюсь, что эти люди не преминут это сделать, если будут думать, будто им это сойдет с рук». И пригрозил, что подаст в суд на компартию, что снизило, надо сказать, накал травли. Но когда некая дама из журнала *Left Review* (ее имя известно: Нэнси Кунард) прислала ему всего лишь «вопросник», прося высказаться для книги «Чью сторону занимают писатели Англии в испанской гражданской войне?», Оруэлл уже не сдержался: «Пожалуйста, перестаньте присылать этот чертов мусор, – написал ей. – Я не один из ваших модных “голубых”, вроде Одена и Спендера, я шесть месяцев был в Испании… у меня дыра от пули, и я не собираюсь писать вздор о защите демократии… Даже если бы я уместил в шесть строк всё то, что я знаю и думаю об испанской войне, вы не опубликовали бы и их…»

Он огрызался, как одинокий пулеметчик в блиндаже, брошенный всеми. Писал, защищая не «троцкизм» – защищая объективный взгляд на события. А когда стало известно, что борьба взглядов в его Англии пошла не только «парламентскими методами», что в Бристоле начались преследования его однополчанина Стаффорда Коттмана, парнишки, с которым он только что вырвался из Испании, Оруэлл, упросив брата Эйлин Лоренса отвезти его туда, кинулся за двести миль на защиту товарища. Если надо – и кулаками. Ведь местные «комсомольцы» (Лига коммунистической молодежи, в которую Коттман вступил еще до Испании) не просто пикетировали дом Коттмана с плакатами «Враг рабочего класса!», но допрашивали всех выходящих от него, за сколько «монет» они «продались Франко». Разумеется, Оруэлл организовал ответную акцию. Ну какой еще писатель – хоть Миллер, Моэм, хоть сам Джойс! – пошел бы на подобное?..

С книгой «Памяти Каталонии» ему, надо признать, повезло. Чуть ли не в тот же день, когда Голланц отказал ему в издании, Оруэлл, еще не добравшись до своего стола в Уоллингтоне, неожиданно получил записку. «Нам стало известно, что Вы возвратились из Испании и что рана ваша в горло заживает, – писал ему незнакомец. – Из последнего номера *New Leader* видно, что ваше бегство было потрясающим приключением, и отчет об этой истории представил бы интерес для читающей публики. Не могли бы мы договориться о встрече?» И подпись: Роджер Мартин, издательство *Secker and Warburg*.

Уже 8 июля Оруэлл, разыскав офис непонятного издательства, знакомился с Фредериком Варбургом – главой фирмы. Варбург, туманно сославшись на каких-то «людей», сказал: «Ваша книга не только представляет большой интерес для нас, но и будет иметь большое политическое значение». Встреча эта станет для Оруэлла воистину провидением. Варбург не только издаст почти все будущие книги Оруэлла, но станет и личным другом писателя, и даже подчиненным его, когда в начале Второй мировой запишется в отряд самообороны, который возглавит наш герой – сержант Эрик Блэр…

Издательство *Secker and Warburg* было откровенно «левым», оно выпускало как политическую литературу, так и книги Лоуренса, Манна, Кафки. После войны (благодаря и книгам Оруэлла) оно станет едва ли не ведущим издательством Запада[36]. Во всяком случае, и собрание сочинений Оруэлла, и документальные сборники его даже после смерти писателя будут издаваться именно здесь. А тогда, в июле 1937-го, Варбург, обсудив детали договора, предложил Оруэллу аванс в сто пятьдесят фунтов. Конечно, когда решение Варбурга стало известно руководству британской компартии, на него стали давить. Сам Варбург, правда, вспомнит потом, что «кулак был изящно скрыт бархатной перчаткой», что использовались «всяческие соблазны и лесть» и что ему давали понять, что «все приличные люди должны оказывать помощь партии», а уж партия их не забудет. Но, не добившись «понимания», заклеймили и его тоже – и «троцкистским выродком», и «фашистом»…

Признаюсь, все эти перипетии с Оруэллом стали для меня когда-то почти откровением. Ведь к чему мы привыкли в СССР, да и в новой уже России? Мы привыкли к устойчивому мнению, что Оруэлл только тем и занимался всю жизнь, что «разоблачал» и «обличал» советский коммунизм, что тем самым выражал «свободное мнение» о нашем обществе чуть ли не всего Запада и что более упорного защитника справедливого Запада не было. Так думал когда-то я, так думали, сдается, поколения русских поклонников Оруэлла, еще в «самиздате» познакомившиеся с книгами его. А многие не только приняли это за истину, но через голову его, за строчками его книг всё больше верили и в «святую свободу» Запада. И мнение наше, чего уж там, активно поддерживалось, точнее сказать, использовалось теми на Западе, кто прекрасно знал, что к чему. Подчеркну: использовалось после смерти Оруэлла, ибо сам писатель не смолчал бы – и не смолчал, кстати, трижды! – против такого использования себя. На Западе прекрасно знали, что Оруэлл всю жизнь исповедовал как раз социализм, что он беспощадно критиковал и «пророчествовал»

чаще всего не по поводу далекого СССР – по поводу родной Англии, что разоблачал не столько «ложь Кремля» (вернее, не только ее), сколько лживость современной ему «демократии» на Западе, которая одних на его глазах делала всё богаче, а других – всё беднее. Вот с этими западными «мельницами» воевал он, «неформатный»! Именно потому за Оруэллом ходили спецслужбы, отказывали в работе (посоветовавшись с «высшими чиновниками» администрации, отменили приглашение работать в индийской газете *Pioneer*, куда он рвался в ноябре 1937 года[37]), именно потому не печатали, шельмовали в СМИ, гнобили в жизни и даже угрожали «физическим уничтожением». Разве знали мы это?..

Не принимал его Запад. Казалоь бы, по логике вещей, должны были бы «принять» на Востоке – в СССР. Но не тут-то было! И если спецслужбы Британии с трудом справлялись с «открытой публичностью» его в Англии, то спецслужбы СССР плевали на его известность и писательское «имя». В СССР его при первой возможности превратили бы в пыль, как стерли в нее одного русского поклонника Оруэлла. Известного, кстати, человека, литературоведа и признанного шекспироведа.

Та еще история, если вдуматься! И началась она с того, что едва ли не первым письмом, распечатанным Оруэллом после Испании, стало послание из самой Москвы: «Дорогой мистер Оруэлл! Я прочитал рецензию на вашу новую книгу “Дорога на Уиган-Пирс” и чрезвычайно ею заинтересовался. Не могли бы мы попросить Вас переслать нам экземпляр этой книги, что позволило бы нам представить ее нашим читателям, по крайней мере, отозвавшись о ней в нашем журнале, русском издании “Интернациональной литературы”. С благодарностью, искренне ваш С.Динамов».

Не знаю, запрыгали ли буквы этого текста в загоревшихся от неожиданности глазах Оруэлла, побежал ли он показывать письмо Эйлин, но, без сомнения, это был успех – успех международный! Ничего подобного он из «заграниц» не получал – не считать же «заграницей» англоязычную Америку?..

Рецензию на «Дорогу», на которую ссылался С.Динамов, мы уже упоминали – это была та статья в кольцовском еженедельнике «За рубежом», которую написал неизвестный нам до сих пор Д.Ихок. А вот Сергей Сергеевич Динамов (Оглодков) – эта фигура и ныне известна среди наших зарубежников. Критик, литературовед, директор Литературного института красной профессуры, редактор журнала «Интернациональная литература», он был «знатоком западноевропейской литературы и одним из крупнейших шекспироведов». Так пишет Арлен Блюм, питерский

исследователь, описавший эту историю в статье «“Путешествие” Оруэлла в страну большевиков»[38].

«Интернациональная литература» – журнал, просуществовавший до 1943 года и ставший предшественником нынешней «Иностранки», – старался по возможности быть прогрессивным и знакомил читателей с более или менее заметными явлениями западной литературы. Печатал молодого Хемингуэя, Томаса Манна и Дос Пассоса, конечно, Стейнбека, и даже фрагменты «Улисса» Джойса. В этом ряду для Динамова был и Оруэлл, тем более что «Дорога на Уиган-Пирс» не просто «пропагандировала» социализм – прямо звала к нему. Но ответ Оруэлла даже не озадачил Динамова – смертельно испугал.

Само письмо Оруэлла – единственное посланное им в СССР – хранится ныне в фонде журнала в РГАЛИ, но не в той архивной папке, где лежит копия приведенного обращения к Оруэллу Динамова, а в другой – в рассекреченном лишь в 1990-е годы специальном архивном «деле». Аннотировано оно примечательно: «Письмо Оруэлла Джорджа Динамову С. на англ. яз. с приложением копии письма редакции журнала… в Иностранный отдел НКВД». Длинновато, но зато – смачно!

Что же такого «секретного» написал наш «бакалейщик», подписавшийся «Братски ваш»? И чем же «таким» ответили ему московские «братья», которые почти полвека страшились опубликовать эту переписку?

«Дорогой товарищ, – писал Оруэлл Динамову 2 июля 1937 года, – простите, что не ответил ранее на ваше письмо от 31 мая. Я только что вернулся из Испании, а мою корреспонденцию сохраняли для меня здесь, что оказалось весьма удачным, так как в противном случае она могла бы потеряться. Отдельно посылаю Вам экземпляр “Дороги на Уиган-Пирс”. Надеюсь, что Вас могут заинтересовать некоторые части книги. Я должен признаться Вам, что в некоторых местах второй половины книги речь идет о вещах, которые за пределами Англии могут показаться несущественными. Они занимали меня, когда я писал эту книгу, но опыт, который я приобрел в Испании, заставил меня пересмотреть многие взгляды.

Я до сих пор еще не вполне оправился от ранения, полученного в Испании, но, когда я смогу взяться за работу, я попытаюсь написать что-нибудь для Вас, как Вы предлагали в предыдущем письме[39]. Однако я хотел бы быть с Вами откровенным, а потому должен сообщить Вам, что в Испании я служил в ПОУМ, которая, как Вы, несомненно, знаете, подверглась яростным нападкам со стороны Коммунистической партии и была недавно запрещена правительством; помимо того,

скажу, что после того, что я видел, я более согласен с политикой ПОУМ, нежели с политикой Коммунистической партии. Я говорю Вам об этом, поскольку может оказаться так, что ваша газета (так в тексте. – *В.Н.*) не захочет помещать публикации члена ПОУМ, а я не хочу представлять себя в ложном свете… Братски ваш. Джордж Оруэлл».

Надо ли говорить, что упоминание про ПОУМ не только поставило крест на будущей публикации Оруэлла, но на десятилетия закрыло имя его для русских читателей? А Динамову, получившему эту «бомбу в конверте», оставалось либо промолчать и сделать вид, что он ничего не читал (хотя существовала опасность, что письмо еще до этого было перлюстрировано спецслужбами), либо ответить неопределенно (хотя это могли истолковать как вступление в переписку с врагом), либо, наконец, прямо обратиться в НКВД. По-со-ве-то-вать-ся! Разумеется, именно этот вариант он и выбрал. Правда, записку в органы подписал уже не он: «28.07.1937. В Иностранный отдел НКВД. Редакция журнала “Интернациональная литература” получила письмо из Англии от писателя Джорджа Оруэлла, которое в переводе направляю к сведению в связи с тем, что из ответа этого писателя выявилась его принадлежность к троцкистской организации “ПОУМ”. Прошу вашего указания о том, нужно ли вообще что-либо отвечать ему, и если да, то в каком духе?.. Редактор журнала “Интернациональная литература” (Т. Рокотов)».

«Прошу вашего указания…» – не мило ли? На всякий случай в тот же день и с той же просьбой редакция обратилась и к заместителю заведующего отделом печати ЦК ВКП(б) П.Ф.Юдину – одной из самых одиозных идеологических фигур эпохи. Такие были времена!.. Кто такой Тимофей Рокотов и что с ним стало, я не знаю. А вот про С.С.Динамова известно точно: не пройдет и года, как его арестуют и расстреляют. Что же касается ответа Оруэллу, то, как свидетельствует его папка в архиве журнала, к «делу» был прикреплен вырванный из настольного календаря от 6 июля 1937 года листок с неким торопливым (с «правкой и зачеркиваниями») наброском текста. Видимо, ответ Оруэллу диктовался по телефону и тут же «редактировался». «Мистер Джордж Оруэлл, – гласит этот черновик. – Редакция журнала “Интернациональная литература” получила ваше письмо, в котором Вы отвечаете на п/письмо от 31 мая. Характерно, что Вы откровенно поставили нас в известность о своих связях с ПОУМ. Вы этим правильно предположили, <что> наш журнал не может иметь никаких отношений с членами ПОУМ, этой организации, как это подтверждено всем опытом борьбы испанского народа

против интервентов, <являющейся> одним из отрядов “пятой колонны” Франко, действующей в тылу республиканской Испании»…

Самого ответа, который дошел до Оруэлла, в «секретной папке» нет, но Гордон Боукер подтвердил: последняя фраза полученного Оруэллом письма из СССР буквально повторяет текст, надиктованный Лубянкой. «Ответ, – пишет Боукер, – оказался жестким. “Наш журнал действительно не может иметь ничего общего с членами ПОУМ, той организации, которая в многолетней борьбе испанского народа против мятежников и фашистских интервентов показала, что является частью «пятой колонны» Франко, действующей в тылу героической армии республиканской Испании”…»

В этой истории всё интересно. Во-первых, слово «характерно» в ответе из Москвы («Характерно, что Вы поставили нас в известность о связях с ПОУМ»). Это, как замечает Мария Карп, действительно было «характерно» для Оруэлла. «Честность – самая характерная черта Оруэлла», – пишет она. Во-вторых, показательно, что и в Англии, и в СССР общаться с Оруэллом даже литераторы стали исключительно через свои спецслужбы, цели которых, казалось бы, были едва ли не противоположны. Ну, а в-третьих, ответ из Москвы не только точь-в-точь повторял надиктованный Лубянкой черновик, но и совпадал почти дословно с ответом, который в те же дни (29 июля) получил Оруэлл от Кингсли Мартина – почтенного редактора «самого правдивого» журнала Лондона *New Statesman*… Чудеса, ну просто чудеса!..

Словом, к 1937 году Оруэлл оказался не просто в кольце отчужденности на Западе – он оказался в одиночестве в необъятном, казалось бы, мире! На какой-то невообразимой «нейтральной полосе» между враждующими идеологиями и лагерями. И при этом – не «над схваткой», как иные писатели, а в самой гуще реальной драки.

Беглец! Беглец из лагерей победителей. Мне страшно нравится эта фраза, которую Ричард Рис выбрал для названия книги об Оруэлле. Из «лагерей победителей» благоразумные люди вообще-то не бегают. Но знаете ли вы, что выражали эти слова? Что речь в них шла не о беглеце – о «беглянке»? Так вот, в классическом варианте этого выражения (об авторе его до времени умолчим) подразумевалось понятие «справедливость». Первой «беглянкой» из лагерей любых победителей является, представьте, именно Справедливость… Именно так, с большой буквы!

2.

«*Be careful, Eric*!» – кричала когда-то мать Оруэлла вслед сорвавшемуся с горы велосипедисту, мальчугану в «коротких штанишках». «*Be careful*», «будь осторожен» и ты, читатель, чтобы не принять сорвавшегося в гнев и ярость Оруэлла, «Дон Кихота на велосипеде», за злобного одиночку, за брызжущего слюной монстра, которому «всё не так», за мизантропа и человеконенавистника. Он не был таким! Ни на минуту!..

Занятный факт – незадолго до смерти Оруэлл вдруг написал: «В пятьдесят лет каждый человек имеет то лицо, которое заслуживает». Сам до пятидесяти не дожил, но в лица других после Испании, как я уже говорил, стал вглядываться пристальней. Дэвид Тейлор даже обмолвится позже: «Любимым ландшафтом этого искреннего любителя природы было все-таки просто лицо человека, которое он разглядывал, запоминал и описывал в Англии, Бирме, Испании, Франции, Марокко – везде, где приходилось бывать». Как бы интуитивно Оруэлл ощущал то, что в наше время подтвердят психологи: ведь мы при знакомстве с кем-либо, даже не открыв еще ртов, «считываем» с лица собеседника ни много ни мало – половину всей информации о нем. Ведь судим же мы по кронам о корнях. Оруэлл и сам в огромном очерке «Англичане», который ему закажет одно из издательств в 1943-м, педантично перечислит типические черты соотечественников: они «не умеют ненавидеть… не держат в памяти зла… уважают закон… природно честны… сентиментальны к животным… не склонны восхищаться великими людьми… ненавидят чеснок и оливковое масло, а без чая с пудингом и жизнь не в жизнь». Но – с другой стороны – они же «глухи к прекрасному», «не доверяют иностранцам», в большинстве своем «не отличаются изяществом манер», а что касается уголовщины, то «совсем недавно еще», язвит Оруэлл, видный юрист на вопрос о типичном британском преступлении мог, вообразите, ответить: «Забить жену насмерть»…

Такими были обычные британцы. А каким был Оруэлл? В быту, в общении, в реальной жизни? И можно ли составить моментальный словесный снимок этого любителя физиономий? Если бы об этом спросили меня, то я, веря в красноречивость детали, выбрал бы – навскидку! – три, возможно, малозначащих – но характерных. Во-первых, он всегда выглядел – это подчеркивали многие – «неуместным в любой толпе». Не толпистый, не тусовочный был человек. Во-вторых, как вспоминал Стивен Спендер, поэт, Оруэлл всегда, усевшись в общем кабинете на «Би-би-си», где станет позже работать, так вытягивал под

столом ноги, что все «всегда спотыкались о них и, как шутили, это даже стало реальным развлечением, словно ты смотрел фильм с Чарли Чаплином». И, в-третьих, уже племянник Оруэлла, тогда ребенок, вспомнит потом, что «громче всех в кино, смотря кинокомедию, хохотал дядя Эрик…». Ну разве, скажите, не весь «образ»? По смеху узна́ете человека, заметил как-то Достоевский…

Вспоминали и акварельные глаза-лужицы Оруэлла, и голос, тихий и монотонный, как кто-то сказал, похожий на «шелест дождя», и чуть спотыкающуюся походку, и слишком прямую спину с уныло свисавшими под твидом лопатками. Неуместный, порой комичный со своими ногами-циркулями – и по-детски непосредственный в выражении чувств. Не только в смешливости, но и в спонтанных гневных порывах. Когда в Уигане какой-то коммунист начал при нем «поносить буржуазию», Оруэлл вдруг крикнул: «Послушайте, я сам буржуа, и семья моя буржуазная, и, если вы будете говорить о буржуазии в таком тоне, я проломлю вам голову». Ничего, кстати, обидного в слове «буржуа» не было, но высказался ужасно неполиткорректно. Зато честно! И, если бы тот коммунист тут же подставил бы ему свой затылок – дескать, бей! – то Оруэлл, думаю, просто расхохотался бы. И, возможно, опять – громче всех!..

Вопрос из будущего: *Вы ведь всех любили учить «правильно заваривать чай»? После Испании даже заметили, что чай, «заваренный в армейских котлах»…*

Ответ из прошлого: *…Отдает известью и ружейной смазкой.*

В.: *Смешно… А в заметке «Чашка отменного чая» вы осуждаете и «русский чай»?*

О.: *Чай – если вы не пьете его по-русски – нельзя пить с сахаром. Да, сознаю: здесь я в меньшинстве… Чаю положено быть горьким, точно так же, как пиву.*

В.: *Не буду спорить: приоритет здесь за Англией! Но вы, судя по всему, даже жене не доверяли заваривать чай, и – что меня сразило – называете одиннадцать приемов заварки?*

О.: *Лучший способ… является предметом бурных дебатов… Пробуя найти рецепт в первой попавшейся поваренной книге, вы либо не найдете его совсем, либо в лучшем случае обнаружите несколько строчек скупых инструкций, ни словом не упоминающих существеннейших моментов…*

В.: *Каких же? Может, и нам пора узнать, что такое*

чай «от Оруэлла»?

О.: *Прежде всего он должен быть индийским или цейлонским… От китайского не почувствуешь себя умнее, отважнее или просто оптимистичнее… Во-вторых, чай следует заваривать понемножку, то есть в заварном чайничке… <фарфоровом или фаянсовом…> Чайник следует предварительно подогреть, но не споласкивая… горячей водой, а подержав на каминной полке… На полный до краев чайник емкостью в одну кварту идет примерно шесть чайных ложечек с «верхом»… Надо вливать заварку в кипяток, а не наоборот…*

В.: *К 100-летию со дня вашего рождения британские химики, да что там – само Королевское химическое общество затеет, уже «на научной основе», проверку ваших чайных рецептов. Но вы ведь оговариваете даже, из каких чашек следует пить чай…*

О.: *Из высокой чашки цилиндрической формы, а не из плоской и мелкой. В цилиндрическую больше входит, а в плоской не успеешь распробовать, как чай уже остыл…*

В.: *Хорошо. А вот пиво? Вы сами упомянули его только что. В книгах о вас мне попались названия трех ресторанчиков, где вы бывали, и лишь один паб, пивной бар, где вы предпочитали выпить кружечку. На Ратбоун-плас, так? Дом номер 24?..*

О.: *Честно говоря, я посещал множество пабов… но не знаю ни одного, где бы меня устраивало всё… Я знаю, где можно найти хорошее пиво, но там нельзя поесть; где можно посидеть тихо, без этого многолюдства, но там, увы, пиво кислое…*

В.: *Да-да, я читал, что вам больше нравятся бары в викторианском стиле – с обязательным камином и чучелом бычьей головы над ним. И чтобы не надо было бы остерегаться летящих дротиков игры в дартс. И можно было на «втором этаже» плотно перекусить… Хотя, будучи патриотом «британской кухни», пишете, что «настоящей английской еды можно отведать лишь в частном доме»…*

О.: *Если вам хочется хорошего, смачного йоркширского пудинга – вы скорее получите его в самом бедном английском доме, чем в ресторане… Конечно, англичане то и дело говорят, что английская кухня – худшая в мире… Но это просто неправда… Где еще обжаривают картофель, положив его под лопаточную часть или кусок ноги, – а ведь лучше его и не сготовишь…*

Картошка же молодая выходит вкуснее, если отварить ее с мятой и подать с растопленным маслом… А вкуснейшие картофельные пироги, креветки по-дублински, копченая рыба… А английский хлеб? Все сорта, конечно, хороши, от огромных еврейских хлебов, сдобренных тмином, до русского ржаного, и всё же что может быть лучше, чем мякиш английского деревенского хлеба… Что еще?.. Пирог с патокой и яблоки, запеченные в тесте, девонширский сливочный варенец и сдобные лепешки… И бесчисленные сорта печенья… Нигде оно не выходит лучше и рассыпчатей.

В.: *Довольно, довольно, умоляю вас… У вас действительно, вижу, «нет причин стыдиться собственной кухни»… Но в пабах ничего этого, как я понимаю, не было. Вы говорите еще, если вернуться к пиву, что вам мечталось о пабах на открытом воздухе… Это как? Короче, идеальный бар – это…*

О.: *Такого места нет. Могу предположить, что сад при баре есть, может, у двух-трех заведений. Но был бы рад, если кто-то знает бар с открытым огнем, дешевой едой и заботливыми официантками… Был бы рад слышать…*

В.: *Кое-кто звал вас человеком, идущим вперед, но с лицом, повернутым назад. Для вас, как я понял, старина в любом виде более привлекательна, чем современность. Я знаю, например, что вы обожали даже лавки старьевщиков. Это ведь как тот «кораблик в бутылке», который вы привезли из Уигана?*

О.: *Корабли в бутылках делают и ныне, но старинные, разумеется, лучше из-за элегантной викторианской формы самого сосуда и тонкого зеленого стекла… Но я в самом деле не могу пройти мимо любой лавки старьевщика, даже если надо для этого перейти улицу… Не путайте их с антикварными магазинами – те сияют чистотой, а товары привлекательно разложены… Лавки же старьевщика заросли пылью, находятся, как правило, на задворках, а хозяева их, даже в рабочее время, спокойно спят где-нибудь в задней комнате, совершенно не заботясь о своей «торговле».*

В.: *И выходят по колокольчику, звякнувшему над дверью? Как в романе «1984»? Не в такой ли лавке вы видели то стеклянное пресс-папье с кусочком коралла внутри?*

О.: *Настоящие драгоценности там найти нелегко –*

они теряются среди страусиных яиц, часов в виде репы, очков без линз, графинов без пробок… Но среди этого можно напороться и на шомпольный пистолет 1830 года, и… на кусок коралла, заключенный в стекло…

В.: *Ужасно интересно… И еще – что удивительно – вы любили копаться в огороде. Это от отца вашего – сажать, прививать? И, призна́юсь, поразило меня, что вы выращивали цветы. Розы и… вы?*

О.: *Мы – народ цветоводов, но также – собирателей марок, голубятников, столяров-любителей, разгадывателей кроссвордов. Вся подлинно близкая сердцу культура сосредоточена вокруг вещей если даже и общественных, но не официальных – пивная, футбольный матч, садик, кресло перед камином…*

В.: *Но огород, но сад в Уоллингтоне – это ведь, пафосно сказать, ваша душа? Ведь, еще не уехав в Марокко в 1938-м, вы буквально преобразили свое хозяйство.*

О.: *Ныне у нас 26 кур, самой младшей – около 11 месяцев. Вчера снесли 7 яиц… Сливы лишь оживают. Яблони уже цветут. В полном расцвете сил груши. Довольно бурно растут и розы… Есть в зародыше несколько тюльпанов… Цветут левкои, анютины глазки, нарциссы… Немного лука-порея и пастернака… Первый горох. Первые бобы… Хорошо растет картофель… Растет ревень, но не очень…*

В.: *Это ваш дневник; помню! А вообще, когда вы писали о Диккенсе, Толстом, да даже о Гитлере, Ленине или Ганди, вам всегда были интересны бытовые черточки ваших героев. Сегодня людям не менее интересны – вы. Вот ваши переплетные работы или коллекционирование открыток… Вы ведь даже делали своими руками кой-какую мебель?*

О.: *Было такое…*

В.: *А вот свобода для вас – это что? «Это свобода иметь собственный дом, – как вы пишете, – делать что хочешь в свободное время, самому выбирать для себя развлечения». Вот, может, поговорим про это – про очень, как сказали бы у нас, личное…*

О.: *Самый противный для англичанина персонаж – тот, кто сует нос в чужие дела…*

В.: *Понял, всё понял… Тогда последний вопрос. Вы все-таки пессимист – или оптимист? Ведь пишут, что вы мрачно смотрели на жизнь, а будущее – беспросветно?*

О.: *Каждый год в феврале я ловлю себя на мысли, что*

зима будет вечно. Но как раз в это время… вдруг случается чудо – и полуразрушенные трущобы, где я обитаю, преображаются… Распухают листья на каштанах, рвутся в полет нарциссы, и даже плащи полицейских обретают приятный синий оттенок… Предосудительно ли политически, когда все мы стонем под оковами капиталистической системы, вспомнить, что жизнь – стоит жизни? Ведь есть песня дрозда, желтый вяз… который не стоит денег и не является тем, что редакторы левых газет называют «классовым тупиком»… Пока вы реально еще не больны, не голодны, не замурованы в тюрьме или лагере, весна для вас всегда останется весной. На заводах складируются атомные бомбы, полиция прочесывает города, ложь льется из динамиков, а земля все еще крутится и – нет ни диктаторов, ни бюрократов, которые могли бы противостоять этому…

Вот таким был он! Разумеется, всё сказанное им взято из разных статей его. Более того – написанных в разные годы. Но это тем более показательно. Никаким монстром он не был. Он просто хотел, как заметит Майкл Шелден, «иметь право быть непохожим»…

«Живи он в менее тяжелое время, – заметит после смерти Оруэлла мудрый Бертран Рассел, – он был бы человеком добродушным», – и подчеркнет, что Оруэлл, увы, рано понял, что «разумные люди, в отличие от гитлеров с миллионами солдат, не обладают силой». В какой-то мере временем объясняется и стремление его к «простой жизни»: к невыделяющейся манере одеваться, к неприятию эпатажа, к возне в земле и работе руками как с примитивной вставочкой, так и с рубанком да топором – к той «осознанной обычности», которая, как кто-то верно заметил, является «высшей формой интеллигентности». В этом убеждала меня когда-то и Виктория Чаликова, говоря, что Оруэлл, как «высокоорганизованное существо», не мог не хотеть «быть простым» и что желание его «быть как все характерно для людей очень сложных и необыкновенных…»

Иначе не убегал бы из «лагерей победителей»…

3.

Он, как и раньше, вставал спозаранку, доил козу, собирал из-под несушек яйца, кормил пуделя Маркса и, уединившись на втором этаже, лихорадочно писал книгу об Испании. Это тоже

было бегство. Бегство во вчера – ради завтра. В те дни, когда вновь надо будет делать выбор: с кем ты? Спорная, возможно, мысль, но все романы, написанные им до этого, тоже были своеобразным бегством. Все его герои, как бы заметая следы своих «поражений», убегают в прошлое. И, напротив, все документальные книги Оруэлла, написанные, как он сам однажды сказал, «наперекор порядку вещей», таили в себе, несли людям надежду: на неизбежные перемены, на нового человека…

«В нем жила душевная драма, какая-то беда внутренняя, – утверждала та же Виктория Чаликова. – Состоит она в его конфликте с миром по поводу именно той идеи, за которую в истории совершено столько всего доброго и злого и вокруг которой строятся все утопии и антиутопии. Идея справедливости и равенства… Но одновременно, как человек одаренный, честолюбивый, он мог жить, только будучи во всем лучше других, поднимаясь над ними. И этот внутренний конфликт писатель сильно переживал… На этом конфликте, на сознании, что человеку надо дать волю своей натуре, таланту, что возможно только при неравенстве, а с другой стороны, на понимании несправедливости этого – на этом построено его художественное творчество». Она не добавила лишь, чем закончится внутренний конфликт раздвоенного писателя, – не вспомнила того потока крови, хлынувшего горлом, туберкулеза, который убьет его. Но первые сгустки крови, заалевшие на его носовых платках, тоже случились в Уоллингтоне, – еще в 1938-м, когда он только-только поставил точку в книге об Испании.

Из Уоллингтона в то лето он, кажется, лишь пару-тройку раз выбрался в Лондон. Однажды побывал в Лечуорте, в летней школе Независимой рабочей партии, да и то из солидарности с такими же, как он, британскими ПОУМовцами. Выступал, делил трибуну с Дугласом Мойлом, Джеком Брантвэйтом, Пэдди Донованом и с близкими боевыми товарищами, с кем покидал Испанию – со Стаффордом Коттманом и Джоном Макнейром. Райнера Хеппенстолла, приятеля, предупредил только о голосе своем: «Голос практически нормален, но я совсем не смогу кричать. – И усмехнулся: – Я также не могу петь, но товарищи сказали, что это и не нужно». О чем говорил, выступая там, – точно неизвестно, протоколов не сохранилось, но, зная, о чем размышлял постоянно, думаю, хрипел с трибуны о главном: «Печально, – предупреждал, – что коммунисты повсюду сотрудничают с буржуазными реформистами и используют всю мощь своей машины для того, чтобы подавить любую партию, подающую признаки революционных тенденций». Этой мыслью закончит через несколько лет свою сказку «Скотный двор» –

закончится и эта сказка…

Видимо, там же, в летней школе, позвал друзей посетить его в Уоллингтоне. Как пишет Гордон Боукер, по крайней мере двое из них – Мойл и Брантвэйт – не только приехали, но чуть ли не подсказали Оруэллу идею будущего «Скотного двора». Первонаперво удивились довольно большому хозяйству друга. Но главное, именно Брантвэйт, познакомившись с «сельскими радостями», якобы спросил Оруэлла: «Интересно, если бы мы передали бразды правления животным, они управлялись бы получше нашего?..» Брантвэйт напишет, что имел в виду «ужасы Испании», но на Оруэлла, как он понял, идея произвела впечатление. «Так, быть может, началась цепочка его размышлений, – предполагал потом Брантвэйт, – которая воплотится в “Скотном дворе”…»

Боукер в эту позднюю «саморекламу» мемуариста верит мало, хотя считает, что первые мысли о «Скотном дворе» пришли к Оруэллу как раз летом 1937-го. Оруэлл и сам напишет через много лет, как начиналась его знаменитая «сказка». «По возвращении из Испании я думал о разоблачении советского мифа в произведении, которое легко сможет понять практически любой человек и которое было бы легко перевести на другие языки. Однако сюжет довольно долго не приходил мне в голову, пока в один прекрасный день… я не увидел маленького мальчика, возможно, лет десяти, легко управлявшего огромным тяжеловозом; он, настегивая лошадь, гнал ее по узкой дорожке, не давая свернуть в сторону… Меня поразило, что, если бы только животные осознали свою силу, мы не смогли бы властвовать над ними, и что люди эксплуатируют их во многом так же, как богачи эксплуатируют пролетариат…» Мальчик и прутик – всего-то…

Бывал в Уоллингтоне и Райнер Хеппенстолл: их стычка давно была забыта, и все оставшиеся годы они будут друзьями. Именно Хеппенстолл отметит потом, что Эрик и Эйлин после Испании были как-то особенно ласковы друг с другом: «Оруэлл вел себя с Эйлин с нескрываемой любовью». Эйлин если и не садилась к мужу на колени, то, во всяком случае, подсаживалась к нему в кресло, и они «нежно касались друг друга…» Я нарочно привел две эти фразы Хеппенстолла, поскольку об отношениях Эрика и Эйлин известно крайне мало. Испанские опасности, пережитый опыт не могли не обострить их чувств, но при всем при том у обоих оставалась и какая-то личная сердечная жизнь. У Оруэлла – завязавшаяся переписка с одной из читательниц, Эми Чарлзуорт, стажеркой-акушеркой, а у Эйлин – все с тем же Коппом, который ухитрялся посылать ей письма из испанской тюрьмы.

У Оруэлла всё закончилось почти анекдотично. Эми Чарлзуорт, откликнувшись на его книгу «Дорога на Уиган-Пирс», охотно и живо отвечала на письма писателя, а он, слегка взволнованный эпистолярным флиртом, полагая, что она «молода и одинока», не только скрыл от нее, как признался Хеппенстоллу, что женат, но и написал, что «весьма хотел бы как-нибудь встретиться с ней». Когда же выяснилось, что она «разведенка», что ей тридцать пять, а кроме того, она мать двоих детей, то больше всех веселилась по этому поводу как раз Эйлин. «Это позволяет предположить, – пишет Боукер, – что случайный флирт в их семье воспринимался как терпимый обеими сторонами. Оруэлл закрывал глаза на Коппа, Эйлин поощряла его фантазии насчет поклонницы. Некие стрессы и напряжение в отношениях в конечном счете всплывали на поверхность, – оговаривается Боукер, – но в основном из-за волокитства Джорджа… Впрочем, брак их, кажется, объявлялся “открытым”, и он был волен обращать свои взгляды и на других женщин…»

Отношения их, думаю, мало отличались от отношений средней семьи «средних» интеллигентов середины прошлого века. Скажем, Эйлин шутила над его перепиской с акушеркой и, напротив, всерьез ревновала к Бренде Солкелд, давней подружке мужа, с которой он всё еще переписывался. Так же и он – хоть однажды и прочел нечаянно одно из писем Коппа к Эйлин – по-прежнему не делал из этого трагедии. Но если говорить, что называется, на круг, то какого-то фермента в их отношениях уже явно не хватало. Ведь и Оруэлл, не пройдет и года, вообразит, что всерьез влюбился в Лидию Жибуртович. Такой вот образуется не «треугольник любовный» – четырехугольник… У меня есть, разумеется, свое объяснение этому, но сразу скажу: ничего нового. Мы ведь, связав себя браком, если и влюбляемся потом, – то чаще всего в поиске того, чего не находим в супруге. Эйлин, живущей с человеком «одной идеи», слегка занудным в быту, не хватало, видимо, мужской лихости, веселой широты жизни, чего было с перебором у Коппа, а Оруэллу – рискну предположить! – недоставало женской глубины, созвучности в интеллектуальных устремлениях, что, думаю, присутствовало в будущей писательнице Лидии Жибуртович. Другое дело, что оба – и Эрик, и Эйлин – по какому-то странному совпадению связали себя симпатиями с людьми, русскими по происхождению… Вот это-то – как?..

Георгий Александрович Копп – Джордж, как звала его Эйлин, – еще сидя в барселонской тюрьме, установил связь с ней через ее брата Лоренса: «Я согласился с вашей сестрой держать связь через вас, – написал ему. – Скажите ей, что я очень много

думаю о ней и люблю ее. Эрику жму руку». Боукер утверждает, что письма Коппа шли и напрямую в Уоллингтон. Во всяком случае, Эйлин тогда же написала Норе, подруге: «Он еще в тюрьме, но каким-то образом смог отправить из нее несколько писем мне, одно из которых Джордж вскрыл и прочел, поскольку меня не было…» Дальше шел текст, который могла разобрать только хорошо знавшая Эйлин Нора Майлз. «Джордж (Копп. – *В.Н.*) очень любит Джорджа (Оруэлла. – *В.Н.*), который, конечно, самоотверженно пытался спасти его в Испании, а помимо всего, он, при его восхитительной храбрости, был замечательным солдатом и оказался исключительно великодушен по отношению ко всей ситуации – так же, как и Джордж (Оруэлл. – *В.Н.*) был великодушен исключительно, – путано объясняла ситуацию подруге Эйлин. – Конечно, они спасали друг другу жизни или как-то старались это делать, так что для меня всё было почти ужасно, хотя тогда Джордж (Оруэлл. – *В.Н.*), кажется, не замечал, что Джордж (Копп. – *В.Н.*) был больше чем “неравнодушен” ко мне. Мне иногда кажется, что еще ни у кого не возникало такого чувства вины, как у меня. Мне с самого начала казалось, что я, как говорится, не была влюблена в Джорджа (Коппа. – *В.Н.*), – наша близость нарастала маленькими скачками, причем каждый скачок напрямую предшествовал какой-нибудь атаке или операции, в которой он почти неминуемо должен был быть убит, но в последний раз, когда я видела его, он был в тюрьме, ожидая расстрела, и я, прощаясь, просто не смогла признаться ему, что он никогда не будет соперником Джорджу…»

Ничего труднее этого письма я, кажется, не переводил еще. Написанное залпом, интуитивно, это письмо не просто смешивало двух Джорджей – оно смешивало чувства любви и вины взволнованной женщины, смешивало, казалось, сознание и подсознание, мирный вроде бы «женский секрет» и правду войны, и наконец – правила английского, где падежей, кроме двух формальных, вообще-то нет. А еще – это употребление Эйлин союза «и», который она использует здесь, если по-русски, и как соединительный, и как противительный, и заодно как разделительный. А ведь письмо писала, помните, обладательница оксфордского диплома по английскому!..

Впрочем, всё написанное «залпом и интуитивно» и понимать надо залпом. И если Оруэлл, переписываясь с миссис Чарлзуорт, все время возвращался к пережитому в Испании («Я должен извиниться за то, что читаю вам лекцию об Испании, но то, что я видел там, разбередило меня настолько, что я говорю и пишу об этом буквально всем…»), то ведь и Эйлин, уже в Англии, делала всё возможное, чтобы вытянуть из испанской тюрьмы Коппа, – она

с его «делом» обратилась даже к Макнейру, побуждая того предать дело Коппа максимальной огласке и как минимум написать об этом в *New Leader*…

Кем же был этот, вне сомнения, храбрый до бесшабашности и до невозможности авантюрный Жорж Копп? Инженер по первой специальности, доброволец и капитан по войне в Испании, агент МИ-5 – по тайной службе уже в 1940-х годах?

После смерти Оруэлла иные исследователи творчества писателя будут указывать на Коппа как на прототип О'Брайена из романа «1984», иезуитски умного и коварного палача главного героя книги. Этим якобы объясняется «и любовь, и одновременно ненависть к Коппу самого Оруэлла». И недаром в обстоятельной биографии Оруэлла, написанной Питером Дэвисоном, Коппу посвящена целая глава.

«Человек, который хотел быть бельгийцем» – так назвал свою книгу о Коппе, вышедшую в 2010 году, ученый из Бельгии Марк Вильдемирс. «Хотел быть» – но не был. Родился в Петербурге в 1902 году в семье Александра Коппа и одесситки Гиталии (Генриетты, как пишут) Нейман. Одесса здесь, конечно, ни при чем, но перемешанная кровь в этом «бельгийце», видимо, сыграла свою роль. М.Вильдемирс, изучивший все материалы о Коппе, вынужден был признать, что в случае с этим «русским» докопаться до правды оказалось делом почти невозможным. Авантюрист, лгун, позер, бабник – понтярщик, как сказали бы ныне, – Копп в письмах, анкетах, воспоминаниях «самозабвенно рассказывал о себе небылицы, забывая порой, что́ говорил ранее». Мать его якобы родилась не в Одессе, а во Фландрии; он в Испании, дескать, дослужился не до капитана, а до генерала; Франция только и делала, что представляла его к бесконечным наградам за «военные заслуги»; а арестовали его в Испании не за принадлежность к ПОУМ, а за то, что он вроде бы изобрел некое очень эффективное «противотанковое устройство», но им, как назло, всерьез заинтересовался НКВД…

На деле, когда Жоржику исполнилось семь, семья перебралась на Запад, где мальчик, обучаясь то в Бельгии, то в Швейцарии, хоть и не закончил университета, но тем не менее стал в конце концов инженером. В 23 года женился и, как пишут, «между 1926 и 1932 годами родил пятерых детей». В 1934-м, когда в Европе разразился экономический кризис, Коппа уволили. «Тяжелое финансовое положение семьи, – пишет М.Карп, – в сочетании с многочисленными романами отличавшегося необыкновенным обаянием Коппа привели его в 1935 году к разводу. Он поселился с матерью (с которой, конечно, говорил по-русски) и после ссоры с ней (разумеется, из-за денег, потому что

они жили на ее пенсию) в июле 1936 года исчез. На тот момент сумма его долгов достигала одиннадцати тысяч франков (на нынешние деньги, – подчеркивает М.Карп, – это около девяти тысяч евро).

Он отправился в Испанию, написав письмо детям, где объяснял, что едет, как “все люди доброй воли”, сражаться с фашизмом. Одновременно написал и бывшей жене, объясняя, что уезжает, чтобы больше не выяснять с ней отношений. Прибыв в Испанию без всякой военной подготовки, заявил, что он бывший офицер бельгийской армии и подвергался преследованиям на родине. Тут мы впервые (если не считать, разумеется, измен жене) сталкиваемся, – пишет М.Карп, – со способностью Коппа говорить то, что ему кажется уместным по обстоятельствам…»

Всё дальнейшее тоже надо делить, что называется, надвое. Освободили его из испанской тюрьмы после объявленных им голодовок и писем протеста через полтора года, в декабре 1939-го. Еще из Парижа он опишет Оруэллу, что́ ему пришлось пережить. Как его били, как бросили в темную камеру, наводненную крысами, когда он отказался подписать бумаги, говорящие о его работе на Франко, как тюремщики-коммунисты попытались отравить его, а после заставляли работать так, что он едва не умер. Писал, что освободили его под давлением бельгийских профсоюзов, но его здоровье уже почти разрушено и он потерял в весе почти 39 кг. Именно такой – тощий, опирающийся на палку – появится он в Лондоне и поселится у брата Эйлин. Но ни больная нога, ни истощенность не помешают ему уже в 1940 году отправиться во Францию и записаться в Иностранный легион, чтобы продолжить войну с фашистами (тогда в его жизни случится и тяжелое ранение в боях, и плен, и побег из плена в августе 1940 года, и вновь легион, и война в Алжире). Но прежде, еще в Лондоне, сразу по возвращении из Испании, Эйлин и Оруэлл поведают ему и как боролись за его возвращение, и как защищали его честь от «лживых нападок прессы»[40]. Оруэлл и дальше будет защищать Коппа, даже зная уже цену его авантюризму. Даже когда того, да и самого Оруэлла, будут облыжно обвинять в работе на «секретные службы». Обвинять в Британии, да и у нас. Я еще расскажу об этом…

Всё это станет местью за книгу «Памяти Каталонии», за последние его произведения – за право писателя говорить правду. Но тогда, в марте 1938 года, за месяц до выхода его книги о Каталонии, Оруэллу прежде всего «отомстит» его собственное здоровье, вернее, наплевательское отношение к нему. Отомстит за фронтовые лишения, за чудовищное напряжение жизни «в кольце» и за бешеную работу над книгой. Да, из Уоллингтона он

пару-тройку раз вырвался на «своих двоих». Но увезут его оттуда на «скорой». Просто в марте 1938 года, за два месяца до того, как его впервые в печати назовут великим, он рухнет в обморок, и из горла его хлынет кровь…

4.

Говорят, что Оруэллу в картах была предсказана смерть от туберкулеза в 46 лет. Правда это? Нет? Не знаю. Но уже с поставленным диагнозом, перед самой поездкой в Марокко, он вдруг призна́ется: «Я… вижу многое из того, что хочу сделать, и мне хватит дел еще лет на тридцать, и сама мысль о том, что я должен отказаться от этого, или умереть, или оказаться в каком-нибудь грязном концлагере, просто бесит меня…»

Тридцати лет в запасе у него не было. Было десять. И «бежать» по жизни, образно говоря, надо было еще быстрее. Если принять это сравнение, то не трудно представить, чем оказался для него тот день – 15 марта 1938 года, – когда он, словно с разбегу, потерял сознание – и рухнул на пол. Шок, катастрофа! И неожиданность, и обида на судьбу, и злость на себя! Кого судьба сбивала с ног, тот поймет. И ведь два месяца, повторю, оставалось до слов про него «великий писатель» – так впервые назовет его солидная *Observer* в рецензии на вышедшую в свет книгу «Памяти Каталонии»…

Сам ли дошел до кровати, придя в себя, или Эйлин дотащила – не знаю. Эйлин испугалась больше всего крови изо рта. Страшно было, что кровотечение не кончалось. Суета, полотенца, тазы, холодное питье, метания по дому, отсутствие телефона в одном из двух пабов Уоллингтона, ожидание из Лондона Лоренса (и родственника, и врача), потом, почти сразу – отказ Оруэлла ехать в больницу («Ты же знаешь, – говорил он, ссылаясь, видимо, на память о парижской больнице, – что это заведение, специально созданное для убийства»), препирательства и, в конце концов, согласие всего лишь на санаторий, где работал Лоренс. И скорые сборы (брать ли книги, рукописи, машинку, наконец?) – и «скорая помощь» у калитки, которую вызвал Лоренс…

Эйлин рассказывала потом Джеку Коммону: «Кровотечение, казалось, готово было продолжаться бесконечно, и только в воскресенье все согласились, что Эрика нужно отправить туда, где, в случае необходимости, могли быть предприняты действительно активные меры – искусственный пневмоторакс, чтобы остановить кровотечение, или переливание крови, чтобы восполнить ее потерю». Пневмоторакс – Оруэлл ведь помнил

греческий – слово из двух слов: «воздух» и «грудь», воздух – в грудь, чего не хватало ему и фигурально. Как в названии для нового романа «Глотнуть воздуха». Он лишь не знал, что пневмоторакс – это операционный стол, громоздкие баллоны с непонятными делениями, резиновые трубки, подкрашенная жидкость, манометры, ампулы и ужасный огромный шприц, который вгоняют меж ребер. Да не один раз, даже не одну неделю…

«Скорая» везла его сначала до Лондона, и еще минут сорок – до графства Кент. Машина катила мимо тех плантаций хмеля, где он горбатился когда-то, катила в Престон-Холл-Виллидж, где консультировал торакальный хирург Лоренс О'Шонесси. А Оруэлл, уставившись в бликующий потолок автомобиля, думаю, злился и, возможно, вспоминал, как недавно еще всё было так хорошо…

Во-первых, ровно два месяца назад, в середине января, он сдал Варбургу рукопись «Памяти Каталонии», в которой, как ему казалось, впервые решил труднейшую для себя задачу – соединил литературу и политику. Это был, как заметит один из его биографов, «частично репортаж, частично политическая критика… вместе с автобиографическими подробностями… книга, где… звучали голоса, ясно виделись картины жизни, большое внимание уделялось точным деталям, и всё вместе описывало, как был предан опыт идеализма и как жестоко подавлены большие надежды». Во-вторых, еще вчера, казалось, он сердечно встретил вернувшегося из той же Испании своего единственного школьного друга Сирила Коннолли. А в-третьих, именно Сирил успел «подарить» ему еще одного друга на всю оставшуюся жизнь, недавнего врага его – поэта Стивена Спендера.

Коннолли еще в январе предложил ему пообедать втроем со Спендером. Он же «голубой», изумился Оруэлл. Ну и что? – ответил Сирил. Он же «салонный большевик»! – так публично обзывал Спендера Оруэлл. – Не салонный, а самый что ни на есть натуральный, уже два года как член компартии. – Но он же писал из Испании, из интербригад такое, за что ему будет стыдно потом. – Не торопись, упорствовал Сирил. Он ведь поэт, и он – ты это знал? – сидел в тюрьме у Франко. Наконец, до 1933 года он жил в Берлине и всё знает про нацизм… Короче, когда они встретятся в каком-то лондонском ресторанчике, встреча для Оруэлла станет знаковой.

Спендер, 29-летний поэт, выпустивший уже сборник стихов, входивший вместе с Оденом, Ишервудом, Льюисом и Макнисом в группу так называемых «революционных писателей», составлял в это время антологию стихов об Испании и кропал уже роман

«Храм», который будет писать чуть ли не всю жизнь. Через два года, разочаровавшись в коммунизме, порвет с компартией и станет одним из редакторов журнала *Horizon*, где Оруэлл не только будет печататься, но где встретит свою вторую жену Соню Браунелл. «Смешно, – скажет Оруэлл Сирилу после ресторана, – но я всегда считал его и остальных за бандитов, они олицетворяли для меня гомосексуализм чуть ли не самого левого толка… Но когда встретился с ним, он так мне понравился и так стало жаль его, что я не мог не сказать ему этого». Оруэлл и впрямь, выйдя на улицу, отвел Спендера в сторону, извинился за «нападки на него в печати», и два великана (Спендер в росте не уступал Оруэллу) крепко пожали друг другу руки…

«Рукопожатия могут связать поколения», – говорят ныне. Есть даже такая теория «шести рукопожатий». Так вот, простите, но не могу отказаться от соблазна признаться: я, через Спендера, оказался, воленс-ноленс, в четырех «рукопожатиях» от Оруэлла! Я знаком с несколькими людьми, знавшими Иосифа Бродского, двое из которых были близкими друзьями его. Но помните ли вы, что Бродского, которого вынудили уехать из СССР в 1972 году, уже через два дня встретил в Австрии знаменитый поэт Уистен Хью Оден? Так вот, он не только отвез Бродского в Лондон, но на две недели поселил нашего будущего нобелиата в квартире как раз Стивена Спендера. Одена назовут потом «повивальной бабкой» Бродского на пути из чрева матушки-России в Новый Свет. А как тогда назвать Спендера? Ведь Бродский будет дружить с ним 23 года, до смерти уже Спендера. В эссе «Памяти Стивена Спендера» Бродский напишет потом, что с первой минуты этот высокий, седой, интеллигентно неуклюжий и очень учтивый человек заботился о нем от «завтрака до… пижамы на ночь», от совместного интервью на «Би-би-си» (первого для Бродского на Западе) до общих поэтических вечеров уже потом, в Америке. Имя Оруэлла в эссе Бродского тоже всплывет, когда в лондонском *«Cafe Royal»* Спендер вспомнит, что иногда «обедал здесь с Соней Оруэлл», второй женой писателя. И Бродский из уважения к «старику», приезжая в Лондон, все двадцать лет будет приглашать Спендера на встречу именно в это кафе при одноименном старинном отеле. И, может, здесь, прочитав роман Спендера, тот самый «Храм», Бродский, выразив восторг, увидит усталую улыбку Стивена, услышит завет его: «Если вы однажды согнулись в покорности перед страхом, участь вашего позвоночника предрешена: вы будете сгибаться снова и снова». Ведь это, подумалось, мог бы сказать Бродскому и Оруэлл – если бы дожил…

Но увы! «Тяжелые крапинки на нижней доле левого

легкого» – вот что обнаружили врачи в санатории *Preston Hall*, куда 17 марта 1938 года доставила «скорая» Оруэлла. Здесь его, как родственника «маститого консультанта» санатория, хирурга О'Шонесси, положили в отдельную палату (ее оплатил Лоренс), и здесь он впервые проведет долгие пять с половиной месяцев.

Предварительный диагноз («бронхит левого легкого, разрыв старого легочного шрама», чем объяснили кровотечение, а также «тени в легких и подозрение на туберкулез») Оруэлл на первых порах воспринял легкомысленно. Тому же Спендеру сообщил: «Я опасаюсь, что это туберкулез, как они говорят, но все-таки думаю, что это просто очень давние поражения легких». Две недели спустя, в письме к Джеффри Гореру, храбрясь, написал: «Мне намного лучше… и на деле я сильно сомневаюсь в том, что со мной всё плохо». К тому времени врачи пришли к выводу – так показали анализы, – что это все-таки не ТБЦ, а «бронхоэктаз левого легкого с неспецифическим фиброзом правого легкого». Они изменят потом это мнение, и окончательный, но, кажется, не озвученный пациенту диагноз будет все-таки «туберкулез». Пока же, установив бронхоэктаз, ему прописали инъекции витамина D, а из «интеллектуальных» занятий… кроссворды. Ну, и чтение, немножко. К «литературному труду», сказали, он сможет вернуться разве что месяца через три. Это расстроило его больше всего: он ведь признался уже Эйлин, что «книга кипит в его голове…». Тот самый роман – «Глотнуть воздуха»…

Радовали лишь отклики на вышедшую книгу «Памяти Каталонии» – газеты с рецензиями регулярно привозила Эйлин. Про *Observer* я уже сказал, *Manchester Guardian* подчеркнула «классическое обособление» автора в описании ужасов войны. А Тоско Файвел, еще один знакомец его, посчитал книгу отправной точкой «нового гуманистического левого движения». Из враждебных откликов прозвучал лишь дурацкий упрек: почему автор не поинтересовался («не потрудился» узнать) мнением и другой стороны – то есть франкистов, почему не написал об их «мотивации и целях».

Вал рецензий вселял жизнь. Обрадовал Оруэлла и Джеффри Горер в *Time and Tide*, и боевой товарищ Джон Макнейр в *New Leader*, и Филипп Мэйрет в *New English Weekly*, и Макс Плауман – тоже приятель – в *News of the World*. Стивен Шварц в далекой Америке назвал книгу чуть ли не «дантовским отсветом»: райское видение Барселоны, потом «чистилище окопной жизни» и наконец – «уничтожение мечты в аду коммунистического террора». Подобное «религиозное измерение истории (воплощающее в себе сострадание)», написал Шварц, и разозлило «языческих сталинистов». Это, кстати, подчеркнет и наш современник Гордон

Боукер, заметив, что книга – «не просто блестящая работа», но «яркое выражение социализма Оруэлла, который был больше вдохновлен христианством, чем Марксом»…

Впрочем, несмотря на хор восторгов, Оруэлла сразила нераскупаемость книги. Через три месяца выяснилось, что из полутора тысяч экземпляров проданными оказались лишь несколько десятков. Это так удивило его, что он попросил Леонарда Мура подтвердить сообщение. А когда всё подтвердилось, решил, как сказал Эйлин, что это «происки Голланца и его друзей». Ошибся, думаю, с этим «диагнозом».

Судьба востребованности книг – не просто интересный и отдельный вопрос, но загадка из загадок. С формальной точки зрения «читательский провал» книги Оруэлла был понятен. «Журналистская лабуда» – обычная документальная книга «на злобу дня», такие при любой погоде выходят сотнями, и глаз покупателя лениво пропускает их на прилавке, уловив по заголовку, о чем, собственно, речь. Кроме того, Испания и все треволнения, связанные с ней, уже «прошумели» над Англией; обывателя волновали иные события: мюнхенский сговор, случившийся 28 сентября 1938 года, беспомощность загнувшейся Лиги Наций, оккупация Гитлером Чехословакии. А с неформальной? Почему при жизни автора, за долгие двенадцать лет, было продано лишь 600 экземпляров, а после смерти, со второго издания книги в 1951 году, она стала вдруг столь популярна, что по ней – по документальному тексту! – ныне спектакли ставят?! Что это? Отсвет посмертной славы писателя? Или преждевременность выхода самой книги? Ведь когда грянула холодная война пятидесятых, названная именно так и предсказанная именно Оруэллом, – востребованность ее и не могла не вырасти? Он и в ней обогнал время: книга была выражением позиции «третьего» в споре двух, в ней был независимый взгляд на непримиримую схватку двух систем – капитализма и социализма. Явленная, доказанная ложь и тех, и других. Тот «третий путь», который только-только начинают осторожно искать ныне. И если Ричард Рис сравнил «Памяти Каталонии» с другим шедевром XX века, книгой Дэвида Джонса «В скобках»[41], то я, разворошив память, могу сопоставить ее лишь с одной – тоже журналистской и тоже о крупнейшем политическом событии века: с книгой Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Такой, наверное, и должна быть публицистика, и только так и следует писать!..

Это чуяли, это понимали пока только друзья Оруэлла. Сказать, что его не забывали в больнице, – ничего не сказать. В санатории (а в нем имелся чудный парк, свой розарий, какая-то

кедровая аллея) побывали и Сирил Коннолли со Стивеном Спендером, и Дуглас Мойл, и Реджинальд Рейнольдс, и Джек Коммон, и Макс Плауман. Последний явился однажды с незнакомцем, тоже выпускником Итона и писателем Леопольдом Майерсом. Этот окажется в окружении Оруэлла типом редким: и натуральный богач, не считавший денег, и истый марксист по убеждениям.

Возможно, под влиянием Майерса в атмосфере, в «воздухе» горячих споров с друзьями как раз о месте писателя в «драке», под впечатлениями от долгих разговоров о политике Оруэлл еще в июне 1938 года и вступил в Независимую рабочую партию, под знаменами которой воевал в Испании. На письме с просьбой о приеме его в НРП стоит дата 13 июня – этим числом обозначен и членский билет его, хранящийся ныне в архиве Оруэлла. Он просто хорошо помнил программные установки НРП еще 1935 года, где говорилось, что политика ее «имеет в виду *всеобщую стачку*, чтобы остановить войну, – и *социальную революцию* на случай, если война произойдет…». Так что радикализм его, несмотря на разочарование в СССР, был по-прежнему «красного цвета»…

> Вопрос из будущего: *Меня всегда занимала проблема «неприкасаемых» тем в журналистике. О них ведь никто специально не договаривается, но как-то получается, что все о них знают. Тоже ведь «цензура» – такая коллективная «самоцензура», общее умолчание. Вот что лежит в основе этого?*
>
> Ответ из прошлого: *В каждый данный момент существует «правильная» точка зрения, совокупность взглядов, про которую предполагается, что все порядочные люди соглашаются с ней, не рассуждая. И не то что то или иное мнение высказывать запрещается, но высказывать его просто «не принято», точно так же, как в викторианские времена «не принято» было в присутствии дамы упоминать в разговоре брюки… По-настоящему непопулярное мнение практически не имеет шансов прозвучать ни в ежедневной прессе, ни в интеллектуальных журналах…*
>
> *Работая в газете, чьи позиции разделяешь, грешишь тем, что ей поддакиваешь, а в газете, которая по своей ориентации тебе далека, – тем, что умалчиваешь о собственных взглядах… Если издатели и редакторы так стараются не допустить в печать некоторые темы, то не потому, что опасаются преследования, а потому, что*

боятся общественного мнения… Современный писатель постоянно снедаем страхом… не перед общественным мнением в широком смысле слова, а перед мнениями той группы, к которой принадлежит он сам…

В.: *Вот-вот, та «интеллектуальная трусость», о которой вы как-то сказали? «Самый худший враг», с которым «сталкивается писатель или журналист»… Добровольная цензура, когда «непопулярные идеи заглушаются, неудобные факты замалчиваются». Кстати, уважаемый вами Достоевский как-то заметил: «Боязнь прослыть доносчиком…» Актуально, между прочим, вот уже третий век. «Я бы мог сказать много хорошего и полезного и для общества, и для правительства, – признался однажды Достоевский, – а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить… Меня бы либералы не простили…» Вот и по-вашему выходит, что грешат этим как раз «любители прогресса» – передовая интеллигенция. Ведь так?*

О.: *Поймите, всегда есть… доминирующая ортодоксия… Последние полтора примерно десятилетия такой ортодоксией, особенно влиятельной среди молодежи, является «левизна». Для нее самыми ценными эпитетами остаются слова «прогрессивный», «демократический», «революционный», а теми, которых приходится пуще всего страшиться, – «буржуазный», «реакционный», «фашистский»: не дай бог и к тебе прилипнут эти клички. Ныне чуть не все и каждый, включая большинство католиков и консерваторов, «прогрессивны»… Все мы… антифашисты, антиимпериалисты, – все презираем классовые разделения… Но у «левых» есть своя демагогия и ложь, а поскольку это не признаётся, некоторые проблемы становится просто невозможным по-настоящему обсуждать.*

В.: *Альбер Камю сказал: «В Испании стало понятно… что сила может одолеть дух, что бывают времена, когда мужества недостаточно…»*

О.: *Замечая одни только жестокости, гнусность, бессмысленность войны – а в данном случае еще и казни, интриги, ложь, неразбериху, – трудно удержаться от вывода, что «одни ничуть не лучше других. Я сохраню нейтралитет». Однако на деле нейтральным быть нельзя… Почти всегда одна сторона… знаменует прогресс, а другая – реакцию… По сути, это была*

классовая война… Победил Франко, и повсюду… держатели прибыльных акций потирали руки. Вот в чем главное, а все прочее – накипь.

В.: *А может, писателю, раз всё так изменчиво, вообще не касаться «большой политики»?*

О.: *Нет!.. Когда писатель считает, что войну необходимо выиграть, пусть он в ней участвует как солдат, но откажется прославлять ее в своих книгах… Ни при каких условиях нельзя… отступать от логики мысли, почуяв, что она ведет к еретическим выводам…*

В.: *«Еретические выводы» – это про вас!.. Но вот вопрос почти еретический. Знали ли вы, что могли бы убить самого Черчилля, случись ему оказаться в Испании? Он ведь не просто «симпатизировал Франко», он «открыто поддерживал его и еще в марте 1937 года хотел признать власть франкистов».*

О.: *Самое непостижимое в испанской войне – это позиция великих держав… Кто в 1936-м не понимал, что достаточно было Англии оказать испанскому правительству помощь, хотя бы поставив оружия на несколько миллионов фунтов, – Франко был бы разгромлен?.. Не требовалось в то время быть ясновидящим, чтобы предсказать близящуюся войну Англии с Германией… И тем не менее самым подлым, трусливым и лицемерным способом английские правящие классы отдали Испанию Франко и нацистам.*

В.: *Вот почему? Ведь половина Европы понимала, чем опасен фашизм?*

О.: *Потому что были профашистски настроены… Они усвоили одно: что Гитлер и Муссолини враждебны коммунизму. Отсюда делался вывод, что эти двое должны быть дружественны британскому получателю дивидендов… Известно же, что для богатого, если он не еврей, фашизм не так страшен, как коммунизм…*

В.: *Да, я был поражен, когда прочел, что Черчилль в 1936-м посвятил Гитлеру хвалебную статью. Даже написал, что он станет «украшением человечества».*

О.: *Злонамеренны или просто глупы английские правители – вопрос, на который в наше время ответить крайне сложно…*

В.: *«Сталинизм», «анархизм», «национализм», «фашизм» – это всё актуально и сегодня. И как мы, особенно писатели, должны сопротивляться этому? Ведь где-то здесь и возникают те самые «неприкасаемые*

темы»?

О.: *Можно ли бесстрастно относиться к человеку, который грозится перерезать тебе глотку? В мире, где сражаются… всякая мыслящая личность вынужденно принимает ту или другую сторону… Время… развенчало понятие «искусства для искусства», но вместе с тем завело нас в тупик, поскольку большинство молодых писателей попытались связать себя какой-либо политической идеей, которая, лишая внутренней свободы, может привести их к интеллектуальной недобросовестности… Нельзя приносить в жертву политическому кредо интеллектуальную честность… во всяком случае, принеся эту жертву, нельзя остаться писателем… События последнего десятилетия… лишили литературу Англии сколько-нибудь определенного направления, но тем вернее помогли определить границы искусства и пропаганды.*

Последнее предложение – это фраза из статьи Оруэлла, которая так и называлась: «Границы искусства и пропаганды». Но, с другой стороны, это первая по значению мысль, которая занимала его после Испании. Есть ли они, эти границы? Есть ли «неприкасаемые темы», и можно ли писателю остаться в стороне от «схватки века»? Что в такой схватке добро, что – зло? Какой должна быть «форма борьбы» литератора? И как остаться при этом независимым? «Башня из слоновой кости» – или «партийная машина»? Или все-таки – «дерзай стоять один»?.. Но главное – как выявить, ухватить первопричину противоречий века? В чем она? Или все-таки – в ком?..

5.

Биографы пишут: какие-то идеи из пришедших ему в голову в санатории уже навсегда остались неизвестными для нас. Мы догадываемся, почему он вступил в Независимую рабочую партию, но не знаем, отчего тогда же «тихо» вышел из нее (через два года в «Автобиографической заметке» он лишь заметит, что «позиция ее абсурдна и лишь помогает Гитлеру»). Мы знаем, что в санатории он присоединился к Союзу верности миру, связанному с этой партией и стоявшему на позициях пацифизма, и даже набрасывал для него программные положения, – но они не только не были опубликованы, но даже не сохранились. Наконец, мы знаем, что, когда ему разрешили гулять по парку и даже

«немного» работать, он написал небольшую брошюру в один печатный лист под названием «Социализм и война» и переслал ее Леонарду Муру, прося найти издателя, а когда из этого ничего не вышло, велел уничтожить ее… Почему?

О пяти месяцах Оруэлла, проведенных им в санатории, известно микроскопически мало. Но о двух встречах его – заочной и очной – кое-что сохранилось. Они важны как факты становления его «неприступной души». И удивительно – хоть это вновь совпадение: обе встречи были опять с русскими. Один был автором книги, которая очень вовремя попалась Оруэллу на глаза и невольно ответила на «созревшие» в нем вопросы. А второй встречей стало свидание с уже знакомой нам Лидией Жибуртович, в которую он, как ему покажется, как раз в санатории нешуточно влюбится. От книги, прочитанной им в санатории, сохранится опубликованная рецензия его, а от влюбленности – три-четыре чудом уцелевших письма…

Первого русского звали Юджин Лайонс. Не спешите с ухмылками! Настоящее имя этого американского писателя и журналиста было Евгений Натанович Привин, и родился он в Узлянах Минской губернии, а в США вместе с родителями оказался в 1907-м, когда ему только-только исполнилось двенадцать. А книга его, оказавшаяся в руках Оруэлла, не только интригующе называлась «Командировка в утопию», но была прямо о том, что очень интересовало Оруэлла в тот год, – о «красной России». Лайонс шесть лет провел в СССР, видел голод на Украине, зарождение первых пятилеток и укрепление дьявольской, всепроникающей силы «тайной полиции».

Удивительные, неправдоподобные сюжеты подкидывает порой история литературы! Ныне, зная жизнь Лайонса и Оруэлла, нельзя не удивиться случайным, казалось бы, параллелям их биографий. Помните, десять лет назад, в августе 1927 года, Оруэлл, вернувшись из Индии, угодил в Марселе в уличную демонстрацию рабочих? На транспарантах шествия алел лозунг: «Свободу Сакко и Ванцетти!». Но знали ли мы, что в том же 1927-м в Америке выйдет книга «Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти» о казненных анархистах? Что через два года, в 1929-м, она будет издана в Москве, а в 1930-м – лично преподнесена Сталину? Так вот, автором и дарителем ее вождю станет как раз Юджин Лайонс, Евгений Привин, чья третья уже книга – «Командировка в утопию» – и попадет в руки Оруэлла. Совпадение? Да! Но ведь знаковое…

Впрочем, главным совпадением станет то, что Лайонс, как и Оруэлл, тоже окажется беглецом из лагеря победителей. Вряд ли Оруэлл знал про книгу Лайонса об анархистах, вряд ли знал, что

после нее тот стал в США сначала редактором просоветского иллюстрированного издания *Soviet Russia Pictorial*, а потом – председателем американского общества «Друзья Советской России». Лайонс был влюблен в революционную Россию – и посему стал сначала сотрудником «Телеграфного агентства СССР», а с 1928 года – корреспондентом *United Press International* в Москве. Он много писал, много ездил по стране, его дочь Евгения училась в одной школе со Светланой – дочерью вождя, а Сталина Лайонс не только боготворил, но первым среди зарубежных журналистов взял у него интервью. О встрече написал: «Мой пульс зашкаливал. Но, как только я перешагнул через порог, неуверенность и волнения прошли. Сталин встретил меня у дверей и, улыбаясь, пожал руку. В его улыбке было некоторое смущение… Он был удивительно не похож на хмурого самодовольного диктатора, как его обычно изображают. Каждый его жест был упреком тысячам бюрократов…»

Лайонс пробудет в СССР до 1934 года, войдет в круги политиков, дипломатов, военных, будет частым гостем посла США в СССР Уильяма Буллита (тоже, кстати, блестящего журналиста), но главное – не только подружится с модным, но опальным драматургом Михаилом Булгаковым, но станет переводчиком на английский и «Дней Турбиных», и «Зойкиной квартиры». Помним мы это? Лайонс будет навещать Булгакова, попадет даже в дневник Елены Сергеевны, третьей жены писателя. «Вечером, – записывает она 3 января 1934 года, – американский журналист Лайонс…» Через пять дней – новая запись: «Ужин у Лайонса – почти роскошный. Жена его говорит на ломаном русском языке. Музыкальна, играла на гитаре и пела, между прочим, песенки из “Турбиных” – по-английски… Днем я обнаружила в архиве нашем, что договор на “Турбиных” с Фишером кончился, и М.А. (Булгаков. – *В.Н.*), при бешеном ликовании Жуховицкого (как установят позже, секретного сотрудника НКВД в окружении писателя. – *В.Н.*), подписал соглашение на Турбиных с Лайонсом…» Через полгода – еще одна запись: «Потом у нас ужинали Лайонс с женой и Жуховицкий. Этот пытался уговорить М.А. подписать договор на “Мольера”, но М.А. отказался». Лайонс попал даже в переписку самого Булгакова. Тот 16 августа 1935 года отошлет ему в США короткую, в одну строку, телеграмму, написанную латиницей: «*Perevedite desiat dollarov Nicolas Bulgacov* 75 *rue Olivier de Serres Paris*». Речь шла о деньгах за переводы Лайонса, которые Булгаков просил переслать своему брату… Так вот, и переводы пьес Булгакова, и долгие разговоры с ним (а Булгаков, по мнению другого американца, советника посла США Чарльза Болена,

всегда «без колебания высказывался по поводу советской системы») повлияли, не могли не повлиять на разочарование Лайонса и в «новой России», и в Сталине[42]. А книга его «Командировка в утопию», вместившая эту новую правду, повлияла уже на Оруэлла…

Что же такого написал Лайонс в своей «Командировке…», и почему Оруэлл немедленно откликнулся на книгу? Если попросту – голую правду. О «волнах террора» в СССР, о том, что «пролетариат низведен чуть ли не к крепостному праву», что «НКВД – везде и во всем, так что любой человек живет в постоянном страхе ареста, а свобода слова и печати уничтожена». Писал о судебных процессах (он лично присутствовал на процессе по «Шахтинскому делу»), о предательстве родителей их детьми и о поклонении Сталину, как какому-нибудь римскому императору. «Описание Лайонсом тоталитарного государства впервые вроде бы дало Оруэллу идею, – пишет Г.Боукер, – о выдуманном государстве», об «утопии», где могли бы сойтись его мнения о кошмаре Испании, о гитлеровской Германии, об СССР и даже о нынешней Англии…

Почему об Англии? Да потому (прошу прощения за невольное отступление в рассказе!), что где-то через год в дверь коттеджа Оруэлла в Уоллингтоне постучат два полицейских. Вежливо, но строго они сообщат, что явились проверить сведения о получении Эриком Блэром из-за границы запрещенных в Великобритании «грязных книг». Это ведь было! Оказывается, власти перехватили письмо Оруэлла в парижское издательство *Obelisque* с просьбой прислать ему новый роман Генри Миллера «Тропик Козерога». Во избежание обыска полицейские «предложат» Оруэллу, ну, как у нас в иные времена, как в фашистской Германии, выдать им все книги этого издательства, что законопослушный писатель и сделает. Вслед за этим он получит прокурорское предостережение, что «подвергнется уголовному преследованию», если подобные действия будут продолжаться. Точь-в-точь как вызывали у нас в 1950-х к генеральному прокурору и «предупреждали» Бориса Пастернака, как потом прокуратура угрожала Солженицыну… То есть в тридцатые еще годы, еще до войны, Оруэлл начал догадываться, что за «мир» зарождается и в его стране! Именно тогда, как пишут биографы, «зловещая тень тоталитаризма перестала быть для него абстракцией, относящейся к враждебной Германии и СССР». Кстати, как пишет Кристофер Хитченс в только что вышедшей у нас книге «Почему так важен Оруэлл» (2017), в Англии «до сих пор остаются закрытыми некоторые разделы заведенного на него досье…». Но это к слову. Возвращаясь же к книге Лайонса, нельзя не сказать:

она была интересна Оруэллу уже самой темой – темой власти, темой «вождей».

«Правда о сталинском режиме, – напишет Оруэлл в рецензии на книгу Лайонса, – если мы только сможем ее узнать, чрезвычайно важна. Это социализм, или же это особая разновидность государственного капитализма? Все политические споры последних двух лет вращаются вокруг этого вопроса, но напрямую вопрос не задается. Попасть в Россию сложно, а в самой России сложно провести адекватное исследование; поэтому все ответы на этот вопрос нужно искать в книгах, которые либо настолько тошнотворно “за”, либо так ядовито “против”, что запах предубеждения слышен за милю». Книга Лайонса, подчеркнет, «очевидно принадлежит к категории “против”, но производит впечатление на редкость достоверной… Как и многие другие, попавшие туда на крыльях надежды, Лайонс постепенно потерял иллюзии, но в отличие от некоторых решил рассказать об этом…»

«Система, описанная Лайонсом, – резюмирует Оруэлл, – ничем существенным не отличается от фашизма. Вся реальная власть сконцентрирована в руках двух-трех миллионов человек; городской пролетариат (теоретически – наследник революции) лишен элементарного права забастовки… ГПУ вездесуще; каждый живет в постоянном страхе доноса… “Ликвидация” кулаков, нэпманов, чудовищные процессы и… дети, которые пишут в газетах: “Я отрекаюсь от своего отца – троцкистской змеи”…»

Именно у Лайонса Оруэлл прочел про лозунг «страны Советов»: «Пять – в четыре!» – выполним пятилетний план за четыре года. Прочел – и сделал из него в романе «1984» логический парадокс будущего кошмарного мира: «Дважды два равняется пяти». «Формула 2 + 2 = 5 немедленно приковала мое внимание, – пишет в рецензии. – Она показалась мне… парадоксом и трагическим абсурдом на советской сцене своей мистической простотой». Именно этого абсурдного признания добивается, как помним, в застенках романа О’Брайен от Уинстона Смита. Дескать, признав, что 2 + 2 = 5, человек призна́ет всё что угодно. Но главным, что интересовало Оруэлла в книге Лайонса, был феномен Сталина. Сталин – и Нерон, и одновременно бандит, типа Аль Капоне. И бог для миллионов, – и преступник! Это станет для Оруэлла самой важной темой всех последних произведений. Хотел ли Сталин установить в СССР социализм по Ленину? Нет. Строил ли он справедливое общество? Нет! Хотел ли действительного равенства и благосостояния сограждан? Тоже нет! Тогда чего же он хотел? Уж не химически ли чистой власти? И не мечтал ли, как и Гитлер,

«вдеть в нос кольцо» и посадить на цепь уже всю Европу?..

У Оруэлла, разумеется, не было готовых ответов на эти вопросы. Но разве сама постановка иных из них не бывает важнее ответов? Книга Лайонса стала для Оруэлла внутренним толчком к будущей сказке его «Скотный двор» и роману «1984»[43]. Он ведь даже какой-то набросок антиутопии тогда же отошлет Муру, литагенту. И разве нельзя сказать, что встреча с Лайонсом стала для Оруэлла неким логическим просветом в лабиринте его размышлений о будущем, каким-то выходом из умственного тупика и, образно говоря, глубоким, во всю грудь «глотком воздуха» в творческом развитии?..

А вторым «глотком воздуха» в санатории стала для него неожиданная встреча с Лидией. Та навестила его одна, без Эйлин, а Оруэлл вообразит, что у них «роман». В ту встречу он расскажет Лидии, о чем будет книга «Глотнуть воздуха»: скажет, как запомнит она, что книга будет «о семейной паре, которая не может иметь детей, и где жена – нытик…» Не знаю: поняла ли Лидия, что роман он пишет о себе, вступилась ли за свою подругу? Но если не вступилась, то это было ее первое молчаливое «предательство» Эйлин. А вторым станет то, что она, как пишет, пусть и невольно, но тогда же «ответила» на пылкое объятие Оруэлла. Ведь после этого он и решил, что между ними «что-то есть». Тем более что и у Эйлин к тому времени появился поклонник, некий Карл Шнетцлер, симпатии к которому она и не думала скрывать от мужа, и даже явилась однажды с ним в санаторий. «Открытый брак» – они же любили подчеркивать это. Правда, сам Оруэлл, в отличие от жены, предпочел свои чувства к Лидии скрыть…

«Это случилось весной, – пишет Гордон Боукер. – Время года и, вероятно, улучшение его здоровья привели его к ситуации, которая, по словам Лидии, оставила ее в глубоком смущении. Оруэлл позвал ее на прогулку по парку и, к ее стыду, вдруг как-то очень уж чувственно обнял ее, на что она безотчетно ответила. Она, – пишет Боукер, – сделала это, по ее словам, из жалости к нему, хотя и нашла объятие с ним довольно неприятным. А кроме того, это сразу же вызвало в ней чувство вины перед Эйлин. К сожалению для нее самой, Лидия не смогла сразу же и ясно выразить эти чувства, и Оруэлл тем самым был как бы поощрен думать, что и она расположена к нему. Возможно, – заканчивает биограф, – “поощрен” был его внутренний двойник, который жил в истощенной душе Оруэлла и который так выражал себя во время этого моментального флирта…»

Моментального ли?.. И – флирта ли? Лидия больше не появится в санатории вплоть до отъезда его и Эйлин в Марокко, а

вот он даже оттуда, из Африки, по секрету от жены будет слать ей одно за другим недвусмысленные письма. «С каким нетерпением я жду встречи с вами! – будет писать. – Я так часто думаю о вас – а вы, вы, интересно, думали ли обо мне? Я знаю, что неосторожно писать подобные вещи в письмах, но вы ведь будете умной и сожжете это письмо, не так ли?.. Берегите себя. Надеюсь увидеть вас в начале апреля. С любовью, Эрик». А когда после Марокко они с Эйлин окажутся наконец в Лондоне, то Оруэлл первым делом кинется в дом Лидии – и будет, как пишут, очень раздосадован тем, что не застанет ее, хотя предварительно отбил ей телеграмму. Потом будет звонить (трижды) и снова писать, упрекая в уклонении от встреч. Она же напишет, что вовсе не была польщена его вниманием: «Меня раздражало его условие, что мне надо было скрывать наши встречи от Эйлин, меня возмущал обман, который вползал в наши отношения… Я хотела избежать встречи с ним и была так враждебно настроена, что готова была оттолкнуть его, если бы он попытался обнять меня…»

Но я опять забежал вперед. Ибо сразу после санатория Оруэлл с Эйлин отправились в Марокко. Идея была Лоренса, брата Эйлин. Он верно рассудил, что с больными легкими Оруэлл с трудом переживет надвигающуюся «гнилую британскую зиму»; дело было лишь за тем, куда отправиться. Оруэлл решил, что сгодится любое место на Средиземном море, и даже сказал, что попросит подыскать подходящий «уголок» Ивонн Даве, француженку, которая в это время переводила его книгу об Испании. А Лоренс вместо юга Франции предложил Марокко, страну с ровным и сухим климатом. Тогда же решили, что попросят Джека Коммона, друга семьи, пожить в их доме в Уоллингтоне в обмен на заботу о козах, курах и огородах. Единственным препятствием стали деньги. И вот тогда их анонимно и выручит Леопольд Майерс. Он отошлет Оруэллу триста фунтов – большие по тем временам деньги. Боукер утверждает ныне, что Оруэлл так и не узнает своего «благодетеля», но другие исследователи пишут, что, напротив, узнав источник денег, он согласился взять их в долг. Долг за возможность добежать – доделать, что задумал…

6.

«Мертвец, а всё ему неймется». Этот эпиграф, как и заголовок к роману «Глотнуть воздуха», Оруэлл, думаю, тоже приглядел заранее. Слова были из народной песни – и словно про него. И если у героини «Дочери священника» время отобрало веру в Бога

и прошлое, то в новом романе Оруэлла автор лишал героя будущего, обрекая его быть живым мертвецом. Будущее в романе сулило всем только смерть – от бомб, которые, по книге, вот-вот посыпятся на Лондон. Что ж, как бы говорил автор, ты «глотнул воздуха», побывал в улетевшем куда-то детстве – теперь возвращайся в 1938-й, задирай голову в небо и жди оттуда смерти! Эти бомбы посыпятся и на Оруэлла через два года. Но он предсказал их, впервые в художественном произведении выступил как прорицатель!..

«Когда бы Оруэлл ни уезжал из Англии, он всегда надеялся вырваться из тисков настоящего – к лучшему будущему», – напишет Г.Боукер. Возможно. Но знаете, что больше всего поразило меня в «марокканском отпуске» Оруэлла, в те полгода с сентября 1938-го по март 1939 года, которые он с Эйлин прожил у подножия Атласских гор? Не ужасающая бедность местного населения, не колониальные порядки, которые он подзабыл после Индии, не доступные за бесценок берберские женщины и даже не домик в апельсиновой роще, который они, пожив в грязноватых отелях, сняли, – нет! Меня поразило, что он, как и в Уоллингтоне, завел здесь свое «маленькое хозяйство»: разбил грядки у дома, прикупил дюжину кур и первым делом смастерил и повесил скворечник для птиц. Он будто инстинктивно пытался сохранить в себе что-то нутряное, неизменное для его внутреннего мира, почти детское – то прошлое, которое волочил за собой всю жизнь. Он даже впервые завел тут сразу два дневника: один – как бы про внешнюю жизнь: про поездку в Марокко, события в мире, про газетные новости и всё такое, а второй… про сад, огород, про милые его сердцу фауну и флору («*Nature Notes*», как учил его г-н Силлар, биолог из школы Св.Киприана). А если вспомнить роман, который в апельсиновой роще он заканчивал, роман про страхового агента Боулинга, который попытался на своей старенькой машине навестить городок детства, если вспомнить главную мысль книги, что в каждом толстячке-служащем живет юный мальчик с прежними чувствами и реакциями, – то станет понятно: он, беглец по духу, пытался в этом хаотичном мире, в этой круговерти войн, революций, технического прогресса и духовного оскудения сохранить в неприкосновенности душу человеческую – свою душу.

Цельность и органичность – вот опоры этой души. Майкл Шелден в лекциях «Мир Оруэлла» скажет: «Его любимой темой был рассказ о маленьком человеке, который всегда скрывается в большом состоявшемся человеке… Никогда не идущий за толпой, он всегда подчеркивал: он думает сам за себя… Он никогда не соглашался с духом своего времени, всегда искал и находил

необщие пути, неясные идеи и цели и старательно обходил “всех тех зловонных маленьких ортодоксов… борющихся за наши души”». Оруэлл ведь и сам скажет в 1942-м: «Одна ваша часть хочет быть героем или святым, но другая – маленький человек внутри – четко осознаёт, что всё, что дает ему жизнь, – это только ваша целая кожа. Он – ваше неофициальное “Я”, и голос как бы живота протестует против голоса вашей души». А вообще писавший о «невидимых людях» Оруэлл, добавлю к месту, и сам, как я говорил уже, старался быть невидимым: избегал всяческих «тусовок» и сборищ и не выпячивал себя даже в компаниях. «Интеллигент, – как заметил наш знаменитый драматург Александр Володин, – это человек, который занимает мало места».

«Невидимые люди» – это сравнение пришло Оруэллу в голову в Марокко. Про марокканцев сказал: не человек и не пять – целый народ невидимых! Они мёрли как мухи, и хоронили их почти как мух, прихлопывая, притаптывая, как мусор, закапывали даже не в гробах – в тряпках, не оставляя на поверхности земли ни памятника, ни крестика, ни таблички с именем, ни даже холмика. «Через пару месяцев, – пишет, – не найдешь даже, где похоронены собственные родные». Так скажет в очерке «Марракеш», который и начнет с безымянного покойника и тучи мух над ним.

«Марракеш кишит болезнями и инфекциями всякого рода, – напишет Эйлин в письме на родину: – лишай, дизентерия, туберкулез». Место оказалось настолько нездоровым, что уже в первые дни оба задались вопросом: как мог Лоренс, врач, да и родственник, рекомендовать Марокко «для поправки здоровья»? «Конечно, мы глупо сделали, что приехали, но я не смогла отказаться, и Эрик чувствовал себя обязанным…»

Город, несмотря на дворец султана, впечатляющие парки и какую-то диковинную оливковую рощу Менара, представлял из себя почти сплошные трущобы. «Когда идешь по такому городу – двести тысяч жителей, из которых как минимум у двадцати тысяч нет буквально ничего, кроме тряпок на собственном теле, – когда видишь, как они живут и тем более как легко они умирают, то трудно поверить, что ты находишься среди людей», – напишет Оруэлл в очерке. Кормя хлебом дикую газель в парке, он был потрясен словами оказавшегося рядом и тоже потрясенного землекопа: «Я мог бы съесть этот хлеб». В другой раз, когда какой-то мальчишка поймал по его просьбе кэб и Оруэлл сунул ему 50 сантимов, дюжина других детей чуть не вырвали ему руку. А когда, дефилируя вдоль ларьков медников, где работали в основном евреи, он вытащил и закурил сигарету, – то из темных палаток повыскакивала уже целая толпа, даже старики с

длинными седыми бородами, даже слепец, хватающий рукой воздух. «Ни один из этих людей… – записал он, – не работает меньше двенадцати часов в день, но каждый из них считает сигарету предметом невозможной роскоши…»

Нищета в еврейских кварталах – а евреев, продолжает, здесь свыше 10 тысяч – особенно поразила его. Торговцы фруктами, гончары, серебряных дел мастера, кузнецы, мясники, портные, водоносы, грузчики… «Когда проходишь через еврейский квартал, то легко представляешь себе, – запишет в дневнике, – какими должны были быть средневековые гетто». А с другой стороны – заметит, что здесь, как и всюду, даже бедные европейцы во всех бедах обвиняли именно евреев. «Да, *mon vieux*[44], меня уволили, и вместо меня наняли еврея!.. У них все деньги. Они контролируют банки, финансы… всё». «Но типичный еврей, – возражал Оруэлл, – это рабочий, получающий за свой труд не более пенса в час?..» – «Ах, это только напоказ!.. Они такие хитрые, эти евреи…» «Это, – заканчивает Оруэлл, которого, заметьте, подозревали в антисемитизме, – напоминает то, как пару столетий назад нищих старух сжигали за колдовство, хотя они не могли наколдовать себе даже сытный обед…» Такой вот «антисемит»…

Он писал здесь сразу три вещи: очерк «Марракеш», роман «Глотнуть воздуха» и большое эссе о Диккенсе, больше двух печатных листов. «Чарльз Диккенс» – работа этапная для него, ее не обойдешь. Это эссе, несмотря на огромные цитаты из классика, – конечно же, попытка Оруэлла разобраться в себе: в мотивах творчества, в целях его, в пристрастиях. Зачем человек пишет? Как остаться независимым? За что бороться? Какова человеческая натура? И что морально, а что – нет?

«Бесполезно менять общественные институты без “перемены сердца”, – выделил Оруэлл главное в Диккенсе, тот заколдованный круг, который мучил и его. – Всегда здравы две точки зрения. Одна: как можно улучшить человеческую натуру, пока не изменена система? Другая: какая польза в изменении системы, пока не улучшена человеческая натура? Каждая из них привлекательна… и, возможно, обе находятся в постоянном чередовании, причем моралистская и революционная все время подрывают друг друга». И дальше в сугубо литературоведческой работе вспоминал даже Маркса: «Маркс взорвал сотни тонн динамита под позициями моралистов, и до сих пор мы живем в отзвуке этого грандиозного взрыва. Но уже там и сям работают саперы, закладывается новый динамит, чтобы рвануть Маркса до небес. Потом Маркс или похожий на него вернется с еще большим количеством взрывчатки – и так будет продолжаться процесс,

конец которого предсказать невозможно. Центральная проблема – как уберечь власть от злоупотребления ею – остается нерешенной… Как раз это-то и сумел понять Диккенс… “Если бы люди вели себя достойно – и мир был бы достойным” – не такая уж это банальность, как может показаться поначалу… По большому счету, ничем <Диккенс> так не восхищался, ничто так не любил, как обычную порядочность…»

Ровно как и Оруэлл, помните? А вообще это тот колдовской круг, та идея, которые он будет развивать в трех последних своих произведениях: в романе «Глотнуть воздуха», в «Скотном дворе» и в книге «1984». Проблема власти и ее извращений. Проблема ненависти – как опоры любой власти. Проблема спасения человека – в простой жизни простых людей. Проблема ориентира – «порядочность человека».

Поразительно все-таки, как к 1938 году всё у Оруэлла сошлось: как цельнометаллически все его магистральные мысли, обретенные в прошедшей жизни, переплавились в такие же цельные, кумулятивные, я бы сказал, идеи, которые не оставят его до смертного часа. И как связать искусство с пропагандой, и может ли «порядочность», иными словами, человечий дух противостоять тиранническим «системам», и какую сторону – «победителей» или «побежденных» – следует занимать…

В книге рядовой страховой агент, толстячок Боулинг, посетивший городок детства и убедившийся, что «Золотая страна» не просто оказалась застроена и перестроена, а вообще испарилась, всю дорогу туда боялся и даже оглядывался в заднее стекло машины, не «гонятся ли за ним» те самые «вонючие ортодоксы», которые испохабили добрый, уютный мир его Англии. Он, «беглец» в свое счастливое прошлое, почти реально видел гнавшуюся за его машиной, наравне с опостылевшей женой и соседями, армию «назойливых, неотвязных душеспасателей, которых ты сроду не видел, но кто правит твоей судьбой из министерства иностранных дел, из Скотленд-Ярда, Лиги трезвости, Английского банка и парламента». Боулинг реально ощущал дыхание «крутящих велосипедные педали» и догонявших его лорда Бивербрука, Гитлера со Сталиным и Муссолини и даже папы римского, он почти слышал их вопли: «Вон он, наглец, надумавший сбежать! Тип, не желающий гладкой штамповки поточным методом! Он убегает!.. Хватай его!» К счастью, в заднем стекле автомобиля «лишь белело пыльное шоссе да зеленели убегающие, тающие вдали ряды вязов». Но разве страхи нашего «беглеца» перед «регламентацией» личности и жизни не были, в сущности, теми же, что испытывали раньше поэт Гордон Комсток и – в будущем – Уинстон Смит, герой романа «1984»?

Лицо одного из «преследователей» Боулинг увидит в городке своего детства на собрании Левого книжного клуба (выпад Оруэлла в сторону Голланца), в зале, где сидели три задиристых молодых коммуниста, один юный троцкист («лицо умное; еврей, разумеется»), пара-тройка стариков-либералов, молоденькая учительница. А «ортодоксом» окажется невзрачный лектор «с плешью, замаскированной прядками волос». Именно он «подвесил» в зале с первых минут выступления тяжелую, просто вакуумную ненависть. «Зверские злодеяния… Жуткие вспышки садизма… Резиновые дубинки… Концентрационные лагеря… Произвол… Беззаконие… Крепкий заслон… Решительно действовать, пока не поздно…» – вот что поминутно слетало с губ лектора.

«Что, собственно, он делает, этот плешивый человек?» – изумляется сидящий в зале Боулинг. Он «вполне умышленно и откровенно разжигает в вас ненависть… И стремление заразить публику гневом – ничто в сравнении со жгучей ненавистью в нем самом… Жуткое дело эти живые шарманки, буравящие тебя пропагандой. Прокручивает одно и то же: ненависть, ненависть, ненависть! Сплотимся, друзья, и всеми силами возненавидим!.. Говорилось это, конечно, культурно… А представлялось лектору нечто весьма конкретное: как он чугунным молотком вдребезги расшибает лица (фашистские лица, разумеется)… Хрясь! Прямо в переносицу! Податливый хруст размозженных косточек, и вместо лица – месиво вроде земляничного повидла. Следующий! Хрясь!… Вот так бы, в кровь их… Живей, ребята! Хватайте кувалды – и дружней!.. Стройся, боевики, подле своих вождей: плохие – за Гитлера, хорошие – за Сталина. Впрочем… для нашего лектора Гитлер от Сталина не отличался». Символ, обобщающее чувство XX века – ненависть расколотого мира. Кувалдами разбиваются лица в романе «Глотнуть воздуха» в 1938 году, «гаечными ключами» будут как бы крошить их в подвалах Министерства Любви в 1948-м…

«Война! Я стал опять думать о ней, – размышляет в романе Боулинг. – Скоро уже, ясное дело. А кто боится войны?.. Вы скажете мне: “Ты”. Да, я боюсь, как всякий, кто такого повидал. Но не столько самой войны, сколько той жизни, что начнется. Мы сразу рухнем в удушливый мир злобы и лозунгов. Форменные темные рубашки, колючая проволока, дубинки… Пыточные камеры… шпики… Процессии с гигантскими портретами и миллионные толпы орущих приветствия вождю… Вот-вот начнется…»

Это строки не из романа «1984» – эти строки написаны еще в 1938-м, в романе «Глотнуть воздуха». «Скорей, скорей!.. Готовь

оружие, ребята!.. У всех… у всех есть ощущение, что мир… летит в тартарары… Я боюсь, и даже очень боюсь…» Обо всем этом Оруэлл писал, запершись на чердаке снятой виллы в Марракеше. Он, познавший ужасы сражений, исповедовавший в тот год пацифизм, тем не менее кожей чувствовал приближение войны. И несли ее миру «ортодоксы» – левые, на глазах становящиеся правыми, и правые, рядящиеся в тоги левых.

Эйлин вспомнит: Оруэлл накупил в Марокко европейских карт, развесил их по комнате и отмечал на них, что творится в мире. И если за стенами виллы бедные люди вовсю курили запрещенную марихуану – ее здесь звали «киф», – то для нашего героя главным «наркотиком» была уже политика. Пожара войны после Мюнхена, он понимал, было не избежать. «Сегодня пришло известие о падении Барселоны, – записывал. – Никого в Марракеше это, кажется, не заинтересовало, хотя печать полощет этот факт… Если отчеты правдивы, то среди испанцев в Танжере прошли демонстрации, празднующие падение Барселоны, и никаких противоположных выступлений».

А 28 марта 1939-го силам Франко сдался и Мадрид. Щемило сердце, когда он читал, что в октябре 1938 года – когда Мадрид был еще в руках республиканцев – коммунисты думали не столько об обороне города, сколько о подготовке шумного процесса над ПОУМовцами. Суд над руководителями ПОУМ и начнется в октябре. И что вы думаете? Оруэлл окажется едва ли не единственным в мире, кто из Марокко обратится к ряду британских редакторов и издателей с предложением выступить с протестом против чудовищных и лживых обвинений. «Обвинения против ПОУМ в Испании, – напишет, – являются побочным продуктом российских судебных процессов против троцкистов, и это от начала до конца представляет собой набор лжи». Ответ, пусть и не впечатляющий, но последует: в Лондоне будет организован комитет защиты ПОУМ, который проведет кой-какие акции. Но лидеров ПОУМ в Испании – Х.Горкина, Х.Андраде, П.Бонета – тем не менее приговорят к длительным тюремным срокам, а некоторых, по правилам того «черно-белого» времени, убьют и без суда… «Это дает ощущение, что наша цивилизация опускается в своеобразный туман, – запишет Оруэлл, – где потом невозможно будет когда-либо узнать правду…» Бей в харю, кроши челюсти; они не такие, как мы, они – чужие!

С тревогой читали Эрик и Эйлин сообщения про фашизацию Британии и – с робкой надеждой – про растущее сопротивление ей. Коммон писал им, что в Лондоне «распространяются слухи о войне, и все думают, что на этот раз она действительно начнется»; газеты сообщали о строительстве в британской

столице бомбоубежищ, о вспухших вдруг заказах на противогазы и о митингах – как за войну, так и против.

Я был сражен, когда прочел, что Эйлин именно в Марокко впервые подумала, что если бы они в тот год были дома, то Джордж, вероятно, угодил бы в тюрьму. Об этом она даже напишет Марджори, сестре мужа. Оруэлл уже тогда предвидел, что возможная война с Германией повлечет за собой репрессии «против революционных левых сил в Великобритании», и готовился противостоять этому. «Война может быть выиграна, если Британия станет социалистической». Более того, по устойчивой уже привычке ради дела оставлять перо и брать в руки винтовку, он теперь на полном серьезе писал друзьям, что надо покупать и разворачивать тайные ручные типографии для печатания прокламаций, а если возникнет надобность – даже уходить в подполье. То есть, исповедуя всё еще пацифизм, бороться с крепнущим фашизмом в демократических странах предлагал революционными методами.

Он даже составил некий план, связанный с покупкой печатной машины, чтобы печатать листовки, рассчитал сметную стоимость ее, которая вроде бы не «выйдет» за три или четыре сотни фунтов, и говорил уже о закупке бумаги. «Это вполне выполнимо, – писал он Герберту Риду, считавшему себя анархистом, 4 января 1939 года, – если поднять людей». И торопил друга, предупреждая, что «время, когда вы можете купить печатный станок без каких-либо вопросов, не будет длиться вечно». А 5 марта написал: «Бой принять необходимо, и будет глупо, если мы не успеем принять необходимые меры предосторожности и нас заставят замолчать. Мы сложим печатные станки и прочее в укромном месте, и постепенно создадим агитационную сеть, и будем знать: “Если придет беда, мы будем готовы к ней”. Если же войны не случится, я буду рад, и меня не сильно огорчат небольшие издержки». Кстати, хотел подключить к этим «делам» независимых интеллектуалов Бертрана Рассела и Рональда Пенроуза, но, увы, Рид так и не дал ожидаемого ответа. Отказался от сражения…

Очерк «Марракеш» Оруэлл завершил сценой, не оставляющей ни малейшего сомнения, на чьей стороне он был и будет. Описывая батальоны французского Иностранного легиона, промаршировавшие как-то мимо него, он скажет: «Аисты летели на север, а негры шагали на юг – огромная пыльная колонна пехоты, артиллерии, потом еще пехоты, всего четыре-пять тысяч человек… Это были сенегальцы, самые черные негры в Африке… Когда они проходили мимо, один высокий и очень юный негр повернул голову и на меня посмотрел. Его выражение лица было

очень неожиданным. Оно не было враждебным, презрительным, усталым или даже любопытным. Юноша посмотрел на меня робко, широко раскрыв глаза, с огромным уважением. Я представил себе, что случилось. Бедный мальчик, который был французским гражданином, из-за чего его вытащили из леса, чтобы драить полы и подхватывать сифилис в гарнизонных городах, испытывает преклонение перед белым цветом кожи. Его научили, что белые люди – его господа… Но есть одна мысль, которая приходит в голову любому белому человеку… когда он видит, как мимо него марширует негритянская армия: “Сколько мы еще сможем дурачить этих людей? Когда они развернут свои винтовки?”… У каждого присутствующего белого человека в глубине души была именно эта мысль. Она была и у меня, и у других зевак, и у офицеров на потных строевых конях, и у белых сержантов, марширующих вместе с рядовыми. Это был наш общий секрет, который все мы знали…»

«Наш общий секрет» – три слова всего… Но это – та глобальная проблема противоборства добра и зла, которая сопровождает едва ли не всю историю человечества и о которой «образованные» люди всех времен и народов всегда предпочитали просто молчать – из-за той самой «интеллектуальной трусости» пишущих. Оруэлл обозначил ее: сначала – в трактате о Диккенсе, потом – в очерке про Марокко, а позже – и в книге Гольдштейна, которую тайно читают в романе «1984» Уинстон Смит и Джулия. Обозначил – но пока не решил.

* * *

Комментарий: Война идей и людей

Беглец из лагерей победителей возвращался в Англию как раз в год, когда на родине его эти «лагери» уже определились. За Сталина – против Гитлера, и за Гитлера – против Сталина. Этим жила его страна. Все чуяли подземный гул сдвинувшихся тектонических плит. Но никто не знал, куда качнется энергия «темной силы» большинства.

Оруэлл вез домой из Марокко роман как раз об этом: о безнадежно исчезнувшем прошлом и о страшном будущем бомб и дубинок. Выхода нет, пророчествовал. «Глотнуть воздуха» автору не удалось ни в милом его сердцу «вчера», ни в наступающем «сегодня». Роман-предупреждение! Оруэлл слегка гордился этой работой, тем, что проза его стала «легкой и прозрачной». В 1946-м, перечисляя книги, которые достойны

переизданий, он назовет «Памяти Каталонии», «Скотный двор», потом «Фунты лиха…», «Дни в Бирме» – и «Глотнуть воздуха». Но отнюдь не легкими оказались выводы романа: бежать было некуда! Воздух кончался! А справедливости не сулило даже будущее…

Автором фразы «Беглец из лагеря победителей», как назвал Оруэлла его друг Ричард Рис, была (я обещал рассказать об этом) современница Оруэлла Симона Вейль, французская писательница-антифашистка. Они – Вейль и Оруэлл – были и по жизни похожи. Симона Вейль, например, специально ограничивала свои расходы до размеров недельного пособия стачечникам, мучила себя, как и Оруэлл, изнурительной работой на заводах «Рено» и на плантациях винограда, у нее, наконец, был схожий личный опыт гражданской войны в Испании. Другая Симона – Симона де Бовуар, невенчанная жена Сартра, – в «Воспоминаниях благовоспитанной девицы» расскажет о «невыгодной» для нее встрече с Симоной Вейль. Обе были блестящими студентками философского факультета. И однажды, пробегая по двору Сорбонны, Симона де Бовуар увидела ораторствующую мадемуазель Вейль и услышала «тон» выступающей, «в котором не чувствовалось неуверенности». Вейль «вещала» о политике, убеждала собравшихся вокруг, что «для мира сейчас важна лишь одна вещь – революция, которая накормила бы всех голодных». «Я, – пишет Симона де Бовуар, – не менее категоричным тоном возразила, что проблема не в том, чтобы сделать людей счастливыми, а в том, чтобы найти смысл их существования… Она же в ответ, пишет, оглядела меня с ног до головы и отрезала: “Сразу видно, что вы никогда не голодали”…»

Симона Вейль, как и Оруэлл, умрет от туберкулеза, но в 1943-м, в тридцать четыре года. Окончательно убьет ее то, что она в знак протеста против фашизма вновь добровольно сократит свой дневной рацион до пайки, которой кормили заключенных в немецких концлагерях. В тетрадях ее после смерти и найдут ту фразу «про победителей». «Тот, – написала она, – кто понимает, на какую сторону в настоящий момент начинает крениться общество, обязан сделать всё, что в его силах, чтобы восстановить равновесие и быть готовым сменить сторону, как это всегда делает Справедливость, вечная беглянка из лагеря победителей…»

Железная, надо сказать, формула! Правило жизни умных, совестливых и смелых людей. Оруэлл не знал этих слов, но вся предыдущая жизнь его тоже умещалась в эту формулу. Все обвинения его «левыми» и вся враждебность «правых» отношения к нему не имели, ибо на первом плане у него всегда была

выверенная, как метр-эталон в Париже, Справедливость. Тоже с большой буквы! Удивительно, но Оруэлл в Марокко чуть ли не слово в слово повторил мысль Симоны Вейль: Диккенс, написал он, «менял сторону, когда побежденные становились победителями». А позже напишет и про то самое «равновесие». «Испанская война и другие события 1936–1937 годов, – напишет, – нарушили во мне равновесие; с тех пор я знал уже, где мое место… Вопрос заключается лишь в том, какую сторону принимаешь и каким подходам следуешь».

Добро в борьбе со злом, понял он, не должно воевать, ибо любая война – это ненависть, а любая победа, в силу уже этого, – зло. Добро должно держаться и утверждаться на стороне Справедливости, даже если она терпит поражение. Мысль, которую в наше время почти повторит русский философ Григорий Померанц. «Наивность, – написал незадолго до смерти Померанц, – представляет себе добро и зло как две крепости или два войска, с развернутыми знаменами и барабанным боем идущих друг на друга. На самом деле добро не воюет и не побеждает. Оно не наступает на грудь поверженного врага, а ложится на сражающиеся знамена как свет: то на одно, то на другое, то на оба. Оно может осветить победу, но ненадолго, и охотнее держится на стороне побежденных. А всё, что воюет и побеждает, причастно злу…»

Возвращаясь в Англию, Оруэлл (пацифист, анархист-революционер, «утробный социалист», белая ворона) знал и удивлялся, сколь различными будут теперь его враги. «Называя имена людей, которые поддерживают фашизм или оказывают ему свои услуги, – напишет, – поражаешься, как они несхожи… Назовите мне… политическую платформу, которая сплотила бы таких приверженцев, как Гитлер, Петен, Монтегю Норман[45], Павелич[46], Уильям Рэндолф Херст[47]… Эзра Паунд[48]… Жан Кокто[49]… отец Кофлин[50], муфтий Иерусалимский[51]… Антонеску[52]… Беверли Николе[53]… Маринетти[54]…» Что побудило их сесть в одну лодку, задавался вопросом Оруэлл, и сам же отвечал: «Все они из тех, кому есть что терять, или мечтатели об иерархическом обществе, которые страшатся самой мысли о мире, где люди станут свободны и равны».

«Война идей» на его глазах превращалась в «войну людей». Где появлялись идеи, пусть и самые человеколюбивые, вроде того же христианства – там жди крови и войн. И, как сказал уже Ганди, «какая разница для мертвых, сирот и обездоленных, во имя чего творится произвол – во имя тоталитаризма или во имя священной демократии…».

Что было делать ему, писателю, в этом мире? Конечно,

писать. Но о чем? Засесть за книгу о Марокко – была у него такая мысль, – либо за очередной роман, либо все-таки за семейную «сагу»? Работая над романом «Глотнуть воздуха», он вдруг с удивлением обнаружил, какая у него феноменальная память: он всё помнил с ранних лет. Из Марокко еще написал Джеку Коммону, что, погружаясь в «идиллические дни», проведенные в семье, он вдруг задумался, что мог бы написать нечто вроде истории рода – трилогию, не меньше. «Я был пронзен желанием написать сагу. Не знаю, может, для писателя это является признаком преждевременной старости, но у меня есть идея для огромного романа в трех частях, работа над которым займет лет пять, не меньше». Ведь тогда, напомню, он, параллельно с работой над романом «Глотнуть воздуха», задумал и начал писать то самое большое эссе о первой школе «Славно, славно мы резвились», тоже сплошь состоящее из картинок детства. Теперь хотел увековечить историю семьи Блэров, какие-то наброски первой книги из задуманной трилогии даже вез домой в багаже. Он помянет эту идею в 1940 году, в «Автобиографической заметке», где сообщит: «Сейчас я не работаю над очередным романом в основном из-за обстоятельств, связанных с войной. Но я обдумываю большой роман в трех частях, который будет называться либо “Лев и Единорог”, либо “Живой или мертвый”, и надеюсь закончить первую часть где-то в 1941 году…»[55] Позже оставит эту идею, скажет, что не «рассчитал сил». Но мне кажется, причина была в другом: он не мог не участвовать в том, что творилось вокруг. И – какими тварями творилось.

Да, многие медленно дрейфовали «в одной лодке» к фашистским берегам, но были ведь и другие. Томас Манн заявил уже, что считает антикоммунизм «кардинальной глупостью XX века», Бертольт Брехт был уже почти коммунистом, а Жан-Поль Сартр даже называл антикоммунистов «крысами». А кроме того, следя за событиями в мире, Оруэлл то и дело возвращался мыслью к тем странным цифрам той перевернутой «математики»: 2 + 2 = 5. Это был, разумеется, абсурд – он еще не сошел с ума! – но по этой формуле всё больше и всё чаще жил мир вокруг него. А главное – мир, кажется, не понимал еще того, что ему лично казалось очевидным и о чем он скоро прямо напишет в одной из статей: «*Энергия*, действительно делающая мир тем, что он есть, порождается *чувствами* – национальной гордости, преклонением перед вождем, религиозной верой, воинственным пылом: словом, *эмоциями*, от которых… интеллигенты отмахиваются бездумно, как от пережитка…» (курсив мой. – *В.Н.*) Та темная энергия той самой «темной силы»…

Сегодня эта мысль – почти общее место. Коллективные чувства людей, объединенные эмоции, психология толпы, та же «пассионарность» – всё это ныне учитываемые политиками факторы. А в тридцатые годы на первом месте были экономические процессы, марксовы постулаты, технический и социальный прогресс, материальное улучшение жизни. Оруэлл много размышлял об этом, особенно на примере своего вчерашнего кумира – Герберта Уэллса, этого проповедника, мечтателя, предсказателя.

Гитлер, с точки зрения Уэллса, был «крикливым берлинским пигмеем», «паяцем из комической оперы», которого интеллектуалам стыдно даже принимать во внимание. Уэллс всю жизнь проповедовал разумное плановое общество, где у руля будет наука, а не шарлатаны, где будут «порядок, прогресс, аэропланы, сталь, бетон, гигиена», а не война… Но вот теперь, в конце тридцатых, подчеркивал Оруэлл, современная Германия продвинулась по пути науки куда дальше, чем Англия: там как раз «порядок, планирование, наука, поощряемая государством, сталь, бетон, аэропланы», только поставлено всё это на службу войне «крикливого пигмея» и идеям, взятым едва ли не из «каменного века»…

А русские? – задавался вопросом Оруэлл. Разве во время революции 1917 года Уэллс не спорил с Черчиллем, уверяя последнего, что большевики – отнюдь не «чудовища, утопающие в пролитой ими крови», а люди, возвещающие «наступление эры здравого смысла и научного контроля…»? И кто оказался прав и в этом? «Возможно, первые большевики были чистыми ангелами или сущими дьяволами, – пишет Оруэлл, – но разумными людьми их никак не назовешь. И тот порядок, который они ввели, был не утопией уэллсовского образца, а правлением избранных… военной деспотией, подкрепленной процессами в духе “охоты на ведьм”…» Короче, Уэллс, по Оруэллу, «не смог, да и сейчас не в состоянии понять, что национализм, религиозное исступление и феодальная верность знамени – факторы куда более могущественные, чем то, что сам он называл ясным умом…».

И другую вещь понял Оруэлл, возвращаясь на родину. Он понял: главной бедой типичного западного социалиста является прежде всего его врожденный «гедонизм». Британские социалисты мечтают, чтобы каждому в улучшенном обществе были обеспечены «комфорт, безопасность, короткий рабочий день, гигиена, контроль рождаемости и вообще здравый смысл», чтобы было «спокойно и безопасно». «Социалист», издевается Оруэлл, реально «огорчается, застав своих детей за игрой в солдатики, но он никогда не сможет придумать, чем же заменить оловянных

солдатиков; оловянные пацифисты ведь явно не подойдут». А гитлеры и сталины понимают, что этого «списка благодеяний» людям мало, что народы хотят также «патриотизма и военных доблестей», «борьбы и самопожертвования, не говоря уже о барабанах, флагах и парадах». И эти желания народов, прокламируемые гитлеризмом и сталинизмом, «психологически гораздо более действенны, чем любая гедонистическая концепция жизни». Если социализм и даже либеральный капитализм сулят людям: «У вас будет хорошая жизнь», – то Гитлер сказал им: «Я предлагаю вам борьбу, опасность и смерть»; и в результате вся нация бросилась к его ногам… Вот, понял Оруэлл, то «кольцо» в носу Европы, за которое «водили» ее к концу тридцатых годов и Гитлер, и Сталин.

Не знаю, попадались ли ему слова Ллойд Джорджа, сказанные после Версальского мира 1919 года? Тот сказал, что в Версальском мире, подписанном по результатам Первой мировой войны, уже заключена следующая большая война. Слышал ли потом, что тогда же советник американского президента Вудро Вильсона, комментируя Версальский мир, насчитал в нем как минимум 11 будущих «запрятанных» войн? Ведь условия, выставленные победителями Первой мировой, были воистину нечеловеческими. Семь миллионов немцев по условиям того «мира» оказались за пределами Германии. Чудовищные репарации, которые выплатить было почти нереально, потери колоний, почти 10 миллионов безработных немцев. И когда в Париже был устроен салют – конец мировой войны! – в Германии были вывешены траурные флаги. Крах, разорение, предельное унижение немцев – и подсознательное чувство мести. Нации мстят за свое унижение. Да и СССР, вторая в то время «головоломка» Оруэлла, тоже был движим по отношению к Западу сходными чувствами: ведь Европа не «признавала» Советскую Россию как государство до 1929 года. Вот почему возрождение, становление, а затем и возвышение России стало, не могло не стать, подсознательной целью русских и их огромного государства…

Связаны ли прошлое, история – с будущим? Можно ли управлять этой связью? Почему при этом никого не интересует истина? Почему после Испании Оруэлл понял, что «истина» вообще исчезает? И исчезает не по максиме Томаса Гексли («Истина рождается как ересь и умирает как предрассудок»), а вообще исчезает, за ненадобностью. Но если исчезает «истина», исчезает и «ложь». Ложь становится правдой, а правда – ложью. И не те же ли процессы происходят и с вечными войнами человечества? Даже сегодня, в новом тысячелетии? За мир

всеобщего «потребительства», за сыр пармезан или айфон последней модели люди воевать не пойдут, а вот за идеи, внушенные им, – будь то национальное величие, радикальная вера или зависть к богатствам соседа, – возможно, и возьмут оружие в руки, пойдут рисковать единственной жизнью. И если окружающий мир – это самопроизводящиеся войны, одна рождается из другой, то ведь и мир, которым заканчиваются войны, – это война? Затаившаяся уже в день подписания мира?..

Часть третья.
«Свобода – это рабство»

Глава 9.
«Адвокат дьявола»

1.

В бомбоубежище не спускались. Ни разу. Услышав сирену, просыпались, потом, даже в три ночи, молча одевались и шли к окну, чтобы сверху, с четвертого этажа их квартирки на Чагфорд-стрит (а потом и с седьмого, последнего этажа на Лэнгфорд-плас, куда переедут через год) так же молча смотреть, как соседи тянулись в подвал. Выскакивали на улицу, лишь когда замечали, что кому-то нужна помощь: либо бомба рванула близко, либо занялся внизу никому пока не видный пожар.

«Ведь это естественно – встать, а затем, не услыхав взрывов, постыдиться идти в бомбоубежище», – записал Оруэлл в дневнике 25 июня 1940 года, в свой день рождения, про который, наверное, даже не вспомнил. Стыдился, но и пренебрегал безопасностью ради, думаю, чисто писательского желания запомнить «общую картину». С высоты полета птиц – не с точки зрения «червяка на земле». Эти слова про «птиц» и «червей», про разные «кочки зрения» я встречу потом в его дневнике через долгие три года войны. А тогда, после первых авианалетов, он всего лишь признался, что всякий раз, глядя сверху, испытывал гордость за сограждан, которые, не обгоняя других и не толкаясь, шли в убежище. Кстати, когда ему в те дни кто-то сказал, что теперь безопаснее жить в Уоллингтоне, он ответил: «Нельзя уезжать, когда… бомбят людей»…

После этих слов в дневнике много дней зияла фраза: «Реальных новостей нет». Но через месяц, 27 июля, вдруг записал: «Постоянно, когда я иду вниз по нашей улице, ловлю себя на том, что смотрю на окна, выбирая те из них, которые могли бы быть хорошими пулеметными гнездами». Позже узна́ет – как раз в июле Гитлер выпустил директиву: «Я решил готовить наземную операцию в Англии и, если потребуется, осуществить ее…»

А потом случилось 7 сентября 1940 года: самая крупная, в полнеба, бомбардировка Лондона – 625 бомбардировщиков в сопровождении 648 истребителей. Это будет повторяться ровно 57 дней. «Битвой за Британию» назовут эту трагедию. Под бомбами в те дни погибло 6954 человека, а ранено – 11 тысяч. Но самым памятным для него остался тот первый «ковровый» налет немцев. И тоже увиденный с высоты.

«Когда мне попадаются слова “Битва за Британию”, – запишет в дневнике, – я всякий раз поражаюсь, что реально “эпическое” событие отнюдь не кажется таким в момент происходящего. Ярко помню тот день, когда немецкие самолеты, прорвавшись, подожгли доки Ист-Энда; но ведь запомнились в основном какие-то пустяки. Во-первых, как я ехал в автобусе пить чай к Коннолли, а две женщины прямо передо мной спорили, что вспышки на небе – это парашюты. Мне с трудом удалось влезть в разговор и разубедить их. Потом мы прятались, как прячутся от ливня, от падающих осколков в подъезде на Пикадилли. Затем – широкий строй немецких самолетов, располовинивший небо, и несколько молодых морских офицеров, выбежавших из какого-то отеля и передающих из рук в руки пару биноклей. Потом – сидение в квартире Коннолли на верхнем этаже и картина, как на экране, чудовищных всполохов за собором Св.Павла и клубов дыма от горящей нефти где-то за рекой. И слова Хью Слейтера, сидящего на подоконнике: “Это просто как Мадрид; чистое подобие…” Удивил Коннолли, который повел нас на крышу и, смотря на пожар, вдруг сказал: “Это конец капитализма. Это будет суд над нами”. Я не чувствовал никакого будущего суда, я был просто поражен размерами и красотой пламени… Но и тогда я не ощущал, что происходит историческое событие…»

И день, и ночь как день были действительно ужасны. В клубах черного дыма вырывающееся пламя было как бы прыгающим. В районе доков находились склады с продовольствием – запасы страны. Горело зерно, огненной лавой текли реки сахара, взрывались бочки с маслом, вином и виски, полыхал, закрывая половину горизонта, каучук. Восемь церквей перестали существовать в одну ночь, была разрушена даже церковь Букингемского дворца. «Слава богу, – сказала королева-мать, – теперь я ничем не отличаюсь от своих подданных». А Черчилль скажет потом, что Лондон «походил на какое-то огромное доисторическое животное, способное переносить страшные раны, изувеченное и кровоточащее и всё же сохраняющее способность жить и двигаться…». Образно сказал! Не зря ему дадут потом Нобелевскую премию по литературе…

Оруэлл лишь через пять дней после первой бомбежки более или менее спокойно записал: «Чем серьезней становятся воздушные налеты, тем заметней, что люди на улицах стали гораздо свободнее в разговорах. Сегодня утром встретил парня лет двадцати в грязном комбинезоне, вероятно, из гаража… Он сказал, что Черчилль, посетив место одной бомбежки, где было разрушено 20 из 22 домов, сказал: “Ну, не так уж и ужасно”. “Я бы ему чертову шею свернул, – заметил, – если бы он сказал это

мне”. На войну смотрит пессимистично, считает, что Гитлер, несомненно, победит и ввергнет Лондон в такое же состояние, как в Варшаве… При всем том он не был непатриотичен. Он даже четыре раза пытался попасть в Военно-воздушные силы, и четыре раза его не брали…»

Оруэлл тоже был уже патриотом. Из «ярого пацифиста» двух последних лет он в одну ночь – и, вообразите, во сне! – стал не менее ярым патриотом. Ему, как и герою романа «1984», прозрение явилось как бы свыше: «Это был один из тех снов, которые… открывают нам наши истинные чувства. Этот сон открыл мне две вещи: что война родила меня заново и что в глубине души я патриот – я не могу саботировать войну, я хочу драться… Всё это очень, конечно, хорошо: быть “передовым” и “просвещенным”… и гордиться своей свободой от всех традиций, – но приходит час, когда земля вдруг окрашивается кровью, и тогда: “О, что сделаю я для тебя, Англия, моя Англия?”…»

Давно ли он выводил в статьях свои умозрительные представления о будущей войне, утверждал, что бойни нужны «международному капиталу», что принимать участие в них – «низость», что Англия, с ее «демократическими лозунгами», двусмысленна, что это «жалкий фарс» левой политики? И вот – рвался в армию сам. Не только пишет прошение о призыве, но, чтобы обмануть медкомиссию, заучивает по справочникам «правильные ответы» о своем «отличном здоровье». А когда врачи дали ему афронт из-за легких, он одним из первых записывается в гражданские отряды самообороны, и марширует вместе со всеми, и копает окопы в Риджентс-парке, и возмущается громче всех, что правительство не вооружает горожан. И тогда же он, «*bad egg*» (ха-ха!), довольно грубо язвит: «Я уверен, что половина мужчин отдали бы свои яйца» ради освобождения от воинской службы, «но я этого делать не собираюсь…»

Яйца, правда куриные (вот уж действительно ха-ха!), сопровождали его все те полгода – от дня возвращения из Марокко в марте 1939 года до сентября, начала войны. Я – о «продукции» его несушек в Уоллингтоне, которую он педантично подсчитывал и ежедневно отмечал в дневнике. Он даже через три дня после похорон отца, не помянув, кстати, этого события, занесет в дневник: «Прекрасное утро, но в полдень – тучи. Сад в основном в хорошем состоянии… 10 яиц сегодня… продано на неделе – 72…»

Предвоенное лето запомнилось ему смертью отца – и выходом в свет романа «Глотнуть воздуха». Вернее, наоборот: сначала – книгой, потом – похоронами. 82 года – скоротечный рак

кишечника, прервавший «благородный покой» родителя. Оруэлл приехал в Саутволд и последнюю неделю был рядом, даже монетки положил на глаза усопшего. Но что вдохновило его (хоть и звучит это кощунственно), так это то, что перед самой кончиной старого Блэра они окончательно помирились. Отец до последнего дня не верил в его идею стать писателем. И, конечно, его мучила мысль, что он, «испытанный тори», оказался отцом социалиста. Примирил их роман «Глотнуть воздуха», вышедший за две недели до смерти старика, а точнее – появившаяся 24 июня в *Sunday Times* рецензия «Успех Джорджа Оруэлла». Отец успел ее прослушать и сказать: «Я очень рад». «Он прожил хорошую жизнь и… под конец жизни уже не был столь разочарован во мне, – напишет Оруэлл об отце Муру, литагенту. – В последний момент, когда он был еще в сознании, он услышал ту рецензию… Он захотел увидеть ее, и тогда моя сестра и прочитала ее ему, а чуть позже он и потерял сознание…»

Монетки с глаз отца выбросил (они жгли карман), а семейные реликвии (старую Библию и портрет леди Мэри Блэр – леди Фейн) решительно забрал себе. Портрет повесит в Уоллингтоне рядом с бирманскими мечами – может, для того, чтобы вместе с ним к нему приходило, как заметит один из друзей, «некое тотемное вдохновение для создания семейной саги», той, к работе над которой так и не вернется. Слишком бурным, обжигающим мысли оказалось последнее предвоенное лето.

Прежде всего это касалось, конечно, романа «Глотнуть воздуха», который, как он был уверен, Голланц, издатель, непременно отклонит. По давнему еще контракту Оруэлл был обязан сдать любые три художественных произведения именно Голланцу, но поскольку сам он нарочно и с издевкой описал в романе некий Левый книжный клуб – шарж на любимое детище Голланца, – то, словно нарываясь на отказ, написал Голланцу, что не допустит теперь в рукописи ни малейших сокращений. «Он надеялся, что оскорбит Голланца своими насмешками, даже если это будет означать потерю аванса в 100 фунтов». Увы, к изумлению и Оруэлла, и литагента, Голланц не только безоговорочно принял книгу к печати, но и к первоначальному двухтысячному тиражу уже через месяц добавил еще тысячу. Ведь книгу почти сразу объявили «книгой недели».

Sunday Times отметила, что «разговорная и сленговая» манера книги не только сделала ее читабельной, но и стала как бы «бегущим комментарием нынешнего состояния мира». Автор словно бы доказал, что старый способ «рассказывания историй» закончился, и читатели должны ныне уметь держать себя в руках, встречая грядущие и довольно плохие времена. Прозвучали

аплодисменты роману и в *Times*, которая объявила, что автор дал наконец ответ на «одну из головоломок века» – на разрешение «проблемы маленького человека». *Spectator* отметил, что Оруэллу «удается писать свои романы так, что их легко отличить от книг других писателей», и это, кажется, стало первым признанием оригинальной манеры Оруэлла. Высоколобый Рис назовет роман ни много ни мало выдающимся, и не потому, что автор предрекает в нем Вторую мировую войну, а потому, что первым прокричал про наступление на мир «века железного тоталитаризма с резиновыми дубинками, очередями за продовольствием, лозунгами и садизмом». Но самым красноречивым стало письмо Макса Плаумана, того первого, кто заметил его когда-то в журнале *Adelphi* и, по сути, ввел в круг литературы. «Черт меня возьми! Какая книга! – восхитился он. – Я мог бы написать о ней целую другую книгу… Это написано для жизни, и ваш маленький человек оказался вполне “в порядке”, и именно так добивается своего бессмертия». Как близкий человек, добавил: «Очень надеюсь, что вы уже начали писать сказку, реагируя на мир на свой манер!..» Плауман был прав: сказка, будущий «Скотный двор», уже тикала в голове Оруэлла.

В то лето, кроме того, круто завертелась жизнь вокруг партий и движений – социалистических и коммунистических. Он прочел вдруг нашумевшую тогда книгу Кларенса Стрейта «Союз сегодня», книгу о том, что Европе и вообще западным странам, включая США, надо создавать (перед угрозой захватнических планов германского фашизма) большой союз с общим правительством, общими деньгами и полной свободой внутренней торговли, по типу объединения штатов Америки (совсем как нынешний Евросоюз). Но отклик на Стрейта Оруэлл почему-то назвал «Не считая черных». При чем здесь «черные», то есть негры? А при том, что Оруэлл, как всегда, единственный, заметил в «идее объединения» то, что не могло прийти в голову никому. Идея, казалось бы, благотворна: 15 «демократий» (США, Франция, Британия, Бельгия и другие) теоретически могли бы объединиться. Но чем-то «припахивает» от этой идеи, напишет Оруэлл, чем-то очень дурным. Чем? Да «как обычно – лицемерием и самодовольством». Стрейт не пишет, но Оруэлл буквально тыкает его носом в то, что тот пытается скрыть: что и Англия, и Франция – это страны, имеющие колонии в Азии и Африке, что население этих колоний огромно (одна Индия по числу жителей превосходит весь будущий предполагаемый союз), однако *этим* «рабам» в *этом* союзе не только не будет предоставлено «права голоса», но к эксплуатации их вполне смогут присоединиться и другие члены создаваемого союза – многократно усилив рабство.

Нет, он неисправим, этот Оруэлл! Не покупается на красивые идеи. Он, головная боль и левых, и правых, в этой маленькой заметке (четыре странички всего) ухитрился не только разоблачить «наперсточников» от идеологии, «антифашистов», не желавших на деле бороться с фашизмом, сумел не только защитить безымянных «цветных», которых и бросят в месиво будущей войны, но и предсказать проблемы созданного через полвека Евросоюза. И те же «двойные стандарты», и игнорирование мнений лимитрофов – карликовых государств, – и в целом тщетность любых объединений, если они базируются на «объединении капиталов».

Напомню: это было время, когда Оруэлл «по-тихому» покинул ряды Независимой рабочей партии и когда надежд у него оставалось всё меньше. Мир катился в пропасть, война была уже неизбежностью, и пацифизм его выражался уже, может, только в том, что в те полгода он решил поднатужиться и вырастить на своем участке хотя бы полтонны картошки – запастись на случай голода. Яйца куриные и картошка – вот всё, что он мог придумать для спасения семьи. Смешно, но весь дневник его той поры – это наблюдение за ситуацией в мире (как бы вполглаза) и… присмотр за курами (что называется, «в оба»).

«6.07.39 г. Безработица выросла до 1 350 000 человек. Ветрено… 11 яиц».

«15.07.39 г. Огромная демонстрация против британского посольства в Японии… 14 яиц. Продано 2. Вообще за неделю – 86. Но цена на яйца падает».

«16.07.39 г. 12 000 морских резервистов будут призваны к 31 июля… 11 яиц (одно сомнительное – впервые за последнее время) …»

Потом вновь заведет две тетради: одну – для коротких комментариев, другую – для яиц. Но и там, и там – всё то же.

«2.08.39 г. Речь Чемберлена против СССР… Приехавшие в огромном числе еврейские беженцы из Германии размещены в различных частях Лондона». А в соседней тетради за то же число: «12 яиц (30 продано)».

«7.08.39 г. 57 человек расстреляно в Мадриде… Много арестованных во Франции в связи с антивоенной активностью…» И рядом – «9 яиц, одно маленькое».

«22.08.39 г. В Берлине официально сообщается, что Риббентроп вылетает завтра в Москву подписывать пакт о ненападении с СССР. Новости позднее были подтверждены ТАСС…» И тут же – «11 яиц (4 маленьких)…».

Мир трясет как в падучей, до начала Второй мировой меньше двух недель, а у него по-прежнему: «Вчера сломал ручку лопаты,

но мне кажется, можно сделать новую ручку, а не покупать новую лопату. Сварили впервые яблочное повидло, хотя мне не кажется, что оно хорошее…» И снова – «13 яиц, 17, 21». Но именно в ночь подписания советско-германского пакта ему и приснился тот «сон», когда он стал записным патриотом.

Через год в статье «Моя страна – правая она или левая?», вновь вспомнив это событие, напишет: «Англию может спасти только революция, это ясно уже не первый год, а теперь революция началась, и возможно, что будет развиваться быстро, если только мы сможем отбросить Гитлера. За два года… если сможем продержаться, мы увидим изменения, которые удивят близоруких дебилов. Могу думать, что на улицах Лондона прольется кровь. *Пусть прольется, если иначе нельзя* (курсив мой. – *В.Н.*). Но когда красное ополчение разместится в отеле *Ritz*, я все равно буду чувствовать, что Англия, которую меня научили любить, никуда не девалась…»

Ну что тут скажешь? Ровно так же, как мы ныне удивленно качаем головой, читая про лавочный подсчет им «куриных яиц», его друзья-интеллектуалы удивленно, видимо, «качали ножками» по гостиным, читая в тот год, что революция в Англии уже, оказывается, «началась». Через несколько месяцев он не только попытается обосновать свои предположения, но в статье «Лев и Единорог: социализм и английский гений» предложит конкретный план «социализма в Англии». В то время он мучительно думал уже о «Скотном дворе», он много «негативного» знал о «социалистическом опыте» в СССР, он, наконец, на своей шкуре пережил в недалеком прошлом реальное «перерождение революции» в Испании – и все-таки вновь и вновь маньячно твердил об этом. Ведь даже в день подписания пакта Молотова–Риббентропа, проснувшись после памятного сна, он в дневнике не только буднично записал про «9 яиц плюс 4 маленьких», но и прикинул «прирост» Британской компартии. «Членство компартии, – записал, – выросло до 17 тысяч. Только в прошлом году прибавилось 2000 человек. 40% из них – в Лондоне…» Зрячая или слепая, но – вера в социализм.

> Вопрос из будущего: *Вы помните пчелу, которую убили? Она села на край тарелки с джемом, и вы почти машинально разрезали ее пополам. Но вы пишете, что она не заметила этого…*
>
> Ответ из прошлого: *Продолжала пировать, и сладкая струйка сочилась из ее брюшка. Но, когда собралась взлететь, ей стал понятен весь ужас ее положения…*
>
> В.: *Вы сравнили ее с людьми, у которых так же*

незаметно отрезали душу.

О.: *То же самое…*

В.: *Но под «душой» вы понимаете… религию, веру человека в Бога?..*

О.: *Уже к XIX веку религия, по сути, стала ложью, помогавшей богатым оставаться богатыми, а… бедные… им воздается за гробом… Оттого едва ли не каждый думающий человек и становился в каком-то смысле бунтарем… Литература преимущественно вдохновлялась протестом и разрушением. Гиббон, Вольтер, Руссо, Шелли, Байрон, Ибсен, Шоу, Джойс – все они изничтожают, подрывают, саботируют порядок. Два столетия мы тем и занимались, что подпиливали сук, на котором сидим. И вот с внезапностью наши старания увенчались успехом: сук рухнул, а с ним – и мы сами…*

В.: *Как и в России, кстати, накануне 1917 года…*

О.: *К несчастью, вышло маленькое недоразумение. Внизу оказалась не мурава, усыпанная лепестками роз, а выгребная яма, затянутая колючей проволокой. Впечатление такое, словно за какой-то десяток лет мы откатились во времена каменного века. Вдруг ожили человеческие типы – казалось бы, вымершие: пляшущий дервиш, разбойничий атаман, Великий Инквизитор, – причем сегодня они отнюдь не пациенты психиатрической лечебницы, а властители мира… Ампутация души – это…* не *просто хирургическая операция вроде удаления аппендикса. Такие раны имеют свойство гноиться… А если так, можно представить, что нас ждет. Войны и снова войны, революции и контрреволюции, гитлеры и сверхгитлеры – вниз, вниз, в пропасть, куда страшно заглянуть… Решительно ничего не вышло из идеи Царства Божьего на земле… То, к чему мы идем сейчас, имеет более всего сходства с испанской инквизицией; может, будет и еще хуже – ведь в нашем мире плюс ко всему есть радио, есть тайная полиция. Если мы не восстановим доверие к идеалу человеческого братства… шанс избежать такого будущего ничтожен…*

В.: *Да, да, ты мне брат, но лучше я буду держать тебя на мушке?*

О.: *Иначе не объяснить, отчего человек готов погибнуть в бою… Нелепо утверждать, что он поступает так исключительно по принуждению. Если бы принуждать приходилось целые армии, невозможной сделалась бы любая война. Люди погибают, сражаясь из-*

за абстракций, именуемых честью, долгом, патриотизмом и т.д., – разумеется, не в охотку, но, во всяком случае, по собственному выбору. Означает это лишь одно: они отдают себе отчет в существовании какой-то живой связи, которая важнее, нежели они сами, и простирается как в будущее, так и в прошлое, давая им чувство бессмертия… Люди жертвуют жизнью во имя тех или иных сообществ – ради нации, народа, единоверцев, класса – и постигают, что перестали быть личностями… Чувствуй они хоть немного глубже – эта преданность сообществу стала бы преданностью самому человечеству, которое вовсе не абстракция…

В.: *То есть тоже «религией» своего рода? Верой?*

О.: *Знаменитое высказывание Маркса, что «религия есть опиум народа», как правило, вырывают из контекста, придавая ему существенно иной, нежели вкладывал в него автор, смысл, хотя подмена едва заметна.*

В.: *О, да! Я, помню, испытал шок, когда в разгар перестройки, уже в аспирантуре, прочел впервые, что эту фразу Маркса у нас намеренно искажали все семьдесят лет. В учебниках и на плакатах писали: «Религия – опиум для народа», будто кто-то «подсовывал» людям опиум-утешение. А ведь у Маркса…*

О.: *Маркс… не утверждал, что религия есть наркотик, распространяемый свыше; он утверждал, что религию создают сами люди, удовлетворяя свойственную им потребность… «Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира. Религия есть опиум народа»*[56]*. Разве тут сказано не о том, что человеку невозможно жить хлебом единым, что одной ненависти недостаточно, что мир, достойный людского рода, не может держаться «реализмом» и силой пулеметов?..*

В.: *Всё это вы пишете в 1940-м. Но тогда же, в рецензии на «Майн кампф», вы мимоходом заметили, чем Гитлер заменил для своего народа и религию, и рай – «гедонистическую концепцию жизни», если по-вашему. Он заменил их «борьбой и сомопожертвованием»! Тоже не «молочные реки»…*

О.: *Он намечает, спустя сто лет, создание нерушимого государства, где двести пятьдесят миллионов немцев будут иметь достаточно «жизненного пространства»… это будет чудовищная безмозглая империя, роль которой, в сущности, сведется лишь к*

подготовке молодых парней к войне…

В.: *Но он заразил своими идеями нацию. Это ведь тоже как бы «опиум народа»?*

О.: *Он получил финансовую поддержку крупных промышленников, видевших в нем фигуру, способную сокрушить социалистов и коммунистов… Ситуация в Германии с ее семью миллионами безработных была явно благоприятной для демагогов. Но Гитлер не победил бы своих многочисленных соперников, если бы не обладал магнетизмом… что явно ошеломляет…*

В.: *И вас он «ошеломлял»? Ну, тогда, в конце 1930-х годов?..*

О.: *Я готов был публично заявить, что никогда не испытывал неприязни к Гитлеру. С тех пор как он пришел к власти… я понял, что, конечно, убил бы его… но лично к нему вражды не испытываю… Рекомендую фотографию… на которой Гитлер запечатлен чернорубашечником. У него трагическое, несчастное, как у собаки, выражение лица… Он мученик, жертва… Притягательность такого образа, конечно, велика…*

В.: *И что Запад мог противопоставить этому? Его «энергии уничтожения»?*

О.: *Лишь обычное пустословие насчет Всемирного государства… Ни одна из пяти крупнейших военных держав не допускает и мысли о подобном единении… И прежде чем заводить речь о переустройстве жизни, даже просто о мире, надо покончить с Гитлером, а для этого потребуется пробуждение энергии, которая… окажется… неприемлемой для «просвещенных» гедонистов…*

В.: *Что вы имеете в виду? Патриотизм? Равноправие и справедливость как мечту, как отрезанную уже половину души человека?..*

О.: *Отчасти, бесспорно, – некое смутное представление о лучшем будущем, но прежде всего – атавистическое чувство патриотизма… Двадцать предвоенных лет главная цель английских левых состояла в том, чтобы подавить это ощущение, и, если бы им удалось добиться своего, мы бы уже видели сейчас эсэсовские патрули на улицах Лондона. А отчего русские с такой яростью сопротивляются немецкому вторжению? Отчасти… их одушевляет еще не забытый идеал социалистической утопии, но прежде всего – необходимость защитить Святую Русь… о которой теперь вспомнил… Сталин. Энергия, действительно*

делающая мир тем, что он есть…

В.: *Ныне это называют смутным термином «пассионарность». Но что, а лучше спросить – кто спасет островную Англию, когда дело уже дошло до драки? Не интеллектуалы, не коммерсанты, не властная элита. Тогда кто? Рабочие, «пролы», как вы уже выразились однажды?*

О.: *Для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано… Мы живем в странный период истории, когда революционер обязан быть патриотом, а патриот – революционером… Когда грянет гром, простые люди могут оказаться гораздо более умными, чем интеллектуалы… Знаете, недавно один корабль с беженцами на борту и несколькими обычными пассажирами уходил из Северной Франции. Беженцами были в основном дети, которые были в ужасном состоянии, когда корабль стали расстреливать из пулеметов. Среди же пассажиров была некая леди, которая лезла без очереди, прорывалась первой, чтобы оказаться в спасательной лодке, а когда ей приказали вернуться на место, она возмущенно крикнула: «А вы знаете, кто я?» На что стюард ответил: «Мне все равно, кто ты, чертова сука. Встань на место, в очередь…» Интересно, не правда ли, если это было действительно так…*

Вот! Вот тот ответ, почему Оруэлл ждал революции и выдавал желаемое за действительное! Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие. Что они равны – заметил еще любимый им Свифт. Оруэлл лишь добавит, что некоторые скоты – равнее. По праву высокородного происхождения, по свалившемуся наследству, по наглости, по изворотливым извивам извилин в иных мозгах. Ведь даже про тех же животных и про войну он гневно напишет позже, в очерке «Англичане»: «Самым, пожалуй, отвратительным зрелищем в Англии являются собачьи кладбища в Кенсингтон-гарденз… Но существуют также и бомбоубежища для домашних животных, а в первый год войны можно было насладиться зрелищем празднования Дня животных… в самый разгар Дюнкерка…»

Да, первичная – сознательная, а порой и подсознательная жажда социальной Справедливости – перерастала у думающих, сострадательных, порядочных людей в желание действовать. Ведь это не мои выдумки, что в первый год войны на стенах Лондона

кто-то упорно царапал призывы: «За социализм!», «Да здравствует революция!» Ведь это факт, что Черчилль, придя в очередной раз к власти, первым делом закрыл, несмотря на свои демократические идеалы, коммунистическую газету *Daily Worker* (она не выходила с 22 января 1941 года по 7 сентября 1942 года). Ведь даже патриотизм рассматривался Оруэллом как революционность: сохранить душу, не дать ее ополовинить, то есть сохранить Сострадание и Справедливость и в близком кругу индивидуума – и в планетарном масштабе.

Про всё это, если забежать вперед, станет «Скотный двор» – сказка писателя, над которой он вот-вот начнет работать. Он будет разоблачать в ней псевдокоммунизм СССР, сталинизм и Сталина, но, заметьте, с единственнной целью – очистить истинный коммунизм, в который натурально верил. Это станет главным мотивом написания сказки, как бы ни противились этому ретивые «критики»» и за рубежом, и у нас. Очистить вековечный «опиум» народа, а не наркотик, кем-то подкинутый ему ради своих целей.

2.

Оруэлл был необычен во всем: в быту, взглядах, в отношениях с людьми, в творчестве. Таких не встречают в жизни – на таких натыкаются. И при жизни, и даже после смерти их – в тех же библиотеках или книжных магазинах. Налетают, набивая синяки и шишки, и лишь потом начинают думать: что же это было? Камень из пращи древности, юродивый, тревожно размахивающий руками у стен неведомого храма, или вообще комета, невесть откуда прилетевшая, чтобы опалить человечество?..

Не ловите меня на слове: я уже писал, каким он был, что любил и ненавидел, как выглядел. И про твидовые пиджаки, и про «глаза-лужицы», и даже про «осознанную обычность» его, которая является «высшей формой интеллигентности». Но всё это не объясняет, не расшифровывает загадки личности его, феномена необычной души – той самой неприступности ее, о которую, образно говоря, и расшибаешь лоб при встрече. Ведь было в ней, наверное, нечто глубинное, первородное, что и сделало ее такой. Но что?

Так вот, сооружая уже не первый год эту книгу, я ничего лучше не нашел, чем слова его современника, почти не переведенного у нас писателя и журналиста Гарольда Джорджа Николсона. Не знаю, читал ли Оруэлл его, писавшего книги о

Верлене и Суинберне и издавшего еще в 1927-м роман со странным названием «Какие-то люди». Но Николсон в одном из очерков написал и о колоссальной пользе – знаете чего? – застенчивости человека. Я аж задохнулся, прочитав это, – ведь я и сам в книге об Оруэлле уже восемь раз (специально пересчитал!) упоминал это слово в связи с ним. Скрытность, стыдливость («Он был щедро наделен стыдливостью», – заметит Рис), застенчивость – эти качества, конечно, не «рифмовались» с его дерзким, вызывающим, даже драчливым творчеством, но, кажется, были первопричинами его.

«Застенчивость, – тонко подметил Николсон, – словно околоплодная жидкость, оберегая личность, дает ей правильно развиваться: выросший без нее становится жертвой шаблона или подражательности. Лишь под ее бархатистой кожицей вызревает тугой бутон неповторимых душевных качеств; лишь сбрасывая понемногу ее нежные покровы, личность предстает во всей своей красе и силе. Пусть осознают стеснительные и робкие, что их недуг – не только иго, но и преимущество, пусть видят в нем скорее дар, чем бремя, пусть знают, как несносны их бойкие сверстники…»[57] Результат этого, кстати, заметил в начале 1930-х и Андрей Белый, который, жалуясь как-то «себе на себя», проклиная, что не может ни настоять на чем-то, ни отодвинуть плечом соседа, ни влезть без очереди, воскликнул: «Жить не умею!.. Не умею проскальзывать…» И тогда же поразительно добавил: «Но отчего же, отчего те, кто умеют жить, – так неумелы в искусстве?..»

Застенчивость, стеснительность, некая обособленность от людей делает человека оригинальным во всем. У такого по необходимости вызревают свои незаезженные взгляды, вкусы, критерии. Он не подхватывает в компаниях, коллективах, сообществах устоявшихся стандартов, трендовых мнений (как правило, пошлых), всех тех «шаблонов» и «подражаний», о которых пишет Николсон, и даже идеалов, выработанных кем-то, но не им. Такой «от рождения» сохраняет в себе неповторимую душу – то, что, возможно, и зажигает в каждом из нас Бог. Про таких и говорят: «От них пахнет святостью», – и таким, как правило, не прощается ничего, даже оторванной пуговицы на пиджаке. Ею попрекнут, ее обязательно «пришьют», как упрек, к биографии.

По-разному вспоминали Оруэлла в первые годы войны его друзья и знакомые. Джек Коммон, навестивший его в Уоллингтоне в начале войны, застал его, например, на приусадебном участке (Оруэлл в очередной раз взбадривал огородец). «Он стоял с мотыгой, выглядел очень хрупким; лицо –

с глубокими морщинами, и до жалости хлипкая грудь, – вспоминал Коммон. – Его прочные брюки из рубчатого плиса придавали его ногам массивность, странно контрастирующую с изможденным туловищем… Он говорил характерным глухим голосом, совершенно не смеясь, только иногда тоскливо хмыкал, и во всем, что он говорил, звучала усталость». Фредерик Варбург, его новый издатель, записавшийся в гражданское ополчение и оказавшийся, по счастливому совпадению, в одном из подразделений «стражей Отечества» (так назвал их Черчилль), где командовать назначат как раз Оруэлла и даже присвоят ему звание сержанта, запомнит друга уже на военной подготовке. «Его очень любили подчиненные, – скажет об Оруэлле, – он вел себя как офицер регулярной армии по отношению к людям, которые казались ему избалованными детьми… Форма, конечно, болталась на нем, фуражка была столь небрежно сдвинута, что я боялся, как бы она не слетела, но выражение лица по напряженности, написанной на нем, было сродни едва ли не кромвельскому…»

А вот кусочек жизни нашего героя от его друга и будущего биографа Джорджа Вудкока: «Всякий раз, когда он приходил к нам в квартиру или когда, хрипя, поднимался по лестнице в свою, он сначала, как довольно замкнутый человек, впадал в относительную тихость, не свойственную ему… И лишь затем, через некоторое время, за обедом или расположившись перед горящим торфом или углем, когда он начинал скручивать сигарету из крепчайшего черного табака и прихлебывать густой, как патока, чай, начинался разговор… Оруэлл ведь прожил очень разнообразную жизнь… И рассказывал о ней… с такими юмором и подробностями, что добирался до первозданной простоты… И лишь потом, через неделю или две, открывалось, что этот разговор стал для него частью его работы и лег в основу неторопливого увлекательного эссе… Однажды, – подчеркнет Вудкок в биографии Оруэлла «Кристальный дух», – я пришел к нему в полупустую квартиру, которую он снял на верхнем этаже высокого и довольно дорогого жилого дома… Он сказал, что большая удача, что он поселился рядом с крышей, потому что можно быстро выскочить на нее, чтобы потушить зажигалки. Казалось, он хотел жить как можно ближе к бомбе… А в какие-то другие разы разговор касался вопросов очень глубоких… После одного такого Герберт Рид, и сам не большой оптимист, сказал мне: “Боже мой, Оруэлл накаркает! Иногда кажется, будто он один слышит голос Иеремии…”»

Накаркает, накаркает – так накаркает, что мы до сих пор разбираемся с этим. Ведь больше 100 пророчеств его сбудется. Но

что меня, не приемлющего мистику, чертовщину и прочее «судьбоверчение», поразило, так это то, что в те дни он вдруг ни с того ни с сего вспомнил о необитаемых Гебридских островах в далекой Шотландии. Вспомнил – удивитесь же! – за 5 (пять) лет до того, как отправится на один из них, на остров Юра, где будет и писать роман «1984» – и, фактически, умирать. «Думаю постоянно о личном острове на Гебридах, которым никогда не буду обладать и, скорей всего, даже не увижу, – записал в июле 1940 года. – Комптон Маккензи сказал, что многие из островов необитаемы (из почти 500 только 10 процентов пригодны для жизни), а на большинстве из них есть только вода и там могут жить только козы…»

Вот как это? «Думаю постоянно…» Значит, смею предположить, не раз разглядывал карту Британии с одной-единственной мыслью: куда убежать, где бы ему, скрытному, скрыться от людей? Разве не отсюда его Уоллингтон и страсть к уединению? Не отсюда попытка фигурального бегства в детство и юность? Наконец, не отсюда ли его утопизм и антиутопизм или – как заметит Питер Дэвисон – мечта Уинстона Смита в романе «1984» о некоей «Золотой Стране»? И ведь именно там, на Юре, он обретет тот взгляд на будущий «человеческий муравейник» – как бы отстраненно, с той надмирной высоты, а не с точки зрения «червяка», ползавшего в ущельях улиц. И ведь это не он выберет именно Юру, как бы осуществляя мечту, – нет! Остров ему случайно, что тот убийца из-за угла, «подсунет» лорд Астор, будущий друг.

Пока же из готового к войне Лондона он убегать не собирался. Даже если придется погибнуть. Эйлин, потом Гвен, жена брата ее, намекали ему, что, если положение станет «хуже некуда», ему стоило бы перебраться в Канаду («дабы остаться в живых и заниматься пропагандой оттуда»). Оруэлл в дневнике запишет: «Я отправлюсь – но если у меня будут некие обязанности: если, например, правительство переедет в Канаду и у меня будет какая-нибудь работа, – но не в качестве беженца или еще одного журналиста, который поднимает визг, оказавшись в безопасности. Там и так уже полно таких беглых “антифашистов”. Уж лучше умереть, чем просто бежать за границу…»

Он предпочитал всё видеть своими глазами. Как шла торопливая массовая эвакуация детей, как при нем запускались в небо первые еще, смахивающие на барашков кургузые аэростатики, как обкладывали мешками с песком этажи наиболее заметных зданий. Англия ощетинивалась и оперялась, всё превращалось в будущие поля сражений: надолбы, ежи, траншеи, километры колючей проволоки, баррикады, когда в ход шли

старые автомобили, тележки, даже кроватные сетки и детские коляски. Почти исчез бензин для машин, были введены карточки на продукты, все искали свечи, ибо свет в дома давали с перебоями, а к табачным киоскам с утра выстраивались очереди, поскольку продавать стали по пачке в день. Слухи о военных ограничениях распространялись так стремительно, что Оруэлл, с его живым умом, даже сам попытается стать автором одного из них. В дневнике запишет: «Я за*пустил слух, что пиво скоро будет нормировано, и сказал об этом трем разным людям. Мне было интересно, вернется ли это известие ко мне, и как быстро». Но эксперимент не удался. Через два месяца призна́ется: «Слух не вернулся. Так что как распространяются они – пока не прояснил…»*

Довольно быстро они с Эйлин приспособились спать даже под взрывы. Это напоминало Испанию, пишет он, «когда мы, зарывшись в солому и согрев ноги, имели возможность поспать пару часов, а звуки далекой стрельбы действовали как хорошее снотворное». Когда на Чагфорд-стрит одна из бомб рванула уж слишком громко, Оруэлл спокойно спросил Эйлин: «Случилось что?» – и услышал невозмутимое: «Да нет. Окно вышибло…» А взрыв в их новом доме на Лэнгфорд-плас, 4, куда они переедут в апреле 1941 года (кстати, в тот семиэтажный кирпичный дом, который послужит ему потом прообразом дома «Победа» в романе «1984»), их даже рассмешил. Он грохнул часа в два ночи, и сразу после него Эйлин и услышала, «как кто-то кричал, что именно наш дом и попал под удар». «Мы, – запишет Оруэлл, – вышли в коридор и обнаружили много дыма и запах паленой резины… Поднявшись на крышу, увидели огромные пожары в самых разных точках. Дым плыл над крышей, но нам показалось, что это не наш блок. Когда мы спускались, нам уже говорили, что это *был* все-таки наш дом, хотя все оставались в своих квартирах. К тому времени дым был уже настолько густым, что трудно было добраться к себе. Кто-то, мы слышали, кричал: “Да! Да! Там кто-то есть еще в 3-й квартире” (это была как раз квартира Оруэлла. – *В.Н.*), – и звали нас. Мы схватили кой-какие вещи и вышли, сообразив, что дом может серьезно вспыхнуть… Я только потом осознал, что взял не пишущую машинку или какие-либо документы, но прежде всего оружие и ранец с едой, что было приготовлено заранее. Как выяснилось, это действительно была бомба, которая подожгла гараж и спалила все машины… Мы же завернули к Д., который дал нам чаю, и съели плитку шоколада, которую берегли месяцами. Только тогда я заметил, что лицо Э<йлин> было совсем черным. “А на кого, как ты думаешь, – рассмеялась она, – похож ты?” Я глянул в стекло и увидел: мое лицо тоже было совершенно черным…»

Но вообще было не до смеха. Денег всё еще не хватало, и Эйлин почти сразу устроилась на работу – в департамент цензуры, учрежденный правительством. Потом, через год, в Лондон переедут мать и сестра Оруэлла. Снимут квартирку неподалеку. Эврил пойдет трудиться в канцелярию завода металлоизделий; работать станет и 67-летняя гордая Айда. Она, мать вроде бы известного уже писателя, вынуждена будет устроиться продавщицей в крупный универмаг *Selfridges*, от дверей которого ее в марте 1943-го и увезет «скорая помощь» – увезет умирать. Известно только, что подвело сердце. И эта была не единственная смерть военной поры в роду Эрика и Эйлин.

Первым в семье погиб Лоренс, брат Эйлин, – хирург, он записался в начале войны в армию и в звании майора медицинской службы отправился во Францию в составе британского экпедиционного корпуса. Погиб еще в мае 1940 года, при знаменитой и неудачной попытке англичан высадиться на континент. Лоренсу говорили, что он напрасно подвергает себя опасности, но он отмахивался: он хочет приобрести «незаменимый опыт полевой хирургии». Погиб, пишут, на берегу – попал под шальной снаряд, оказывая помощь раненым. Тогда свыше трехсот тысяч британцев и французов были окружены немцами в Северо-Восточной Франции, прижаты к берегу в районе городка Дюнкерк и под шквальным огнем вынуждены были эвакуироваться через Ла-Манш. Почти тысяча судов, вплоть до рыбацких моторных лодок, были задействованы в их спасении. Шесть больших военных кораблей, вышедших из портов Нормандии и Бретани, набитые под завязку солдатами, пошли при этом ко дну…

Через восемь дней *Times* напечатала некролог о «пропавшем без вести» Лоренсе. Ему было тридцать шесть. А через несколько дней, уже в июне, случилась еще одна трагедия – и опять в семье Эйлин. Напуганная смертью Лоренса, Гвен, его жена, решила отправить в эвакуацию их полуторагодовалого сына. Детей отправляли в Канаду. 17 июня 1940 года Оруэлл записал: «Сегодня видел довольно большую толпу у посольства Канады, куда ходил, чтобы навести справки, как можно переправить туда ребенка. Кроме матерей, они никому не разрешают выехать вместе с детьми, никому (от 16 до 60 лет), опасаясь, видимо, паники». Гвен – врач, как и Лоренс, – с мальчиком не поехала, решив, видимо, что в Лондоне окажется полезней, и лишь через несколько дней узнала: корабль с ее сыном – один из последних кораблей с детьми – был потоплен немцами в Атлантике… Оруэлл опишет потом эту душераздирающую воображаемую сцену в дневнике, но не в своем – в тайном дневнике героя

романа «1984». Помните? Забыв про заглавные буквы и знаки препинания, уже на шестой странице романа, герой книги судорожно записывает, как немцы топят в море корабль: *«потом показали спасательную шлюпку с детьми и вертолет висевший над ними. там в шлюпке была женщина средних лет возможно еврейка с маленьким мальчиком лет трех на руках. мальчик кричал от страха и прятал голову у нее на груди а женщина обнимала его и утешала хотя сама посинела от страха, все время закрывала его собой как будто думала ее руки могут уберечь его от пуль. потом вертолет сбросил 20-килограммовую бомбу ослепительная вспышка и лодка разлетелась в щепки и детская рука взлетает вверх вверх вверх прямо в воздух…»* Так, думал Оруэлл, возможно, и погиб его племянник…

Две смерти в семье – и ни одной могилы! На Эйлин в те дни было страшно смотреть. «Друзья уверяли, – пишет Тейлор, – что она никогда не оправилась от этого горя». Лидия, подруга, скажет позже, что «жизнь ее, и так не очень благополучная, была почти уничтожена». А Тоско Файвел, сблизившийся в войну с Оруэллом, напишет, что на какой-то встрече, организованной издателем Варбургом, все заметили, какие глубокие изменения произошли с Эйлин. «Пока мы разговаривали, она сидела в саду, погруженная в молчание… Мэри (жена Файвела. – *В.Н.*) сказала, что она показалась ей полностью отрешенной. Так как Оруэлл и Эйлин были до определенной степени скрытными людьми, мы только после второй или третьей встречи узнали, что брат ее был убит…» Сама же Эйлин через полгода, перед самым Рождеством, призна́ется в письме Норе Майлз, что совершенно разбита. «Я была больна, – напишет. – Очень больна. Пролежала в постели 4 недели и все еще слаба… Они диагностировали цистит и затем – почечнокаменную болезнь, а потом – мальтийскую лихорадку с осложнениями на яичники, а позже вообще стали секретничать, когда диагностировали туберкулезную инфекцию, чтобы я никак не могла догадаться, что они там тестируют. Они пока не говорят, что у меня рак и даже все признаки душевной болезни, но я жду, что они вскоре придут и к этому». А еще через полгода всё тем же разорванным, почти бессвязным стилем сообщит подруге: «Физическое состояние немного улучшилось благодаря авиационным налетам, возможно, потому что я сплю по ночам на несколько часов больше, чем когда-либо; душевное состояние – снова ухудшается, поскольку авианалеты становятся монотонными; события в жизни после начала войны – ежедневная неимоверно тупая работа; раз в месяц – визиты в коттедж, такой же, как всегда, только всё грязнее; планы на будущее… найти и занять немеблированную квартиру в том же округе отряда

самообороны, с надеждой, что мы оба сможем жить в этой квартире; но эти намерения и надежды могут не исполниться из-за нехватки неразрушенных квартир и, быть может, из-за того, что мы вообще перестанем где-либо жить. Но последнее невероятно, – попытается она шутить, – и если коротко и точно подытожить: ничто вообще никогда не случится со Свинкой…» Так школьным прозвищем, помните, подписала и это письмо…

Когда пал Париж (а это случилось 14 июня 1940 года), когда мужественная Англия осталась один на один со звереющим Гитлером, Оруэлл, напротив, зачастил на Алитсен-роуд, 51, где располагался один из учебных центров добровольцев самообороны. Организация оказалась серьезнее, чем он думал, и это удивило его. С призывом к англичанам вступать в отряды самообороны выступил, как только возникла угроза вторжения немцев в Англию, министр иностранных дел Энтони Иден. В ответ «в течение суток, – напишет потом Оруэлл, – записалось четверть миллиона человек, и в первый же месяц – еще миллион». Для 45 миллионов британцев это было немало. «У разных классов в Англии патриотизм принимает разные формы, но он проходит сквозь все общество как связующая нить. Он чужд только европеизированной интеллигенции… Патриотизм рабочего класса – бессознательный, но глубокий…»

Группа «стражей Отечества» из десяти человек, которой он стал руководить, уповала «в случае чего» лишь на Господа. «Последний раз я уповал на Бога, – похихикал Оруэлл в дневнике, – должно быть, в Итоне, перед футбольным матчем в 1921 году». Смотр 5-го батальона «стражей» был устроен в Риджентс-парке, где были выстроены все 12 взводов, и произвел на Оруэлла впечатление смешанное. «В основном в строю,– записывал он по горячим следам, – старые солдаты и всегда присутствующие, раздрызганного вида, люди в штатском, впрочем, не такие уж и плохие. Процентов 25 – рабочий класс. И если такой процент – в районе Риджентс-парка, то в других он должен быть гораздо выше… Принимал смотр обычный старый идиот, почти дряхлый по виду, но изложивший в своем выступлении одну из самых толковых программ, которую я когда-либо слышал. Мужики, во всяком случае, были вдохновлены. И громкими аплодисментами было встречено сообщение, что винтовки наконец уже прибыли». Еще бы – вооружены «стражи» были кто чем: вилами, ножами, какими-то доисторическими пиками и – редкие – дробовиками.

Всех возмущало, что форму ополчения вместо разномастной гражданской одежды надо было приобретать за свой счет, что магазины всюду «наживались на ополчении», что фуражки

продавались только маленьких размеров («“Они”, видимо, думают, что все солдаты имеют головки»), а воротнички у тех же рубашек, напротив, рассчитаны на «толстошеих». Но если все лишь глухо роптали, то Оруэлл пишет и публикует гневное открытое письмо редактору *Time and Tide под названием* «Вооружите народ!». «Сэр, я почти уверен, что в течение нескольких дней или недель Англия подвергнется нападению, и вполне вероятно крупномасштабное вторжение морского десанта, – начинает письмо. – В такое время наш лозунг должен быть: ВООРУЖИТЕ НАРОД…»

Увы, призыв «вооружить народ» так и остался призывом. И через три с половиной месяца, отметит он в дневнике, его ополченский взвод будет иметь одну винтовку примерно на шестерых и «одного обмундированного по форме из каждых четверых…».

3.

Человек действия, он сражался как умел, но сражался всегда. И как же это всё было не похоже на поведение во время войны других всесветно знаменитых уже писателей. Не в укор им, но Сомерсет Моэм за три месяца до падения Франции, где у него, кстати, осталась огромная вилла с теннисным кортом, полем для гольфа и яхтой, с цветником, для которого он только что заказал и высадил 20 тысяч луковиц тюльпанов (привет курам и тыквам Оруэлла!), пишет и публикует в Лондоне огромным тиражом брошюру «Воюющая Франция» – о непобедимости французов. Не угадал! Французов победили в несколько дней. А когда опасность вторжения в Британию фашистов стала реальной, Моэм, написав очерк «Строго по секрету», в котором успокаивал англичан (всё идет нормально, ибо «театры и рестораны по-прежнему полны»), и призвав британцев «служить родине», покинул *Dorchester*, лондонский отель, и на военном самолете отправился в Америку. Пока Оруэлл писал свое открытое письмо, копал окопы в городском парке и разбирал с лондонцами горы кирпичей от разрушенных зданий, Моэм в деревеньке Южной Каролины поселяется сразу в двух коттеджах: один назовет «литературной хижиной», где будет жить и работать, а второй – для гостей и чернокожей прислуги: поварихи, горничной, садовника, грума для верховой езды и мальчика «на побегушках». Все четыре военных года, до апреля 1946-го, Моэм и проживет там: работа, бридж, кино, камин, застолья, любимый луковый суп, верховая езда с новым любовником – студентом и поэтом Дэвидом

Познером – и долгие разговоры с Пфайффером, биографом Моэма. А еще вместе со своими соотечественниками и братьями по перу – Кристофером Ишервудом и Олдосом Хаксли, тоже перебравшимися в США, – постигает у своего «гуру», специально нанятого индуса, Веданту, индийскую философию – и тишайшую «науку медитации». Пока грохочут пушки… Неплохо, да?!

И удивляет, конечно, другое: чем дальше от реальности были столпы британской литературы, тем благодушней были их взгляды на ближайшее будущее родины и мира. Всё будет «тип-топ», успокаивали, всё скоро закончится победой («через две недели», «через пару месяцев»). А Оруэлл, напротив, пророчил и каркал. Он ведь даже в предпобедные дни 1945-го будет спорить, что военные ограничения никогда не будут отменены: «они», власть, настаивал, не отменят не только продовольственные карточки, но даже ночные затемнения, ибо народ к ним привык, а верхам это даже выгодно… Курьез, завихрение мозгов? Нет, скорее логика, анализ природы власти. Он опять был как бы и над схваткой (как мыслитель, эксперт, философ), и одновременно в гуще страшной и небывалой еще схватки. Опять наособицу…

По плечу, масштабу, по реальной вовлеченности в эту схватку, по невеселому, но трезвому взгляду в грядущее ему в те дни были равны, пожалуй, лишь два писателя, и с обоими он сойдется как раз в дни войны. Я имею в виду Герберта Уэллса и Артура Кёстлера. Да и по смелости равными! Про Кёстлера и не говорю – его храбрость известна миру, – но мало кто знает, что 74-летний Уэллс, как и Оруэлл, ни разу не спустился в бомбоубежище, и даже в самые страшные бомбежки не прерывал трапезы у себя и бурчал гостям: «С какой стати я должен суетиться из-за этих маленьких варваров в самолетах… Можно мне еще того сыру?..» И добавлял, победно поглядывая на русскую любовницу, почти жену тогда, Муру[58], что этот «*fucking* Гитлер» не заставит его прятаться…

Я уже писал о противоречивом отношении Оруэлла к Уэллсу. Но особо существенной разницей между ними было отношение к ним в России. Я имею в виду тот самый «казус пуговицы». Про «пуговицу» заметила в свое время Анна Ахматова, когда рассуждала о своем муже, Николае Гумилеве. «Одним, – заметила однажды, – не прощается ничего, даже пуговицы незастегнутой, а другим прощаются даже преступления…» Вот так и Оруэллу в его известности не прощалось и не прощается по сей час ничего. На него вот-вот набросятся за «критику» Сталина и сталинизма в его «Скотном дворе», а тому же Уэллсу нечто подобное легко простят даже в Кремле. Я говорю про неизвестный у нас и ныне (и, разумеется, непереведенный) роман Уэллса «Ужасный ребенок»,

написанный им в 1939 году, где он презрительно назвал Сталина «вонючкой». Да, да, друзья, именно так!

Диктатор в романе Уэллса – убогий и сопливый мальчишка, «весь в комплексах», за которым уже в школе закрепилось это обидное прозвище – Вонючка. Он, с тринадцати лет мечтавший о мировом господстве, метавшийся между коммунистами и фашистами, в 1940 году совершает мировую революцию и, став «правителем мира», превращается в тирана-параноика. Всё в романе совпадает со Сталиным, всё прозрачно донельзя – это четко подчеркивает Максим Чертанов в биографии Уэллса. Вонючка Рут Уинслоу, опираясь на созданную им Партию Простых Людей, забитых и обиженных, установив собственный «культ личности» (его именем при жизни называют города), наводняет планету тайной полицией, подавляет инакомыслие, без суда убивает своих соратников, «уничтожает власть денег», госграницы и учит «строителя – строить, врача – лечить, а моряка – плавать». В романе есть даже «дело врачей», обвиняемых в преднамеренных убийствах, и процессы против евреев. Страх правит этим «скунсом», пишет Уэллс. А когда Вонючку в конце концов убьют (он задумает Окончательную Чистку), тело его забальзамируют и уложат в специальный мавзолей – как Ленина и, как в будущем, того же Сталина. Так вот, этого романа Уэллса в СССР почему-то «не заметили» ни тогда, ни потом – писателя как ни в чем не бывало и издавали, и переводили, и цитировали в России. А ведь он прямо писал в нем: «Странный тип – эти диктаторы XX века. Они расплодились подобно осам в засушливое лето. Их власть развивалась крещендо, потому что мир прогнил. Религии, законы – всё было мертво и смердело. Тираны были хозяевами зловония в мире»[59]. А всё потому, что власть взяли, дали дорваться до нее всего лишь «простым» якобы людям…

Надо ли говорить, что темы и проблемы, затрагиваемые Уэллсом в эти годы, остро волновали и Оруэлла. Их встреча, как, впрочем, и будущая ссора, были почти запрограммированы. Ведь после романа «Ужасный ребенок» Уэллс издал трактаты «Судьба *homo sapiens*» и «Новое устройство мира», в которых предсказал, что в будущем «Великобритания уступит лидерство Штатам, Китай переймет всё худшее от нацистской Германии», которая либо уничтожит весь мир, либо сама будет уничтожена. А про СССР, заметив, что русские по натуре «храбры и безответственны», скажет, что если они ругали и бунтовали против царя, то будут в конце концов ругать и Сталина, и его коммунистов, и те в конце концов исчезнут с лица земли… Причем предугадал – любопытно! – что начнется крушение

советского социализма с… Михаила Зощенко! «Я не могу представить, что нацистский режим, – напишет Уэллс, – допустил бы хоть на мгновение популярные рассказы Майкла Зощенко, в которых недостатки советского режима подвергаются веселой насмешке. Смех может разрушить тюрьму; это средство освобождения». Тут – два шага до бахтинской «культуры карнавала», способной разрушать системы, и ведь угадал Уэллс: с постановления компартии 1946 года о Зощенко и Ахматовой и началось бесшумное подтачивание гигантской железобетонной «кладки коммунизма» по всему миру… Ну разве не тема для встречи Уэллса и Оруэлла? Тем более что Уэллс уже написал о себе то, что безоговорочно признал бы и Оруэлл: «Мне все равно, если на какое-то время я окажусь в меньшинстве, один против всего человечества, потому что в конце концов, если я нашел истину, она победит всегда. А если мне не удалось ее найти, я сделал всё, что в моих силах…»

История ссоры с Уэллсом важна для биографии Оруэлла и сама по себе, и в силу того, что анахорет Оруэлл не так уж и много общался с писательской элитой Британии. А в нашем случае она важна еще и потому, что первопричиной ее стал разный взгляд знаменитых утопистов на тенденции развития общества – на будущее.

Встретились впервые в марте 1941-го, и ничто, разумеется, не предвещало будущей размолвки. «О чем разговорили утопист с антиутопистом, – пишет тот же М.Чертанов, – неизвестно, можно только предполагать: о социализме, о будущем, об Испании… о Черчилле, к которому оба после 1940 года переменили отношение в лучшую сторону… Но конфликта не было». Правда, заканчивает осторожно: «Поскольку ответное приглашение последовало лишь через несколько месяцев, можно предположить, что два писателя не особенно понравились друг другу». Да, ответное приглашение последовало лишь в августе. И Уэллс пришел. Но как раз накануне журнал *Horizon* (его только что создали и возглавили Сирил Коннолли и Стивен Спендер) опубликовал статью Оруэлла, которая так и называлась «Уэллс, Гитлер и Всемирное государство». Нет, ничего враждебного к Уэллсу в ней не было. Оруэлл лишь усмехнулся над высказанной классиком уверенностью в слабости Гитлера и верой в спасительную силу науки и интеллектуалов. А самыми страшными в статье Оруэлла были слова, что сосредоточенность Уэллса на этой вере делала его «вдохновенным пророком в эдвардианском веке», а ныне, увы, превращала «в мыслителя, отставшего от времени…».

Повторяю, Уэллс пришел в гости и попытался вновь

объяснить Оруэллу, что не считает науку панацеей, просто ее должны использовать умные, а не дураки. Но Оруэлл – уж и не знаю почему – в марте 1942 года, участвуя в одной из программ «Би-би-си», вновь повторил, что Уэллс видит панацею в науке. Вот тогда фантаст и написал ему: «Я ничего подобного никогда не говорил. Почитайте мои ранние работы, говно вы эдакое!..»

Разбирая «конфликт», М.Чертанов верно замечает, что прийти к согласию Оруэлл и Уэллс и не могли. «Их разделяло главное, – пишет он: – вопрос, кто “хороший” и кто “плохой”. Уэллс был, в общем, прав, говоря, что семья и образование всё определяют, но иногда они определяют с точностью до наоборот: как сам он, выросший в бедности, не любил “простых людей”, так и Оруэлл, рожденный в аристократической семье и учившийся в Итоне, не любил интеллектуалов. Уэллс тянулся вверх – Оруэлл стремился опуститься “вниз”, стать своим в мире людей физического труда… Уэллс считал, что базу тоталитаризма составляют темные, малограмотные люди с преобладанием животных инстинктов – Оруэлл утверждал, что именно интеллектуалы восприимчивы к тоталитарной идеологии…» «Кто прав? – спрашивает М.Чертанов. И примиряет спорщиков: – Интеллектуалы, бывает, обслуживают диктаторов; “простые люди”, бывает, голосуют за них…»

Иное дело – Кёстлер, с которым Оруэлл также познакомился в первые годы войны. Этот был вровень ему и, как и он, тоже предпочитал всё пробовать на зуб да на горб. В отличие от Уэллса, Кёстлер был знаком с тоталитаризмом накоротке. И главное, он, как и Оруэлл, сумел избежать, обойти ту коварную ловушку «военной поры», в которую легко попадали даже неглупые интеллектуалы-социалисты. «Ловушка», помните, заключалась в невозможности критики Сталина и СССР из опасения, что тебя запишут в сторонники Гитлера и фашизма. Третьего как бы не было, как не будет его и после смерти писателей, когда мир возведет глухую стену между капитализмом и социализмом (кстати, именно Кёстлер настаивал, что он придумал выражение «железный занавес»). Тем удивительней, что один «еретик», Оруэлл, смело адвокатствуя не близкому ему «консерватизму», сумел сойтись и подружиться с другим таким же – Кёстлером, которого ведь тоже можно назвать крылатыми уже словами «беглец из лагеря победителей». Потому, кстати, обоих и ныне иные «идеологические ревнители» облыжно зовут «фашистами»…

Они – Оруэлл и Кёстлер – станут друзьями на всю оставшуюся жизнь. Более того, чуть не станут родней, когда Оруэлл через шесть лет сделает предложение сестре жены

Кёстлера, красавице Селии Кирван. Многое, слишком многое в их жизни пересекалось. Кёстлер, как и Оруэлл, жил в одни и те же годы в Париже, как и Оруэлл, сражался в Испании, где, арестованный франкистами, был приговорен к смерти и три месяца ждал в одиночке Малаги расстрела. Освободила его из застенков первая жена Дороти Ашер, с которой он давно расстался (все три жены любили Кёстлера беззаветно, а последняя, Синтия, не желая оставаться на земле без него, покончила с собой вместе с ним). Именно Дороти развернула в прессе широкую кампанию за освобождение мужа из тюрьмы, подключила писателей, журналистов, даже священников. А Кёстлер, как пишет его биограф М.Улановская, «не желая быть неблагодарным, заметит потом: “Когда я узнал, сколько шума подняли из-за меня, и сравнил это с безвестной гибелью моих друзей в России… я с большой силой ощутил страшный долг… Роман «Слепящая тьма», начатый через год, и был первым взносом”».

Сблизила друзей – занятно – «мусака»: тушеные баклажаны с мясом, уложенные послойно. Нет, конечно, литература и политика – но ведь и мусака…

«Я впервые встретился с Джорджем между декабрем 1940 и апрелем 1941 года, – вспомнит Кёстлер… – Мы говорили о задуманной Оруэллом серии книг. Потом, в 1942 году, когда я оставил службу в армии, я жил в одном доме с Сирилом Коннолли… Это было время, когда мы были очень дружны». А потом наступит период, когда они часто – два-три раза в неделю – встречались в *Elize*, в ресторане, вместе с Джулианом Саймонсом, Малькольмом Маггериджем и Тоско Файвелом. «Про этот ресторан Джордж сказал нам, – пишет Кёстлер, – что здесь подают настоящую греческую мусаку (“Во всем Лондоне вы не найдете лучше”), хотя на деле она оказалась ужасной…»

Эх, дорого бы я дал, чтобы услышать разговоры их! Двух интереснейших людей эпохи, почти ровесников (Кёстлер был на два года младше). К тому времени Кёстлер, вырвавшись из Франции (он записался для этого в Иностранный легион под именем швейцарского гражданина Дюбера), не дождавшись английской визы, вылетел в Англию, где вновь на шесть недель угодил в тюрьму за незаконный въезд, но, выйдя из нее, первым делом направился в мобилизационный пункт. Ему нашлось, увы, место только в сапёрном корпусе – по сути, в стройбате: рыть траншеи, разбирать завалы, восстанавливать разрушенные дороги. «Ужасная глупость, – запишет Оруэлл в дневнике, – что одаренный, полный сил человек, который говорит уж не знаю на скольких языках, реально знает Европу… не может быть

использован иначе, как на расчистке битого кирпича». Но, вырываясь раз в неделю в Лондон, Кёстлер стал тем не менее участвовать в пропагандистских радиопередачах на немецком, писать листовки для солдат вермахта и выступать с лекциями в войсках. Он ухитрялся даже дежурить на крышах и водить, когда требовалось, санитарные машины.

«Джордж и я, – вспомнит позже Кёстлер, – были единственными антисталинистами, которые печатались». В дни встреч их Кёстлер как раз писал программную статью «Йог и комиссар», а Оруэлл обдумывал не менее рубежную для себя брошюру «Лев и Единорог». О них, об этих темах и говорили «под мусаку» две родственные, почти братские души.

В статье «Йог и комиссар» (1942) Кёстлер как бы намечал многие из тем, которые оба будут развивать до конца жизни. «Комиссар, – пишет он, – верит в перемены извне. Он верит, что всё мировое зло, включая запор и эдипов комплекс, будет излечено революцией, радикальным переустройством системы производства и распределения; что эта цель оправдывает использование всех средств, включая насилие, обман, предательство и отраву». На другом конце спектра как бы притаился йог. Этот верит, что цель непредсказуема и что важны только средства. При этом ни при каких обстоятельствах не признаёт насилия. Он считает, что ничего нельзя исправить внешней организацией, но всё – индивидуальным усилием изнутри. Совсем как Пастернак и потом Бродский, помните, с их призывом не объединяться даже ради борьбы со злом. Но Кёстлер, в отличие от них, призна́ется, что всю жизнь разрывался между желаниями стать учеником йога и превратиться в комиссара. Оруэлл же возражал ему, считая, что стремление стать комиссаром у Кёстлера доминировало, ибо он верил в действие, а в случае необходимости – и в насилие. То есть как бы уличал друга в том, что для человека его вступление когда-то в компартию, пусть и немецкую, даром не проходит.

Вообще, расхождения друзей в политических взглядах тонки и почти незаметны, но важнее, на мой взгляд, бросавшихся в глаза сходств. И мусака (вот ведь привязалась!), то есть умение разбираться и ценить «радости жизни», – несомненно, в их числе. Недаром Оруэлл в одной из поздних рецензий как бы мимоходом бросит про друга короткую, но острую фразочку: заметит, что «щелочка в броне Кёстлера – это его гедонизм». Мыслишь, читатель?! И Кёстлер, тяжелый как таран Кёстлер – что удивительно! – согласится с ним.

Настаивая, что между йогом и комиссаром нужен не компромисс, а «синтез двух подходов», Кёстлер пророчествовал,

что в противном случае не останется надежды предотвратить разрушение европейской цивилизации. Речь вел о «советской опасности». Но после войны, судя по статьям, придет к однозначным выводам. Напишет: «Снова и снова я вижу тот же сон. Меня убивают в темноте в каких-то зарослях или кустах; всего лишь в десяти метрах – многолюдная дорога; я зову на помощь, но меня никто не слышит. Толпа идет мимо, болтая и смеясь». И дальше скажет: «Вы и есть эта толпа, идущая, смеясь, а мы, немногие уцелевшие жертвы и свидетели того, что делается в кустах… только кричим и вопим в газетах и на митингах…»

К концу жизни Кёстлер отойдет от политики, «йог» победит в нем «комиссара». Но в главном – в разоблачении сталинского социализма ради самого социализма – останется верным другу. Правда, призна́ет: Оруэлл был прямее, честнее, бескомпромисснее его в этой борьбе. Призна́ет его «единственность», а значит, и одиночество в этой борьбе. А размышляя над природой несгибаемой души Оруэлла, прямо призна́ется: «Он был беспощаден к себе. Он боролся с болезнью легких с детства… Понимаете, – изумлялся, – он бунтовал против собственной биологии и бунтовал в то же время и против социальных условий, и оба бунта были очень связаны между собой… Он был недобр к себе, и он был недобр к своим друзьям. Чем ближе они были к нему, тем более он был недобр, а его бесконечная теплота к людям выявлялась – в безличной, разумеется, форме – лишь в книгах…»

Эти слова дорогого стоят. Такого, каким представил его Кёстлер, и впрямь голыми руками не возьмешь – воистину неприступная душа… В конце концов оба они поймут, что «всякая революция – это неудача». Но и это поймут по-разному. Кёстлер в «Слепящей тьме» докажет сам себе, что утопия – социализм – оказалась, как и положено утопии, неосуществимой, и значит, как позже заметит о нем Оруэлл, надо запастись «временным пессимизмом», то есть «держаться подальше от политики, создать некий оазис, где ты и твои друзья сохранят головы ясными, да надеяться, что лет через сто положение каким-то образом переменится к лучшему». В этом и заключались «гедонизм» Кёстлера, «побуждающий его признать желательным земной рай», и его такое естественное для человека желание все-таки «достичь счастья». Именно это Оруэлл назовет тупиком, в который Кёстлер попал после своего знаменитого романа. А сам Кёстлер, согласившись, что всякая революция – неудача, признав, что «любые усилия преобразовать общество насильственным путем кончаются подвалами ГПУ, а Ленин порождает Сталина», тем не менее будет настаивать: это всегда «разная неудача». А главное –

нельзя с водой выплескивать ребенка, то есть забывать о целях любой революции: дело не в том, чтобы революционным путем «сделать мир совершенством, но в том, чтобы сделать его лучше». Это Оруэлл тоже поймет – правда, позже, в 1946-м, после того как не только напишет «Скотный двор», но и опубликует его.

После смерти Оруэлла, ставя его между Свифтом и Кафкой, Кёстлер подчеркнет: «Свифт никогда не говорил ничего положительного о вере в человечество, он видел лишь абсурд; не было этой веры и у Кафки. А у Оруэлла такая вера была…» Вот ради этого – простите мне высокопарность! – Оруэлл и был неприступен в своей беспощадности…

Он только не знал еще, что идеалы, в которые веришь неуклонно, имеют пренеприятное свойство со временем деформироваться, меняться, образно говоря, предавать самих же себя и оборачиваться иной раз к людям чуть ли не противоположностью былой веры в них.

4.

Так или примерно так утопии превращаются ныне в антиутопии. Не успевшие осуществиться идеалы – в осуществившиеся вдруг антиидеалы. И таким примерно образом размышления о событиях обгоняют порой сами события. Это случится и с Оруэллом, когда он в первой половине 1941 года в спешке опубликует подряд три важные для него статьи, работы, по которым можно проследить эволюцию его взглядов. Не поступательную эволюцию, как у всех, – скорей, взрывную…

Решайте сами: в феврале 1941 года он публикует брошюру «Лев и Единорог: социализм и английский гений», мгновенно раскупленную, исчезнувшую с книжных прилавков воюющего Лондона; в мае – статью «Границы искусства и пропаганды», а в июне – работу «Литература и тоталитаризм». До войны – пацифист, потом – патриот, а затем – едва ли не в два-три месяца – ну чистый коммунист. Когда вышла брошюра «Лев и Единорог», сразу же изданная вторым изданием (общий тираж 12 тысяч), – прямой призыв к коммунизму в Англии! – сам он, по большому счету, сомневался уже в коммунизме. В дневнике 13 апреля 1941 года признается: «Оглядываясь на первые записи здесь, я вижу, как фальшивы оказались мои политические прогнозы, и еще то, что революционные, так сказать, изменения, те, которые я ожидал, может, и происходят, но в очень замедленном темпе… Коннолли как-то правильно сказал, – признался в записях, – что интеллектуалы чаще всего верно судят о направлении событий,

но неверно – об их темпе». Ведь забегать мыслью вперед – торопить, подгонять, срывать кожу с событий и подмазывать на ходу скрипучую «телегу жизни» – обычное дело для любых революционных реформаторов. Но с «введением социализма» в Англии – а именно этому была посвящена брошюра «Лев и Единорог» – Оруэлл ошибся не только в темпах, но, увы, и с «направлением». Уж не тогда ли он начал подспудно превращаться из романтика-утописта в антиутописта (хоть термины здесь и условны), и не потому ли всего лишь до 1984 реального года перенесет позже свои пессимистические прогнозы?..

Впрочем, сам по себе прорыв, подрыв, порыв его к вот-вот наступившему, казалось бы, «красному раю» был, надо признать, и ошеломителен – и прекрасен! Очередная «стойка на голове»! Да просто песня в пятьдесят страниц! Таким был объем брошюры «Лев и Единорог». Песня – по бескомпромиссности, по отбрасыванию «марксистских штампов», критике практически всех социальных сил (от крайне правых до левейших из «левых»), и опять-таки – по единственности, оригинальности мнений. В чем ему не откажешь, так это в логике. В Марокко он тайно предлагал запасаться «подпольными типографиями», чтобы печатать прокоммунистические листовки, теперь – открыто предлагал краткую «программу» сиюминутного перехода Англии к новому строю, к социализму. Трактат «Лев и Единорог» он начал скрупулезным анализом фашизма и социализма, а закончил прямым призывом к коммунистической революции в Англии.

> Вопрос из будущего: *Да уж… Меня, как и вас, и впрямь поразила реклама на городских автобусах Лондона военной поры. «Первая помощь во время войны: для здоровья, сил и стойкости – жевательная резинка Wrigley's!»…*
>
> Ответ из прошлого: *Война, поймите… продемонстрировала, что… капитализм – то есть экономическая система, при которой земля, фабрики, шахты и транспорт находятся в частных руках… недейственна… Англия борется за жизнь, а бизнес должен бороться за прибыли. Открыв газету, чуть ли не каждый раз… на одной и той же полосе… читаешь призыв правительства экономить и торговца… тратить. Одолжи обороне, но… купи крем для лица «Пондс» и шоколад «Блэк мэджик»… Захват Европы Гитлером – опровержение капитализма… Раз и навсегда доказано теперь, что плановая экономика сильнее неплановой…*

В.: *Но «плановая экономика» – не единственный же признак социализма и фашизма? Да и какой «социализм» был в нацистской Германии?..*

О.: *Фашизм… это форма капитализма, позаимствовавшая у социализма только те черты, которые обеспечивают ей военную эффективность… Собственность не отменена, по-прежнему есть капиталисты и рабочие… И в то же время распоряжается всем государство, то есть попросту нацистская партия. Она распоряжается инвестициями, сырьем, процентными ставками, длительностью рабочего дня, заработными платами… Эффективность этой системы, не страдающей от расточительства и различных помех, очевидна. За семь лет она построила военную машину, мощнее которой не видел мир.*

Но в основе фашизма лежит совсем не та идея, что в основе социализма. Цель социализма, в конечном счете, – всемирное государство свободных и равных людей. Равенство прав считается аксиомой. Нацизм исходит из противоположной идеи. Движущая сила его – убежденность в неравенстве людей, в превосходстве немцев над остальными народами, в том, что Германия должна править миром… До сих пор обвинение против капитализма не было доказано… Всякую критику заглушал звон монет в банкирских кошельках и бесстыдный смех биржевых маклеров. Социализм? Ха-ха! Хозяева собственности прочно сидели на стульях и знали это. Но после французского краха началось что-то такое, от чего нельзя уже отделаться смехом, от чего не спасут ни чековые книжки, ни полицейские… Гитлер, во всяком случае, войдет в историю как человек, заставивший весельчаков из Сити плакать… И высвободить природный гений английского народа может только революция…

«Революция»… Нет, дальше «спрашивать» Оруэлла из дня сегодняшнего не могу! Из уважения к его заблуждениям, из преклонения перед его максимализмом, из удивления его честной прямотой. Он в статье «Лев и Единорог» говорит дальше вещи невозможные, нереальные, абсолютно утопические не только в те дни в Англии, но и ныне. Он искренне верил в сказанное, считал возможным «невозможное», и как раз потому оппонировать ему из сегодня было бы просто бессовестно. Но, с другой стороны, нельзя и оборвать цитаты из самой революционной работы его. Как обойти взгляды безумного мечтателя, неистового

реформатора – и истого революционера?..

«…Необходима полная смена власти, – пишет он в брошюре. – Новая кровь, новые люди, новые идеи – в подлинном смысле революция… Революция не значит красные флаги и уличные бои; она означает принципиальную смену власти. Произойдет ли это с кровопролитием или без – зависит от времени и места… Что нам требуется – это сознательный открытый бунт обыкновенных людей против несправедливостей, классовых привилегий и правления стариков… Крайне необходимо, чтобы была национализирована промышленность, но еще необходимее, чтобы такие монструозности, как дворецкие и рантье, исчезли немедленно… При равенстве лишений моральный дух такой страны, как Англия, вряд ли удастся сломить. А сейчас нам опереться не на что, кроме традиционного патриотизма… В какой-то момент придется иметь дело с человеком, который скажет: “При Гитлере мне будет не хуже”. Но чем вы можете ему возразить… когда рядовые солдаты рискуют жизнью за два шиллинга шесть пенсов в день, а толстые женщины разъезжают на “роллс-ройсах” с мопсиками у груди?.. Рабочих ждут страшные лишения. И они будут их терпеть… если будут знать, за что сражаются… И если богатые громко завизжат – тем лучше…»

«…Война и революция неразделимы, – пишет он, практически повторяя один из девизов Троцкого. – Нам не удастся построить общество, которое… можно считать социалистическим, не победив Гитлера; с другой стороны, нам не удастся победить Гитлера, экономически и социально оставаясь в XIX веке. Прошлое борется с будущим, и у нас есть два года, год, может быть – всего несколько месяцев, чтобы обеспечить победу будущему… И в какой-то момент, возможно, придется прибегнуть к насилию… Банкиры, крупный бизнес, землевладельцы и получатели дивидендов, чиновники с их свинцовыми задами будут мешать изо всех сил. Даже средние классы станут ежиться, когда под угрозой окажется привычный им образ жизни. Но именно потому… есть надежда на то, что воля большинства восторжествует.

<…>

Нужное правительство мы можем получить даже без выборов в палату общин, если очень этого захотим. <…> Знаю только, что нужные люди найдутся, когда народ этого действительно захочет, ибо движение создает лидеров, а не лидеры – движение. В течение года, может быть, даже шести месяцев, если нас еще не победят, мы будем присутствовать при рождении того, чего никогда еще не существовало, – специфически английского

социалистического движения…

Социализм у нас не будет… доктринерским… Он отменит палату лордов, но, вполне вероятно, не отменит монархию. Он оставит недоделки и анахронизмы повсюду: судью в его нелепом парике и льва и единорога на пуговицах солдатской фуражки… <…> Но он никогда не расстанется с традициями компромисса и верой в то, что закон выше государства. Он будет расстреливать предателей, но перед этим – справедливо судить, а иногда и будет оправдывать. Всякий открытый бунт он подавит быстро и жестоко, но будет очень мало мешать свободе устного и письменного слова. Политические партии с разными названиями будут существовать по-прежнему, революционные секты – по-прежнему публиковать свои газеты… Он будет стремиться не к разрушению империи, а к превращению ее в федерацию социалистических государств, свободных не столько от британского флага, сколько от ростовщиков, рантье и дубоголовых британских чиновников…

Но сегодня, когда возмутительный контраст между богатством и бедностью продолжает существовать даже под бомбами, почему я беру на себя смелость говорить, что всё это произойдет? Потому что наступило время, когда предсказывать будущее можно в разрезе “или – или”. Или мы превратим эту войну в революционную… или мы проиграем и ее, и многое другое… Надо… сказать “прощай” даме в “роллс-ройсе”… Не может быть и разговора о том, чтобы остановиться на полпути, заключить компромисс, спасти тонущую “демократию”… Мы должны приумножить наше наследие – или потеряем его; мы должны стать больше – или станем меньше; мы должны идти вперед – или вернемся вспять…»

Прочитали? Так вот, больше всего мне хочется оставить всё сказанное Оруэллом без комментариев. Да, в письмах и дневниках Оруэлла можно найти ссылки на Виктора Сержа, участника русской революции, который сумел увидеть, «в какую сторону развернутся события», на Бориса Суварина (называю только русских), одного из первых историков антисталинского движения… Но в брошюре «Лев и Единорог» радикальней Оруэлла могли бы высказаться разве что Ленин с Троцким… И поразительно: его брошюру, повторю, читатели ловили буквально на лету. Даже влиятельная *Times*, отметив, что эссе само по себе блестяще, написала, что Оруэлл искренне желал «навести мосты между слишком долго молчавшим, хотя и сильным британским патриотизмом и неискоренимыми интернационалистскими идеями левого крыла».

Нет-нет, настроения писателя не были единичными. В

«капкане» его лозунга «Война и революция неотделимы» оказались многие. Писатель был продуктом своего времени, он ясно видел современные ему реалии и кожей ощущал трендовый «революционный ветерок» Европы. Но он же первым и разочаруется в высказанных мыслях. Поймет, что напрасно «адвокатствовал дьяволу». Иллюстрацией этого станет через три года его рецензия на книгу знаменитого Фридриха фон Хайека «Дорога к рабству», в которой Оруэлл призна́ет, что «коллективизм (читай, социализм. – *В.Н.*) по природе своей не является демократией; напротив, он дает деспотичному меньшинству такую власть, о которой испанские инквизиторы не могли и мечтать». Это, кстати, станет одной из главных идей его романа «1984». Но вот идее «всеобщей справедливости» Оруэлл останется верным до конца, до безлюдного острова Юра, до смерти в лондонской клинике. Он лишь поймет, кажется, что утопии принципиально невоплощаемы, а вот антиутопии – вполне…

Несправедливо, на мой взгляд, упрекать Оруэлла 1940-х в его заблуждениях. Но на одну фразу из его трактата-прокламации нельзя не обратить внимания: «Английский социализм… будет очень мало мешать свободе устного и письменного слова». Ведь не пройдет и полгода, как он, словно спохватившись, опубликует статью «Литература и тоталитаризм» – как раз об устном и, главное, о письменном слове…

Статью эту часто цитируют, считают базовой, ее одной из первых переводят на иностранные языки, – но она, при спокойном чтении, да еще зная временной контекст, действительно производит впечатление, будто автор и впрямь «спохватился». Только что звал социалистическую революцию – теперь пишет, что на мир надвигается эпоха тоталитаризма. «До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных перемен, – ужасается Оруэлл. – Никто не понимал как следует, что исчезновение экономической свободы скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью…» И вдруг: «Опыт заставляет нас признать, что это представление пошло прахом. Тоталитаризм, – признаёт теперь Оруэлл, – посягнул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить». Оказывается, «контроль над мыслью» при тоталитаризме не просто будет запрещать «определенные мысли», но – «диктовать, что именно надлежит думать». И, спросив себя: «Способна ли выжить литература в такой атмосфере?», сам же и ответит: «Нет».

«Если тоталитаризм станет явлением всемирным и

перманентным, литература, какой мы ее знали, перестанет существовать. И не надо… утверждать, – поясняет, – будто кончится всего лишь литература определенного рода, та, что создана Европой после Ренессанса». Нет, кончится любая литература. «В Италии литература изуродована, в Германии ее почти нет… Даже в России так и не свершилось одно время ожидавшееся нами возрождение литературы, видные русские писатели кончают с собой, исчезают в тюрьмах…»

В финале статьи «Литература и тоталитаризм» он, извернувшись, попытается связать концы с концами. «Я сказал, – напишет, – что либеральный капитализм с очевидностью идет к своему концу, а отсюда могут сделать вывод, что, на мой взгляд, обреченной оказывается и свобода мысли. Но *я не думаю, что это действительно так*, и в заключение просто хочу выразить *свою веру* в способность литературы устоять там, где корни либерального мышления особенно прочны, – в немилитаристских государствах… Я верю – *пусть это слепая вера, не больше*, – что такие государства, тоже с неизбежностью придя к обобществленной экономике, *сумеют создать социализм в нетоталитарной форме, позволяющей личности и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли*. Как ни поворачивай, *это единственная надежда*, оставшаяся тем, кому до́роги судьбы литературы (курсив мой. – *В.Н.*)».

Это он написал в статье, которая была напечатана 19 июня 1941 года. Но через три дня – 22 июня – всё изменилось: Германия начала войну с СССР, и в одночасье выяснилось, что «советский тоталитаризм» совсем не равен «тоталитаризму нацистскому»…

Да, с предсказанием революции в Англии Оруэлл ошибся. Но больше подобных ошибок он не совершит. В американском журнале *Partisan Review* прямо напишет, что угодил в засаду, призна́ет, что «в конечном итоге мы не проиграли войну и не ввели социализм». Но, как и герой его романа Уинстон Смит, головы не потеряет. «Неожиданно Уинстон почувствовал прилив мужества, – напишет в романе. – И всё же прав он, а не они!.. Очевидные истины верны – вот за что надо держаться!.. Камень – твердый, вода – мокрая, предметы, которые ничто не удерживает, притягиваются к центру Земли. Уинстон взял перо… Он утверждал важную истину: Свобода – это свобода говорить, что дважды два – четыре. Если это дано, всё остальное вытекает отсюда».

Теперь Оруэлла интересовала власть в чистом виде. Он бросил «адвокатствовать» тем или иным «социальным системам». Он, считайте, согласился с тезисом уже упомянутого Хайека, что

социализм, «установив контроль над всеми сторонами жизни, неизменно передает власть внутреннему кругу бюрократии, члены которого практически всегда оказываются людьми, желающими власти для личных нужд, и они ни перед чем не остановятся, чтобы ее удержать…». Теперь и социализм, и капитализм перестали быть для Оруэлла, как верно подметит в 1984 году британский критик А.Казин, экономической проблемой – они стали прежде всего проблемой моральной. Кстати, как и для идеалистов и утопических реформаторов XIX века. Написав еще недавно, что «*движение создает лидеров, а не лидеры – движение»*, Оруэлл предметно занялся теперь как раз этим – лидерами. Тем, как они возникают и как – неизменно – перерождаются.

* * *

Комментарий: Война идей и людей

«Камень – твердый, вода – мокрая…» – это человечество знало уже миллионы лет. И тысячи лет лелеяло, баюкало и даже сражалось за свободу и братство, за совершенство как человека, так и общества. Все утопии мира, начиная с великого Томаса Мора, основывались на этих идеалах и писались ради них. Что будет завтра – но и как будет. Разве не это интересовало человека?

«Утопия – литературный жанр, утопия – философская идея, утопия – проект лучшего будущего, – писала В.Чаликова в статье «Идеологии не нужны фантазеры», – …сколь далеко мы ни углубимся в историю, не отыщется времени, когда бы в мире не было власти утопического идеала над умами людей…» Но боже ж ты мой, как же рождались, как шлифовались мыслью и временем эти идеалы, выдвигаемые и «по необходимости» (исходя из окружающей жизни), и «по произволу» (из игры воображения авторов)!

Что бы вы сказали, например, если бы вас во имя «совершенствования общества», человека, скажем, от рождения высокого, насильно женили бы на женщине низенькой? А толстого – на тощей? Или умного – на глупой? Разве это не улучшит «породу» людей? Но именно так видел «прекрасное далёко» великий еретик, навигатор мечты и социальный конструктор Томмазо Кампанелла, в миру – итальянский монах-доминиканец, но и поэт, и философ, и даже революционер. Сев в тюрьму на долгих двадцать семь лет в 1599 году, он и написал одну из первых утопий – «Город Солнца», в которой описал

встреченное им необычное общество, где не было частной собственности, где обязательный рабочий день длился не более четырех часов, где не было семьи, дети «обобществлялись», а науки и просвещение поощрялись немерено. Вот он-то и предлагал «спаривать» тощих с толстыми, а умных – с глупыми… Но если бы эти «мечтания» осуществились, мы бы имели тоталитарное государство едва ли не страшнее фашизма XX века. Именно этот «перевертыш» с идеалами утопии и случился в XX веке, и ныне мало кто сомневается, что фашистский застенок и сталинский ад – это и есть реализованные утопии. Иньяцио Силоне, один из исследователей тоталитаризма, метафорично написал как-то, что, входя в концлагерь, видя ровные, по линеечке, бараки, рациональность и продуманность всего устройства узилища, любой не мог не узнать в нем реализованный утопический проект – то, о чем «мечтали кампанеллы всех времен и народов». А Карл Поппер, касаясь понятия «идеал» в XX веке, сказал круче: «Путь к идеалу всегда ведет через колючую проволоку»…

Утопия, эта странная, задиристая, философская литература – да и литература ли? – родилась как жанр лет за сто до Кампанеллы. Именно этим словом «утопия» в 1516 году назвал свою книгу Томас Мор. Разумеется, человечество мечтало и выражало свои мечтания о справедливом устройстве общества за тысячу лет до него (вспомним того же Платона), но сам термин возник впервые у Мора. И Мор, и Кампанелла, как помним, считаются ныне родоначальниками социализма – «утопического социализма». И если Кампанелла за свои убеждения угодил в тюрьму, то Томас Мор, канцлер Англии и друг самого Эразма Роттердамского, отказавшись дать присягу королю, был в конце концов обвинен в госизмене и публично казнен. Так что мечта о справедливом обществе – легонькая такая «игра воображения»! – уже тогда утопала в крови. И ведь лишь в 1935 году, во времена Оруэлла, Томас Мор был и прощен, и канонизирован церковью.

К чему, спросите, я пишу все эти достаточно известные вещи? Да к тому, что, не разобравшись в том, что такое «утопия» и «утопический идеал», как они менялись с годами и «перерождались», не понять и того, что как бы отрицало их, – «антиутопию». Оруэлл, замечу заранее, в эти исторические «аналогии» особо не вникал, но в схватке идей и идеалов своего века, которая реально превращалась в войны «огнестрельные», участие, как мы знаем уже, принимал. И – самое активное.

Когда-то, в 1985 году, мне выпал шанс защищать кандидатскую об утопиях и антиутопиях, о книгах Е.Замятина, О.Хаксли и Дж.Оруэлла. Тогда упоминать эти имена, а уж тем

более писать о них в мало-мальски положительном смысле было почти невозможно, но первые шаги в этом направлении делались, ибо уже появились на свет и идеология «новых левых», и теория конвергенции, и «социальное партнерство», и идеи «классовой гармонии» и «плюралистической демократии». Всё это было относительно ново и требовало какого-то переосмысления старых и вечных понятий, в том числе «полагания идеала» и, как развития его, «утопии» – этого, по выражению А.Ф.Лосева, самого «туманного, сбивчивого и противоречивого понятия». А кроме того, «новое время» не только не упразднило в художественной литературе этот архаичный, казалось бы, жанр, но напротив, в минувшем XX веке он вдруг обрел необычайную популярность. К «утопии» в том или ином виде только в минувшем столетии «приложили руку» А.Франс, С.Льюис, А.Дёблин, Г.Уэллс, Ж.Жироду, О.Хаксли, К.Чапек, Р.Брэдбери, Э.Бёрджесс, М.Фриш, А.Моравиа, Д.Лессинг, К.Воннегут. И наши: Е.Замятин, А.Платонов, М.Булгаков, даже Л.Леонов с его «Пирамидой». Всех их, в том числе и Оруэлла, справедливо относили и к утопистам с приставкой «анти», поскольку они, как те же Мор и Кампанелла, «присваивали» своим произведениям такие черты, как способность к прогнозированию, предвидению, предупреждению, к острой социальной критике и даже к утверждению «положительного идеала» через явное отрицание его. Я уж не говорю о том, что именно в этом жанре – в утопии и антиутопии, – пожалуй, как нигде в литературе, «объективный вывод» той или иной книги не просто не согласовывался, но бывал порой диаметрально противоположен «субъективному» замыслу художника. Другими словами, авторы хотели «разрушить» всё, что видели вокруг, а на деле невольно внушали читателю, перевернувшему последнюю страницу таких романов, вполне ощутимую надежду. И напротив, современные нам «коммунистические утописты» ныне читаются едва ли не со стыдом за авторов. Такие вот «фортели» выкидывал этот «туманный и противоречивый» жанр.

История утопий – это, если коротко, и есть история человеческих идеалов: желаемых, претворяемых в жизнь или даже несбывшихся. Идеалов, отброшенных человечеством или трансформировавшихся со временем чуть ли не в свою противоположность.

Вообще «утопии, – заметил когда-то Ламартин, – часто не что иное, как преждевременные истины». И ведь – да, любая преждевременно высказанная истина по прошествии лет развивается или деформируется и, оказавшись приложимой к жизни, становится зачастую мало похожей, а иногда и совсем не

похожей на высказанную когда-то идею-предшественницу. Именно поэтому в истории утопий и антиутопий идет вечный необъявленный спор, скрытая «война» авторов с предшественниками (с «Утопией» Т.Мора «спорил», образно говоря, своим романом Т.Кампанелла, с ним, в свою очередь, «спорил» Ф.Бэкон и т.д.). Это «линейное противостояние» писателей – научный факт. Скажу больше: спор шел не только от писателя к писателю, но порой от одной утопии одного и того же автора – к другой (скажем, после «Города Солнца», прогрессивной утопии своего времени, Т.Кампанелла неожиданно написал роман «Испанская монархия», в котором не только не выступал уже против церкви, а напротив, изображал «всемирное государство», покоящееся на военном могуществе Испании под верховной властью папы). Точно так же незримая, но яростная «полемика» шла между романами уже нового времени. Скажем, утопия У.Морриса «Вести ниоткуда» (1893) опровергала, по сути, книгу Э.Беллами «Через сто лет» (1883), неоднократно упоминаемый нами Г.Уэллс, в свою очередь, уже сознательно «оппонировал» некоторыми своими романами «Вестям ниоткуда» У.Морриса (а про самого автора раздраженно говорил, кстати, что он «реакционен, как епископ»), а Олдос Хаксли – если продолжить сравнение – признавался в 1930-х годах, что задумывал свой роман «О дивный новый мир» как «пародию на научную фантастику» как раз Герберта Уэллса. Война идей, что тут скажешь, – вечная война идей в мире… Но, как особо подчеркивают почти все исследователи, наиболее стремительно и рождаются, и, если можно так сказать, «созревают» те или иные идеалы и «истины» в периоды радикальных социальных, политических и научных сдвигов, в эпохи революций и катастроф. Утопическое сознание и расцветает в периоды «распада традиционных общественных связей, зыбкости социального бытия, туманности исторических перпектив, то есть, – поясняют исследователи, – в периоды безвременья». Другими словами, в эпохи, когда становится страшно жить. Именно тогда тонко чувствующие «индивиды» – писатели – берут в руки перо, чтобы либо «подтолкнуть» историю в нужном им направлении, либо обратить ее вспять. При этом, как заметила В.Чаликова в работе «Эволюция современной буржуазной утопии», «существуя как визионерство и ностальгия, пророчество и заклятие, уход от мира и стремление преобразовать его, утопия в той же мере тщетно стремится быть социальной терапией, в какой – независимо от своих устремлений – всегда бывает социальной диагностикой».

На мой взгляд, всё это чрезвычайно интересно. Человек, как из кубиков в детской игре, собирает, «строит», конструирует

будущее, но оперирует при этом только присущими ему на этом этапе знаниями и реальными фактами жизни. Вот почему смешно читать утопии чуть ли не Средних веков, действие которых авторы переносили в XXIII и даже в XXVI века, но в которых герои книг всё так же плавают на парусниках и пашут на волах. Уже в силу этого никакими «социальными терапевтами» эти авторы не могли быть – туманное будущее, переставшее быть «туманным», обязательно разрушало эти «рецепты». Помните, например, рассуждения великого Ж.-Ж.Руссо в его «Трактатах» по поводу проекта «вечного мира», выдвинутого в XVIII веке аббатом де Сен-Пьером? Руссо уже тогда назвал его «утопичным» и написал, что претворение его в жизнь потребует «такого совпадения мудрых решений в стольких умах и такого согласия во взаимоотношениях и интересах, что едва ли можно надеяться на счастливый случай, который сам принесет совпадение всех этих необходимых предпосылок». А дальше, воистину пророчески, замечает: «Между тем если этого совпадения нет, то заменить его может лишь сила: и тогда надо уже не убеждать, а принуждать; и нужно не писать книги, а собирать полки…» То есть «вечный мир» – через войну?! Ужас ведь! И разве это не совпадает с парадоксом лозунга, по которому живет кошмарный мир Оруэлла в романе «1984», – «Война – это мир!»? И разве французская революция или большевистский переворот в 1917 году в России не были попыткой силой – через кровь – навязать народам «всеобщее счастье»? Преждевременные истины – это, по сути, зов в пустоту, измерительный прибор, который и приложить-то не к чему?

Про утопию и антиутопию ныне существует огромная литература. Пока же скажу лишь то, что станет важным для нас при разборе «Скотного двора» – о перерождении «высоких идеалов» и провозглашавших их вождей. Ведь Оруэлл, задумывая «Скотный двор», знал уже не только роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», но и эпиграф, предпосланный ему, – слова русского философа Николая Бердяева, к тому времени ужаснувшегося революционному «эксперименту» в России. «… Утопии, – писал Бердяев в 1924 году в работе «Демократия, социализм и теократия», а Хаксли цитировал его слова, – оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос – как избежать их осуществления… И открывается, быть может, новое столетие мечтаний интеллигенции… о том, как избежать утопий, как вернуться к неутопическому обществу, к менее “совершенному” и более свободному обществу».

Мир движется к «утопиям» – вот что пугало и Замятина, и Хаксли, и, наконец, Оруэлла. Правда, отсюда у Оруэлла отнюдь

не вытекало, что надо всеми силами держаться за старое, за прогнивший, с его точки зрения, несправедливый мир. Нет, он, задумывая свою сказку, предполагал всего лишь, не изменяя своим взлелеянным всей жизнью идеалам социализма, очистить их от извращений сталинизма, от тоталитарных методов построения «рая социализма». Он, как Геракл, очищал от «навоза» наслоений не авгиевы конюшни – «скотный двор» практического социализма в СССР. И, кажется, кое в чем заблуждался и в этом своем намерении. Ведь если бы он прочел следующие фразы Бердяева из той же работы, то с удивлением бы узнал, что «свобода, – как писал наш философ, – по-видимому, связана с несовершенством, с правом на несовершенство…». Что для социализма, по крайней мере в России, как это ни странно, понадобятся «вековые предания покорности» людей, «инстинкты повиновения». Что социализм, как утверждал другой русский философ К.Леонтьев, был и будет основан «не на розовой воде, а на крови», что напрасно русские, веками мечтавшие об «идиллии социализма», считали, что «социализм и есть свобода». «Нет уж, – писал Бердяев, – нужно выбирать: или социализм – или свобода духа, свобода совести…»

Впрочем, будем справедливы: так мечталось не только «утопистам» Хаксли или Оруэллу. Любое художественное произведение, уже в силу того, что оно – плод воображения писателя, несет в себе черты как утопизма, так и антиутопизма. Вспомним: «XX век будет счастливым, – мечтал, например, свыше ста лет назад великий Виктор Гюго. – Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, вторжений, соперничества вооруженных наций… Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы; ни эшафота, ни кинжала, ни сражений, ни случайного разбоя в чаще происшествий… Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое». Это про двадцатый-то век! А мы тем не менее называем Гюго писателем-реалистом. И, напротив, в ирреальном романе, скажем, Джека Лондона «Железная пята» (в какой-то степени – прообразе антиутопий XX века) относительно грядущего высказывается самое реальное, неутопическое предположение. «Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, тени которых уже сегодня омрачают горизонт, – говорит один из героев романа. – Назовем это угрозой олигархии – дальше я не смею идти в своих предположениях. Трудно даже представить себе ее характер и природу…»

Интересно, не правда ли? Писатель-реалист и писатель-фантаст на глазах поменялись местами! И можно ли отделить высокую литературу от «социального проекта»? «Социально

невинных жанров, – как написала та же В.Чаликова, – просто не существует…» А М.Бахтин вообще пришел к выводу, что любой роман «соприроден будущему», а значит, в той или иной степени соприроден утопии… Наконец, почему представления о завтрашнем дне в сугубо реальном произведении могут через сто лет зазвучать утопически, а выдуманные фантазией, произволом воображения – вполне реально? И отчего тогда утопия – это хорошо, а антиутопия (при всей, повторю, условности этих терминов) – плохо?

И то, и другое – литературу высшей пробы и фантастику, утопию и антиутопию – соединят в себе лучшие романы-предупреждения XX века. Они потому и остались в истории литературы, что писались, ломая границы жанров. Это подчеркнет В.Чаликова в одной из последних статей «Джордж Оруэлл: философия истории». Отделяя Замятина и Хаксли, антиутопистов, которые писали в своих романах о «роковой судьбе добра, которое – на поверку – всегда оборачивается злом», от Оруэлла, кто и в настоящем, и в будущем видел лишь «страдания и лишения», она доказывает, что правильней было бы называть роман «1984» классической дистопией[60]. «Дистопия (вид негативной утопии), – пишет В.Чаликова, – не враг утопии, не враг рая, точнее, она *не может решиться на обличение рая*, когда на земле – ад, не может иронизировать над добродетелью перед лицом торжествующего порока. Всё в мире, придуманном автором дистопии, – химерично, абсурдно, преувеличенно. Со всего содрано мясо жизни и обнажен ее зловещий смысл, представляющийся писателю одновременно и бесспорным, и невозможным… Оруэлл проверяет истинную свободу… временем, ставя героев в ситуации, в которых прошлое, настоящее и будущее хищно борются за свою власть над человеком, и победитель проглатывает не только побежденных соперников, но и само поле боя – сознание личности…»

Кстати, Оруэлл еще в 1941 году, в разгар самой страшной войны XX века, вдруг вновь, как и десять лет назад, возьмет в руки книги Джека Лондона и напишет статью о нем. Поразительно, но в ней соединит и Ленина (с цитаты его начнет рецензию), и… животных – домашний скот, на которых Дж. Лондон невольно, но переносил «свойства, присущие только человеку…».

Нет: Оруэлл, конечно же, подчеркнет, что герой его статьи, по сути, предсказал фашизм, выявил природу «олигархии», одолевшей в «Железной пяте» пролетарскую революцию, одолевшей, кстати, за счет претворения в жизнь некой «извращенной формы социализма». Всё так. Но разве нельзя не

удивиться – в который раз уже – поразительной цельности Оруэлла? Ведь мысли и о «животном социализме», и о «социализме животных» вот-вот хлынут из него, что называется, через край. Счастливая метафора, мальчик с прутиком, куры в хозяйстве, глупая коза Мюриель и умные, а потому коварные свиньи, ставшие вождями.

Он в 1941-м только и думал, что о своей сказке. О том, о чем было его первое слово. Когда он, помните, вывалившись ребенком из окна дома и оглядев мир, невольно заклеймил его «скотским»…

Глава 10.
Сказка… о «сказке»

1.

«История кружит…» – записал Оруэлл в 1941-м, сразу после вступления в войну СССР. Выйдешь, извините, помочиться, а мир – глянь, и перевернулся. Но 22 июня 1941 года история «крутанулась» уж слишком резко. И байка про человека, отлучившегося в уборную, – не выдумка, не анекдот. Так было. В лондонском *York Cafe*.

В кафе в начале 1940-х собиралась верхушка британских коммунистов. Здесь, пишут, вырабатывалась «генеральная линия», готовились «акции» и витийствовали, случалось, вожди: и Гарри Поллит, и Вилли Галлахер. Еще буквально вчера компартия Британии твердо стояла за всеобщий «мир для людей», за поддержку пакта Молотова–Риббентропа, считая, что «поджигателями войны» являются Англия и Франция, и вдруг…

22 июня, в день этого «разворота», Оруэлл и вывел в дневнике: «История кружит, и, когда известие о вторжении Гитлера в Россию достигло *York Cafe*, где собирались коммунисты, один из них, вернувшись всего лишь из туалета, вдруг обнаружил, что “линия партии” в его отсутствие изменилась на прямо противоположную». Германия из друга СССР превратилась во врага. И – вслед уже новым лозунгам! – задудела в свои трубы вся левая интеллигенция, выступая *против* попыток реакционных сил использовать войну в своих «империалистических интересах», *за* создание «народного правительства» – и *за* «тесный союз с СССР». Еще вчера, вслед за Сталиным, интеллектуалы разоблачали войну как «империалистическую» с обеих сторон, почти открыто поддерживали Гитлера и занимали «пораженческую позицию», а ныне, как по команде, «все вдруг» объявили ее «антифашистской и освободительной». Обрадовало Оруэлла лишь то, что в статье «Литература и тоталитаризм» за три дня до объявления Германией войны СССР он сумел предсказать это «все вдруг». «Контролируя мысль, оно (тоталитарное государство. – *В.Н.*) не фиксирует ее на чем-то одном, – написал в статье. – Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день… Вот очевидный, самый простой пример: до сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к

русскому большевизму отвращение и ужас; после сентября 1939 года (после заключения советско-германского пакта о дружбе и ненападении, на что были и свои поводы[61]. – *В.Н.*) – восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война… – пророчествовал он, – с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально обращаться в свою противоположность…» Ну не колдун ли? Как скажешь иначе?! И не это ли «все вдруг» возникнет в его последнем романе, когда оратор на лондонской площади, призывая к победе в войне с многолетним врагом Евразией, вдруг, не прервав даже речи, поменяет мнение и с тем же пылом призовет воевать – но уже с Востазией?..

«23.06.41. Речь Черчилля, на мой взгляд, очень хороша. Она не понравится “левым”, но они забывают, что он должен был говорить на весь мир, как то: для американцев со Среднего Запада, для летчиков и морских офицеров, недовольных лавочников и фермеров, да и для самих русских и всех левых политических партий. Его враждебные выпады в сторону коммунизма тоже понятны; хотя он и подчеркнул, что предложение помощи русским искренне…»

В тот день, 23 июня, Оруэлл с утра проводил занятия с отделением ополченцев и, не удержавшись, задал прохожим один вопрос: как они относятся к нападению Гитлера на Россию?

«Я нашел, – пишет в дневнике, – что почти все настроены прорусски. *Оптовая торговка домашней птицей:* “Ну, я надеюсь, что русские дадут им хороший урок”. *Владелец пошивочной мастерской (еврей):* “Они не смогут. Их разорвут на куски. Вот увидите”. *Доктор (вроде бы беженец):* “Вы совершенно не правы. Все недооценивают силу России. Они будут вытирать пол нацистами”. *Торговка бакалеей:* “Черт побери, там же их двести миллионов”. *Владелец пошивочной:* “Да, но они же неорганизованны…”

Конечно, – пишет Оруэлл, – мнения невежественные, но показывают настроения людей. Еще три года назад подавляющее большинство… было бы явно на стороне немцев. Ныне ненависть к Германии заставила их даже не вспоминать об этом. Реально же всё зависит от того, готовы ли Россия и Великобритания к сотрудничеству, что называется, без попыток переложить на другого основную тяжесть сражения… Ведь тех обстоятельств, при которых русская помощь Испании обернулась злом, не существует…»

Отреагировал Оруэлл и на знаменитое обращение Сталина к народу.

«3.07.41. Речь Сталина по радио явила собой прямой возврат к “Народному фронту”, к защите демократической линии и особенно ярко противоречила всему тому, что он говорил в течение последних двух лет. Это и великолепный ответ коллеге Черчиллю; было дано понять, что компромисс проблематичен… Подходы к нему подразумевались на случай большого отступления. Прозвучало как бы предположение, что Англия и США, упомянутые довольно дружески, могут оказаться в качестве более или менее союзников, хотя, конечно, никакого формального союза еще не существует».

А слухи тем временем обгоняли, конечно, и газеты, и информагентства. Болтали, что русские уже уничтожили сотни тысяч немцев, чуть ли не 10 % армии, что немцы, с другой стороны, уже вышли на Москву, что готовится со стороны Британии экспедиция-высадка в Европу, а вот союз Альбиона с СССР – всё же под вопросом…

Позиция Оруэлла тоже была двойственной. Как патриот, он радовался, что кампания на Востоке ослабит положение немцев. Но как антисталинист, он, похоже, не хотел союза с СССР, ибо тогда же, 3 июля, записал слова, которые и ныне, вырвав из контекста, любят цитировать: «Не может быть лучшего примера нашего нынешнего морального и эмоционального состояния, чем тот факт, что все мы сейчас более или менее настроены просталински. Этот отвратительный убийца временно на нашей стороне, а значит, все чистки и т.д. оказались вдруг забыты…» Но эта «стерильность» его не выдержала проверки даже тремя днями, и уже 6 июля он буквально взорвался: «Несколько газет, – запишет, – заметно беспокоятся, что мы не предпринимаем ничего значительного, чтобы помочь СССР. Я не знаю, будет ли что-нибудь предпринято, кроме наших воздушных налетов, но, если ничего не будет предпринято, это станет тревожным симптомом… Ибо если мы не начнем наземное наступление сейчас, когда у немцев 150 дивизий брошено на Россию, то когда, к дьяволу, мы вообще сможем его начать?..» И, издеваясь над двусмысленной позицией соотечественников, заметит: «Минувшей ночью все, развлекаясь, ждали, услышат ли они по радио “Интернационал” (в то время официальный гимн СССР. – *В.Н.*) среди гимнов прочих наших союзников (эти гимны регулярно транслировались каждым воскресным вечером – дань уважения странам, борющимся с фашизмом. – *В.Н.*). Увы, – пишет, – этого, конечно, не случилось… Но им, – кивнет на “верхи”, – придется, видимо, играть некие мелодии, представляющие и СССР…»

Придется, придется! «Интернационал», с призывом

«возмущенного разума» голодных и рабов к восстанию, еще прозвучит над Британией, и не раз. Оруэлл не знал, что как раз в двадцатых числах июня Британская радиовещательная корпорация («Би-би-си») слала телеграммы под грифом «секретно» высокопоставленным чиновникам министерства информации. «Ждем указаний в отношении России, – говорилось в одной. – Не в смысле политики, а можно ли упоминать Товарища (Сталина. – *В.Н.*) и вообще шутить на эту тему?..» Ответ был категоричен: «Не нужно шуток в отношении России. По крайней мере сейчас». А насчет «Интернационала» в эфире – этого тоже не знал Оруэлл! – власти тайно спорили почти полгода, даже в парламенте, пока наконец в январе 1942 года руководству «Би-би-си» не поступит директива: «Отныне в ваших программах можно использовать “Интернационал”. Но не перебарщивать с этим». Правда, с ним все равно покончат, но не «Интернационал» отменят – всю «музыкальную заставку» уберут…

Этого, повторяю, Оруэлл не знал, хотя сразу после нападения Германии на СССР встречался с одним из руководителей «Би-би-си» сэром Рэндаллом. От разговора осталось конфиденциальное письмо Рэндалла от 25 июня 1941 года. Оруэлла приглашали на работу. Штатным сотрудником радиокорпорации.

«Он шесть лет прослужил в индийской полиции… – писал в письме Рэндалл. – Он видный писатель – один из той же группы писателей “левого крыла”, что и Спендер, которого предлагали для этой работы. Я познакомился с некоторыми деталями его биографии для возможного использования его в программе “Колледж”. Был очень впечатлен. Он – человек стеснительный, но в своих статьях предельно откровенный и честный. Занимал сильную левую позицию и действительно сражался на стороне республиканского правительства в Испании. Считает, что это может быть использовано против него, хотя, когда я подрасспросил о его лояльности и о том, какую опасность он видит для себя, будучи в противоречии с политикой, его ответы были вполне убедительны. Он согласен с необходимостью пропаганды действий правительства и считает, что в военное время дисциплина в поддержке государственной политики имеет важное значение. Его прошлый опыт и интерес к Индии и Бирме, его литературные способности и связи, а также его яркая, на мой взгляд, и привлекательная личность, несмотря на некоторую скованность в начале нашего разговора, – всё это говорит, что он более чем подходящий человек для ведения бесед на английском и т.д., предназначенных индийским слушателям, особенно индийским студентам… Словом, я уверен: это лучшая кандидатура для “Колледжа”…»

Письмо сэр Рэндалл, видимо, адресовал совету директоров радиокорпорации, а может, контрольному совету во главе с 12 попечителями; не буду гадать. Не буду гадать и относительно мотивов Оруэлла поступить на службу. Он писал о катастрофической ситуации с деньгами. Но не менее важным мотивом стал тот, в котором он признался писателю Рудольфу Леману: «Сложилась такая ужасная ситуация, что я не способен ничего делать. Правительство не желает использовать меня ни в каком качестве, даже клерком, а в армию я не могу поступить из-за своих легких. Просто ужасно чувствовать себя бесполезным и в то же самое время видеть, как полоумные и профашисты заполняют важные посты». То есть он и мучительно искал свое место в «строю», как солдат, и, как писатель, осторожно пробовал ногой «кочки» в болоте будущего. Оруэлл корпел в то время над статьей о Марке Твене, в которой пытался разобраться как раз в миссии писателя на земле. Словом, как бы то ни было, но уже 18 августа 1941 года он знакомился с журналистами Индийского департамента «Би-би-си».

Позвал его на «Би-би-си» Зульфикар Бохари – тот, кто уже продюсировал два его выступления на радио. Теперь Бохари возглавил Индийский департамент «Би-би-си», и Оруэллу предлагалось стать редактором и ведущим «культурных передач» на Индию. Пригласили на «полный рабочий день», на довольно высокую зарплату – 640 фунтов в год. Ему полагалась даже секретарша, а чуть позже, когда Индийский департамент переехал на Оксфорд-стрит, 200, в помещение бывшего магазина уцененных товаров, – даже крохотный кабинетик: по сути, прообраз конуры Уинстона Смита в Министерстве Правды из романа «1984». Прообразом здесь, в «зверинце», как обзовет он свою контору, станет и столовая на первом этаже – та самая, с грязными подносами и отвратной едой. Во времена карточек это было, конечно, плюсом, но еда была настолько плохой, что он не переставал издеваться над нехитрым меню. «Через год, – иронизировал в очереди к раздаче, – нам предложат здесь “крысиный супчик”, а к 1943-му это будет, вот увидите, уже “суп из искусственной крысы”…»

Оруэлл проработает на «Би-би-си» до ноября 1943 года, почти два с половиной года. И с каждым днем и этот «уцененный магазин», и кабинетик, где нельзя было как следует вытянуть больные ноги (он признавался, что не мог уже пройти даже сто метров, чтобы не передохнуть), и, главное, конечно, то «меню», которое ему придется выдавать в эфир, будут угнетать его всё больше и больше.

В самой редакции его успели и оценить, и полюбить. Лоуренс

Брандер, когда-то преподававший литературу в Индии, напишет: «*Все любили и уважали его… особенно за то, что он едко высмеивал всю ту чепуху, которая совершалась вокруг, и тем самым делал жизнь терпимой. Это не противоречило его чувству ответственности: он знал, насколько важна может быть пропаганда, если она разумно организована, и над своими выступлениями работал так тщательно, что они оказывались не просто хорошими – блестящими». Но сам Оруэлл уже через полгода разочарованно призна́ется: «*Атмосфера здесь, на радио, – это нечто среднее между женской гимназией и сумасшедшим домом, и всё, что мы делаем, не имеет смысла, а иной раз даже хуже, чем бесполезно…»

Общая цель Индийского департамента была в противостоянии пропаганде нацистской Германии, направленной на подрыв Британской империи. А если помнить, что еще в августе 1939 года была учреждена организация «Би-би-си Мониторинг», подразделение по сбору информации со всего мира, если знать, что была установлена прямая связь радиокорпорации с Даунинг-стрит, 10, с правительством Британии, то станет понятно: пропагандистская роль радио на глазах становилась едва ли не тотальной. Оруэлл ведь не знал, что из министерства информации, а иногда и из МИ-6 летели к ним секретные депеши с указаниями, что можно, а что нельзя, что «вкладывать» сегодня в головы как военной, так и гражданской аудиториям, а что – нет. Возможно, не знал и того, что аналитики успели выявить: наибольшей популярностью в эти военные дни пользуются у английских радиослушателей «музыкальные передачи» и даже «литературно-развлекательные». К его приходу где-то там, в «верхах», было рекомендовано, например, увеличить количество часов на подобные программы. Так что когда Оруэлл придумает и лично напишет инсценировку сказки Перро «Красная Шапочка», он, воленс-ноленс, прямо попадет в рекомендованное «направление». Другое дело, что «огромные зубы» волка, проглотившие вслед за бабушкой и Красную Шапочку, еще принадлежали в его представлении только Гитлеру и Сталину. А общее понимание расклада сил в зарождающемся «новом мире» вообще придет позже…

Встречи с писателями, дискуссии о поэзии, радиопостановки, приобщение индусов к «жемчужинам британской культуры», – вот что требовалось от Оруэлла. Но он не мог, например, *не должен* был приглашать в свои передачи тех деятелей культуры, в том числе индусов, кто выступал за независимость Индии и даже за предоставление ей после войны статуса доминиона. Парадокс, но ведь книги и самого Оруэлла были, представьте, всё еще

запрещены в Индии. И всё вместе не могло не стать той самой первой «сшибкой» его убеждений. Второй станет ненавистная ему цензура, ужесточившаяся в условиях войны. Когда он однажды, стремясь представить в эфире весь спектр разных точек зрения, в том числе пацифистских и анархистских, предложил Реджинальду Рейнольдсу, социалисту и пацифисту, побеседовать коротко о Кропоткине, об «изобретательном прагматике», по словам Оруэлла, то неделю спустя сам же и отозвал свое предложение. «Мне сказали, – написал Рейнольдсу, – что мы просто не имеем права поминать в эфире такого известного анархиста!..» И не из-за цензуры ли, а может, и корежившей его «самоцензуры», он почти сразу выдвинул начальству единственное условие: он будет выходить в эфир не как писатель Оруэлл – как радиоведущий Эрик Блэр?.. Так пытался «сохранить лицо» или, как прямо заявил начальству, не «торговать своим литературным именем».

По большому счету, вся его работа на радио была сплошным компромиссом. Ныне защитники его пытаются отрицать это, считая, что он, став во время войны «записным патриотом», имел некое внутреннее право «отодвинуть другие цели свои на второй и даже на третий план». Но всё же, всё же… Патентованный антиколониалист, видевший своими глазами реальную жизнь подневольных бирманцев, теперь вынужден был поддерживать это многовековое угнетение. Социалист по убеждениям, еще вчера звавший страну к революции, должен был теперь звать не народ – народы Индии! – в лучшем случае к «смирению» ради победы… Сшибка на сшибке…

Он опять был одинок, хотя и провел два года в творческой, шутливой, креативной, как сказали бы ныне, атмосфере. Для правых он по-прежнему оставался чужаком, да и сам не стремился в их лагерь; а что касается левых, которые выступали против участия лейбористов в госуправлении, то и среди них многие смотрели на него «как на ренегата» – читай, предателя. Джордж Вудкок, будущий профессор, а тогда – активный пацифист, анархист по взглядам, прямо и зло напишет в американском журнале *Partisan Review*: «Если нам надо было бы представить серьезные изменения в чьей-либо жизни, то Оруэлл окажется как раз кстати. Товарищ Оруэлл – бывший полицейский офицер империализма (у которого фашисты научились всему тому, что они знают)… Товарищ Оруэлл – бывший попутчик пацифистов и автор *Adelphi*, который он теперь атакует! Товарищ Оруэлл – бывший крайний левый член НРП и защитник анархистов!.. И теперь товарищ Оруэлл возвращается к своим прошлым империалистическим привязанностям и работает на

“Би-би-си”, занимаясь пропагандой, чтобы ввести в заблуждение индийские массы!..»

Что ж, это было правдой, горькой – но правдой! Оруэлл, разумеется, не оставил выпад без ответа и в том же журнале не без ярости парировал: «Меня не интересует пацифизм как моральный феномен». Набрасываясь на «банду католиков», «банду сталинистов», он попытался разоблачить и нынешних «пацифистов», причисляя их тоже к определенной банде, причем не «профашистской», а просто фашистской. И это тоже было правдой, хотя о собственных пацифистских выступлениях в прошлом он в письме, как замечают биографы, «деликатно промолчал»…

Но нет и худа без добра. Работа в огромной корпорации, в самом сердце идеологической машины, по сути, в «Министерстве Правды» не пройдет для него даром. Он многое поймет в устройстве оболванивания масс, он предметно изучит шестеренки и приводные ремни государства, научится видеть и безошибочно диагностировать даже малейшую ложь в том, что обваливает правительство на обывателя. В дневнике запишет: «Шесть месяцев я проработал на “Би-би-си”. Останусь здесь и дальше, если политические изменения, которые я предвижу, состоятся; в противном же случае – скорей всего, нет… Вся пропаганда – ложь, даже тогда, когда она отражает правду». А еще через два месяца призна́ется: «Всё, что я делаю, – это тщетные усилия, которые всё меньше и меньше сопоставимы с напрасно затраченным временем. Похоже, то же самое происходит со всеми. Самое страшное чувство – это разочарование или просто ощущение, что ведешь себя по-дурацки, делая вещи слабоумные: слабоумные не потому, что они являются частью войны – война глупа сама по себе, – но вещи, которые в действительности никоим образом не помогают военным усилиям, но считаются необходимыми огромной бюрократической машине, в плену которой все мы находимся…»

Стал ли он «заправским чиновником»? Трудно сказать. Помните, еще в школе Св.Киприана его пугали превращением в «нищую конторскую шушеру»? Теперь в каком-то смысле он и стал ею. Нет, ему каждый год подкидывали к зарплате по сорок фунтов, что, разумеется, было поощрением. Директор «Восточной службы Би-би-си» (в 1943-м им был Рашбрук Уильямс) сравнит его даже, как я говорил уже, со «святым» и напишет в своем докладе, что он «самого высокого мнения о его нравственных качествах, а также интеллектуальных способностях». А почти единственная подчиненная Оруэлла, его секретарша Элизабет Найт, та, которая, снимая телефонную трубку, мелодично

говорила одну и ту же фразу: «Офис мистера Блэра», – вспоминала потом, что «начальник ее» был всегда собранным, организованным, что у него были «живые, наблюдательные глаза» и что диктовал он так выразительно, что у нее никогда не возникало вопросов, где же ставить запятые, – «они ставились сами собой…».

Высокого мнения окажется о нем, представьте, и тот же Джордж Вудкок, еще вчера обвинявший «товарища Оруэлла» во всех смертных грехах. Удивлению Вудкока не было предела, когда Оруэлл вдруг пригласил его в одну из своих передач. «Представьте себе Дон Кихота без коня и его висячих бакенбардов – и вы получите четкое представление, как выглядел Джордж Оруэлл, – будет вспоминать потом Вудкок о первой встрече с Оруэллом. – Он прислал мне приглашение принять участие в дискуссии о поэзии… и, так как мы недавно жестко полемизировали с ним в *Partisan Review*, я был удивлен приглашению. Но – согласился, чтобы показать, что, как и он, тоже не испытываю к нему неприязни…»

Вудкок вспомнит, как пришел впервые в импровизированную студию, как встретил там помимо «товарища Оруэлла» и других известных писателей. «Программа, – пишет он, – состояла из дискуссии, которую Оруэлл заранее и умело подготовил… Чему-то все мы возражали, но лишь одно изменение произошло; просто сам Оруэлл стал вдруг читать Байрона и, улыбаясь, смотрел на нашу реакцию. В то время правительство еще не признавало движения за независимость Индии, и в самой мелодии стиха о восстании звучал вкус неповиновения… После мы все двинулись в таверну на Портленд-стрит, которую облюбовали мужчины-радийщики, где Оруэлл уже довольно цинично рассуждал о нерешаемости проблемы, которую мы обсуждали… Он уже ощущал некоторое разочарование от работы, которая вся состояла из распространения пропаганды»…

Это слова из книги Вудкока про Оруэлла «Кристальный дух», которую он напишет в 1967-м и где подчеркнет эту важную черту писателя: дружеское отношение к иным «врагам» своим. «Это разоружение перед оппонентом, с которым он нашел общий язык либеральной человечности или интеллектуальной щепетильности, – напишет, – было типичным для Оруэлла». Правда, отметит: «Единственным исключением были тоталитаристы. С ними его битва была беззаветной, и я помню свое возмущение, когда он однажды рассказал мне о поэте-коммунисте, который после публикации ожесточенных нападок на него постарался разыграть приветливость при встрече. Оруэлл оценил это как грубое лицемерие, ибо знал: сталинцы ненавидели

его как самого опасного врага…»

Оруэлл старался, он всерьез хотел быть полезен стране. Он придумал, например, радиожурнал *Voice* с новаторскими рубриками, куда приглашал наиболее заметных персон того времени. Гостями его студии были писатели Эдвард Форстер, Дилан Томас, Уильям Эмпсон, Герберт Рид, Мулк Радж Ананд, Джеймс Хенли, имевший к тому времени почти полусотню книг, наконец, его новый друг поэт Стивен Спендер и, конечно, школьный приятель Сирил Коннолли. Сохранилось, к примеру, письмо Оруэлла даже к знаменитому уже Т.С.Элиоту:

«Дорогой Элиот, может ли Вас заинтересовать предложение принять участие в нашей программе, во вторник, 3 ноября? – спрашивал его Оруэлл. – Мы раз в месяц выпускаем радиожурнал, который называется *Voice*. В него мы, по возможности, пытаемся пригласить поэтов, читающих свои стихи. Обычно каждый выпуск журнала мы формируем вокруг какой-нибудь центральной темы, и в этот раз это будет тема Америки. Вы, мне кажется, ныне единственный американский поэт, находящийся сейчас в Англии… Но в любом случае нам бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в программе и прочли, может, одно, может, два стихотворения, где-то минут на пять…»

Звали в соседние редакции и самого Оруэлла. Он часто бывал в эфире. И нельзя не удивиться, повторюсь, что в Англии не сохранилось вообще ни одной передачи его. Невообразимо – работать на радио и не сберечь для потомков ни звука его голоса. О голосе его напишет, кстати, через сорок лет Мулк Радж Ананд, индийский прозаик, драматург и критик, готовивший сценарии для Оруэлла: «Голос его был тихим. Он говорил так, как обычно шепчут. Но с добрым циничным юмором часто высмеивал уродливые реалии вокруг. Я редко видел злость на его лице, хотя две глубокие морщины на щеках, когда хмурился, выдавали его перманентное отчаяние. Он улыбался во время чаепития и был отличным собутыльником в пабе. Но свои стрелы выпускал уж очень смачным голосом и с юмором, позаимствованным чуть ли не у кокни».

Голос – последствие ранения – довольно скоро начал вызывать нарекания и у звукооператоров. В январе 1943 года контролер специальной службы Дж.Кларк сообщил руководству: «Я внимательно прослушал одну из бесед Джорджа Оруэлла. Мною обнаружено, что разговор был довольно интересным, я не критикую содержание его, но я был поражен непригодностью для радио голоса Оруэлла. Я понимаю, конечно, что его имя имеет некоторое значение в солидных индийских кругах, но его голос показался мне малопривлекательным; он не годится для работы с

микрофоном до такой степени, что вместо привлечения слушателей, а не только его поклонников, он: а) напротив, будет даже отталкивать некоторых из них и б) сделает уязвимыми сами беседы. Я очень обеспокоен ситуацией и не уверен, что мы поступаем мудро, поддерживая работу Оруэлла в эфире». А коллега Оруэлла Д.Морис заметит: он «хорошо писал, но был плохим ведущим». «Я часто бывал с ним в студии, и мне было больно слушать, как такой хороший материал расходуется напрасно; подобно многим писателям, он никогда не понимал тонкого отличия между словом написанным и сказанным, да и не беспокоил себя этим…»

Это вот верно: его всё больше беспокоило другое – бесполезность его усилий.

«21.06.42. На радио бросается в глаза – и, вероятно, то же творится и в других ведомствах – не столько моральное убожество и тщетность всего, что мы предпринимаем, сколько невозможность что-либо сделать, даже хорошее, без какой-то изначальной подлости. Наша политика неопределенна, дезорганизация настолько велика (из-за бесчисленных изменений *распорядка), а* страх и ненависть интеллигенции настолько всепроникающи, что никто вообще не может спланировать какие-либо радийные кампании. (*Когда кто-то планирует какую-то серию бесед с более или менее какой-то заложенной пропагандой за ней, вам сначала скажут “вперед”, затем, опустив на землю, заметят, что это вообще “неразумно” или “преждевременно”, потом снова скажут “вперед”, предложив, правда, выжать воду и вырезать некоторые прямые заявления. Наконец, предложат так “изменить” всю серию, что исчезнет и первоначальный замысел, – и то если в последний момент всё вообще не отменят…)*»[62].

Он возмущался вздором, который выкладывается в эфир, раздутыми штатами, из-за чего многим способным людям просто нечего было делать, неудачным для Индии временем «выхода в эфир». Но главное, конечно, запретами. Ведь даже о волнениях в любимой им Индии он не мог сообщить буквально ничего. Только – дневник: «10.10.42. Неру, Ганди и многие другие – в тюрьме. Беспорядки на большей части Индии, бесчисленные аресты и смерти… Жуткая депрессия среди индусов и всех, кто сочувствует им… Странно, но поведение нашего правительства в этом вопросе огорчает меня ныне больше, чем возможное военное поражение…» А еще через год вынужден будет признать: передачи его не только не достигают цели, но вообще являются «выстрелами в стратосферу». У индийских студентов – целевой аудитории его – не было достаточно радиоприемников. Что говорить о студентах, если в трехсотмиллионной стране лишь

150 тысяч людей обладали приемниками? Но даже у тех, кому повезло настроиться на волну, сигнал был настолько слаб, что делал передачи практически неразборчивыми.

Слабую надежду на перемены в редакции он испытал, когда ушел его начальник Зульфикар Бохари, тот, кто брал его на работу, но кто стал раздражать его из-за вечного соглашательства с цензорами. Новым начальником оказался Норман Коллинс, в прошлом – один из помощников издателя Оруэлла, Виктора Голланца. Оруэлл даже обрадовался – вот будет союзник, ведь Коллинс был из левых. Но Коллинс, выслуживаясь, стал не только придираться к работе Оруэлла, но писать на него жалобы. О чем? Да всё о том же – что Оруэлл ведет себя «уж слишком независимо для данной организации…».

Короче, бумажная волокита, требования писать бесконечные бюллетени «для служебного пользования» (он *написал почти сотню их), скрытая* цензура и, как венец всего, крошечная аудитория слушателей – всё это в конце концов вынудило Оруэлла в последний день сентября 1943 года написать сэру Л.Рашбруку Уильямсу.

«…Хочу просить Вас о моей отставке с “Би-би-си”, и буду очень обязан Вам, если Вы направите мое заявление куда следует… Я ухожу не потому, что в чем-то не согласен с политикой “Би-би-си”, и еще менее – по причине какой-либо обиды. Напротив, я считаю, что на протяжении всей своей работы меня принимали с величайшим радушием и предоставляли очень широкие полномочия. Ни в коем случае меня ни разу не вынуждали сказать в эфире то, что я бы не сказал как лицо частное. И я, пользуясь возможностью, благодарю Вас за понимание и то отношение, которое Вы всегда проявляли к моей работе.

Я прошу об отставке, поскольку в последнее время понял, что напрасно трачу свое время на работу, которая не дает результата. Я считаю, что в нынешней политической ситуации британское пропагандистское вещание на Индию – задача почти безнадежная. Конечно, чтобы судить так, следовало бы сравнить его с другими передачами, но лично я предпочитаю в любом случае не тратить на него свое время, когда мог бы заниматься журналистикой, которая реально принесет некоторый заметный эффект…»

Уволят его лишь в ноябре 1943-го. Люди, работавшие с ним, искренне жалели о его уходе. Один из начальников его даже направит «наверх» записку. «Я не могу с полным правом говорить о его характере или успехах у нас. Но он обладает редкими моральными достоинствами, а его литературный и художественный вкус – безошибочен. О том, что он уходит по

собственному желанию, сожалеет весь отдел…»

Да, и чуть не забыл! Факт говорящий. За несколько дней до ухода Оруэлл подготовил и выдал в эфир инсценировку еще одной сказки – опять сказки! На этот раз – по мотивам «Нового платья короля» Андерсена. Думаю, это вызвало немалое удивление в редакции. Ну и кто тот «король», пожимали плечами, который поверил двум ткачам-мошенникам, якобы сшившим «правителю» наряд, «невидимый для всех»? И где тот город или страна, чьи народы поверили «наваждению»? И кто тот мальчик, который прилюдно крикнул: «А король-то голый»!..»? И лишь самые близкие знали: его уже больше всего интересовал именно этот жанр – сказка. И знали, кто в его сказке «Скотный двор» скоро предстанет миру «голышом», без верховной «мишуры» и высоких словес. Имя можно было подставить любое: Сталин, Гитлер, Мосли или вообще – Наполеон…

Ныне некоторые исследователи предполагают, что ушел Оруэлл из-за того, что ему (как и всем на «Би-би-си») приходилось всё чаще мириться с «восхвалением» в британской прессе как раз Сталина как союзника Англии. Оруэлл, дескать, даже написал хвалебный комментарий на один из «приказов советского Верховного главнокомандующего» в феврале 1942 года. Речь шла о двух фразах Сталина: «Было бы смешно, – высказался в приказе Сталин, – отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается». Вот по этому поводу Оруэлл и заметил: «Учитывая жестокости, творимые немцами во время их вторжения в Россию, текст отличался отсутствием мстительности, мудростью и дальновидностью…» Дескать, Оруэлл написал это, но ошибочно, и «простить себе это был не в состоянии…».

Спорное утверждение, на мой взгляд. Откуда известно, в «состоянии» он был или не в «состоянии»?[63] Одно, правда, верно: Оруэлл к моменту ухода его с «Би-би-си» уже работал над сказкой «Скотный двор», и работа эта увлекала его всё больше и больше. Его действительно занимали и Сталин, и Гитлер, его жгла проблема природы власти диктаторов и немоты подневольных им народов, не давало покоя вероятное «будущее» – ради чего терпели народы своих угнетателей, – и, конечно же, волновало место писателя в мире. Ведь в это время он пишет и публикует одну за другой две важные, на мой взгляд, статьи: «Присяжный забавник» (26 ноября) – о растраченном таланте Марка Твена – и «Почему социалисты не верят в счастье» (20 декабря) – о том, к какому будущему движется современный социализм. Обе статьи лишь на первый взгляд кажутся не

связанными между собой. Но на деле это те опоры, те «кочки» в болоте запутанного мира, та тропка Оруэлла в чаще событий, которые и дали ему право, пусть и не вовремя, но поставить воистину глобальные вопросы в своей сказке – в сказочке, известной ныне каждому школьнику, – в блистательном и бессмертном «Скотном дворе».

Вопрос из будущего: *На излете войны, в 1944-м, вы напишете Глебу Струве письмо, в котором как-то легко скажете про «Скотный двор», что написали, дескать, вещицу, которая, возможно, всего лишь «повеселит вас». Это вот что? Некое кокетство литературное, невозможность на первых порах оценить сделанное, или писатель порой и впрямь не отдает себе отчета, что же он сотворил? Я с удивлением узнал недавно, что и Михаил Булгаков, живший в это же время, оказывается, писал свое «Собачье сердце» не столько для печати, сколько для того, чтобы «повеселить» узкий круг друзей и знакомых… Другими словами: почему нечто написанное как шутка, как чуть ли не стеб, становится порой великим явлением литературы, а, с другой стороны, замысел иного литератора создать нечто «великое» зачастую оказывается пшиком? Вопрос о миссии писателя, об осознании ее. Вы ведь и Марка Твена публично обозвали всего лишь «балагуром»?*

Ответ из прошлого: *Балагур… Твена часто сравнивают с его современником Анатолем Франсом… Оба были духовными сыновьями Вольтера, природа наделила их ироничностью и пессимизмом по отношению к жизни. Оба знали, что существующий социальный порядок – это сплошной обман, а так называемые заветные чаяния народа по большей части… заблуждения. Отъявленные безбожники, оба были убеждены в том, что Вселенная слепа и жестока… Но здесь сходство кончается…*

В.: *А в чем разница? Ведь оба остались в истории литературы, оба велики и читаемы?*

О.: *Анатоль Франс… обладал большим мужеством. Он действительно обличал мифы и мошенничества, а не прятался, как Марк Твен, за добродушной маской… присяжного забавника. Он не боялся гнева Церкви, не боялся занять непопулярную позицию… – возьмите, например, дело Дрейфуса. Что до Твена, то… он никогда не критиковал заветные чаяния, если это могло навлечь*

на него беду…

В.: *Но вы пишете, что у него были «задатки бунтаря, даже революционера»…*

О.: *Он… хотел развить их, но почему-то так и не развил. Он мог стать обличителем притворщиков и пустозвонов, глашатаем демократии, причем более значительным, чем Уитмен. Вместо этого он заделался той… сомнительной фигурой, перед которой угодничают дипломаты и которую жалуют венценосные особы… Сколько же времени потрачено… на шутовство и паясничанье… Человек, который мог бы вырасти в… Вольтера, превратился в записного застольного оратора, известного миру способностью сыпать анекдотами и ублажать богатых дельцов, выставляя их благодетелями общества… Это обыкновение брать где удастся сторону сильного, убежденность, что сила всегда права… Он сам пошел на капитуляцию из-за коренного изъяна в своем характере – неспособности встать выше Успеха.*

В.: *Да, помню. Однажды, правда, по другому поводу вы сказали, что слишком серьезно относитесь к «званию интеллектуала» и потому ненавидите «глумливость, попугайство, пасквилянтство и хорошо оплачиваемую фигу в кармане, которые процветают в литературном мире». Всё тот же «стеб», если по-современному… Но ведь «глумился» над миром и любимый вами Свифт?.. И только ли потому, что не смог «придумать» убедительную «положительную» утопию?.. Некий рай?*

О.: *Не смог… Первые три части «Путешествий Гулливера» являются самой едкой сатирой на человеческое общество, когда-либо написанной. Каждое слово в них до сих пор имеет силу; кое-где имеются достаточно подробные описания политических кошмаров нашего времени. Но чего Свифт не смог создать, так это описания расы существ, которыми бы он восхищался.*

В.: *Та же история, кажется, случится и со вторым томом «Мертвых душ» Гоголя.*

О.: *Получается, что все попытки описать счастье… терпели сокрушительный провал. Изобразить рай не легче, чем утопию, хотя ад в литературе… был многократно описан убедительно и со всеми подробностями…*

В.: *Это заметно и в священных текстах… Тоже, кстати, ваше замечание…*

О.: *Почти все христианские писатели или откровенно*

заявляют, что рай описать невозможно, или же несут чушь о золоте, драгоценных камнях, и бесконечном пении гимнов… Когда очередь доходит до рая, у них остаются лишь слова типа «экстаз» и «блаженство» – и ни слова о том, из чего они состоят. Возможно, самое живое предположение на эту тему высказал Тертуллиан, утверждавший… что главное удовольствие рая – это смотреть на муки страждущих в аду… Мусульманский же рай, где на каждого мужчину приходится по 77 гурий, все из которых требуют к себе внимания одновременно, есть сущий кошмар… Так же обстоит дело и с описаниями совершенного счастья… Они всегда производят впечатление пустоты, пошлости или и того и другого. В начале поэмы «Орлеанская дева» Вольтер описывает жизнь Карла VII и его любовницы… Он пишет, что они были «всегда счастливы». В чем состояло их счастье? Бесконечные пиры, пьянство, охота и совокупления. Кого не стошнит после нескольких недель такого «счастья»?..

В.: *Все «утопии» грешат этим, ибо оперируют представлениями их собственного времени.*

О.: *Неспособность человечества представить себе счастье в ином виде, чем передышку либо от труда, либо от боли, ставит перед социалистами серьезную проблему… Настоящая цель социализма не есть счастье… Мир хочет чего-то, что вроде бы может существовать, но точного определения ему дать не может. В это Рождество тысячи людей будут истекать кровью в российских снегах, тонуть в ледяной воде, будут разорваны на куски снарядами… бездомные дети будут рыться в развалинах немецких городов в поисках съестного. Сделать так, чтобы всё это исчезло, есть достойная цель. Но описать грядущий мир со всеми подробностями – задача совсем иная.*

В.: *Неисполнимая?..*

О.: *Социалисты должны предсказывать будущее, но – в общих чертах…*

В.: *Вам это, возможно, покажется странным, но то же самое говорил и Ленин, когда его спрашивали о конкретике будущего социализма…*

О.: *Почти все создатели утопий напоминают человека, у которого болят зубы и для которого счастье заключается в том, чтобы боль прошла. Они хотят создать совершенное общество, повторяя вещи, ценность*

которых временна. Более разумный путь действий состоит в принятии неких общих принципов, к которым человечество должно стремиться, а подробности оставить на потом. Попытки вообразить совершенство не приводят ни к чему, кроме осознания собственной пустоты. К сожалению, это можно сказать даже про такого великого писателя, как Свифт, который с величайшим мастерством может содрать шкуру с епископа или с политика, но когда пытается изобразить сверхчеловека, у читателя остается впечатление, противоположное намерениям писателя…

В.: *А у вас? Кого из коммунистов – «параноиков-властителей», как вы обозвали их, – вы могли бы назвать «сверхчеловеком» по их качествам? Вот тот же Ленин – сверхчеловек?*

О.: *Ленин – один из тех политиков, которые приобрели незаслуженную репутацию благодаря преждевременной смерти… Проживи Ленин дольше, он, вероятно, был бы выброшен из страны, как Троцкий, или удерживал власть примерно такими же варварскими методами, как Сталин…Часто… масштаб действий делает людей выдающимися… Нет ничего необычного в том, чтобы уморить голодом несколько человек из государственных соображений; но намеренно уморить голодом несколько миллионов – такого рода деяния приписывают только богам…*

В.: *«Всякая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно» – слова вашего лорда Эктона… Но тогда – последний вопрос: надо ли торопить «социальный прогресс», и какова цель его?*

О.: *Настоящая цель социализма есть человеческое братство. Это все чувствуют, но вслух произносят редко или, по крайней мере, недостаточно часто. Люди отдают свою жизнь политической борьбе, добровольцами идут на смерть в гражданских войнах, переносят пытки в тайных застенках гестапо не ради построения синтетического рая с центральным отоплением, кондиционерами и электрическим освещением, а потому, что хотят создать мир, где люди друг друга любят, а не обжуливают и не убивают. Они хотят этого первого шага. Куда идти дальше – они не уверены, но попытки представить последствия подробно отвлекают от главного…*

«Куда идти дальше?..» – вот вопрос, который занимал

Оруэлла, когда на чистом листе бумаги он вывел заголовок: «Скотный двор»… Братство людей, объединившихся против своих угнетателей, равенство в этой борьбе – возможны ли они? Может ли существовать мир, где люди друг друга любят, а не «обжуливают и убивают»?

Что ж, задача его «сказки» – миссия писательская – была воистину вольтерова! И не его вина, что художественная логика – да просто логика! – привела его к выводам неутешительным. К тому что «братство» – *«настоящая цель социализма»,* как он думал еще вчера, – в принципе неосуществимо. Оно недостижимо без кем-то «взятой в руки» – в «копытца» – власти, а власть – смертельное оружие как раз для братства и равенства. Заколдованный, еще один по-сказочному «заколдованный круг»…

Ах, как не вовремя, не к «обеду» и обедне задумался об этом «товарищ Оруэлл». Ему бы погодить, посмотреть, что будет дальше! Подождать благоразумно, кто кого победит в кровавой мясорубке мировой войны, – и прижаться, прильнуть, притереться, примкнуть между делом и незаметно к «лагерю победителей»… А он?..

2.

Дом рухнул в его отсутствие. Это случилось 28 июня 1944 года. На Монтимер Крещент рванула «Фау», и от маленького особнячка, где Оруэлл снимал квартиру, остались одни стены. К счастью, в квартире никого не было, хотя среди соседей были убитые и раненые. И, конечно, к счастью, что на развалинах жилища ему удалось найти единственный уцелевший к тому времени экземпляр рукописи «Скотного двора». Это видели люди, когда Оруэлл собирал обгоревшие книги из своей библиотеки…

Ныне на месте этого дома на полукруглой улочке стоит новодел. Но именно сюда, на северо-запад Лондона, Оруэллы перебрались еще летом 1942 года. В старом, викторианском еще строении у них была просторная, из нескольких комнат, квартира на первом этаже. «Отсюда лучше всего и выглядел Лондон для таких, как Оруэлл, – посмеется потом его новый друг лорд Астор, – для человека из “низшей прослойки верхнего слоя среднего класса”». А под квартирой был подвал, где среди стамесок, напильников, молотков и ножовок, рубанков и слесарных тисков (всё это видно на фотографиях, сделанных Верноном Ричардсом, – почти единственном фоторепортаже о жизни Оруэлла) Астор отметит и небольшой токарный станок, на котором Оруэлл мастерил кое-какую мебелишку. «Чувствовали вы

когда-нибудь необходимость работать руками? – спрашивал Оруэлл гостей. – Я не смог бы существовать без этого». Астор упомянет еще, вообразите, и курятник, который писатель завел и в городе.

Дэвид Астор, американец тридцати лет, тоже возник в жизни Оруэлла в 1942-м. Он пригласил писателя в свою газету – в старейший воскресный еженедельник *Observer*, одно из наиболее уважаемых британских изданий. Первую заметку Оруэлл опубликовал в нем 8 марта 1942 года. С Астором – тот был фактически владельцем газеты, а позже станет и редактором ее, – они станут друзьями; лорду, потомку богатейшего клана Асторов, будет даже льстить, что социалист Оруэлл общается с ним (хотя переоценить их будущее общение трудно, ведь Астор входил в самые высокие круги истеблишмента и не мог не посвящать друга в перипетии «тайной политики»). А кроме того, Астору понравилась «манера письма» Оруэлла – и стиль, и некая «провокативная» авторская позиция…

Познакомились просто, тут лорд не был оригинален – он всего лишь пригласил Оруэлла отобедать. «Когда я вошел в ресторан, – вспоминал Астор, – то сразу заметил его высокую фигуру, стоявшую в стороне… а когда свернул к нему – он сам шагнул навстречу и дружески спросил: “Вы Дэвид Астор?” У нас сразу всё пошло отлично… Он принадлежал как будто к какому-то знакомому мне типу. На нем были серые фланелевые брюки, и выглядел он как директор приготовительной школы – скромная удобная одежда учителя… Он не был особо аккуратен, но что-то военное ему всё же было присуще…»

Вот после этой встречи лорд и стал, не знаю, часто ли, но не чинясь бывать на Монтимер Крещент. А вообще в рухнувшем доме Оруэлла много чего случится. Здесь все три года он будет безостановочно писать заметки, статьи и эссе сразу для шести (!) изданий. Кто работал в журналистике, тот знает, что это такое. А если учесть, что он, как признался в дневнике еще в 1940-м, всё, что писал, писал «по крайней мере дважды», книги переписывал «по три раза», а отдельные куски – «даже пять или десять раз», то можно представить, с какой работал нагрузкой. Писал для еженедельного журнала *Time and Tide* (он выступал в нем как кино- и театральный обозреватель и, в частности, опубликовал рецензию на фильм Чаплина «Великий диктатор», получивший «Оскара»), для журнала *Horizon* (читай, для приятеля Сирила Коннолли), для американского еженедельника *Nation* и, как мы помним, для левого американского журнала *Partisan Review*, где редактор его, Уильям Филлипс, предложив ему рубрику «Письма из Лондона», выдал просто сумасшедший карт-бланш: «Можете

даже сплетничать о чем и о ком хотите – и чем больше, тем лучше». В какой-то степени это было уже мировым признанием, и за пять лет сотрудничества с *Partisan Review* он опубликует пятнадцать «Писем из Лондона». Он, наконец, не просто писал для либеральной, в недавнем прошлом – натурально «просоветской» по взглядам еженедельной газеты *Tribune*, но после «Би-би-си», в ноябре 1943 года, окажется в ней на штатной работе: будет принят литературным редактором на «три присутственных дня в неделю» и даже на небольшую зарплату. Здесь, с давним своим знакомцем по работе в книжном магазине Ионом Кимче, который к тому времени занимался уже всеми текущими делами издания и, главное, отстаивал линию еженедельника на «скорейшее открытие Второго фронта и на послевоенную перестройку страны», Оруэлл не только писал «о чем хотел» (одних рецензий восемьдесят штук), но придумал персональную колонку под названием «*As I please*» («Как мне нравится», «Как думаю я»). Оруэлл будет вести ее почти полтора года и затронет в ней, как подсчитает его биограф Бернард Крик, более 230 тем. Писал о росте цен, наглости американских солдат, которые вели себя в Лондоне как оккупанты, неудобствах жилья, да и житья, грубости продавцов, крахе старой городской канализации и даже предательстве правительством Варшавского восстания против фашистов, когда Англия пальцем не шевельнула ради союзника. Специалисты и ныне считают, что, даже не написав последних знаменитых книг, Оруэлл благодаря этой колонке остался бы в истории «национальной знаменитостью первого ранга»[64]. А шестым изданием, куда он стал регулярно писать, окажется асторовский *Observer*. И всё это – не считая работы над «Скотным двором». Впору за голову схватиться: когда же он успевал еще и мебель делать, да и кур кормить?..

Многое, слишком многое пережил он в рухнувшем доме. Здесь Эйлин, как более рациональная и, я бы сказал, приземленная, перейдет в 1942 году из департамента цензуры на работу в министерство продовольствия. Это даст ей возможность – так утверждают – помогать с продуктами даже незнакомым людям. А еще там, в министерстве, узнав, что муж ее – писатель-радийщик, ей почти сразу поручили руководить радиопрограммой «Кухонный фронт». Советовать, как приготовить вкусную пищу из тех продуктов, которые выдавали по карточкам. Только из картошки «Кухонный фронт» мог готовить почти сто блюд, а какое-то варево из нее при известной хитрости приготовления должно было напоминать столь любимую англичанами индейку. Не знаю, верил ли ей Оруэлл,

который, возможно, давился этой «индейкой» дома, но писательница Летиция Купер, подруга Эйлин, видевшая ее в те дни, вспомнит потом: «Застенчивая и непретенциозная в своих манерах, она отличалась честностью, которую, как мне казалось, никогда нельзя было поколебать». Кстати, Оруэлл на «Би-би-си» даже организовал передачу на Индию, которая так и называлась: «Передача с Кухонного фронта». И, надо сказать, Эйлин очень понравилась коллегам мужа.

Всякое было на Монтимер Крещент. Но главное – помимо работы, плотницких утех и заботы о курах он внимательно следил за событиями в мире. Взвешивал, сомневался, размышлял. «Говорят, что Молотов в Лондоне, – писал в дневнике в мае 1942 года. – Я не верю этому». Через неделю – новая запись: «Говорят, что Молотов не только в Лондоне, но что новый англо-российский договор уже подписан… Сведения исходят от Варбурга, который или излишне оптимистичен, или пессимистичен, но в любом случае всегда верит в неизбежность и огромных, и драматичных изменений». Еще через какое-то время удивился: «Наиболее впечатляющий факт о визите Молотова заключается в том, что немцы ничего не знали о нем… Хотя всё это время немецкое радио не переставало кричать о большевизации Великобритании. Очевидно, они бы постарались помешать этому, если бы знали». И тут же почти радуется «трагедии в Лидице». Не тому зверству, конечно, какое учинили фашисты в чешской деревне, а тому, что еще недавно многие из его окружения просто не верили в подобные зверства со стороны немцев.

«Телеграфное сообщение, – записывает 11 июня 1942-го. – 1200 жителей чешской деревни Лидице, виновных в укрывательстве убийцы Гейдриха, наказаны немцами. Были расстреляны все мужчины в деревне, женщины отправлены в концлагеря, а дети – на “перевоспитание”… Меня не особенно удивило, что люди делают такого рода вещи… Меня поразило, что обычные люди реагируют на подобные вещи, исходя исключительно из политической обстановки момента… Еще недавно многие бы издевались надо мной, если бы я рассказал им, как о правде, историю Лидице. И вот теперь есть факты, объявленные самими немцами… Сравни длинный список злодеяний с 1914 года (немецкие зверства в Бельгии, зверства большевиков в СССР, турецкую жестокость, издевательства англичан в Индии, американцев в Никарагуа, итальянских нацистов в Абиссинии, красный и белый террор в Испании) и то, как в каждом случае люди верили или не верили в них, в зависимости от политических пристрастий…» Вот из-за чего

пылало его сердце и дымилась душа, вот как вызревали зёрна его будущего великого романа!

Такое же «личностное» отношение он наблюдал и по отношению к открытию Второго фронта. Споры в редакциях: левые – за открытие его, кто-то – против. Почти одновременно с Молотовым в Лондон приезжал Дуайт Эйзенхауэр, и *Daily Express*, печатая 26 июня 1942 года его фотографию, выносит в заголовок слова: «Генерал Второго фронта уже здесь». *Sunday Express*, напротив, холодно заметила об этом, что британские авианалеты на фашистов – это и есть «наш Второй фронт». «В том лабиринте лжи, в котором мы живем, – возмущался Оруэлл, – ни одно из объяснений никто не считает очевидным… Вполне возможно, что наше вторжение уже решено, но газетам указано выступать против него, чтобы ввести врага в заблуждение».

Он ничего не знал в точности – и в то же время больше всего желал обрести как раз точное знание. Он только об этом и говорил. Более того, в те дни он не только познакомился, но пригласил к себе натурально советского разведчика. Вот уж факт так факт! Разумеется, он не знал, что 32-летний Гай Бёрджесс (такой же сотрудник «Би-би-си» и, как и он, выпускник Итона) станет известен миру как член великолепной «кембриджской пятерки» советских агентов, всю войну проработавший на СССР. Просто, познакомившись как-то с недавним послом Британии в СССР Стаффордом Криппсом (тот проработал в Москве полные десять лет), Оруэлл, заинтересованный в разговоре о Втором фронте, собрал у себя на встречу с ним поэта и критика Уильяма Эмпсона, Нормана Камерона, тоже поэта и переводчика, двух старых своих друзей – Джека Коммона и Дэвида Оуэна – и Гая Бёрджесса. О вечере запишет: «Обычная бестолковая болтовня». Поразят его две вещи: то, что никто из собеседников, просидев три часа, даже не заикнулся о выпивке, и что Криппс – этот, по словам Оруэлла, «красный нос», то есть просоветский британец, – вдруг скажет, что война закончится в октябре, через три месяца. «Германия будет повержена», – твердил посол. И более того – это тоже поразит Оруэлла, – скажет, что после победы «великие державы, выигравшие войну, смогут… управлять миром как единым целым». При этом Криппс «не делал большой разницы, будут ли эти державы капиталистическими или социалистическими». И в самом деле, «отрезвляющий» мозги вечер, пьянели от слов – не от виски…

В окружении Оруэлла спорили о Втором фронте всю войну. И, по большому счету, это, конечно, не «болтовня». Не простой вопрос; о нем спорят и поныне. Справедливости ради надо сказать: без помощи Запада, без ленд-лиза победа в войне

союзников, и в первую очередь СССР, задержалась бы, возможно, на несколько лет. Это не я, а маршал Жуков написал о помощи союзников: «Мы получили 350 тысяч автомашин, да каких машин!.. У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны… А сколько они нам гнали листовой стали… Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская сталь?» На американских грузовиках передвигалась вся наша артиллерия – в том числе и легендарные «Катюши». Из американского алюминия – когда к середине 1942 года от всей промышленности СССР осталась ровно половина, и всего лишь один из трех маленьких заводиков по выпуску «крылатого металла», – было выпущено как минимум 50% советских самолетов (мы за всю войну произвели 263 тыс. тонн алюминия, а от союзников получили 328). Это разве не факт?

Но реально Второй фронт, то есть высадка американо-британских войск в Европе, случился, увы, лишь в конце войны. В окружении Оруэлла спорили именно об этом; спорили, думаю, пока не случился Дьепп. После Дюнкерка это было второе крупное поражение британцев. Но если о Дюнкерке часто пишут и ныне, то о Дьеппе почему-то предпочитают помалкивать…

Про Дьепп, маленький французский городок, первым рассказал Оруэллу Астор. 22 августа 1942 года Оруэлл пишет в дневнике: «Астор ужасно расстроен рейдом на Дьепп, о котором он слышал в каких-то закрытых штабах и который, как он говорит, за исключением незначительных немецких потерь в воздухе, оказался полным провалом. Он говорит, что решительно всё искажено в прессе и, видимо, будет искажаться и впредь… Астор считает, что всё это доказывает: наше вторжение в Европу невозможно».

Вообще-то операция «Крысолов» – а именно так называлась попытка вторжения под Дьеппом – очень любопытна и показательна. Ныне известно: в форсировании Ла-Манша приняли участие британские коммандос (1057 человек), рейнджеры США (всего 50 человек) и – главная ударная сила – две канадские дивизии (4961 человек), про которых кто-то сказал тогда же: «Канадцев не жалко». В ночь на 19 августа, погрузившись на 9 десантных кораблей и 179 десантных барж, в сопровождении 8 миноносцев и 39 кораблей прибрежного действия, армада союзников под командованием британского генерала Робертса двинулась в путь. С собой войска везли 14-й танковый полк (55 танков «Черчилль»), 7 бронеавтомобилей «Динго» и гусеничный транспортер «Брен».

К пяти утра флот союзников приблизился к французскому

берегу, и десант под прикрытием дымовой завесы, поставленной авиацией, бросился в прибрежную воду. Первая, а затем и вторая волна наступающих была расстреляна практически в упор. Танки уничтожались, едва достигнув пляжей. Из 55 только 6 танков добрались до Дьеппа – и без труда были уничтожены. На берегу погибло 3367 канадских солдат и 275 британцев. Всего убитыми, ранеными и взятыми в плен союзники потеряли почти пять тысяч человек из шести. Было сожжено 27 танков, сбито 106 британских самолетов (против 48 немецких) и потоплены один эсминец и 33 десантные баржи. Это был полный разгром. Уже к девяти утра вместо 16.00, как было задумано, когда некоторые бойцы и танки не успели даже высадиться, генерал Робертс отдал приказ к отступлению…

Бессмысленная акция? Да нет, не всё так просто. Еще 7 августа 1942 года Оруэлл записал в дневнике: «Почти все, кого я знаю, уверены, что никакого Второго фронта не будет. Это умозаключение исходит от предстоящего визита Черчилля в Москву. (Люди говорят: “Стоит ли ездить в Москву, если мы не хотим открытия Второго фронта?”)»… Черчилль действительно получил в Кремле меморандум с предложением об открытии Второго фронта. А операция «Крысолов», случившаяся почти сразу, должна была стать либо неумелым пробным шаром этого «фронта», либо запланированным провалом и этой, и всех будущих попыток осуществить его. Ведь даже при гипотетическом успехе этой акции британцы должны были стремительно захватить Дьепп, уничтожить две основные цели – аэродром истребителей люфтваффе и штаб 302-й немецкой пехотной дивизии, и тут же, в тот же день, но к вечеру, отбыть в Англию.

Что из этого вышло, мы уже знаем. По сути, это было «заклание» своих воинов, именно гекатомба – гигантское жертвоприношение своих же солдат. И всё – ради доказательства СССР, что Второй фронт невозможен. Власти Британии – и здесь, возможно, и кроется разгадка – не только не хотели победы под Дьеппом, но прямо желали разгрома (к этому и ныне склоняются осведомленные британские исследователи). Во-первых, накануне британская контрразведка перевербовала действовавшего в Лондоне немецкого агента-радиста. Он, работая под ее контролем, сообщил в Берлин, что операция по высадке союзников состоится 19 августа, хотя реально планировалась на 18 августа, на день раньше. Однако лондонские сторонники провала операции, сославшись на туман над Ла-Маншем, сумели «перетащить» начало вторжения на 19 августа, ровно на тот день, о котором сообщал немецкий агент. Во-вторых, для пристрелочного рейда союзников был почему-то выбран Дьепп, не

только бесполезный со стратегической или тактической цели, но и, благодаря крутому побережью, может, наиболее «противодесантный» в округе. Кроме того, незадолго до операции французская редакция «Би-би-си» предложила французским радиослушателям эвакуироваться из района Дьеппа: «Мы тут немножко высаживаемся у вас под боком». И в качестве постскриптума глупо предупредила: «Не сообщайте об этом немцам». Это не считая реальных германских агентов, работавших в Англии. Короче, всё это не только дало возможность солдатам вермахта за полтора часа до прибытия десанта занять приготовленные позиции, но за день до вторжения спокойно пристрелять из орудий прибрежную полосу. Гитлер за проявленное при отражении десанта союзников «спокойствие и терпение» подарил Дьеппу 10 миллионов франков и отпустил 1500 французских военнопленных, а Геббельс целый месяц с упоением обсасывал эту победу в печати (английская, кстати, пресса наглухо замолчала это поражение…).

Понимал ли Оруэлл кровавый мазохизм властей по отношению к своим же и ту «хитрую игру» британских верхов с восточным союзником? Вопрос излишний. Через месяц после Дьеппа запишет: «Вчера состоялась церковная служба на открытом воздухе в Риджентс-парке. Батальон в каре, оркестр, мужчины, поющие гимн (прекрасный осенний день, легкий туман, ни одного дрожащего листочка и резвящиеся собаки вокруг). Но, к сожалению, звучала и ура-патриотическая проповедь, обычная в таких случаях гадость, которая, пока я слушаю ее, превращает меня чуть ли не в прогерманца. – Вот после этих слов он и выведет фактически свою оценку Дьеппу: – Также прозвучала специальная молитва “за людей Сталинграда” – поцелуй Иуды…»

«Оглядываясь назад, – запишет вскоре, – я вижу, что был антирусским (или, что более точно, антисталинским) на протяжении как раз тех лет, когда Россия стала являться миру как сильная, милитаризованная и политизированная страна, то есть с 1933 по 1941 год. Так вот, до этого периода и после него я был и снова стал прорусским…» И было это, напомню, накануне его работы над «Скотным двором»…

Через два года, когда издатели из «политкорректности» будут отказываться публиковать его «Скотный двор» (как можно? ведь под Сталинградом русские в это время ломали хребет Гитлеру!), когда власти Британии лицемерно встали грудью на защиту России, а друзья отворачивались от него за сатирическое изображение русского народа, «гомо советикус», Оруэлл четко и громко бросит в ответ: «Что за чушь? Никаких “советикусов” там нет – там живут настоящие, полноценные люди. Неизвестно еще,

как повели бы мы себя на их месте!» И ни разу – повторяю! – ни разу он не позволил себе ни единого слова презрения к «терпеливому русскому мужику»… Справедливость в его оценках по-прежнему была беспрецедентной.

Сказку о «человеческой сказке» под названием «социализм» – рождественскую «стори» «Скотный двор» – он обдумывал, по его признанию, шесть лет[65]. Три с половиной месяца отстукивал повесть на видавшем виды «Ундервуде». А опубликовать ее, как мы знаем теперь, пытался без малого полтора года. Сказка, законченная в марте 1944 года, выйдет в свет только в августе 1945-го. Но когда 19 марта 1944 года он в письме литагенту вывел воистину победный клич «Я закончил мою книгу!», миру, считайте, явился великий писатель. Равный кумиру его, Джонатану Свифту. А всего-то он в этом коротком сочинении – где-то около 30 000 слов! – поставил жирную точку на своих, конечно, но и на общечеловеческих мечтаниях о «царстве-государстве социализма». Плакать надо было ему, а не радоваться: мечта о «братстве» – рухнула!

* * *

Комментарий: Война идей и людей

«Если ты в меньшинстве – и даже в единственном числе, – скажет однажды Оруэлл фразу, которую я вынес в эпиграф к этой книге, – это не значит, что ты безумен. Есть правд*а*, и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен…»

Сама правда из океана замалчиваний может всплыть и завтра-послезавтра, и через год – и через полвека. Вот как со «Скотным двором». И если в 1945-м коммунисты «всех стран и наречий» назовут это произведение «пасквилем», то в девяностых годах того же столетия те же самые коммунисты рухнувшего СССР не просто призна́ют правоту Оруэлла – нет: напишут, наговорят, накричат, наболтают и вспомнят о пережитом ими «реальном социализме» нечто такое, что Оруэллу и не снилось. Не «сказкой» – пыточно-расстрельным кошмаром обернется для русских всплывшее прошлое «первой страны социализма».

Совпадений в его сказке с довоенной историей СССР не счесть. Хряк Наполеон запрещает гимн революции, задорную песню «английского скота», напоминающую о революционных надеждах, и меняет его на гимн самому себе – ровно как вождь «мирового пролетариата» заменил «Интернационал» гимном на слова Михалкова. «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Запрет на митинги, смена лозунгов, возведение своеобразного мавзолея вождю, перед которым маршируют массы, кампании клеветы и судилища и, наконец, переписывание истории – всё это было в СССР. А розовые мечты о равенстве заканчиваются созданием класса новых угнетателей.

«Оруэлл, мечтавший о переводе книги на другие языки, – пишет Мария Карп, – предлагал даже усилить эти совпадения. Для французского издания будет рекомендовать назвать книгу *Union des Républiques Socialistes Animales – URSA*, – что по-латыни означает медведь. Скрупулезно честный во всем, он, – цитирую я Марию Карп, – узнав, что Сталин во время наступления немцев остался в Москве, попросит издателей изменить в восьмой главе фразу, где говорится о реакции животных на взрыв мельницы: “… Голуби закружились в воздухе, а все остальные, включая Наполеона, плашмя бросились на землю и спрятали головы”. Вместо “включая Наполеона” в окончательном тексте будет

написано “кроме Наполеона”, чтобы, как объяснял Оруэлл, “сохранить справедливость по отношению к Сталину”». А Ричард Рис прямо напишет: финальная сцена «Скотного двора» – игра в карты между Наполеоном-диктатором и соседом по деревне мистером Пилкингтоном – это сатирическое изображение Тегеранской конференции союзников по борьбе с фашизмом, когда «оба пошли одновременно с туза пик и возникла ссора»…

На мой взгляд, «сказка» была в какой-то мере идейным продолжением книги «Памяти Каталонии». И, как испанская книга писателя, появилась до чертиков не вовремя. Им бы, казалось, погодить! Но, с другой стороны, разве не все великие книги являются миру не вовремя – опережая календари и даже летоисчисления? И Томас Мор с «Утопией», и Свифт с его «Сказкой о бочке», и Сервантес с «Дон Кихотом», и Достоевский с бессмертными «Бесами», и даже Булгаков со своим «Мастером». Литература, Большая литература, это ее имманентное свойство, с которым уже давно никто не спорит, словно гоголевская тройка, века и века обгоняет народы и государства. Предсказывает, грозит, предупреждает, дерется – и пророчит. Именно потому – из страха перед правдой – и была придумана цензура[66], именно поэтому писателей, начиная с Овидия, высылали из родных палестин, казнили, как того же Мора, сжигали, как Аввакума, ломали над их головами шпаги, отправляли на каторгу, отлучали от церкви – и стреляли, стреляли, стреляли и в затылок, как в СССР, и в лицо, как испанцы тому же Лорке…

Дэвид Астор однажды спросит Оруэлла: «А как к вам относились встреченные вами в жизни марксисты?» Оруэлл ответит: как к «фашистской гиене», к «осьминогу фашизма». И, через паузу, улыбнется: «Они ведь очень любят животных…»

Оруэлл тоже любил животных, но не тех и не так. Знал ли он, что еще в 1938 году, в одном из интервью, сравнивая трех диктаторов – Гитлера, Муссолини и Сталина, – великий Карл Юнг уже назвал последнего «саблезубым тигром»? «Сталин – именно животное, – сказал он, – хитрый, злобный мужик, бессознательный зверь, в этом смысле, несомненно, самый могущественный из всех диктаторов. Он напоминает сибирского саблезубого тигра этой мощной шеей, этими разглаженными усами, этой улыбкой кота, слизывающего сливки… Меня не удивит, если он сделает себя царем… Но мы должны быть ему признательны, – подытожит Юнг, – за наглядную демонстрацию всему миру очевидной истины, что коммунизм всегда ведет к диктатуре…» Помнил ли Оруэлл мысль Джека Лондона: «Чрезмерная любовь к животным идет рука об руку с жестокостью по отношению к человеку»? В какой-то степени это отразит и его

сказка. Ведь в ней, как в наше уже время напишет в «Размышлениях о “Скотном дворе”» В.А.Чаликова, он «подвел черту под веками мечтаний, проектов, программ, трактатов и художественных текстов, объединенных загадочным термином *утопия*…».

Еще вчера, пишет Чаликова, Оруэлл был каким-никаким оптимистом («настолько, насколько это возможно для пессимистического темперамента писателя»), и оптимизм его покоился на трех убеждениях: 1. Прогресс человечества – не иллюзия. 2. Всякий репрессивный режим растит в себе свое возмездие. 3. Жажда власти, проявляемая репрессивными режимами, – не свойство человеческой натуры, а следствие скудости, дефицита и порождаемой ими конкуренции. Но война, не перечеркнув его глубинных убеждений, изменила его «посылки» – «они просто лишились своего оптимистического стержня и наклонились, как говорил Оруэлл, в сторону условной модальности». Теперь они выглядели так: 1. Прогресс человечества, возможно, лишь наша иллюзия. 2. Возможно появление репрессивных режимов, способных утвердиться навечно. 3. Жажда власти, может быть, не ситуативная реакция, а органическое свойство природы. Но по поводу цели «Скотного двора» сам Оруэлл однажды четко сказал: необходимо «разрушить сталинский миф во имя социалистического движения», и, коль скоро «миф побивается мифом, как огонь огнем», это должно быть сделано в аллегорической, сказочной форме. Более того, в эссе «К европейскому единству», которое опубликует в 1947 году, призна́ется, что, как только обнаружил весь ужас построенного в СССР «социализма», он и стал окончательно социалистом. Не стоит, дескать, отказываться от поезда, помните, из-за плохих кондукторов?..

Важный акцент! Он прямо относится и к субъективному замыслу писателя, и к объективному значению произведения. Равно как и слова Оруэлла в одном из писем той поры, когда он пояснил, что мишенью его сатиры были вообще «насильственные заговорщические революции, возглавляемые жаждущими власти людьми». Ведь тем самым он заглянул, считайте, даже не в XXI век – в беспредельное будущее. Оруэлл своей сказкой не только смеялся над теми и другими, но в глубине души плакал. «Скотный двор», напишет Бернард Крик, является «плачем по провалившейся революции, плачем по уничтожению старых большевиков сталинистами и всех надежд, связанных с первым периодом русской революции…». Плачем, «ревнители», а не стебом и улюлюканьем!..

Чаликова, препарируя аллегорию Оруэлла, резонно замечает,

что элитарные маккиавелианские теории ныне нереалистичны. «Это когда-то “господа” были “реалистами”, “умниками”; сегодня они – … просто свиньи. Прямоходящие, спящие на постелях, умелые, дипломатичные свиньи. И пребудут такими в сказочной вечности рядом с кощеями и драконами…» В этом видит она не только «инстинктивное народничество» Оруэлла, но глубоко продуманную философию. А корни этой «философии» находит во внутреннем противостоянии потрясшей Оруэлла книги Дж.Бёрнхема «Революция управляющих»[67]. Бёрнхем, пишет Чаликова, «не просто влиял на Оруэлла – он оказался вечным, неотступным Мефистофелем» его. Никто не вызывал у него «столь острой, мучительной, восхищенной и протестующей реакции»; он писал о Бёрнхеме пять раз, вплоть до 1947 года, не считая бесконечных ссылок на него.

Бёрнхем восхитил, но и ужаснул Оруэлла тем, что «хладнокровно составил формулу его собственных тайных подозрений», что капитализм и социализм по сути равны друг другу. «Суть эта обнаружится, – подчеркивала Чаликова, – в будущей всемирной социальной системе государственного капитализма. На место индивида станут государства, масса, народ, раса; на место золота – работа; на место частных предпринимателей – социализм или коллективизм; на место свободы и свободной инициативы – планирование. Меньше будут говорить о нравах и естественных правах, чем о долге, порядке и дисциплине». «Социализм, – напишет в своей рецензии на книгу Бёрнхема Оруэлл, – если он значит только централизованное управление и плановое производство, не имеет в своей природе ни демократии, ни равенства». Бёрнхем, предвидя эпоху «главенства менеджеров», управляющих, представлял формирование «капитализма-социализма» как модернизацию, уничтожающую национальные культуры, исторические традиции, безжалостно сглаживающую все мифические и сентиментальные, личностные излишки катком анонимной универсальности. В таком подходе социализм становился не «донкихотской мечтой», а «угрожающей реальностью…». И не смахивает ли это на современную нам Европу? На Америку?..

Оруэлл с трудом, но «пережил» Бёрнхема. В эссе о нем обвинил его просто в трусости. Сказав, что Бёрнхем всё время «предсказывает» лишь то, «что уже происходит», Оруэлл почти припечатал его: «Это серьезная психическая болезнь, и корни ее отчасти – в трусости, а отчасти – в преклонении перед силой, которая не вполне отличима от трусости». В отличие от Бёрнхема, Оруэлл в статье о нем еще в 1946 году написал, а лучше сказать, предсказал: «Слишком рано еще говорить, каким образом русский

режим себя уничтожит… Но так или иначе, русский режим либо пойдет по пути демократии, либо погибнет. Огромная, непобедимая, вечная рабовладельческая империя, о которой, кажется, мечтает Бёрнхем, никогда не будет создана, а если и будет, просуществует недолго, потому что рабовладение более не является основой для человеческого общества». Так ведь, по сути, и получилось с попыткой демократизации в нашей стране. А коренным образом Оруэлл, еще до конца 1940-х годов, разойдется с Бёрнхемом «в оценке роли технического прогресса и его следствия – материального в формировании будущего общества». По мнению Оруэлла, не избыток, а недостаток материальных благ стимулировал, подхлестывал неравенство. Скудость, нехватки, дефицит (о, как знакомо это слово еще живущему поколению, выросшему при «развитом социализме»!) – именно они, считал Оруэлл, вынуждали элиту защищать свои привилегии и изобретать идеологию «вынужденного неравенства», суть которой он с таким блеском сформулировал в «Скотном дворе».

«Прояснилось вскоре, – издевается в сказке Оруэлл, – и загадочное исчезновение молока. Его ежедневно подмешивали в корм свиньям. То же произошло и с ранними яблоками-падалицей… Животные полагали, что их поделят поровну. Но поступил неожиданный приказ: всю падалицу собрать и доставить в кладовую для свиней. Кое-кто начал ворчать, но это не помогло… А объяснить ситуацию поручили Крикуну.

– Товарищи! – визгливо подпрыгивал он. – Надеюсь, вы не подумали, что мы, свиньи, сделали это из любви к себе и из желания, так сказать, привилегий… Нет, многие свиньи, прямо говорю, вообще терпеть не могут молока и яблок. Я, к примеру, не переношу их. И единственная цель, которую мы преследуем, забирая всё это себе, – это сохранение нашего здоровья. Молоко и яблоки – это доказано Наукой, товарищи, – содержат компоненты, совершенно необходимые для хорошего самочувствия свиней. Мы ведь работники умственного труда… День и ночь мы печемся о вашем же благе. И если мы пьем это молоко и едим эти яблоки, то *ради* вас. А представьте, что произойдет, если мы, свиньи, не справимся со своими обязанностями! Вернется Джонс! Да, вернется Джонс! Неужели, товарищи, – убеждал Крикун, помахивая хвостиком, – неужели среди вас есть такие, кто хотел бы, чтобы вернулся Джонс?..»

Разумеется, животные не хотели, чтобы вернулся их хозяин, человек-враг, бессовестный эксплуататор их и страшный убийца. «И раз дело было представлено в таком свете, – пишет Оруэлл в “Скотном дворе”, – сказать им было нечего… Вот почему без лишних слов было решено: всё молоко и падалицу (а позднее – и

весь урожай яблок, когда они созреют) надо сохранять лишь для свиней…»

Через пять лет, в романе «1984», Оруэлл вновь изображает общественную систему, в которой не просто существуют дефицит и привилегии, но на этом и держится «выстроенное» общество. А героиня романа Джулия, добыв каким-то чудом из «запасов Внутренней партии» настоящий кофе, обзывает «властителей» опять же «свиньями».

– Кофе, – прошептал Уинстон, – настоящий кофе.

– Это кофе Внутренней партии. Целый килограмм, – сказала Джулия.

– Как же ты всё это достала?

– У этих свиней есть всё. Но, конечно, официанты, слуги крадут…

Вторым, а может, и первым по значению возражением Бёрнхему стало у Оруэлла отрицание насилия (в том числе интеллектуального) как главного фактора смены общественных отношений – к подобным «теориям» он и раньше относился и с подозрительностью, и даже с брезгливостью. В отличие от Бёрнхема, он еще в «Фунтах лиха» понял: в современном мире реально существует самое неприкрытое рабство. И сами освободиться от него «рабы» не могут: у судомоев не было времени, чтобы создать профсоюз для собственной защиты, у них не было ни часа даже для того, чтобы подумать об этом. А значит, дело «не в тупости, не в бездуховности обреченного на рабство “быдла”, а в определенных условиях, в которых живет человек, не принадлежащий к правящей корпорации». То же происходило, предполагал он, и с «гомо советикус» – недаром Оруэлл с жадностью читал литературу, пробивавшуюся из СССР. То есть рабство в цивилизованном обществе, которое еще два десятилетия назад казалось невероятным, «стало реальностью 1942 года». В 1943–1944-м, когда писался «Скотный двор», Оруэлл в очередной рецензии на Г.Уэллса уже заметил: «Нам угрожает не уничтожение, а цивилизация рабов, и не хаос, а кошмарный порядок…» – «иерархический социализм», который построят «интеллектуалы», всё те же «умные хряки»…

Утопии и антиутопии, повторяю, имеют свойство со временем менять свое значение или, если хотите, расширять «субъективный замысел автора». «Скотный двор» в этом смысле – только лишний пример тому. «Не идеология управляет товарищем Наполеоном, – пишет М.Шелден, – а жадность. Капитализм так же легко, как и социализм, может обслуживать амбиции новых правителей… Уродливые рыла легко проступают как на капиталистах, так и на революционерах. Голодные по власти, они визжат и хрюкают на

митингах и протестных маршах. Они могут нагло захватывать то, что хотят, и при этом притворяться скромными, простыми слугами великого дела… Книга Оруэлла – универсальный путеводитель по властной политике, и уроки этой притчи так же нужны нам сегодня, как и первым читателям. С легкими поправками, – пишет Шелден, – мы можем применить сатиру Оруэлла к любому борову в мире нынешних корпораций или в режимах любого жестокого деспота. И, может быть, прямо сейчас некоторые великолепно откормленные свинотипы где-нибудь по-прежнему защищают заповедь, приведенную в книге: “Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие”»… Как тут не привести известную фразу самого Черчилля: «Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки – сверху вниз. Лишь свинья смотрит на нас как на равных…» Тоже ведь «властитель» сказал, тот, кто признавался, что власть – это «наркотик»…

«Молоко» и «падалица» – что они по сравнению с тем, что можно наблюдать ныне? Сказка вечна, ибо нынешние правители, обладатели несчитанных миллионов и миллиардов, тем охотней заводят «песню» про демократию, свободу и равенство, чем легче им оказывается выигрывать затратные выборы и вновь взгромоздиться над всеми. Что говорить, когда в «заповеднике демократии», в нынешних США, реальная президентская власть как-то (о, конечно же, случайно!) уже которое десятилетие оказывается в руках одних и тех же кланов. Джимми Картер, бывший в 1970-х президентом США, только что, в сентябре 2015 года, тоскливо признал: «Америка стала олигархией вместо демократии. Сейчас никто не сможет выдвинуться кандидатом на выборах как от демократов, так и от республиканцев, если не способен собрать 200–300 миллионов долларов… Деньги идут от самых богатых доноров. Это примерно 400 семей…» Не из-за падалицы идет борьба ныне – на кону миллиардные состояния, но для избирателей песенка все та же: о равных возможностях, «американской мечте», честных выборах, великой Конституции и всеобщем патриотизме. К тем же выводам приходит и Мария Карп, которую уж никак не заподозришь в симпатиях к рухнувшему СССР. «Гениальность Оруэлла, – пишет она, – заключается в том, что, разоблачая “советский миф”, он вскрыл механизм крушения революционных надежд. Финал его “сказки”, где свинью невозможно отличить от человека, а человека – от свиньи, приходит на ум, когда думаешь и о недавних победах левых партий в большинстве стран Западной Европы, и о результатах российской перестройки». Но вот вопрос: как, когда, почему столь неотвратимо «страхи» Оруэлла перешли от

адресатов его сказки к его соотечественникам? И не отвечает ли он как раз на этот вопрос уже романом «1984»?..

Всё: и написание сказки, и полемические статьи Оруэлла, и размышления его о развитии общественной мысли – шло на фоне реальной и самой страшной в истории войны. Оруэлл многого не знал о ней, не мог знать, но о многом догадывался. Оруэлл знал о ленд-лизе, о помощи Запада СССР – об этом кричали на всех перекрестках, – но не знал, что Гитлера реально вскормил и тайно поддерживал как раз Запад (тоже ведь «поцелуй Иуды»). Да и откуда ему, 19-летнему еще выпускнику Итона Эрику Блэру, было знать, что еще в ноябре 1922 года «состоялся первый контакт американцев с Адольфом Гитлером»? Об этом факте в одном из интервью 2016 года, то есть буквально вчера, сказал знаток Германии Валентин Фалин. «В беседе с помощником военного атташе США в Германии Смитом будущий фюрер уже тогда сказал: “Не дожидайтесь, когда вам придется сразиться с коммунистами на поле брани, поручите нам разделаться с ними”. И с декабря 1922 года, – продолжает В.Фалин, – банковская группа Варбургов начала финансировать правоэкстремистское движение в Веймарской республике». Оруэлл не знал, что США и Британия не только давали миллиардные кредиты Гитлеру перед войной, что «у ангелов Гитлера – три миллиона долларов в банке США», но что *Union Banking Corporation* (а одним из директоров этой корпорации был Прескотт Буш, отец и дедушка двух вчерашних президентов США) стала «главной организацией по отмыванию нацистских денег» Гитлера, Геббельса и Геринга. Помогали Сталину, но помогали и Гитлеру. Гнали взрывчатку нам, но и Гитлеру. Именно деньги корпораций США позволили Германии в 1940-х годах произвести 35 % взрывчатки, 50 % чугуна, 38 % гальванизированной стали и 36 % стального листа. Оруэлл этих цифр не знал, но это был мир капитализма, национал-социализма и просто «социализма», которые, хоть и преследовали разные цели, но, строго говоря, мало чем отличались друг от друга. Не отличались «многоголосьем лжи», о чем сказал как-то Черчилль.

Оруэлл и его сказка, находясь и ныне в самом эпицентре «войны идей», по-прежнему выкидывают те еще коленца. Буквально вчера, например, бостонский журнал в далекой Америке, опубликовав статью Дмитрия Горбатова «Оруэлл в зеркале Свифта (О животных и животноводстве)», доказывает, что «Скотный двор» на деле целился, скорее, в капитализм. «Мы привыкли думать об Оруэлле, – пишет Д.Горбатов, – как об антикоммунисте, позабыв о том, что он прежде всего *свифтианец* (здесь и далее курсив мой. – *В.Н.*). Но ведь Свифт-то… не был ни

коммунистом, ни антикоммунистом! Он был просто великим сатириком – то есть бичевал людские, но никак не политические и не идеологические пороки. Убежден, – пишет Д.Горбатов, – что именно этот свифтовский мотив – брезгливое осмеяние *всякой идеологии вообще* – "всплыл" у Оруэлла в "*Animal Farm*", только всплыл с гораздо большей глубины. Главное направление разложения Животных, которое учиняют Люди, лежит не столько в сфере экономической, сколько в сфере духовной. И это духовное разложение Люди весьма эффективно начинают проводить с "верхушки", с *элиты фермы* – то есть со Свиней…» «Жутковатое (истинно свифтовское!) очарование», по мнению Д.Горбатова, таит в себе концовка сказки, когда людей и свиней изумленные животные фермы просто перестают различать. Во-первых, пишет Горбатов, «в своем противостоянии "капитализму" (у Людей) "социализм" (у Свиней) заранее обречен». А во-вторых, «поскольку, в конце концов, Свиньи и Люди внешне перестают отличаться друг от друга, такая концовка сказки несет в себе критику не только *свинского* "социализма", но и – в равной мере – *людского* "капитализма"… "Социализм" у Оруэлла, – доказывает Горбатов, – обречен вовсе не потому, что он хуже "капитализма" (поначалу читателю кажется, что он как бы даже и лучше), а потому, что *капитализм экономически сильнее и духовно подлее социализма*. Потому что капитализм, эксплуатируя самые низменные слабости человеческой натуры, развращает общество гораздо больше, чем социализм, и избавиться обществу от первого значительно сложнее, чем от второго. *Утопия социализма возвышает – при жизненном проигрыше, но зато реальность капитализма разлагает – при жизненном выигрыше…* Притча Оруэлла, – заканчивает статью Д.Горбатов, – невероятно трагична: Животные, попытавшиеся взбунтоваться против их хозяев – Людей, в конце сказки оказались в еще худшем положении, чем были в начале. *Если раньше ими командовали только Люди-похожие-на-Свиней, то теперь – после тотального краха идеи Animal Farm – ими, в придачу, будут командовать еще и Свиньи-похожие-на-Людей*. Вот мы и добрались до *морали* сказки: любая попытка Животных стать Людьми приводит не только к колоссальному усилению власти *людей*-"*свиноидов*", но и к появлению некой особой социальной породы – *свиней*-"*гуманоидов*". А поскольку неизвестно, какая из этих пород страшней, то великий английский сатирик XX века гневно заклеймил их обе. Так же, как его предшественник – великий английский сатирик эпохи Просвещения – гневно заклеймил обе лилипутские политические партии, так и не сумевшие мирно договориться об анатомии самого обычного яйца… Оруэлл –

очень верный и очень благодарный ученик Свифта: его сказки – тоже не для детей. Ни для коммунистических, ни для антикоммунистических…»

Задумав, по сути, «царство Божие» – утопию «свободы, равенства и братства», – «социализм» по заветам Старого Майора из «Скотного двора», призового хряка фермы («Ни одно животное не имеет права угнетать себе подобных. Слабые и сильные, умные и не очень – все мы братья. Пусть скоты ни при каких обстоятельствах не убивают друг друга. Все животные равны!»), домашний скот сказки Оруэлла неизбежно пришел к антиутопии – к невозможности осуществить прекрасные лозунги, великие мечты. Незамыленным глазом видел реальность Оруэлл, всё то, что отмечал еще до Второй мировой войны Т.Вуат в книге «К Цезарю». «Попытки установить царство Божие на Земле, – писал тот, – это прокрустово ложе, в которое втиснуть человечество можно лишь через войны, террор, тюрьмы, концлагеря, автоматные очереди и виселицу». Но, рецензируя Вуата (а он рецензировал и его), Оруэлл, принимая его концепцию, считал ее все-таки вариативным «предостережением», характеризуя ее «пессимистически упрощающей, но полезной критикой утопии». Что-то мешало ему принять этот простой и понятный вывод. Но что?.. Так вот, мешал ему Человек, непримиримая душа индивидуума – его дух и его мораль. Не сломленный внутренне Человек, который, как ему казалось тогда, еще мог – пусть и в единственном числе, как и сам он, – противостоять и вселенской лжи, и тотальному принуждению. Где-то здесь пряталась для него разгадка, разрыв порочных «заколдованных кругов» жизни, просвет в его мрачных парадоксах, тот, может быть, «третий путь», который пока не найден людьми. Он будет искать его, по сути, вместе с Уинстоном Смитом – героем его последнего романа. Есть ли у человека Дух, способный к сопротивлению свиньям-властителям, можно ли остаться свободным хотя бы внутри своей души и возможно ли «им», вооруженным самой современной техникой и открытиями науки, добраться до самых потайных уголков «черепной коробки», до самых «извилистых извилин» мыслящей личности?..

Это уже не примитивное «уравнивание» социализма и капитализма, о котором ныне не пишет разве что ленивый, не пресловутая «теория конвергенции» конца прошлого века, это нечто не решенное – пусть и на новом этапе – до сегодняшнего дня. Об этом уже в наши дни пишет, например, в изданных только что дневниках русский эмигрант, всю жизнь проживший на Западе, протоиерей Александр Шмеман. Он, друживший и переписывавшийся с Солженицыным и даже с молодым Бродским,

много размышлявший как раз о «войне идей» в современном мире, как-то записал: «Первородный грех демократии (всей, заметьте, демократии. – *В.Н.*) – это ее органическая связь с капитализмом. Гарантированная ею формальная свобода нужна капитализму, но им же и извращается, изнутри “предается”. Ибо капитализм превращает ее в свободу наживы. А как реакция на это – отречение и от свободы! Порочный круг западного мира. Демократия без “нравственного этажа”. И вот выбор: ужасная “правая” (правда. – *В.Н.*) и еще более ужасная “левая”. С тем же, в сущности, абсолютным презрением к человеку и к жизни. И нет, до ужаса нет – “третьей идеи”…»

«До ужаса нет»!.. Оруэлл понимал это еще в 1940-х. Но в нем еще жила надежда, что в темном и робком сознании «рабочего скота», как в его сказке, живут слова старого запрещенного варианта «революционного гимна восставших животных». Поразительно, но Артур Кёстлер в некрологе Оруэллу, помянув этот гимн, сказал, что и в авторе «Скотного двора» эта «мелодия» звучала до последнего вздоха его. «Я думаю, – написал Кёстлер, – что он и для собственной эпитафии выбрал бы тот “революционный гимн”, который так трогательно поют его любимые животные:

Будет мир без бича и без ноши,
Пусть нам до него не дожить.
Все: гуси, коровы и лошади —
Будем свободе служить!..»

Что ж, думаю, потому уже тогда можно было сказать: сказка Оруэлла «Скотный двор» будет жить долго, ей (хотим мы этого или не хотим) просто суждено бессмертие.

3.

Умерла Эйлин. Самоотверженная жена его с «треугольным личиком», редкий тип «леди и одновременно интеллигентки». Последними словами ее в письме к мужу, написанном в больнице *Fernwood House* перед полостной операцией, за которую уже были заплачены какие-то пятьдесят фунтов, стали: «Я не стою таких денег. С другой стороны, если оставить всё как есть, это будет стоить еще дороже, так как процесс убийства меня этой штукой займет долгий период, и это будет стоить уже не таких денег…» Она так и не узнает, что благодаря рукописи «Скотного двора», той тощей пачечке машинописных страниц, которую она

помогала писать, семья через полгода просто разбогатеет. А уже под морфием, на каталке, почти засыпая, дописала: «У меня приятная палата, первый этаж, так что можно увидеть сад. Там не очень много всего, только нарциссы, и, кажется, сурепка, и маленькая приятная полянка. Моя кровать не возле окна, но повернута к нему. Еще видны камин, часы, » И на запятой заснула, чтобы уже не проснуться…

Мистическая, какая-то воистину античная драма с единством места, времени и действия. Эйлин должны были удалить опухоль матки в городе Ньюкасл-апон-Тайн, рядом с маленьким городком Саут-Шилдс – на той же реке Тайн, где она родилась когда-то, рядом с домом любимого брата Лоренса в деревеньке Карлтон, где они с Оруэллом частенько гостили, рядом с Грейстоуном, в нескольких милях от Карлтона, где пустовал дом умершей недавно тетки жены Лоренса, куда они временно перебрались, когда в их лондонский дом угодила «Фау», и, главное, – в том же графстве Дарем, где ровно девять месяцев назад они с Оруэллом усыновили трехнедельного младенца, которого нарекли Ричардом. Мистика в том, что Ричард родился в *Fernwood House,* в больнице, где Эйлин и умрет. Всё сошлось у покойной 29 марта 1945 года…

Решение усыновить ребенка совпало с окончанием работы над «Скотным двором». Эйлин заливалась смехом, выхватывая из-под машинки мужа написанные страницы и, как я писал уже, придумывала имена бедным животным фермы. Оруэлл в письме Дороти Плауман напишет: «Какая страшная жалость, что Эйлин не дожила до публикации “Скотного двора”, который она особенно любила, и участвовала в выдумке его». Эйлин даже думала о сочинении детского рассказика, который можно было бы включить в сказку, но оба отбросили эту идею. «Она сохранилась лишь в разговорах, когда она и Оруэлл по ночам в кровати выдумывали забавные ситуации, основанные на слабости и глупости животных их мнимой фермы». Впрочем, грустный финал этого произведения был ясен обоим, и, если хотите, мечта о ребенке была в каком-то смысле личной надеждой на лучшее, проявлением неиссякаемой витальной силы их.

Акт усыновления был подписан 6 июня 1944 года, и, лишь вернувшись в Лондон, оба узнали, что этот день оказался и днем «*D*» – датой открытия Второго фронта. Вернулись уже в новое жилье – из разрушенного бомбой дома перебрались в квартиру на втором этаже дома на Канонбери-сквер, 27-б, за сто фунтов в год. Преимуществом было то, что новый дом в этом престижном районе (там, кстати, будет жить и однофамилец Оруэлла, недавний премьер-министр Англии Тони Блэр) находился

сравнительно недалеко от Стрэнд-стрит, где прямо против небесной красоты готического собора была редакция *Tribune*, куда Оруэлл трижды в неделю мог ходить пешком.

«Это было темное, почти не освещенное жилье, но с каким-то английским духом, – вспомнит жилье Оруэлла Дж.Вудкок. – На оштукатуренных стенах в гостиной, рядом с какими-то вырезками из журналов, висели портреты темного викторианского письма, стояла коллекция фарфоровых кружек, а выше были полки, забитые книгами. У камина стояло плетеное кресло с высокой спинкой, а в углу – другое, строгой формы, в котором любил сидеть сам Оруэлл… Я не думаю, что Оруэлл был совсем уж равнодушен к комфорту, но тяжелые времена, пережитые им, дали ему легкое презрение к преимуществам буржуазной жизни… Это, конечно, не было осознаным спартанством, – подчеркнет, – и в тех немногих случаях, когда мы посещали довольно дорогие рестораны, я замечал, что он наслаждался и роскошной едой, и всем прочим. Просто у него от природы были скромные потребности… и единственной характерной чертой его на общем фоне был, как мне кажется, сохраненный стоицизм поведения». А Эйлин шутила, что они могли бы жить в квартире и получше, если бы оба не курили так много. «Всё уходит в дым», – смеялась. И очень, конечно, веселились друзья, когда нетребовательный к еде писатель съел по ошибке еду для кошки. Вудкок подчеркнет, и тоже не без юмора, что Оруэлл мог, к примеру, «отринув когда-то манеры среднего класса», принимая у себя представителя рабочего класса, «переодеваться к обеду», а с другой стороны – «безмятежно прихлебывать чай “из блюдечка”, сидя где-нибудь в столовой…».

Чай, особо традиционный *five o’clock*, был для него почти священен. «Готов поклясться, – напишет в мемуарах Пол Поттс, – что Оруэлл предпочел бы чай и ростбиф даже Нобелевской премии», – и описывал ну просто пиквикские сцены в квартире на Канонбери-сквер. «Ничто не могло быть более приятным, чем вид его гостиной зимним вечером, – вспоминал этот худой насмешливый поэт. – Разожженный огонь, стол, заполненный удивительными вещами: различными джемами или тостами. Но прежде всего – “Смак” в своеобразной плоской банке. Рядом с ним стояла обычно банка мармелада… А еще – разговоры в компании какого-нибудь радикального эмигранта или очередного писателя. В этом было что-то невинное и ужасно простое. Он был при этом не очень хороший арбитр. Он был больше, кажется, по части ростбифа. Любил быть радушным хозяином, как любят быть ими цивилизованные люди, которые на самом деле очень бедны… Однако бедность не делала его бесхребетным…»

Не знаю, конечно, думал ли Оруэлл о Нобелевской премии, но бешеного успеха сказки, кажется, ни он, ни Эйлин не предвидели. Творчество – это ведь всегда игра «в темную», и чем гениальней автор, тем отчего-то легче, ненатужно рождается у него под пером самое сложное и невероятно глубокое произведение. «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» – воскликнул наш поэт, закончив «Бориса Годунова». И так же мог воскликнуть Оруэлл 19 марта 1944 года, когда торопливо спускался к почтовому ящику, чтобы отправить письмо литагенту Муру со словами, помните: «Я закончил мою книгу!..»

«Я пошлю ее Вам через несколько дней, – писал Муру. – Чтобы не тратить зря время, мы, думаю, заранее должны решить, показывать ли ее Голланцу… Я думаю, однако, Голланц не станет публиковать ее, поскольку она тенденциозна, причем в сильном антисталинском духе. Нет смысла терять время и на Варбурга, который, вероятно, тоже не захочет касаться этой тенденции и к тому же, насколько мне известно, почти не имеет бумаги. Я предлагаю уведомить, как мы и должны, Голланца, но дать ему понять, что книга, вероятнее всего, ему не подойдет, и сказать при этом, что готовы отправить рукопись ему…»

С этих слов начала разворачиваться небывалая, редкая для Англии интрига, связанная с публикацией сказки, которая растянется на полтора года. Уже в этом письме, перечислив издателей, которых может заинтересовать его притча, Оруэлл вновь и вновь говорит о Сталине. «Последнее является важным. Эта книга – убийца коммунистической точки зрения, хотя имена в ней не упоминаются». Возвращаясь же к Голланцу, спрашивает: а может, ему вообще не посылать рукопись, ибо она столь коротка, что, кажется, не подпадает под слова «художественное произведение стандартного размера», на что, пишут, опытный Мур лишь улыбнулся. И как последнюю надежду упоминает американцев: «Около года назад *Dial Press* писала мне, прося посылать им любую следующую книгу, которую я напишу, и им может понравиться эта…»

Голланцу Оруэлл все-таки отправил рукопись, но предупредил: «Я уверен, что Вы не напечатаете ее. Она совершенно неприемлема для Вас с политической точки зрения». Тот, вопреки ожиданиям, проглотил книгу мгновенно – и мгновенно же пристыдил Оруэлла: «Эти люди воюют за нас и только совсем недавно спасли наши шеи под Сталинградом». А Муру издатель написал, что хотя и сам критиковал многие аспекты советской политики и жизни, но тем не менее не готов к «лобовой атаке ненависти». Разумеется, Голланц был прав, книга вылупилась у Оруэлла «не вовремя»: Сталин в Британии на глазах

превращался не просто в далекого кумира – в фигуру культовую. Хуже было другое: Голланц растрезвонил по всему Лондону, что за «подарок» преподнес Оруэлл «нашим союзникам», и редакторы газет и журналов, куда до того писал наш «сказочник», стали отказываться от его услуг. Влиятельная *Manchester Evening News*, к примеру, тут же отклонила его рецензию на книгу Гарольда Ласки «Вера, разум и цивилизация». Оруэлл перешлет ее Дуайту Макдональду, левому издателю нью-йоркского журнала *Policy*, и признается ему в письме: «Я зашел слишком далеко, будучи последовательным в обычной честности…» Но это были лишь первые сигнальные ракеты тревоги, лопавшиеся у него над головой…

«Уважаемый г-н Мур, – пишет он литагенту уже 5 апреля. – Голланц ответил, что не может издать книгу, как я и предполагал… Если вы прочли книгу, вы уже поняли, что это аллегория, и поняли, что у нас будут большие трудности в издании ее в Англии и что проще можно сделать это в США. Но я… я хочу видеть ее опубликованной». И сообщил, что из *Dial Press* прислали ему телеграмму: «Посылайте сразу»…

Увы, увы, увы! Три американских издательства и семь британских отвергнут рукопись Оруэлла, а *Dial Press* ответит почти анекдотично. Какой-то редактор наивно или очень уж хитро напишет, что «американский читатель не любит рассказов о животных». Откуда ему было знать, что уже первое издание «Скотного двора» в США разойдется немыслимым тиражом в 600 тысяч экземпляров…

Первыми напечатают книгу все-таки в Лондоне, но, повторяю, через полтора года. Рукопись, если хотите, станет лакмусовой бумажкой британской «свободы слова». Поразительна избирательность этой «свободы», зависящая от времени, автора, шкалы настроений общества. В 1939-м, напомню, Уэллсу вполне можно было почти впрямую назвать Сталина «вонючкой» – это было выгодно тогда. И, разумеется, поразительно, на какие только увертки ни шли «прогрессивные» издатели, оправдывая всего лишь свою «гражданскую трусость». Сам Томас Элиот, знакомец Оруэлла, который в те годы руководил авторитетным издательством *Faber and Faber*, отвалив Оруэллу ну просто сумасшедший комплимент, подчеркнув, что «книга великолепно написана, что притча построена очень искусно, а повествование, ничуть не ослабевая, держит читательский интерес – а это после автора Гулливера не удавалось почти никому», закончит отзыв признанием по меньшей мере странным: «Ваши свиньи умнее других животных, и поэтому они более подготовлены к тому, чтобы руководить фермой. Что и впрямь необходимо, –

дополнит, – так это не больше коммунизма, а больше свиней, думающих о службе обществу». И вынес вердикт: он сомневается, что «данная точка зрения является именно той, с которой в настоящий момент следует рассматривать политическую ситуацию…» Уму непостижимо: Элиот ли это? Автор «Бесплодной земли» и «Полых людей»»? Книга «великолепна» – но напечатать нельзя…

С элитным и одним из старейших издателей Лондона Джонатаном Кейпом произошло еще хуже. Кейп, тот самый Кейп, который больше десяти лет назад отверг его «Фунты лиха», прочтя «Скотный двор», побежал, вообразите, советоваться в министерство информации. Переписка Кейпа с заведующим отделом министерства Питером Смоллеттом (который, как станет известно через десятилетия, был Петром Смолкой, советским агентом в правительстве) вроде бы не сохранилась, а ответ Оруэллу, пришедший от Кейпа, уцелел. По счастью, уцелел.

«Если бы притча касалась диктаторов и диктатур вообще, – пишет он Оруэллу, – тогда опубликовать ее было бы вполне уместно, но в ней – и я сам теперь это вижу – так подробно описывается развитие событий в советской России, что ни к каким другим диктатурам книга относиться не может. И еще одно: притча, пожалуй, была бы менее оскорбительна, если бы господствующей кастой в ней не были свиньи. Изображение правящего слоя в виде свиней оскорбит многих, особенно людей мнительных, каковыми, несомненно, являются русские»[68]. Вот так! А ведь ровно за триста лет до этого – какое совпадение! – в 1644 году великий Джон Мильтон в знаменитом обращении «О свободе книгопечатания» уже сказал: «Убить хорошую книгу – едва ли не то же, что убить человека». Теперь, отказывая Оруэллу в публикации, в Англии убивали и самого писателя, жить которому оставалось меньше пяти лет.

Но «я… хочу видеть ее опубликованной», – написал он. Поговаривают, что хотел выпустить ее даже за свой счет и вроде бы интересовался у Астора, не даст ли тот денег на это. А тот же Вудкок, тесно общавшийся с Оруэллом в это время, вдруг столкнулся с ним на втором этаже автобуса, где писатель только и говорил, что о своей «проблеме». «Я, – пишет Вудкок, – имел кое-какие связи с прессой и, разумеется, сразу рассказал коллегам о его книге, но ни один из них предложением не заинтересовался». Более того, заканчивает Вудкок, когда Оруэлл «убедил в конце концов издательство *Secker and Warburg* напечатать “Скотный двор”», те же самые издатели «были немало удивлены, что книга стала мировым бестселлером…».

Да, старый друг писателя Фредерик Варбург, его

подчиненный в лондонском ополчении, тот, кто решился когда-то опубликовать «Памяти Каталонии», не подвел и на этот раз. И не проиграл: именно после бешеного успеха «Скотного двора» и немедленных переводов книги на первые 16 языков его издательство взмыло в гору. Вряд ли Оруэллу было известно при этом, чтó пришлось пережить самому Варбургу с июля 1944 года, когда он получил рукопись, до декабря того же года, когда он лишь дал согласие издать ее. Жена Варбурга, говорят, прочитав рукопись, истерично крикнула мужу: «Я брошу тебя, если ты опубликуешь ее!» И, зная это, начинаешь гадать: действительно ли из-за нехватки бумаги Варбург тянул с изданием книги восемь месяцев – с декабря 1944 года, когда подписал договор с Оруэллом, до августа 1945-го? Уж не дожидался ли он общей майской победы над фашизмом?..

Что пережил сам автор шедевра в эти полтора года, как оценивал свою сказку о «сказке» и какие мысли занимали его при этом – можно лишь приблизительно восстановить по сохранившейся переписке, по предисловию, написанному им к рукописи, но так и не опубликованному, по каким-то заметкам, вырвавшимся из-под его пера. Характерно, например, письмо его к Ноэлю Уилмету, читателю; оно было написано как раз в мае 1944-го, в самой еще эйфории Оруэлла от законченного труда. Письмо опубликовано в 2013-м, в полном собрании его писем «Джордж Оруэлл: жизнь в письмах», но по смыслу оно не запоздало – обогнало время.

«Вы спрашиваете, – пишет Оруэлл, – действительно ли тоталитаризм, культ вождя и т.п. сейчас на подъеме, и ссылаетесь на тот факт, что они очевидным образом не растут в этой стране и в США. Должен сказать, что я убежден (или что я боюсь), что в мире в целом эти явления усиливаются… Все национальные движения во всех странах, даже те, которые возникли в ходе сопротивления немецкому владычеству, явно принимают недемократические формы, сплачиваются вокруг какого-нибудь фюрера-сверхчеловека (примером которому могут послужить… и Сталин, и Салазар, и Франко, и Ганди, и Де Валера[69]) и берут на вооружение теорию, что цель оправдывает средства. Во всем мире наблюдается движение в сторону централизованных экономик, которые можно заставить “работать” в экономическом смысле, но которые устроены недемократически и ведут к установлению кастовой системы. Добавьте сюда ужасы, к которым ведет эмоциональный национализм, и тенденцию не верить в существование объективной истины, поскольку все факты должны соответствовать словам и пророчествам непогрешимого фюрера.

<…>

Теперь что касается относительного иммунитета Британии и США. Что бы ни говорили пацифисты и пр., мы еще не стали тоталитарными… Но следует помнить, что Британия и США еще не подвергались настоящей проверке, они еще не знают, что такое поражение или тяжелые страдания, и наряду с хорошими симптомами имеются и плохие. Начать с всеобщего равнодушия к упадку демократии… Во-вторых, интеллектуалы более тоталитарны по взглядам, чем простые люди… Большинство из них абсолютно готовы к методам диктатуры, к тайной полиции, к фальсификации истории и т.д., при условии, что это будет делать "наша сторона"… Нельзя быть уверенным, что эта ситуация не изменится… но за это придется бороться. Если просто заявлять, что все прекрасно, и не указывать на зловещие симптомы, то мы только поможем приблизить тоталитаризм…»[70]

Здесь уже, в этом письме, – и объяснение мотивов его сказки, и почти все основные идеи будущего романа «1984»: и «цель, оправдывающая средства», и централизованные, но недемократические экономики развитых стран, и мир из «двух или трех огромных сверхгосударств, ни одно из которых не сможет победить другие», и предательская сущность «интеллектуалов», готовых принять диктатуру при условии, что это будут делать «наши».

Еще более радикально он высказался в то время в предисловии к «Скотному двору», которое написал по просьбе Варбурга, но которое не на шутку перепугало того. Под предисловие, которое писатель назвал «Свобода печати» (вечная тема его!), было даже оставлено место в корректуре, но на свет оно появилось… только через двадцать два года после смерти Оруэлла. Вот так, наверное, и надо писать! Чтобы тертые-перетертые «калачи» издательского дела, проперченные и просоленные «свободолюбцы», битые и «не битые» властью, олигархами и просто «бандитами» печатных машин, боялись твоего «тихого голоса» и после твоей смерти, и даже через десятилетия после нее.

Ужаснуло Варбурга, да и всех последующих издателей Оруэлла, обвинение их – самых свободолюбивых, смелых и «раскованных» людей! – в подлости и трусости. Крохотное, в общем-то, предисловие Оруэлла стало обвинительным актом в «отсутствии реальной свободы печати в Англии». Так напишет его биограф Бернард Крик. Я же не пересказываю эту статью Оруэлла лишь потому, что помню: вся публицистика этого прямодушного и последовательного человека, начиная с первой его заметки – вообще первой, от 1928 года, – была именно об этом: о том, как самым честным людям либо затыкают рот, либо они сами

запирают его на замок – из смертельной опасности. Ибо в то время, когда Оруэлл писал первую заметку о цензуре в Англии, в СССР другой писатель, который скоро станет «очень ценным» для Оруэлла, писал фактически об этом же – но в письме вождю «всех угнетенных» Иосифу Сталину. Я имею в виду Евгения Замятина, чей роман-антиутопия «Мы» станет предвестником романа-антиутопии Оруэлла. В письме Замятин, признавшись Сталину, что у него есть «очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой», сказал именно о литературном раболепстве, о прислуживании писателей власти и о «перекрашивании их». «Меня, – написал так же, как мог бы написать Оруэлл в 1944-м, – стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства, театры». Они оказались «дрессированными собачками», про которых Замятин тогда же сказал: «Собачки, которые служат в расчете на кусок жареного или из боязни хлыста, – революции не нужны; не нужны и дрессировщики таких собачек…» А Оруэлл, словно подхватывая эстафету мысли, вот-вот скажет: «Цирковые собачки скачут, когда укротитель щелкает кнутом. Но истинно выдрессированная собачка – это та, что делает сальто без всякого кнута». И, как истый «любитель животных», в том ненапечатанном предисловии к «Скотному двору», целясь уже в своих «товарищей», назовет их «безрогими коровами». «Вывести породу людей, не желающих свободы, не сложнее, чем вывести безрогих коров, – напишет и добавит уничижительно: – Как раз свободомыслящие боятся свободы, и интеллектуалы тем самым совершают подлость по отношению к интеллекту»… Страшноватый вообще-то вывод!

Вопрос из будущего: *В сказке вашей нет свиней-писателей. Есть штатный «пропагандист» – поросенок Крикун. Но он не «летописец событий», хотя в СССР их было полно.*

Ответ из прошлого: *Литературные содержанки типа Эренбурга и Толстого…*

В.: *Вот-вот!.. В эссе «Подавление литературы», в 1945-м, вы пишете, что и Эренбург, и Толстой «получают большие деньги», но «свобода самовыражения у них отнята»… Невозможна?..*

О.: *Отлаженное вранье, ставшее привычным в таком государстве, – отнюдь не временная уловка… Оно в природе тоталитаризма и будет существовать даже после того, как отпадет нужда в концентрационных лагерях и тайной полиции. Среди мыслящих коммунистов имеет хождение легенда о том, что, хотя* сейчас

советское правительство вынуждено прибегать к лживой пропаганде, судебным инсценировкам и т.п., оно втайне фиксирует подлинные факты и когда-нибудь в будущем их обнародует. Мы, думаю, можем со всей уверенностью сказать, что это не так, потому что подобный образ действий характерен для либерального историка, убежденного, что… точность исторического знания – нечто самоценное и само собой разумеющееся. С тоталитарной же точки зрения историю надлежит скорее творить, чем изучать…

В.: *Вы даже выкопали где-то брошюру Максима Литвинова от 1918 года, в которой Сталин даже не упомянут, зато высоко оценены Троцкий, Зиновьев и Каменев.*

О.: *Что делать с такой брошюрой даже самому честному коммунисту? В лучшем случае, как подобает мракобесу, объявить ее нежелательным документом, подлежащим запрету… Важно, однако, не то, что это происходило, а то, что, даже когда об этом становилось известно, левая интеллигенция в целом никак на это не реагировала…*

В.: *«Левая интеллигенция» в Англии, ваши «интеллектуалы»?*

О.: *Наши собственные… <Они> склонны… доказывать, что раз уж абсолютная истина недостижима, то большой обман ничуть не хуже малого… Проблема здесь простая: имеет ли право всякое мнение – каким бы непопулярным, каким бы даже дурацким оно ни было, – имеет ли оно право быть выслушанным? Задайте вопрос в такой форме – и, наверное, любой английский интеллигент почувствует, что следует сказать «да». Но… спросите конкретней: «А как насчет критики Сталина?..» И ответ почти наверняка будет «нет»… Всякий журналист, безоговорочно поддерживающий СССР так, как желательно самим русским, вынужден был молчаливо соглашаться с заведомым искажением важных вопросов… В наш век само понятие свободы мысли подвергается нападкам с двух сторон: его врагов в теории, апологетов тоталитаризма, а с другой – непосредственных врагов на практике, монополий и бюрократии…*

В.: *Вообще в мире? То есть всюду?*

О.: *Против любого писателя работают… концентрация печати в руках горстки богачей; монополия*

на радио и кинематографе; нежелание публики тратить деньги на книги; расширение деятельности официальных организаций вроде министерства информации Англии и Британского совета, которые помогают писателю держаться на плаву, но зато… диктуют, что ему думать…

В.: *Ваш учитель французского, Олдос Хаксли, рассмеялся как-то: «Свобода – это круглая пробка в квадратной дыре…» Какой безнадежный, однако, сарказм!*

О.: *Хваленая свобода британской прессы существует скорее в теории… И самое чудовищное в литературной цензуре в Англии заключается в том, что она по большей части добровольна.*

В.: *Но мысль невозможно убить. Вы же сами – пример этого?*

О.: *В прошлом… представление о бунте совпадало с представлением о честности мышления. Еретиком – в политике, морали, религии… был тот, кто отказывался насиловать собственную совесть… Если человек бесстрашно мыслит, он не может быть политически правоверным… Политику, скажем, любые зигзаги даются легко; с писателем – другое дело… В любом случае он разрушает свой творческий потенциал. Его не только покинут творческие замыслы – сами слова, к которым он обращается, будут под его пером выглядеть мертвыми…*

В.: *Но разве писатель даже при самой жесткой диктатуре не может, как личность, сохранить внутреннюю свободу или, как вы пишете, «преобразить или перелицевать свои еретические мысли таким образом, что у властей не хватит мозгов их распознать?..»*

О.: *Зачем вообще пишутся книги? За исключением низкопробной беллетристики, литература – это попытка повлиять на взгляды современников… Писатель… может показать действительность в искаженном и окарикатуренном виде, чтобы прояснить, что именно хочет сказать. Но он не может исказить картину собственного сознания, не может и с малой долей убедительности говорить, что ему нравится то, что не нравится, или что он верит в то, во что на самом деле не верит. Если его заставляют это делать, конец один: его творческий дар иссякает… И во всяком тоталитарном обществе… возникает угроза гибели художественной прозы…*

В.: *Вы не преувеличиваете? Ведь существует*

возможность «писать в стол», даже «в огород»: в сталинские времена писатели, случалось, закапывали свои рукописи в огородах – до лучших времен… А с другой стороны, большинство «правоверных» членов Союза писателей СССР, в силу этих же причин, всё упрощались и уплощались в своем творчестве до порой полного примитива…

О.: *Человеческой изобретательности, видимо, достанет на то, чтобы книги писали машины. Механизированный процесс уже, как легко убедиться, запущен в кино и на радио, в рекламе и пропаганде, а также в примитивных разновидностях журналистики… диснеевские фильмы делаются, по существу, фабричным методом… Сценарии радиопостановок обычно пишут измотанные литподенщики, которым заранее заданы тема и ее освещение; но и здесь то, что выходит из-под их пера, – всего лишь заготовка, а уж продюсеры и цензура перекраивают ее по-своему… Некоторые… предлагают наборы карточек с персонажами и ситуациями, так что достаточно перетасовать и разложить колоду… Таким или иным сходным образом, вероятно, будет делаться литература в тоталитарном обществе, если оно сочтет, что литература пока что ему необходима. Воображение – и даже, насколько возможно, сознание – будет исключено из процесса писания. Бюрократы станут планировать книги по основным показателям, а сами книги… сохранят не больше от оригинального произведения, чем сходящий с конвейера «форд»… Само собой разумеется, всё производимое таким способом будет хламом; но все, что не хлам, будет представлять опасность для государственного устройства… Литература обречена, если погибнет свобода мысли…*

В.: *Но в статье «Подавление литературы» вы все-таки пишете, что «когда-нибудь в будущем»…*

О.: *Когда-нибудь в будущем, если человеческий разум превратится в нечто совершенно отличное от себя нынешнего, мы, возможно, научимся не отделять литературное творчество от честной мысли. Но в настоящем мы знаем только, что воображение, подобно некоторым диким животным, не желает размножаться в неволе. Каждый писатель или журналист, эту истину отрицающий – а почти все теперешние славословия по адресу Советского Союза несут в себе или подразумевают такое отрицание, – по существу, работает тем самым на*

свое уничтожение.

Страхи писателя были небеспочвенны. Но с высоты сегодняшнего дня мы знаем: исключения даже в сверхзакрытых обществах были и есть. Пусть «в огород», но книги писались. Исключительные произведения, те, которые и остались в истории, – литература правды, искренности, сопротивления. Это равно касается и Запада, и Востока.

Когда-то Оруэлл, мастер парадоксов, сказал: «Абсолютно белое, как и абсолютно черное, кажется каким-то дефектом зрения». Таким «дефектом» для читающего человечества – и раньше, и сейчас – стала, при всей условности термина, антиутопическая литература. Белое – или абсолютно черное… Концентрация как чистого добра, так и незамутненного зла, о котором предупреждали честные писатели.

* * *

Комментарий: Война идей и людей

Ровно сто лет назад, осенью 1916 года, из английского порта вышел русский ледокол «Святой Александр Невский». Через год со стапелей Ньюкасла, на уже известной нам реке Тайн, сойдет и второй русский ледокол – «Святогор». Первый очень скоро получит в СССР имя «Ленин», а второй, переименованный в 1922-м в ледокол «Красин» (по имени советского посла в Лондоне Красина), и по сей день стоит на Неве в Петербурге против Горного института. Он (ныне ледокол-музей), сопровождавший караваны британских судов в Архангельск в 1918 году, когда туманный Альбион был союзником русских по Антанте, который потом был затоплен нами, чтобы, напротив, преградить проникновение британцев в Россию, когда британцы стали врагами Советов, который позже, поднятый со дна, спасал полярную экпедицию Умберто Нобиле, – так вот, этот ледокол, если возвращаться к началу его жизни, был построен на заводе Армстронга под наблюдением представителя заказчика, архитектора-корабела Евгения Замятина. Ни один чертеж корабля не попадал в мастерские, пока не был проверен и подписан: «*Chief surveyor of Russian Icebreakers Building E.Zamiatin*»[71]. Кораблестроитель по образованию и уже довольно известный писатель, Замятин днем строил в Англии ледоколы, а по вечерам писал роман об англичанах «Островитяне». А еще на стареньком «рено» мотался по делам службы между верфями Глазго,

Сандерленда и даже Саут-Шилдса. И, зная это, как не поразиться в очередной раз переплетению и историй, и вообще истории?! В Саут-Шилдсе, городке на реке Тайн, росла в это время Эйлин, будущая жена Оруэлла, в Сандерленде бывал тринадцатилетний тогда Эрик Блэр, а в Лондоне, куда наезжал Замятин, в это же время русский поэт Николай Гумилев встречался, о чем я писал, с преподавателем Оруэлла – третьим автором самых знаменитых антиутопий Олдосом Хаксли. Совпадения, но ведь какие!

Замятин, как и Гумилев, поспешит в Россию в 1917-м. Он, как человек «революционных убеждений» и даже член РСДРП, отсидевший в царских тюрьмах и ссылках, не желал пропускать «великих событий». Поспешит, не догадываясь, что, когда в 1922-м напишет роман «Мы», отвергнутый издателями в СССР, вернется в англоязычный мир через два года первым переводом своей книги на английский. В СССР же его роман будет опубликован только в 1988 году, как раз тогда, когда у нас впервые будут опубликованы и «Скотный двор», и роман «1984», и Хаксли с его антиутопией, и даже запрещенный ранее Гумилев.

«Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным… не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться надо всем, как Франс, – тогда нет литературы бронзовой. А есть только бумажная, газетная… в которую завтра завертывают глиняное мыло…»

Это не слова Оруэлла, который всю жизнь поминал и ссылался и на Свифта, и на Франса. Нет, это статья Замятина «Я боюсь», написанная им еще в 1921-м. Но под каждым словом ее мог бы, думаю, подписаться и Оруэлл. Как мог согласиться с Замятиным, когда тот скажет позже: «Мир жив только еретиками. Наш символ веры – ересь… Война империалистическая и война гражданская обратили человека в материал для войны, в нумер, в цифру… Гордый *homo erectus* становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью… Нельзя больше молчать»…

Вообще тема «Оруэлл и Россия» ныне без Замятина едва ли не бессмысленна. Я помню, как поразило меня когда-то почти полное совпадение эволюции этих писателей. В двадцать один год, в 1905-м, студент Замятин, угодив в одиночную камеру за участие в первой русской революции, признался: «В те годы быть большевиком значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком». Сравните это со словами, которые скажет Оруэлл: «Видите ли, быть коммунистом в те дни не давало никакой выгоды; можно почти безошибочно сказать, что то, что не приносит выгоды, правильно». После

тюрьмы Замятин в одном из писем написал фразу, под которой мог бы подписаться и молодой британец, сознательно отправившийся в «низы»: «Если вы искренно живете интересами тех, за кого боретесь, – вы не можете быть счастливы: слишком много страданий кругом и слишком много их впереди, чтобы чувствовать себя счастливо». Над Замятиным, как и над Оруэллом с его первым романом «Дни в Бирме», злобствовала цензура, когда в 1914-м еще году постановлением петербургского Комитета по делам печати была арестована, как «оскорбляющая нравственность», его повесть «На куличках». Наконец, в 1918-м Замятин разочаровался в революции и был вновь и не однажды арестован, но уже чекистами.

Похожи, похожи Замятин и Оруэлл. Оба были на стороне слабых и угнетенных, оба, воюя с властями, отвергали красивые «сказки» Востока и Запада, и оба, как те ледоколы, «взламывали» мировую литературу своими книгами. И если для Оруэлла «развилкой», определившей его писательскую и гражданскую судьбу, стала гражданская война в Испании – предательство коммунистами рабочего класса, – то для Замятина таким «перепутьем» стало, на мой взгляд, подавление Кронштадтского мятежа 1921 года – и тоже предательство коммунистами своих «идеалов». Именно тогда Замятин и взялся за антиутопию «Мы». Понял: «Вредная литература полезнее полезной: потому что она антиэнтропийна, она – средство борьбы с обызвествлением, корой, мхом, покоем…»

И уж совсем удивительно, сколь одинаково оба относились к Востоку и Западу. Скажем, ныне нечасто поминают повесть Замятина «Островитяне» из «английской жизни». Книга была о «тотальном мещанстве» в новом «технократическом обществе» Британии, и символом его стал викарий Дьюли, в жизни которого всё «организовано и целесообразно», всё по расписанию: когда бриться, когда «ланчевать», когда отходить ко сну. Но ведь точно так же описал своего ректора Хэйра и Оруэлл в раннем романе «Дочь священника». Этот холодный педант, чья жизнь была расписана по часам, живет такой немыслимо размеренной жизнью, что его дочь впадает в амнезию – теряет память и чуть ли не рассудок. И по той же причине теряет, что и герои Замятина, – по причине «вытеснения прогрессом» из ее жизни всего «человеческого», самого духа Человека. Не похоже?.. И уж совсем смешно (а может, страшно!): если русские на десятилетия обиделись на Оруэлла за сатиру на СССР, то точно так же, по словам Замятина, англичане «так обиделись на мою повесть, что в Англии оказалось невозможным ее перевести и издать». Это об «Островитянах». Какие разные, однако, но одинаково «обидчивые»

страны…

Всё сойдется у Оруэлла в Англии и у Замятина в России. И если «Скотный двор» Оруэлла не печатали в Англии полтора года, то замятинский роман «Мы» при жизни автора вообще отказывались публиковать в СССР. А когда всего лишь отрывки его впервые на русском появились в 1927 году в пражском журнале «Воля России», то в СССР грянул не просто скандал – широкая «антизамятинская» кампания, из-за которой он не только вышел из Союза писателей, но в 1931 году написал письмо Сталину с просьбой отпустить его на Запад. «Для меня как для писателя, – написал вождю, – смертным приговором является лишение возможности писать… В советском кодексе, – саркастически заметил, – следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары… я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР». И представьте, Сталин отпустил его. Смелость и талант уважают, случается, и диктаторы. Более того, когда в СССР к 1934 году окончательно оформился Союз писателей, Замятин вновь, уже из Парижа, написал Сталину второе письмо, в котором просил заочно принять его в Союз советских писателей. И Сталин вновь согласился с ним и даже сам – фантастика! – рекомендовал принять «беглеца». То-то было недоумений, страха в официальных «писательских кругах» и тайных смешков – в неофициальных.

Ныне иные исследователи утверждают: роман «Мы», написанный о далеком будущем человечества, «целил» не только в будущее СССР – в будущее коммунизма, – но и в будущее Запада, в тот обвальный «технократизм», который Замятин лично видел в Англии. Знаю, он задумал книгу как пародию на утопию, выпущенную в России идеологами Пролеткульта А.Богдановым и А.Гастевым. Те писали о глобальном переустройстве мира на основе «уничтожения в человеке души и чувства любви» (тоже, кстати, будущая «тема» Оруэлла). Но если помнить, что утопии могут менять свое изначальное значение, то не удивительно, что Замятина с его романом «Мы» ныне все чаще относят к критикам как Востока, так и Запада и находят в его книге и своеобразную «карикатуру» на буржуазную британскую жизнь, и даже прямую кальку с нее[72]. «Машинизированная Англия, – пишут, – стала прообразом романного тоталитарного “Единого Государства” Замятина, в котором каждый превратился в “стального шестиколесного героя великой поэмы”…» Другими словами, и в СССР, и в Англии читающие роман и отрицали, и одновременно узнавали в нем самих себя и свое будущее. Ведь то же самое

случится и с двумя последними произведениями Оруэлла.

Пути Оруэлла и Замятина реально не пересекутся. Оруэлл узнает о существовании «этого русского» только в 1944-м, в дни, когда как раз не печатали «Скотный двор». Имя Замятина назовет ему русский филолог-эмигрант Глеб Струве, и Оруэлл кинется искать роман «Мы». А когда обнаружит лишь французское издание, будет бурно возмущаться, что «такая» книга до сих пор не издана в Англии[73].

Переписка с Глебом Струве, уехавшим из России вместе с родителями после революции 1917 года и ставшим в Англии преподавателем Школы славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета (Струве, кстати, пришел в этот университет буквально на место Святополка-Мирского, который вернулся на свою погибель в СССР), – так вот, переписка эта возникла у Оруэлла в самом конце 1943 года. А уже 17 февраля 1944 года Оруэлл пишет Струве: «Простите меня, пожалуйста, что не ответил Вам раньше и не поблагодарил за дорогой подарок, за книгу “25 лет советской русской литературы”, да еще с более чем добрыми пожеланиями. Я боюсь, что очень мало знаю о русской литературе, и, надеюсь, ваша книга заполнит некоторые из многочисленных пробелов в моих знаниях. Она уже вызвала мой интерес к роману Замятина “Мы” , о котором я раньше не слышал. Меня интересует, что́ это за книга, и я даже стал делать для себя заметки в надежде достать ее рано или поздно». Закончил же письмо признанием: «Я тут написал небольшой пасквиль, который, возможно, повеселит Вас, когда выйдет, но он не совсем ОК в смысле политики, и у меня нет, конечно, уверенности, что кто-нибудь опубликует это…»

Не буду говорить, насколько важно это письмо для опровержения всей той клеветы, которую наши доморощенные «оруэлловеды» вешают на писателя как на «плагиатора», взявшего идею своей сказки у историка Н.И.Костомарова в его очерке 1917 года «Скотский бунт»[74]. Скажу о главном: Струве не только прочел «Скотный двор» Оруэлла, но и стал первым переводчиком его на русский. А Оруэлл, в свою очередь, не только отыскал антиутопию Замятина, но тогда же, считайте, написал рецензию на нее. Второй раз он напишет о Замятине в 1947 году, когда в Англии был анонсирован выход романа «Мы» на английском. Увы, это издание не состоится – роман Замятина выйдет в Англии лишь в 1969 году. А в третий раз Оруэлл негодующе выскажется о британских издателях за год до своей смерти в письме к Варбургу, уговаривая его все-таки издать «Мы». «Конечно, у этого романа есть недостатки, – напишет, – но мне кажется, что он – интересное звено в цепи сложившихся книг об утопии. С одной

стороны, он развенчивает суперрациональный, гедонистический тип утопии (я думаю, что “О дивный новый мир” Олдоса Хаксли до некоторой степени стал плагиатом этого романа), но, с другой, состыковывается чуть ли не с дьяволизмом и тенденцией возвращения к более ранним формам цивилизации, которые кажутся тоже частью тоталитаризма. Мне роман кажется хорошей книгой, вот как “Железная пята”, но лучше… Это позор, что книга такого огромного значения останется ненапечатанной…»

В рецензии же на «Мы» в еженедельнике *Tribune* (1946) он не только рекомендует книгу читателям, но пишет, что она воистину «представляет собой любопытный литературный феномен нашего книгосжигательского века». «Вполне вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры. Он писал еще при жизни Ленина и не мог иметь в виду сталинскую диктатуру, а условия в России в 1923 году были явно не такие, чтобы кто-то взбунтовался, считая, что жизнь становится слишком спокойной и благоустроенной. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация…»

Три темы, поднятые Замятиным в романе, жгуче интересовали Оруэлла в те дни. Свобода человека в будущем обществе (ее не будет, как он и предполагал), любовь мужчины и женщины, которую властители будут выкорчевывать всеми доступными средствами, и, представьте, – повторяемость из века в век революций и ради подлинной свободы людей, и ради вечно ускользавшей в «государствах» справедливости. Всё затронет Оруэлл в романе «1984».

Насчет революций и неизбежности их повторений в будущем он даже привел в рецензии разговор двух главных героев «Мы» Замятина: влюбленного математика под номером Д-503 и его тайной возлюбленной – I-330. Одной этой сцены в романе Замятина было, по Оруэллу, достаточно для советских цензоров, чтобы «схватиться за карандаш»:

«– Неужели тебе не ясно, – спрашивает Д-503 у своей романной подруги, – что то, что вы затеваете, – это революция?

– Да, революция! Почему же это нелепо?

– Нелепо, потому что революции не может быть. Потому что наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому…

– Милый мой, ты математик… Так вот: назови мне последнее число…

– …Какое последнее?.. Это же нелепо…

– А какую же ты хочешь последнюю революцию?.. Революции бесконечны…»

Вот что заинтересовало у еретика Замятина еретика Оруэлла. Ведь подспудной мыслью «Скотного двора» было желание автора «очистить социализм» как понятие, как социальную систему, как следующую ступень в развитии общества от всех извращений. Он за год до публикации «Скотного двора», в сентябре 1944-го, объясняясь в своих намерениях, написал одному из корреспондентов: «Я думаю, что если бы СССР был побежден какой-нибудь зарубежной державой, рабочий класс повсюду был бы просто в отчаянии… а обыкновенные глупые капиталисты… были бы довольны. Я не хотел бы, чтобы СССР был уничтожен, и думаю, что в случае необходимости его следует защищать. Но я хотел бы, чтобы люди освободились от иллюзий по этому поводу и поняли, что они должны строить свое собственное социалистическое движение без российского вмешательства, и я хотел бы, чтобы существующий демократический социализм на Западе оказал плодотворное влиянине на Россию». Всё понимал про сталинский «социализм», весь трагизм народа, своими руками выбравшего «властителей», сопротивляться которым впоследствии оказался бессилен, всё увидел сквозь «смеховую стихию» своей сказки – и всё-таки мечтал, лелеял в душе свою «сказку» о «справедливом», истинно «демократическом социализме».

Глубже поймет проблему через пять лет, когда закончит роман «1984». И если в «Скотном дворе» его «верховные хряки» возглавляют и совершают «революцию» с тем, чтобы в конце концов и самим переродиться и извратить «прекрасную идею», то в романе напишет слова пострашнее: поймет, что «власть – не средство, она – цель»! «Диктатуру учреждают, – напишет, – не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий, – задохнется от откровений, – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть…»

Признаюсь, поначалу эта максима «Цель власти – власть» кажется красивой хлесткостью. Ведь любой диктатор, что ни говори, но, распоряжаясь властью, преследует те или иные цели. Добрые или злые – это отдельный вопрос, но ведь парадигма восхождения того же Сталина свидетельствовала о его волевом стремлении не себя обогатить и ублажить – для людей работать. Как в давнем стихотворении Михалкова: «Только Сталину не спится, / Сталин думает о нас…» Иначе ведь не было бы реальной поддержки Сталина разными слоями населения, от академиков до дворников, всего того энтузиазма, самоотречения, подвигов народных, наконец, которые были же в жизни наших отцов и дедов. Иначе не докатились бы осколки поклонения вождю до

нашего дня. Всё так! Но всё это справедливо, пока мы рассматриваем и Сталина, и любого тирана в границах их отдельных государств, в рамках тех обществ, которые они создали или создают. Всё поменяется, если взглянуть на них с точки зрения их притязаний на мировое господство. Тогда и социализм, тот или иной, и нацизм, и католицизм в прошлом, и даже, если хотите, специфически понятый нынешний тоталитарный «демократизм» отдельно взятой страны становятся своеобразным трамплином, стартовой площадкой для воплощения абсолютной власти сумасшедших тиранов. Вот тогда максима Оруэлла «Цель власти – власть» уже не кажется преувеличением. В 2013 году я прочел воспоминания Сосо Иремашвили, друга еще по школе и семинарии другого Сосо – Сталина. Долгие годы эти «мемуары» хранились в архиве Секретного отдела ЦК ВКП(б). Так вот, Иремашвили, рассказав о целеустремленности Сталина, его жестокости, желании всегда и во всем главенствовать, заключает: «Под его лицемерным социализмом скрывалось его личное, скрупулезное стремление к власти, что и сделало его врагом борцов за истинную демократию. В демократии он не видел возможности осуществить свои желания. Он перечеркнул ее… Национальное освобождение отечества его больше не интересовало. Его жажда власти не хотела знать границ. Россия и весь мир должны были быть предоставлены ему…» Разве не так рассматривали Россию – как стартовую площадку для мирового господства (черт с ней, с самой Россией!) – и Ленин, и Троцкий, и все наиболее умные вожди большевистского переворота? Разве не это было целью Мао Цзэдуна, Гитлера и всех тех, что присваивают себе «право» руководить миром? Оруэлл, когда-то сказавший о Свифте, что тот открыл в жизни некую тайну и сам же испугался ее, теперь тоже ужаснулся открытой им тайны о жажде власти как о «самом сильном человеческом мотиве, перекрывающем корысть, и жажду наслаждений, и стремление к истине, и человеческое общение». И вот когда он понял глубинную, скрытую природу тоталитаризма…

Пока же, отправившись в 1945-м – по командировке Астора от газеты *Observer* – в побеждающую агонизирующий фашизм Европу, придет к выводу о невозможности народа, породившего тирана, сопротивляться ему же. «Массы, – напишет потом, – никогда не восстают сами по себе, не восстают только потому, что они угнетены». И подчеркнет: «они», массы, «даже не осознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнить». Это тоже станет одним из будущих выводов задуманного им романа. А поймет это во Франции и Германии в 1945-м, глядя и на побежденный народ Германии, и на главных победителей в войне

– многострадальных русских. Ведь если немцы реально увидели весь ужас своего угнетения фашизмом лишь после отрезвляющей победы над ними, то ведь и русские, советские солдаты – мальчишки, выросшие при социализме, – пройдясь победителями по Европе и сравнив свою жизнь и жизнь европейцев, осознали всю степень их довоенной угнетенности. Это, кстати, понял когда-то Николай I, объясняя восстание декабристов попыткой дворянства воплотить в России увиденное в Европе во время войны 1812 года. И это понял Сталин, усиливший репрессии после Отечественной войны против своих наглотавшихся «вольнодумных сравнений» солдат, офицеров и даже иных маршалов. Где, казалось бы, Николай I – и где Сталин, жизнь положивший на борьбу с «проклятым царизмом»?.. Но если после расправы с декабристами с площадей российской столицы исчезли люди с «прыгающей походкой» и упрямыми подбородками, задранными в будущее, то ведь и после сталинских послевоенных постановлений исчезли и смелые литераторы, и затянутые в стоячие воротники мундиров гордые подбородки победителей в войне…

Общим злом, страшным Левиафаном и писанных на бумаге, и осуществляемых на практике антиутопий (будь то царизм, коммунизм, национал-социализм или буржуазный либерализм) было и для Замятина, и для Оруэлла «Государство» – машина, перемалывающая все сколь-нибудь прогрессивные идеи. А общим заблуждением всех утопистов и антиутопистов – мысль, что машину эту можно улучшить, усовершенствовать или вообще изменить. Думаете, несовременно звучит? Тогда вот вам еще одно современное словечко по поводу уже нынешнего тероризма и террористов: «Допрыгались!».

Я имею в виду уже цитированного мной протоиерея Александра Шмемана, русского западника и философа. Он, глядя на растущий в мире терроризм, пишет: «Пафос нашей эпохи – *борьба со злом*, но при полном отсутствии идеи или видения того *добра*, во имя которого эта борьба ведется. Борьба становится самоцелью. А борьба как самоцель неизбежно сама становится злом. Мир полон злых борцов со злом! И какая же это дьявольская карикатура… Террористы всех мастей, о которых каждый день пишут газеты, – это продукт вот такой именно веры, это от провозглашения борьбы целью и содержанием жизни, от полного отсутствия сколько бы убедительного опыта добра. Террористы с этой точки зрения последовательны. Если всё *зло*, то всё и нужно разрушить…» И дописал: «Допрыгались…».

«Допрыгались» мог бы сказать и Оруэлл, глядя на нынешний мир. Обо всем этом он и предупреждал своей антиутопией, зёрна

которой прорастали еще в «Скотном дворе». «Скотский» мир, о котором он лепетал с младенчества, наступил, *homo erectus* встал-таки на четвереньки под давлением «прямоходящих хряков», хотя, кажется и не заметил этого.

«…Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, – напишет в статье «О моих женах, о ледоколах и о России» Е.Замятин, – ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они закованы льдом… Россия движется вперед странным, трудным путем, непохожим на движение других стран. Ее путь – неровный, судорожный, она взбирается вверх – и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая. И так же ход ледокола не похож на движение приличного европейского корабля… Люди, никогда не видевшие работы ледокола, обычно представляют себе, что ледокол режет лед носом, и поэтому нос у него очень острый, арийский. Нет, неверно; нос у него – русский, тяжелый, широкий, такой же, как у тамбовского или воронежского мужика. Этим тяжелым носом ледокол вползает на лед, проламывает его, с грохотом обрушивается вниз, снова влезает вверх, и опять – вниз… Через лед надо пробиваться, как через вражеские окопы. Это – война, борьба, бой…» И добавил: «Я – двоеженец. Мои две жены – техника и литература…»

Троеженец, поправим мы его. Была еще третья, а лучше сказать, первая и единственная жена Замятина – Людмила Николаевна, урожденная Усова, которая, как и Эйлин, скромно звала себя «пишущей машинкой» мужа, хотя была его единомышленницей, помощницей и даже соавтором. «Мое писательство, – успеет сказать про нее Замятин, – является у нас совместным…» Но знаете ли вы, что, собираясь в очередной раз писать об уже покойном Замятине, Оруэлл хотел отыскать в Париже Людмилу Николаевну?.. Жаждал больше узнать о писателе, умершем в 1937-м. Такой случай ему теоретически представился, когда за полтора месяца до победного мая 1945 года Оруэлл, по журналистской командировке, отправился во Францию и Германию. О попытках отыскать Замятину в Париже ничего ныне не известно[75], а вот Эйлин, свою жену, он как раз в этой командировке и потеряет – Эйлин умрет в его отсутствие. Более того, отъезд его и стал – пусть и в малой степени – причиной ее смерти.

Четыре месяца не дожила Эйлин до публикации «Скотного двора». Умерла через две недели после того, как Оруэлл, уволившись из *Tribune*, отправился в Европу в качестве военного корреспондента от *Observer* и газеты *Manchester Evening News*. По

датам выходит: Эйлин обратилась к врачам в первой декаде марта 1945 года, а мужа проводила только 15 числа. До этого чувствовала себя всё хуже и хуже: быстро уставала, у нее всё чаще случались приступы тошноты и головокружения.

Врачи сказали: нужна срочная, неотложная операция. Но вот сказала ли она об этом мужу, или, чтобы не волновать его, предпочла скрыть диагноз? Косвенной причиной ее смерти называют упущенное время. Эйлин отложила операцию сначала из-за отъезда мужа, потом – пока пристраивала сына, потом – когда отвечала на письма Оруэлла, которых в Лондоне накопилась целая гора. Лишь вечером 21 марта села писать мужу большое письмо. Бодрилась, конечно, но письмо всё равно вышло мрачноватое. Сообщила, что возникла необходимость удаления опухоли матки, что решила делать операцию в Ньюкасле – там дешевле – и что в случае ее смерти их приемного сына могли бы взять на воспитание ее школьная подруга Нора Майлз и ее муж Квартус, врач по профессии («Ты, правда, никогда не видел ни ее, ни его»). Закончила, пытаясь быть оптимистичной: «Ко времени, когда ты вернешься домой, я уже наконец поправлюсь, и ты не будешь свидетелем больничных кошмаров, которые ты так не любишь». А последним письмом к мужу станет та почти дневниковая запись, сделанная на операционной каталке. «Сейчас у меня будет операция, мне сделали инъекцию (морфий в правую руку, что мне мешает), помыли и упаковали, как драгоценный образ, в шерстяной кокон и бинты…» И – заснула. Через четверть часа, когда ей к морфию добавят смесь эфира и хлороформа, она скончается от сердечного приступа. Аллергия оказалась не на морфий – на эту смесь. «Почему эта смесь была необходима и каковы были все детали случившегося, – напишет, когда вырастет, Ричард, приемный сын, – всё это так и не было раскрыто». Короткое следствие пришло к выводу, что умерла «от сердечной недостаточности и неумелого применения эфира и хлороформа». Это и сообщат Оруэллу, когда он на военном самолете срочно вернется в Англию.

Похоронят Эйлин там, где она родилась, в районе Саут-Шилдса. Все отметят, что Оруэлл был в глубоком шоке. «Единственное утешение в том, думаю, – напишет он в те дни Лидии Джонсон-Жибуртович, – что она не страдала». А другая знакомая Оруэлла, писательница Айнез Холден, одна из немногих, кто видел его в дни похорон, напишет: «Он рассказывал о смерти Эйлин и не пытался скрыть свое горе…» Но через пять дней снова был в Европе, где шел последний месяц самой кровопролитной войны…

4.

Континент лежал перед ним бесконечно униженным. «Проезжая сквозь разрушенные города, – напишет в одной из первых корреспонденций из Европы, – ты действительно начинаешь сомневаться, что цивилизация еще продолжается». Кровь, слезы, бездомье, неизбывное горе, тысячи сирот, инвалидов и обездоленных и, с другой стороны, – радость освобожденных и освободителей, цветы, объятия – и месть, которая лучше любого рентгена проявляла в людях и человеческое, и зверское. «Существовавший в нашем представлении нацистский убийца, против кого мы вели борьбу, выродился теперь в несчастного, жалкого человека, которого надо… лечить в психбольнице», – напишет. И добавит: «Мести не существует. Месть – это то, что хочет совершить человек бессильный потому, что он бессилен: когда же бессилие уходит – уходит и желание мстить…»

Освобожденный Париж просто не узнал: Латинский квартал был мертв, а редкие прохожие, как написал, «напоминали призраков». Досадовал, что сорвалась встреча с Альбером Камю – он напрасно прождал того целый час в кафе *Deux Magots* на Сен-Жермен. Они так и не увидятся. А еще, конечно, поразил его Хемингуэй – одна из двух неожиданных встреч. Впрочем, можно сказать, что они оба поразили друг друга.

Хемингуэя случайно обнаружил в списке постояльцев отеля *Scribe* – единственном, где, как ему сказали, работало паровое отопление. Но даже если бы в *Scribe* царил адский холод, Оруэлл все равно бы выбрал эту гостиницу – ведь там работал когда-то официантом его друг по прошлым несчастьям, «русачок» Борис, отставной капитан Второго сибирского полка, с которым он делил горбушки и брился двухмесячным лезвием. Может, потому и прошерстил список живущих в отеле. И – споткнулся на имени «Хемингуэй», единственного знакомого в нынешнем *Scribe*…

– Я – Эрик Блэр, – сразу же шагнул через порог номера американца Оруэлл.

– Ну и какого х… вам надо? – пакуя чемоданы, спросил его Хемингуэй.

– Я Джордж Оруэлл, – поправился он.

– Какого же х… вы сразу не сказали это? – потянулся тот за бутылкой виски…

Хемингуэй дважды вспомнит потом эту встречу. Первый раз – через три года, когда в письме Сирилу Коннолли передаст привет Оруэллу: «Если вы как-нибудь встретитесь с Оруэллом, напомните ему, пожалуйста, обо мне. Он мне очень нравится, но

мы встретились в тот момент, когда у меня совершенно не было времени». А второй раз и уже подробнее напишет в неоконченном романе-мемуаре «Проблеск истины», который его сын Патрик сподобится подготовить к печати только в 1999-м, к столетию отца…

«Я… встретил его, – напишет Хемингуэй, – после Арденнской операции…» Сам Хемингуэй – это известно – не смог пропустить и высадку союзников в Нормандии, и Арденны, и освобождение Парижа, когда даже возглавил отряд французов-партизан в двести штыков. В отеле он как раз и паковал свой «арсенал», когда в дверях возник Оруэлл.

«Оруэлл явился ко мне в гражданской одежде… и попросил взаймы пистолет, потому что “они” за ним следили. Он хотел что-нибудь миниатюрное, незаметное под одеждой, и я удовлетворил его просьбу, предупредив, что человек, в которого он выстрелит из него, в конце концов, наверное, умрет, но ждать придется долго. Тем не менее пистолет есть пистолет, да и Оруэллу, я полагал, он был нужен скорее как талисман.

Оруэлл, – пишет, – выглядел изможденным и взвинченным, и я пригласил его отобедать. Он отказался, сославшись на спешку. Я предложил ему в охрану пару крепких парней. Он поблагодарил и сказал, что, кроме пистолета, ему ничего не надо. Мы обменялись парой слов об общих знакомых, и он откланялся. Я поручил двум парням провести его от гостиницы и проверить, есть ли слежка. На следующий день мне доложили: “Папа, за объектом слежки нет. Он довольно подвижен и отлично знает Париж. Мы навели справки у такого-то – похоже, объект никого не интересует. У него есть связи в британском посольстве, однако ничьим агентом он не является. Информация неофициальная, но надежная. Хотите подробную сводку перемещений?” “Ни к чему, – сказал я. – Надеюсь, он весело проводит время…”»

Хемингуэй писал эти строки в 1953-м, когда до Нобелевской премии его оставался еще год. Но написанного вполне хватает, чтобы понять: слишком разными оказались они – лепящий в себе культ стопроцентного мужчины, некоего «мачо» Хемингуэй и комплексующий, подозрительный, весь в переживаниях Оруэлл. Они и в творчестве, и в понимании событий были едва ли не противоположны. И Париж-праздник оказался для них разным, и Испания в ее гражданском противостоянии (вспомним хотя бы пьесу Хемингуэя о войне на Пиренеях под говорящим названием «Пятая колонна»). Ну и мне лично, конечно, жаль, что Хемингуэй не захотел подробной «сводки перемещений» Оруэлла. Она добавила бы красок в портрет моего героя.

Да, и вот еще. Своим описанием встречи с Оруэллом опытный

и пожитой – именно пожитой, а не пожилой – Хемингуэй намекает, почти насмехаясь, что его «парижский гость» маниакально боялся слежки. Что ж, придется напомнить: сам «мачо» к концу жизни только и думал об этом – о слежке ФБР уже за ним. Даже попав из-за этого в психушку, он только и жаловался оттуда, что и в палате его спрятаны жучки. А когда 2 июля 1961 года застрелился из ружья, то на запрос друзей его в ФБР был получен четкий ответ: да, слежка за Хемингуэем была, было прослушивание его телефона, в том числе и в психбольнице, и всё потому, что властям казалась подозрительной его активность на Кубе. Ровно так, как признали потом спецслужбы и слежку за Оруэллом…

Второй знаковой встречей Оруэлла в Европе стала встреча с Исааком Дойчером – бывшим троцкистом, историком, которого мы знаем по толстым книгам о Троцком и Сталине и знали бы и по труду о Ленине, если бы он не умер в 1967-м. С Дойчером Оруэлл проживет несколько дней в одной комнате, в лагере для журналистов. И тогда же оба узнают, что в Европу их отправила в командировку одна и та же газета – *Observer*.

Дойчер был на четыре года младше. Он, как и Оруэлл, в молодости считал себя поэтом, потом, в девятнадцать лет, вступил в компартию Польши, был даже редактором коммунистических изданий. В 1931-м успел побывать в СССР, где ему уже тогда предлагали преподавать историю социализма и научного коммунизма, но он предпочел вернуться на родину для подпольной работы. Через год публично выступит против сталинской политики, за что его немедленно исключат из компартии, хотя в 1938 году он, не поддержав решение основать Четвертый Интернационал, отойдет и от троцкизма. И только в апреле 1939-го, накануне оккупации Польши Германией, эмигрирует в Лондон.

«Помню, – пишет Дойчер, – как озадачило меня упрямство, с которым Оруэлл рассуждал о “заговорах”… Он был непоколебимо убежден, что Сталин, Черчилль и Рузвельт сознательно создали заговор, чтобы поделить мир, причем поделить с пользой для себя и потом его вместе поработить. “*Они* все хотят власти”, – повторял он. Когда один раз я указал ему, что под внешней солидарностью “Большой тройки” можно разглядеть сильные противоречия, Оруэлл проявил такую испуганность и недоверчивость, что даже изложил нашу беседу в колонке в *Tribune* и добавил, что не наблюдает никаких признаков конфликта… Что поразило меня в Оруэлле, так это отсутствие чувства истории и психологического понимания политической жизни, сочетающееся с острой, хотя и узкой проницательностью в

некоторых аспектах политики…»

Поразительна, не правда ли, слепота присяжного историка? Ведь как раз «психологизм политической жизни», интуитивное понимание петляющего «исторического развития», умение делать выводы из прошлого ради будущего и будут отмечать наиболее глубокие рецензенты последней книги Оруэлла – романа «1984». Не видеть этого было, казалось, невозможно. Но история, как было сказано в начале этой главы, действительно «кружила». И будет еще кружить. Совпадение, конечно, вновь совпадение, но в 1949-м, за несколько недель до смерти Оруэлла, наш «слепец» Дойчер, будучи в Нью-Йорке, вдруг услышит от уличного реально слепого продавца газет фразу о только что вышедшем романе «1984». Тот, продавая ему газету, спросит: «Вы читали эту книгу?» И, не ожидая ответа, добавит: «Вы должны прочитать ее. Тогда вы узнаете, почему мы должны сбросить атомную бомбу на коммуняк…»

Так понимали и долго еще, увы, будут понимать роман Оруэлла только навечно заслепленные – незрячие в литературе. И не важно где: в Лондоне или Нью-Йорке, в Париже – или в далекой и загадочной Москве.

Глава 11.
«Я зашел слишком далеко…»

1.

В холодной, но душной комнате, посреди окурков и недопитых чашек чая, за шатким столом, заваленным грудами бумаг, сидит человек в побитом молью халате и старается поудобнее поставить пишущую машинку.

Сейчас половина двенадцатого, и по плану ему следовало бы приняться за работу ровно два часа назад, но, даже если бы он всерьез попытался взяться за нее, ничего бы не получилось – ему мешали бы телефонные звонки, плач ребенка, стук отбойного молотка на мостовой перед окном, тяжелые шаги кредиторов вверх-вниз по лестнице. Только что второй раз пришел почтальон и вручил ему пачку рекламных проспектов и строгое напоминание налоговой службы, напечатанное красными буквами.

Надо ли говорить, что этот бедняга – писатель? Он может быть романистом или поэтом, все литераторы похожи… но, допустим, наш герой – критик-рецензент…

Все три абзаца, приведенные мной выше, я нарочно не закавычил. Так начинается заметка Оруэлла «Признание рецензента» – одна из первых после войны. Он пишет, конечно, что все литераторы похожи друг на друга, но здесь бедняга Оруэлл, несомненно, изобразил себя в 1945-м. И это ему четыре дня назад редактор, с запиской «обчитать по возможности всё сразу», прислал на рецензию сразу пять книг (одну в 680 страниц). Хотя даже запах типографский давно действовал на него так, «словно ему предстояло съесть застывший пудинг из рисовой муки, приправленный касторкой». Здесь всё про него: и плач ребенка (сыну Ричарду был год), и окурки с недопитым чаем, и, подозреваю даже, халат, «побитый молью»… И – итог: несмотря ни на что, точка в написанном тексте встанет «ровно за три минуты до того, как надо бежать в редакцию…».

В 1945–1946 году, после «Скотного двора», он опять работал как бешеный. Десятки статей, среди которых – такие рубежные для него, как «Подавление литературы», «Заметки о национализме», «Политика против литературы», «Политика и английский язык», – все они были отстуканы на машинке именно в этой комнате на Канонбери-сквер, где на стене висела

фотография покойной жены, а в шкафу висели ее платья, и где в соседней комнате стояла кроватка сына, за которым наблюдала сестра Оруэлла, Эврил.

Сына после возвращения из Европы он не хотел отдавать даже в ясли. С начала 1946 года помогать ему по дому стала няня-воспитательница, 28-летняя Сьюзан Уотсон, жена математика из Кембриджа. Потом, в 1989-м, она вспомнит, что «хозяин» относился к ней как брат, что человеком был «невероятного трудолюбия», что за машинку садился в восемь и работал иногда до пятичасового чая. Она, хотя это и не входило в ее обязанности, пыталась создать вокруг домашний покой. И когда Оруэлл, к примеру, «застенчиво улыбаясь», рассказал ей, что слуга в Бирме будил его по утрам, щекоча ему ступни, приучила к этому и Ричарда. Но ничто, подчеркнет, не могло оторвать его от работы: он приспособился стучать на машинке даже в кровати. «Я привык, – будет вспоминать Оруэлл про ту зиму, – на целый день забираться в благословенную постель и писать статьи в ее великолепной теплоте…»

Торопился, спешил жить. В одном из писем, помните, обмолвится: «Я зашел слишком далеко…» Но – зашел ли? Не забежал? Ведь последние годы Оруэлла можно вообще обозначить одним словом: забег. Это было соревнование со временем и пространством, со своим телом, по частям выходившим из строя, со слабеющей волей, с умом, отказывающимся верить себе же. Две мысли подхлестывали и гнали его вперед: стремление не оказаться бесполезным – и чувство сострадания и личной вины за всё.

«Да, у него были недостатки, – напишет об Оруэлле в 1961 году видный британский анархист Николас Уолтер, с которым Оруэлл сойдется после войны. – Он не всегда проверял факты и часто бывал неаккуратен и даже несправедлив… Но он был не просто недовольным человеком, а радикальным примером английского диссидента из среднего класса, который восстал против собственной социальной группы… Оруэлл был святошей, презиравшим святош, патриотом, который презирал патриотов, социалистом, который презирал других социалистов, интеллектуалом, презиравшим интеллектуалов… Он был человеком, полным логических противоречий и эмоциональных метаний, но это делало его лучше, а не хуже… Он был еретиком, который должен был предать собственную ересь…»

Заканчивая очерк, Уолтер напишет: «Можно собрать все имеющиеся факты о нем, прочитать все исследования, но он все равно останется загадкой… хотя, без сомнения, он был одной из важнейших личностей современности, одним из немногих

настоящих героев и истинных душ, коих видел наш век… Тип героя Томаса Карлейля: “Он, каков бы он ни был, есть душа всего… Никто не спрашивает, откуда он пришел, какую цель имеет в виду, какими путями идет… Он есть порождение случая… И он же, как духовный светоч, ведет этот мир по правильному или ложному пути”…»

«Светоч», «герой», «истинная душа», «святоша», «патриот» и одновременно «еретик» – не слишком ли сахарно? Могу представить, как брезгливо перелистнул бы эти страницы сам Оруэлл. А если окунуться в 1946-й, принесший ему мировую славу, то, как ни странно, этот «герой» и «светоч» чувствовал себя невероятно, бесконечно одиноким. Именно в 1946-м он предложит сразу трем женщинам выйти за него замуж, и все три откажутся. И именно тогда он почти рассорится с двумя близкими друзьями: с Жоржем Коппом, почти родственником, и с Артуром Кёстлером, тоже еретиком.

С выходом «Скотного двора» в августе 1945 года многое изменилось и с Оруэллом в мире, и в нем самом. Странную, возможно, скажу вещь, но он, мне кажется, даже после всесветного успеха сказки все равно слегка комплексовал: писатель ли он?

Упреки в «невеличии» его высказывались и после смерти Оруэлла, а к столетию писателя, с выходом самых «свежих» биографий его, претензии стали почти угрожающими. Это уже не «оторванная пуговица», которую ему не могли простить. Некто Пирс Брентон в статье «Святой или просто благопристойный» (7 июля 2003 года) саркастически написал, что впору чуть ли не заводить «Дело против…», ибо детство его, оказывается, было «больным», репортером он был «ненадежным», романы оказались «подражательны», а сотрудничество с властями перед смертью говорит о том, что он был еще и «доносчиком». И в доказательство приводил мнения о писателе: «Дни в Бирме» – это, дескать, Моэм; «Дочь священника» – это ранний Джойс; «Да здравствует фикус!» – Гиссинг, «Глотнуть воздуха» – в чем-то Пруст, а «Скотный двор» – «просто Свифт, разбавленный водой…».

Ссылаясь на книгу Мэри Маккарти «Надпись на стене», которая была опубликована еще в 1969-м, писали, что он, «ненавидя интеллигенцию… и “богатых свиней”, как звал миллионеров, тем не менее больше всего злился во время войны “на медленный ремонт в его квартире”», что «мгновенно ловил запах роскоши, материальной или интеллектуальной», что глумился над Джойсом за то, что «тот был “над схваткой”», над Ганди «за его игры “с прялкой”», но на деле всё, что он имел

против интеллигенции и богатых, заключалось в том, что их «правда жизни» была, что называется, «в моде»…

«Он *был* мещанином особого рода, – писала Маккарти, – который любил красоту, цветы, птиц, природу; этот скряга любил даже поэзию…» Но реально был поклонником Шерлока Холмса, любителем загадок и головоломок, и ему… «было все равно, что думают о нем люди, хотя он и не считал это добродетелью». Джулиан Барнс, еще один публицист, напишет позже о противоречиях писателя: «Он не доверял “слишком умным” – типичное английское подозрение… уничтожающе отзывался о социальной элите, находя правящий класс попросту “глупым”, и с симпатией и страстью защищал рабочий класс, считая его мудрее интеллектуалов… Наконец, он был “нетеоретичен” и опасался “общих выводов”, которые не выводились из конкретного опыта, был моралистом и даже пуританином, а также тем, кто, несмотря на популизм и симпатии к рабочим, брезговал грязью, окарикатуривал почти до антисемитизма евреев и постоянно подчеркивал гомофилию левых, оскорбительно называя их “анютиными глазками”». А еще – всегда воевал с утверждением, что факты могут быть «относительными, гибкими или особо поданными». Он «научил нас, что даже если стопроцентная правда является недоступной, то имеется хотя бы 67 процентов ее, и они всегда будут лучше, чем 66…».

Ричард Рис согласится: у Оруэлла было меньше дарования, чем, например, у Лоуренса, меньший интеллектуальный блеск, чем у Хаксли и Мерри. Но преимуществами его были знание жизни, реалистичность и здравый подход. «И какое бы решение Оруэлл ни принимал – бунтовать, бороться или изучать бедность, – он шел до конца». Даже суровая Маккарти, заканчивая свою работу о нем, все-таки, противореча себе, подчеркнет, что если его уже тогда называли «ледяной совестью поколения» (В.С.Притчетт), то главным образом из-за того, что он и в книгах, и в жизни отождествлял себя с бедными. И заметит: «Никто не мог упрекнуть его в том, что он мог “продаться” за деньги, или за почести, или из-за женщин…»

Вот это, пожалуй, и запишем в актив: не продавался! А именно почести и деньги обрушились на него с явлением «Скотного двора». *New Yorker* в Америке сравнил его уже не только со Свифтом – с Вольтером своей эпохи. Его звали выступать на собраниях, «красоваться» на разных мероприятиях, ему почти надоело подписывать контракты на иностранные издания сказки, да и надписывать книжки друзьям. «У меня больше не осталось ни одного экземпляра, – жаловался он литагенту. – Даже мой собственный куда-то подевался…» А

Ивлин Во всего лишь через две недели после выхода книги не без удивления написал ему: «Это одна из тех книг, которую мне очень хотелось купить и которая, где бы я ее ни спрашивал, конечно же, всюду распродана…»

До курьезов дойдет дело: когда после смерти Оруэлла на престол вступит нынешняя королева Англии Елизавета II, то для нее лично не найдется ни одного экземпляра сказки. Факт этот приводит в своей книге Б.Крик: «Когда в ноябре королева Елизавета послала своего литературного советника Осберта Ситуэлла за экземпляром “Скотного двора” в *Secker and Warburg*, тот обнаружил, что всё раскуплено, и вынужден был приехать на лошади, в карете, при всем параде, в анархистскую книжную лавку, где Джордж Вудкок самолично выдал ему один экземпляр…»

Но Оруэлла, повторяю, и на пике успеха всё еще волновали вопросы: кто он? Настоящий писатель или политический публицист? Насколько вообще художник может и должен быть искренним в своих книгах? Наконец, как связаны человеческие качества художника и его таланты? Можно ли быть «плохим человеком» и писать неувядаемые произведения? Именно об этом размышлял он, когда прочел вышедшую в Америке книгу «Тайная жизнь Сальвадора Дали». Что позволено художнику, и насколько таланты связаны с личными качествами человека? Ужас, некрофилия, извращения, садизм – это тоже искусство? – спрашивал себя в заметках о Сальвадоре Дали.

> Вопрос из будущего: *Вы пишете: от книги Дали «дурно пахнет». От книги?!*
>
> Ответ из прошлого: *Если бы книга могла издавать зловоние, то уж со страниц этой книги понесло бы просто вонью…*
>
> В.: *Но уже в следующей строке вы пишете, что он «рисовальщик исключительного дарования»?*
>
> О.: *…И большой труженик. Да, эксгибиционист и карьерист, но не обманщик. Он в пятьдесят лет талантливее большинства людей, порицающих его мораль… И две эти группы фактов, взятые вместе, порождают вопрос, который… редко обсуждается всерьез… Дело в том, что мы сталкиваемся здесь с прямой, неприкрытой атакой на благоразумие и благопристойность, более того – на саму жизнь… Дали… так же антисоциален, как и блоха. Понятно, что такие люди нежелательны, а общество, в котором они могут процветать, имеет какие-то изъяны… Если показать эту*

книгу и ее иллюстрации лорду Элтону… то легко представить, какой реакции дождешься…

В.: *Кто ныне знает лорда Элтона? Речь – о «понимающих», об эстетически грамотном зрителе…*

О.: *И он среагирует… не многим лучше… Непристойность – очень сложная тема для честного обсуждения… Блестящий рисовальщик… но грязный мелкий негодяй… Защитники Дали требуют для себя чего-то вроде привилегии духовных пастырей*[76]*. Стоит произнести волшебное слово «искусство» – и всё в порядке. Гниющие трупы – нормально, пинать головку маленькой девочки – нормально… Коль скоро вы умеете писать маслом… всё вам будет прощено…*

В.: *Но вы? Как вы относитесь к подобному? Ведь проблема универсальна?*

О.: *В век, подобный нашему, когда художник – во всем человек исключительный, ему должна отпускаться определенная толика безответственности, как и беременной женщине. И всё же… никому в голову не приходило даровать беременной женщине разрешение на убийство… Вернись завтра Шекспир и обнаружься, что его любимое развлечение в свободное время – насиловать маленьких девочек… мы не должны говорить ему, чтобы он продолжал в том же духе только потому, что он способен написать еще одного «Короля Лира»… Возбуждение некрофильских грез может нанести едва ли не столько же вреда, как и очищение чужих карманов на скачках. Нужна способность держать в голове одновременно оба факта: и тот, что Дали – хороший рисовальщик, и тот, что он – отвратительный человек… От стены мы прежде всего требуем, чтобы она стояла. Коли стоит – хорошая стена… Но даже лучшую в мире стену следует снести, если она опоясывает концентрационный лагерь. И точно так же мы должны иметь возможность сказать: «Это хорошая книга… но ее следует отдать на публичное сожжение палачу»…*

В.: *Приехали! Вы ли это?.. Поклонник запрещенных Миллера, «Леди Чаттерлей» Лоуренса?*

О.: *Дело… не в том, что автобиографию Дали или его полотна следовало бы запретить… политика запретов сомнительна в отношении чего бы то ни было; фантазии Дали, возможно, проливают полезный свет на разложение капиталистической цивилизации. Зато он явно нуждается… в диагнозе…*

В.: *Но вы дали его: «негодяй», «эксгибиционист», антисоциальная «блоха»?*

О.: *Вопрос не столько в том,* что *он такое, как в том,* почему *он таков… Он – симптом мировой болезни. Мало толку охаивать его как грубияна… важно понять,* почему *он выставляет напоказ именно… непотребство…*

В.: *И почему?..*

О.: *Вероятно, это способ уверить самого себя в том, что он не заурядность. Двумя качествами Дали обладает бесспорно – даром к рисованию и чудовищным эгоизмом. «В семь лет, – пишет он в первом абзаце своей книги, – я хотел быть Наполеоном. С тех пор амбиции мои росли неуклонно». Фраза эта построена так, чтобы поразить, но, в сущности, это правда… Представьте теперь, что… истинный ваш дар – скрупулезный, академический, иллюстративный стиль рисования, а ваш подлинный удел – быть иллюстратором учебников. Как же в таком случае стать Наполеоном? Выход один: впасть в демонстративную аморальность. В пять лет сбросить малыша с моста, хлестнуть старого доктора плеткой по лицу… всегда будешь чувствовать себя оригинальным. И потом это приносит деньги! И не так опасно, как совершать преступления…*

В.: *Наш великий Эйзенштейн еще в 1926-м был поражен в Париже, что одна и та же фирма выпускает открытки с изображением святых и порнографические открытки, причем ради выгоды использует одни и те же модели. Другими словами, «всё на продажу». А иногда и ради минуты славы. Ныне кое-кто безбашенный прибивает гвоздем к площади мошонку, кто-то наваливает кучу дерьма в музее – это всего лишь больное честолюбие и сверхэгоизм? Так?*

О.: *Дали… вырос в развращенном мире двадцатых годов, когда фальсификация была явлением повсеместным… Швырнешь в людей дохлым ослом – они в ответ станут швырять деньгами… Фобия… до того вызывающая лишь хихиканье – стала теперь интересным «комплексом», который можно выгодно эксплуатировать… Вопросы эти – для психолога…*

В.: *Но за три года до этого вы в эссе «Толстой и Шекспир», разбирая нападки великого Льва на великого же Шекспира (который и не мыслитель, по мнению Толстого, и не драматург) и соглашаясь с Толстым, парадоксально утверждали, что Шекспир тем не менее «оказался*

неуязвим». Потому, пишете, что «художник – это выше, чем мыслитель и моралист…».

О.: *Хотя он должен быть и тем, и другим…*

В.: *Да, вы это подчеркиваете. Но дальше пишете: «Но только тот роман или пьеса не канет в вечность, в котором заключено нечто помимо мысли и морали, то есть искусство…» Может, в этом разгадка Дали? Может, это тоже искусство?*

О.: *При определенных условиях, впрочем, неглубокие мысли и сомнительная мораль могут быть хорошим искусством. И если уж такой гигант, как Толстой, не сумел доказать обратное, то вряд ли кто еще докажет это… С другой стороны, нельзя во имя «беспристрастности» делать вид, будто картины типа «Манекена, гниющего в такси» нравственно нейтральны. Это больные и омерзительные картины…*

В.: *Вы, конечно, правы. Вы не узнали этого, но Дали и сам сказал в конце жизни почти вашими словами: «Я богат, потому что мир полон кретинов…» Но все же – жечь или не жечь Миллера, Лоуренса или того же Гамсуна, замаравшего себя сотрудничеством с нацистами?..*

О.: *Часто утверждают… будто книга не может быть «хорошей», если в ней выражен явно ошибочный взгляд на жизнь. Утверждают, к примеру, что в наш век любое имеющее подлинно художественное достоинство произведение обязательно будет более или менее «прогрессивно»… При этом игнорируется тот факт, что на протяжении всей истории бушевала такая же борьба между прогрессом и реакцией, и что лучшие произведения любой эпохи всегда писались с нескольких различных точек зрения, и некоторые были заведомо ложные. К писателю как пропагандисту можно предъявлять, самое большее, два требования: чтобы он искренне верил в то, о чем пишет, и чтобы это не было вопиюще глупым. Сегодня, например, можно представить себе хорошую книгу, написанную католиком, коммунистом, пацифистом, анархистом, а то и обыкновенным консерватором. Нельзя представить автором хорошей книги спиритуалиста, бухманита или ку-клукс-клановца. Взгляды, которых придерживается писатель, не должны быть ненормальными (в медицинском смысле этого слова) и не должны противоречить способности к последовательному мышлению; за пределами этого мы*

вправе требовать от писателя лишь одного: таланта, что, вероятно, есть иное название убежденности… Понимаете… творчество, если оно ценно хоть в чем-то, всегда результат усилий того более разумного существа, которое… свидетельствует о происходящем, держась истины, признаёт необходимость свершающегося, однако отказывается обманываться насчет подлинной природы событий…

Что ж, точка зрения… И, на мой взгляд, актуальная и ныне. Оруэлл ведь и сам только и делал, что «атаковал жизнь» своими книгами, и, кстати, с известной «толикой безответственности», которую признавал за художником. И был в чем-то «асоциален» в обществе, да и в быту. «*De mortuis – veritas*!» – «О мертвых – правду»: я, во всяком случае, придерживаюсь этого правила древних вместо стыдливого «О покойниках – или хорошо, или никак». Но в чем тогда отличие «интеллектуального эпатажа» Оруэлла от эпатажа Дали, идущего в искусстве на скандал? Мне думается, во-первых, в том, что даже в самых пессимистических произведениях его всегда читалась надежда на перемены – на лучшее, пусть и не скорое будущее. В безнадежном, казалось бы, романе «1984» за миг до ареста Уинстона и Джулии оба, стоя у окна, смотрят на располневшую простую бабу из «пролов», которая развешивает нескончаемое белье во дворе и при этом еще и поет. «Птицы поют, пролы поют, не поет только Партия, – пишет в романе Оруэлл. – Во всех концах мира, в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в загадочных запретных землях за границей, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях безбрежных равнин России, на базарах Китая и Японии – всюду стоит эта непобедимая женщина, изуродованная трудом и родами, работающая от рождения до смерти и всё еще поющая. Из этого мощного чрева выйдет когда-нибудь порода думающих, сознательных людей. Мы – мертвецы; будущее принадлежит им. Но мы можем войти в то будущее, если сохраним живой разум, как они – живое тело, и будем передавать из поколения в поколения тайное учение о том, что дважды два – четыре…»

Но главное, что отличало Оруэлла от желающих хоть чем-нибудь удивить мир художников (и это во-вторых), заключалось в реальном участии в событиях, в «грозной интенсивности ви́дения», в том самом стремлении не «обманываться насчет подлинной природы событий» и «быть полезным». Писатель-боец, воитель, он, как и раньше, был деятелем, а не сторонним наблюдателем. Вот что восхищало в нем и вот что, словами Ричарда Риса, можно было назвать примерами высокой

нравственности его! «Лишь тот достоин жизни и свободы, / Кто каждый день за них идет на бой», разве не так?..

Прикиньте: договор на издание «Скотного двора» был уже подписан, ему поет осанну каждый, кто уже прочел сказку. Оруэллу впору купаться в благодушии и умиротворенности. Но в эти же дни в прославленном Гайд-парке арестовывают нескольких человек за продажу пацифистских и анархистских газет и брошюр. Формально – за неподчинение полиции. И приговаривают к полугоду тюрьмы. Одновременно власти санкционируют налет на офис анархистского издательства *Freedom Press*, основанного, на минуточку, еще в 1886 году при участии Кропоткина, где полицейские изымают сборник «Военный комментарий», критикующий высшее армейское командование. Так вот, факт насилия заставил Оруэлла немедленно выступить со статьей «Свобода парка», где он написал, что свобода слова всегда оказывается под угрозой даже в демократических странах, потому что реально не находится под защитой закона. Более того, он изо дня в день спешит на Эндслей-стрит, 9, где собирались его сторонники, пишет заметки, советует, отлавливает иных влиятельных людей, которые представляли интерес для дела, а иногда и выступает на публике. Какое уж тут умиротворение и почивание на лаврах, какая тут «теплая постель» в мороз! Он и теперь был настолько активен и бескомпромиссен, что, когда был создан Комитет защиты свободы, в который вошли Б.Рассел, Г.Ласки, Э.Форстер, Сирил Коннолли, Бенджамин Бриттен, Генри Мур и даже Виктор Голланц и который возглавил Герберт Рид, борец против нацизма и любой формы диктатуры, Оруэллу предложили стать вице-председателем. Вудкок вспоминал, что приглашение он принял «с некоторой неуверенностью». «“Я не хочу вновь возвращаться в беличье колесо административной работы”, – сказал. Когда я заверил, что это не потребует от него больших усилий и не слишком отнимет его время, он согласился и, в меру сил и здоровья, стал работать». Скажу даже больше: он и привлеченный им Кёстлер подвигнут комитет к созданию «Лиги за достоинство и права человека», и Оруэлл сам набросает манифест этой будущей лиги. Даже деньгами поможет, даже притащит на Эндслей-стрит пишущую машинку жены. И, кстати, кто не знает: из этой Лиги в противостоянии ее Национальному совету по гражданским свободам (*NCCL*), куда проникнет значительное число коммунистов и их попутчиков, из принципов его манифеста вылупятся потом и знакомая нам «Международная амнистия», и Конгресс культурных свобод – организации, которые переживут его и «отцов-основателей».

«Шлюхе девушкой не стать», – горько усмехнулся Оруэлл в очередной колонке в *Tribune*, где вновь обвинял коллег-интеллектуаллов, «бессильных людей» (по названию тогдашней статьи Ч.Миллса[77]), в самоцензуре, склонности к тоталитаризму и «раболепстве» перед Россией. «Прежде всего помните: за нечестность и трусость всегда приходится расплачиваться. Не воображайте, что можно годами лизать сапоги, пропагандируя советский или какой-нибудь иной режим, а потом вдруг вернуться к умственной порядочности. Шлюхе девушкой не стать. Во-вторых, – продолжал, – более общее соображение. Сегодня в мире нет ничего важнее англо-русской дружбы и сотрудничества, а этого никак не достичь без настоящей прямоты». Не против, как видим, России («в мире нет ничего важнее англо-русской дружбы»), а за Россию и отход ее от бесчеловечного сталинизма… Хотя кому было дело до таких «тонкостей»? И когда начались «сложности» в отношениях бывших союзников, он, а не Черчилль, первым, еще 19 октября 1945 года, назвал это холодной войной – авторство зафиксировано Оксфордским словарем английского языка. Назвал в той же *Tribune* в заметке «Ты и атомная бомба», написанной через два месяца после Хиросимы и Нагасаки. «Мы движемся не к всеобщему развалу, – предупредил в ней, – а к эпохе такой устрашающей стабильности, которая была характерна для древних рабовладельческих империй. Теория Джеймса Бёрнхема много обсуждалась, но мало кто осознал ее идеологический подтекст: частично это форма мировоззрения, но частично – вера и представление о социальном устройстве… которое никак невозможно завоевать и которое находится в состоянии постоянной холодной войны со своими соседями». Думал Оруэлл, думал уже о последнем своем романе.

> Вопрос из будущего: *Вы пишете, что с появлением атомной бомбы у человечества появилась кошмарная перспектива «возникновения двух или трех чудовищных сверхдержав», которые поделят мир между собой…*
>
> Ответ из прошлого: *Мы однажды сказали себе, что самолет «отменит границы», но на деле как раз благодаря самолетам, этому серьезному оружию, границы стали непроходимыми. Радио, как ожидалось, должно было содействовать международному взаимопониманию, а на деле оказалось средством изоляции. Атомная бомба может завершить этот процесс, отобрав за счет ограбления эксплуатируемых классов и народов их возможность к восстанию, а с другой стороны – установить между обладателями бомбы военный*

паритет… Это наиболее вероятное развитие событий…

Вот с этим ужасом в башке, с прозорливыми предположениями и идеями нового романа, с реальной помощью лейбористам в выборной кампании, развернувшейся в стране, с неотступными мыслями, что́ еще можно сделать для арестованных «защитников свободы», с беготней по редакциям и комитетам, с грустью об окончании срока аренды его домика в Уоллингтоне, наконец, с будничными заботами о подрастающем сыне, которого вывозил гулять в старой раздолбанной коляске, и с глухой, затаенной мечтой об уединении, – его и застало предложение лорда Астора, его «патрона» в газете *Observer*, отдохнуть, развеяться в маленьком заброшенном поместье лорда в северной Шотландии, на острове Юра. Магические Гебридские острова – он же когда еще мечтал о них! Астор, как пишет, был в ответ просто «оглушен энтузиазмом», с каким его друг согласился на это. И сразу, еще в сентябре 1945-го, отправился туда на две недели. Реально забежал «слишком далеко…». Этот остров и забьет в его гроб первый гвоздь.

2.

«Иногда я чувствую себя ужасно одиноким», – написал он Энн Попхем, одной из своих знакомых, которую позвал как-то замуж. И, вопреки сказанному, переехал жить, наверное, в самый глухой и далекий угол Британии – на почти дикий остров, где одиночество его стало едва ли не абсолютным.

Другую женщину, Селию Пейдж (Кирван), с которой познакомился только что, в декабре 1946 года, в доме Артура Кёстлера, и в которую влюбился, тоже звал замуж и также приглашал навестить его на острове Юра. И от замужества, и от поездки на край света Селия мягко и изящно отказалась.

А третья женщина, «Венера Юстон-роуд», миловидная 29-летняя секретарша журнала *Horizon*, с которой он не только сошелся в 1945-м, но которая через три года станет его второй женой, навестить его на острове не отказывалась, но становиться женой «северного анахорета», вдовца с ребенком, отнюдь не планировала. Конечно, он после «Скотного двора» стал почти мировой знаменитостью и довольно состоятельной партией, – но ходить в резиновых сапогах, жить при «керосиновом свете» ей, столичной штучке, совсем не хотелось. Эту третью, как вы догадались, звали Соня Браунелл.

«Дражайшая Соня, – напишет ей Оруэлл, уже живя на

острове. – Добрались хорошо… Ричард был прямо золотцем, так хорошо вел себя и больше искал, где бы ему уснуть… и уснул, стоило нам сесть в самолет в Глазго… Я никогда не летал на пассажирском самолете и теперь думаю – это и впрямь лучше. Это стоит на два или три фунта дороже, но зато экономит почти пять часов, если добираешься пароходами…

Здесь всё почти так же, как в Англии; почки еще не раскрылись, и вчера еще было довольно много снега. Но все равно вокруг прекрасная весенняя погода, а всё, что я посадил в этом году, по большей части, кажется, живо. Из посаженных цветов здесь у меня всюду только нарциссы. Я все еще сражаюсь с более или менее девственной полянкой, но к следующему году, думаю, здесь у меня раскинется вполне приличный сад… Я собираюсь завести кур и в этом году разберусь наконец с алкоголем, так чтобы хоть немного его, но всегда было под рукой, как своего рода ежедневный ромовый рацион… Думаю всё закончить в неделю, и скоро я смогу приступить к кое-какой работе…

Я хочу описать тебе детали поездки, которые не так сложны, как выглядят на бумаге. Факты же таковы: есть пароходы до Юры, которые ходят по *понедельникам*, *средам* и *пятницам*. В 8 утра ты должна поймать поезд в Глазго, а это значит, что ночь накануне лучше провести уже в Глазго, ибо все ночные поезда имеют неприятную особенность прибывать на час или два позже. Дальше время распределяется так. В 8 ты отъезжаешь от центрального вокзала Глазго до Горока. В Гороке берешь пароход до Тарберта… Потом – автобус до Западного Тарберта (рейсы автобуса совпадают с пароходами). Далее садишься на пароход до Крэйгхауса и где-то в 15.30 приплываешь в Крэйгхаус. Оттуда берешь машину до Лиалта, где мы и встречаем тебя…»

Он пишет, как найти автомобиль, и что лучше всего, если о дне приезда она предупредит его минимум дней за десять. «Захвати плащ, – предупреждает, – и, если возможно, крепкие сапоги или ботинки; резиновые сапоги тоже, если они есть. У нас где-то есть какие-то запасные, но я не уверен, что есть запасные штормовки и т.п. Будет хорошо, если захватишь с собой свой недельный паек, ибо здесь любой новичок получает его не сразу, ну и немного муки и чая. Я боюсь, – заканчивает, – что всё, что я говорю, звучит порядком устрашающе, но на деле всё довольно легко, а дом так и вполне удобен. Комната, в которой ты поселишься, маловата, конечно, но зато смотрит на море. Я так хочу, чтобы ты оказалась здесь. К тому времени, надеюсь, у нас уже будет мотор для лодки, и, если будет приличная погода, мы сможем объехать необитаемые заливчики на западе острова, где есть прекрасный белый песок и чистая вода с плавающими в ней

нерпами. Рядом с одним из них есть пещера, где мы можем укрыться от дождя, с другим – хижина пастуха, которая кажется заброшенной, но на деле вполне пригодна для жилья… Так или иначе, но приезжай, и приезжай когда угодно… А пока береги себя и будь счастлива… С бесконечной любовью к тебе, Джордж».

Это письмо он напишет 12 апреля 1947-го, ровно через полтора года после того, как впервые оказался на острове, и привожу я его лишь затем, чтобы показать, как круто он опять отгородился от цивилизации. На деле добираться к нему было еще тяжелей. Последние восемь миль надо было вообще идти пешком да по размытому проселку, а ближайший магазин, где он закупал продукты, был, представьте, в двадцати трех милях, в том самом Крэйгхаусе, куда трижды в неделю ходило почтовое судно. Короче, как пишет Джон Бейли в статье «Последний пуританин», «это был “рай” для самого сурового наказания себя же»…

Впервые он согласился посетить Юру еще в сентябре 1945 года. Это была первая двухнедельная, «пристрелочная» поездка. Поехал сначала без сына. Вид с горы на двухэтажный, одинокий на многие километры дом, когда он вышел на нее, был потрясающим. Всюду – неоглядное море, со всех сторон – кусачий ветерок, и глаз не хватало вместить изумрудные луга, рулонами раскатавшиеся к воде, и скалы, уступами стоявшие в море. Но чем ближе подходил к усадьбе, тем больше открывалась ему «правда жизни»…

Барнхилл – так назывался большой фермерский дом с подсобными пристройками на пустынном оленьем острове, одном из многочисленных Внутренних Гебридских островов. Дом был приобретен когда-то семьей Дэвида Астора и отдан «на откуп» некоему Роберту Флетчеру. Флетчеры жили в поселке Ардлусса в восьми милях от Барнхилла, и это было единственное живое место в округе, если не считать одинокого жилья миссис Маргарет Нельсон в шести милях, где Оруэлл будет покупать молоко для сына. Вообще же на этом клочке суши в шестьсот квадратных миль проживало меньше трехсот человек, но зато обитало свыше шести тысяч маралов. Собственно, и само слово «Юра» означало на гэльском «благородный олень», и их, в силу запрета охоты, развелось тут немерено.

Сам дом, в котором последние десять лет никто не жил, оказался в полном запустении. Он не стоил даже той «почти нулевой» платы за аренду, которую выставил Флетчер. Проржавевшая калитка на проволочной сетке висела на честном слове, заросшая тропинка к дому была тоньше любого известного Оруэллу пробора на головах лондонских бездельников, от сырых стен веяло холодом, а внутри – пыльные некрашеные полы,

гулкие, не обставленные ничем комнаты, скрипучая лестница наверх, керосиновые фонари типа «летучая мышь» и старомодная ванна, едва ли не викторианской эпохи, стоящая на «металлических когтистых лапах». Ванная – без водопровода. Пять спален, гостиная с камином, столовая и большая кухня – единственное, кажется, помещение, пригодное для жилья. Ни телефона, разумеется, ни электричества, ни радио, ни даже теплого клозета – только почта, доставляемая с материка раз в неделю. Но все недостатки места наш герой счел неподдельными достоинствами. «У острова есть плюсы, – скажет после первого посещения Юры, – и особенно то, что туда будет трудно добраться людям: это мне и нужно… Если у меня окажется шесть спокойных месяцев, я сделаю задуманную книгу». «Но первопричина даже не это, – скажет потом сын писателя. – Отец всегда считал, что надо быть настоящим мужчиной. То есть уметь переносить лишения, боль, презирать роскошь, модные вещи… На Юре он радовался тому, что может добывать себе еду, охотясь, собирая фрукты или ловя рыбу». Словом, подобно каскадеру, акробату, охотнику на диких зверей или врачу, привившему себе новую вакцину, он вновь ставил эксперимент на себе. «Я задыхался от журналистики, – признался позже другу. – Я все больше и больше напоминал себе выжатый лимон». И, не обращая внимания на постоянные уже боли в груди, ликовал в разговоре с Артуром Кёстлером, что собирался на Юру «почти так же, как собирал бы корабль в антарктическое путешествие…».

С Кёстлером он увиделся как раз после первой поездки на остров – тот пригласил его с сыном к себе в дом в Северном Уэльсе на уик-энд под Рождество 1945 года. Вот там и влюбился в девушку по имени Селия. Кёстлер, знакомя Оруэлла со своей молодой женой Мамейн, представил ему такую же красавицу: «Это Селия, – сказал, – Селия Кирван, сестра-близнец моей жены…»

Что пили, празднуя Рождество, что ели и о чем говорили в ту знаменательную встречу – неизвестно, но в те два дня встретились не только прославленные уже писатели (Кёстлер еще в 1941 году выпустил роман «Слепящая тьма», а у Оруэлла только что вышел «Скотный двор»), но тоже, если хотите, два близнеца. Оба были политическими писателями, идущими «поперек порядка вещей», оба бунтовали против властей, для обоих масштабом цивилизации уже давно была «простая порядочность» и оба, как братья по духу, были похожи даже характерами. Если про Оруэлла его друг писатель В.С.Притчетт скажет, что «понимал его до определенного предела», ибо «как раз в тот момент, когда вы утверждались с ним в каком-то мнении, он

начинал противоречить и ему», то ведь и про Кёстлера та же Мамейн скажет потом, что с ним невозможно было даже «сварить кашу», то есть приготовить банальные спагетти. «К<ёстлер> мил и на свой лад легок в общении, – напишет, разведясь с ним, – однако… какое это почти постоянное напряжение – жизнь с ним из-за его буйного и часто непредсказуемого поведения, постоянной смены настроений и неизменного желания, чтобы люди делали нечто противоположное тому, чего им хочется; ты, например, хочешь есть на завтрак спагетти, К. скажет: лучше съешь равиоли; ты согласна – он возразит: нет, ешь ризотто…»

В этот раз ели, предположу, традиционного рождественского гуся, а вот говорить – говорить могли, видимо, только о политике и литературе. Дело осложнялось тем, что написанный Оруэллом сравнительно давно какой-то отрицательный отклик на Кёстлера («дикий», по словам Кёстлера) газета *Tribune* опубликовала неожиданно почти накануне Рождества. Кёстлер промолчит об этом, но в конце уик-энда, провожая Оруэлла, все-таки спросит: зачем? И Оруэлл согласится, что он, пожалуй, был «чересчур жесток…».

Они, конечно, останутся друзьями, понимая значение друг для друга. Кёстлер после смерти Оруэлла скажет, что его друг всегда был мятежником. «Революционеры, – скажет, – идут на компромиссы, чтобы удержать власть, а мятежник есть мятежник; он всегда против, против того, чем воняет общество, против рубца и гнилой капусты, распада и гниения в себе и в обществе – и никакого компромисса». А Оруэлл, критикуя Кёстлера, обвиняя его в гедонизме (помните: «Щелочка в броне Кёстлера – это его гедонизм»?), скажет, что «тупиком» его стала послевоенная вера в «человеческое счастье». И в статье «Артур Кёстлер», опубликованной почти сразу после встречи Рождества, добавит, что тот, если судить по последней книге его, оказался всего лишь «временным пессимистом»…

Были похожи, но как два магнита: и притягивающиеся, и – отталкивающиеся. Оба были «оппортунистами», обоих больше всего интересовало, почему революции заранее обречены на провал и в чем глубинные психологические причины «перерождения революционеров». Кёстлер исследовал это на примере Рубашова в своей «Слепящей тьме» – несгибаемого русского революционера, который ломается и признаётся в сталинской тюрьме в несовершённых «грехах», а Оруэлл размышлял, что может сломать главного героя его будущего романа «1984». Говорили, видимо, о прошедшей войне, о мнимой и подлинной объективности, о Нюрнбергском процессе – оба через два месяца подпишут обращение британских писателей по

его поводу. В обращении будут возмущаться предполагаемым «тайным сговором» западных демократий и сталинского СССР не касаться «показательных процессов» в Москве 1936–1938 годов, а также «пакта Молотова–Риббентропа»…[78] Но главное все-таки – о «перерождении» революций.

«Естественно, – напишет Оруэлл о книге друга, – всё в “Слепящей тьме” сосредоточено вокруг самого важного вопроса: отчего Рубашов признался? Он не повинен ни в чем, точнее, невиновен, за вычетом одного существенного момента: ему не нравится сталинский режим. Его даже не подвергали пыткам, по крайней мере не особенно усердствовали в этом. Изводят его – одиночество, зубная боль, нехватка табака, яркий свет лампы, направленной прямо в лицо, бесконечные допросы, однако само по себе всё это не могло бы сломить испытанного революционера». Так вот, признания его, как напишет Оруэлл, можно было объяснить только духовной катастрофой или верностью партии, ставшей второй натурой Рубашова. «Для него, – разбирает роман Оруэлл, – давно утратили всякий смысл такие понятия, как справедливость и объективная истина. Десятки лет он оставался человеком партии, им же и созданной, а теперь партия требует, чтобы он признал за собой вину в преступлениях, которых не было. И хотя его пришлось запугивать и ломать, под конец он даже гордится своим решением признаться… “Честь – это полезность делу без гордыни”, – не без удовлетворения отметит для себя… И упрется в стену непроницаемой тьмы… Он не просто одинок – он пуст внутри себя…» И единственный источник, дающий ему силы, – это воспоминания о детстве, те «листья тополей», которые он вспомнит в миг, когда в его мозг вонзится пуля…

Вот это вот – воспоминания о детстве – войдет и в роман Оруэлла «1984», как и слова про героя Кёстлера «пуст внутри себя» («Люди полые, если из них выбить память»). Именно этот «фокус» – как человека сделать абсолютно пустым внутри ради заполнения его черепа нужной идеологией – и будет исследовать Оруэлл в будущем романе. Пуст внутри – и единственный смысл – «полезность делу», революции. Отдайся ей – и неизбежно станешь либо Рубашовым, либо его следователем Глеткиным. «Дело не просто в том, что “власть растлевает”, – пишет Оруэлл. – Растлевают и способы борьбы за власть. А поэтому любые усилия преобразовать общество насильно кончаются подвалами ГПУ… Кёстлер описывает тьму, но такую, которая наступила, когда должен был сиять полдень…»

Страшные, как подумать, выводы! И ведь никто в мире еще не говорил так. Фактически Оруэлл сказал о насильственном

единомыслии, о подавлении «неказенных» чувств и независимой морали и, главное, – о том, что это вполне может ожидать и общество «свободных цивилизаций». Это он и разбирал по косточкам в большом очерке «Заметки о национализме». Специалисты будут считать потом, что этой статьей да заметкой «Ты и атомная бомба» и завершится собранный им «корпус идей» для романа «1984».

Вопрос из будущего: *Странно, под националистами вы понимаете не антисемитов, например, не англофилов, а коммунистов или даже католиков…*

Ответ из прошлого: *Под «национализмом» я прежде всего имею в виду привычку считать, что людей можно классифицировать как насекомых, что к миллионам… могут быть… приклеены ярлыки «хорошие» или «плохие»…*

В.: *Но не широк ли подход?*

О.: *Националист – это тот, кто думает… категориями состязательного престижа… Встав на ту или иную сторону, он уверяет себя, что она-то и есть сильнейшая, и способен придерживаться этого убеждения, даже когда факты абсолютно против него… Каждый националист способен на самую вопиющую бесчестность, но в то же время (поскольку считает, что служит чему-то большему, чем он сам) он непоколебимо уверен в собственной правоте.*

В.: *Например?..*

О.: *Возьмем такой: «Кто из трех великих держав-союзниц – СССР, Британия или США – внес самый большой вклад в поражение Германии?»*

В.: *И кто же? Об этом ведь и ныне спорят.*

О.: *Теоретически можно дать на это здравый и даже исчерпывающий ответ. На практике, однако, необходимые расчеты здесь невозможны, поскольку каждый… неизбежно начнет трактовать его с точки зрения состязательного престижа… Индийскому националисту трудно наслаждаться Киплингом, а консерватору трудно увидеть достоинства в Маяковском, и всегда существует искушение объявить любую книгу, с чьим направлением ты не согласен, непременно плохой книгой именно с литературной точки зрения. Люди сильных националистических убеждений очень часто скатываются к подобной эквилибристике, не считая себя при этом бесчестными… Конечно, было бы сверхупрощением считать, что все формы национализма одинаковы… но*

существуют… основные черты националистического мышления…

В.: *Вы называете ими «одержимость», «нестабильность» и «безразличие к реальности»…*

О.: *Националист… готов твердить о превосходстве своей страны не только в военной мощи и политической добродетели, но и о превосходстве в искусстве, спорте, структуре языка, физической красоте… даже в климате… и кухне… Некоторые американцы выражают, например, неудовольствие комбинацией слов «англо-американцы»; они предлагают заменить это на «американо-британцы»… Националистическое мышление часто кажется окрашенным верой в добрую магию, верой, которая, возможно, возникла из широко распространенного обычая сжигать изображения политических противников или делать из их портретов мишени в тире.*

В.: *До сих пор сжигают, и до сих пор легко меняют предметы ненависти…*

О.: *Это «нестабильность»… Степень горячности, с которой обычно держатся за националистические привязанности, не мешает националистам менять свои пристрастия… Коммунист-фанатик, который в течение недель, а то и дней обращается в столь же фанатичного троцкиста, – самое обычное явление… Когда читаешь раболепную или просто хвастливую чепуху, которая пишется о Сталине, Красной армии и т.д.… то понимаешь: такое возможно только потому, что имеет место своего рода умственный вывих. В обществе вроде нашего не принято для любого, кто считается интеллигентом, чувствовать привязанность к собственной стране… У него остается потребность в Отечестве, и, естественно, он начинает искать его где-то за рубежом. А найдя таковое… может без удержу погружаться в те же самые чувства, от которых, как ему кажется, он избавился.*

В.: *И реальная «реальность» при этом не значит ничего?*

О.: *Безразличие к реальности… Все националисты умеют не видеть сходства между аналогичными фактами. Британский тори будет защищать идею самоопределения в Европе и одновременно выступать против нее в Индии… Любое действие будет расцениваться им как хорошее или плохое не по*

действительному достоинству, а в зависимости от того, кто его осуществляет…

В.: *Ныне это называется «двойными стандартами». И человека, и государства.*

О.: *Целых шесть лет английские обожатели Гитлера предпочитали не знать о существовании Дахау и Бухенвальда. А те, кто громче всех поносил немецкие концлагеря, часто были в абсолютном неведении… что концлагеря есть и в России. Огромные по масштабам события, вроде голода на Украине в 1933 году… фактически прошли мимо внимания большинства английских русофилов. Многие англичане почти ничего не слышали об уничтожении немецких и польских евреев во время войны. Их собственный антисемитизм привел к тому, что сообщения об этом страшном преступлении не могли проникнуть в их сознание. В националистическом мышлении существуют факты, которые одновременно являются правдивыми и неправдимыми, известными и неизвестными… Каждого националиста неотступно преследует убеждение, что прошлое можно менять. Он подолгу живет в некоем фантастическом мире… и… если ему представится такая возможность, обязательно перенесет часть своих мечтаний в исторические книги…*

В.: *Кстати, Карл Юнг как раз в мае 1945 года, говоря о нацизме, сказал о феномене «двойного сознания» уже целой нации, сказал про немцев почти вашими словами: что они всегда как бы знали и одновременно как бы не знали про Бухенвальд и свои зверства. А нынешний ужас заключается в том, что все мировые СМИ как по команде (а иногда и по команде) или замалчивают, или выпячивают те или иные события, выгодные именно тем «командирам»…*

О.: *Основная цель пропаганды – это, конечно, воздействие на общественное мнение, но те, кто переписывает историю, возможно, и в самом деле верят, хотя бы частичкой своего сознания, что им удастся задним числом вставить в прошлое нужные факты… В 1927 году Чан Кайши заживо сварил сотни коммунистов, и тем не менее через десять лет он стал одним из героев именно среди левых. Перегруппировка на международной арене привела его в антифашистский лагерь, а раз так, значит, и сваренные коммунисты «не считаются»…*

В.: *Вы, конечно, широко понимаете «национализм», но благодаря этому становятся понятны парадоксальные*

лозунги вашего последнего романа: «Война – это мир», «Свобода – это рабство». Ваш друг Ричард Рис недаром подчеркнул потом, что национализм – «нечто вроде раковой опухоли властолюбия», которая быстро разрастается. Но вы пошли дальше. В статье «Политика и английский язык» вы показали, как конкретно «промывают мозги» человеку журналисты, пропагандисты, писатели и всякого рода политологи. Венцом этих размышлений стала, может, последняя «составляющая» вашего будущего романа – «новояз», язык будущего мира…

О.: *Ясная мысль – первый шаг к политическому обновлению, так что борьба с плохим языком – не каприз… Автор либо имеет что-то сказать и не может это выразить, либо случайно говорит что-то другое, либо почти безразличен к тому, есть ли в его словах смысл или нет… <Но> как только <они> касаются определенных тем, конкретное растворяется в абстрактном и сами собой на язык просятся затасканные обороты речи… Чтобы облагородить некрасивые процессы мировой политики, их обвешивают словами вроде «судьбоносный», «исторический», «триумфальный», «основополагающий»… а прославление войны… – «железный кулак», «неприступная твердыня»… <или, допустим> «ратный подвиг». Есть и марксистский жаргон: «гиена»… «лакей», «приспешник», «бешеный пес»… Используя затасканные метафоры, ты избавляешь себя от умственных усилий, но ценой того, что смысл становится туманным… Можно не сомневаться, что пишущий не видит мысленно предметов, о которых ведет речь; другими словами, не думает.*

В.: *Полбеды, если не думает. Хуже, когда вставляет такие «блоки» обдуманно… Эндрю Марр в статье, написанной к 50-летию вашего эссе «Политика и английский язык», утверждает, что вы доказали: «Язык развращает мысль, и реформирование языка есть реформирование политики…» А вы ведь предупреждали: «Прежде чем такой язык разложит политику, он уничтожит мораль…»*

О.: *В наше время политическая речь и письмо в большой своей части – оправдание того, чему нет оправдания… Беззащитные деревни бомбят… дома сжигают: это называется миротворчеством. Крестьян миллионами сгоняют с земли… это называется*

перемещением населения или уточнением границ. Людей без суда годами держат в тюрьме, убивают пулей в затылок или отправляют умирать… в лагерях: это называется устранением ненадежных элементов.

В.: *Я мог бы привести примеры из современного русского: «административный ресурс», что на деле означает использование служебного положения в личных целях, «диктатура закона», что чаще всего подразумевает диктатуру бюрократии, а еще – «вертикаль власти», «черный пиар», «политтехнологии»…*

О.: *Вообразим… благополучного английского профессора, защищающего русский тоталитаризм. Он не может сказать прямо: «Я считаю, что оппонентов надо убивать, когда это приводит к хорошим результатам». Он скажет что-нибудь в таком роде: «Безусловно, признавая, что советский режим демонстрирует определенные черты, которые гуманист, возможно, будет склонен счесть предосудительными, мы должны, я полагаю, согласиться, что определенное ограничение права на оппозицию является неизбежным компонентом переходных периодов…» В наш век… сама политика – это масса лжи, уверток, безрассудств, ненависти и шизофрении… Политический язык… предназначен, чтобы ложь выглядела правдой, убийство – достойным делом, а пустословие звучало солидно.*

В.: *Вашу статью «Политика и английский язык» сегодня усердно изучают в школах журналистики. Но это не мешает выпускникам заниматься прямо противоположным. И есть ли выход, противоядие против оболванивания общества, против «птичьего языка» интернета? Ведь скоро всё будет сплошным «вау!». И вопросом, и ответом – «вау!»… Эдакий лай собачий, а не разговор…*

О.: *Выход требует моральных усилий… Одна из целей тоталитаризма – это не просто заставить людей мыслить «правильно», но реально сделать их менее мыслящими… В результате выработалось… перевернутое мышление… Но… люди должны жить наперекор порядку вещей… И это, повторю, требует моральных усилий.*

3.

Кёстлер накануне того рождественского вечера «призывал,

почти подначивал овдовевшего Оруэлла жениться на сестре-близнеце его жены – на Селии Кирван». Так пишет Майкл Шелден. И Кёстлер же, словно записной сводник, скоро будет «интриговать» Оруэлла и Соней Браунелл.

Селия, «очаровательная, живая и сердечная девушка», вращавшаяся, как и Оруэлл, в левых интеллектуальных кругах Лондона, действительно понравилась ему в те два рождественских вечера. Уж не знаю, демонстрировал ли он в ее присутствии все одиннадцать правил заварки чая, но через три года и он, и Селия «заварят» нечто такое, что и поныне расхлебывает мир… История спорная, рассказ об этом впереди, а пока он лишь изо всех сил хотел понравиться ей. Впрочем, как заметит Вудкок, даже внимание к «слабому полу» было у него особым. «Он, конечно, интересовался женщинами, – подчеркнет Вудкок, – но никогда не упоминается того факта, что, встретив необычайно красивую девушку, он, единственный среди знакомых мне мужчин, давал ей почувствовать, что она всего лишь женщина…» Другими словами, видел в красавицах «человеков» и относился к ним как к равным…

Оруэлл призна́ется позже, что Селия настолько понравилась ему, что даже мимолетное прикосновение к ней пронзало его «электротоком». А он? Чем он, человек в пиджаке, вечно сидящем колом, из которого жалко торчала его длинная шея, чем мог привлечь ее он?.. Через месяц он пошлет ей «страстное, полное нежных чувств письмо с неуклюжим предложением: либо роман, либо брак». Напишет: «Спокойной ночи, дорогая моя любовь». А Селия в письме, которое он назовет «весьма неоднозначным», мягко откажет ему во всем, а его острову, куда он тоже пригласит ее, предпочтет Париж.

Эх, эх… Он был, конечно, состоятельным и известным женихом, но в реальности, как утверждают иные биографы, даже не пытался «выгодно продать себя». Ну кто согласится на брак с человеком, который заранее звал молоденьких женщин стать… «его вдовами»? Именно так позвал замуж Энн Попхем, соседку по лондонскому дому. «У меня, – написал ей, – болезнь под названием бронхоэктаз, которая склонна развиться в пневмонию, а кроме того, “непрогрессирующее” туберкулезное поражение одного легкого, и в прошлом врачи полагали, что я вот-вот умру… Вот я и хотел бы спросить, согласилась бы ты стать вдовой пишущего человека. Если дела будут идти, как сейчас… ты будешь получать гонорары и найдешь вполне интересным редактирование неизданных вещей… Если же я проживу еще лет десять и, надеюсь, напишу еще три стоящие книги, кроме той, что пока не окончена, то я хотел бы прожить их в мире и спокойствии

и чтобы кто-то хорошо относился ко мне». Ну разве прочтешь такое без слез?..

Ныне пишут, что после смерти Эйлин у него были любовницы. Но это и всё, что пишут… Несудоходно! Возможно, ими были Летиция Купер, писательница и подруга его покойной жены, которая обмолвится однажды: «Не думаю, чтобы Джордж был тем человеком, которому нравилось всегда быть женатым»; возможно, Айнез Холден, писательница и журналистка, которая приезжала к нему на остров и, проведя там несколько дней, «осталась в ужасе от этой авантюры, сказав, что он живет там ну просто как Робинзон»; а возможно, и некая Салли Мак-Уэн, которая посетит Юру позднее. Но вот кто точно не был на острове, так это Соня Браунелл – та самая «Венера Юстон-роуд», та, про которую «напомнил» ему, представьте, всё тот же Кёстлер.

«Однажды вечером в 1946 или 1947 году, – вспомнит он после смерти Оруэлла, – направляясь на ужин к Коннолли, я позвал и Джорджа, который выглядел уж слишком подавленным. Я спросил его: есть ли у него девушка? Он сказал, что нет, и тогда я заметил, что знаю кое-кого, кто ныне свободен и кто будет на ужине. Джордж явился к Коннолли и обнаружил там Соню…»

Странная вообще-то запись. Оруэлл знал Соню чуть ли не с довоенных времен, когда забегал в только что учрежденный журнал *Horizon* Сирила Коннолли, где Соня, юная блондинка с розовато-белой кожей – абсолютно ренуаровская модель! – дипломированная секретарша-машинистка, уже тогда вертелась рядом в «стайке молодых красивых девушек», которые вечно окружали любвеобильного Сирила. Появилась она вроде бы после того, как это «эпатажное» издание напечатало заметку о «Группе Юстон-роуд» – объединении модных лондонских художников-авангардистов, названном по улице, где сия «богема для бедных» учредила «школу реализма и натурализма», где устраивала выставки свои и где двадцатилетняя еще Соня «выступала» и моделью для живописцев, и любовницей многих из них. В журнале – так пишет, во всяком случае, К.Хитченс – ее, «Венеру Юстон-роуд», за выдающуюся часть тела даже прозвали «Браунелл-задница»…

Суровая правда – но ведь правда! Даже ныне, спустя десятилетия после смерти Сони, когда, казалось бы, все акценты расставлены, сама она, по словам *Guardian* в статье Дж.Льюса от 2002 года, «всё еще вызывает сумасшедшие разногласия среди летописцев “Святого Джорджа”» и они «редко бывают добры» к ней.

Кем же была Соня Мария Браунелл, последнюю половину жизни бывшая по паспорту «Соней Блэр», но подписывавшаяся

чаще всего как «Соня Оруэлл»? Женщина «потрясающей смеси благородства и эгоизма, добросердечия и злобности, уверенности в себе и сомнения в собственных силах»? Та, которая согласилась стать «вдовой писателя»?

Она, как и Оруэлл, родилась в Индии, но спустя пятнадцать лет, в 1918-м. Отец, Чарльз Браунелл, служащий колонии, умер от сердечного приступа через несколько месяцев, а мать, Беатрис, через три года выйдет замуж вновь, но уже за бухгалтера Эдгара Диксона, к сожалению, конченого алкоголика. Через семь лет семья вернется в Англию, а с 1931 года Беатрис будет воспитывать детей уже одна.

Соня родилась в римско-католической вере и до семнадцати лет получала образование в монастыре в Рохемптоне, а затем была отправлена в Швейцарию, где, как пишет, совершенствовала французский. Монашек, пишут, так возненавидела, что уже взрослой, встретив их на улице, натурально плевалась им вслед. И если католическое воспитание привило ей привычку служить другим, то оно же, как утверждают, усугубило в ней «чувства безотчетной вины и неполноценности».

Не знаю уж, как насчет неполноценности, но монашкой не была точно. «Восхитительная», «блестящая», как назовет ее Ричард Рис, «умная и деловая» и вообще «своеобразная», Соня, закончив курсы секретарш, была приглашена работать к профессору Ю.Винаверу, который готовил к печати как раз недавно, в 1934-м, обнаруженную очередную рукопись великой книги Томаса Мэлори «*Смерть Артура*». Винавер был в три раза старше Сони, но это не помешало ему сделать Соню своей любовницей. Вряд ли, думаю, это встретило возражение с ее стороны, ибо после Винавера она, как утверждают злые языки, «прыгала из постели в постель» очередных любовников, и не столько «из-за любви к сексу», сколько из преклонения перед литературой, а потом и живописью.

В конце 1930-х Соня сняла квартиру на Перси-стрит, 18, где проживет почти тридцать лет, но где практически рядом окажется довольно известный в то время паб, в котором собирались британские поэты-сюрреалисты Дилан Томас, Хэмфри Дженнингс, Дэвид Гаскойн и даже знакомый нам уже Райнер Хеппенстолл. Пивнушка не была, конечно, подходящим местом для двадцатилетней девушки, пишет в статье о Соне Дэвид Гадди, но она буквально пропадала в ней. А потом возникли художники-авангардисты, и она, как пишут, «пустилась во все тяжкие». В «Группу Юстон-роуд» входили Уильям Голдстрим, Виктор Пасмор, Клод Роджерс, Морис Поле и многие другие, и все они ставили целью сделать живопись, да и вообще искусство, более

понятным народу. Выставлялись сначала на Бромптон-роуд, а затем дружно перехали в дом 316 на Юстон-роуд. Там Соня, став моделью, и обрела имя «Венеры». С Голдстримом, нарисовавшим ее портрет, они на два года стали любовниками. Была у нее интрижка и с Виктором Пасмором, другим основателем группы, – он на какое-то время даже переберется жить к ней, – а также с поэтом и художником Эдрианом Стоуксом. Пишут, что отдавалась Соня только тем, кто «был истинно талантлив», а таких тогда «трудно было даже пересчитать»…

Именно Голдстрим в 1939-м, когда Сирил Коннолли и Стивен Спендер основали *Horizon*, познакомил ее с редакцией. Через год ее вроде бы (так неуверенно пишут биографы) возьмут в журнал секретарем-машинисткой. Оруэлл, напечатавший в нем немало статей, конечно же, знал Соню. Сама она скажет потом, что помнила его с 1941 года, даже видела как-то его жену. Но в разговоре с Кёстлером накануне того ужина Оруэлл о знакомстве с Соней почему-то промолчит. Уж не потому ли, что где-то между осенью 1945 года и встречей у Коннолли у него с Соней случилась не просто быстротечная интрижка – но быстротечная близость?

К тому времени, когда после войны «открылся Париж», Соня съездила во Францию («дала волю своей франкофилии»), где, как и в Лондоне, не только вновь оказалась в центре «литературной и художественной жизни» и познакомилась, вообразите, с Сартром и Симоной де Бовуар, но где встретила свою самую большую любовь («любовь всей жизни») – входящего в моду философа Мориса Мерло-Понти, который именно в 1945-м выпустил свою «Феноменологию восприятия». Правда, покинула Париж «в шоке»: «ее Морис» так и не решился оставить ради нее жену… Вот при таких примерно «обстоятельствах» она, ставшая уже не просто секретаршей – главной помощницей Коннолли в журнале, и сошлась с Оруэллом.

Его привлекли «красота, и эстетическое чутье», и «жесткая, – как пишут, – откровенность», с которой она лихо отзывалась о писателях. А вот он не произвел на нее впечатления; она, склонная ко всему французскому, сочла его типичным англичанином. А когда все-таки легко провела с ним ночь, то, как пишет Шелден, «с присущей ей откровенностью рассказала подруге, что очередной любовник ее оказался очень неловким, но и нетребовательным. Он всё сделал быстро и механически, – сказала, – не проявив особо нежных чувств, без предварительных ласк и заигрывания. “Кажется, он был удовлетворен. Но вряд ли почувствовал, что я не получила никакого удовольствия”…».

Бедный, бедный Эрик… Соню потом, уже в наше время,

сравнят с Джулией, героиней его последнего романа. Она, как и Джулия, была моложе, занималась тем же, что и Соня (литература, правка, возня с рукописями), «ненавидела политику», а главное, «творила» секс не «ради производства детей», а из любви к «процессу». В романе Джулия признаётся Уинстону после первой близости: «Я как раз то, что тебе надо. Я порочна до мозга костей». Он же, радостно узнав, что у нее были десятки, сотни любовников до него, прямо спрашивает ее о сексе: «А тебе нравится это?.. Вообще делать это?» И она восторженно прошепчет: «Я обожаю делать это»…

«Женщины! В какой прах они обращают все порывы наших гордых умов!» – писал Оруэлл в романе «Да здравствует фикус!» в 1936-м, в пору счастливой любви к Эйлин. Теперь, забыв о собственной гордости, что для него было невыносимо, больной и уставший от жизни, он униженно писал ветреной Соне, что «понимает»: он не подходит для нее, «для такой молодой и симпатичной…». «Это лишь отчаяние, которое я ощущаю, – объяснялся с ней в письмах. – У меня нет… женщины, которая проявляла бы интерес ко мне и могла бы помогать мне… Конечно, абсурдно думать человеку вроде меня о желании заниматься любовью с кем-либо твоего возраста. Но я действительно этого хочу, хотя… и не обиделся бы и мне не было бы больно, если ты просто скажешь “нет”…» И, как и другим, предложил ей стать в конце концов «его вдовой»…

Кто-то очень верно сказал: «Писателю должно повезти не с женой, а со вдовой!..» В том смысле, что лишь хорошие писательские жены, потеряв мужей, кладут оставшуюся жизнь на алтарь последующей славы супруга. Соня вдовой Оруэлла станет и, хотя в ночь его смерти уйдет веселиться в ресторан с новым любовником, молоденьким студентом-живописцем Люсьеном Фрейдом (внуком, кстати, знаменитого психолога), – станет такой вдовой, которая будет отстаивать интересы мужа едва ли не образцово.

Впрочем, если знать про один эпизод из ее биографии – про то, как тонула она в семнадцать лет, – то в желании приходить на выручку находящимся рядом с ней людям ей и в дальнейшем не откажешь. Она, спасая друзей, не просто выжила – окрепла!.. А Оруэлл, с кем случится злоключение «на воде» даже похлеще, напротив, от него и погибнет. Именно это кораблекрушение станет прологом последней катастрофы Оруэлла – той, которая разразится в университетской клинике в ночь на 21 января 1950 года, когда сердце писателя захлебнется кровью…

4.

К концу 1947 года черновик романа «Последний человек в Европе» был готов. Соня на остров к писателю так и не приехала – поднесла ему в дорогу бутылку отличного коньяка, за который он, спохватившись позже, хотел даже расплатиться. Зато приезжали другие – Пол Поттс и Ричард Рис, давние друзья его, которых он, стоя у дома в непромокаемом плаще и с неизменной самокруткой, встречал радушно, но по-мужски сдержанно. «Одиноким призраком в тумане» на этой окраине мира выглядела его тощая длинная фигура с «мертвенно-бледным лицом».

Переселился он на остров в мае 1946 года, после пристрелочной поездки. Переехал до ноября, решив на зиму все-таки вернуться в Лондон. А первыми, вслед за ним, на Юру перебрались уже знакомая нам Сьюзан Уотсон, нянька и домработница, с его двухлетним сыном Ричардом, и младшая сестра Оруэлла Эврил. Возможно, о приезде Эврил как помощницы его он договорился накануне, когда в том же мае они похоронили старшую сестру, Марджори, – та в сорок восемь лет скончалась от почечной болезни, оставив троих детей. Они, племянники, навестят его на острове, и как раз с ними он и угодит в ту катастрофу, которая станет фатальной для него. А Эврил – Эв, как звал он ее, – согласилась приехать к нему даже с радостью: она всегда тихо и преданно любила брата…

В последние военные годы Эврил, старая дева, работала в какой-то столовой, заботясь о матери, пока та была жива, и помогая, чем могла, брату. Была женщиной без претензий: некрасивая, суровая, неразговорчивая, очень земная и очень трудолюбивая. Образования не получила – все деньги семьи, как помните, были брошены на Эрика. Сам Оруэлл нигде не пишет о ней – ни в письмах, ни в дневниках, – но, судя по косвенным признакам, кажется, всю жизнь чувствовал себя рядом с ней немного виноватым. Какой-то свет на их отношения пролил роман «Да здравствует фикус!», в котором Гордон, непризнанный поэт, бунтуя против золотого тельца, тем не менее не стеснялся занимать деньги у младшей незамужней сестры – и всякий раз «забывал» отдавать долги. В романе сестру Гордона Оруэлл назвал Джулией, как назовет и героиню романа «1984», и написал про «жалкое жилище» ее, нищую обстановку комнаты, «собранную по вещичке», про «обитое вощеным ситцем» единственное кресло, купленное в рассрочку, про рамочки с фотографиями родителей и брата и, главное, – про «сгорбленную, длинную спину сестры», когда она, опустив уже седеющую голову («Как много седины! – ахнул про себя Гордон. – Целыми прядками»), лезла в комод, где под стопкой постельного белья хранился «потертый черный кошелечек». Она, по роману, не только безропотно давала ему с

трудом заработанные деньги, но всякий раз на «по грошику» собранные деньги дарила брату к Рождеству или на день рождения то приятный пустячок, а то и томик избранных стихов Джона Дринкуотера в дорогом сафьяне, который Гордон почти сразу толкнул «за полкроны»…

Вот и Эврил, пустившись вслед за Оруэллом на Юру (это Ричард Рис назовет потом подвигом), столь же молча и незаметно станет помогать ему, взяв на себя все обязанности по дому. При ее поддержке росли и стопка рукописи романа брата, и его сын Ричард, вертевшийся у того же единственного рабочего стола.

«Отец не справился бы без Эврил, – вспомнит потом сын. – Она была очень практична. Но нигде не упоминается, насколько важную роль она сыграла». Да, она обходилась без «телячьих нежностей» – так были воспитаны оба. Порой раздражала брата «сверхзаботой», но если учесть, что в послевоенной Англии всё еще сохранялось нормирование продуктов, что покупка их в двадцати трех милях от Барнхилла шла еще «в известной борьбе», то Эврил оказалась на острове более чем кстати. «У нас никогда не было недостатка в еде, – напишет Ричард. – А кроме того, она оказалась и хорошей поварихой: ничего изысканного, зато всё полезное…»

Стоический характер Эврил и не мог, кажется, не привести к конфликтам. Довольно скоро – уже через два месяца! – отношения Эврил и молоденькой Сьюзан превратились в постоянную угрюмую ссору. «Щекотать пятки» сыну Оруэлла при пробуждении его могла и Эврил, а вот «впрягаться тягловой лошадью» в заботы по дому, где всё надо было начинать с нуля, хроменькая Сьюзан, разумеется, не могла. Кроме того, на остров почти сразу приехал ее «бойфренд», молодой балбес Дэвид Холбрук. Этот клялся Оруэллу, что чуть ли не со школы был большим поклонником его творчества, но у обоих мнения друг о друге «сильно разошлись». Возможно, как пишут, из-за членства Холбрука в компартии. Словом, с Холбруком и Сьюзан пришлось расстаться.

Почти так же пришлось расстаться и с давним знакомым писателя поэтом Полом Поттсом, первым навестившим Оруэлла. Биографы настаивают, что тот якобы был замечен в растапливании камина какими-то рукописями Оруэлла.

Суровая жизнь на острове четко оценивала его приятелей и даже родственников. И если, скажем, аристократ Ричард Рис, с трудом преодолев восемь миль до Барнхилла, явился нагруженный под завязку продуктами и прочими необходимыми вещами, то бывший испанский командир Оруэлла, а теперь бизнесмен и, как помним, почти родственник писателя Жорж

Копп еще в Лондоне продаст другу-писателю старый грузовик, который, как выяснится, окажется не «на ходу». Пароход доставит машину в Ардлуссу, но та так и останется ржаветь и разваливаться у пристани аж до 1976 года. А Оруэлл, пока был относительно здоров, проклиная бездорожье, мотался по острову на каком-то раздолбанном мотоцикле, который, видимо, приобрел по случаю.

Конечно, он охотился на зайцев, ловил с сыном макрель и лосося, косил агрессивный камыш, расширяя дорожки, таскал на горбу тяжеленные фляги с молоком, ремонтировал заборы, делал даже игрушки для сына – вырезал их из дерева, – но, если не считать рукописи, каждую свободную минуту отдавал земле и живности. Творил жизнь. Устроил тот цветник на приглянувшейся полянке, о котором писал Соне, посадил яблони за домом (живы до сих пор), разбил с Эврил огород и завел-таки кур и гусей. «Ему казалось, – напишет потом Рис, – что он наконец пускает на острове корни. Но было видно, – криво усмехнется, – что избрал он для этого слишком каменистую почву».

Сын Оруэлла, светловолосый карапуз, запомнит про жизнь на острове всего три-четыре эпизода. Как однажды отец вырезáл для него очередную игрушку, а он, взгромоздившись на стул, свалился с него и, падая, сшиб какой-то большой китайский кувшин. «В результате на лбу у меня образовалась внушительная рана, было много крови, соплей, и пришлось вызывать врача, который жил в тридцати милях от нас». Вторым случаем, врезавшимся Ричарду в память, была замена в саду отцом каких-то старых труб, когда тот попросил сына прикурить ему сигарету. Трехлетний Ричард запомнит, что он позеленел от дыма, чуть не упал от головокружения и никогда не повторял этого опыта вплоть до перехода в старшие классы. А третьим случаем было несчастье с Эврил, когда та, перепрыгивая штакетник у дома, упала и вывихнула руку. Рис, оказавшийся свидетелем беды, запомнил, как Оруэлл, ворвавшись в дом, крикнул ему: «“Вам ведь доводилось оказывать первую помощь, да? Эврил вывернула руку… Ведь надо, кажется, только резко дернуть ее?” Мера эта, – припомнит Рис, – не помогла, и нам пришлось отправиться морем на главный остров, где через двенадцать часов после происшествия рука была наконец вправлена». Ну, а четвертый эпизод и не мог не врезаться в память сыну Оруэлла – эта была та самая катастрофа в заливе Корриврекан, когда все они чуть не погибли…

Жизнь на холодном, штормовом острове была трудна – но проста, даже примитивна. «Здесь всё делается самым

элементарным способом, – напишет Оруэлл Вудкоку. – И косим, и вяжем пучки вручную… Сено из-за дождливой погоды нельзя оставлять в поле… Не всегда дозревает кукуруза, и рогатому скоту дают ее пучками. Арендаторы здесь работают очень тяжко, но во многом они более независимы, чем рабочие в городах, а вообще могли бы жить вполне комфортно, если бы у них были машины, электричество и нормальные дороги… Рано или поздно, я полагаю, эти острова возьмут в оборот, и тогда они либо превратятся в первоклассные области для производства молочных продуктов и мяса, либо окажут поддержку большим поселениям крестьян, которые будут жить за счет скота и рыболовства».

Пророчество насчет будущих «первоклассных областей» так, кажется, и не воплотится. В этом убедятся и Томас Пинчон, посетивший Юру в 2003-м от *Guardian*, в год столетия писателя, и наш корреспондент в Англии Михаил Озеров, побывавший в Барнхилле накануне, в 2002-м, и тогда же опубликовавший в «Литгазете» очерк «Загадка острова Юра». Всё окажется в еще большом запустении: дом заколоченный, калитка, как и когда-то, на честном слове, а тропинки опять исчезнут под камышом и травой. И ни музея, конечно, ни даже таблички на доме. Только криво стоящий портрет Оруэлла на каминной полке, который кто-то заметит, подпрыгивая у мутного окна…

Лишь однажды дела на Юре пойдут в гору. Всё встрепенется в глухой гавани писателя, когда в доме возникнет одноногий солдат из Глазго Билл Данн, будущий муж Эврил. История его появления на острове полна «белых пятен»; какое-то отношение он, кажется, имел к шотландской родне Эйлин. Зато известно, что отставной армейский офицер Билл Данн был хотя и из уважаемой семьи, но человеком простым и привычным к тяжелому труду, что ногу ниже колена потерял на фронте в 1944-м, подорвавшись в Сицилии на мине, и что в Барнхилле он как-то незаметно прижился и стал почти своим. Сын Оруэлла напишет, что Билл какое-то время учился в университете, но бросил это занятие и довольно скоро стал на Юре «партнером» писателя «по сельскому хозяйству». Трудно поверить, но благодаря Данну, который быстро научился управляться с протезом, в пристройках Барнхилла чуть ли не за полгода возникла самая настоящая и чуть ли не преуспевающая ферма. «Правда, почти всё делалось вручную, – напишет Ричард, – никакой техники не было, кроме плуга, в который впрягали лошадь, и самых необходимых сельскохозяйственных инструментов. Только к концу жизни на острове мы купили двухколесный ручной трактор, который, конечно, сильно помог. И хоть погода была в вечном сговоре против вас, хоть заготовка сена и уборка урожая того же овса

всегда требовали толики удачи, Билл и Эв не покладая рук изо всех сил старались сделать ферму прибыльной». Шутка ли, но уже скоро у них было полсотни овец, десяток голов крупного рогатого скота, куры, конечно, и утки, и даже жирная свинья, которую Билл бестрепетно зарежет потом. «У меня свиней никогда не было, – напишет Астору Оруэлл, – и я не сожалею, что больше и не будет. Это крайне раздражающие разрушительные животные, их трудно обуздать, они слишком хитры…»

Билл появился на острове после апреля 1947 года, после того как зиму, оказавшуюся чересчур жестокой, Оруэлл провел в Лондоне. Но раньше Билла в жизни писателя, как раз зимой 1946–1947 года, появился еще один незнакомец, некто Джек Харрисон.

В Лондоне, несмотря на морозы и смог, Оруэлл вновь оказался завален работой: статьи, рецензии, звонки, визиты в редакции, обязательные и необязательные встречи – он, оказывается, был нужен всем. «Все просто набрасываются на меня, – жаловался Кёстлеру. – Каждый хочет, чтобы я читал лекции, писал заказные брошюры, участвовал в том и в этом. Ты не представляешь, как я хочу быть свободным от всего этого и снова иметь время, чтобы думать…» Тоже «акцент» его биографии! Но больше всего его донимали теперь налоги – издания и срочные переиздания «Скотного двора» грозили большими налоговыми сборами. Вот тогда и появился в его жизни гибкий и оборотистый мистер Харрисон, указанный ему Соней, которая сталкивалась с ним по работе, официально – старший партнер одной из адвокатских фирм. Джек Харрисон («Зовите меня просто Джек») и посоветовал ему учредить компанию, которая владела бы его авторскими правами, получала бы его гонорары и уже по «договору о предоставлении услуг» выдавала бы ему их «как зарплату». Такая компания, «*George Orwell Productions Ltd.*» (*GOP Ltd.*), будет зарегистрирована 12 сентября 1947 года, когда сам Оруэлл вновь будет на Юре. А ловкий Джек от этого «прибыльного дела» уже не отлипнет. Он станет финансовым распорядителем наследства писателя, будет вместе с Соней заботиться о малолетнем сыне Оруэлла, оплачивать образование его и всё такое, но в конце концов обманет и Соню. Современник Оруэлла, левый поэт Сесил Дэй-Льюис, горько напишет потом, что, несмотря на обвинения Сони якобы в корыстном замужестве, в «золотоискательстве», ее «положение литературной душеприказчицы Оруэлла окажется горькой чашей: безразличная к деньгам и безнадежно неделовая, она, хоть доля литературной вдовы и без того обременительна, всё время искала себе еще более трудные обязательства. И

заметьте, – пишет Дэй-Льюис, – несмотря на огромные продажи книг Оруэлла, некоторый доход от них проходил мимо нее». Соня, как я уже говорил, умрет «без копейки в кармане», а оборотистый Харрисон за год до ее смерти почему-то будет обладать уже 75 % всех акций учрежденной когда-то компании.

Ничего этого Оруэлл не узна́ет: он с головой был занят только новым романом – страшным будущим человечества. Какие там фунты и кроны: он, как когда-то в ресторане, не гонорар прогуливал – шел, как говорится, ва-банк!..

10 апреля 1947 года, «собрав осколки вдребезги разбитой жизни», по словам Роберта Макгрума, прихватив кучу необходимого, но почти походного скарба, схватив в охапку едва трехлетнего сына, он в третий и последний раз отправился в ссылку на свой дикий, холодный и одинокий остров – к маралам, змеям, нерпам, к весенним ветрам и штормам, к коптящему камину и неверному свету парафиновых ламп, к такому необходимому ему уединению – и к неоконченной рукописи, роману, на титульной странице которого уже было выведено: «Последний человек в Европе». Он твердо решил закончить его во что бы то ни стало и, хоть и понимал, что с его легкими это будет самоубийственно, готов был даже зимовать здесь, на краю земли. Так и случится. Да еще та катастрофа, та ледяная вода, в которой он окажется, спасая детей, и про которую повзрослевший потом сын его, уже сказавший, что у него было «счастливое детство», именно в этом месте единственный, кажется, раз ругнется: «Ледяная, – скажет, – блядски холодная была вода»…

* * *

Комментарий: Война идей и людей

Ты – и атомная бомба, атомная бомба – и ты! Вот что висело над ним. В самой Америке, «придумавшей» и уже применившей это сверхоружие, царила победная эйфория: теперь мир ляжет у наших ног, под нас ляжет, теперь мы – «главные».

Строго говоря, эта мысль о первенстве Штатов в мире, о конфликте плюриверсума (многополярного мира) с универсумом (миром под властью одной сверхдержавы) возникла много раньше. Еще Вудро Вильсон, 28-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира, сказал как-то, что флаг Америки – это не флаг одной страны, а «флаг всего человечества». Но с предельной ясностью идею всемирного первенства сформулировал в 1945-м, после Хиросимы и Нагасаки, Гарри

Трумэн, сказав то, что, по сути, повторяют правители Америки чуть ли не доныне: победа во Второй мировой войне, провозгласил Трумэн, поставила американский народ «перед необходимостью править миром». Все остальные – это или «проблемные страны», или «государства-хулиганы» (*rogue states*)…

Оглядывая мир после Второй мировой, Оруэлл, разумеется, не знал, что говорилось за закрытыми дверями «высокой» политики. И вряд ли слышал про секретный американский «Центр Рассела», про тайные послания Трумэна Конгрессу, про двадцать городов России, которые как раз в сентябре 1945 года предполагалось снести с лица земли атомными ударами. И, конечно же, не читал пятитомника Энтони Саттона – тому тогда только-только исполнилось 20.

Первопричиной, я бы сказал, «спусковым крючком» послевоенного напряжения стал далекий 1929 год. Негласная встреча президента США Герберта Гувера с виднейшими на то время американскими предпринимателями из «Центра Рассела» – организации, как я уже сказал, непубличной. Именно тогда Гуверу было ультимативно заявлено, что ввиду приближающегося экономического кризиса спасти Америку может лишь «изменение расстановки сил в мире». Для этого высший «политбизнес» парадоксально предложил президенту «оказать помощь СССР», возродив его промышленность, и одновременно помочь Германии, чтобы она «избавилась из тисков Версальского мира». «Но на это нужны деньги, возможно, несколько миллиардов, – возразил Гувер. – Да и для чего?» – «Для того, чтобы потом столкнуть Россию и Германию лбами, чтобы, воспрянув после кризиса, США оказались один на один лишь с одним из оставшихся, с государством-победителем».

Именно об этом будет писать не «твердолобый советский пропагандист», а как раз Энтони Саттон, британский, а с 1962 года – американский экономист и историк. Он и докажет: США вместе с Англией провоцировали нападение Германии на СССР. Даже когда началась Вторая мировая, уже в 1940-м, советник английского премьера Черчилля Монтгомери Хайд передал Уильяму Донована, одному из руководителей спецслужб США, письмо своего шефа Рузвельту, тогда президенту Америки, в котором хозяин Даунинг-стрит просил нейтральные пока Штаты: «Не могли бы Вы побудить Гитлера оставить в покое Балканы и ускорить “мероприятия” в отношении России?» То есть еще в 1940-м напасть на СССР. А потом, логично, было и демонстративное «самоубийство» почти 5 тысяч своих же солдат под Дьеппом, а следом – в октябре 1942 года, когда дела на «советских фронтах» стали почти катастрофическими, – резкое и

немотивированное прекращение Англией и помощи СССР, и обещанных Сталину бомбардировок британцами Берлина[79].

После Сталинграда, улавливая настроение британцев, Черчилль расточал комплименты СССР. «Ни одно правительство, – заявлял, – не устояло бы перед такими страшными, жестокими ранами, которые нанёс Гитлер России. Но Советская Россия не только выстояла и оправилась от этих ран, но и нанесла германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире… Чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов… Кроме советских армий, не было силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской машине…»

Звонко, да?! Но честнее Черчилль был, когда, после общей победы над германским нацизмом, уговаривал американцев нанести ядерный удар по СССР. Честнее был, когда открыто заявил в своей речи в американском Фултоне о «железном занавесе» между «красным Востоком» и «белым Западом».

Впрочем, факты войны идей, про которые так и не узнал Оруэлл, были еще страшнее. Откуда ему было знать, что через четыре года, в 1949 году, американским планом войны с СССР «Дропшот» намечалось сбросить на сто городов СССР уже триста атомных бомб?.. Никто, не только он, не знал о так называемой «Длинной телеграмме», которую еще до марта 1946 года, до Фултоновской речи Черчилля, отправил из Москвы временный поверенный в делах США в СССР Джордж Кеннан. Эту «телеграмму» № 511 в 10 000 слов называют вообще-то «секретным докладом», и в ней Россия прямо обвинялась в агрессивных намерениях по отношению к США, в стремлении «разрушить наш традиционный образ жизни, ликвидировать международное влияние нашего государства с тем, чтобы обеспечить безопасность советской власти…». Кеннана, которого поныне называют «архитектором холодной войны», тут же, кстати, отозвали и повысили до главы отдела политического планирования Госдепа США. И кому было дело, что реально еще до «телеграммы» Кеннана, в конце 1945 года, руководству США был представлен «секретный рапорт» Сводного разведывательного комитета Америки, в котором как дважды два доказывалось, что СССР настолько ослаблен победой над Гитлером, что на новую «большую войну» он «будет неспособен по крайней мере в следующие 15 лет». Это, увы, было правдой. К этому времени США и Англия имели 167 авианесущих кораблей и 7700 палубных самолетов (у нас их вообще не было), в 2,3 раза

больше подводных лодок, в 9 раз – линкоров и больших крейсеров, в 19 раз – миноносцев, а также 4 воздушные армии стратегической авиации с дальностью полета 7300 км (наши летали до 2000 км). И при всем при этом это мы (беспомощные как раз на море) впрямую угрожали Америке, лежавшей от нас за два океана?..

По правде говоря, опасался Запад другого: влияния «красных» на умы соотечественников, выросшей в мире популярности СССР, даже того «исковерканного социализма», который был претворен в нем, – и реального перехода половины Европы в зону советского влияния. Не втискивались сюда слова Оруэлла о важности сохранения «англо-русской дружбы и сотрудничества». Ведь у Запада после поражения Германии действительно остался, как и задумывалось в 1929-м, всего один (и самый страшный) противник – Россия. Противник, не грозивший территориальным захватом Англии или США – дураков на Западе не было, – но грозящий влиянием на англичан и американцев перспективой – свят, свят! – восстаний и революций. Сегодня это не секрет. Но Оруэлл, сказавший, что 67 % правды лучше, чем 66 %, не знал о «тайной войне» против России и половины фактов. Только к концу сороковых он услышит, что и в среде интеллектуалов-соотечественников, в основном бывших пацифистов, прозвучат предложения «начать превентивную ядерную войну против против СССР». Об этом писал и Джон Миддлтон Мерри, его коллега по журналу *Adelphi*, и даже – непостижимо! – сам Бертран Рассел. Было, было и это! И Оруэлл возражал против этого. Но тогда, еще в 1947-м, нетрудно представить, как усмехались «посвященные», читая большой очерк Оруэлла «Англичане», где он почти простодушно писал: «Надо исходить из того, что Британия останется в добрых отношениях с Россией и континентальной Европой». И, отстаивая от «исковерканного социализма» СССР социализм истинный, бичуя сталинизм и авторитаризм, он со своим «Скотным двором» оказался вдруг как нельзя «ко двору» властолюбивым и, главное, особо ненавистным Оруэллу богатым «свиньям» Запада. Эта его позиция и была той «третьей стороной», которую он занимал всегда. Только вот в «борьбе миров» никому не было дела до его «субъективного» лепета, до его «демократического социализма», как он «сам понимал его»…

В СССР, как только слухи о «Скотном дворе» добрались до нас, на книгу шмякнули фиолетовую «шайбу» и заперли в спецхраны. «Шайбой» советские ученые-специалисты называли шестигранную печать на обложках книг, которые под страхом уголовного преследования запрещено было кому бы то ни было

выдавать и даже показывать. Допуск к ним имели единицы. А в папке, найденной в архивном фонде Иностранной комиссии Союза писателей СССР, заведенной в 1946 году, обнаружились четыре странички «Дела» под названием «Справка о книге Джорджа Оруэлла “Ферма зверей”». Там был пересказ английской рецензии на сказку, была короткая «Справка об Оруэлле» и был некий отголосок «тихого скандала», который разразился в писательских кругах буквально через год, в 1947 году. Поводом стало всего лишь упоминание Оруэлла во вполне «правоверной» и даже воинствующей статье Норы Галь «Растленная литература». В заметке Н.Галь – литературоведа и переводчицы Элеоноры Яковлевны Гальпериной – рецензировался – о, ужас! – сборник статей Оруэлла «Диккенс, Дали и другие», изданный в Англии в 1946-м. Но как рецензировался? «Читая детальный оруэлловский анализ, – пишет Н.Галь, – испытываешь чувство безмерного омерзения и наконец приходишь в отчаяние. Хорошо, пусть всё это так. Но это же не литература, зачем заниматься этим?! Однако вся эта отрава издается громадными тиражами, читается, обсуждается оруэллами, действуя на сознание тысяч и тысяч английских читателей, – это воспитание умов!.. Она – вещественное доказательство маразма и растления… Но факт существования искусства, которое смердит, – факт многозначительный, и знать о нем следует…»

То есть, по «логике» Н.Галь, как раз *не* следует. Разумеется, мы давно отвыкли от подобного «стилёчка», но по времени и обстоятельствам всё соответствовало духу только что принятого ждановского постановления об Ахматовой и Зощенко. Так в чем же «криминал», из-за чего грянул скандал? А в том, что об Оруэлле не только не следует знать ничего, но преступно упоминать само имя его. Он – «не лицо», как исчезающие в его будущем романе «1984» люди. И секретарю правления Союза писателей Льву Субоцкому летит записка другого секретаря правления, Константина Симонова: «Дорогой Лев Матвеевич! Посылаю Вам копию справки, которую мне прислал Аплетин в связи с опубликованием статьи Норы Галь в “Литературной газете”. Как Вы считаете, нет ли смысла поставить этот вопрос на Секретариате?..» М.Я.Аплетин, возглавлявший Иностранную комиссию, только что написал Симонову, что статья Н.Галь является «серьезной политической ошибкой…».

Чем закончилась история – об этом «папка Оруэлла» умалчивает. Ясно одно: все шлагбаумы перед Оруэллом в СССР были окончательно опущены. Не вникая в смысл «сказки», объявившей в конце, что «властительные» свиньи сами превращаются в человекоподобных угнетателей, а те, по сути

ненавистные «буржуины», в свою очередь, – натурально в «свиней», советские «пропагандисты», прямо по пословице «На воре и шапка горит», однозначно приняли смысл сатиры на свой и только на свой счет. А сторонники холодной войны на Западе ровно так же, не уяснив амбивалентного, как сказали бы ныне, двойного замысла писателя, кинулись даже подправлять «подозрительный», чем-то неясным тревоживший их финал сказки. Именно так поступит ЦРУ, когда в целях исключительно «пропаганды» на Восток приобретет права на экранизацию и «Скотного двора», и, позднее, романа «1984». Об этом пишет в 2000 году в статье «Св. Оруэлла покров» Джеффри Уикфорт. «Оруэлл, – издевательски подчеркнет он, – стал посмертно чем-то вроде интеллектуальной баллистической ракеты в объявленной холодной войне». На деньги ЦРУ и британской разведки, пишет Уикфорт, был создан «политически искаженный» вариант мультфильма «Скотный двор» для широкого показа его в «отсталых» районах Британского Содружества наций. На деньги ЦРУ в пропагандистском отделе американской военной администрации в Западной Германии в 1949 году будет создан радиосценарий по сказке, который передавался на немецком языке. А в брошюре «Извращение Оруэлла: ЦРУ и съемки фильма “Скотный двор”», изданной уж совсем недавно, в 2007-м, другой оруэлловед, Дэниэль Лиаб, уже обстоятельно докажет: и как ЦРУ участвовало в создании анимационной версии «сказки», и как финансировалось это «предприятие», и как давили на создателей фильма, чтобы фильм заканчивался «новым» (не по Оруэллу) финалом, «который, с точки зрения ЦРУ, более отвечал задачам “войны с коммунизмом”». Но анекдотичней всего поступили в современной Америке. Стремясь к привычному «хеппи-энду» (зачем, дескать, пугать американского обывателя?), авторы анимации закончили сказку… возвращением на ферму всё «осознавших» и уже хороших хозяев-людей. Настолько хороших, что измученнные «тоталитаризмом» животные криком, кряканьем и блеянием радостно встречают их… Ура капиталу, ура угнетению!..

На русский язык, чего страстно желал Оруэлл, «Скотный двор» впервые переведут после его смерти, в 1950-м. Это сделают Глеб Струве и его жена Мария Кригер. Книга под заголовком «Скотский хутор» выйдет в Западной Германии (перевод потом дважды переиздавался, и последний раз – в 1978 году)[80]. Заметьте: в переводе Струве были купюры. Оруэлл до выхода его в свет не дожил, но отрывок из перевода увидеть успел. 15 июля 1949 года он напишет письмо своей знакомой в Германии: «Я не знаю, будете ли вы еще во Франкфурте, но если вы всё еще там,

то мне было бы интересно знать: видели ли вы русскую газету “Посев”? Они прислали мне кусок “Скотного двора” по-русски, в переводе Глеба Струве, которого я знаю довольно хорошо. Они же говорят, что хотели бы издать перевод в виде книги… но это должно быть кем-то профинансировано. Правильно ли я предполагаю, что редакторы данной газеты – люди добросовестные и, конечно, отнюдь не белые?..»

Последний вопрос, заданный в стиле эпохи – «красные» и «белые», – меня просто привел в ступор. Люди, издавшие его сказку, были, как мы знаем, даже белей «белых». Но Оруэлл – так следует из текста – не считал их «добросовестными». Что же это такое? – изумятся, возможно, наши «ненавистники» писателя. Значит, «добросовестными» он считал как раз «красных»?..

Я думаю, всё проще. К тому времени, рискну предположить, Оруэлл уже убедился, как препарируют и как толкуют его текст на Западе. Он не отрицал, что его сочинение является критикой революции 1917 года, но подчеркивал: общей мишенью его сатиры были вообще-то все «насильственные заговорщические революции, возглавляемые жаждущими власти людьми». Теперь же в большом предисловии к первому изданию «Скотного двора» в Англии, красноречиво названного им «Свобода печати», которое опубликуют только через много лет после его смерти (раньше было опять же «невыгодно»!), Оруэлл писал уже однозначно: «Цензуру, которой английская интеллигенция подвергает себя добровольно, следует отличать от цензуры, которая порой навязывается влиятельными кругами… С 1941 года… антисоветские книги выпускались в огромных количествах, но практически все они были написаны с консервативных позиций, явно бесчестны, полны устаревших сведений и вызваны к жизни низменными побуждениями. С другой стороны шел столь же мощный и почти столь же бесчестный поток просоветской пропаганды, а любого, кто пытался зрело обсудить вопросы чрезвычайной важности, подвергали бойкоту…» Это было написано в 1945-м. А в 1946-м он написал еще одно предисловие. Тогда с ним связался один человек и попросил разрешения на безгонорарный перевод «Двора» на… украинский. Звали его Игорь Шевченко, хотя перевод свой под названием «Колгосп Тварин» он издал под псевдонимом Иван Чернятинский. Переводчику было двадцать пять лет, он был из украинских эмигрантов, живших в Польше; его семья сражалась с большевиками в Гражданской войне, сам он успел поучиться в Праге и Варшаве, а когда в Польшу вошли советские войска, вместе с родителями эмигрировал в США. Кстати, умер совсем недавно, в декабре 2009 года, став крупнейшим специалистом по

истории и культуре Византии, председателем Международной ассоциации византинистов, профессором Гарварда. Вот ему Оруэлл не только финансово помог в издании своей книги, но и написал предисловие. Весь текст я приводить не буду: Оруэлл рассказывает в нем и о своей юности, и об Испании, и о годах работы над «сказкой» (предисловие полностью опубликовано у нас в журнале «Новое время» в 1991 году). Но вот несколько важных абзацев Оруэлла: «Я никогда не был в России, – пишет он, – и мои знания об этой стране базируются исключительно на чтении книг и газет… Я не желал бы вмешиваться в советские внутренние дела… Я не хотел бы обличать Сталина и его соратников за их варварские и антидемократические методы. Вполне возможно, что, преисполненные лучших намерений, они не могли действовать по-иному, исходя из обстоятельств. Но, с другой стороны, для меня было крайне важно, чтобы люди в Западной Европе могли представить себе советский режим таким, каковым он в действительности является. Начиная с 1930 года у меня было уже слишком мало аргументов в пользу того, что Советский Союз развивается в направлении *подлинного социализма*. Напротив, я был ошеломлен отчетливыми свидетельствами того, что страна превращается в иерархическое общество, хозяева которого не в большей мере склонны расстаться со своей властью, нежели любые другие представители правящей верхушки…» Но при этом, продолжает Оруэлл, «надо согласиться, что и Англия не является стопроцентно демократической страной. Это государство, сохранившее классовые привилегии (даже теперь, после войны, не способствовавшие тенденциям к равенству), а также немалые различия в имущественном отношении». Более того, человек с улицы просто переносит на «чисто английские понятия» всё, что он читает об СССР. А это «приносит значительный ущерб социалистическому движению в Англии… Ничто, по моему мнению, так не способствовало извращению идеи социализма, как убеждение в том, что Россия – социалистическая страна, а каждое деяние ее лидеров может быть оправдано и, даже более того, достойно подражания…».

Оруэлл пишет также, что у него не было намерения подгадать написание сказки к 1943 году, к решительным победам Красной армии, – просто его постоянно отвлекала журнальная работа. А в конце подчеркивает: «Иные читатели закрывают книгу, находясь под впечатлением, что ее финал – это полное умиротворение между людьми и животными. Это, однако, не входило в мои намерения; напротив, я собирался завершить повесть на громкой ноте диссонанса, поскольку я писал сразу же после окончания

Тегеранской конференции, которая, как многие полагали, обусловила наилучшие отношения между Советским Союзом и Западом. Лично я не верил, что подобные добрые отношения продлятся долго; последующие события доказали, что я не был так уж неправ». И в широком смысле правота Оруэлла (разочарование его в британских левых, чьи потуги после войны он грубо назовет «онанистическими») и понимание, что отношения Запада и Востока после войны испортятся, подтвердились даже раньше, всё в том же 1946-м. Подтвердились речью Черчилля в Фултоне и всем, что последовало за ней.

Да, 4 марта 1946 года, когда Оруэлл вновь собирался отправиться на Юру, в далеком Вашингтоне Черчилль, уже не премьер-министр, а «частное лицо», вместе с новым президентом США Гарри Трумэном тоже собирались в поездку. Визит, по замыслу Черчилля, должен был подтолкнуть американцев к более решительным шагам в отношении СССР. Черчилль ведь пошутит: «Американцы, – скажет, – всегда находят единственно верное решение… после того как перепробуют все остальные…»

«Спецпоезд», приготовленный для них, должен был доставить обоих за сотни километров от Вашингтона, в родной городок Трумэна – в Фултон. Именно там, в Фултоне, в Вестминстерском колледже Черчилль произнесет свою знаменитую речь о «железном занавесе». В поезде, как пишут, оба потягивали виски, играли в покер, острили. До нас дошла даже еще одна шутка Черчилля – о «двух валетах» в карточной игре. «Ну что же, Гарри, – улыбнулся Черчиль, вытягивая карту, – я рискну поставить шиллинг на пару валетов…» Соль шутки, вызвавшей хохоток президента США, заключалась в том, что слово «*knave*» переводилось и как валет, и… как мошенник. И хоть Трумэн относился к Черчиллю как к «величайшему оратору» в мире, а Черчилль гордился, что едет на встречу со студентами с самим президентом Америки, оба, видимо, чувствовали (по совести!), что некое «мошенничество» вот-вот совершится…

Строго говоря, оно уже совершилось: в Англии еще весной 1945-го, еще до капитуляции Германии, уже была подготовлена секретная операция под названием «Немыслимое» («*Unthinkable*»), назначенная на 1 июля 1945 года и предполагавшая боевые действия против СССР, а в США был разработан план «Тотальность» («*Totality*») – о предполагаемой атомной бомбардировке «предполагаемого противника» – опять же России. Мне, возможно, возразят: ну какое же это мошенничество? Страны-союзники всего лишь готовились защищать себя от сталинского монстра – от застывших в боевой готовности на Западе советских дивизий. Так вот, зная об истощенности войной

Красной армии, Запад готовился задействовать против нас не только 47 английских и американских дивизий, но и 10–12 немецких, только что бывших общим врагом, 400 тысяч неразоруженных фашистов в Норвегии[81]. Не до брезгливости было им, когда в мировом «покере» были такие ставки… «Быстрый военный успех, – говорилось в заключении плана "Немыслимое", – может побудить русских хотя бы временно подчиниться нашей воле, но может и не побудить. Если они захотят тотальной войны, – ставил точку план, – они ее получат…»

Ну не мошенничество ли? Про американский план я уже и не говорю. Они планировали 20 атомных ударов, когда в 1946-м у них имелось лишь девять бомб. То есть обманывали и англосаксов. И, разумеется, чудовищное мошенничество по одурачиванию мира должно было совершиться в Фултоне после того, как на кафедру Вестминстерского колледжа взгромоздится Черчилль для зачитывания своего доклада «Мускулы мира», своего, как считал, «шедевра». Так что шутка его в поезде и впрямь была удачна. Она, правда, не принимала во внимание третьего «мошенника» – Сталина, который, благодаря усилиям разведчиков, знаменитой «Кембриджской пятерке», был уже осведомлен и о «Немыслимом», и о «Тотальности»… И, что особо удивительно: в посмертных биографиях Черчилля, даже в лучшей, казалось бы, книге Франсуа Бедариды, вы не найдете о шулерских уловках Черчилля ни полслова, равно как не найдете в большинстве наших книг рассказа о «плане на салфетке» – о разделении Европы Сталиным и Черчиллем еще в 1944-м, еще до Ялтинской конференции.

Тогда, 19 октября 1944 года, Черчилль, недовольный беззубой позицией Рузвельта, сам навязался и сам приехал в Москву, чтобы переговорить с «дядей Джо» о будущем Европы. По иронии судьбы (а я так думаю, что и нарочно!) Черчилля и министра иностранных дел Англии Энтони Идена Сталин поселил в «гостевом особняке», в доме № 6 по Пречистенскому переулку – тогда Мёртвому переулку, где в августе 1939-го останавливался когда-то Риббентроп, подписавший пакт о ненападении Германии и СССР. Мы о новой двухсторонней встрече, о десятидневном визите Черчилля пишем с неохотой (ну приемы, ну спектакль для «дорогого гостя» в Большом), но не поминаем встречи «с глазу на глаз», когда Черчилль сунул хозяину Кремля клочок бумаги, на котором только что торопливо написал какие-то слова, цифры и проценты. Сам Черчилль позже назовет свою бумажку «гнусным документом». Но в плане «на салфетке» рукой британца было написано: «1) Румыния: 90% –

Советскому Союзу, 2) Греция: 90% – Великобритании, 3) Югославия: 50% – 50%, 4) Венгрия: 50% – 50%, 5) Болгария: 90% – Советскому Союзу»… «Сталин, – пишет биограф Черчилля, – тотчас же схватил эту бумажку и синим карандашом написал на ней, что согласен. Таким образом, за несколько минут… оба с неподражаемым цинизмом решили участь половины Европы на целых полвека».

Ровно так, как пять лет назад Сталин поделил всё ту же многострадальную Восточную Европу с Гитлером. Тогда – явно поделил, правда, с секретными протоколами; ныне, до знаменитой Ялтинской конференции, – тайно. Довольный, как и Риббентроп когда-то, Черчилль напишет Сталину: «Эта памятная встреча в Москве показала, что нет вопросов, которые не могут быть улажены между нами в откровенной и задушевной беседе, когда мы встречаемся друг с другом…» Ну чем вам не заключительная сцена «Скотного двора», прозорливо увиденная Оруэллом за год до этой «сделки»?..

Теперь, в Фултоне, Черчилль готовил для своего московского визави уже сокрушительный подарок. Это был «звездный час» его – вчерашнего и завтрашнего премьер-министра Британии. Ирония судьбы была лишь в том, что мир, уставший от «горячей войны», почему-то радостно встретил объявление о войне новой, холодной. Но ведь и сумасшествие одураченных в войне идей масс началось не вчера…

…«Дела давно минувших дней» – скажут, возможно, мне. И я соглашусь с этим. Для Сталина Фултон стал удобным предлогом жестче «закрутить гайки» в СССР и приструнить много возомнивших о себе и фронтовиков, и интеллигентов. Для Черчилля, «выбитого из седла» прошедшими в Англии выборами, – реваншем, попыткой вновь занять главенствующее положение в англоязычном мире. Именно поэтому и британцы, и русские одинаково успешно превратят Оруэлла после слов о «железном занавесе» в ту самую «интеллектуальную баллистическую ракету холодной войны». Но что занятно. Оруэлл, если помните, в одном из писем той поры признался: «Я зашел слишком далеко…» Так вот, не поверите, но этими же словами британские парламентарии и политики, даже однопартийцы Черчилля, встретили его после Фултона. Вот слова из последней биографии Черчилля: «Не только лейбористы, но и некоторые консерваторы посчитали, что Уинстон зашел слишком, слишком далеко…» Даже американцы в большинстве своем были недовольны Фултоном: британец не просто «принуждал» их к альянсу с Англией, но «привязывал» к антисоветскому «крестовому походу», что, может быть, и отвечало «секретным

планам» США, но не вязалось с публичными настроениями общества.

Оба, Оруэлл и Черчилль, действительно зашли «слишком далеко», но… в разных направлениях – и к разным целям. И если позиции Черчилля и Сталина отличались, можно сказать, лишь «стилистически» (один в своей речи как бы сказал: «Война – это мир», а второй, опровергая, как бы поддакнул: «Мир – это война»), то позиция Оруэлла, уже сформулировавшего этот будущий лозунг мира-войны, была и дальше, и в прямом смысле выше. Она была уже «над схваткой», взгляд его был глобален, был некой установкой на далекое будущее. Он вслед за своим тогдашним Мефистофелем – Бёрнхемом – всё сильнее склонялся к мысли, что «капитализм обречен, а социализм – греза…». В романе «1984», над которым работал, заглядывал даже дальше – куда как дальше и атомного плана американцев «Дропшот», и «плана Маршалла», и берлинского и кубинского кризисов, даже дальше развала СССР в 1991 году. Он заглядывал в мир, который смутно, но проступает только сейчас.

Впрочем, на вопрос, кто же «зашел дальше» – Черчилль или Оруэлл, – красноречивый ответ дал сам британский политик. Когда в 1949-м вышел роман «1984», Черчилль, пишут, признался, что прочел его дважды. И чуть ли не первым прислал Оруэллу поздравление с вышедшей книгой.

Глава 12.
«Пророк бедствий»

1.

Последние два года он жил на упрямстве, на натянутом нерве. Временем для него стали слова, а словами – время… Это трудно понять, но это так!..

Четыре тысячи слов, десять страниц в день – неподъемная норма для любого сто́ящего художника. Для здорового неподъемная, для такого как Джек Лондон, – тот больше тысячи слов писать и не пытался. А для больного? Для человека, кашляющего кровью и хватающегося за стены от слабости? Для старика в сорок пять лет, который, будучи уже не в силах спускаться даже в кухню Барнхилла, упорно продолжал выстукивать роман на машинке, не вставая с постели?.. Но именно так он и гнал рукопись вперед. Торопил, конечно, Варбург, издатель, подгоняло тающее здоровье, но спешить заставляло, кажется, и нечто большее – идея, желание успеть предупредить мир о кошмаре будущего.

«Написание книги всегда берет у меня адское время», – сообщит он еще в 1947-м Вудкоку. Призна́ется, что работа над последним романом «похожа на агонию». В биографической заметке «Почему я пишу», написанной тогда же, скажет: «Создание книги – это ужасная, душу изматывающая борьба, похожая на долгий припадок болезненного недуга. Никто не взялся бы за такое дело, если бы его не побуждал какой-то демон, которого нельзя ни понять, ни оказать ему сопротивление… В то же время ты не можешь написать ничего интересного, если не пытаешься… избавиться от самого себя».

«Избавиться от себя…» Это можно толковать по-разному. Но Оруэлл и впрямь задумал «избавиться от себя», поставить на карту саму жизнь, когда, вопреки опасениям друзей, как раз в 1947-м решил зимовать на острове. Не на Юре даже – на юру! И успел бы с книгой и раньше, если б не та «блядски холодная» вода залива Корриврекан.

Поначалу всё было относительно хорошо. «Обустроившись на новом месте, – пишет Макгрум в статье «Шедевр, погубивший Джорджа Оруэлла», – он смог наконец приступить к работе. В конце мая 1947 года сказал Фреду Варбургу: “Мне не удалось сделать, сколько я планировал, потому что здоровье мое весь этот

год, начиная приблизительно с января, находится в наиболее скверном состоянии (грудь, как обычно), и я никак не могу избавиться от этого…”» Но, повторю, всё еще было как всегда. Он, если не возился с рукописью, натягивал по утрам высушенные скрюченные сапоги, выбирал в углу лопату, вилы, косу или топор и шел копаться в огороде, сажать яблони («Посадить дерево – значит сделать подарок потомству»), колоть дрова, кормить живность разраставшейся фермы или нещадно истреблять расплодившихся крыс (до него дошли слухи, что на соседней ферме они покусали двоих малолетних детей). А иногда, завернувшись в дождевик (в нем выглядел как «приговоренный»), поколдовав с мотоциклом, отправлялся в Ардлуссу за керосином или к миссис Нельсон за молоком сыну… Она вспоминала потом: «Мистер Блэр всегда выглядел грустным. Ему было очень трудно… Впрочем, у каждого из нас хватало проблем – и с едой, и со светом… Блэр предпочитал одиночество, у него не было друзей на Юре. Отзывались о нем хорошо: тихий, порядочный человек, – но его жалели. Невероятно худой, постоянно кашляющий, он выглядел тяжелобольным. Но когда бы я ни приходила в его дом, я всегда слышала стук пишущей машинки». Другой, совсем уж дальний сосед Оруэлла, Дональд Дарроч, аккуратный старичок, отзовется о писателе короче: «Да, Эрик Блэр! – вздохнет. – Он был хороший такой человек. Очень добрый…»

Наслаждался, пожалуй, только рыбалкой, тишиной над прозрачной водой да красотой встающих рассветов. Оправдывая свой окончательный переезд на Юру, написал Вудкоку: «Здесь я могу работать с меньшими перерывами, а кроме того, я не думаю, что и зимой будет очень холодно… Да, порой на неделю или две ты будешь отрезан от материка, но это не имеет значения, если под рукой есть мука, чтобы испечь хлеб».

Удивительно, но даже в этих условиях он самим существованием ухитрялся создавать некое подобие уюта. Это подметит Ричард Рис. «Возвратясь из какой-нибудь злосчастной экспедиции, вернувшись, например, в полночь, пешком, в туман и дождь, оставив увязшую где-то среди холмов машину, находишь, бывало, Оруэлла на кухне, куда он спустился, чтобы затопить плиту и приготовить тебе ужин, делая это не только умело, но и с бодрящим, гостеприимным, чисто диккенсовским пылом».

Скрашивал дни и подраставший сын. Мальчик не знал, разумеется, что он приемный ребенок (ему скажет об этом Эврил через четыре года после смерти писателя), и все относились к нему как к родному. Оруэлл учил его вглядываться в природу, любить деревья, замечать, что и у противных жаб глаза как

«золотистый полудрагоценный камень», показывал, как ловить рыбу, копать землю, прижигать укусы змей. В письме Джулиану Саймонсу, другу, с шутливой мрачностью пустится в размышления о детях: «Когда они растут и развиваются, ты словно наблюдаешь собственную молодость. Но следует, мне кажется, остерегаться навязывать ребенку собственное детство. В нынешние времена, я думаю, довольно легко обеспечить ребенку относительно хорошую жизнь и, главное, помочь ему избежать тех вовсе не нужных мучений, через которые, например, проходил я. И что́ беспокоиться раньше времени, что невольно вводишь ребенка в мир атомных бомб, если тем, кто рождается сейчас, никогда и не будет ведомо ничего, кроме войн, строгих пайков и т.п. Но если им будет дан хороший психологический “старт”, они, возможно, сумеют быть достаточно счастливы даже на таком жизненном фоне».

Хорошим – да, все-таки хорошим! – «психологическим стартом» для Ричарда и для детей старшей сестры Марджори, приехавших в августе 1947-го к «дяде Эрику», стало и то «кораблекрушение», то бедствие, тот «гвоздь» в его будущий гроб…

В тот день они всей семьей – он, Эврил, трехлетний Ричард и трое племянников Оруэлла, детей покойной Марджори: Генри, Джейн и Люси Дакин – решили нюхнуть «экзотики» и отправиться на моторке дней на пять-шесть к заливу, омывавшему необитаемую часть Юры. А что? Август, простор, рыбалка, дикие пляжи!.. Генри и Джейн были уже вполне взрослыми: Генри только что окончил военное училище и был произведен в офицеры, Люси к тому времени исполнилось шестнадцать, а самым маленьким был Ричард. Но именно он, Генри и Люси остались в лодке, когда Оруэлл решил, что пора возвращаться. Эврил и Джейн решили добираться домой пешком – километров пятнадцать-двадцать. Лодка и без них оказалась перегружена: снасти, продукты, одеяла, рюкзаки, улов… Но моторка все равно опередила бы пеших, если бы не водовороты залива Корриврекан, которые при приливе могли утянуть на дно даже небольшой пароходик.

«Мне было три года, – вспомнит Ричард, – когда мы попали в беду… Когда отец понял, что ошибся во времени прилива и вместо спокойной и безопасной воды прилив растет, было уже поздно. Из-за приливных вихрей возникла большая устойчивая волна, а подводные течения, став беспорядочными, и образовали то, что местные звали “водоворотом”… Наш подвесной мотор захлебнулся, и мы никак не могли запустить его. Генри взялся за весла и каким-то образом ухитрился подвести лодку к двум

скалистым островкам, оказавшимся поблизости. Он выпрыгнул на камни, таща за собой швартовую веревку, и попытался закрепить ее. Но именно в этот момент лодка, подавшись назад, внезапно перевернулась, выбросив в море и накрыв собой отца, Люси и меня. К счастью, я сидел на коленях у отца, и ему удалось выбраться самому и вытащить из-под лодки меня. Люси тоже выбралась, и все мы вскарабкались на островок. Все вещи оказались потеряны. Нам ничего не оставалось, как попытаться высохнуть, насколько это было возможно, и ждать, когда нас спасут… К счастью, мимо проходила лодка ловцов лангустов, и они переправили нас в безопасное место. Мой отец – такой уж он был – попросил высадить нас на ближайшей суше, откуда мы могли бы дойти до дороги к дому…»

Так запомнит происшествие Ричард. Он не говорит, что пропала лодка, что все они промокли до нитки, что, кроме Оруэлла, все оказались босыми и, главное, не говорит, сколько времени они провели на островке. Оруэлл позже заметит в письме Бренде Солкелд: «Можно было ожидать, что мы, скорей всего, останемся на острове до завтра, но, к счастью, нас через несколько часов подобрал проходивший мимо кораблик». Люси вспомнит, что, когда они, выбравшись на берег, прыгали и бегали, чтобы хоть как-то согреться, «дядя Эрик» вдруг заметил проплывавшего мимо тюленя и стал долго рассказывать о жизни и нравах этих животных. Потом «просвещал» детей, как размножаются бакланы – их они заметили у маленького озерца с пресной водой. «Дядя был милым и добрым, – усмехнется Люси, – но он жил в другом мире». А Генри, как самый взрослый, оценит беду глубже: скажет, что дядя Эрик делал всё, чтобы не допустить паники и отчаяния перепуганной и озябшей компании. Не Бренде в письме – именно ему Оруэлл призна́ется потом: «Я думал тогда, что мы вообще-то обречены погибнуть там…» Скажет, как заметит племянник, «с каким-то даже восторгом…».

Что было потом? Как вспомнит Ричард, добравшись до берега и позаимствовав у рыбаков кое-какую еду, они развели костер, дабы просушить одежду, и только потом им было «торжественно объявлено», что оставшиеся три мили они должны пройти бодрым шагом. Когда ввалились наконец в дом и испуганная Эврил спросила: «Ну и где же вы были?» – отец, как пишет Ричард, ответил: «“Мы потерпели кораблекрушение”, – весьма, кстати, слабое выражение того, что нам пришлось пережить». Конечно, заметит уже в наше время один из биографов писателя, с таким «моряком», как Оруэлл, лучше не выходить в море, но «если доведется попасть с ним в кораблекрушение, то лучше товарища, наверное, и не придумаешь…».

Никто, короче, кажется, даже не простудился, вода в августе была градусов 15–16, но для Оруэлла купание стало роковым. Он единственный и впрямь оказался обречен и почти сразу на два месяца свалился с воспалением легких. Именно после этого его и увезут в госпиталь в декабре. «Я, – успеет черкнуть Астору, – как дурак, решил не ехать к врачу: я хотел побыстрее продолжить работу над книгой». А Кёстлеру, уже в ноябре, сообщит, что «очень болен и лежит в постели». Работает в постели, поправим его: как раз тогда он и стал лёжа перепечатывать часть будущей книги.

2.

Загадка, не разгаданная, кажется, никем: почему Оруэлл не написал ни одного, например, рассказа? Ни одной повести, пьесы, даже ни одной новеллы в прозе или поэмы, хотя стихи сочинял? Почему столь узким оказался его писательский диапазон?

Так вот, мне кажется, потому, что всем творчеством, да и всей, кажется, жизнью он был с молодости «заточен» на свою последнюю книгу – на роман «1984». Еще подростком он, помните, мечтая с Джасинтой о писательской стезе, говорил, что когда-нибудь напишет роман, «подобный фантазиям Герберта Уэллса». Какие там рассказы или детективы, пьесы или скетчи! Он четверть века сочинял не книгу – судьбу, а уже судьба диктовала ему эту книгу. Он не путешествовал по миру, как другие письменники, не окунался в литературную богему, не лез в вожди группировок, не торговал «мордой лица» на представительских собраниях в ПЕН-клубах – нет, он страстно стремился, как заметит В.А.Чаликова, «чтобы главные события века: экономическая депрессия, фашизм, мировая война, тоталитарный террор – стали событиями его личной жизни». Невероятно, но ведь мир перешептывался после смерти его, что после Испании он был, представьте, «узником сталинских лагерей». Легенда? Разумеется! Но она попала в его биографию. И как тут не скажешь вслед нашему Павлу Флоренскому: «Легенда не ошибается, как ошибаются историки, ибо легенда – это очищенная в горниле времени от всего случайного, просветленная художественно до идеи, возведенная в тип сама действительность». «Очевидно ведь, – подтверждает Чаликова, – что Эрик Блэр не мог быть в этих лагерях, но столь же очевидно, что Джордж Оруэлл не мог не быть там…»

Всё вобрала в себя его книга-судьба. В роман «1984» войдут и мать Оруэлла, являющаяся герою в снах, и младшая сестренка,

которую он своим эгоизмом невольно обижал в детстве, и первая любовь Джасинта, и последняя жена писателя Соня Браунелл, и даже Жорж Копп – специалисты по Оруэллу, помните, почти уверенно видят его в недоступном для понимания и таинственном О'Брайене? И безумный нищий старик, не помнящий прошлого, и некий Чарли Чан из барселонской гостиницы, от которого за версту несло спецслужбой, и оратор на площади, чьи размахивающие руки казались нереально длинными, и пленные «азиатские захватчики», стоящие на коленях в набитых грузовиках, так напоминавшие ему бирманцев, свозимых на плантации, и старик, кричавший перед казнью «Рама! Рама!» Я уж не говорю о вещных реалиях романа: о лавке старьевщика, где Уинстон, как и Оруэлл сам, снимает комнатку на втором этаже, о кабинке Министерства Правды, напоминающей кабинетики «Би-би-си», и даже о том блокноте с «кремовой старинной бумагой», который, говорят, был у Оруэлла. Те «кубики» реальной жизни, из которых, как я говорил уже, складываются, казалось бы, самые фантастические утопии и умопомрачительные антиутопии.

«Я хотел писать книгу…» – сказал. Эту книгу! Кстати, «утопию в форме романа», как сам определил жанр ее. И, понимая, что смерть отныне близка, уже тогда, на острове, в письме Астору сообщил об отданных распоряжениях даже относительно сырой еще рукописи: «Получилась пока ужасная мешанина, но сама идея настолько хороша, что я, вероятно, не смогу от нее отказаться. Я проинструктировал Ричарда Риса, исполнителя моего литературного завещания, чтобы он, если со мною что-то случится, рукопись, не показывая ее никому, уничтожил…» Интересно, да? Так, думается, уничтожают перед смертью самое интимное, сжигая дневники, переписку, – так уничтожают недосказанное, понимая, что – не поймут. Не поймут части без целого; без тебя не поймут…

Это письмо вспомнит Майкл Шелден, когда увидит в архивном фонде Оруэлла первые варианты романа. Он пишет, как поразила его «трудоемкая, кропотливая» работа. Лихорадка труда. Оруэлл выбрасывал огромные куски и заменял их новыми, отчасти напечатанными, отчасти рукописными и даже просто прикрепленными скрепками. В правке встречались и новые повороты сюжета, и более яркие образы. Но именно упорством он превращал свое произведение в «великолепный пример современной английской прозы, новаторской, но не рождавшей "новояз", на котором говорили его герои». И почти все потом искренне жалели, что любые будущие читатели настолько увлекутся сюжетом книги, что вряд ли заметят «великолепные

образцы английских прозаических фрагментов»…

Только в декабре, спустя четыре месяца после холодной купели залива, после воспаления легких и уже не прекращавшегося кашля с кровью, родные его решились вызвать из Глазго врача. «Пришлось вызвать», – пишет сын. Врач неделю жил в доме Нельсон и неделю, установив уже туберкулез левого легкого, уговаривал Оруэлла лечь в больницу. Миссис Нельсон помнит, что Блэр долго отказывался, заявлял, что должен окончить книгу. «Он знал, что ему осталось жить совсем немного, и торопился». Только к Рождеству 1947 года Билл и Эврил сумели погрузить «пациента» на рейсовый катер и, доставив в Глазго, переправить в местечко Ист-Килбридж, в больничку *Hairmyres*.

Туберкулез – жуткое слово прозвучало. Активная форма. Не приговор еще, но уже – судьбы судилище. «Туберкулез для художников XX века, – напишет в работе об Оруэлле уже упоминаемая нами Мэри Маккарти, – то же самое, что сифилис для девятнадцатого: знак, почти выбор. Это не может быть случайностью». Ричард Рис скажет шире: «Когда подумаешь, сколько прекраснейших представителей интеллигенции в одном только нашем столетии преждевременно умерли от туберкулеза – назовем хотя бы Чехова, Кэтрин Мэнсфилд, Лоуренса, Кафку, Симону Вейль, – то естественно возникает вопрос, не вызывается ли иногда эта болезнь тем напряжением и усилиями, которые требуются, чтобы плыть против течения. Не вызвана ли смерть Оруэлла в известном смысле отчаянием?»

И в известном, и даже в неизвестном нам смысле смерть его была вызвана именно отчаянием. Не по поводу своих плачевных дел – по поводу мира, не видящего еще своего конца. И эпикризом болезни, диагнозом и прогнозом ее и стал последний роман его про «последнего человека в Европе». Одно появление атомной бомбы чего стоило. Ведь еще в 1947-м, в статье «Будущее социализма» Оруэлл признался, что видит только «три вероятных сценария завтрашнего дня». По первому американцы используют атомное оружие, которое пока отсутствует у русских, но «это ничего не решит». Второй сценарий – холодная война до появления у русских атомной бомбы, и потом – всемирная атомная мясорубка. И третий вариант – тот страх перед ядерной бомбардировкой, который заставит всех отказаться от бомбы. «Тогда, – пишет Оруэлл, – мир окажется поделен между двумя-тремя огромными супердержавами, неспособными покорить друг друга, и их нельзя будет разрушить изнутри. По всей вероятности, они будут устроены иерархически: каста полубогов наверху, бесправные рабы внизу; это будет такое попрание свободы, какого еще не видело человечество. Психологическая

атмосфера в каждом государстве будет нагнетаться за счет абсолютного разрыва с внешним миром и непрерывной инсценированной войны. Такие цивилизации могут оставаться в застывшем состоянии тысячелетиями». Ну разве не конспект, не синопсис его последнего романа – тех 125 тысяч слов, которые он выстукивал даже в больнице. Полгода проведет в ней, и консультирующий профессор Уильямсон удивленно запомнит только две вещи: «Сильный запах сигарет Оруэлла и звук пишущей машинки, всегда доносившийся из палаты…»

«Я чувствовал себя почти мертвецом», – признается Астору в первом же письме из клиники. Насчет будущего – не заблуждался. По слухам, ходившим среди врачей, помочь, ну, может, затормозить болезнь мог стрептомицин – новейший препарат, только что появившийся в США. Его в 1943-м изобрел американский микробиолог и биохимик Зельман Ваксман, и в Англии он был практически недоступен. Астор, прослышав о нем, через «штатских» родственников немедленно выписал препарат, заплатив немалые деньги. Он знал, что Оруэлл не любил принимать чью-либо помощь, и на всякий случай предупредил лечащего врача: «Я не хотел бы, чтобы вы упоминали ему о моем предложении… Но вам я рассказываю об этом только для того, чтобы вы не колеблясь обращались ко мне, если понадобится что-то еще». Оруэлл, разумеется, узнал о «подарке» и почти сразу сказал ему: «Я коплю доллары, я должен расплатиться, поскольку сумма существенная…»

Стрептомицин поначалу заставил паниковать. Выпадали волосы, отслаивались ногти, шелушилась и сходила кожа, а в гортани возникали болезненные язвы и волдыри. Варбургу, издателю, Оруэлл с юмором смертника скажет: «Это всё равно, что, пытаясь избавиться от крыс на корабле, топят само судно». Всё уладится лишь к июлю, к выписке, когда дозу стрептомицина снизят. Чудо-лекарство не подведет – к концу курса исчезнут даже явные симптомы туберкулеза. Но «гвоздь» в гроб Оруэлла, второй, после катастрофы в заливе, вобьет как раз Варбург. Забыв о неукоснительной обязательности друга, он в очередной раз подхлестнет его: «Для вашей литературной карьеры, – напишет, – очень важно, чтобы роман был завершен к концу года». А Оруэлл тут же «вколотит» в будущий гроб и личный, третий «гвоздь»: категорически заявит родным, что прямо из больницы едет на Юру. Возражать было глупо: «Он был из тех, кто сам принимает решения, – подтвердит Вудкок, – и… спорить с ним было бесполезно».

Больше четырех-пяти часов в день, да и то всё чаще в постели, работать уже не мог. Напечатав пару страниц, вынужден

был делать перерыв. Суп и чай Эврил, у которой тогда и появилась «скорбная складка у губ», носила ему наверх – он и ел теперь, не вставая с кровати. «Бьюсь над последними главами этой чертовой книги о возможном положении дел в случае, когда атомная война – еще не конец», – нарушив собственное правило не рассказывать о не написанной еще вещи, сообщит Астору в начале октября 1948 года. И тогда же, не снижая темпа, забросает письмами Лондон с просьбой найти машинистку, которая могла бы приехать на остров для перепечатки романа – посылать рукопись в столицу, ввиду огромной и понятной только ему правки, ввиду бесконечных неологизмов и вставок «на скрепках», было невозможно. И Варбург, и Мур, литагент, горячо обещали помочь, – но кто потащится в такую даль, даже за приличные деньги?.. Короче, Оруэлл, понимая, что ждать помощи неоткуда, ощущая уходящее время почти физически, сам взялся за эту «ужасную работу». Перепечатал свою «невероятно никчемную рукопись» даже дважды. А в начале декабря, когда на Юру обрушится пик ливней и штормов, откинувшись на подушки, перечитав последние слова романа – «Всё хорошо – борьба окончена. Он победил себя. Он любил Большого Брата», – Оруэлл выдохнет как раз это слово: «Всё!». Тоско Файвелу, другу, напишет: «Всё идет хорошо, кроме меня…» Символично: ходить уже почти не мог. И однажды, подведя сына к зеркалу, скажет, глядя на себя: «Я теперь богат и знаменит, но будущего у меня уже нет». И пока в Лондоне в декабре 1948 года, получив рукопись в срок, Варбург знакомил с ней коллег («Это одна из страшнейших книг, которые я когда-либо читал»), пока писал во внутренней служебной записке, что «если мы не продадим 15–20 тысяч копий ее, то нас нужно будет пристрелить», Оруэлл, ворочаясь в постели на Юре, куря в темноте свои самокрутки, не заблуждаясь уже относительно своих легких, пересматривал жизнь и, возможно, подбивал если не последние, то предпоследние итоги жизни…

Вопрос из будущего: *Один из исследователей вашего творчества, прозаик, критик, автор вашей биографии Дэвид Тейлор подсчитал: вы за жизнь написали почти 2 миллиона слов. 20 томов сочинений за неполные 20 лет творчества! Итог! Но поражает, что, работая над романом, вы успели написать и большое эссе «Писатели и Левиафан» (1948), и рецензию на Г.Грина (1948), и свои знаменитые «Размышления о Ганди» (январь 1949-го), и даже отклик на книгу У.Черчилля (май 1949-го). Вот что это? Желание непременно высказаться по поводу всего,*

что попадает в поле зрения, привычка постоянно размышлять над бумагой, страсть, темперамент, образ жизни?..

Ответ из прошлого: *Работа писателя в том и состоит, чтобы выдрессировать свой темперамент… Я бы выделил четыре основных мотива, заставляющих писать… 1. Чистый эгоизм. Жажда выглядеть умнее, желание, чтобы о тебе говорили, помнили после смерти… 2. Эстетический экстаз. Восприятие красоты мира… Способность получить удовольствие… от крепости хорошей прозы… 3. Исторический импульс. Желание видеть вещи и события такими, каковы они есть, искать правдивые факты и сохранять их. 4. Политическая цель (…в самом широком смысле)…*

В.: *Это обязательно – политическая цель?*

О.: *Ни одна книга не может быть абсолютно свободна от политической тенденции. Ведь даже мнение, что искусство не должно иметь ничего общего с политикой, уже является политической позицией… Чего я больше всего желал последние десять лет – так это превратить политическую литературу в искусство… Я не могу сказать… какой из моих мотивов к творчеству является сильнейшим, но… оглядываясь на сделанное, я вижу: там, где в моих произведениях отсутствовала политическая цель, там всегда рождались безжизненные книги…*

В.: *Но разве нет книг, где наслаждаешься только прозой, пьешь ее по капле, как некий божественный напиток? Наш Набоков, например, или Фицджеральд?*

О.: *Истинное восприятие книги, если она вообще вызывает какой-то отзвук, сводится к обычному «нравится», «не нравится», а всё прочее – лишь попытка рационального объяснения этого выбора. Мне кажется, такое вот «нравится» вовсе не противоречит природе литературы; противоречит ей другое: «Книга содержит близкие мне идеи, и поэтому необходимо найти в ней достоинства». Разумеется, превознося книгу из сугубо политических соображений, можно при этом не кривить душой, искренне принимая такое произведение; но столь же часто бывает, что чувство идейной солидарности с автором толкает на прямую ложь. Это хорошо известно каждому, кто писал о книгах с четкой политической линией… И, при всей бесчестности, которую уже едва осознаю́т, поддерживается претензия, будто о книге*

судят по литературным меркам…

В.: *Война идей! Тут об объективности говорить, конечно, не приходится…*

О.: *Понимаете… вся левая идеология – и научная, и утопическая – разработана теми, кто не ставил перед собой как непосредственную задачу достижение власти. Поэтому она была идеологией заведомо экстремистской, подчеркнуто не считавшейся с… правительствами, законами, тюрьмами… знаменами, границами, с патриотическими чувствами, религией, моралью… Кроме того, от либералов левые переняли несколько весьма сомнительных верований – например, во всепобеждающую силу правды… и что по природе своей человек добр, и что злым его делают окружающие условия… Но, сталкиваясь всякий раз с реальностью, вера эта трещит по швам, и мы начинаем мучиться противоречиями…*

В.: *Но ныне всё, во всяком случае, в России, перевернулось, и в «приличном обществе» нельзя и слова сказать против «рынка», «европейских ценностей» и «толерантности». Ретроградно… В статье «Писатели и Левиафан» – а ее называют вашим политическим завещанием – вы говорите о еще одном, важном и для нас явлении. Статья была написана после выборов в Англии, когда к власти, отстранив Черчилля, пришли как раз лейбористы, исповедовавшие «левую» идеологию, чуть ли не коммунистическую. У нас в 1991 году произошло ровно обратное: к власти пришли оппоненты коммунизма. Я помню ту эйфорию: теперь мы можем претворить всё, к чему призывали! Но что-то сразу пошло не так…*

О.: *Левые правительства почти всегда разочаровывают своих сторонников…*

В.: *А я думаю, что не было продумано то, что вы называете «переходным периодом». Ну с какого перепуга у нас вдруг возникла бы демократия, как в Америке, или, того лучше, как в Швейцарии?..*

О.: *Переходный период – <о нем>, до того как лейбористы взяли власть, у нас едва упоминалось… Среди тех, кто верен левой идеологии, сама эта проблема не может обсуждаться откровенно. Снижение зарплаты, увеличение продолжательности рабочего дня – такие меры считаются по самой своей сути антисоциалистическими, а поэтому должны быть отвергнуты с порога… Стоит заикнуться, что эти шаги могут стать необходимыми, – рискуешь тут же*

удостоиться всех тех эпитетов, которых мы так страшимся.

В.: *Короче, выступая, скажем, против ограничений, против принуждения, насилия (в соответствии со своими прежними «красивыми» взглядами), вы просто не сможете управлять своим «идеальным» государством, так? Не могу с ходу подобрать примеров…*

О.: *Покуда существуют организованные общества, должна существовать или, во всяком случае, будет существовать некоторая степень цензуры…. Или другое: есть профессии, которые совершенно необходимы, однако без принуждения никто бы их для себя не выбрал. Или третье: нельзя уверенно вести внешнюю политику, не располагая мощными вооруженными силами. Примеры можно умножать и умножать. И всякий раз напрашивается вполне ясный вывод, который, однако, способны сделать лишь те, кто внутри себя свободен от официальной идеологии. Обычно же случается по-другому: вопрос, на который не найдено ответа, отодвигают куда-нибудь подальше, стараясь о нем не думать и по-прежнему повторяя слова-пароли со всей противоречивостью их смысла.*

В.: *Верность выбранной прежде «левой идеологии» невольно подталкивает ко лжи? И писателя ведь, правильно я понимаю?..*

О.: *Приверженность любой политической доктрине с ее дисциплинирующим воздействием… противоречит сути писательского служения… Как только доктрины начинают воздействовать на литературу, пусть даже вызывая с ее стороны лишь неприятие, результатом неизбежно становится не просто фальсификация, а зачастую исчезновение творческой способности…*

В.: *Но вы же говорили, что никто из писателей не может уклониться от политики?*О.: *Я не предлагаю ничего, помимо четкого разграничения между политическими и литературными обязанностями… Вступая в сферу политики, писатели должны сознавать себя там просто гражданами, просто людьми, но не писателями. Не считаю… что они вправе уклониться от будничной, грязной работы на ниве политики… Они должны быть готовы выступать в залах, продуваемых сквозняками, писать мелом лозунги на асфальте, агитировать избирателей, распространять листовки, даже сражаться в окопах гражданских войн… Но… им*

надлежит твердо сказать <себе>, что творчество не имеет к этой деятельности никакого отношения…

В.: *Боюсь, что для большинства это будет не слишком понятно. Слишком сложно для практической реализации. Ведь писатель, даже наивный политически, все-таки убеждает себя, что борется и в книгах своих, и в жизни со злом – ради добра…*

О.: *Мы никак не расстанемся с верой в то, что любой выбор, даже любой политический выбор, всегда лежит между добром и злом, как и в то, что всё необходимое тем самым справедливо… В политике не приходится рассчитывать ни на что, кроме выбора между большим и меньшим злом, а бывают ситуации, которых не преодолеть, не уподобившись дьяволу или безумцу. К примеру, война может оказаться необходимостью, но, уж конечно, не знаменует собой ни блага, ни здравого смысла. Даже всеобщие выборы трудно назвать приятным или возвышенным зрелищем. И если чувствуешь обязанность во всем этом участвовать… нужно суметь и свое «я» сберечь неприкосновенным… Для большинства людей эта проблема так не стоит, поскольку их жизнь и без того расщеплена… Да и, в общем-то, от них и не требуют, чтобы они унижали собственную профессию ради политической линии…*

В.: *А от писателя именно требуют? Или все-таки ждут?..*

О.: *От писателя именно этого и добиваются; по сути, этого одного вечно требуют от них политики…*

В.: *И как же сберечь свое «я», если даже выбора между добром и злом почти не существует?*

О.: *Есть лишь два действенных средства предотвратить фантасмагорию, когда черное завтра объявляют белым… Первое из них – признание, что истина, как бы ее ни отрицали, тем не менее существует… Второе – либеральная традиция, которую можно сохранить, пока на Земле остаются места, не завоеванные ее противниками. Представьте себе, что фашизм или некий гибрид из разновидностей фашизма воцарился в мире повсюду…*

В.: *К чему, похоже,и движется современный мир…*

О.: *Тогда оба эти средства исчезнут. Мы в Англии недооцениваем такую опасность, поскольку приучены к сентиментальной вере, что всё устроится лучшим образом… Но почему, какие доказательства?..*

В.: ?

О.: *Я убедился… историю пишут исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить – согласно различным партийным «доктринам»… И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретет статус правды… Реальность этой перспективы страшит меня больше, чем бомбы… Англичане, пожалуй, уже лет сорок как знают то, что немцы и японцы усвоили совсем недавно, а русским и американцам еще предстоит усвоить, – что одной стране не под силу править миром… Лишь тогда Англия сумеет выполнить свое предназначение, когда рядовой англичанин с улицы каким-то образом возьмет в свои руки власть… К концу следующего десятилетия станет ясным, суждено Англии выжить как великой державе или нет. И если… «да», то обеспечить это предстоит простому народу…*

В.: *Увы, увы… Из романа «1984», чтоб вы знали, не сбылась пока единственная надежда ваша – вера в простых людей. Ныне поменялись не просто «вывески» великих слов «свобода», «демократия», «справедливость» – сама суть их. Но главное – чего вы страшились больше всего, – власть ныне попадает не в руки тупых, но решительных, а в руки столь же решительных, но интеллектуалов, «эффективных менеджеров», которые уж точно знают все «лазейки» умов, борющихся за свободу.*

О.: *Политическая активность – особый вид поведения, характеризуемый полной бессовестностью и присущий только узким группам населения, в особенности группам недовольных, чьи таланты не могут развернуться при существующем строе… Их тайное желание – поставить крест на прежнем, эгалитарном варианте социализма и заменить его иерархическим обществом, где интеллигент наконец-то сможет дотянуться до кнута… Так что история состоит из цепи мошенничеств: народ подбивают к бунту… а затем… его опять порабощают, уже новые хозяева.*

В.: *Значит, все-таки заколдованный круг?..*

О.: *Мир – это корабль, плывущий в пространстве, обладая в потенции изобилием всего необходимого для любого, и мы должны все скооперироваться, чтобы обеспечить справедливую долю каждого… Но… именно в тот момент, когда есть или может быть достаточно*

всего и для всех, почти вся наша энергия уйдет на попытки захватить друг у друга территории, рынки и сырье. Именно в тот момент, когда высокий уровень жизни должен был бы избавить правительства от страха перед серьезной оппозицией, политическая свобода будет объявлена невозможной и полмира станут управляться секретными полициями… Хотите увидеть образ будущего? Представьте себе сапог, топчущий человеческое лицо…

В.: *Ведь это, пусть и фигурально, но происходит. И спасет ли нас от нас же просто Человек? Ведь вы же за это боролись? Простите за излишний, возможно, пафос…*

О.: *Смысл человечности – в том, что ты не стараешься быть совершенством, что иногда хочется пойти на грех во имя верности, в том, чтобы не доводить аскетизм до того предела, где дружеское общение с людьми становится уже невозможным, и чтобы в конечном счете быть готовым потерпеть поражение и быть раздавленным жизнью, расплатившись этой неизбежной ценой за свою любовь к другим людям… Творчество – прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контролировать извне… На свете ведь нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе…*

Запомните… Можно вычислить всё, что ты говорил и думал… Но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается неприступной…

3.

Лил дождь, январский дождь 1949 года. В кабине пахло сыростью, а когда выключили фары – темнота вокруг стала просто первобытной. И – ничего, кроме тихого голоса Оруэлла. Он никуда не спешил уже, он догадывался, что никогда не вернется на Юру, если вообще вернется к привычной жизни. И у него было часа два для последнего разговора с сыном. Пятилетний Ричард запомнил из слов отца всё, что смог. Это был, по словам его, «пронзительный момент»…

Разговор случился по дороге в Ардлуссу, на том восьмимильном разбитом проселке, поросшем кустарником, который и в хорошую-то погоду пружинил под ногами, а ночью, да в ливень преодолеть его было почти невозможно. Темнота, раскисшая дорога, дренажные канавы по бокам, залитые

заподлицо, – всё таило опасности. Больного Оруэлла нельзя было везти по такой дороге, врачи предупреждали родных, что из-за кровотечений его надо беречь от резких толчков. Но и деваться было некуда – писателя ждал частный туберкулезный санаторий *Cotswold* в Грэнхэме, в графстве Глостершир. Везти его решились Эврил, Билл и сын Оруэлла. И вот – проехав полдороги – полетело колесо…

«Именно во время этого горького для него пути с острова, – вспоминал потом сын Оруэлла, – я в последний раз оказался с ним… Эв с Биллом отправились назад, за колесом и домкратом. На безлюдной дороге, в нескольких милях от дома, мы остались в машине вдвоем. Это был один из тех редких случаев интимной близости между нами. Он говорил со мной то о том, то о другом, рассказывал разные истории и даже читал стихи… Он, возможно, предчувствовал, что этот случай – последний. И это был последний случай, когда мы с ним были так близки, исключая мои короткие посещения его в Грэнхэме…»

Дождь, темнота, горящий огонек самокрутки Оруэлла… «Беда взяла свою дань», – скажет позже выросший Ричард об этих днях без отца. Эврил и Билл, которые останутся зимовать на острове, пристроят мальчика в детский сад в маленькой деревеньке Инверласса. Билл, как запомнит Ричард, будет по понедельникам заводить мотор лодки, отвозить Ричарда туда и оставлять до пятницы – его, по договоренности, приютит семья начальника местной почты. Так будет до тех пор, пока Оруэллу не станет лучше и он не убедит родных, чтобы сына перевели в детский сад поближе к санаторию – он хотел видеть его хотя бы по выходным. Ричард, вспоминая те дни, напишет: «Отец уже выглядел мертвенно-бледным, а я, наивный, упорно спрашивал его: “Где ты ушибся?”… Он же, в свою очередь, не хотел, чтобы я отдалялся от него, и в то же время держал меня в марлевой маске и всегда – на расстоянии вытянутой руки…»

В горном санатории *Cotswold* Оруэлл проведет девять месяцев, до 3 сентября 1949 года. «Я должен был оказаться здесь еще два месяца назад, – скажет Астору, – но нужно было закончить эту чертову книгу». Про книгу, не опубликованную еще, Астор был наслышан, и даже начал готовить некое «досье на Оруэлла», чтобы газета его первой дала бы отзыв. Оруэлл ухмыльнулся: его не удивит, если это «досье» придется «переделывать в некролог»… Всё понимал уже про себя.

Сам санаторий оказался вполне комфортабельным. Пациенты жили здесь в разбросанных по парку уютных шале, каждое из которых было рассчитано на одного. В домиках была горячая вода, кровать, стол вплотную к ней, за которым Оруэлл ел (еду

ему приносили прямо в шале), наушники для радио – и стеклянная дверь, ведущая в сад. Плохо, что выходить из шале ему не позволят долгих полгода. Запрещалось даже вставать, а о работе не могло быть и речи. А когда лишь в апреле, в пасхальное воскресенье, ему позволят доковылять до блока посетителей, он и оставит в дневнике последнюю запись. И какую! «Когда люди в этом (самом дорогом) блоке принимают посетителей, – запишет, – невольно слышишь огромное количество разговоров представителей высшего класса. Мои уши давно привыкли к шотландским голосам рабочих, подобной речи я не слышал чуть ли не два года. Род бесплодности, недалекой самоуверенности, постоянного бухающего смеха ни о чем, и надо всем этим – богатство, смешанное с подспудной злостью, – вот люди, которых чуешь инстинктом и которые враги всего интеллигентного, чувствительного и красивого. Не удивительно, что все так ненавидят нас»…

Ничего не изменилось в его душе, в его цельном восприятии мира. Он по-прежнему презирал «хозяев жизни», всю ту накипь из «роллс-ройсов», всех тех свиней, присвоивших себе право высокомерно управлять другими и при этом насмехаться над ними. Кеннет Оллсоп, один из исследователей Оруэлла, возможно, по поводу этой записи подчеркнет уже в 1955-м: «Оруэлл ненавидел именно Их – рассудительных граждан в котелках, всегда готовых помешать вам делать нечто стоящее. И “1984” – не столько антирусский роман: он… направлен против Них – неважно, где Они существуют…»

Лечить его взялся Эндрю Морланд – ведущий британский врач по легочным заболеваниям, пользовавший когда-то самого Д.Лоуренса. Морланд вкатывал Оруэллу огромные дозы последних, в том числе экспериментальных лекарств, но помогало это мало. Астор запомнит: Морланд был настроен, увы, пессимистически. На этот раз был применен противотурберкулезный бактериологический препарат ПАСК, но он лишь ухудшил положение. Тогда решено было вновь прибегнуть к стрептомицину.

В *Cotswold* много чего произойдет. Здесь возьмут начало две главные предсмертные «загадки» Оруэлла, которые и специалисты, и мы, грешные, будем разгадывать по сей день. Здесь возникнет, считайте, из небытия любовь его детства, и здесь он сделает второе предложение женщине, которая станет его второй женой. Наконец, здесь настигнет его наконец оглушительная, воистину мировая слава…

Ни друзья, ни знакомые его, разумеется, не забывали. Заедет Вудкок – он отправлялся в Канаду; Тоско Файвел, который будет

слать ему посылки с фруктами («Я и не знал, – откликнется Оруэлл, – что подобные вещи еще существуют»); ну и, конечно, Варбург, издатель и друг, – с ним разрешится первая загадка, когда роман «Последний человек в Европе» получит окончательное название: «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый». Именно так, словами, он и будет назван в окончательном виде.

Варбург прилетит первым, через две недели. Поминутно высказывая восхищение романом, он обрушит на Оруэлла просто тучу новостей. Скорейшее издание книги – дело решенное, скажет. Верстка будет уже в марте, а сама книга выйдет к июню. Говорил, что выпускать роман будут одновременно в Англии и в Америке, что купить права уже предложено известной американской фирме *Harcourt Brace*. Американцы планировали издать книгу в популярной серии «Клуб лучших книг месяца». Правда, замялся издатель, они хотели бы выбросить из романа «Принципы новояза» и большой кусок под названием «Теория и практика олигархического коллективизма» – главы из книги Эммануэля Гольдштейна. Оруэлл, еще не дослушав, замотал головой: ни в коем случае. Оба фрагмента – органические части рукописи, и сокращать их он решительно отказался, хотя и рисковал потерять большие деньги – ведь публикация романа в знаменитой серии означала признание его бестселлером, бесконечные переиздания, перепечатки отрывков и будущие переводы. Но главное, повторяю, уже в первый приезд Варбурга пошла речь о названии романа. Варбург похвастается потом, что идея нового названия была его. Но это не так! Тому же Муру, литагенту, Оруэлл еще три месяца назад сообщил: «Я *ничего еще не решил. Я склонен назвать роман либо "1984", либо "Последний человек в Европе", хотя, возможно, и придумаю что-нибудь еще в ближайшую неделю или две…»*

Загадкой переименование романа назвал не я. Именно так в 2009 году назвал это давнее решение писателя Роберт Макгрум в статье, напечатанной в Observer. Четверть века назад, когда я впервые занялся Оруэллом, предположений об этой загадке было куда меньше. Собственно говоря, их было всего три, ну, может быть, четыре. Писали, что причиной отказа от заглавия «Последний человек в Европе» стало то, что такой роман – «Последний человек» – уже существовал в английской литературе и принадлежал, как известно, Мэри Шелли. Тоже, кстати, мрачноватая утопия. Утверждали также (и на этом сходились многие), что Оруэлл просто поменял последние цифры года окончания своего романа – 1948 – и вывел на обложке: «1984». Ну, и предполагали, что саму эту дату он, возможно, взял у Джека

Лондона. Я, помню, предположил, что Оруэлл, писатель-реалист, не захотел относить свои «картины» *слишком надолго вперед, как бы говоря, что, если до этого рубежа мир не превратится в нечто похожее, значит, человечество минует кризис. И дотошно проверял: действительно ли роман Оруэлла был похож на «Железную пяту» Дж.Лондона?*

Мог ли Оруэлл не знать параллелей своих с этим романом? Да нет, конечно! В роман Оруэлла как бы «перешли» и некоторые идеи Лондона, и даже иные термины. «Капитализм почитался социологами тех времен кульминационной точкой буржуазного государства, – пишет Дж.Лондон в своем романе. – Следом за капитализмом должен был прийти социализм… цветок, взлелеянный столетиями, – братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу… капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег – олигархию». Это было сказано в начале прошлого столетия, и подчеркивалось: «Трудно даже представить себе ее характер и природу». Оруэлл же не только наблюдал потом «природу» этой олигархии, не только на собственном опыте пережил тенденции, которые ощущали и Е.Замятин, и О.Хаксли, но к 1948 году понял: на земле может родиться нечто большее – власть «олигархического коллективизма», власть могущественных партий, сросшихся с финансовыми кланами.

И «Братство» (как «Эра Братства» в «Железной пяте»), и бесследное исчезновение людей (у Оруэлла их «испаряли»), и такое понятие, как «прол», в смысле «пролетариат», – всё это «вынырнет» в романе «1984». И если в «Железной пяте» Джек Лондон говорил, что общество состоит из трех крупных классов – богатейшей плутократии, среднего класса и пролетариата, – то в книге Гольдштейна, которую в мире «1984» читает Уинстон Смит, Оруэлл назвал их «Высшей, Средней и Низшей группами людей». Параллели двух романов легко читались. Упоминался у Джека Лондона и год, вынесенный Оруэллом в название романа. В «Железной пяте» это год построения второго крупнейшего города олигархов – Эсгарда. И в чем, спросите, тогда «загадка анаграммы»? Да в том, что появляются всё новые и новые версии заглавия романа…

Макгрум пишет, например, в 2009-м, что Оруэлл «имел в виду столетие Фабиановского общества, основанного в 1884 году». Другие предполагают, что это дань Оруэлла… юмористическому роману Г.К.Честертона “Наполеон из Ноттингхилла”, действие которого, как известно, разворачивается в Лондоне в 1984 году». Честертон, если кто не читал его роман, высмеивал в нем революции, ибо все они доктринальные, и

писал, что Лондон в 1984 году… останется таким же, каким был в 1904-м. Честертона Оруэлл не выносил и критиковал за интеллектуальную и моральную нечестность, за то, что его «политический католицизм» очень схож с коммунизмом, а позже – и с фашизмом. Но именно этот роман Честертона и дата в нем – 1984 год – могли, пишет Макгрум, стать неким знаком-аналогом для исторического возражения писателю-предшественнику.

Другой исследователь творчества Оруэлла – Питер Дэвисон – пишет, что 1984 год как-то связан с годом рождения сына писателя, Ричарда Блэра, в 1944-м, и отмечает, что в рукописи романа повествование происходит последовательно в 1980-м, 1982-м и, наконец, в 1984 году.

Но когда же со временем стали появляться всё новые и новые материалы, связанные с жизнью Оруэлла, то неожиданно обнаружилось: его первая жена Эйлин, еще до встречи с ним, еще в молодости (я уже упоминал об этом) как-то написала стихотворение, которое так и озаглавила – «Конец века, 1984». Оно было написано Эйлин в 1934-м, в ознаменование пятидесятилетия средней школы, оконченной ею когда-то. Ничего, казалось бы, особенного, совпадение, – но в стихотворении не просто говорится о будущем: оно полно футуристических видений. Эйлин говорит в нем и об использовании в будущем «контроля над сознанием», и об «уничтожении личной свободы с помощью полиции». Я не могу перевести его, я не поэт, но речь в нем идет о каких-то «телепатических станциях», «фиолетовых лучах» и «синтетических ветрах», о некой «психической кремации», под воздействием которой умрут религия и философия, и о том, что прошлое может сблизиться с будущим. В стихотворении Эйлин фигурируют Вергилий, Гораций, Шекспир, Эйнштейн, утописты Бэкон и Уильям Моррис и даже, представьте, Олдос Хаксли. Всё говорит о том, что стих был написан не столько по поводу юбилея школы, сколько как некое «воспоминание о будущем». И, конечно, многое объясняет в стихотворении имя Хаксли, ибо как раз накануне, в 1932 году, тот опубликовал свою антиутопию «О дивный новый мир». Загадка? Похоже…

Я склоняюсь к тому, что свою роль сыграли все мотивы. И гениально, на мой взгляд, что наш «пророк бедствий» отнес предсказания свои не в следующий XXI или XXII век, как делали его предшественники, даже не в 1990-й или 2000 год, а именно в 1984-й – ведь тем самым он как бы предоставлял своим читателям возможность и ужаснуться кошмарами его будущего, и реально дожить до не столь уж и далекого года. Он ведь напишет как-то: «Политические предсказания, как правило, ошибочны,

потому что их авторы принимают желаемое за действительное – иногда они могут служить симптомами, особенно если резко меняются. И часто их выдает дата…» Дата! Но, наблюдая и в конце XX века, и в начале века нынешнего, как предсказания писателя всё продолжают и продолжают сбываться, начинаешь понимать: пролонгация пророчеств Оруэлла была, кажется, запланирована им. Перечитывая роман, я вдруг замер, едва не раскрыв рта. Ведь смотрите: на первых страницах романа герой Оруэлла Уинстон Смит, решив вести тайный дневник, вдруг задумывается: а для кого он будет писать его? Помните: «Как можно обращаться к будущему?.. Если будущее станет таким же, как настоящее, оно не захочет его услышать; если же оно будет отличаться от сегодняшнего дня, все его беды потеряют смысл… Он почувствовал себя призраком, говорящим правду, которую никто никогда не услышит… Он обмакнул перо: *Будущему или прошлому времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга, когда они не одиноки, – времени, когда сделанное нельзя назвать несделанным. Из века однообразия, из века одиночества, из века Большого Брата, из века двоемыслия – привет!..*»

«Будущему или прошлому» – как же просто. Назвав роман годом 1984-м, Оруэлл заранее знал, что для современников его это будет, несомненно, их будущим, а когда календарная дата минует обозначенный рубеж, то же самое станет для гипотетических читателей уже прошлым! Не отсюда ли его обращение к будущему или прошлому? Ведь Уинстон, его герой, знал уже главный «принцип Партии»: «Кто контролирует прошлое – контролирует будущее, кто контролирует настоящее – контролирует прошлое». Вдумайтесь: это ведь тоже круг! Заколдованный круг вечного контроля власти над своими рабами!.. «Вечный год», год как символ, точно назовет «дату романа» Виктория Чаликова. И вечный круг, добавим, Оруэлла, возвращающегося к одной и той же теме. «Уничижительно, предельно-честно и безнадежно-страстно раскрытый Оруэллом процесс борьбы за власть с помощью революции в “Скотном дворе” и удержания власти ради самой власти в “1984” на самом деле, – напишет потом Малькольм Маггеридж, – демонстрирует наш общий путь в обезличенное общество, где единственная правда – это лозунги, единственный долг – конформизм, и единственная мораль – власть…»

Оруэлл чуял этот «будущий путь» человечества, а навещавшие его в санатории люди – еще нет. В этом разница. Может, потому его и злил «бу́хающий смех» посетителей санатория и их «род недалекой самоуверенности»? Он размышлял

над этими людьми, он постоянно думал о них и о мире, складывавшемся на его глазах. Более того, фиксировал свои наблюдения в еще одном, потайном «голубеньком блокноте», из-за которого его уже в наши дни назовут страшным словом «стукач». Вторая загадка, всплывшая в санатории, которую разгадывают и поныне.

4.

«Мир есть не что иное, как обширный заговор негодяев против честных людей», – сказал как-то поэт Джакомо Леопарди. Это – и про Оруэлла, про вторую предсмертную загадку его, которую «интеллектуалы» всех стран и народов подло мусолят по сей день.

«Стукач», «доносчик», «оборотень», «предатель» – о, как встрепенулась, как обрадовалась чернь по обе стороны океана! Даже наш «Коммерсантъ» причастился – опубликовал статью под говорящим названием «Джордж Оруэлл, честный ябедник». И закрутилось, и завертелось: некто В.Шапинов, в 2002 году избранный секретарем по идеологии ЦК российского комсомола, вдруг публикует в 2009-м в «Иностранной литературе» статью «Джордж Оруэлл: стукачество, плагиат, социальный заказ». Ему там же вторит, уже в 2013 году, А.Янгалов: «В недавно рассекреченном досье МИ-5 на Оруэлла есть текст его доноса на ведущих британских интеллектуалов того времени» – хотя никакого досье, да еще в МИ-5, нет. И он же, Янгалов, добивает Оруэлла – с ума сойти! – в солидных «Вопросах литературы» в июне 2014 года, где прямо пишет: «Оруэлл – фашист…»; он «имел тесные родственные и дружеские связи с фашистами, фашистом считали его некоторые сослуживцы…». Всё, разумеется, ложь! Но ощущение такое, что «машина времени» перенесла нас в хрущевские, а может, и в сталинские времена…

Что же случилось в санатории *Cotswold* 29 марта 1949 года, за десять месяцев до смерти Оруэлла? И с чем, вернее, с кем связывают тот эпизод, который и ныне называют загадкой? Так вот, общественно случай был связан с идущей в мире холодной войной, а лично – лично сопряжен с хорошенькой, безумно нравящейся Оруэллу женщиной – с Селией Кирван, той самой сестрой-близняшкой жены Кёстлера, с которой он познакомился четыре года назад. Селия как раз в это время и написала ему письмо…

Вообще, в санатории и почти одномоментно его «догнали» все главные женщины его: Джасинта Баддиком, его детская

любовь; Селия – та, даже случайное прикосновение к которой пронзало его «электрическим током»; и Соня Браунелл, которая только что вернулась из Парижа. Так «под занавес», в кульминации, выходят вдруг все главные героини пьесы, чтобы сыграть всё объясняющий последний акт драмы. Все, кроме Джасинты, навещали его в Грэнхэме. Но только одна из них, Селия, помимо обоюдной симпатии, будет иметь отношение и к холодной войне, и к тому «голубенькому блокнотику» писателя, который не дает покоя оруэлловедам. И случайно, конечно, но показательно: все три дамы «из прошлого» возникли в его шале до публикации романа «1984». Он, больной и лежачий, повторю, уже знал про смертельные капканы завтрашнего дня, а они – еще нет. И, значит, не знали ничего и про него…

Знал про него почти всё Фредерик Варбург, издатель. Именно он, кстати, дал адрес писателя Джасинте Баддиком. Она, прочтя «Скотный двор» и узнав, что Оруэлл – это «ее Эрик», попросила Варбурга помочь ей найти его. Сам Варбург о Джасинте, кажется, нигде не пишет, а вот про Оруэлла до нас дошла его «служебная записка», в которой тот писал о состоянии здоровья Оруэлла, о его невозможности работать и тем не менее – о творческих планах его. О словах, друзья, – да, о тех двух миллионах слов, которые он написал и хотел написать еще… Записку Варбург эту снабдил грифом «Конфиденциально», и в ней – да, в ней была правда…

«**Здоровье.** Нынешнее состояние Джорджа, конечно, шокирует, но он полон надежд и готов в течение ближайших 12 месяцев делать всё, что говорит… врач. Если не будет делать этого, то, на мой взгляд, нам мало на что можно надеяться…

Продажи и перспективы. Я рассказал ему о ситуации с книгой и предположил, что на основе британских и американских авторских прав он сможет получить очень крупные суммы, скорей всего, от 10 и 15 тысяч фунтов. Он довольно спокойно сказал мне про аудиторов, которые занимаются его финансовыми делами, и сказал, что они уговорили его создать общество с ограниченной ответственностью. Пока этого нет, он не будет стремиться получить дополнительный выигрыш от продаж, и я собираюсь поручить секретарше издательства задержать пока выплату 800 фунтов стерлингов… Само собой разумеется, выплата будет задержана лишь на месяц или два…

Литературная работа. Он вернулся наконец к идее выпуска нового тома своих эссе… Он мог бы отдать нам сразу весь материал, объемом примерно в 40 тысяч слов, но хотел бы включить пару новых, ненапечатанных работ… Наконец, я спросил его о новом романе, он уже сложился в его воображении:

роман от 20 до 40 тысяч слов, который станет повествованием скорее характеров, чем идей, на фоне его бирманского прошлого. Естественно, Джордж был, как обычно, сдержан, но тем не менее говорил о нем долго[82].

Способность писать, – заканчивает записку Варбург. – Дело превращения идеи хотя бы в черновик, по словам и его, и доктора Морланда, – это та работа, которую он не сможет позволить себе в течение даже ближайших месяцев. Я сомневаюсь, что он сделает это до осени. Вот те основные вопросы, которые мы обсудили, и я очень вдохновлен посещением его. Даже при самом плохом раскладе у него есть 50 на 50 шансов поправиться и прожить еще несколько лет. Всё зависит теперь от него, и он понимает, о чем идет речь и что ему следует делать».

Не очень оптимистично, согласитесь? И ничего, кроме новых тысяч и тысяч слов, которые Оруэлл планировал написать. На деле шансов у него почти не было. Лучше всех это понимал Морланд, врач. Слабой надеждой была и вера в суперновое средство, в «американское чудо» – редкое лекарство ауреомицин, добыванием которого вновь занялся Астор. Возникнет в разговорах и Швейцария – высокогорный туберкулезный санаторий, пребывание в котором Оруэлл мог уже (по деньгам) позволить себе. И поразили меня в записке издателя даты: все эти «несколько месяцев», «до осени» и даже «несколько лет», которые Оруэлл сможет прожить. Ничего этого для работы у него уже не было.

Даты! Даты символические – обозначенные в романе «1984», и даты реальные, – вот что и впрямь интересно. 8 февраля 1949 года, потом 13 февраля, потом 14-е. Именно в такой последовательности он получил в санатории письма от тех трех женщин.

Первое, от 8 февраля, было от Джасинты. 14-го он уже отвечает ей. В «санаторной переписке» (а было несколько писем и один телефонный разговор) Оруэлл призна́ется, что рад ее появлению, что часто думал о ней и ни в чем не упрекает свою давнюю любовь. Она же нашла его книги «унылыми, низкими и (кроме “Скотного двора”) вовсе не теми произведениями, которые ожидала от него». И, говоря по совести, именно она, прочтя потом роман «1984», первой заметит, что в мире много больше страданий, «и не во всех из них… следует обвинять Большого Брата…». Оборвет переписку она. Но Оруэлл в последнем письме к ней, в день выхода романа, иронизируя по поводу людской веры в жизнь после жизни, тем не менее обронит странную фразу: «Ничто никогда не умирает…» Джасинта же через три дня после этого, прочтя роман, отправится с книгой к матери в Шиплейк, и,

как напишет в воспоминаниях «Эрик и мы», мать очень огорчится одним: болезненным пессимизмом произведения. «Она любила Эрика, – напишет Джасинта, – и потому ее очень расстроило пораженческое уничтожение всякой индивидуальности в кошмарном мире “1984”. Поэтому, когда в воскресенье вечером я покинула ее, она собиралась писать письмо Эрику – и как раз о том, что *ничто никогда не умирает*». Письма не напишет – через три дня скончается. А Джасинта через много лет в книге об Оруэлле обвинит в этом «своего Эрика»: его роман, напишет, и убил ее мать. Именно потому, закончит она, «я не ответила на его последнее письмо…». И, может, потому, добавлю я, она и придет увидеть Оруэлла. Но – в гробу…

Ничего этого Оруэлл не узнает. Но сама жизнь – и в прямом, и в переносном смысле – ворвется в его шале, когда на пороге возникнет всё еще хорошенькая, богемно всклокоченная блондинка Соня Браунелл. Он, пишут, обрадовался ее появлению – ее щебетанью, рассказам об общих знакомых, мнениям своим и чужим, да просто, извините, сплетням. Соня только что рассталась в Париже с Морисом Мерло-Понти, ей надо было как-то устраивать свою жизнь, а кроме того, их общий с Оруэллом друг Сирил Коннолли и финансовый владелец журнала *Horizon* Питер Уотсон как раз в это время собрались закрывать издание. Правда, в это же время в ее жизни возник очередной любовник. Мальчишка, конечно, помладше ее, но, разумеется, уже «гений кисти», да к тому же внук самого Зигмунда Фрейда – да, тот самый Люсьен Фрейд, о котором я уже говорил. Он мог встретиться ей в редакции (к нему благоволил Питер Уотсон); мог столкнуться на вернисажах (у него была уже персональная выставка в самом престижном зале Лондона); наконец, оба могли «зацепиться» взглядами в баре *French-House*, в богемной забегаловке *Kolonn Room*, а может, и в ночном клубе *Ghoul*, где вместе с художниками и поэтами бывала и столичная аристократия: графья, герцогини, даже принцесса Маргарет, сестра королевы.

Люсьен – а он через Соню познакомится с Оруэллом за пару месяцев до смерти писателя – был фигурой не только донельзя экстравагантной, но и заметной в Лондоне. Высокий курчавый красавчик, вечно в черном длинном пальто с полоской меха у шеи – в пальто «с плеча» знаменитого деда, – с привязанной к запястью эпатажа ради живой птичкой пустельгой, свирепо вращавшей хищными глазками, Люсьен, пишут, не пропускал ни одной юбки в Паддингтоне, где кучковались художники, наркоманы и проститутки. Последних, а также стриптизерш, продавщиц, прачек, цветочниц он затаскивал позировать ему

голыми на старом продавленном диване в своей мастерской, после чего на том же самом диване и расплачивался с ними «любовью».

Я говорю о нем столь подробно, ибо Соня, безошибочно выбирая в любовники «самых талантливых», не ошиблась и на этот раз. Ныне Люсьен Фрейд (а он скончался вот только что, в 2011 году) не просто культовый живописец Запада – один из самых знаменитых. Достаточно сказать, что одна из его картин, «Спящая домработница» – мясистая обнаженная тетка, во всю ширь развалившаяся как раз на том протертом диване, – была продана за 33 миллиона долларов: абсолютный мировой рекорд продаж при живом еще художнике. Что говорить-доказывать, если семья самой королевы долго уговаривала Фрейда нарисовать портрет Елизаветы, и он согласился, но при условии, что королева приедет к нему в ту самую мастерскую. И приезжала, представьте: он писал ее почти полтора года! А вот писать принцессу Ди и даже папу Иоанна Павла II отказался. Может, и потому, что любил повторять афоризм деда: «Животные честны, а человек – врун и трус…» Наконец, я говорю о любовнике Сони потому, что в январе 1950 года он согласится сопровождать с Соней ее мужа, Оруэлла, в тот самый санаторий в Швейцарии. Уже «мужа», ибо, болтая с ней в шале, Оруэлл и предложит ей, во второй уже раз, выйти за него. Он надеялся, что его книги попадут в надежные руки. Ну и, конечно, Ричард, сын, заботу о котором могла бы взять на себя Соня…

В общем, Соня была нужна ему. Но был ли нужен ей он? Она же видела, во что он превратился. Да и врачи не скрывали правды. Словом, поначалу Соня вновь отвергнет его предложение. Но когда в очередной приезд он скажет, что решил сделать ее наследницей, что передаст ей все права, когда, наконец, к замужеству ее стал склонять Варбург, Соня – неглупая девушка – согласилась. Любви, разумеется, не было, но мог появиться некий смысл ее будущей жизни. Она и впрямь, еще при жизни мужа, развернет бурную деятельность, взяв на себя заботы с издателями и переводчиками. Короче, в июле, после триумфального выхода в свет романа (шестьдесят рецензий уже в первые недели!), она согласится. А Оруэлл, как говорится, «хватал за горло ветер», хотя Астору напишет: «Я собираюсь опять жениться. Я полагаю, все будут в ужасе, но мне это кажется хорошей идеей…»

Но не метафорический «ветер» – сама судьба схватила его за горло, когда в *Cotswold* приехала Селия. Она, как и Соня, тоже вернулась из Парижа и, как Джасинта, первая написала ему. Вообще, вся история с ней и сегодня читается как детектив. Воображаю, как она, «дыша духами и туманами» (духами – из

Парижа, а туманами – разумеется, из Лондона), ранней весной вошла в келью Оруэлла, чтобы остаться в его жизни уже навсегда.

Собственной персоной Селия возникнет в его шале на три месяца раньше, чем он ожидал, – 29 марта. Сначала, в первых числах февраля, он неожиданно получил от нее письмо. «Дражайшая Селия, – немедленно отписал, – как же прекрасно знать, что вы снова в Англии». Тогда же сообщил: «Я пошлю вам свою новую книгу, когда она выйдет (я думаю, это случится в июне), но не уверен, что она вам понравится». И перед фразой «С бесконечной любовью» написал, что надеется «увидеть ее, возможно, летом» – летом предполагал встать на ноги, да и получше «выглядеть». Но очередное письмо Селии озадачило: любимая женщина просила о помощи. Писала, что работает теперь в министерстве иностранных дел, в созданном недавно департаменте информационных исследований, который связан с прессой, и занимается, как туманно выразилась, противостоянием «штормовым волнам» коммунистической пропаганды. Письмо ее, по-моему, не опубликовано, но, судя по ответу Оруэлла, она и ее начальники хотели бы, чтобы он включился в это дело и, может быть, написал бы для них «нечто подходящее».

Не уверен, что Оруэлл знал, что департамент Селии был секретным, что это был закрытый филиал британского МИДа, некий «спецсектор антикоммунистической пропаганды, отвечавший за подрыв попыток СССР раскачать общественное мнение на Западе» (так пишут сегодня британцы). Впрочем, современные оруэлловеды (Скотт Лукас, например) считают, что департамент был «довольно безобидной организацией» и чуть ли не «научной кафедрой исследования информации». Но, как бы то ни было, Оруэлл как «джентльмен» сказал, что всегда рад помочь ей, но написать для них ничего не сможет: и врачи запрещают, да и не пишет он «под заказ». И, конечно, страшно удивился, когда почти сразу, 29 марта, Селия неожиданно возникла на пороге его шале.

Потом, в официальном отчете о встрече, Селия «доложит», что Джордж «восторженно и от всего сердца одобрил наши цели». Повторил, что ничего не может написать сам, но назвал несколько человек, которые могли бы это сделать. Через неделю, 6 апреля, он и впрямь пошлет ей письмо, где «аккуратным тонким почерком» перечислит несколько фамилий. «Мне не приходят в голову никакие новые имена, которые можно было бы добавить к возможному списку писателей, разве что ФРАНЦА БОРКЕНАУ (в *Observer* знают его адрес) и ГЛЕБА СТРУВЕ (он находится сейчас в Калифорнии), русского переводчика и критика. Конечно, есть масса американцев, – пишет, – имена которых можно найти в

нью-йоркском *New Leader* и в *Partisan Review*». А дальше в том же письме предлагает составить список – не тех, кто напишет для них «заказуху», а кому как раз «не следует доверять писать для них». «Я мог бы, – неосторожно пишет он, – если это покажется ценным, дать тебе список журналистов и писателей, которые, по моему мнению, являются скрытыми коммунистами, попутчиками или же склонными к этому и не внушают доверия как пропагандисты». Добавил, правда, что «ему придется послать кого-нибудь за блокнотом, который остался дома», и предупредил: «Если я и передам вам этот список, то на строго конфиденциальной основе, ибо понимаю, что могу невольно клеветнически обозначить кого-либо как “попутчика”»…

Саму эту историю, всплывшую в конце 1990-х, раскопал Тимоти Гартон Эш. Хотя, если быть скрупулезно точным, первым упомянувшим ее, правда вскользь, был Бернард Крик в своей книге еще в 1980-м. Но именно Эш 25 сентября 2003 года опубликовал в *New York Review of Books* большую итоговую статью «Список Оруэлла». Статья породила бездну комментариев и публикаций в Старом и Новом свете, которые просто состязались в хлесткости заголовков: «Большой Брат министерства иностранных дел», «Черный лист Оруэлла», «Социалистическая икона, ставшая информатором». По словам Эша, эта «одна из последних загадок Оруэлла» была открыта дочерью Селии Ариан Банкес «в бумагах матери, после ее кончины, и, – пишет Эш, – она и пригласила меня написать об этом».

Селия, искусительница, вцепилась, надо сказать, в Оруэлла довольно крепко. Письмо Оруэлла она передала своему начальнику Адаму Уотсону, который написал на нем: «Пусть миссис Кирван обязательно попросит от мистера Оруэлла список скрытых коммунистов. Пусть “рассмотрит его конфиденциально по каждому” и отправит ему обратно спустя день или два…»

Селия так и сделала. Уже 30 апреля она напишет: «Дорогой Джордж, огромное вам спасибо за ваши полезные предложения. Мой отдел очень заинтересовался ими… Меня попросили передать вам, что мы были бы очень благодарны вам, если вы позволили бы нам взглянуть на ваш список попутчиков и диссидентствующих журналистов…» Письмо ее, хранящееся ныне в машинописной копии в архиве ведомства, заканчивалось: «Всегда ваша, Селия».

Оруэлл тоже не терял времени. Именно Ричарда Риса он попросил найти в его бумагах и прислать ему тот «голубенький блокнотик в четверть листа», в котором было 42 страницы и куда он заносил свои «соображения» о людском раскладе сил – о политическом раскладе. Вел его с середины 1940-х – и для себя.

Видевшие блокнот пишут, что все имена в нем и едкие мнения были в «большом беспорядке». Эш напишет: Оруэлл всего лишь «пытался разобраться, кто есть кто на самом деле: кто прямой член компартии Британии, кто, по его догадкам, агент ее, а кто просто сентиментально сочувствующий». «Этот блокнот, с которым я без ограничений смог ознакомиться в архиве Оруэлла, – свидетельствует Эш, – говорит о сомнениях писателя при заполнении его. Он содержит записи и пером, и карандашом, какие-то звездочки, красные и синие пометки против иных имен. В нем было 135 фамилий, из которых десять вычеркнуты либо потому, что человек умер, как бывший мэр Нью-Йорка, либо потому, что Оруэлл решил позднее, что они не были скрытыми коммунистами. Скажем, историк Тейлор зачеркнут, а рядом – специально выделенное замечание Оруэлла: “Занял антикоммунистическую линию на конференции во Вроцлаве”». Есть подобный комментарий и против фамилии американского романиста Эптона Синклера, который отказался от своего мнения, и против Стивена Спендера («Сентиментальный сочувствующий, склонный к гомосексуализму…»), а против имени Пристли вообще поставлена непонятная красная звездочка – и знак вопроса.

Зачем это было нужно писателю – можно лишь предполагать. Возможно, для четкой ориентации в будущих политических статьях, возможно, в поиске вероятных союзников «по взглядам», а может, и для нового романа, где кто-то из «списка» мог стать прототипом. Что гадать? Могу лишь напомнить, что за два года до этого, в статье, опубликованной в *New Leader*, Оруэлл неожиданно написал про так называемых «агентов влияния» в своей стране: «Очень важно касательно этих людей – и это крайне трудно… определить, кто из них искренен, а кто нет. Они, безусловно, делают много вредных вещей, особенно вводя в заблуждение общественное мнение в отношении природы марионеточных режимов в Восточной Европе, но не надо и торопиться в утверждении, что все они придерживаются одного и того же мнения. Вероятно, некоторые из них действуют только под влиянием собственной глупости». И – могу дополнить: обстоятельный и даже педантичный Оруэлл и раньше составлял для себя подобные списки. Скажем, в 1942-м, в очередном «Письме из Лондона» в *Partisan Review* написал: «Я думаю, что мог бы составить, пусть и примерный, список людей, которые перебегут на сторону нацистов, если немцы оккупируют Англию». Предположи мы, что он опубликовал бы тогда такой список, – никто бы и ухом не повел. Я вообще считаю, что «блокнотик» его был родом записной книжки для памяти, дневника писателя. И

чем этот список отличается, скажем, от сбора материалов Солженицыным для «Архипелага ГУЛАГ»? Ведь и у нашего классика была своеобразная «картотека» как на заключенных, прошедших лагеря и ссылки сталинской эпохи, так и на их мучителей и доносчиков, которые, как и у Оруэлла, были и среди политиков, и среди деятелей культуры, и среди охранителей всех мастей. Примеры можно множить. А уж если сравнивать убийственные характеристики блокнота Оруэлла с подобными записями в его же дневниках, то нельзя не поразиться их схожести. В блокноте против иных фамилий Оруэлл писал: «мягкотелый и дурак», «довольно глуп», «ограниченный», «дура, но очень богата» (записи явно для себя). А в дневниках в разные годы точно так же он характеризовал для себя таких же конкретных людей. Скажем, помянув знаменитого уже ирландского драматурга Шона О'Кейси, припечатал: «Очень глуп». И что здесь, скажите, от доноса?

Наконец, не будем забывать, подчеркнет тот же Эш, что все писатели по своей природе – «соглядатаи», и доверяют порой своим записным книжкам «самые тайные вещи». «К сожалению, – пишет Эш, – из-за давности лет – и это выпускается из внимания – размыто важное отличие между личным, интимным блокнотом Оруэлла и списком, который он передал Селии. Любой читатель, в зависимости от вкуса, может быть шокирован или удивлен тем, что́ именно он записывал лично для себя. Он, например, говоря в своих списках о каком-то налоговом инспекторе, в духе черного юмора, который был свойственен ему, записал: "Эти налоговые инспектора – просто блядские коммунисты"». И что, Оруэлла осуждать за это? И разве это не попытка разобраться в своих противоречивых чувствах к тем, кого знал?.. Более того, он, оказывается, разбирался в фигурантах блокнота не без помощи друга Риса. Они вместе обсуждали, сплетничали, если хотите, об иных общих знакомых. Пусть бросит в них камень тот, кто без подобного греха. Рис через двадцать лет, но задолго до «скандала» со списком, в письме хранителю архива Оруэлла в Лондонском университете Яну Энгусу напишет, что во время посещений Эрика в санатории они даже придумали своего рода «комнатную игру», «обсуждая, кто является платным агентом и чьим именно, и оценивая, до какой степени предательства избранные нами ненавистные объекты были готовы дойти». И шутливо, и всерьез гадали, кто из «известных персон мог бы оказаться предателем в случае вражеского вторжения или, скажем, наступления диктатуры». К примеру, в письме к Рису еще от 17 апреля 1949 года Оруэлл обсуждал с ним кое-кого из будущего списка «для Селии». В частности, писал: «Коула (то есть

историка Джорджа Коула. – *В.Н.*) *я*, наверное, не включу в список, но в случае войны я был бы в нем менее уверен, чем, допустим, в Ласки». Про последнего, Гарольда Ласки, теоретика лейбористской партии и профессора Лондонской экономической школы, написал, что не думает, будто бы он, зная какую-нибудь военную тайну, передал бы ее русской разведке. «Он не решился бы быть предателем в силу своей природы, но настоящий коммунист, конечно, передаст… Впрочем, все эти дела, – подчеркнул Оруэлл, – очень сложны, и тут никогда не сделаешь больше того, чем просто выскажешь суждение…»

«Нетрудно представить себе, – пишет Эш, – как Оруэлл, тощий и несчастный, лежа в кровати и листая блокнот, раздумывал, возможно, добавить ли синий знак вопроса вместо красной звездочки к той или иной фамилии, зачеркнуть ли имя Пристли или нет, и как поведут себя Коул или Ласки, Кроссман или Спендер в случае реальной войны с Советским Союзом, и кого, наконец, из 135 имен в блокноте “передать” Селии?..»

Забегая вперед, скажу: Селия еще в девяностых годах, когда появились первые намеки на «доносительство» святого Джорджа, успела успокоить будущих критиканов: «Я думаю, – написала, – что Джордж был абсолютно прав… Конечно, все теперь думают, что те названные им люди были уже на рассвете расстреляны нами. Так вот, единственное, что могло случиться с ними, – это то, что их всего лишь *не попросили бы* написать что-либо для департамента информационных исследований…»

Обстоятельный Майкл Шелден, уже ныне просмотрев «список», утверждает: «Ни один из перечисленных в нем не пострадал из-за него в дальнейшем…» А вот Оруэлл, добавлю от себя, – пострадал! Ведь какой вой и улюлюканье разнеслись по миру! «Гнусность», «предательство», «пятно на белых одеждах». Совсем по Пушкину: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!» Вот она, радость обывателя всех времен и народов. И, кстати, Пушкин сказал это про осужденного тогда обществом британца – про Байрона. И точно так же, уж если мы забежали вперед, особо злобствуют ныне и некоторые наши соотечественники. Их, «моралистов», хотелось бы спросить: уж не наша ли общая родина была первой в XX веке как раз «по доносам»? И так ли был безобиден «результат» их?..

Тимоти Эш, реконструируя «ситуацию», пишет: «К 1949 году, к окончанию своего последнего романа, Оруэлл, наблюдая за развитием ситуации в Европе, видел, что начинается холодная война и “мир ослеплен социализмом”. Отчасти это “ослепление” было благодарностью СССР за огромную роль в разгроме фашизма, но отчасти было и результатом “ядовитой деятельности

множества наивных и сентиментальных поклонников советской системы", скрытой работы реальных коммунистов и платной службы самых настоящих "шпионов Советов". Более того, были те, кто еще недавно *верили в коммунизм*, но отвернулся от него в отвращении, такие как Кёстлер, Стивен Спендер, Ричард Кроссман и Иньяцио Силоне. Эти писатели были особенно важны для левых антикоммунистов вроде Оруэлла, поскольку были убеждены, *как и он сам*, что, "если мы хотим возродить действительное социалистическое движение, необходимо уничтожить советский миф…" (курсив мой. – *В.Н.*)».

Короче, получив 30 апреля записку от Селии, Оруэлл отобрал из блокнота 38 фамилий. «Это не большая сенсация, – написал, – и не думаю, что это откроет вашим друзьям нечто, что они не знали и так. Тем не менее надо знать тех, которые, как и перечисленные, могут оказаться вдруг ненадежными. Если бы это было сделано раньше, я бы, например, не допустил таких, как Питер Смоллетт[83], на важные пропагандистские должности, где они, вероятно, и принесли нам наибольший вред…» И вновь повторил: даже в нынешнем виде этот список может содержать невольные «наветы», и потому попросил «дражайшую» Селию «вернуть ему письмо в обязательном порядке»…

2 мая Селия приехала к нему за списком, а уже 4 мая тот был в министерстве иностранных дел Британии. Список включал три графы: имя, работа и краткая характеристика. А весь «голубой блокнот» был опубликован в конце 1990-х, когда вышло двадцатитомное собрание сочинений писателя. Там, рядом с дневниками Оруэлла, и был напечатан полный перечень и «красных», и «белых», за исключением, кстати, чуть больше тридцати фамилий людей, которые были живы к выходу последнего тома сочинений[84]. В нем были и уже упомянутые «фигуранты»: тот же Исаак Дойчер, и актер Майкл Редгрейв, которого Оруэлл отнес к коммунистам (по иронии судьбы Редгрейв будет играть потом в фильме, поставленном по роману «1984»), и московский корреспондент *New York Times* Уолтер Дюранти. Комментарии Оруэлла к ним были действительно безжалостны: певец Пол Робсон «очень не любит белых»; Джон Стейнбек – «фальшивый, псевдонаивный писатель»; Джон Пристли «антиамерикански настроен, делает большие деньги в СССР». И ведь, подчеркну вновь: ни один волос не упал с голов тех, кого Оруэлл, так сказать, «выдал». Лейборист Том Дриберг, про которого Оруэлл написал, что его «обычно причисляют к "скрытым" коммунистам», хоть и стал впоследствии реальным и глубоко скрытым советским агентом под кодовым именем «Лепаж», тем не менее закончил жизнь знаменитым писателем,

членом парламента и пэром Англии. А Э.Карр, романистка Н.Митчисон («глупо сочувствующая»), актриса Кэтрин Хепбёрн, да и Пристли – все они сделали успешную карьеру. «Нам же “список Оруэлла”, – как бы подытожит уже Майкл Шелден, – дает наглядное ощущение контекста, в котором работало мышление Оруэлла. Его первые реакции… раскрывают глубокое неприятие современных ему левых и смутные надежды на новые формы “демократического социализма”… Он никого не предал… Этот перечень именно был “черным списком”, это были люди, которых Оруэлл считал лжецами – сборищем тех, чья деятельность и влияние в обществе требовали противоборства и чьи возможности могли нанести обществу вред…» Да и порицают его сегодня, как пишет уже Кристофер Хитченс, не столько за то, что он вел список, сколько за то, что «включал в него не тех людей…».

Во всей этой истории я скрупулезно следил за датами этой последней «загадки», хотя понимаю теперь: надо было бы следить за чувствами. Ведь почти все сходятся во мнении, что если бы в шале к Оруэллу вместо Селии вошел «чиновник из министерства, в котелке и костюме в полоску», как пишет тот же Эш, то писатель вряд ли передал бы ему что-либо. «Единственным объяснением принятого им решения, – считает Эш, – является его любовное отношение к Селии». Под «пыткой любви» отступил Оруэлл от своего правила не связываться с государственной пропагандой. И, кажется, напрасно. Если судить по дальнейшей переписке, то отношение Селии к нему, увы, становилось всё прохладней. У нее назревал роман с одним широко известным ныне человеком как раз в том департаменте, где она работала. А Оруэлл? Он сделал свое дело. Мы знаем лишь, что 13 мая он поблагодарил ее в письме за посланную ему бутылку бренди. Но «вернула ли она ему список, если приходила? – задается вопросами Тимоти Эш. – Был ли разговор по поводу списка в отделе, где работала Селия, и что было сказано в нем? Наконец, что было дальше?..»

Вопросы, вопросы… Любовь, пишет Эш, – наиболее «деликатная часть проблемы». В письмах Оруэлла к Селии ощущается почти болезненная тяга к ней, сильное чувство к привлекательной женщине. «А если посмотреть на эти отношения шире, – заканчивает Эш, – то нельзя не учитывать почти отчаянную необходимость смертельно больного человека в эмоциональной женской поддержке… Одинокий, застрявший в этом санатории, испытавающий отвращение к своему больному телу, он тем не менее жаждал бороться с приближающейся смертью любовью…»

Я, по трезвом размышлении, тоже объясняю поступок Оруэлла именно чувствами. Не просто чувством любви к Селии,

хотя и это играло роль, не поддержкой той или другой стороны в политике и уж тем более не чувством солидарности с тем или иным «общепринятым мнением» – игрой чувств тонкой и разной личности.

Этот феномен «про чувства» первой заметила Виктория Чаликова, но полнее сказала о «непосредственности», порывистости Оруэлла замечательная петербургская переводчица его В.М.Домитеева – ей принадлежат почти все переводы книг и первых романов писателя на русский. Она в предисловии к «Фунтам лиха…», задавшись вопросом, почему Оруэллом интересуются у нас лишь из-за двух последних его произведений, сама же и пояснила: «Ответ очевиден. Даже в эпоху безбрежного перестроечного либерализма у нас Оруэлл ни для какой партии, группировки, корпорации не стал *своим*. Не стал, поскольку и при жизни *своим* не был ни для кого…» Его позиция, пишет В.М.Домитеева, была, по его же словам, позицией «левизны по чувствам».

Вот! Другими словами, его политические взгляды, как и поступки, всегда и прежде всего основывались на спонтанных чувствах. И «список» его – не исключение. Он был основан на чувствах справедливости, долга, сострадания, на чувстве чести наконец, как сам понимал его. До последних дней, пишет Домитеева, Оруэлл, конечно, был социалистом, но принципиально беспартийным и вообще «таким, чья независимость сердила воителей социалистического лагеря еще сильнее, нежели их противников. Критичный, зоркий, откровенный, он вел себя до чудаковатости скромно – но крайне неуступчиво. В результате, потеряв поддержку “слева” и сохранив неприязнь к “правым” (коммерческий диктат виделся ему лишь вариацией ненавистного социального тиранства), презирающий болото благоразумной “середины”, чуждый высотам надмирного созерцания, он остался практически в одиночестве. Доверял только полной правдивости, без купюр… Вот где, пожалуй, ключ к странностям этой одинокой рыцарской фигуры на поле битв XX столетия, – заканчивает мысль В.М.Домитеева. – Трезвый скептичный аналитик, блистательный сатирик отважился на верность собственным живым ощущениям, не дал подмять их, причесать под гребенку тех или иных уютных, милых коллективных вдохновений. И чувства – индивидуальные, сильные, четко осмысленные чувства – не подвели. Как чувствовал, так и действовал, так и говорил. Вроде бы чего проще. А выяснилось – уникально…» И уже одним этим, добавлю, – неприступно! «Осмелься быть собой, – помните, – дерзай стоять один…»

Кстати, «правда без купюр» перестает быть правдой, если события упрощать, сводить любые жизненные явления к голому, как телеграфный столб, противопоставлению «черного» и «белого», столь свойственного радикалам всех мастей и окраса что в Англии, что в России. А именно это и «сотворил» с миром грохнувший оземь в конце 1940-х, поперек стран и континентов, поперек живых и разных людей «железный занавес»! Он, отбросив полутона, разделил людей надвое…

Холодная война, господа! Готовьте слова… Миллионы, миллиарды злобных, воинственных слов! И чье слово оказалось первым?..

* * *

Комментарий: Война идей и людей

«Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны», – мудро заметил как-то Уинстон Черчилль. Но правда «надевает штаны», случается, и целых полвека.

«Читая» жизнь Оруэлла, понимаешь: всё похоже на всё. Это в равной степени касается и идей, и людей. Помните, он осуждал книгу Святополка-Мирского ровно за то, за что того смешали с грязью и фактически убили в России? Что Михаила Кольцова, уничтожавшего троцкистов и ПОУМовцев в Испании, убили как раз как троцкиста и ПОУМовца? Помните, что в Англии «Улисс» Джойса был запрещен до 1939-го? Но ведь за два года до этого, в 1937 году, в СССР роман Джойса был не просто запрещен: за один лишь перевод его на русский был арестован и приговорен к десяти годам переводчик его – писатель Игорь Романович. Даже знаменитая фраза Сталина «Незаменимых у нас нет», которой направо и налево «объясняют» ныне его репрессии, впервые прозвучала в 1793 году, в дни Французской революции, в устах комиссара Конвента Жозефа Ле Бона: «В Республике незаменимых людей нет!» Наконец, есть ли схожесть диктатур Сталина и Гитлера? Несомненно. «Съездом победивших» назвал Гитлер, пришедший к власти, сборище своей партии. А Сталин в те же дни, не сговариваясь, окрестил очередной съезд компартии «Съездом победителей». Тот, как известно, начал Вторую мировую с выдуманной и разыгранной своими солдатами, переодетыми в польскую форму, инсценировки «захвата» немецкой радиостанции в пограничном Глейвице, а Сталин «предлогом» нападения на Финляндию, меньше чем через год, выбрал обстрел наших же позиций на границе нашими же пушками. Сами убили четырех и

ранили десять своих же солдат. Не похоже? Наконец, Гитлер начал с уничтожения евреев, а Сталин взялся за них в конце жизни. А ведь это только внешние, бросающиеся в глаза сходства. Я не говорю о параллелях более глубоких: о подавлении личности как системе, запрете оппозиционных партий, уничтожении судов и юстиции и полной отмене свободы слова, печати и собраний. Но разве не так и ныне «левые» и у нас, и на Западе становятся вдруг «правыми», а «правые» буквально на глазах превращаются в «левых»? Мы, уходя от тоталитарной системы, усваиваем все «грехи» Запада, а Запад всё чаще демонстрирует нашу вчерашнюю нетерпимость по отношению к своим народам и даже – черты нового-старого «тоталитаризма»…

«Загадки» Оруэлла будоражат мир до дня нынешнего. Что это был за «секретный отдел», где работала Селия? Кто работал в нем, и кто писал для него «заказные материалы»? Из каких фондов осуществлялась плата за них? И был ли отдел Селии связан с МИ-6? Всеми этими вопросами озаботился уже в наше время всё тот же Тимоти Эш. Он, пытаясь найти ответы, вновь и вновь обращался к Адаму Уотсону, начальнику Селии, а кроме того, побеспокоил даже известного нам Роберта Конквеста, «летописца советского террора», который, как выяснилось, не только трудился в те годы в этом департаменте, не просто знал Селию, но с которым у нее и был тот самый роман.

Что же в конце концов выяснил Эш? Во-первых, то, что отдел этот был полусекретным, но, в отличие от известной нам МИ-6, само существование его отрицалось. Кроме того, хоть департамент и значился в официальных списках МИДа, отнюдь не все сотрудники его были включены в них. Выяснилось, что бóльшая часть финансирования отдела шла по тайному «раскладу», без парламентского контроля. Во внутреннем же описании МИДа с 1951 года сказано однозначно: «Следует отметить, что название этого отдела предназначено для маскировки истинной природы его деятельности, которая должна оставаться строго конфиденциальной». Истинная природа его, пишет Эш, заключалась в сборе и обобщении информации о советских и коммунистических «преступлениях» с тем, чтобы потом распространять ее среди дружественных журналистов, политиков и профсоюзных деятелей и поддерживать их публикации финансово. Так зарождался, если угодно, согласованный, чтобы не сказать – приказной, международный «пиар» СМИ, истинное бедствие уже нашего столетия.

Эш пишет, что отдел был особо заинтересован в авторах с хорошей, но «левой репутацией». Уважаемый Бертран Рассел, например, написал для отдела не какой-то там «список» – две

брошюры «Что такое свобода?» и «Что такое демократия?». По воспоминаниям ветеранов отдела, некоторые писатели, такие как Рассел, «прекрасно знали», что издатели, предложившие им написать эти книги, поддерживались этим «полусекретным» отделом, а другие, как философ Брайан Маги, напротив, возмущались, узнав впоследствии, из каких источников финансировался их труд. В общем, картина, пишет Эш, знакомая по известным эпизодам холодной войны, таким как издание на деньги ЦРУ журнала *Encounter* или финансирование радиостанции *Free Europe*. Эш пишет и о «давлении», которое оказывал отдел Селии на «Би-би-си» (выбирают не те слова в характеристике советского государства), об «антикоммунистической гласности», к которой призывал министр иностранных дел, о «выявлении коммунистически настроенных деятелей» в рядах самых, казалось бы, свободных СМИ.

«Нетрудно представить, – иронизирует Эш по поводу отдела Селии, – как в одном из кабинетов знаменитого комплекса зданий *Carlton-house-terrace* сидит Роберт Конквест и скрупулезно собирает и просеивает информацию о политике Восточной Европы. В другом кабинете участник Второй мировой войны, политконсультант исполнительной власти или МИ-6, тут же готовит менее скрупулезную, но реальную операцию. По соседству можно встретить очаровательного профессионального дипломата Гая Бёрджесса, который на протяжении трех месяцев работал здесь и, будучи реально советским агентом, сообщал обо всем своим начальникам в Москве». Зато без всякой уже иронии Эш пишет, что к концу 1950-х годов, когда холодная война с коммунизмом была в самом разгаре, «белая пропаганда» ранних лет отдела сменилась на «серую» и просто «черную». Ровно так, как предписывала одна из секретных программ Совета национальной безопасности США, принятая еще в год смерти Оруэлла, в 1950-м. «Успех этой программы полностью зависит от того, насколько наше правительство, американский народ и все свободные народы, сумеют признать, что холодная война – это на самом деле настоящая война», – говорилось в ней. Документ признавал право проводить «любые тайные действия, связанные с пропагандой, экономической войной, активными действиями – саботажем, антисаботажем, подрывной деятельностью против враждебных государств: помощь нелегальным движениям сопротивления, партизанам и освободительным группам в изгнании и поддержка местных антикоммунистических элементов». К этому времени департамент Селии уже прочно имел, пишет Эш, «репутацию “отдела грязных трюков”, который занимался инсценировкой убийств, рассылкой ложных

телеграмм, подсыпанием на стульчаки в туалетах порошков, вызывающих зуд, и других подобных “шалостей” времен холодной войны… Упоминания о них вряд ли можно отыскать ныне в папках МИДа, даже если разведка обнародует их».

С «героев» списка Оруэлла, как известно, не упало ни волосинки. Иначе сложилась судьба тех, кого «выдал» властям Михаил Кольцов. «Среди них, – пишет племянник Кольцова М.Ефимов, – русские и испанцы, французы и американцы, писатели и генералы, послы и секретарши, министры и артисты». Но все равно – всё похоже на всё. И если Ричард Рис назвал Оруэлла «беглецом из лагеря победителей», то про Кольцова поэт Сельвинский скажет слова показательные: «Он из тех, кто всегда спешит на помощь победителю…» Не похоже? Похоже, даже обоюдное «двоемыслие» из последнего романа Оруэлла. Жившие на Западе антикоммунисты догадывались, а иногда и знали: их «белые одежды» местами были отнюдь не белыми. А все сбившиеся после войны в соцлагерь едва ли не так же догадывались и даже знали про себя, что живут совсем не той жизнью, которую хвалят с амвонов. И что же? Является некто, свободный и смелый, с горячим сердцем и честной душой, и прямо заявляет: вы, господа, лицемеры. Политические лицемеры. Разумеется, это не понравилось ни тем, ни другим. Отсюда, если хотите, родился шквал обвинений Оруэлла с обеих сторон. Он «*blow the whistle*» – стучат, шипят на сленге британские «обличители» его. Он, вторят наши, доносчик и ябедник. Двоемыслие и тех, и других так сблизило противников его, что у них ныне почти одно лицо.

Знание и… понимание друг друга. И людей – и противоборствующих идей. Это, конечно, большая и отдельная тема: она замешана на менталитете, философии, психологии, родовых традициях и много на чем еще. Но если говорить о романе «1984», то он показал, что знания людские отнюдь не равны пониманию. У Олдоса Хаксли я даже обнаружил статью, которая так и называется – «Знание и понимание». Хаксли напишет ее в 1956 году и, по сути, раскроет другой лозунг выдуманного мира романа «1984»: «Незнание – это сила»…

«Никто не может почувствовать боль или горе, радость или голод другого человека», – пишет в ней Хаксли. Знать – может, а вот почувствовать – нет! Даже «знание о понимании – не то же, что само понимание». Понять счастье в книге о счастье нельзя, равно как не понять состояние ужаса, прочитав о нем. «Величайший парадокс нашей жизни, – утверждает Хаксли, – состоит в том, что для того, чтобы понять что-то, мы должны сначала обременить себя всем интеллектуальным и

эмоциональным багажом, но он как раз и служит препятствием к пониманию…» Занятно, не правда ли?..

Да, Оруэлл в романе изобразил жесточайшую диктатуру, тоталитарное общество, несущее в себе знакомые черты как «реального социализма» СССР, так и фашистской Германии. Но понимал ли он весь тот реальный «госужас», который пережили люди?.. Я лично, родившись, как и герой Оруэлла Уинстон Смит, в 1945-м, прожив восемь лет при Сталине, пережил потом, получается, шесть «Больших Братьев»: Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина. Я ни разу не видел у нас ни неистовых «двухминуток ненависти», ни ежемесячных публичных «казней на площадях», ни «телескринов», наблюдавших за каждым живущим, и хотя детская организация «Сыщиков» из романа «1984» еще напоминала наших «пионеров», то такой организации, как Молодежная Антисексуальная Лига, нельзя было вообразить в принципе. Всё в романе писателя было похоже и не похоже и на СССР, и на фашистскую Германию. Всё было и «крупицами правды», и «картонными муляжами», и всё было основано на тогдашнем уровне знаний писателя. Нынче, когда правда надела наконец штаны и явилась миру, знания наши о сталинизме или гитлеризме увеличились многократно. И впору, пожалуй, жалеть: какой бы роман написал Оруэлл, если б только знал!

Но, повторю, это лишь только знание, не понимание! Понять можно, лишь пережив событие. «Двухминутки ненависти» меня, конечно, впечатлили, но куда больше запомнилось, как корчился я на собраниях в «вегетарианские» уже времена, когда мои товарищи вставали и гневно осуждали кого-либо из коллег за измену жене. Как заставляли семнадцать (!) раз вставить в чью-то передовую статью в молодежной газете, где я работал, фамилию «Брежнев» – ровно так, как это было в передовице газеты «Правда». На дворе стоял 1980-й, к которому Хрущев обещал приход «коммунизма». Как тут не сказать: как же хорошо, что такой «коммунизм» все-таки не наступил!.. И вот почему, когда я слышу или читаю ныне, что Сталин был «великим менеджером», что жертвы были оправданны и что было их на миллион или два меньше, мне искренне хочется, чтобы подобный крикун (не из «Скотного двора», из жизни) хотя бы на день оказался в том застенке. Чтобы обезумевшая жена его обнимала бы сапоги следователей, прося не уводить кормильца, чтобы на Лубянке его заставили бы, нагнувшись, развести в сторону ягодицы – не пронес ли он в тюрьму какой-нибудь записки, – чтобы на первом же допросе ему выбили все зубы (все – и твои зубы!) и чтобы он, а не кто-нибудь «из прошлого» в битком набитой прелой камере

занял бы очередь у дверей, чтобы лежа всосать в щелочку у пола хотя бы глоток свежего воздуха из коридора. Вы, реаниматоры Сталина, готовы на этот один-единственный день ареста и тюрьмы? И вот когда *знания* всех энциклопедий мира будут мешать *пониманию* даже одного подобного часа…

Ничего этого не понимал, да и не знал Оруэлл. Он, конечно, доверял «правде без купюр», но, увы, ложь и с той, и с другой стороны уже облетела полмира. Холодная война лишь разгоралась. Война, которая не кончается по сей день. Ныне «большие братья» с предвыборных плакатов человеколюбиво улыбаются народам широкой глянцевой улыбкой. И только через годы, когда правда натянет наконец эти проклятые «штаны» и предстанет без прикрас, мы запоздало спохватимся, кого выбирали и выбрали. Поразительно, но «сладкая» ложь, например, о почти «братании» нашем с американцами, когда в 1995 году Клинтон обнимался и хлопал по плечу «друга Ельцина», обернулась вдруг запоздалой, как всегда, – но правдой. Только ныне стало известно, что как раз в 1995-м, точнее, 25 октября президент США Клинтон, выступая на закрытом совещании Объединенного комитета начальников штабов, сказал: «В ближайшее десятилетие нам предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн; окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; установление режимов, нужных нам, в оторвавшихся от России республиках. Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна – США»…

Оруэлл не знал про это, и тем не менее – знал! Он по мельчайшим признакам вычленял тенденции, тренды развития мира – пути, по которому может пойти человек. И здесь роман-предупреждением он, надо признать, угадал. Всё и дальше будет очень, очень похожим…

Наши нынешние записные критики романа с «цинизмом, доходящим до грации» (по выражению Бунина) твердят, что две последние книги писателя вышли якобы в эпоху «маккартистской охоты на ведьм». Сознательная ложь! Маккартизм – охота на коммунистов в США – наступил только через три года. Оруэлл, твердят другие, – «профашистский писатель». Раз «Скотный двор» был против «союзничества» СССР и Запада (хотя это, разумеется, не так), значит, Оруэлл – за фашизм. А раз так – пусть отвечает за всё, что натворил Гитлер. Логика обструганная, как тот телеграфный столб. И пишется это про человека, который воевал с фашизмом в Испании, да не в штабах сидел – в окопах. И не чувствовал он

«социального заказа», как пишут наши тамбурмажоры вчерашнего социализма, и не писал того, что от него «ждали». Писал о том, что реально знал, над чем размышлял не месяцы – годы. И, как когда-то выступил с разъяснениями по поводу «Скотного двора», высказался и по поводу последнего романа. Прямо написал: у него не было намерения оскорбить «левые движения» в других странах, он в романе «1984» не имел в виду СССР – он просто видел векторы, в сторону которых развивался мир.

Вудкок, друг писателя, напишет, что лишь поначалу последние книги Оруэлла воспринимались как «прокламации против коммунизма». «Но такое впечатление было бы неправдой, – пишет Вудкок.– Предупреждения последнего романа его следует рассматривать как относящиеся к любому обществу, где культ государства становится более важным, чем благо отдельного человека. В разной степени он видел это везде и особенно то, что стало финалом его последнего романа, – разрушительную эрозию личности… Он был, – заканчивает Вудкок, – выжившим сторонником борющегося за свободу либерализма XIX века, сторонником тех ценностей, которые поддерживали Эмерсон, Торо и Диккенс. Но он заглядывал и в будущее, в котором, как надеялся, люди смогут пережить ночь тирании и лжи… Никто лучше его не знал, как невелики шансы такой надежды, но он был уверен до конца: за них стоит бороться…»

Повторяю, это сказал друг писателя. И – докажите-ка обратное…

5.

Вопрос из будущего: *И сколько вы предполагали прожить? В январе 1950 года?*

Ответ из прошлого: *По крайней мере лет десять. Мне нужно много чего успеть сделать, не говоря уже о Ричарде, о котором необходимо заботиться…*

В.: *Но туберкулез? В открытой форме?.. Вы же сами убивали себя – посудомоем без сна, нищим без приюта, солдатом без тыла в Испании…*

О.: *Конечно, я заслужил это всей своей жизнью… Но… ни один писатель еще не умер, пока не сказал всё, что намеревался сказать…*

В.: *Но вам же запретили даже брать перо в руки?.. Счастье, что дожили до выхода последней книги. Она –*

лучшая ваша книга? Или все-таки – «Скотный двор»?

О.: *Видите ли… каждая книга – это, в сущности, неудача…*

В.: *Да ладно… Впрочем, Хемингуэй тоже считал, что, если писатель «добился успеха, он добился его по неправильным причинам». Да и Фолкнер сказал похоже: «Лучшее в моем представлении – это поражение. Попытаться сделать то, чего сделать не можешь, даже надеяться не можешь, что получится, и все-таки попытаться. Вот это и есть для меня успех…» Похоже на вашу смертельную гонку с последним романом. Ведь все-таки – успех?..*

О.: *Я знаю, что это так, но почему это так – понять не могу. Очевидно, что чем непонятнее сказки, тем легче в них верить, но мне это кажется… парадоксальным.*

В.: *Может, оттого, что вы выбрали Человека, а не Бога? Но, с другой стороны, вы, неверующий, вдруг завещали похоронить себя «по обрядам англиканской церкви»?*

О.: *Понимаете, материалист и верующий часто заключают между собой перемирие… однако рано или поздно всё равно придется выбирать…*

В.: *«Ничто никогда не умирает», – написали вы в последнем письме своей первой любви – Джасинте… В связи с этим как бы вы – страшный вопрос, понимаю! – хотели бы умереть? Пусть это будет последний вопрос к вам.*

О.: *Великое дело – умереть в собственной постели. Хотя умереть в собственных ботинках – куда лучше…*

В.: *То есть в дороге, в пути? Ведь это почти символ вашей жизни: «дорога» от Запада к Востоку в Бирме, от благополучия к бедности в Париже и Лондоне, от капитализма к социализму в Испании, от анализа проблем к анализу души – и от «превосходства властителей» над людьми к неприступному человеческому Духу… Это ведь – тоже дорога, на которой вы бы хотели умереть. Правильно я вас понял?..*

О.: *Да… В собственных ботинках. И чтоб не слишком старым…*

Он умирал не старым. 46 лет всего. Пишут, что «ранняя смерть и сделала его великим». Смысл фразы понятен: поди угадай, как бы повел он себя в политике, на чьей стороне оказался бы, какие книги написал и что наговорил бы миру?.. А

смерть «позволила канонизировать его, – как пишут, – пусть и по-своему на каждой стороне…».

Четыре месяца назад, 3 сентября 1949 года, Оруэлла перевезли из санатория в Лондон, в госпиталь университетского колледжа. В одном из крыльев его – для «частных пациентов» – и была его палата № 65. И никто потом не обратит внимание, что последним домом Оруэлла сама судьба как бы закольцевала и жизнь его, и творчество. Ведь главное здание университета – белое, напоминающее зиккурат – во время минувшей войны было отдано под штаб-квартиру министерства информации, где еще недавно запрещали печатать его «Скотный двор» и которое Оруэлл – так считается ныне! – описал позже как Министерство Правды. Эту «огромную, пирамидальную конструкцию из сверкающего бетона, уходящую в небо терраса за террасой», видел из окна Уинстон Смит, герой романа, и как раз на уступах его горели выписанные гигантскими буквами три лозунга романа: «Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – это сила»…

«В январе 1950 года, – напишет в очерке «Последние дни Оруэлла» Д.Тейлор, – мало кто мог заметить немногих людей, которые каждый день по отдельности или группами пробирались через унылые северные кварталы Блумсбери к госпиталю… В основном это были литераторы – выделялись очень высокая фигура Стивена Спендера, человека с копной вьющихся волос, Энтони Пауэлла и Малькольма Маггериджа, которые жили неподалеку… Шли сюда люди и из “Би-би-си”, из левых газет. Иногда приводили маленького мальчика – ему разрешали остаться у постели больного на минуту или около того, ибо так хотел сам пациент, ни разу не позволивший приемному сыну прикоснуться к нему. А наиболее частым гостем была здесь эффектная девушка с блестевшим на пальце обручальным кольцом, которое надела совсем недавно…»

Пишущую машинку забрать сюда Оруэллу запретили. Врачи знали: вылечить его нельзя; они лишь надеялись перевести его недуг в «добротно хроническую стадию», которая в будущем, если повезет, позволит ему недолгую «сидячую работу». Надеясь на это, Оруэлл, уже обессиленный, тощий настолько, что на теле его искали место, куда бы всадить очередной шприц, выглядел порой почти счастливым. А может, рад был, что у кровати рядом с книгами о Сталине, по соседству с романами Томаса Харди и Ивлина Во лежал и его новый роман, стремительно допечатывавшийся и в Англии, и в Америке.

Книга, опубликованная в минувшем июне, имела небывалый успех. 25 тысяч экземпляров были уже проданы в Англии. В США продажи подстегивались тем, что роман был все-таки признан

«книгой месяца». Дополнительные тиражи, бешеные допечатки, стремительно пустеющие склады книжных магазинов привели к тому, что уже свыше 100 тысяч американцев и англичан купили ее. В.С.Притчетт написал, что от книги невозможно было оторваться, а известный американский критик Лайонел Триллинг назвал роман «глубоким, ужасным, но в целом – восхитительным».

«Нас охватил такой острый ужас, – вспоминали первые читатели романа, – будто речь шла совсем не о будущем. Мы боялись, что описанное в романе настанет прямо сегодня, смертельно боялись». Главное литературное издание США (*New York Review of Books*) тогда же написало: «Подавляющее большинство, 90% прочитавших роман, – восхищаются, хотя громче аплодисментов книге слышны крики ужаса». А очередной номер еженедельника *New Yorker* рассыпался в похвалах: «Только честный человек мог написать такую книгу, и если она опустошает нас, то прежде всего тем, что подобная честность в нашем мире может привести к подобному отчаянию. Свое же собственное отчаяние Оруэлл превратил в протест… и за это он, больше чем любой другой писатель, заслуживает нашей благодарности…»

Отнюдь не так был встречен роман в СССР. Уже через восемь дней после выхода его на стол тов. Т.И.Владыкину, заведующему Иностранной комиссией Союза писателей СССР, легла «Памятная записка»: «Секретно. Хранить постоянно. Направляем вам вышедшую в июне с.г. книгу английского писателя Джорджа Оруэлла “1984”. Роман Оруэлла написан в форме популярного в английской литературе сатирического романа и представляет собой разнузданную клевету на социализм и социалистическое общество… Считаем необходимым организовать через советскую печать резкое выступление кого-либо из советских писателей, разоблачающее клеветнические измышления Оруэлла».

«Резкого выступления», однако, не последовало. Боялись упоминать уже само имя. Зато в левой прессе Америки, поддерживая СССР, заговорили уже чуть ли не о крахе литературы: «В своем упадке, окруженная расцветающими социалистическими странами, буржуазия способна лишь на полные ненависти противочеловеческие утопии. Сейчас, когда книга Оруэлла стала бестселлером, мы, кажется, окончательно достигли дна». Вспыхнувшая полемика докатилась и до Оруэлла, и он, как мог, попытался возражать.

«Было высказано предположение, – писал от имени Оруэлла Варбург, – что автор считает или склоняется к тому, что всё описанное в романе произойдет на Западе в течение следующих

сорока лет. Это, учитывая, что, в конце концов, книга – выдумка, не так, хотя что-то вроде этого, конечно, *может* случиться. Это то направление, к которому мир идет, и эта тенденция глубоко заложена в политических, социальных и экономических основах современной ситуации. Опасность, в частности, заключается в структуре социалистических и капиталистических либеральных общин, верящих в необходимость тотальной войны… в том числе и новым оружием… Но опасность заключается также и в готовности интеллектуалов всех мастей принять тоталитарные перспективы. Моральный вывод из этого опасного кошмара довольно прост: *Не позволяйте этому случиться. Это зависит и от вас…»*

Писатель, говорилось в заявлении, «предполагает, что если такие общества появятся на свет, то возникнет несколько сверхдержав… Они будут, разумеется, в оппозиции друг к другу. Двумя основными сверхдержавами, очевидно, будут англо-американская и евразийская. Если эти два больших блока станут смертельными врагами, то понятно, что англо-американцы не будут носить имя своих оппонентов и не станут позиционировать себя как коммунисты. Они должны будут найти новое имя для своей идеологии. Название предложено в романе, это, конечно, Ангсоц, но на практике возможен самый широкий спектр вариантов. В США, например, позиция “американизма” или “стопроцентного американизма” вполне подходит, и к ним, как к социализму, вполне можно будет приложить прилагательное “тоталитарные”…»[85].

Прямее высказался в *New York Review of Books* уже сам Оруэлл. «Мой роман, – написал, – *не* является нападками на социализм или лейбористскую партию Великобритании (которой я являюсь сторонником), но нечто подобное может произойти. К этому ведет централизованная экономика, и она несет ответственность за то, что это частично было реализовано в коммунизме и фашизме… То, что действие происходит в Англии, лишь подчеркивает, что англоговорящая раса не лучше любой другой и что тоталитаризм, *если против него не воевать,* может победить в любом месте…»

Высказался без обиняков, но кому хотелось услышать одинокий голос его в разгоравшейся холодной войне идей? Он, худющий, бледный до синевы, вечно пытавшийся согреться под каким-то новомодным электрическим одеялом, почти равнодушный к земной славе и уж тем более к деньгам, был, мне кажется, счастлив другим – тем, что успел послать миру личный месседж, напомнивший, что нет и не может быть ничего более дорогого, чем свобода человека. Это было поважнее известности и

свалившихся на него денег. Он был теперь очень знаменит и довольно богат. В последний месяц жизни состояние его оценивалось примерно в 12 тысяч фунтов, когда средняя месячная зарплата в Англии в тот год была около 40 фунтов. Но «известному и богатому» было больно даже шевелиться, он задыхался от кашля, уставал от медицинских процедур и сочувственных взглядов, а встать с постели и облачиться в костюм ему позволили лишь раз, когда в 65-й палате состоялось его бракосочетание.

Свадьба его пахла смертью, но он, столь чуткий к запахам, даже не ощутил этого. Про «запах смерти» напишет позже Маггеридж. Просто однажды, когда они заговорили в палате «о подвигах Оруэлла в ополчении, о событиях в Испании и о перспективах его», Маггеридж вдруг явственно уловил, что «в самом воздухе палаты, как в саду поздней осенью, натурально витал уже запах смерти…».

Навещали, поддерживали Оруэлла Сирил Коннолли, Энтони Пауэлл, Пол Поттс, Джек Коммон, даже старый наставник по Итону – Эндрю Гоу. Однажды пришел Ивлин Во. О чем говорили – не знаю. Но если вспомнить письмо-отклик на роман «1984», который тот послал Оруэллу еще в июне, – речь, возможно, шла о религии, о вере. Ивлин Во восхищался романом («книга поучительна и необычайно увлекательна»), писал, что его потрясла «блестящая сцена в пабе, где Уинстон пытается выудить из старика воспоминания о дореволюционных временах», но не мог согласиться с «философией» романа. «Вы отрицаете существование души (по крайней мере, Уинстон отрицает), – писал Оруэллу Ивлин Во, – и материи противопоставляете только разум и волю…»

Упреки Ивлина Во были серьезны. «Бунт Уинстона фальшив, – горячился он в письме. – Его “Братство” (реальное или вымышленное) – не более чем еще одна банда, такая же как Партия. Фальшью мне представляется и то, что бунт этот, как и у леди Чаттерлей, находит выражение в сексуальном акте: вступив в интимную близость, Уинстон словно бы заключает мистический союз с пролами, в результате чего обретает почву под ногами. Не исключено, что в 1984 году мы будем жить примерно в том мире, какой вы нарисовали. Но для меня этот мир неправдоподобен уже потому хотя бы, что в нем отсутствует церковь… Не принимайте, если хотите, ее сверхъестественный смысл, но вы же не можете не признать уникальный характер церкви как социального и исторического института. Пламя ее негасимо…»

Наконец, говорили они, думаю, и о любви – эта тема тоже была связана с романом «1984». Не о «половой любви», а о любви,

как понимал ее Оруэлл, – как о «тяжелом труде». Ивлин Во в цитируемом письме прямо написал: «Братство, способное бросить вызов Партии, – это братство любви, а не прелюбодеяния, и уж тем более не серная кислота, которую выплескивают детям в лицо. И люди, которые любят распятого Бога, никогда не сочтут пытку всемогущей». Это было ударом больному человеку по самому, можно сказать, больному. Обвинять Оруэлла в отсутствии «религиозной веры» – все равно что «упрекать пингвинов в том, что они не умеют летать»: он, как помним, всю жизнь, в отличие от рьяного католика Ивлина Во, испытывал к церкви почти такую же неприязнь, как к деспотизму. Но о спасительной силе всеобъемлющей любви, о любви как протесте и сопротивлении и жизни, и власти, не размышлять он не мог.

Знали ли оба спорщика, что их современник Карл Юнг уже задал к тому времени миру свой коварный вопрос: «Что является противоположностью любви?» И вместо предполагаемого ответа: ненависть, равнодушие или безразличие – ошарашил нас коротким словом «власть». «Когда правит любовь, – писал К.Юнг, – нет желания власти, а где власть преобладает, там не хватает любви…» Любовь – любая! – делает человека свободным, а власть почти всегда сопряжена с ненавистью. И в отношениях двоих, и в религиях мира, и в любви к неведомому богу в себе самом. Что можно было противопоставить безжалостной, беспощадной власти Внутренней Партии в романе «1984»? Только Любовь. «Последний человек в Европе» – Уинстон – понял это после страстного и тайного соития с Джулией. «Не просто любовь к конкретному человеку, – размышлял он, – а слепое, никого не выделяющее животное желание – вот та сила, что разорвет Партию на куски… Но сегодня нет ни чистой любви, ни чистой страсти… Всё сплелось со страхом и ненавистью. Поэтому их объятия… становились победой над ложью. Это был удар по Партии. Это был политический акт…»

Понимала ли это всемогущая Партия «1984» года? Нет, лучше сказать – все партии мира, включая сталинскую и гитлеровскую? Еще как! «Властвовать – значит мучить и унижать, – твердит Уинстону его палач О’Брайен. – Власть заключается в том, чтобы, расколов на куски разум человека, собрать его снова, но придав ту форму, какая нужна. Теперь ты понимаешь, Уинстон, что за мир мы создаем?.. Мы создаем мир страха, предательства и мучений, мир, который, развиваясь, становится не менее, а *более* безжалостным… Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша – основана на ненависти… Мы уже покончили с привычкой мыслить… Мы разорвали узы, связывавшие родителей и детей, друзей и

влюбленных. Никто больше не верит жене, ребенку или другу. А в будущем не будет ни жен, ни друзей. Детей будут отбирать у матерей сразу после рождения, как забирают яйца у курицы. Мы вырвем с корнем половой инстинкт. Рождение станет пустой формальностью, вроде возобновления продовольственных карточек… Не будет иной верности, преданности, кроме верности и преданности Партии. И не будет другой любви, кроме любви к Большому Брату. Не будет смеха… Не будет литературы, искусства, науки… Не будет различия между красотой и уродством. Не будет любознательности, радости жизни… Но всегда – помни это, Уинстон, – всегда будет опьянение властью, и оно будет расти и становиться всё более и более изощренным. Всегда будет дрожь победы и наслаждение от брошенного под ноги, поверженного врага…»

Мрак! Ужас! Кошмар! Ничего этого не произошло в реальном 1984 году, но всё более и более похожим стало в нашем, в XXI веке. Разве мы не видим ныне забав «золотого миллиарда» человечества, идущей глобализации, общества потребления, а не самосовершенствования, абсолютной власти денег, рвущейся связи родителей и детей, планомерного разрушения брачных связей (родитель № 1 и родитель № 2), гомофилии и педофилии, «шведских семей», уничтожения и переписывания истории, упрощения смыслов и «клипового сознания» молодежи и, наконец, всеобщей электронной слежки за каждым? Слежки даже при выключенных телевизорах, компьютерах и айфонах. Ведь мы же знаем, что где-то там некий обобщенный «Большой Брат» ежедневно видит тебя, голенького. Разве не об этом предупреждал Оруэлл?!

– У вас ничего не выйдет, – прошептал Уинстон в ответ на монолог палача…

Но мы уже знаем: выйдет! И Оруэлл еще докажет это в своем романе, связав в романе воедино любовь плотскую и любовь как движущую силу всего сущего на земле. Кстати, пессимизм Оруэлла перехлестнет отчаяние всех его современников-антиутопистов, даже учителя своего, Олдоса Хаксли. Хаксли, как будут сравнивать впоследствии исследователи, считал, что нас, будущие поколения, «погубит то, что мы ЛЮБИМ», Оруэлл – «что НЕНАВИДИМ». Оруэлл настаивал, что правду в будущем будут «скрывать от населения», а Хаксли в своем романе – что она сама утонет в «море бесполезного информационного шума». Первый считал, что будущая власть полностью лишит нас информации, а второй, напротив, писал: ее будет так много, что человечество «деградирует до пессимизма и эгоизма». Оруэлл думал, что народы будущего будут насильно «лишены подлинной старой

культуры», а Хаксли предполагал, что ее будут навязывать… Наконец, среди специалистов ныне существует уж совсем экзотический взгляд на различие двух великих антиутопий: утверждается, что роман «1984» представляет собой мужскую концепцию тоталитаризма, а роман Хаксли – женскую. Если у Оруэлла в будущем на лицо человека будут «наступать сапогом» и это «отцовский», насильственный тоталитаризм, то в романе Хаксли нас ждет будущее «улыбающихся, счастливых людей», пусть и созданных усилиями биоинженеров, а все заботы государства – материнские, которые диктуются не жестокостью, а заботой. Впрочем, мне кажется, продуктивней сравнивать, как не я заметил – Ричард Рис, – «не различия» книг писателей, а их сходство. Оба были «встревожены одними и теми же явлениями XX века, и если по Хаксли гипертрофия этих явлений будет вызвана сочетанием лености или апатии с грубым гедонизмом, то по Оруэллу она будет вызвана той же самой леностью или апатией, но в сочетании с грубым властолюбием…». И, добавлю от себя, с отсутствием и там, и там – любви.

Ричард Рис, размышлявший о своем друге всю оставшуюся жизнь, может, единственный из окружения писателя затронул эту интимную струну Оруэлла – любовь. Заканчивая книгу об Оруэлле, он тонко подметил «казус» (назовем его так) эгоизма друга. Оруэлл, писал Рис, не был эгоистом в классическом понимании этого слова, он никогда не заботился о «личных интересах». Но он, как заметил Рис, был «глух ко всему, происходящему в душах окружающих его людей. Возможно, это была лишь одна из естественных защитных реакций, – размышлял Рис. – Для человека с его мягким сердцем, его умом и его чуткой совестью жизнь стала бы невозможной, будь он таким же чувствительным в личных отношениях, как многие бессердечные эгоисты… Это объясняет его безжалостность по отношению к самому себе, а также, может быть, и проявляющуюся иногда невнимательность по отношению к другим… Но в этой жизни приходится за всё расплачиваться, и иногда, хотя в отношениях с Оруэллом мне и не пришлось этого испытать, цена сотрудничества с человеком исключительного бескорыстия и мужества бывает слишком высока. Если сырой материал героизма состоит частично из некоего утонченного и возвышенного эгоизма, то следует ожидать, что жизнь человека с возвышенным характером должна оставить позади себя более бурные воды…».

Проще говоря, то, чем живут «средние» люди: деньги, комфорт, удовольствия, уют семейного «гнезда», здоровье, наконец, а равно – забота о ближних и внимание к ним – всё, в силу цельного характера, приносилось Оруэллом в жертву некой

инстинктивной «миссии» своей, убеждениям и целям, поставленным в жизни. Ужасно, конечно. Но, может, такие и пробивают лбом стены миропорядка, «штурмуют небо» и двигают человечество в единственно правильном направлении?.. Неэгоистичный в обыденной жизни Оруэлл оказался законченным «эгоистом» в достижении цели. Другими словами, был не просто цельным человеком, но неприступным в действиях и мысли. Для таких родственные связи, личные симпатии, дружба и даже любовь к женщине – всё оказывалось на втором, если не на третьем месте. И это, наверное, чувствовали встреченные им женщины, как почувствовала Соня Браунелл, согласившаяся на безнадежное в человеческом смысле замужество с ним. Пишут, что он ее любил, а она расписалась с ним якобы из корысти. Я же рискну сказать: всё было наоборот. Она его жалела, что в ее положении равнялось любви и сочувствию, а вот он, убитый одиночеством, думая о судьбе сына и будущем своих книг, – последнее было всё тем же «эгоизмом» собственной миссии! – позвал ее замуж, возможно, из неосознанного, но все-таки расчета. Он уже ничего не мог ей дать, кроме этой самой «миссии», а вот она могла: и женскую заботу о больном (подать, принести, лишний раз подоткнуть это чертово одеяло), и присущую ей жизненную энергию, с какой взялась за все «дела» его, обернувшуюся жертвенностью, когда и после смерти его «продвигала» имя и дело мужа…

Свадьба, самая «жуткая свадьба», какую видел Малькольм Маггеридж, состоялась 13 октября 1949 года. Прямо в палате. А когда больничный священник, преподобный У.Брен соединил их руки и молодые обменялись кольцами, то и свидетели бракосочетания Дэвид Астор и Жаннета Ки (их общая знакомая по журналу *Horizon*), и немногочисленные гости (тот же Маггеридж, Энтони Пауэлл и даже лечащий врач) – все, поздравив виновника торжества, шумно, со смехом удалились в заказанный ресторан соседнего отеля *Ritz*. На другой день Соня вручила мужу меню свадебного ужина с автографами свидетелей. Тоже жутковатая символика! Он же не раз, как когда-то с друзьями по Итону, по Испании, когда был в Марокко, оставался с меню – не с праздничным ужином…

Фамилию Соня оставила свою, но очень скоро стала подписываться как Соня Блэр, а через годы и не представлялась иначе, как «миссис Оруэлл». Сплетники говорили, что замуж она вышла по настоянию Тима – Сирила Коннолли, ее начальника по журналу *Horizon*, а в прошлом, злословили, и любовника. Теперь «милым другом» ее был, как я уже говорил, талантливый красавец Люсьен Фрейд. Именно с ним, помахав в дверях ручкой, она

упорхнет в ресторан праздновать Рождество. На этот раз Оруэллу не достанется и меню. Он будет возражать против ее ухода, даже расстроится, но это жизнь: Соне ведь было всего тридцать… Когда после ее ухода в палату ввалятся Пауэлл и Маггеридж, они найдут друга «смертельно несчастным и одиноким среди рождественских украшений». Да, говорила Соня иным друзьям, Оруэлл тоже не был пуританином в прошлом, а те, кто утверждают обратное, самокритично добавляла, – те, «видимо, забывают, что пуританин никогда бы не женился на женщине, подобной мне». Но зато она регулярно навещала его, подолгу шепталась с врачами, возмущалась порядками в клинике, рьяно занималась литературными хлопотами мужа, докладывая о поступавших предложениях по переизданиям и переводам, подписывала бумаги за него и самоотверженно ограждала Оруэлла от ненужных порой посетителей. Как-то повздорила даже с французским переводчиком, отказавшись дать подробности биографии мужа, – ведь Оруэлл, не желая, чтобы о его жизни писали потом биографы, обговорит это и в завещании… Всё тот же «эгоизм цели» его, всё та же честность…

«Быть честным и остаться в живых…» Этот главный вопрос Оруэлла, с которого я начал о нем эту книгу, был, возможно, разрешим. Можно остаться в живых. Но быть честным и остаться по жизни в одиночестве, когда честность твоя не нужна никому, – вот проблема. «Камера 101» – белая кафельная камера самого страшного ужаса в его романе – разве не напоминала она Оруэллу его нынешней палаты? А сам он – Уинстона, своего героя?.. В 65-й палате умирал последний – можно ведь и так сказать! – Человек в Европе.

«– У вас ничего не выйдет, – хрипел романный Уинстон в ответ на пытки электротоком. – Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости… У вас ничего не выйдет. Жизнь помешает…

– Мы управляем жизнью, – возражал ему палач. – Или, может, ты вернулся к старой своей идее, что пролетарии или рабы восстанут и сбросят нас? Выбрось это из головы. Они беспомощны, как животные… Человечество – это Партия… Нас интересует только власть… Немецкие нацисты и русские коммунисты были близки к нашим методам, но даже им не хватило смелости осознать собственные побуждения. Они делали вид, а может, даже верили, что взяли власть, вовсе не стремясь к ней… Мы не такие. Мы знаем: никто и никогда не брал власть для того, чтобы потом отказаться от нее. Власть – цель, а не средство, а революцию делают для того, чтобы установить диктатуру. Цель насилия – насилие. Цель пытки – пытка. Так вот,

цель власти – власть…

– У вас ничего не выйдет, – упорствовал Уинстон. – В мироздании есть что-то такое… какой-то дух, который вам не преступить. – И выпалил: – Дух Человека.

– А ты – Человек? – иронически усмехнулся палач…»

И, не дожидаясь ответа, включил магнитофон с голосом Уинстона, который ради борьбы с Партией клялся, что готов лгать, убивать и, если потребуется, плеснуть серной кислотой в лицо ребенку… Ради высокой цели борьбы за свободу для всех готов был стереть в себе всё человеческое. Типичное кредо «революционеров» от Робеспьера и Нечаева до Ленина, Сталина и Мао. Туманная, почти мифическая цель – всё, а вот реальные, всякие разные людишки на пути к ней – ничто. Жертвенное «мясо» от пеленки до савана, кирпичики в расстрельные стенки мира.

Нет, все-таки великую разгадку упрятал в своем романе Джордж Оруэлл. Последняя надежда в мире – это человечность Человека, неприступность гуманизма, верность себе и духу человеколюбия. Власть и Дух – вот конфликт эпох. Он был, он есть. Это последняя тема Оруэлла в мире его романа, в мире «тотальной организации, тотального обмана и тотального контроля». И против Духа Человека выступали и выступают все властители мира, в какие бы демократические одежды они ни рядились.

В романе Оруэлла эта «надежда на Человека» есть. Но ведь это всё – слова, его слова из тех двух миллионов написанных. А была ли надежда на Человека в жизни умиравшего в одиночестве Эрика Блэра – не Оруэлла? Что он мог видеть с седьмого этажа своей клиники? Брак его с Соней не был, по сути, браком, любовь Джасинты обернулась ненавистью ее, симпатия к Селии – предательством, многолетняя, «боевая» еще дружба его с Коппом закончилась мелкой подставой, а желание обеспечить деньгами приемного сына – прямым обманом деловитого компаньона писателя Джека Харрисона.

Реальная жизнь реально смеялась над ним. Еще в сентябре Оруэлл позвал в больницу Харрисона, бухгалтера своего, и тот скажет потом, что Оруэлл предложил ему возглавить компанию «*George Orwell Productions Ltd.*». Этому решению не нашлось ни одного свидетеля. А вечером, за несколько часов до смерти Оруэлла, его якобы вновь посетил, и вновь без свидетелей, всё тот же Харрисон, который будет утверждать, что тогда Оруэлл и завещал ему 25% акций компании. Пол Поттс, который тоже навестил писателя в этот час (он накануне обещал принести Оруэллу пакетик чая), увидев через стеклянное окошечко, что

больной, кажется, заснул, тихо ушел. А Харрисон утверждал, что писатель не спал, что они долго говорили и что именно тогда писатель принял решение о передаче ему акций.

Не пройдет и несколько лет, как у этого «бухгалтера» будет на руках уже 75% их. И Соня в 1980 году, и Эврил в 1978-м, прямые наследники Оруэлла, умрут, по сути, в бедности – при миллионных гонорарах мужа и брата! Какая уж тут надежда на Человека с большой буквы? Сама жизнь была теперь как всего лишь меню вместо чужого и веселого ужина. Вот оно, «предельное одиночество» великих, вот в чем истина их жизни!..

Всякая написанная книга писателя – это «неудача», сказал перед смертью. За день до смерти призна́ется Маггериджу, что идея романа «1984» была хорошей, но «она рассы́палась в руках». Теперь так же рассыпа́лась, сыпалась «в руках» сама жизнь его…

«В последний раз я видел его за две недели до смерти, – напишет потом Вернон Ричардс, – он был весел, бодр духом и, как всегда, пристально следил за новостями… Мы говорили с ним и о сыне его; он вспомнил, как тот рассказывал недавно о походе в зоопарк, и худое, вытянутое лицо Оруэлла оживилось, а глаза загорелись». В такие минуты, подтвердит потом и Артур Кёстлер, «огромная сила любви этого одинокого человека излучала свет…». И еще – радовался поездке в Швейцарию («Я еду в следующую среду, – сказал Джулиану Саймонсу и, усмехнувшись, добавил: – Если не простужусь») и даже подаренной для этой поездки той самой удочке. Но порыбачить, вернуться в разноцветную юность не пришлось. В ночь на 21 января, когда Соня и Люсьен весело отправились в ночной клуб, у него хлынула горлом кровь. Как когда-то, когда его ранил в шею фашист. Дважды в этой жизни, видимо, не выживают. Он так и умрет в одиночестве – в белой палате, в красной луже крови. Посреди нее.

«…Человек возвращается в вечный дом свой, а провожающие его остаются, – проговорит над гробом его преподобный Роуз, викарий церкви на Олбани, слова, взятые из XII главы Экклезиаста: – Тогда возвратится прах его в землю, чем он и был раньше, а дух вознесется к Богу, который и дал его…»

На земле, на круглой, летящей неизвестно куда Земле останется от Оруэлла скромный камень на заброшенном деревенском кладбище. И – выбитые последние, выбранные самим писателем слова: «Здесь лежит Эрик Артур Блэр, родился 25 июня 1903, умер 21 января 1950».

Эпилог

«– Джордж Оруэлл, – сказала я медленно.

– Джордж Оруэлл? – старик-бирманец покачал головой.

Мы сидели в жаркой гостиной дома в сонном портовом городе Нижней Бирмы. Я слышала вой нетерпеливых комаров, и я собиралась сдаться. Человек, сидевший напротив, был в Бирме известным ученым, и я знала: он был знаком с Оруэллом. Но он был слишком пожилым; катаракта сделала его глаза неестественно синими, а руки сильно дрожали. Я подумала: он, вероятно, потерял память, – и спросила в последний раз:

– Джордж Оруэлл, автор романа “1984”…

Глаза старика вдруг загорелись. Он радостно хлопнул себя по лбу:

– Вы имеете в виду пророка!..»

Так начинает свой очерк «В поисках Джорджа Оруэлла», написанный в 2010 году, Эмма Ларкин, американская журналистка. Другой старик, пишет она, признался ей, что Оруэлл написал про забытую богом Бирму не одну – три книги: «Дни в Бирме», «Скотный двор» и роман «1984». Так, я думаю, могли бы сказать сегодня в любой стране: он написал свои книги про нас и для нас. И ни катаракта глаз, ни «катаракта» толкователей Оруэлла на Западе и Востоке не смогли помешать миру увидеть истинную цену этого писателя. А третий старик-индус – великий Ганди, – заметив как-то, что «грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений», сказал однажды про себя, но ведь и про жизнь Оруэлла: «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь…»

Пророк ли Оруэлл? Не знаю, не знаю. Не больше, чем Жан-Жак Руссо, который когда еще сказал, что «самой высшей точкой цивилизации будет полное одичание», не больше друга Оруэлла Т.С.Элиота, прокричавшего как-то, что мир закончится «не взрывом, а всхлипом!». Впрочем, перелистывая несколько лет назад журнал *Newsweek*, я напоролся на «обобщенный рейтинг» 100 лучших книг, как выразился журнал – «всех времен и народов»[86]. Так вот, в нем роман «1984» оказался на втором месте, сразу за «Войной и миром» Толстого. Третьим номером стал «Улисс» Джойса. Потрясающе! Гомер с его великими «одиссеями» – восьмой, Данте – десятый, а любимый Оруэллом Свифт – двенадцатый. Т.С.Элиоту тоже нашлось место в перечне, но тринадцатое, а Руссо я нашел на двадцать девятом. И, кстати, книги и Толстого, и Оруэлла дважды угодили в этот, в общем-то,

короткий перечень. В него вошли еще «Скотный двор» и «Анна Каренина». А «на подножку» списка вскочил, замкнув его, соперник Оруэлла по славе XX века, Уинстон Черчилль. Его книга «Вторая мировая война» оказалась ровно сотой. Что ж, выбор читателей – глас народа…

А ведь как только не называли Оруэлла и при жизни, и после смерти! «Эксцентричный чудак» (В.Притчетт), «вырожденец-полуинтеллигент» (Б.Пилмотт), «лицемерный джентльмен» (Г.Фаст), но и – «лакмусовая бумага этики» (Д.Тейлор), и «человек с беспокойной совестью» (Р.Рис). А кроме того, если в его адрес на Западе бросали и бросают: «солдат неудачи», «изгой-любитель», «игрок духа», «политический вуайерист» и даже «собака с костью наблюдений», то в СССР, да и в новой России, клеймят ныне куда круче: «пасквилянт», «грязный клеветник», «лазутчик реакции», «литературный проходимец» «фашист», «ябедник» и даже «враг человечества»… Эх, люди, люди…

«Лучшие книги, – сказал как-то Оруэлл, – говорят о том, что тебе известно и без них». Но через тридцать пять лет после выхода романа «1984» всезнайки мира почему-то радостно отпраздновали не дату рождения писателя, не год выхода книги – юбилей заглавия ее, дату, обозначенную на обложке романа. Такого ни с кем еще не бывало.

Мир радовался, что главные предвидения классика, к счастью, не сбылись (сбылись из 137 предсказаний Оруэлла только 100 не «главных» – так подсчитал тогда же Д.Гудмен в журнале *Futurist*). И никто не сказал, что праздновалась не календарная даже дата, а «Вечный год», как скажет (и назовет свою статью) Виктория Чаликова, год, на который миру и дальше придется оглядываться… Мы *уже* похожи на героев его романа – или *еще* нет?..

«Массовой аберрацией читательского восприятия» назвала В.А.Чаликова ожидание наступления «оруэлловского кошмара». Именно перед ней, перед Викторией Чаликовой, московской армянкой, упокоившейся на кладбище ФРГ, внучкой и дочкой репрессированных родных, блестящей исследовательницей и редким талантом, хотелось бы снять шляпу сегодня. Именно Чаликова прозорливо написала, что «нет жестокости страшнее понимающей жестокости, нет страшнее убийцы, чем интеллектуал». Она первой назвала Сталина не просто деспотом, но «деспотом-интеллектуалом» и подчеркнула, что «интеллектуал не означает благородный, порядочный, ни даже талантливый или умный», он всего лишь «человек, воспринимающий мир как нечто доступное его анализу, синтезу и прогнозу, требующее его вмешательства и руководства», что он, интеллектуал, как и

Сталин, «живет ради прямой или косвенной власти над миром». Оруэлл ведь еще в 1939 году заметил в журнале *Adelphi*, что «поклонение жестокой власти под самыми различными обличиями стало универсальной религией». Мир всегда отрывает политику от морали, и потому прав был Оруэлл: «тоталитарная идея живет в сознании интеллектуалов везде» и «неизбежно проявляется в том или ином обличье». Именно Чаликова, назвав Оруэлла «одним из самых властных мифов XX века», первой заговорила об «интеллектуализации зла», об «элите тоталитаризма». Именно она впервые вычитала в конце романа «1984», что «человеку в конечном счете всё равно, кого любить, жалеть, к чьей груди прижиматься – лишь бы был другой человек. Если нет другого, кроме палача, он будет любить палача, иначе задохнется от ненависти. Именно потому, – пошла она даже дальше Оруэлла, – человек может пережить любой социальный порядок…»

Страшные ведь слова! И актуальные!

Наконец, именно Чаликова заметила, как расходятся в оценках романа записные футурологи, глядящие в будущее, и историки, сосредоточенные на прошлом. Первые беспечно утверждают: 1984 год не наступит никогда, спите спокойно. А вот историки к фантазиям Оруэлла, Хаксли и Замятина относятся серьезней. «Если мы еще не дожили до описанного ими будущего, – утверждают они, – то этим мы в какой-то мере обязаны им. А если мы все-таки придем к нему, то должны будем признать, что знали, куда идем…»

Знали, но, увы, вряд ли понимали. И даже честнейших из историков хочется спросить ныне: не напрасны ли ваши упования? Ведь та же история ясно показывает: не усваивает человечество уроков прошлого. Как сказал недавно один мрачный до беспросветности публицист (именно потому я и не называю его имени): «Три тысячи лет истории должны были бы научить нас простым вещам: что мир – это лучше, чем война, университет – это лучше, чем разбрызганные по стенам мозги, дети – это лучше, чем орущие, изнасилованные, зарезанные бабы… Но они не усваиваются, и сегодня мы каждый раз открываем новостную ленту интернета с некоторым холодком, потому что мы понимаем, когда может начаться опять… Даже если не начнется, вот это наше предощущение, понимание того, что сейчас абсолютно реален тот кошмар, который разрывал человечество в XX веке, – это лучшее доказательство того, что природа наша, в общем, весьма и весьма порочна…» Не в этом ли неуязвимая ценность последнего романа Оруэлла, его востребованность читателем, его бессмертие?

Удивительна неослабевающая тяга людей к роману «1984». Словно, как в детстве, нас тянет «расчесывать» наши болячки. Ведь если хоронили писателя три десятка людей, жалкая кучка родных и друзей, то к 1984 году только в Англии было раскуплено 11 миллионов экземпляров его книги. Ныне, как «на глазок» подсчитали специалисты, их лишь на английском продано свыше 40 миллионов. И совсем уж поразительно, что когда в июне 2013 года грянул вдруг скандал с АНБ – Агентством национальной безопасности США, скандал Эдварда Сноудена с «прослушкой», – продажи романа на Западе вдруг выросли – я не поверил глазам! – на 6000%! Бывает ли такое?! Словно мир вздрогнул от того, что стали сбываться уже главные «пророчества» Оруэлла, и потянулся не за «диагнозами» его, а за рецептами от бед.

А ведь, кроме слов-рецептов, от «рядового свободы» не осталось почти ничего! Грустно читать, как ищутся ныне хоть какие-то следы его реальной жизни: личные вещи, фотографии, пленки с его голосом, книги его библиотеки («дорожной карты большого ума», как назовет ее Г.Боукер). От Испании у него остался шарф, который был на нем, когда его ранило, и три шейных платка. Аукционный дом Блумсбери уже в наше время выставит их на торги под стартовой ценой в две тысячи долларов. Чуть раньше уйдет за 1750 долларов в Филадельфии книга стихов Т.Грея, которая была подарена выпускнику Итона Эрику Блэру от директора колледжа. А тот же Тейлор, биограф писателя, в 2003-м напишет, что гордится подаренным ему кем-то степлером Оруэлла. Время от времени сенсационно сообщается: найдены кинокадры какого-то футбольного матча в Итоне, где в группе мальчишек одна фигура («третья справа») очень напоминает Эрика, а на еще одном фрагменте какого-то фильма, снятого в начале 1930-х (увы, «с пятнами и размывами»), вроде бы запечатлена «близкая к реальным пропорциям» фигура Оруэлла… Смешно и печально. Сам Оруэлл, кстати, как-то написал, что если сильно вчитываться в чей-то текст, то рано или поздно за страницами его обязательно мелькнет, может, и не реальная, но «некая проекция автора». Вот этот «снимок» провидца остался. Тоже с «пятнами и размывами», но всё же…

Ни пророком, ни провидцем он, конечно, не был. Ни себе, ни близким своим не предсказал ни жизни, ни смерти. Не разглядел в будущем, как в 1978 году его сестра Эврил, хлопоча по дому, вдруг рухнет у плиты с сердечным приступом и скончается раньше, чем ее муж, одноногий Билл, накачавшийся накануне пивом, найдет ее на полу. Ричард, приемный сын, к тому времени окончивший сельскохозяйственный колледж и успевший

жениться, на похороны любимой тетки опоздает – застанет лишь Билла в обнимку с бутылкой. Билл, впрочем, недолго будет горевать и, ища помощницу по ферме, сойдется с Джейн, племянницей Оруэлла. Это тоже было бы неожиданностью для «провидца». А Ричард, окончив колледж, став инженером по сельхозоборудованию, впоследствии выше агента при правительстве по «сельским делам» в карьере не поднимется. Кстати, вступив в права наследования после смерти Сони, тут же передаст все полномочия на «использование и публикацию документов и произведений» отца основанному тогда же «Мемориальному фонду Дж.Оруэлла». Фонд возглавит Б.Крик, официальный биограф Оруэлла, а в правление войдут и Д.Астор, и Ф.Варбург. А вообще сын Оруэлла проживет жизнь тихо и первое интервью об отце даст лишь в 2009-м.

Жизнь Сони, жены, Оруэлл, кажется, тоже не угадал. «Ее дальнейшее существование, – напишет один поэт, – нельзя читать без грусти». Она по-прежнему вела жизнь богемную, вступала в недолгие связи и уже через пару месяцев после похорон мужа, бросив Люсьена Фрейда, отправилась на южное побережье Франции с давней любовью своей – с Мерло-Понти. Была «трудной женщиной». Влюблялась еще, например, в Марка Питт-Риверса, богатого правнука знаменитого антрополога, за кого даже вышла замуж, но он, как и первый любовник Джасинты Баддиком, оказался гомосексуалистом. В 1960-е жила в Париже, редактировала какой-то журнал литературы и искусства. «Излишне увлекалась алкоголем», как мягко заметят биографы, но в последние годы в одном из издательств курировала выход книг и Сола Беллоу, и Нормана Мейлера…

Явную глупость совершила одну: в 1953-м еще на благотворительном аукционе продала единственный экземпляр рукописи романа «1984». За пятьдесят фунтов. «Сегодня, – пишет Гордон Боукер, – это стоило бы многие тысячи». Но жадной не была, с присущей ей щедростью до конца помогала, например, вдове Тима – Сирила Коннолли – и его детям. В одном никто не мог упрекнуть ее: она деятельно и со страстью занималась наследием мужа. В бумагах Оруэлла был полный беспорядок, он небрежно относился к ним. Переписка его была обширной, но он не оставлял себе копий писем, даже когда писал их на машинке. Так что Соня собирала их по всему свету. Потом совместно с Д.Астором и Р.Рисом, литературным душеприказчиком писателя, стала инициатором создания Доверительной группы архива Джорджа Оруэлла в Отделе специальных коллекций научной библиотеки университетского колледжа – одного из авторитетных исследовательских центров. Там же, в 1960-м, основала Фонд и

архив Оруэлла и с Яном Энгусом, замом главного библиотекаря, взялась за обработку наследия мужа и запись свидетельств знавших его. Наконец, блюдя завет Оруэлла не писать его биографии (он опасался, что жизнеописание будет «экстравагантно или мрачно»), долго никого не подпускала к бумагам покойного. Лишь когда процесс стал выходить из-под ее контроля[87], попыталась сначала уговорить написать «правильную» биографию Малькольма Маггериджа, друга Оруэлла, а когда тот отказался, поручила это Бернарду Крику. Поставила жесткое условие, что лично будет иметь право сокращения и внесения правок, но на деле почти не вмешивалась в его работу, ибо в то время, в начале 1970-х, уже много пила, и у нее возникали проблемы со здоровьем. Когда Крик закончит работу, здоровье Сони находилось уже в критическом состоянии и она «не внесла в работу профессора ни одной поправки». К тому времени она вообще рассорилась почти со всеми…

Соня не доживет до 1984 года – умрет в Лондоне в 1980-м. Богатейшая, казалось бы, вдова умрет без копейки в кармане; даже похороны оплатят чужие люди. Джек Харрисон, финансовый распорядитель компании «*George Orwell Productions Ltd*.», ее, конечно, обманет. Соня успеет подать иск на него в Высокий суд Лондона, и у нее были основания выиграть дело, но, чувствуя себя всё хуже, даст уговорить себя решить спор во внесудебном порядке. Не успеет и этого – скончается от злокачественной опухоли мозга… Не дожила до открытия музеев Оруэлла, до самой знаменитой ежегодной премии Британии его имени «за выдающиеся произведения в области литературы, связанные с политической жизнью» – премию в 1994 году учредят по инициативе Б.Крика. Но еще одну волю мужа – финансирование издания его последнего романа на русском языке – выполнить успеет. Роман «1984» выйдет в 1956 году во Франкфурте-на-Майне, там же, где ранее вышел на русском и «Скотный двор». Книгу напечатает сначала журнал «Грани», а через год она выйдет в «Посеве».

«Современному российскому читателю, – пишет разбиравшийся в этом вопросе Павел Матвеев, – роман Оруэлла “1984” известен в двух основных переводах – Виктора Голышева и Вячеслава Недошивина. Впервые опубликованные еще в СССР в конце восьмидесятых, когда за чтение и хранение этой книги перестали давать сроки, книги эти неоднократно переиздавались. Русский текст В.Голышева, – пишет П.Матвеев, – довольно быстро вытеснил из печати работу В.Недошивина и ныне считается “каноническим”; хотя при внимательном филологическом анализе обоих текстов оба выглядят совершенно равноценными

по качеству. Однако мало кому известно, что ни тот, ни другой не были первыми. И Голышев, и Недошивин, чьи переводы были опубликованы с очень небольшим временным зазором в 1988–1989 годах, делят второе и третье место[88]. Первое – если и не по качеству, то по времени появления – безоговорочно занимает… перевод В.Андреева и Н.Витова, где в обоих случаях – псевдонимы вместо подлинных фамилий…»

Разбираясь, кто скрывался под псевдонимами, П.Матвеев пишет, что В.Андреев – это, скорее всего, Николай Ефремович Андреев (1908–1982), историк и литературовед, уроженец Петербурга, эмигрант еще первой волны, завершивший ученую карьеру в звании профессора Кембриджского университета. Андреев – автор интереснейшей мемуарной книги «То, что вспоминается», которую он не успел завершить. А что касается второго переводчика, обозначенного как «Н.Витов», то под этим псевдонимом укрылся Николай Пашин (урожд. Пасхин; 1908–1976) – эмигрант-невозвращенец, известный также как старший брат писателя С.С.Максимова (Пасхина; 1916–1967).

История «русского Оруэлла» интересна сама по себе, но показательна и в том, как эволюционировали значение и «адресат» последнего романа писателя. Первые упоминания о романе «1984» стали появляться в советской печати почти сразу после смерти Оруэлла. В бумагах Союза писателей, в разделе «Хроника» тогда же появилось сообщение «Смерть Д.Оруэлла».

«Как сообщает французская газета “Комба” от 26.01.1950 года, – говорилось в нем, – умер Джордж Оруэлл. Этого писателя, известного своими антисоветскими пасквилями “*Ферма зверей*” и “*1984*”, газета изображает чуть ли не марксистом… *New Statesman and Nation* от 28.1.1950 года помещает статью В.С.Притчетта (английского писателя и литературоведа) об Оруэлле. Притчетт называет Оруэлла “святым”, чем-то вроде Дон Кихота, и пытается представить его в виде “мученика”. Однако даже он вынужден признать, что последний роман Оруэлла является “кошмарной проекцией будущего”…» Многоточие!

Вообще, великие книги стремятся присвоить себе не только люди разных «убеждений», о чем уже говорилось, но сами государства. В СССР, скажем, выпускали «закрытыми тиражами» (для членов Политбюро и ЦК КПСС) и его роман, и книги, связанные с ним. Так была выпущена в 1962 году книга Р.Риса «Беглец из лагеря победителей». Дикость, конечно. Но не меньшей дикостью было тайно издавать книги Оруэлла на Западе на русском, менять финалы произведений и вставлять в фильм по роману Оруэлла вскидываемые в фашистском приветствии героями романа руки. Скотт Лукас в заметке от 2000 года

напишет, что спецслужбы США не только оказывали финансовую поддержку «проекту», но и уговаривали вдову писателя передать им права на экранизацию романа.

«Бедный Оруэлл, – скажет Исаак Дойчер еще в 1954-м, – мог ли он когда-то представить, что его книга станет столь известным мероприятием в программе Недели ненависти?» Дойчер, кажется, первым призна́ет: Оруэлл, может, и метил своей книгой в Советскую Россию, но изобразил Англию своего времени и Соединенные Штаты. «Общество, описанное им, – пишет Дойчер, – воплощает всё, что он ненавидел и терпеть не мог в собственном окружении… “Новояз” – гораздо меньше пародия на сталинские штампы, чем на “телеграфный” язык англо-американских журналистов, который он терпеть не мог…[89] А черты партии в “1984” скорее высмеивают английскую партию лейбористов, чем советскую коммунистическую партию…»

О том же напишет и немецкий философ Эрих Фромм. Он утверждал, что роман Оруэлла нельзя вопринимать как укор сталинизму. «На самом деле он говорит о тенденции, идущей в западных индустриальных странах, только более медленными темпами, чем в Китае или России… Если мир “1984” станет доминирующим на этой планете, то это будет мир безумцев, нежизнеспособный мир». И спасти нас может, пишет Фромм, только «возрождение духа гуманизма и достоинства…».

Но, увы, мир все больше превращается в злобный хаос: «двухминутки ненависти» проходят теперь в мировой сети каждый час, причем миллионы людей, «задыхаясь от ненависти», наглядно соревнуются, кто ненавидит страшнее. Почитайте «Фейсбук»: самые мягкие характеристики в нем даже вчерашних друзей – это «тварь», «гнида», «мразь» и «гаденыш». И это пишут не работяги «от станка», не крестьяне, горбатящиеся на пахоте, – интеллектуалы: журналисты, писатели, художники, ученые. Добрый взгляд на вещи – уже почти архаизм. И если учесть, что в развращении общества, разрушении «того, что еще имеет твердость» – семьи, нравственности, традиций, веры в Бога, искусства – заинтересованы теперь и государственные структуры (через превратно понятую «толерантность», выдрессированную печать, через духовный эксгибиционизм и превращение животного потребления в смысл жизни) – то дела наши ныне, пожалуй, хуже, чем предполагал Фромм.

На это обратил внимание уже в наше время исследователь западной литературы А.М.Зверев: «Говорить надо не столько о конкретике, – пишет он, – сколько о социальной болезни, глубоко укорененной в атмосфере… и по-разному проявляющейся, хотя это всё та же самая болезнь, которая методически убивает

личность, укрепляя идеологию и власть. Это может быть власть Старшего Брата, глядящего с тысячи портретов, или власть анонимной бюрократии. В одном варианте – это идеология сталинизма, это доктрина расового и национального превосходства – в другом, а в третьем – комплекс идей агрессивной технократии, которая мечтает о всеобщей роботизации. Но все эти варианты предполагают ничтожество человека и абсолютизм власти».

Не буду приводить здесь четырнадцать признаков фашизма Умберто Эко (серьезные политологи смеются над ними, называя их «художественным творчеством»). Не буду повторять Оруэлла, что в отличие от патриотизма фашизм – это агрессивный по отношению к другим народам национализм. Скажу лишь, что фашизм, как сходятся во мнении многие специалисты, – это национализм плюс обязательная при нем диктатура. А общество может быть любым: западным или восточным. Словом, оглянитесь вокруг: если вместо «хайль» вы хором кричите «слава», но при этом яростно ненавидите любые другие, кроме вашей, нации, если свыклись с мыслью, что именно вы, ваша страна должны управлять миром, если ради возвышения над другими готовы выискивать «врагов», «пятую колонну» внутри своего общества и согласны передоверить право участия в управлении государством какому-нибудь одному лидеру, тайной клике или одной семье (даже при «свободных», казалось бы, выборах), – значит, у вас наступает фашизм. Всё остальное: бессудные аресты, чудовищные провокации против народа, лагеря для «несогласных», пытки в тайных тюрьмах, факельные шествия под вашими окнами, исчезновения людей, наконец, официальный запрет «неугодной» литературы и покрывающая всё перечисленное ложь себе и другим – всё это незаметно, но неизменно придет следом…

Страшна Океания, описанная Оруэллом; страшен мир его книги, представивший, можно сказать, лоботомию человечества, которую сделало над собой само же человечество. Когда-то «адресатами» Океании буквально «назначили» СССР и германский фашизм. Позднее признаки общества «1984» начали находить и в западных обществах. Сегодня два «адреса» критики Оруэлла – Восток и Запад – смешались: Россию, ссылаясь на Оруэлла, критикуют за прошлое, за тоталитарный СССР; Запад, и все чаще США, – за завтрашнее будущее, за «либеральный фашизм», как пишет американец Джона Голдберг. Его пятисотстраничная книга «Либеральный фашизм. История левых сил от Муссолини до Обамы», вышедшая в 2007 году, не просто ссылается на Оруэлла – много раз цитирует его. Фашизм – родовая черта интеллектуала,

предполагал Оруэлл, не в пример интеллигенту, к которым относил и себя. Голдберг доказывает ныне, что фашизм в наш мир пришел не в коричневых или черных рубашках – в кроссовках *Nike* и футболках со смайликами, что фашизм ныне – это власть корпораций, взятая в любой свободной, казалось бы, стране. Оруэлл писал, цитирует классика Д.Голдберг, что «слово “фашизм”… не употребляется ни в каком другом смысле, кроме как для обозначения “чего-либо нежелательного”». «Левые сегодня, – пишет Голдберг, – употребляют другие слова: “расист”, “сексист”, “гомофоб”, “христианский фундаменталист”… Каждый день мы слышим о “войне с болезнями”, “с наркотиками”, “с бедностью” и сталкиваемся с призывами сделать ту или иную социальную проблему “моральным эквивалентом войны”. Начиная от вопросов здравоохранения и контроля над огнестрельным оружием и заканчивая глобальным потеплением, в любой проблеме либералы настаивают, что необходимо “выйти за пределы политики”… Нам говорят, что эксперты и ученые знают, что нужно делать, поэтому никаких обсуждений не будет. Это, – заключает Голдберг, – логика фашизма». Навязывание своего мнения силой – это фашизм. Апогей восхваления собственной нации в противовес другим – это тоже фашизм. И однозначно фашизм – попытка не просто поучать другие страны, но нести им свой опыт о «благе свободы» и «демократии» буквально «на штыках»…

Философ, писатель, художник Максим Кантор в статье «Пожар демократии», напечатанной только что, пишет: «Оруэлл предсказал, что новый порядок выдвинет лозунг “Война – это мир”. Так и случилось. Речь идет, – пишет М.Кантор, – о бесконечной гражданской войне, в которой практически нет виноватых… И тут же, – смеется М.Кантор, – аргументы: хотите как в Северной Корее? Берите демократию – лучше всё равно ничего нет. И тут же – цитату из Поппера: оказывается, еще Платон выстроил казарменные обязательства граждан друг перед другом – и сами видите, что дело кончилось ГУЛАГом. И тут же – цитату из Ханны Арендт о банальности зла: видите, как легко тоталитаризм пускает корни. И тут же – рецепты Айн Рэнд: вы не о равенстве посредственностей думайте, а о личной инициативе и успехе. И всё логично и понятно. У Ленина и Брежнева тоже выглядело понятно, у Джефферсона и Токвиля тоже получалось стройно… И сегодня, в новой системе координат, граждане растерянно ищут и не находят ответа: а есть ли в самом деле нечто лучшее, чем демократия? Конституционная монархия? Анархия? Коммунизм? Как приглядишься, нет ничего лучше демократии. А рынок развивает прогресс; всё сходится. Теперь

понятно, – ядовито констатирует автор, – почему у Абрамовича – яхта, а варваров – бомбят…»

Когда современные обществоведы предложили считать, утверждает М.Кантор, что отныне имеется «единая цивилизация, развивающаяся от варварства к прогрессу», и общие демократические ценности существуют для всех, – именно в этот момент «перманентная война» и была объявлена. «Все опасались мирового пожара, который устроит злокозненный коммунизм, и не заметили, что именно концепция всемирной рыночной демократии ведет к мировому пожару… Стратегией является создание хаоса. Хаос локальный можно спрятать в хаосе мировом. Цивилизованные страны гордятся тем, что они не воюют, но издалека бомбят – а дальше пусть разбирается местное население. Это лишь по виду безответственность. Точечные удары по объектам выполняют необходимую задачу: бомбардировка должна ввергнуть страну в неуправляемое состояние. Надо разрушить целое. Дальше правит хаос… Толпы скандируют, что они хотят перемен, но никто из митингующих никогда не скажет, каких именно перемен он хочет… Еще, еще, еще – расшатывай государство, раскачивай лодку. Ты не хочешь расшатывать государство – значит, ты за тиранию, охранитель режима? Есть вещи поважнее, чем застой и мир! Отныне война – единственный порядок, единственно желаемое для демократической номенклатуры положение дел… Стабильности не ждут, потому что она уже не является социальной ценностью… Отныне даже присвоение ресурсов побежденной страны не нужно: ресурсы расторопным людям достанутся сами собой, после того как суверенная страна прекратит существование. Целью войн отныне является то, что на современном политическом жаргоне называется “утверждение демократии”, а это не утверждение иного порядка – это утверждение перманентного хаоса. Гибнущая либеральная экономика может выжить лишь путем утверждения всемирного хаоса… В разоренных войной землях занимаются отнюдь не медицинским снабжением и даже не восстановлением промышленности; занимаются организацией выборов лидера страны из трех боевиков – надо решить, кто будет командовать в течение следующих трех месяцев. Потом пройдут иные выборы, к власти приведут иного головореза, и так будет всегда… Требуется поддерживать ротацию крикунов – это называют свободными выборами… Пощадите, кричит сириец или афганец (или русский), мы жили по другим законам, и наша цивилизация иная! Дикарям объясняют: нельзя остаться в стороне, образовалась глобальная цивилизация, рынки не знают границ – и то, что способствует либеральному рынку, полезно для человечества…»

То есть для сверхбогатых! А для чересчур своевольных есть стратегические военно-воздушные силы США, чей девиз «Мир – наша профессия». Прямо ведь по Оруэллу! И никаких дискуссий, нишкни!..

Ну разве это не созвучно Оруэллу? И разве осталась где-нибудь демократия, как ее понимали «отцы-основатели»? Смешно, но если когда-то демократия на Западе защищала бедных от богатых, то теперь и у нас, в России, она стала защищать богатых – от бедных. «Дьяволов водевиль», по словам Достоевского.

Вот свежие цифры. В 110-летие со дня рождения Оруэлла, в 2013 году, британская *Guardian* провела опрос: «Прав ли был Джордж Оруэлл в своих предсказаниях?» Так вот, 89% опрошенных британцев ответили «да». И ни одного, заметьте, ответа, что это сбылось ныне в России. «На современном Западе множество людей, – пишет газета, – считает, что современность все больше напоминает мир “1984” и “Скотного двора”». «**Демократия? – она сейчас находится в реанимации», – отвечают опрошенные. А г**лавное, подчеркивает *Guardian*, – «отсутствие реальной демократии, свертывание гражданских свобод, повсеместное наблюдение за публичными пространствами видеокамерами и за частной жизнью людей – через слежку в сетях… Это свидетельствует об универсальном характере тоталитаризма: книги Оруэлла виделись разоблачением коммунистической, то есть левой идеи, а современные, обильно заимствующие у Оруэлла антиутопии… однозначно говорят об опасности ультраправых тенденций именно у нас…»

Это «глас» западного народа, не нашего! Впрочем, и нашего, но – живущего там. Моя знакомая журналистка, уехавшая в Америку тридцать лет назад, недавно призналась мне: «Вы не поверите, – сказала, – но ныне стало почти невозможно жить. Если ты не за геев, не за усыновление ими детей, не за “свободную семью” и право ребенка доносить на своих родителей, то ты в любой компании изгой. С тобой перестают раскланиваться, улыбаться, тебя не приглашают на “пати” и подвергают такому остракизму, что это сказывается даже на моих внуках в школе… Ты все время как в стане врага…» Война идей, ежеминутно превращающаяся в войну людей. Традиции, мораль, идеалы, верования, будь то христианство или мусульманство – я уж не говорю про любую живучую «идеологию», оканчивающуюся на «изм», – это, как предсказывал Оруэлл, обязательно будущие войны и реки крови… И в этом тоже – бессмертность его книг.

Не помню, кто из наших современников придумал термин

«орвилаж», то есть воплощение «предположений» писателя в мире нашего уже столетия. Власть гигантских денег и трансцендентальных корпораций – орвилаж. Тайное спонсирование террористов – орвилаж. Сбор информации о привычках и интересах людей с помощью интернет-сайтов и телефонов, контроль за эмоциями и «управление» психикой людей через спецпрепараты – орвилаж. «Двойные стандарты» в освещении якобы «освободительных» войн, «цветные революции» и Шарп, их «теоретик», частные армии, неизвестно кому подчиняющиеся, бесконечные возможности компьютерного анализа поведения огромных людских масс, наконец, переписывание истории – всё это наглый, вызывающий орвилаж. А кроме того: контроль за информацией в печати через подачу максимально упрощенной версии событий, закрытая «корпоративность пропаганды», когда и на экранах ТВ, и в газетах мы видим одни и те же лица, молодежь, чье сознание забито примитивными играми, пустыми сериалами и дешевыми детективами, «конвейерное искусство», заваленное порнографией, «уполномоченные по этике», недавно появившиеся во многих американских компаниях, и беспардонная «казачья мораль» наших якобы «дружинников». Что это всё, как не отголоски романа Оруэлла? А так называемые «окна Овертона»[90], когда за год, за три, за пять, привлекая ученых, экспертов и «мастеров» пиара, можно так переделать мозги общества, что оно примет и поддержит хоть педофилию, хоть даже каннибализм. Я не говорю уже о клонировании людей, когда, как утверждают ученые (Т.В.Черниговская), на коммерческой основе будет возможно получать детей «голубоглазых, с ногами от ушей, ума Эйнштейнова», в противовес миллионам и миллиардам детей бедных. Вот уж действительно будет «дьяволов водевиль»!.. Я не говорю об идущем на смену интернету нейронету – вживлению каждому младенцу микронных чипов, когда управлять миром можно будет так, как и не снилось тиранам XX века, и, наконец, не говорю, что, по предсказанием ученых, возникнет Искинт – искусственный интеллект. Национальные интересы, эта вечная «забава» государств, исчезнут, и никто даже не заметит этого – думающие самостоятельно машины не поставят нас в известность об этом. Искинт «станет творить информацию по своему усмотрению», так что все мы будем жить в иллюзорном мире, «в насквозь лживой информационной среде». Вот уж когда правда вообще забудет про «штаны». Искинт будет по собственному «разумению», о котором человек даже не узнает, управлять и президентами, и простыми людьми. Вот откуда придет к нам тотальная тирания на всех

континентах. И вот когда истории – привет Фукуяме! – действительно придет конец…

«Поют птицы, поют пролы, партия не поет», – пишет в романе Оруэлл и подчеркивает: простой Человек и его ценности когда-нибудь явят миру «племя сознательных существ». Он ведь еще в 1940-м написал своему издателю, социалисту Виктору Голланцу: «Когда грянет гром, простые люди могут оказаться гораздо более умными, чем интеллектуалы». Потому и любил людей простых. Разве не это читается в нашем искреннем сочувствии и к «широкозадой» бабе, вечно развешивающей свое вечное белье во дворе, и к сломленному, но единственному понявшему всё человеку его последнего романа, которого нельзя не полюбить, – Уинстону Смиту. Да, любовь к людям, а не ненависть – вот единственное спасение от мировых катаклизмов и вот, представьте, единственный критерий в оценке великих книг. Не верите? Тогда вот вам «под занавес» история, связанная с другим писателем, с Анатолем Франсом; даже не история – притча…

Пишут, что однажды к А.Франсу пожаловал один британский литературовед и спросил: есть ли точные признаки, по которым мы можем определить «великую книгу»?

– А какие признаки вам кажутся обязательными? – спросил его Франс.

– Владение композицией, чистый язык, мастерское построение сюжета, умение строить выразительные и разнообразные характеры, – начал перечислять литературовед.

– Сделаем тут остановку, – прервал его А.Франс. – Владение композицией?.. Едва ли кто-нибудь станет отрицать, что Рабле – великий писатель. Между тем его романы о Гаргантюа и Пантагрюэле рыхлы, неуклюжи и чудовищно тяжеловесны. А восторженные почитатели Пруста не отрицают, что роман его… нечто громадное и бесформенное. Очевидно, этот критерий отпадает. Чистота языка?.. Язык Шекспира не осмелится назвать чистым и ясным даже самый пламенный его адепт. Неблагозвучная, плюющая на все правила хорошего литературного тона речь обладает невероятной мощью, она-то и делает Шекспира гением. Флобер говорил о первом нашем романисте: «Каким бы человеком был Бальзак, если б умел писать!» Но Бальзак с его длиннотами, порой косноязычием, стоит выше пуриста Флобера. Значит, побоку и чистый язык… Богатство характеров? Вроде бы бесспорно. Только нам придется выбросить… самого Байрона. И в поэмах, и в трагедиях он живописует один и тот же характер – свой собственный. Какие еще взять критерии?..

– Не надо, – уныло оборвал его англичанин. – Значит, вообще

не существует признака, по которому можно было бы определить великого писателя?

– Есть, – спокойно ответил Анатоль Франс. – Любовь к людям.

Вот этот критерий, приложимый, кстати, ко всем искусствам, и делает Оруэлла и его книги великими. «Быть раздавленным жизнью… за свою любовь к другим людям…» – Оруэлл, повторю, уже сказал это. Он сказал даже больше, он, как Кириллов в «Бесах» Достоевского, своей безжалостностью к себе словно наново доказывал: рабом человек перестает быть и становится богом, лишь убив самого себя, ибо полная свобода приходит только тогда, когда вам становится безразлично, жить или не жить… Вот почему всё творчество его детонировало не от умопомрачительных «лав стори», не от заковыристых коллизий быта, забавных «интриг» общества или «исповедей» разочаровавшихся в жизни – оно взрывалось от кровоточащих ран человеческих, рабства, дышащего угаром, попранной свободы и неслышных миру стенаний узников совести. Ради этого он в оглушительном, считайте, одиночестве очищал «идею социализма», ровно как Геракл мифологический чистил скотный двор царя Элиды Авгия. И ради этого последний роман его стал первым грозным предупреждением в защите будущего Человека от всех современных и грядущих на Земле тираний.

…Да, последнюю книгу свою он писал всю жизнь. Всею жизнью писал. И любил людей, но – каких? Нищего художника, знавшего «карту неба» и видевшего звёзды слезящимися глазами, девушку, чистящую палкой на морозе сточную канаву, незнакомого ему солдата-итальянца, решившего умереть за испанскую свободу! Вот боль и любовь писателя. А в последнем романе он «выложился» настолько, что Эмма Ларкин, очерком которой я и заканчиваю книгу, докапываясь до задуманного следующего романа его, не нашла, увы, ни-че-го! Ни страницы, ни метафоры, ни слова.

«Прежде чем я поехала в Бирму, – пишет она, – я отправилась в архив Джорджа Оруэлла в Лондоне – взглянуть на последнюю рукопись его. Так вот, в чернильных каракулях на первых трех страницах его записной книжки был написан только план и… завитушки-виньетки. Я пролистала книжку до конца – страницы ее были пусты…»

Он всё сказал романом «1984». Но загадка, тайна само́й жизни его, как всякая настоящая тайна, никогда не будет раскрыта. «Удовлетворение и отвращение» от жизни – вот что подметил он когда-то, размышляя о «человеческом существовании». «Какая-то часть нашего разума, – написал, – верит в то, что человек – благородное животное и что жизнь стоит

того, чтобы жить; но существует еще некая внутренняя натура, которая по крайней мере время от времени приходит в ужас перед тяготами существования. Удовлетворение и отвращение связаны между собою самым загадочным образом…»

«В перспективе, – написал недавно об Оруэлле Джон Бонвилл, – его будут ценить за необыкновенную порядочность и чувство справедливости. Каждое новое поколение будет вновь открывать его для себя… И, наконец, можно любить Оруэлла за… неизменный отказ его строить из себя великого человека, за то, что он никогда не старался выглядеть чем-то бóльшим, чем был». Ну а Кёстлер в некрологе Оруэллу сказал: «Пришло время признать, что он единственный гениальный писатель среди литераторов социального направления… В нем нет ни академических ноток высокоученого литератора, ни вкрадчивости специалиста по рекламе, ни болтовни глашатая партийной линии; его голос – это голос независимого человека, смотревшего на всё собственными глазами, понимавшего то, о чем он думает, и умевшего это выразить…»

Таким он ушел из жизни. «Он сочинял судьбу, торя тропу не столь широкую, сколь глубокую», – сказала когда-то о нем В.А.Чаликова. Проходной, казалось бы, образ… Так вот, в далекой Испании, куда приехал его приемный сын Ричард в 2013 году, в арагонских горах, где Оруэлл держал бой с фашизмом и где, как сам написал, родился вторично, сохранилась, представьте, не образная, не метафорическая – реальная «тропа Оруэлла». Это вам не степлер или шейный платок. Тропу так и зовут его именем – тонкая, как пробор на голове джентльмена, тропка, по которой он ходил по ночам на нейтральную полосу собирать забытую в земле картошку вчерашнего, мирного еще урожая. Ради спасения голодающих братьев по оружию: тоже ведь война, война за жизнь.

Тропа, тропка его «живет» с 1936 года; ее показывают ныне любому туристу. Найдите ее, если будете в Испании. Не всякая, конечно, тропа указывает людям нужный, может, единственно верный путь. Но эта, верю, – укажет!

Именной указатель

А

Абрамович, Роман Аркадьевич 676
Абрахамс, Уильям 16, 81, 133, 182
Аввакум 490
Аллилуева, Светлана Иосифовна 372
Аль Капоне 375
Ананд, Мулк Радж 466
Андерсен, Ганс Кристиан 470
Андерсон, Шервуд 226
Андраде, Хуан 386
Андреев, Николай Ефремович 670
Андропов, Юрий Владимирович 641
Анреп, Борис Васильевич 83
Антонеску, Йон 392
Ануфриева, А.В. 520
Аплетин, Михаил Яковлевич 582
Арагон, Луи 318
Аристофан 66
Арендт, Ханна 676
Асанья-и-Диас, Мануэль 306
Асквит, Герберт Генри 25
Астор, Дэвид 24–26, 230, 417, 477, 478, 483, 490, 508, 526, 550, 553, 575, 597, 599, 601, 602, 611, 612, 621, 624, 655, 667, 668
Астор, Нэнси 229, 230, 241
Астор, Уильям Уолдорф 229, 230
Аткинс, Джон 668
Ахматова, Анна Андреевна 83, 426, 428, 582
Ашер, Дороти 431

Б

Бабель, Исаак Эммануилович 265
Бабёф, Гракх 133
Багаев Александр Владимирович 373
Баддиком, Джасинта 24, 60–72, 87–97, 104, 105, 112, 132, 598, 619, 621, 622, 624, 645, 658, 667
Баддиком, Дженнивер 62, 89, 92, 97
Баддиком, Лаура Люси 62, 93, 96

Баддиком, Проспер 62–64, 93, 96, 97
Байрон, Джордж Гордон 408, 465, 631, 682
Бальзак, Оноре де 682
Банкес, Ариан 626
Барбюс, Анри 151, 227, 231, 232
Барнс, Джулиан 540
Барто, Агния Львовна 325
Батлер, Сэмюэль 171
Бахтин, Михаил Михайлович 450
Бедарида, Франсуа 589
Бейли, Джон 553
Беккет, Сэмюэль 150
Белл, Дэниел 492
Белл, Клайв 83
Беллами, Эдвард 447
Беллоу, Сол 667
Белый, Андрей (Бугаев, Борис Николаевич) 415
Бём-Баверк, Ойген фон 133
Бёрджесс, Гай 482, 639
Бёрджесс, Энтони 446
Бердяев, Николай Александрович 250, 251, 255, 449, 450
Берзин, Ян Карлович 292
Берлин, Исайя 227
Бернар, Сара 38
Бёрнхем, Джеймс 492–495, 549, 591
Бехгофер, Карл Эрик 83
Берберова, Нина Николаевна 426
Беспалова, Лариса Георгиевна 584
Бивербрук *см. Эйткен, Уильям*
Бидон, Роджер 103
Блейк, Уильям 28, 45
Блэр (Лимузин), Айда Мейбл 26, 29, 33, 30, 36–46, 52, 71, 79, 93, 105, 145, 166, 189, 197, 274, 419, 420, 598, 622
Блэр, Марджори Фрэнсис 33, 38, 41, 43, 45, 46, 71, 79, 105, 249, 387, 570, 595
Блэр, Мэри *см. Фейн, Мэри*
Блэр, Томас Ричард Артур 34
Блэр, Ричард Уолмсли 33–39, 41–43, 51, 52, 71, 79, 93, 94, 105, 166, 189, 197, 200, 274, 402, 403
Блэр, Ричард Горацио 9–11, 23, 183, 195, 236, 277, 502, 529, 530, 537, 551, 553, 554, 570–577, 595–597, 603, 610, 611, 615, 624, 644, 655, 658, 659, 666, 667, 684
Блэр, Тони 503
Блэр, Чарльз 33, 34

Блэр, Эврил 24, 32, 42, 43, 62, 63, 71, 105, 183, 187, 189, 197, 200, 274, 419, 537, 570–575, 594, 595, 597, 598, 600, 602, 610, 611, 659, 666, 668
Блэр, Эйлин *см. О'Шонесси, Эйлин*
Блюм, Арлен Викторович 339
Бовуар, Симона де 150, 390, 568
Богданов, Александр Александрович 520
Боккаччо, Джованни 241
Бонвилл, Джон 64
Бонета, Пере 386
Бонэм-Картер, Хелена 205
Болен, Чарльз 373
Болин, Луис 288
Бонвилл, Джон 683
Борис (*русский эмигрант в Париже*) 157–159, 161, 163, 238, 531
Боркенау, Франц 626
Боукер, Гордон 16, 64, 68, 80, 92, 93, 111, 185, 235, 332, 342, 351–354, 364, 374, 377–379, 666, 667
Бохари, Зульфикар 459, 468
Брандер, Лоуренс 460, 668
Брандт, Вилли (Фрам, Херберт Эрнст Карл) 307, 308
Брантвэйт, Джек 351, 352
Брау, Ториенте 299
Браунелл, Беатрис 566
Браунелл (Оруэлл), Соня 23–25, 52, 72, 185, 275, 361, 362, 551, 552, 563, 565–570, 573, 576, 598, 619, 622–624, 655, 656, 658, 659, 667–669, 671
Браунелл, Чарльз 566
Брежнев, Леонид Ильич 13, 641, 676
Брентон, Пирс 539
Бретон, Андре 227
Брехт, Бертольт 164, 393
Бриттен, Бенджамин 548
Бродский, Иосиф Александрович 146, 226, 229, 362, 432, 500
Броквей, Феннер 267
Брэдбери, Рэй 446
Будберг (Закревская; Бенкендорф), Мария Игнатьевна 426
Булгаков, Михаил Афанасьевич 38, 372, 373, 446, 472, 489
Булгаков, Николай Афанасьевич 373
Булгакова, Елена Сергеевна 372
Буллит, Уильям 372
Бунин, Иван Алексеевич 643
Буркхард, Карл 455

Бухарин, Николай Иванович 265
Буш, Прескотт 498
Быков, Дмитрий Львович 584
Бэкон, Фрэнсис 447, 616

В

Вайо, Альварес дель 317
Ваксман, Зельман 601
Валера, Имон де 509
Ванцетти, Бартоломео 128, 371
Варбург, Фредерик 24, 335, 336, 360, 416, 421, 480, 505, 508, 509, 511, 523, 592, 593, 602, 603, 613, 619–621, 624, 648, 667
Вейль, Симона 389–391, 600
Венаблз, Дайона 68, 89–92
Вергилий 78, 616
Вестроп, Фрэнсис 201–203
Вийон, Франсуа 199
Вильдемирс, Марк 356
Вильсон, Вудро 395, 577, 578
Винавер, Ю. 567
Витов (Пасхин; Пашин), Николай Сергеевич 670
Вишневский, Всеволод Витальевич 265, 325
Владыкин, Т.И. 647
Во, Ивлин 26, 195, 541, 646, 650, 651
Володин, Александр Моисеевич 380
Вольтер 408, 472–474, 476, 541
Воннегут, Курт 446
Вордсворт, Уильям 236
Ворошилов, Климент Ефремович 317
Вуат, Т. 500
Вудкок, Джордж 15, 416, 462, 464–465, 503, 504, 508, 541, 548, 563, 564, 574, 592, 594, 602, 612, 643
Вулф, Вирджиния 83, 215
Вэбб, Беатриса 171, 201, 230, 266
Вэбб, Гарри 280
Вэбб, Сидней Джеймс 171, 201, 230, 266

Г

Гадди, Дэвид 567
Галлахер, Вилли 453

Галь, Нора (Гальперина, Элеонора Яковлевна) 582
Гамсун, Кнут 545
Ганди, Махатма 14, 19, 127, 128, 140, 348, 392, 468, 509, 540, 603, 662
Гаррет, Джордж *см. Лоу, Матт*
Гарри Уэльский, принц 74
Гаскойн, Дэвид 567
Гастев, Алексей Капитонович 520
Геббельс, Йозеф 486, 498
Гейдрих, Рейнхард 481
Гексли, Томас 398
Генрих VI 74
Георг V 33
Георг VI 266
Геринг, Герман 498
Гиббон, Эдуард 408
Гиссинг, Джордж 539
Гитлер, Адольф 284, 289, 290, 293, 295, 348, 365, 369, 370, 376, 384, 385, 389, 391, 394, 395, 400, 401, 407, 410, 411, 422, 426, 429, 430, 437–439, 453–456, 461, 470, 471, 486, 490, 497, 498, 526, 560, 579, 580, 590, 637, 641, 643, 652
Гоголь, Николай Васильевич 473, 489
Гойя, Франсиско 122
Голдберг, Джона 675
Голдстрим, Уильям 567
Голланц, Виктор 179, 180, 243, 245, 254, 256, 267, 268, 280, 331, 333–335, 364, 384, 403, 404, 469, 505, 506, 548, 681
де Голль, Шарль 205
Голсуорси, Джон 38
Голышев, Виктор Петрович 131, 669, 670
Гомер 662
Гораций 616
Горбатов, Дмитрий Сергеевич 498, 499
Горбачев, Михаил Сергеевич 641
Горер, Джеффри 246, 271, 273, 363, 364
Горкин, Хулиан 386
Горький, Максим (Пешков, Алексей Максимович) 137, 227, 264, 426
Гоу, Эндрю 78, 95, 133, 650
Грант, Ричард 205
Грей, Томас 666
Грин, Генри (Йорк, Генри Винсент) 81
Грин, Грэм 81, 603
Гринблатт, Стивен Джей 16

Гринько, Григорий Фёдорович 292
Гронский, Иван Михайлович 264
Гувер, Герберт 578
Гудмен, Дэвид 663
Гумилёв, Николай Степанович 83–85, 426, 517
Гюго, Виктор 450

Д

Даве, Ивонн 378
Даг, Олег 584
Дакин, Генри 344, 570, 595–597
Дакин (Морган), Джейн 41–43, 200, 344, 570, 595, 667
Дакин, Люси 344, 570, 595, 596
Дакин, Хэмфри 43, 249, 250
Дали, Сальвадор 542–546
Данн, Билл 574, 575, 600, 610, 611, 666
Данте Алигьери 662
Дарвин, Чарльз 299
Дарроч, Дональд 594
Дженнингс, Хэмфри 567
Джефферис, Синтия 431
Джефферсон, Томас 676
Дёблин, Альфред 446
Джиральди, Уильям 11
Джойс, Джеймс 116, 188, 189, 209, 218, 223, 265, 335, 339, 408, 539, 540, 637, 662
Джонс, Дэвид 365
Джонсон, Лидия *см. Жибуртович, Лидия Витальевна*
Диана, принцесса 74, 623
Диас, Хосе 306
Диккенс, Чарльз 38, 100, 123, 182, 348, 382, 383, 389, 391, 594, 643
Диксон, Эдгар 566
Димитров, Георгий 291
Динамов (Оглодков), Сергей Сергеевич 338–341
Дойчер, Исаак 533, 534, 633, 671, 672
Донован, Джон 299
Донован, Пэдди 267, 351
Донован, Уильям 579
Домитеева, Вера Михайловна 115, 175, 635, 636
Дос Пассос, Джон 226, 339
Достоевский, Федор Михайлович 12, 250, 263, 269, 322, 344,

367, 489, 678, 682
Драйзер, Теодор 226
Дриберг, Том 633
Дринкуотер, Джон 571
Дрейфус, Альфред 473
Дэвис, Уильям Генри 65
Дэвисон, Питер 16, 321, 322, 356, 417, 615, 633
Дэй-Льюис, Сесил 576
Дюранти, Уолтер 633

Е

Ежов, Николай Иванович 292, 317, 318
Елизавета II 541, 623
Ельцин, Борис Николаевич 641, 642
Ефимов, Борис Ефимович 318
Ефимов, Михаил Борисович 319, 322, 323, 327, 640

Ж

Жак, Элеонора 189–191
Жданов, Андрей Александрович 582
Жибуртович, Лидия Витальевна (Джонсон Лидия; Елизавета Фень) 237–239, 271, 272, 275, 277, 353, 354, 370, 376, 377, 421, 530
Жид, Андре 231, 232
Жироду, Жан 446
Жорж, Дора 187
Жуков, Георгий Константинович 483
Жуховицкий, Эммануил Львович 372

З

Замятин, Евгений Иванович 445, 446, 449, 451, 511, 512, 516–524, 527, 528, 614, 664, 670
Замятина (Усова), Людмила Николаевна 528
Зверев, Алексей Матвеевич 490, 674
Зиновьев, Григорий Евсеевич 513
Зощенко, Михаил Михайлович 428, 582

И

Ибаррури, Долорес 289, 306, 323
Ибсен, Генрик 151, 408
Иванов, Всеволод Вячеславович 265, 325
Иванов, Дмитрий Анатольевич 584, 670
Иден, Энтони 422, 589
Икеволл, Кей 124, 175, 186, 191, 192, 195, 207, 213–216, 219, 223, 224, 235, 239, 254, 255, 276, 277
Иоанн Павел II 623
Иоффе, Исаак 299
Иннес, Джон 332
Иремашвили, Сосо 525, 526
Ихок, Д. 319, 338
Ишервуд, Кристофер 361, 425

Й

Йейтс, Уильям Батлер 218

К

Каганович, Лазарь Моисеевич 226, 317
Казин, Альфред 443
Каменев (Розенфельд), Лев Борисович 513
Камерон, Норман 482
Кампанелла, Томмазо 444–447
Камю, Альбер 368, 531
Кан, Альберт 221
Кантор, Максим Карлович 676
Карл VII 474
Карлейль, Томас 188, 538
Карп, Мария Поэлевна 321, 324, 342, 356, 357, 488, 497, 584
Карр, Эдуард Халлетт 633
Картер, Джимми 496
Касталья, А. 324
Катвала, Сандар 205
Каут, Дэвид 16
Кафка, Франц 335, 434, 435, 600
Кейп, Джонатан 171, 172, 507, 508
Кёстлер, Артур 46, 47, 179, 230, 231, 281, 326, 328, 425, 430, 431–434, 501, 539, 548, 550, 554–558, 563, 565, 568, 576, 597, 619, 631, 659, 684
Кёстлер, Мамейн 554, 555, 619

Кеннан, Джордж 246, 580
Ки, Жаннета 655
Кимче, Ион 201, 204, 479
Кинг-Фарлоу, Деннис 74, 80, 82, 271
Кингсли, Чарльз 410
Киплинг, Редьярд 33, 36, 40, 80, 99, 100, 102, 224, 272, 337, 559
Кирван, Селия 430, 550, 554, 563, 564, 619, 624–627, 629–632, 634, 638, 639, 658
Китченер, Герберт 65
Кларк, Дж. 467
Клинтон, Билл 642
Кодуэлл (Спригг), Кристофер 299
Кокто, Жан 392
Колдер, Д. 16
Коллингс, Деннис 133, 190, 191, 197
Коллинс, Норман 468, 469
Кольцов (Фридлянд), Михаил (Моисей) Ефимович 226, 291, 317–319, 322–328, 338, 637, 640
Коммон, Джек 168, 216, 267, 360, 366, 378, 387, 392, 415, 482, 650
Конквест, Роберт 638, 639
Коннолли, Сирил (Тим) 57, 60, 61, 69, 70, 72, 74, 80–82, 222, 223, 235, 274, 361, 366, 400, 401, 429, 431, 436, 466, 478, 531, 548, 565, 567, 568, 622, 650, 656, 667
Копп, Жорж (Георгий Александрович) 277, 297, 303, 307, 308, 312–316, 321, 322, 352–358, 539, 572, 598, 658
Корнфорд, Джон 299
Костомаров, Николай Иванович 522
Коттман, Стаффорд 316, 335, 351
Коул, Джордж 630
Кофлин, Чарльз 392
Красин, Леонид Борисович 516
Крик, Бернард 16, 37, 39, 41, 42, 69, 122, 479, 492, 511, 541, 626, 667–669
Крестинский, Николай Николаевич 292
Криппс, Стаффорд 482
Кристофоль, Леандре 10
Кригер, Мария 583, 584
Кришнамурти, Джидду 124
Кропоткин, Пётр Алексеевич 462, 547
Кроссман, Ричард 630, 631
Крук, Дэвид 321
Кук, Артур 113

Кунард, Нэнси 334
Купер, Летиция 480, 565
Кустарёв, Александр Сергеевич 14
Кэмпбелл, Рой 248
Кэрролл, Льюис 55

Л

Лавренёв, Борис Андреевич 265
Лайонс, Юджин (Привин, Евгений Натанович) 371–376
Ламартин, Альфонс де 447
Ланн, Арнольд 288
Ларго Кабальеро, Франсиско 292
Ларкин, Эмма 661, 683
Ласки, Гарольд 179, 267, 268, 506, 548, 630
Ле Бон, Жозеф 637
Леви-Стросс, Клод 17
Левинский, Бенжамен 280, 297
Левис, Р. 16
Леман, Рудольф 459
Ленин, Владимир Ильич 26, 86, 113, 118, 165, 171, 263, 348, 376, 427, 434, 440, 451, 475, 492, 523, 526, 533, 658, 676
Леонов, Леонид Максимович 265, 446
Леонтьев, Константин Николаевич 449
Леопарди, Джакомо 618
Лессинг, Дорис 446
Ли, Дженни 281, 286
Ли, Р. 16
Лиаб, Дэниэль 583
Лимузин, Айда Мейбл *см. Блэр, Айда Мейбл*
Лимузин, Нелли 84, 150, 151, 200, 201, 271, 276, 331
Лимузин, Тереза Кэтрин 37
Лимузин, Фрэнсис Мэтью 37
Лимузин, Чарльз 52
Литвинов, Максим Максимович 513
Ллойд, Ник 10
Ллойд Джордж, Дэвид 176, 395
Ломоносов, Михаил Васильевич 38
Лондон, Джек 125, 127, 133–136, 138, 140, 165, 173, 450, 451, 491, 523, 592, 614, 615
Лорка, Федерико Гарсиа 490
Лосев, Алексей Федорович 446
Лоу, Матт 247

Лоуренс, Дэвид Херберт 84, 125, 223, 335, 540, 543, 545, 600, 612
Луговской, Владимир Александрович 265
Лукас, Скотт 16, 625, 671
Лукач, генерал *см. Мате Залка*
Льюис, Джереми 274, 566
Льюис, Синклер 446
Льюис, Уиндем 248, 361
Лэнгфорд-Раэ, Элиза Мария 109, 111, 113

M

Маггеридж, Малькольм 16, 24, 115, 116, 186, 222, 229, 431, 617, 646, 650, 655, 656, 659, 668
Маги, Брайан 638
Майерс, Леопольд 81, 366, 378
Майлз, Квартус 529
Майлз, Нора 302, 354, 421, 529
Майнорс, Роджер 79, 82
Майский, Иван Михайлович 579
Мак-Уэн, Салли 565
Макгрум, Роберт 577, 593, 613, 615
Макдональд, Дуайт 506
Макиавелли, Никколо 492
Маккарти, Дезмонд 83
Маккарти, Мэри 539, 540, 600
Маккензи, Комптон 182, 417
Макмиллан, Гарольд 75
Макнейр, Джон 267, 286, 287, 296, 303, 310, 316, 351, 355, 364
Макнис, Луис 361
Максимов (Пасхин; Пашин), Сергей Сергеевич 670
Малышкин, Александр Георгиевич 265
Мальро, Андре 327
Мамфорд, Льюис 170
Манн, Генрих 226, 335
Манн, Томас 226, 335, 339, 393
Мао Цзэдун 526, 658
Маргарет, принцесса 623
Маринетти, Филиппо Томмазо 392
Маркс, Карл 165, 169, 208, 209, 251, 256, 259, 266, 267, 269, 364, 382, 383, 409, 410
Марр, Эндрю 562

Марри, Джон 167
Марти, Андре 322, 323, 327
Мартин, Антонио 306
Мартин, Кингсли 332, 342
Мартин, Роджер 335
Маршак, Самуил Яковлевич 265
Маршалл, Джордж Кэтлетт 591
Матвеев, Павел 669, 670
Мате Залка (Франкль, Бела; «генерал Лукач») 299
Маунг Хтин Аунг 125
Маяковский, Владимир Владимирович 559
Мейерс, Джеффри 16, 95
Мейлер, Норман 667
Мелвилл, Герман 170
Меркадер, Рамон 321
Мерло-Понти, Морис 568, 622, 667
Мерри, Джон Мидлтон 540, 581
Мехлис, Лев Захарович 291
Мид, Франк 246
Миллер, Генри 116, 272, 281–284, 335, 374, 543, 545
Миллс, Чарльз Райт 548
Милтон, Гарри 313
Мильтон, Джон 66, 223, 508
Митчисон, Наоми 633
Михалков, Сергей Владимирович 488, 525
Мойл, Дуглас 267, 351, 366
Мола, Эмилио 288
Молотов, Вячеслав Михайлович 317, 480, 481
Монтгомери, Хайд 579
Мор, Томас 444–447, 489, 490
Моравиа, Альберто 446
Морган, Джейн *см. Дакин, Джейн*
Морис, Д. 467
Морланд, Эндрю 612, 621
Моррелл, Оттолайн 83
Моррис, Уильям 133, 447, 616
Мосина (Науменко), Валентина Георгиевна 16, 123, 322, 339, 670
Мосли, Освальд 247, 289, 470
Моэм, Уильям Сомерсет 103, 135, 335, 424, 425, 539
Мур, Генри 548
Мур, Леонард 178–181, 194–196, 199, 200, 364, 370, 376, 403, 404, 487, 505, 506, 602, 613
Муссолини, Бенито 251, 289, 369, 384, 490, 675

Мэйрет, Филипп 364
Мэлори, Томас 567
Мэнсфилд, Кэтрин 600

Н

Набоков, Владимир Владимирович 604
Найт, Элизабет 464
Наполеон 470, 544
Науменко, Валентина Георгиевна *см. Мосина, Валентина Георгиевна*
Нейман, Гиталия (Генриетта) 356
Нельсон, Горацио 98
Нельсон, Маргарет 553, 593, 600
Нерон 375
Неру, Джавахарлал 468
Нечаев, Сергей Геннадьевич 658
Николай I 526, 527
Николе, Беверли 392
Николсон, Гаролд Джордж 414, 415
Нин, Андрес 290, 306, 310, 322–325
Нобиле, Умберто 516
Новиков-Прибой, Алексей Силыч 265
Норман, Монтегю 391
Ньюсингер, Джон 310

О

Обама, Барак 675
Обермейер, Розалинда *см. Хеншель-Обермейер, Розалинда*
Овертон, Джозеф 680
Овидий 490
Огден, Чарлз Кей 672
Озеров, Михаил Витальевич 574
Оден, Уистен Хью 123, 334, 361, 362, 365
О’Доннелл, Хью 321
О’Кейси, Шон 629
Оксли, Б. 16
Олеша, Юрий Карлович 265
Оллсоп, Кеннет 612
Оллдритт, К. 16
Орлов, Александр Михайлович (Фельдбин, Лев (Лейб)

Лазаревич; «Никольский»; «Швед») 292, 323, 324, 325
Орр, Чарльз 287, 310
Осборн, Джон 205
Оуэн, Дэвид 482
Оуэн, Уильям 133
О'Шонесси, Гвен 417, 420, 502
О'Шонесси, Лоренс *(отец)* 236
О'Шонесси, Мэри 236, 274, 276, 304
О'Шонесси, Фредерик Лоренс *(брат)* 236, 237, 274, 295, 332, 335, 354, 357, 359, 360, 363, 364, 378, 381, 417, 420, 502
О'Шонесси, Эйлин 26, 40, 68, 185, 186, 215, 221, 225, 235–244, 270, 272–278, 280, 287, 295, 297, 303–304, 308, 311–316, 320, 321, 323, 329, 331, 332, 335, 338, 352–355, 357, 359, 360, 363, 376–379, 381, 386, 387, 417–421, 480, 501–504, 517, 528–530, 565, 569, 575, 616

П

Павелич, Анте 391
Пасмор, Виктор 567
Пастернак, Борис Леонидович 226, 227, 229, 374, 432
Пауэлл, Энтони 24, 26, 81, 646, 650, 656
Паунд, Эзра 248, 391
Пей, Томас 254
Пенроуз, Рональд 388
Перле, Альфред 283
Перро, Шарль 461
Петен, Анри Филипп 391
Петерс, Ричард 187
Пилмотт, Б. 663
Пильняк (Вогау), Борис Андреевич 265
Пинчон, Томас 574
Питт, Уильям 98
Питт-Риверс, Марк 667
Питтер, Рут 41, 131, 132, 145, 197
Платон 85, 445, 675
Платонов, Андрей Платонович 131, 265, 446
Плауман, Дороти 502
Плауман, Макс 168, 267, 364, 366, 404
Познер, Дэвид 425
Поле, Морис 567
Поллит, Гарри 268, 286, 309, 321, 453
Полоцк, Илан 490, 584

Померанц, Григорий Соломонович 265, 391
Поппер, Карл 445, 676
Попхем, Энн 550, 564
Поттс, Пол 27, 504, 570, 572, 650, 658, 668
Прибыловский, Владимир Валерианович 584
Пристли, Джон Бойнтон 171, 182, 201, 628, 630, 633
Притчетт, Виктор Соден 541, 555, 647, 663, 671
Прудон, Пьер-Жозеф 133
Пруст, Марсель 539, 682
Пушкин, Александр Сергеевич 505, 631
Пфайффер, Карл 425
Пэрри, Дэвид Маклин 520, 521

Р

Рабле, Франсуа 681
Рансимен, Стивен 64, 81, 83, 274
Рэнсом, Артур 171
Рассел, Бертран 83, 176, 179, 349, 388, 548, 581, 638
Редгрейв, Майкл 633
Рейган, Рональд 492
Рейнольдс, Реджинальд 366, 462
Риббентроп, Иоахим фон 406, 589, 590
Рид, Герберт 387, 388, 417, 466, 548
Рид, Джон 365
Рис, Ричард 16, 27, 28, 59, 81, 99, 100, 103, 145, 147, 153, 168–172, 199, 200, 202, 208, 209, 211, 212, 216, 217, 219, 220, 223, 228, 237, 265–267, 304, 343, 365, 389, 404, 414, 489, 540, 547, 561, 566, 570–573, 594, 599, 600, 627, 629, 630, 640, 654, 663, 668, 671
Ричардс, Вернон 477, 659
Робертс, Джон Гамильтон 484
Робертсон, Грант 69
Робеспьер, Максимилиан де 658
Робсон, Пол 633
Ровира, Хосе 287, 296
Родден, Джон 16
Роджерс, Клод 567
Розенберг, Марсель Израилевич 291, 292
Рокотов, Тимофей Арнольдович 341
Романович, Игорь Константинович 637
Рузвельт, Франклин 534, 579, 589, 672
Руссо, Жан-Жак 408, 448, 659
Рылеев, Кондратий Федорович 38

Рэнд, Айн 676
Рэндалл, Джефф 458, 459

C

Саймонс, Джулиан 431, 594, 659
Сакко, Никола 128, 371
Салазар, Антониу ди 509
Сартр, Жан-Поль 14, 149, 150, 390, 393, 568
Саттон, Энтони 578
Гай Светоний Транквилл 109
Свифт, Джонатан 18, 46, 47, 225, 412, 434, 473, 475, 487, 489, 498, 499, 507, 517, 526, 539, 541, 662
Святополк-Мирский, Дмитрий Петрович 263–265, 269, 522, 637
Святополк-Мирский, Петр Дмитриевич 263
Сейерс, Майкл 213, 224, 225, 242
Секстон, Юджин 116
Сельвинский, Илья Львович 640
Сен-Симон, Анри 133
Сенхауч, Роджер 24, 25
Сервантес, Мигель де 325, 326, 489
Серж, Виктор 440
Силоне, Иньяцио 445, 631
Симонов, Константин Михайлович 582
Синклер, Эптон Билл 628
Ситуэлл, Осберт 541
Скотт, Вальтер 38
Слейтер, Хью 401
Смилли, Боб 87, 322
Смилли, Роберт 87
Смит, Трумен 497
Смоллетт, Питер (Смолка, Пётр) 507, 632
Сноуден, Эдвард 665
Спендер, Стивен 81, 82, 181, 224, 334, 344, 361–363, 366, 429, 458, 466, 567, 628, 630, 631, 646
Сперлинг, Хилари 275
Соболевский, Сергей Иванович 451
Сократ 85
Солженицын, Александр Исаевич 14, 374, 500, 628
Солкелд, Бренда 172, 185, 187–190, 202, 353, 596
Сталин, Иосиф Виссарионович 12, 13, 26, 224–226, 229, 230–232, 251, 263–266, 269, 290–292, 294, 295, 315, 317–320, 325–328,

334, 371–373, 375, 376, 384, 385, 389, 395, 411, 413, 426–428, 430, 434, 454, 456–458, 461, 470, 471, 475, 486, 488–491, 498, 505–507, 509, 511, 513, 514, 519, 520, 523–527, 533, 534, 560, 557, 579, 581, 586, 588–591, 637, 640, 642, 646, 652, 658, 664, 672–674
Стански, Питер 16, 81, 133, 182
Сташевский (Гиршфельд), Артур Карлович 292
Стейнбек, Джон 339, 633
Стейнхофф, Уильям 16, 205, 212
Стоукс, Эдриан 567
Стрейт, Кларенс 405
Стрейчи, Джон 16, 179, 267
Струве, Глеб Петрович 472, 521, 522, 583, 584, 626
Субоцкий, Лев Матвеевич 582
Суварин, Борис 440

T

Таск, Сергей 584
Тапселл, Уолтер 309
Тацит 79
Твен, Марк 459, 471–473
Тейлор, Дэвид Джон 16, 44, 65, 235, 239, 322, 343, 421, 603, 627, 663, 665
Теккерей, Уильям 53, 55
Телесин, Юлиус 584
Теннисон, Альфред 39
Тертуллиан 474
Тойнби, Арнольд 268
Тойнби, Филип 268
Токвиль, Алексис де 676
Толстой, Алексей Николаевич 265, 325, 512
Толстой, Лев Николаевич 125, 127, 140, 263, 322, 348, 487, 544, 545, 662
Томас, Дилан 466, 567
Торез, Морис 291
Торо, Генри Дейвид 643
Трессел (Крокер), Роберт 210, 487
Третьяков, Виталий Товиевич 522
Триллинг, Лайонел 647
Троцкий, Лев Давидович 38, 168, 171, 285, 289, 290, 295, 318, 321, 327, 334, 439, 440, 475, 492, 513, 526, 533
Трумэн, Гарри 455, 578, 587, 588

У

мадам Уилкс (Флип) 48–50, 53, 54, 57, 69, 72
мистер Уилкс (Самбо) 48–50, 52–55, 57, 59, 69, 72
Уилмет, Ноэль 509
Уильям, Х. 16
Уильям Артур Филипп Луи, принц 74
Уильямс, Н. 124, 213–216
Уильямс, Рашбрук Лоренс 11, 464, 469
Уиткрофт, Джеффри 11, 583
Уитмен, Уолт 473
Улановская, Майя Александровна 431
Уолтер, Николас 538
Уотсон, Адам 627, 638
Уотсон, Питер 622, 623
Уотсон, Сьюзан 537, 570, 572
Уэдхемс, Стивен 98
Уэдхэмс, Хант 16
Уэйн, Джон 205
Уэллс, Герберт Джордж 14, 55, 62, 176, 177, 179, 201, 231, 232, 261, 266, 394, 425–430, 446, 447, 495, 507, 598
Уэнсбро, Джордж 74
Уэст, У. 468
Уэстморленд, Уильям Чайлдз 119

Ф

Фадеев, Александр Александрович 325
Файвел, Мэри 421
Файвел, Тоско 16, 52, 363, 421, 431, 603, 612
Фалин, Валентин Михайлович 497
Фаст, Говард Медвин 663
Федин, Константин Александрович 265
Фейербах, Людвиг Андреас 165
Фейн, Мэри 34, 403
Фейн, Томас 34
Фейхтвангер, Лион 231, 232
Фельштинский, Юрий Георгиевич 16, 32, 91, 111, 151, 224, 256, 267, 324
Филби, Ким 632
Филипс, Уильям 478
Финк, Виктор Григорьевич 325
Фирц, Мейбл 168, 178, 185, 202, 213, 221, 224, 225, 242

Фирц, Фрэнсис 168
Фицджеральд, Фрэнсис Скотт 163, 604
Флетчер, Роберт 553
Флобер, Гюстав 682
Флоренский, Павел Александрович 598
Фокс, Ральф 299
Фолкнер, Уильям 644
Форстер, Эдвард Морган 103, 466, 548
Фрадкин Виктор Александрович 326–328
Фрам, Херберт Эрнст Карл *см. Брандт, Вилли*
Франко 279, 288–290, 294, 302, 322, 323, 325, 326, 332, 334, 335, 342, 357, 361, 368, 386, 509
Франс, Анатоль 446, 472, 517, 681, 682
Фрейд, Зигмунд 569, 622
Фрейд, Люсьен 569, 622–624, 656, 659, 667
Фриш, Макс 446
Фромм, Эрих 673, 674
Фрэнкфорд, Фрэнк 358
Фукуяма, Фрэнсис Ёсихиро 281, 492, 681
Фукс, Ульрих 299
Фурье, Шарль 133

X

Хаджи Имам Алла Хусейн 392
Хазерли, Кэрон 320
Хайамс, Тони 330
Хайек, Фридрих фон 441, 443
Хаксли, Олдос 82–85, 177, 201, 209, 265, 425, 445–447, 449–451, 514, 517, 523, 540, 614, 616, 640, 641, 653, 654, 664, 670
Хаксли, Томас 83
Ханнингтон, Вол 247
Хант, Уильям 61, 96, 97
Харди, Томас 26, 646
Харрисон, Джек 575, 576, 658, 659, 669
Хейл, Джонни 59, 60
Хемингуэй, Патрик 532
Хемингуэй, Эрнест 163, 171, 218, 294, 317, 327, 339, 531–533, 644
Хенли, Джеймс 466
Хеншель, Исидор 221
Хеншель-Обермейер, Розалинда 221, 225, 235, 237, 242
Хепбёрн, Кэтрин 633

Хеппенстолл, Райнер 213, 224, 225, 239, 242, 267, 317, 351–353, 567
Херст, Уильям Рэндолф 391
Хименес, Ф. 324
Хитченс, Кристофер 11, 16, 157, 246, 320, 374, 566, 634
Ховард, Брайан 81
Хоггарт, Ричард 16
Ходасевич, Владислав Фелицианович 61
Холбрук, Дэвид 572
Холден, Айнез 530, 565
Холлис, Кристофер 79
Хрущев, Никита Сергеевич 13, 641
Хубер, Питер Уильям 16
Хулберт, Джек 200

Ц

Цветаева, Марина Ивановна 262, 263, 265

Ч

Чаликова, Виктория Атомовна 16, 31, 32, 73, 181, 205, 212, 257, 350, 444, 448, 450, 451, 491–493, 598, 617, 635, 663, 664, 684
Чан Кайши 561
Чан, Чарли 598
Чапек, Карл 446
Чаплин, Чарльз 120, 344, 478
Чарлзуорт, Эми 352, 353, 355
Чемберлен, Джозеф Остин 406
Черниговская, Татьяна Владимировна 680
Черненко, Константин Устинович 641
Чернявский, Георгий Иосифович 16, 32, 91, 111, 151, 224, 256, 267, 324
Чернятинский, Иван *см. Шевченко, Игорь*
Черчилль, Уинстон 71, 230, 368, 369, 394, 401, 413, 416, 429, 455, 456, 484, 496, 498, 534, 549, 579, 580, 587–591, 603, 636, 662, 672
Чертанов, Максим 177, 427, 429, 430
Честертон, Гилберт Кит 84, 615
Чехов, Антон Павлович 12, 238, 600
Чичерин, Георгий Васильевич 291
Чосер, Джефри 148, 214, 241

Ш

Шагинян, Мариэтта Сергеевна 265
Шама, Саймон 71
Шапинов, Виктор Владимирович 618
Шарп, Джин 679
Шварц, Стивен 364
Шевченко, Игорь (Чернятинский, Иван) 585, 586
Шелден, Майкл 16, 25, 35, 75, 105, 120, 123, 124, 181, 190, 203, 254, 349, 380, 496, 563, 568, 599, 630, 633
Шелли, Мэри 614
Шелли, Перси Биши 408
Шекспир, Уильям 543, 544, 616, 682
Шиллер, Фридрих 38
Шкловский, Виктор Борисович 265
Шмеман, Александр Дмитриевич 500, 527
Шнетцлер, Карл 377
Шопенгауэр, Артур 287
Шоу, Джордж Бернард 80, 151, 188, 215, 218, 229, 230, 232, 251, 258, 266, 408

Щ

Щербак, Г.Ю. 584

Э

Эдам, Юджин 150, 151
Эзоп 365
Эйзенхауэр, Дуэйт Дэвид 481
Эйзенштейн, Сергей Михайлович 544
Эйнштейн, Альберт 38, 176, 616
Эйтингон, Наум Исаакович 294
Эйткен, Уильям, 1-й барон Бивербрук 384
Эко, Умберто 674
Эктон, Гарольд 81, 82, 111
Эктон (Дальберг-Эктон), Джон 475
Элиот, Томас Стернз 131, 178, 201, 218, 224, 248, 265, 365, 466, 507, 662
Эмерсон, Ральф Уолдо 643
Эмпсон, Уильям 466, 482
Энгельс, Фридрих 246

Энгус, Ян 629, 668
Эразм Роттердамский 445
Эренбург, Илья Григорьевич 226, 227, 291, 325, 512
Эфрон, Сергей Яковлевич 263
Эш, Тимоти Гартон 626, 627, 629–632, 634, 638, 639

Ю

Юнг, Карл 490, 491, 561, 651
Юдин, Павел Федорович 341
Юшенков, Сергей Николаевич 584

Я

Ягода, Генрих Григорьевич 264, 265
Янг, Десмонд 337
Янгалов, Александр 618

Указатель произведений Дж. Оруэлла, упомянутых в книге

Романы

«Дни в Бирме» (1934)
67, 103, 104, 106–117, 119, 125, 153, 178, 180, 182, 186, 189, 194–196, 202, 221, 389, 518, 539, 661

«Дочь священника» (1935)
166, 182, 187, 188, 193, 195, 221, 222, 379, 519, 539

«Да здравствует фикус!» (1935)
85, 94, 95, 169, 170, 185, 197–201, 203–212, 215–220, 225, 236, 239–242, 276, 539, 569, 571

«Глотнуть воздуха» (1939)
14, 27, 46, 360, 363, 375, 378–380, 382–385, 389, 392, 403, 404, 539

«Скотный двор» (1945)
13, 14, 16, 46, 179, 223, 269, 302, 332, 334, 351, 352, 375, 383, 389, 405, 407, 412, 413, 426, 434, 449, 452, 470–471, 476, 477, 480, 486, 487–492, 494–503, 505–512, 517, 519, 521, 522, 524, 525, 527, 529, 534, 537, 539, 541, 547, 551, 576, 581–584, 617, 619, 621, 632, 643–645, 661, 662, 669, 671, 678

«1984» (1949)
13, 15, 16, 18, 24, 46, 52, 53, 55, 65, 85, 87, 88, 179, 205, 211, 212, 232, 302, 319, 321, 326, 328, 347, 355, 373, 375, 376, 383–385, 389, 402, 417, 419, 421, 441, 448, 451, 455, 460, 463, 495, 497, 500, 510, 517, 523, 525, 546, 557, 561, 568–570, 577, 582, 591, 597–600, 612–617, 621, 622, 640, 641, 643, 644, 646–654, 657, 659, 661–665, 667, 669–673, 675, 678, 683

Нон-фикшн

«Фунты лиха в Париже и Лондоне» (1933)
148, 155, 158, 160, 162, 163, 166, 171, 173, 175, 177, 178, 180, 182, 186, 389, 495, 507, 635

«Дорога на Уиган-Пирс» (1937)
152, 243–249, 252–255, 263–269, 302, 319, 338, 339, 340, 353

«Памяти Каталонии» (1938)
179, 325, 328, 330, 335, 358–360, 363, 364, 389, 489, 509

«Славно, славно мы резвились» (1952)
48, 72, 393

Эссе

«Казнь через повешение» (1931)
119–123

«Чарльз Диккенс» (1940)
36, 382, 389

«Марракеш» (1940)
382, 388

«Лев и Единорог» (1941)
393, 407, 432, 435, 436, 438–440

«Границы искусства и пропаганды» (1941)
435

«Толстой и Шекспир» (1941)
544

«Литература и тоталитаризм» (1941)
435, 441, 442, 454

«Подавление литературы» (1945)
512, 515, 537

«Политика против литературы» (1946)
46, 537

«Заметки о национализме» (1946)
537

«Политика и английский язык» (1946)
537, 561–563

«Англичане» (1947)
76

«Будущее социализма» (1947)
600

«Писатели и Левиафан» (1948)
603, 605

«Размышления о Ганди» (1949)
127, 603

Библиография

Оруэлл в семейном кругу и в среде анархистов: сб. ст. / пер. А.Мороз. М.: *Common place*, 2016.

Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор. Эссе. М.: Эксмо, 2002.

Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет / пер. В.Голышева. М.: Прогресс, 1989.

Оруэлл Дж. Глотнуть воздуха / пер. В.М.Домитеевой. М.: АСТ, 2012.

Оруэлл Дж. Да здравствует фикус! / пер. В.М.Домитеевой. М.: Текст, 2004.

Оруэлл Дж. Дни в Бирме / пер. В.М.Домитеевой. М.: Астрель, 2012.

Оруэлл Дж. Дочь священника / пер. В.М.Домитеевой // Джордж Оруэлл. Избранное. СПб.: Азбука-классика, 2004.

Оруэлл Дж. Лев и Единорог. Эссе, статьи, рецензии / сост. и пер. В.Голышева. М.: Моск. школа полит. исследований, 2003.

Оруэлл Дж. Мысли в пути: эссе. М.: АСТ: Ермак, 2003.

Оруэлл Дж. Наперекор порядку вещей… Четыре хроники честной биографии / пер. В.М.Домитеевой. М.: Знание, 2014.

Оруэлл Дж. Памяти Каталонии. Эссе. М.: АСТ: Ермак, 2003.

Оруэлл Дж. Письмо к Г.Струве от 17.02.1944: прилож. к: *Орвелл Георг (Джордж)*. Скотский хутор (Сатирическая повесть) / Авт. пер. М.Кригер, Г.Струве. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967.

Оруэлл Дж. Проза отчаяния и надежды. Роман, сказка, эссе / пер. Д.Иванова, В.Недошивина. Л.: Лениздат, 1990.

Оруэлл Дж. Свобода печати / предисл. к первому изданию «*Animal Farm*» 1945 г. // Новое время. 1991. № 31.

Оруэлл Дж. «Скотный двор»: сказка. Эссе. Статьи. Рецензии. М.: Известия, 1989.

Оруэлл Дж. Сочинения: в 2 т. Т. 1. 1984. Скотный двор. Т. 2. Эссе, статьи, рецензии. Пермь: КАПИК, 1992.

Оруэлл Дж. Фунты лиха в Париже и Лондоне / пер. В.М.Домитеевой. СПб.: Азбука-классика, 2003.

George Orwell Archive. I/3. Copies from BBC Archives. Ruth Pitter Personal Memoirs of George Orwell. 1956.

Orwell and the Dispossessed / ed. by P.Davison. L.: Penguin, 2001.

Orwell G. A Life in Letters / ed. by P.Davison. L.: Liveright / W.W. Norton, 2013.

Orwell G. Diaries / ed. by P.Davison. L., 2009.

Orwell G. Poet in Darkness // Observer. 1944. 31 *Dec*.

Orwell G. The Collected Essays, Journalism and Letters / ed. by S.Orwell, I.Angus. Vol. 1–4. *N.Y.*, 1968.

Orwell G. The Complete Works / ed. by P.Davison. L.: Secker & Warburg, 1986–1998. *Vol.* 1–20.

Orwell G. The Lost Writings. N.Y.: Arbor House, 1985.

Orwell in Spain / ed. by P.Davison. L.: Penguin Classics, 2001.

Orwell Remembered / ed. by A.Coppard, B.Crick. L.: BBC, 1984.

Orwell's England / ed. by P.Davison. L.: Penguin, 2001.

Orwell Today / ed. by R.Keeble. L.: Abramis, 2012.

Orwell, the War Commentaries / ed. by W.West. N.Y.: Pantheon Books, 1985.

Араб-Оглы Э.А. В утопическом антимире (об исторических судьбах утопической традиции в XX веке) // О современной буржуазной эстетике: сб. ст. / сост. В.Шестаков. Вып. 4. М.: Искусство, 1976.

Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.

Бартов А.А. «Новояз» в литературе и в жизни // Нева. 2009. № 3.

Бедарида Ф. Черчилль. М.: Молодая гвардия, 2012.

Бердяев Н.А. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы. Берлин: Обелиск, 1924.

Бердяев Н.А. Философия неравенства. Берлин: Обелиск, 1923.

Блюм А.В. Английский писатель в стране большевиков: к 100-летию Джорджа Оруэлла // Звезда. 2003. № 6.

Блюм А.В. В эпоху большого террора. От неолита до Главлита… СПб.: Изд-во им. Н.И.Новикова, 2009.

Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / под общ. ред. А.Н.Яковлева; сост. Л.В. Максименков. М.: МДФ: Материк, 2005.

Брехт Б. Пять трудностей пишущего правду / пер. Н.Португалова // Собр. соч.: в 5 т. Т. 5/1. М.: Искусство, 1965.

Бугров В. Колокола тревоги: послесловие //Мы. О дивный новый мир. 1984: антология / Е.Замятин, О.Хаксли, Дж. Оруэлл. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991.

Булгаков М.А. Письма. Дневники. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. М.: Голос, 2000.

Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК–ОГПУ–НКВД о культурной политике. 1917–1953 / сост. А.Артизов, О.Наумов. М.: МФД, 2002.

Воспоминания о Марине Цветаевой / сост. Л.А.Мнухин, Л.М.Турчинский. М.: Советский писатель, 1992.

Галь Н. Растленная литература // Литературная газета. 1947. 24 мая.

Голдберг Дж. Либеральный фашизм. История левых сил от Муссолини до Обамы. М.: Рид Групп, 2012.

Горбатов Д. Оруэлл в зеркале Свифта // Лебедь: альманах. Бостон. 2002. № 260.

Готфрид П. Странная смерть марксизма. М.: ИРИСЭН: Мысль, 2009.

Гронский И.М. Из прошлого. М.: Известия, 1991.

Доманский Ю.В. Н.И.Костомаров и Дж. Оруэлл: типология литературной «зоологической» сказки // Текст и контекст: русско-зарубежные литературные связи XIX–XX вв.: сб. науч. тр. Тверь: ТГУ, 1992.

Ефимов Б.Е. Десять десятилетий. О том, что видел, пережил, запомнил. М.: Вагриус, 2000.

Ефимов М.Б. Он был «слишком прыток»… Жизнь и казнь Михаила Кольцова. М.: Художественная литература, 2013.

Замятин Е.И. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999.

Зверев А.М. «Когда пробьет последний час природы…» // Вопросы литературы. 1989. № 1.

Зверев А.М. О Старшем брате и чреве кита: набросок к портрету Оруэлла // *Оруэлл Дж.* «1984» и эссе разных лет /пер. В.Голышева. М.: Прогресс, 1989.

Зинкевич Н.А. Джордж Оруэлл в современном контексте (К проблеме политической сатиры) // Вопросы литературы и страноведения в преподавании иностранных языков: сб. науч. тр. / под. ред. Шидфар Б.Я., Зинкевич Н.А. М.: МГИМО, 1991.

Ивашева В.В. Английский роман последнего десятилетия (1950–1960). М.: Советский писатель, 1962.

Иосиф Григулевич / *Колпакиди А.И., Прохоров Д.П.* КГБ: Спецоперации советской разведки. М.: Олимп: АСТ, 2000. *URL*: *http*:/*www.agentura.ru/culture*007/*art/lit/grig/kolpak*.

Ихок Д. Дорога на Уайген // За рубежом. 1937. 15 мая.

Йорген Е. Оруэллово поветрие // Проблемы мира и социализма. Прага. 1984. № 3.

Кагарлицкий Ю.И. Фантастика, утопия, антиутопия // *Кагарлицкий Ю.И.* Что такое фантастика? М.: Художественная литература, 1974.

Казнина О.А. Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М.: Наследие, 1997.

Кантор М.К. Пожар демократии // Эксперт. 2013. 7 сент.

Карп М.П. Джордж Оруэлл и Жорж Копп // Иностранная литература. 2013. № 9.

Карп М.П. Оруэлл в Испании. Из будущей книги // Иностранная литература. 2012. № 12.

Карп М.П. Послесловие // *Оруэлл Дж.* Скотское хозяйство.

СПб.: Азбука-классика, 2001.

Кёстлер А. Беспримерные жертвы. Зверства фашизма в Испании. М.: Молодая гвардия, 1937.

Кёстлер А. Слепящая тьма / пер. А.Кистяковского // Нева. 1989. № 7–8.

Климонтович Н.Ю. «Скотный двор» антитоталитарен и антидемократичен // Коммерсантъ. 1995. 29 авг.

Кольцов М.Е. Испания в огне: в 2 т. Т. 2. М.: Политиздат, 1987.

Костомаров Н.И. Скотский бунтъ (Письмо малороссійскаго помѣщика къ своему петербургскогому пріятелю). Посмертный очеркъ Н.И.Костомарова // Нива. 1917. № 34–37.

Кузнецов С.Ю. 1994: юбилей неслучившегося года. К десятилетию «года Оруэлла» // Иностранная литература. 1994. № 11.

Куртуа С., Пане Ж.-Л. Тень НКВД над Испанией // Черная книга коммунизма / под ред. А.Н.Яковлева. *URL: http:/ blackrotbook.narod.ru/pages_zz.htm.*

Кустарев А.С. Джордж Оруэлл. Ремесленник-виртуоз и вольный самурай // Новое время. 2002. 6 января (№ 1–2).

Лакшин В.В. Мы это или не мы? // Искусство кино. 1991. № 7.

Левада Ю. Трудный путь пробуждения. Кошмары и соблазны утопического мира глазами Виктории Чаликовой // *Чаликова В.А.* Утопия и культура. Эссе разных лет. Т. 1. М.: ИНИОН РАН, 1992.

Лефевр Ф. Один час с Замятиным, кораблестроителем, прозаиком и драматургом / пер. В.Познера // *Замятин Е.И.* Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999.

Ливергант А.Я. Киплинг. М.: Молодая гвардия, 2011.

Ливергант А.Я. Сомерсет Моэм. М.: Молодая гвардия, 2012.

Локтев Н. Аллегории Джорджа Оруэлла // Литературный Киргизстан. 1989. № 1.

Лондон Дж. Железная пята // Собр. соч.: в 13 т. Т. 6. М.: Правда, 1976.

Лондон Дж. Люди бездны // Собр. соч.: в 13 т. Т. 5. М.: Правда, 1976.

Любимова А.Ф. Утопия и антиутопия: опыт жанровых дефиниций // Традиции и взаимодействия в зарубежной литературе XIX–XX веков: сб. ст. Пермь: ПГУ, 1992.

Майский И.М. Из воспоминаний о Бернарде Шоу и Герберте Уэллсе. М.: Правда, 1973.

Максименков Л.В. Очерки номенклатурной истории советской литературы. Западные пилигримы у сталинского престола // Вопросы литературы. 2004. № 2–4.

Матвеев П. Некуда проснуться // *Colta.ru.* 09.06.2014.

Медведев Р. Джордж Оруэлл: Недолгая жизнь Джорджа Оруэлла и долгая жизнь его книг // Хронограф: ежегодник. М.: Московский рабочий, 1991.

Михаил и Елена Булгаковы. Дневник Мастера и Маргариты / сост., предисл., коммент. В.И. Лосева. М.: Вагриус, 2001.

Мосина В.Г. Восток в творчестве Джорджа Оруэлла // X Пуришевские чтения: Всемирная литература в контексте культуры: сб. ст. и материалов: в 2 ч. Ч. 2. М.: МПГУ, 1998.

Мосина В.Г. Джордж Оруэлл в восприятии и оценке русского литературоведения // Литературоведение на пороге XXI века: материалы междунар. науч. конф. М.: Рандеву-АМ, 1998.

Мосина В.Г. История «русского Оруэлла». М.: Магистр, 1997.

Мосина В.Г. Проза Джорджа Оруэлла: Творческая эволюция: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2000.

Мосина В.Г. Три главные книги Джорджа Оруэлла. М.: Магистр, 1999.

Наврозов Л.А. Замятин и Оруэлл: 2 х 2 = 4? // Московские новости. 1993. № 1.

Науменко (Мосина) В.Г. Сны в «1984» Джорджа Оруэлла // XIV Пуришевские чтения: Всемирная литература в контексте культуры: сб. ст. и материалов: в 2 ч. Ч. 2. М.: Магистр, 2002.

Недошивин В.М. Джордж Оруэлл – беглец из лагеря победителей // Иностранная литература. 1990. № 3.

Недошивин В.М. Методология анализа идеологической направленности буржуазного антиутопического романа // Художественная литература и идеологическая борьба: сб. ст. М., 1984.

Недошивин В.М. Можно ли погасить звезды? // *Оруэлл Дж.* Проза отчаяния и надежды. Л.: Лениздат, 1990.

Недошивин В.М. Оруэлл: 2013 // Российская газета. 2013. 25 июня.

Недошивин В.М. От переводчика // *Оруэлл Дж.* 1984 // Кодры. 1988. № 9.

Недошивин В.М. Понять Оруэлла: послесловие // *Оруэлл Дж.* Наперекор порядку вещей… Четыре хроники честной биографии. М.: Знание, 2014.

Недошивин В.М. Предисловие к «Заметкам о национализме» Оруэлла // Урал. 1989. № 11.

Недошивин В.М. Свиньи и звезды… // *Оруэлл Дж.* Сочинения: в 2 т. Т. 2. Эссе, статьи, рецензии. Пермь: КАПИК, 1992.

Недошивин В.М., Чаликова В.А. Неизвестный Оруэлл // Иностранная литература. 1992. № 2.

Новиков М.В. СССР, Коминтерн и гражданская война в Испании 1936–1939 годов: в 2 ч. Ч. 1. Ярославль: ЯГПУ, 1995.

Новикова Л. Стукач и гражданин: Век Джорджа Оруэлла // Коммерсантъ. 2003. 25 июня.

Новое о Замятине: сб. материалов / под ред. Л.Геллера. М.: МИК, 1997.

Новосельцева Л.А. Мы и Они (корреляция концепций будущего у Е.Замятина и Дж. Оруэлла) // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд на сегодня / сост. Л.В. Полякова: в 2 ч. Ч. 2. Тамбов: ТГУ, 1994.

Озеров М.В. Загадка острова Юра // Литературная газета. 2002. 27 марта.

Перле А. Мой друг Генри Миллер: Дружеская биография / пер. Л.Житковой. СПб.: Лимбус Пресс, 1999.

Полушин В.Л. Гумилевы. 1720–2000. Семейная хроника. Летопись жизни и творчества Н.С.Гумилева: XX столетие. Родословное древо. М.: Терра-Книжный клуб, 2004.

Померанц Г.С. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М.: Советский писатель, 1990.

Рис Р. Джордж Оруэлл: Беглец из лагеря победителей. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962.

Рубин В. Свобода лжи и клеветы // Литературная газета. 1947. 10 февр.

Сидорова О.Г., Корытин Н.Н. Роман Джорджа Оруэлла «1984» как лингвокультурное явление // IX Пуришевские чтения: Всемирная литература в контексте культуры: сб. ст. и материалов. М.: МПГУ, 1997.

Сориа Ж. Война и революция в Испании, 1936–1939: в 2 т. Т. 2. М.: Прогресс, 1987.

Стуруа М. «1984» и 1984 // Известия. 1984. 14–15 янв.

Сулькин О. Почти по Оруэллу, или Как Голливуд «экранизирует» нашумевший роман // Советский экран. 1984. № 14.

Татевосов С. Джордж Оруэлл, честный ябедник // Коммерсантъ-Власть. 1998. 14 июля.

Третьяков В.Т. Джордж Оруэлл или Николай Костомаров? // Московские новости. 1988. 26 июня.

Уилмерс М.-К. Эйтингоны: Семейная сага двадцатого века / пер. С.А.Червонной. М.: Русский путь, 2016.

Улановская М. Свобода и догма: Жизнь и творчество Артура Кёстлера. Иерусалим: Иерусалимский издательский центр, 1996.

Урнов Д. Оруэлл, Толстой и Шекспир // Литературная учеба. 1989. № 4.

Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей / сост. А.Я.Ливергант. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2008.

Фельштинский Ю.Г., Чернявский Г.И. Джордж Оруэлл (Эрик Блэр). Жизнь, труд, время. М.: Терра-Книжный клуб «Книговек», 2014.

Фрадкин В.А. Дело Кольцова. М.: Вагриус, 2002.

Хаксли О. О дивный новый мир / пер. О.Сороки // Антиутопии XX века. М.: Книжная палата, 1989.

Хитченс К. Почему так важен Оруэлл. М.: Эксмо: Грандмастер, 2017.

Хью Т. Гражданская война в Испании. 1931–1939 годы. М.: Центрполиграф, 2003.

Цыганкова Л.И. Роман Дж. Оруэлла «1984» как иллюстрация тоталитарного режима // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе: материалы междунар. науч. конф. 15–17 апр. 1997 г. Гродно, 1998.

Чаликова В.А. Антиутопия Е.Замятина: пародия или альтернатива? // Социокультурные утопии XX века: реф. сб. Вып. 6. М.: ИНИОН, 1986.

Чаликова В.А. Вечный год // Новый мир. 1989. № 4.

Чаликова В.А. Комментарии к «1984» // *Оруэлл Дж.* «1984» и эссе разных лет / пер. В.Голышева. М.: Прогресс, 1989.

Чаликова В.А. Несколько мыслей о Джордже Оруэлле // Знамя. 1989. № 8.

Чаликова В.А. Страна Утопия. Где она сегодня на карте реальности? // Знание – сила. 1989. № 9.

Чаликова В.А. Утопия и культура. Эссе разных лет. Т. 1. М.: ИНИОН РАН, 1992.

Чаликова В.А. Утопия и свобода. Эссе разных лет. М.: Весть-ВИМО, 1994.

Чаликова В.А. Утопия рождается из утопии. Эссе разных лет. *L.*: *Overseas Publications Interchange Ltd.*, 1992.

Чаликова В.А., Лисюткина Л.Л. Предсказания Оруэлла и современная идеологическая борьба: науч.-аналит. обзор. М.: ИНИОН АН СССР, 1986.

Чертанов М. Герберт Уэллс. М.: Молодая гвардия, 2010.

Чиков В.М. Суперагент Сталина: Тринадцать жизней разведчика. М.: Вече, 2006.

Шапинов В. Джордж Оруэлл: стукачество, плагиат, социальный заказ // Альтернатива. 2009. 23 янв.

Шахназаров Г.Х. Антиутопия и жизнь // Иностранная литература. 1983. № 2.

Шмеман А., прот. Дневники 1973–1983. М.: Русский путь, 2009.

Шохина В.Л. На втором перекрестке утопий // Звезда. 1990. № 11.

Янгалов А.О. О противоречиях и странностях в биографии Оруэлла // Иностранная литература. 2013. № 9.

Янгалов А.О. Тот самый Пилкингтон этого самого Оруэлла // Вопросы литературы. 2014. № 6.

Aaronovitch D. 1984: *George Orwell's Road to Distopia // BBC Magazine*. 2013. 8 *Febr*.

Acton H. More Memoirs of an Aesthete. *L.*: *Methuen*, 1970.

Ash T.G. Orwell for Our Time // The Guardian. 2001. 5 *May*.

Ash T.G. Orwell's List // The New York Review of Books. 2003. 25 *Sept*.

Atkins J. George Orwell. *L.*: *John Calder*, 1954.

Atwood M. Orwell and Me // The Guardian. 2003. 16 *June*.

Banville J. Good Man, Bad World // The New York Review of Books. 2003. 6 *Nov*.

Barnes J. Such, Such Was Eric Blair // The New York Review of Books. 2009. 12 *March*.

Bates S. Old Clothes and Unorthodox Views – Why MI-5 Spied on Orwell for a Decade // The Guardian. 2007. 4 *Sept*.

Beauchamp G. Of Man's Last Disobedience: *Zamiatin's «We» and Orwell's* «1984» *// Comparative Literature Studies.* 1973. *Vol.* 10. № 4.

Bedford S. Aldous Huxley: *A Biography*. *L.*: *Catto* & *Windus*, 1973.

Beevor A. The Battle for Spain. *The Spain Civil War* 1936–1939. *L.: Penguin Books*, 2006.

Blair A. My Brother, George Orwell // Twentieth Century. 1961. *March*.

Blair R. Life with My Aunt Avril Blair // Finlay Publisher, 2009. *URL: https://web.archive.org/web/*20110711003242*/http://www.finlay-publisher.com/archives/Jan%*2009*-Mar-2009-RichardBlair.pdf*

Bowker G. George Orwell. *L.*: *Abacus*, 2004.

Bowker G. Orwell's London // Planet. 2006. *June*.

Bowker G. The Biography Orwell Never Wrote // Finlay Publisher, 2008. *URL: https://web.archive.org/web/20081206155331/http://www.theorwellprize.co.uk/the-award/works/gordonbowker1.aspx*

Boyley J. The Last Puritan // The New York Review of Books. 2001. 20 *March*.

Brander L. George Orwell. *L.*: *Longmans, Green and Co.* 1954.

Brendon P. The Saint of Common Decency // The Guardian. 2003. 7 *June*.

Brown A. The Story Behind George Orwell's «Animal Farm». *L.: Heinemann-Raintree,* 2007.

Buddicom J. Eric and Us: *A Remembrance of George Orwell*. *L.*: *Leslie Frewin*, 1974.

Burnham J. The Managerial Revolution: *What Is Happening in the*

World. *N.Y.*: *John Day*, 1941.

Calder J. Huxly and Orwell: *Brave New World and Nineteen Eighty-Four*. *L.*: *Edward Arnold*, 1970.

Campbell B. Wigan Pier and Beyond: «*So Who Is Orwell for*?» // *New Statesman*. 2013. 25 *Jan*.

Caute D. Politics and the Novel During the Cold War. *Piscotway*, *New Jersey*: *State University of New Jersey*, 2010.

Cavendish D. The Other George Orwell // *The Telegraph*. 2011. 12 *Aug*.

Chiton M. How the CIA Brought «Animal Farm» to the Screen // *The Telegraph*. 2016. 21 *Jan*.

Churchill Speaks: *Winston Churchill in Peace and War*. *Collected Speeches* 1897–1963. *Leicester: WindWard*, 1981.

Coutts S.J. George Orwell in Wallington // *Wallington Church Preservation Trust*, 2010.

Crace J. «*Nineteen Eighty-Four*» *by George Orwell* // *The Guardian*. 2008. 14 *June*.

Crick B. George Orwell: *A Life*. *L.*: *Penguin Books*, 1980.

Critical Essays on George Orwell / ed. by B.Oldsay, J.Browne. *Boston: G.K.Hall* & *Co*, 1986.

Davies W. Confessions of a Down and Out // *New Stayesman*. 2013. 22 *Jan*.

Delany P. Words, Deeds and Things: *Orwell's Quarrel with Language* // *George Orwell*: *A Reassessment / ed. by P.Buitenhus, I.Nadel*. *L.: Macmillan*, 1988.

Deutscher I. Marxism, Wars and Revolutions: *Essays from Four Decades*. *L.: Verso Books,* 1984.

Drew P. Orwell, Socialism and Freedom. *L.*: *Radical Shift*, 1996.

Eagleton T. Reach-Me-Down Romantic // *London Review of Books*. 2003. 19 *June*.

Eckstein A. «1984» *and George Orwell's Other View of Capitalism* // *Modern Age*. 1985.

Edelheit S. Dark Prophecies. *N.Y.*: *Revisionist Press,* 1979.

Fen E. George Orwell's First Wife // *Twentieth Century*. 1960. *Aug*.

Fenwick G. George Orwell: *A Bibliography*. *Winchester*: *St. Paul's Bibliographies*, 1998.

Foot M. An Instinct for the Future // *The Guardian*. 1986. 20 *Apr*.

Fromm E. Afterword // *Orwell G. Nineteen Eighty-Four*. *N.Y.: Signet Modern Classics,* 1976.

Fyvel T.R. George Orwell: *A Personal Memoir*. *L.*: *Weidenfeld and Nicolson*, 1982.

Gessen K. «*Eternal Vigilance*» // *New Statesman*. 2009. 28 *May*.

George Orwell: *Into the Twenty-First Century / ed. by T.Cushman, J.Rodden*. *L.: Routledge,* 2004.

Giraldi W. Orwell: Sage of the Century // The New Republic. 2013. 11 *Aug*.

Goodman D. 1984 *and «Nineteen Eighty-Four» // The Futurist. Washington*. 1984. № 6.

Goodwin B., Taylor K. The Politics of Utopia. *L.: Hutchinson*, 1982.

Gray R. Orwell vs. God // The Spectator. 2011. 11 *June*.

Grierson P. Books on Soviet Russia. *L.*, 1943.

Hamilton I. Koestler: A Biography. *N.Y.: Macmillan*, 1982.

Hamingway E. True at First Light. *N.Y.: Scribner*, 1999.

Harding L. Shadows of Orwell // The Guardian. 2000. 24 *June*.

Harper A. George Orwell, Patron Saint of Hacks // Prospect, The Leading Magazine of Ideas. 2010. 10 *May*.

Harris J.P. Men, Ideas and Tanks. *Manchester: Manchester University Press*, 1995.

Harris M. From History to Psyhological Grotesque. The Politics of Sado-Masohism in 1984 *// George Orwell: A Reassessment / cd by Buitenhus, I.Nadel. L.: Macmillan*, 1988.

Hastings R. There's More to George Orwell Than Politics // The Guardian. 2010. 21 *Jan*.

Heppenstall R. Orwell Intermittent // Twentieth Century. 1955. *May*.

Hitchens C. Orwell's List // The New York Review of Books. 2002. 25 *Sept*.

Hitchens C. Orwell's Victory. *L.: Allen Lane: The Penguin Press*, 2002.

Hodges Sh. Gollancz: The Story of a Publishing House. *L.: Gollancz*, 1978.

Hollis Ch. A Study of George Orwell: The Man and His Works. *L.*, 1956.

Hopkins J.K. Into the Heart of the Fire: The British in the Spain Civil War. *Stanford: Stanford University Press*, 1998.

Howe I. Orwell's Nineteen Eighty-Four: Text, Sources, Criticism. *N.Y.: Harcourt, Brace & Co.,* 1963.

Hunt W. New Light on Orwell's Lost Youth // Finlay Publisher. 2011. *Sept*.

Hunt W. Why Orwell Went to Burma // Finlay Publishers. 2009. *July–Sept*.

Hunter L. George Orwell: The Search for a Voice // Milton Keynes: Open University Press, 1984.

Huxley A. Brave New World Revisited. *N.Y.*, 1965.

Ingle S. George Orwell: A Political Life. *Manchester: Manchester University Press*, 1993.

Ingrams R. Muggeridge: The Biography. *L.: Harper Collins*, 1995.

Inside the Myth: Orwell, Views from the Left / ed. by Ch.Norris. *L.: Lawrence & Wishart,* 1984.

Jeffries S. What Would George Orwell Have Made of the World in

2013? // *The Guardian*. 2013. 24 *Jan*.

Kazin A. Not One of Us // The New York Review of Books. 1984. 31 *Nov*.

Kermode F. The Sharpect Thorn // The New York Review of Books. 2007. 14 *June*.

Koestler A. Dialogue with Death // Koestler A. Spanish Testament. L.: Gollancz, 1937.

Koestler A. Orwell // Tribune. 1950. 29 Jan.

Koestler A. The Yogi and the Commissar. N.Y.: Macmillan, 1945.

Larkin E. Finding George Orwell in Burma. *N.Y.*: *Penguin Books*, 2005.

Leab D. Orwell Subverted: *The CIA and the Filming of «Animal Farm»*. *Philadelphia*: *Penn State University*, 2008.

Lewis P. George Orwell: *The Road to* 1984. *N.Y.: Harcourt, Brace* & *Co.,* 1981.

Leys S. The Intimate Orwell // The New York Review of Books. 2011. 26 *May*.

Lucas S. Orwell. *L.*: *Haus*, 2003.

Lyons E. Assignment in Utopia. *N.Y.*, 1937.

McCrum R. Why It's Hard to Conjure the Spirit of Orwell // The Guardian. 2009. 2 *June*.

Maddison M. «1984»: *A Burnhamite Fantasy // Political Quarterly*. 1961. № 32.

Malcolm N. Readers of the World Unite. *How the Publisher Victor Gollancz Founded a Book Club to Spread the Message of Socialism // Left Book Club Anthology / ed. by Paul Laity*. *L.: Gollancz,* 2001.

Manuel F.E., Manuel P.P. Utopian Thought in the Western World. *Cambridge*: *Belknap Press*, 1979.

McCarthy M. The Writing on the Wall // The New York Review of Books. 1969. 30 *Jan*.

McCrum R. «1984»: *The Masterpiece That Killed George Orwell // Observer*. 2009. 10 *May*.

McKie D. When Fact Is Really Fiction // The Guardian. 2003. 3 *Apr*.

Meyers J. George Orwell: *The Critical Heritage*. *L.: Routledge,* 1997.

Meyers V. Animal Farm: *An Allegory of Revolution // George Orwell's «Animal Farm»: Bloom's Modern Critical Interpretations / ed. by H.Bloom. N.Y.: Infobase Publishing,* 2009.

Muggeridge M. Chronicles of Wasted Time. *N.Y.*: Regent College Publishing, 2006.

Mumford L. Herman Melville. *N.Y.: Literary Guild,* 1929.

Newsinger J. Orwell's Politics. *Basingstoke: Macmillan Press Ltd.*, 1999.

«Nineteen Eighty-Four» in 1984 / ed. by A.Crispin, P.Chilton. L.: Comedia Publishing Group, 1983.

Nosick R. Anarch, State and Utopia. N.Y.: Basic Books, 1974.

On «Nineteen Eighty-Four»: Orwell and Our Future. Ed. by A.Gleason, J.Goldsmith, M.Nussbaum. Princeton: Princeton University Press, 2005.

Owen P. «1984» *Thoughtcrime? Does It Matter That George Orwell Pinched the Plot // The Guardian*. 2009. 8 *June*.

Packer G. Reading Orwell // The Newyorker. 2009. 23 *Apr*.

Pane M. Orwell's «1984» *Becoming a Reality in Modern-day America // OpEdNews.com*. 2010. 2 *May*.

Paxman J. Introduction to «Shooting an Elephant». The Genius of George Orwell // Daily Telegraph. 2015. 20 *Jan*.

Paxton R.O. The Anatomy of Fascism. N.Y.: Vintage, 2004.

Podhoretz N. If Orwell Were Alive Today // Harper's. 1983. *Jan.*

Pritchett vs. Orwell «in Life» // The New York Review of Books. 1966. 15 *Dec*.

Reflection on America, 1984. An Orwellian Symposium / ed. by R.Mulvihill. L.: University of Georgia Press, 1986.

Remembering Orwell / ed. by S.Wadhams. Markham, Ontario: Penguin Books Canada, 1984.

Richards P. George Orwell: From Tory Anarchist to Democratic Socialist // LabourList. 2010. 4 *Nov*.

Rodden J. George Orwell: The Politics of Literary Reputation. L.: Oxford University Press, 1889.

Russell B. The Practice and Theory of Bolshevism. L.: George Allen & Unwin, 1920.

Shelden M. Friends of Promise: Cyril Connolly and the World of «Horizon». N.Y.: Harper & Row, 1989.

Shelden M. Orwell: The Authorized Biography. L.: Harper Collins, 1991.

Shelden M. The World of George Orwell. Lecture Content. Indiana: Indiana State University, 2010.

Slater I. Orwell: The Road to Airstrip One. Montreal: W.W.Norton & Co., 1985.

Smith D.C. The Correspondence of H.G.Wells. L., 1998.

Spain Betraid: The Soviet Union in the Spanish Civil War. New Haven: Yale University Press, 2001.

Spender S. The Truth About Orwell // The New York Review of Books. 1972. 16 *Nov*.

Spurling H. The Girl from the Fiction Department: A Portrait of Sonia Orwell. N.Y.: Counterpoint, 2003.

Stansky P., Abrahams W. Orwell: The Transformation. L.: Constable, 1979.

Stansky P., Abrahams W. The Unknown Orwell. L., 1972.

Steinhoff W. George Orwell and the Origin of the «1984». *Ann Arbor: University of Michigan Press*, 1975.

Taylor D.J. Another Piece of the Puzzle: *Eileen O'Shanghessy's Letters // The Guardian*. 2005. 10 *Dec*.

Taylor D.J. Last Days of Orwell // The Guardian. 2000. 15 *Jan*.

Taylor D.J. Orwell: *The Life*. *N.Y.: Henri Holt* & *Co.,* 2003.

The Cambridge Companion to George Orwell / ed. *by J.Rodden*. *Cambridge: Cambridge University Press*, 2007.

The Lost Orwell / ed. *by P.Davison*. *L.: Timewell Press,* 2006.

The World of George Orwell / ed. *by M.Gross*. *L.: Minerva Press,* 1971.

Thomas N. Orwell. *Edinburgh: Oliver* & *Boyd*, 1965.

Thomson G. The House Where Big Brother Was Born // New Statesman. 2009. 28 *May*.

Travis A. How Areal Big Brother Kept an Eye on George Orwell, Bohemian Communist // The Guardian. 2005. 18 *July*.

Voorhees R. The Paradox of George Orwell. *Lafayette*, 1964.

Wagar W. 1984: *The Year That Never Comes // The Futurist*. 1983. *Vol*. 17. № 6.

Wain J. From Diagnosis to Nightmare: *Koestler amp*.; *Orwell on the Totalitarian Mind // Encounter*. 1983. № 2.

Walter N. The Clean Smell of Orwell // Prospect: *The Leading Magazine of Ideas*. 1998. 20 *Oct*.

Warburg F. All Authors Are Equal. 1936–1971. *L.: Hutchinson,* 1973.

Warburg F. An Occupation for Gentlemen. *L.: Hutchinson,* 1959.

Wells H.G. The Holy Terror. *N.Y.: Simon* & *Schuster,* 1939.

Westwood R. Battle of Vera Brittain Versus George Orwell // Tribune. 2011. 25 *June*.

Wheatcroft G. George at 100 *// Prospect*: *The Leading Magazine of Ideas*. 2003. 20 *June*.

Wheatcroft G. St George's Shroud. In the 50 *Years Since His Death, Orwell Has Become England's Secular Saint // Prospect*: *The Leading Magazine of ideas*. 2000. 20 *Febr*.

Williams R. George Orwell. *Glasgow*, 1971.

Winnifrith T., Whitecker N. «1984» *and All's Well*? *L.: Macmillan,* 1984.

Woodcock G. The Crystal Spirit. *A Study of George Orwell*. *L.: Weidenfeld* & *Nicolson,* 1966.

Young J. Orwell's Newspeak and Its Nazi and Communist Antesedents. *Sharlottesville*: *University Press of Virginia*, 1991.

Freegnard G. Richard Blair, George Orwell's Son // Exclusive Interview: video: The Orwell Prize, 2016.

*Williams N. Arena: George Orwell : film [*5 *Parts]*. *BBC,* 1984. *URL: http://worldscinema.org/*2017/03/*nigel-williams-arena-george-orwell*-5-

parts-1984.

http: *orwell.ru*

Иллюстрации

Джордж Оруэлл. 1935

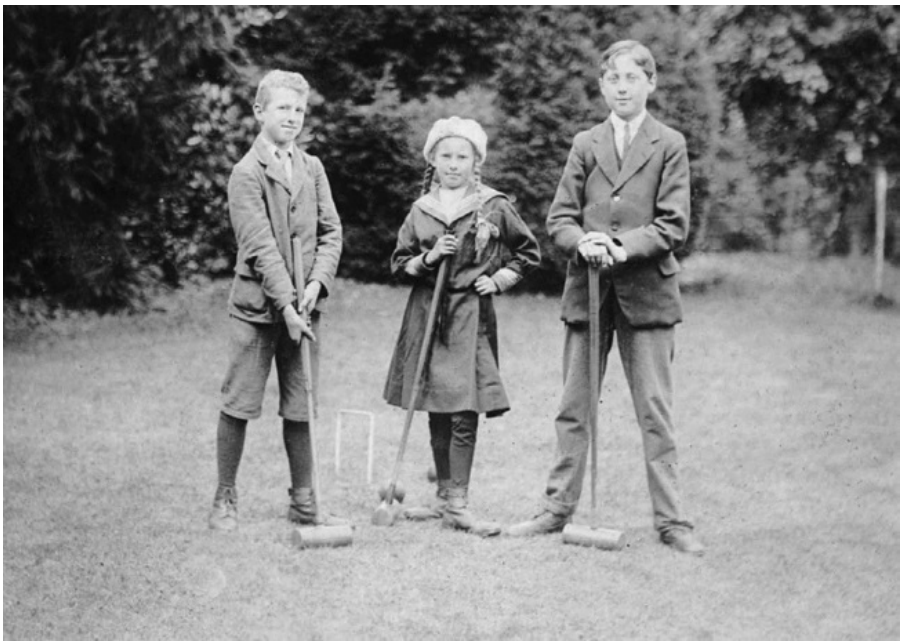
Чиновник Британской колониальной службы Ричард Блэр – отец писателя. Индия, 1900-е гг.

Айда Мейбл Блэр – мать писателя. Бирма, 1900-е гг.

Мать и сын Эрик в канун окончательного переезда в Англию. Индия, г. Мотихари, 1904

Мечтал о море, рисовал кораблики, упросил мать купить бескозырку с надписью «Непобедимый»… Эрику – три года

Семейство Блэров. Мать, отец, Эрик и младшая сестра Эврил. 1916

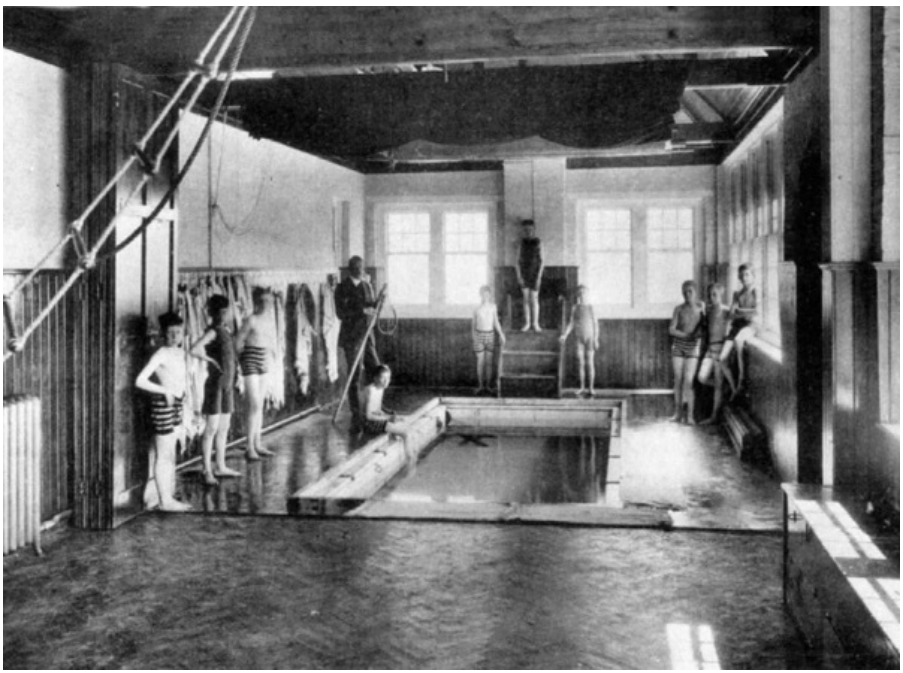


Крокет – любимая игра писателя до 18 лет. Эрик Блэр и соседские дети, Проспер и Дженнивер Баддикомы

Джасинта Баддиком. Эту школьницу «с бантом» Оруэлл будет любить восемь лет – и всю жизнь

Школьный друг – на всю жизнь: будущий журналист и писатель Сирил Коннолли

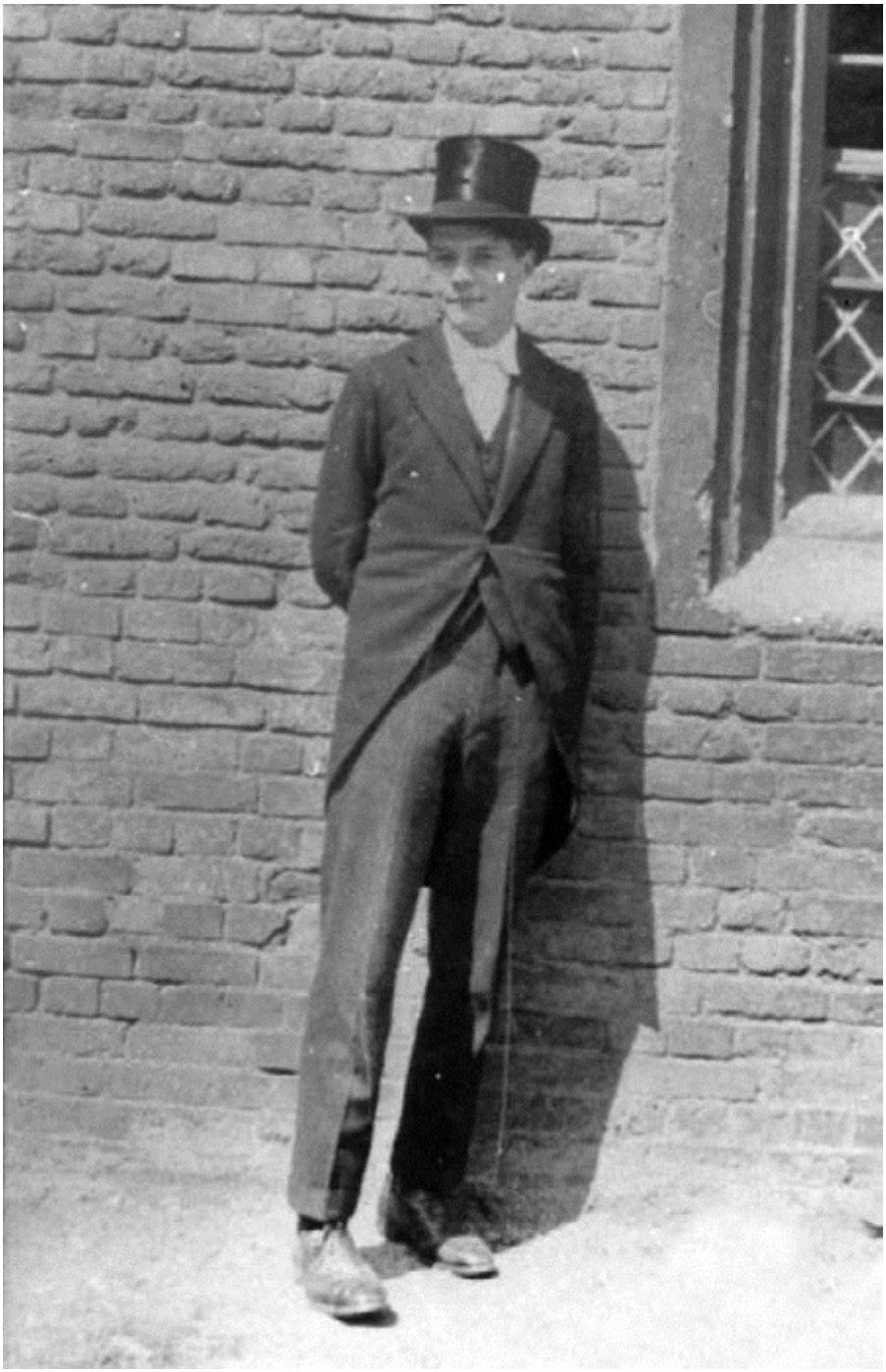
«Я убегал из рабства…» – вспомнит Дж. Оруэлл в 1916-м, в год окончания школы Св. Киприана.



Снизу и справа: Учебный класс и бассейн той самой школы

Деннис Кинг-Фарлоу – соредактор Эрика по рукописному школьному журналу «Время выбора». Фото Дж. Оруэлла

Джорджу – восемнадцать. Позади Итон



Цилиндр и фрак можно было примерить только на каникулах. Однокурсник Стивен Рансимен за два года до выпуска

Легендарный «итонский пристенок» – игра в мяч, нечто среднее между футболом и регби. Джордж Оруэлл – один из лучших игроков за всю историю Итона – в верхнем ряду, крайний справа

Первый год в Бирме: Эрик не знал еще, «как сильно он будет всё это ненавидеть…». Оруэлл – стоит, третий слева; после

окончания курсов Высшей школы индийской полиции. 1923

Середина 1920-х.
Время первых литературных опытов

«На этой девушке я хочу жениться», – сказал писатель сразу после знакомства. Эйлин Мод О'Шонесси (1906–1945) – первая жена Джорджа Оруэлла

Испания. Барселона. Отель «Континенталь». Здесь жили, возвращаясь с фронтов Гражданской войны, Джордж и Эйлин

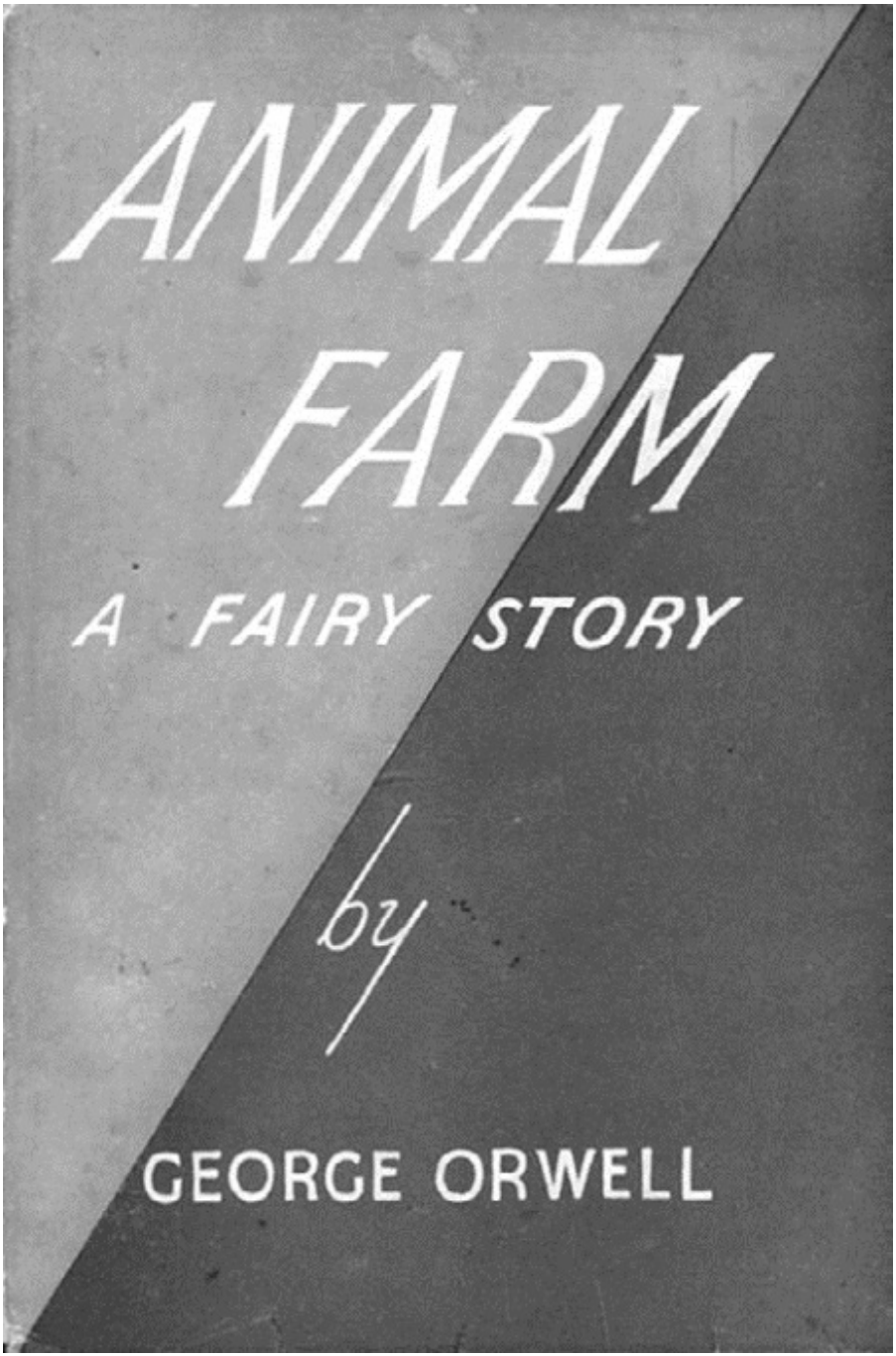
Впереди, за бруствером, фашисты; за спинами ополченцев – Свобода и Революция! Так выглядела передовая на Арагонском фронте. 1937

Бельгиец Жорж Копп (на деле – русский: петербуржец Георгий Александрович Копп) – командир и, в будущем, друг и родственник Дж. Оруэлла

Накануне отъезда на лечение (из-за болезни легких) в Марокко. Уоллингтон, 1938

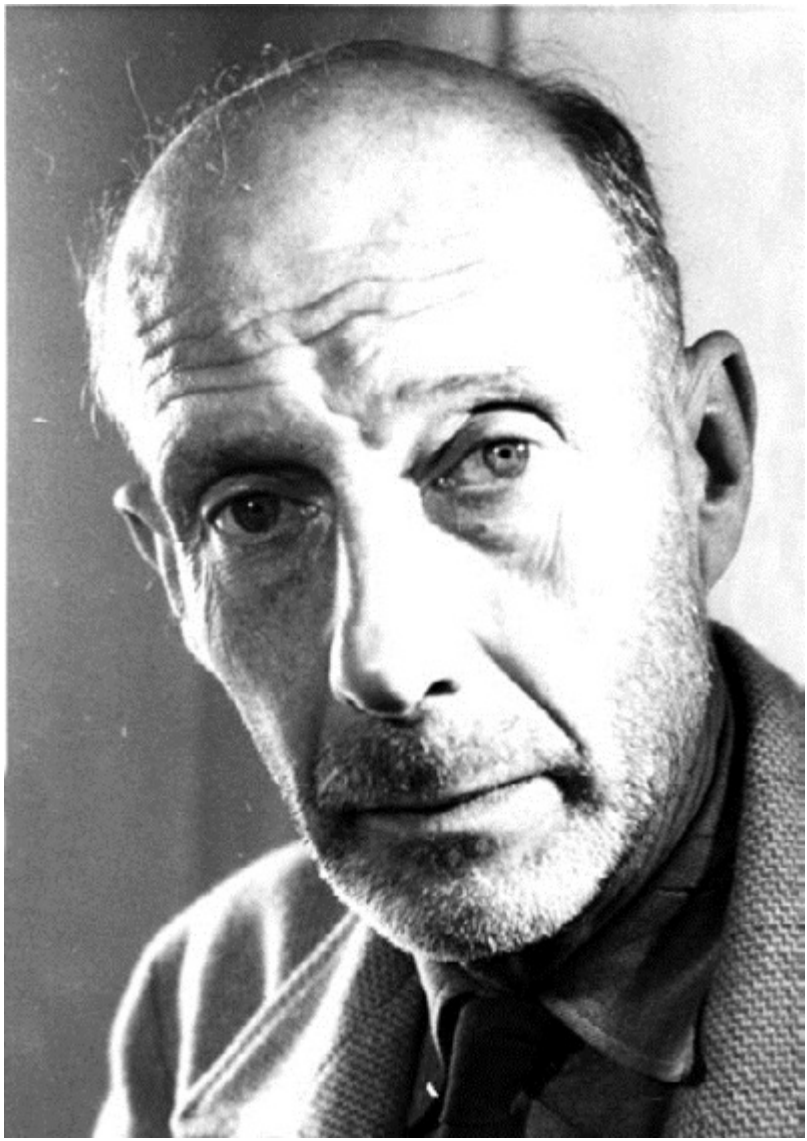
Дом Оруэлла в Уоллингтоне в 1936–1940 гг. Здесь написана книга «Памяти Каталонии» и задуман «Скотный двор»

Вверху и внизу справа: Оруэлл в Марокко. Здесь в 1938–1939 гг. написаны роман «Глотнуть воздуха», большое эссе о Диккенсе и очерк «Марракеш»

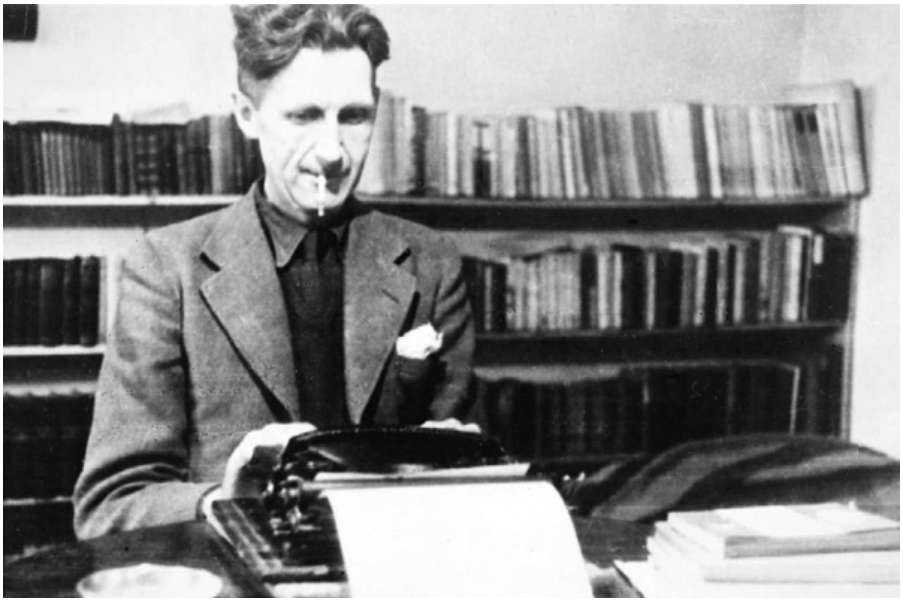


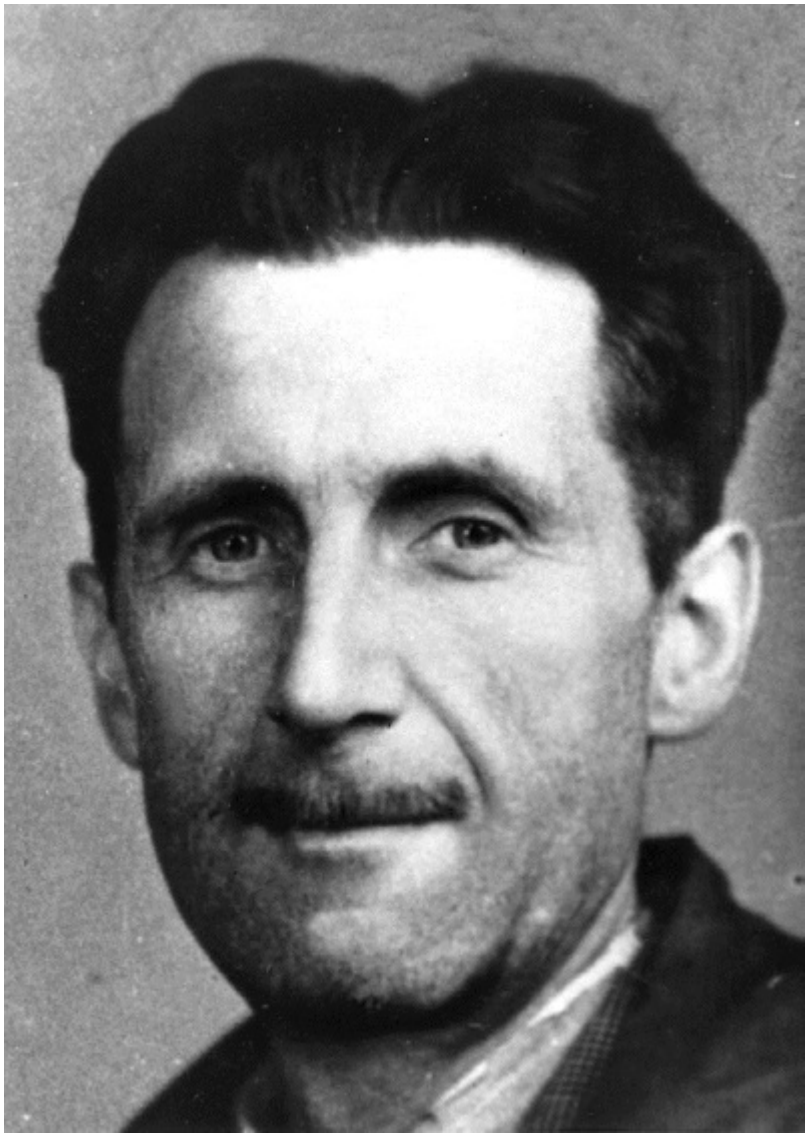
Обложка первого издания рождественской сказки «Скотный двор» (1945)

«Представьте себе Дон Кихота без коня – и вы получите… Джорджа Оруэлла», – вспоминал о первой встрече с писателем в радио-корпорации Би-би-си Д.Вудкок. Оруэлл проработает на радио два с половиной года (1941–1943)



Ричард Рис – друг до смерти… Ему Оруэлл завещал свои рукописи

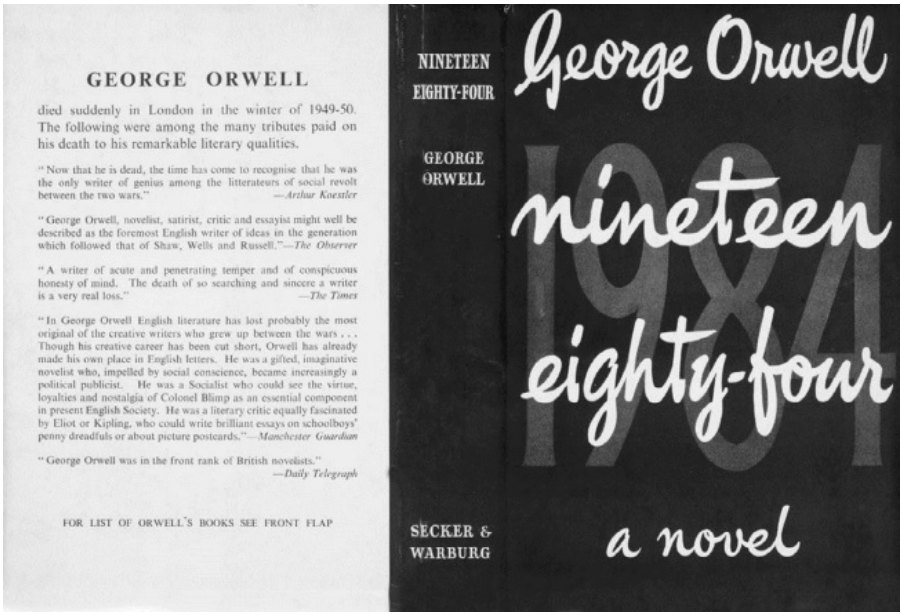




В годы войны Дж. Оруэлл печатался сразу в шести газетах и журналах Лондона. Фото с аккредитационной карты журналиста

Соня Мария Браунелл (1918–1980) – секретарша журнала «Horizon», вторая жена Дж.Оруэлла. Октябрь 1949-го

Ни электричества, ни водопровода, ни радио или телефона не было на ферме Барнхилл… Безлюдный остров Юра в сотнях километров от Лондона – здесь Оруэлл два года писал роман «1984», и отсюда его увезли умирать



GEORGE ORWELL

died suddenly in London in the winter of 1949-50. The following were among the many tributes paid on his death to his remarkable literary qualities.

"Now that he is dead, the time has come to recognise that he was the only writer of genius among the litterateurs of social revolt between the two wars." —*Arthur Koestler*

"George Orwell, novelist, satirist, critic and essayist might well be described as the foremost English writer of ideas in the generation which followed that of Shaw, Wells and Russell."—*The Observer*

"A writer of acute and penetrating temper and of conspicuous honesty of mind. The death of so searching and sincere a writer is a very real loss." —*The Times*

"In George Orwell English literature has lost probably the most original of the creative writers who grew up between the wars . . . Though his creative career has been cut short, Orwell has already made his own place in English letters. He was a gifted, imaginative novelist who, impelled by social conscience, became increasingly a political publicist. He was a Socialist who could see the virtue, loyalties and nostalgia of Colonel Blimp as an essential component in present English Society. He was a literary critic equally fascinated by Eliot or Kipling, who could write brilliant essays on schoolboys' penny dreadfuls or about picture postcards."—*Manchester Guardian*

"George Orwell was in the front rank of British novelists."
—*Daily Telegraph*

FOR LIST OF ORWELL'S BOOKS SEE FRONT FLAP

NINETEEN EIGHTY-FOUR

GEORGE ORWELL

George Orwell

nineteen eighty-four

1984

a novel

SECKER & WARBURG

Обложка первого издания романа (1949)

notes

Примечания

1

Здесь и далее все цитаты из романа Дж.Оруэлла «1984» и сказки «Скотный двор» даются в переводе Д.Иванова и В.Недошивина (См.: *Оруэлл Дж.* Проза отчаяния и надежды. Роман, сказка, эссе. Л.: Лениздат, 1990).

2

См.: *Недошивин В.М., Чаликова В.А.* Неизвестный Оруэлл // Иностранная литература. 1992. № 2.

3

Эту «игру» с чувствами иные исследователи сравнивают ныне с «парадоксами» книги Л.Кэрролла «Алиса в Стране чудес», которую, несомненно, читал юный Оруэлл. Ведь от «двусмыслиц» Кэрролла до «двоемыслия» Оруэлла в его последнем романе, пишут, буквально «один шаг».

4

Перевод Л.Шустера. Цит. по: *Фельштинский Ю., Чернявский Г.* Джордж Оруэлл (Эрик Блэр). Жизнь, труд, время. М., 2014. С. 59.

5

“Стихи на случай”.

6

«Пышные пассажи» – приблизительный перевод существующего в английском выражения *“purple style”* (дословно «пурпурный стиль»). Это то, что можно назвать в художественной литературе «красивым стилем» или «гладкописью».

Перевод Л.Шустера. Указ. соч. С. 67.

8

«Близнец по славе» – не фигура речи. Так в известном сериале «Би-би-си» из 15 фильмов «История Британии», вышедшем на экраны в 2000 году (автор – Саймон Шама), в последней серии цикла под названием «Два Уинстона» было однозначно заявлено: лишь два всего лидера минувшего столетия – Черчилль и Оруэлл – смогли фундаментально повлиять на будущее страны, стали «олицетворением истории Британии XX века» и, в конечном счете, «ключевыми фигурами».

9

Перевод Л.Шустера. Указ. соч. С. 51.

10

Оруэлл, по позднему признанию, «поклонялся Киплингу в тринадцать лет, ненавидел в семнадцать, пользовался им в двадцать, презирал в двадцать пять лет, а ныне, – как напишет, – снова восхищаюсь им…»

11

Большинство биографов принимают утверждение Эндрю Гоу, куратора Оруэлла в Итоне: у Эрика не было надежды завоевать стипендию или поступить в Оксфорд, не удостоившись ее. Впрочем, это мнение и ныне оспаривают: например, Джеффри Мейерс, еще один исследователь жизни и творчества Оруэлла, в своей статье от 2000 года. Он считает, что Оруэлл мог поступить в университет и у него «были вполне реальные шансы получить и саму стипендию».

12

Перевод М.Фромана.

13

Ричард Рис в книге «Беглец из лагеря победителей» не только назовет роман «Дни в Бирме» «замечательным, солидным, отличающимся хорошей композицией произведением», выдерживающим сравнение с С.Моэмом и Э.Форстером, но и однозначно подчеркнет главное: роман этот «во многом автобиографичен».

М.Кэя, У.Лайта, В.Фуксмана и Л.Шустера.

15

Артур Кук – лидер британского профсоюза шахтеров, возглавлявший рабочее движение Англии 1920-х годов.

Самим фактом существования (*лат.*).

17

Совершить революцию (*фр.*).

18

Буквально – «дерьмо!» (*фр.*); популярное ругательство в значении «черт!», «черт бы побрал!». – *Примеч. пер.*

19

Вот, мой друг! (*фр.*).

20

Еще поживем! (*фр.*).

21

Атакуйте! Атакуйте! Атакуйте! (*фр*.).

22

Так в Англии звали специальное помещение для людей без имени и прошлого (спецприют тюремного типа), куда бесплатно пускали именно бродяг, а не бездомных, и на одну-единственную ночь. Иногда слово «спайк» переводят у нас также и как «торчок», и как «шип».

23

Того, кстати, философа и социолога Л.Мамфорда (1895–1990), который через много лет после смерти Оруэлла, уже в 1970-м, в своем двухтомном труде «Миф о машине» будет писать в том числе об утопиях и антиутопиях – и поминать Дж.Оруэлла.

24

«Улисс» Д.Джойса был издан в 1922 году во Франции. В Англии был запрещен до 1939 года как «аморальный». Ныне он, как и роман Дж.Оруэлла «1984», – в первой десятке лучших книг всех времен и народов.

Например, к 100-летию Оруэлла, в 2003 году, лондонская *Observer* заказала рецензию на этот роман Сандару Катвале. Факт сам по себе примечательный: через шестьдесят с лишним лет писать о романе, который и автор-то ценил не слишком высоко. Но с высоты XXI века рецензент увидел в романе то, о чем Оруэлл, разумеется, не мог даже подозревать, – оказывается, герой романа Гордон Комсток предвосхитил появление в Европе так называемых «рассерженных молодых людей» 1950–1960-х годов (Джон Осборн, Джон Уэйн и др.). Именно поэтому С.Катвала отметил, что экранизация этого романа в 1997 году, несмотря на блестящую игру Ричарда Гранта (Комсток) и Хелены Бонэм-Картер (Розмари), оказалась не вполне удачной, ибо в фильме, который получил название «Цветы любви», реальную «жесткость и мрачноватость фабулы романа» авторы подменили неким «теплым блеском» эпохи.

26

Биографы Оруэлла Ю.Фельштинский и Г.Чернявский пишут, что ко времени знакомства писателя с Майклом Сейерсом тот только что вернулся из СССР, где побывал со студенческой группой, и восхищался грандиозными советскими переменами. Позже, когда Сейерс переедет в США, он вместе с журналистом Альбертом Каном станет автором книги «Великая конспирация: тайная война против Советской России», источниками которой послужат стенограммы судебных процессов в Москве 1936–1938 годов. Книга оправдывала карательные органы СССР, подтверждала «всемирный антисоветский заговор» и безудержно восхваляла мудрость Сталина. «Эта книга, – пишут Фельштинский и Чернявский, – многократно издавалась потом миллионными тиражами у нас, а авторы получали большие гонорары». Более того, к возмущению биографов Оруэлла (на мой взгляд, обоснованному), эта книга «с оправданием репрессий, с вредителями, шпионами и изменниками» в 2008 году была вновь переиздана у нас.

27

«Я не верю в политические движения, – писал Бродский, – я верю в личное движение, в движение души, когда человек, взглянувши на себя, устыдится настолько, что попытается заняться какими-нибудь переменами: в себе самом, а не снаружи… Ибо всякое политическое движение есть форма уклонения от личной ответственности за происходящее…» Ну разве это не про Оруэлла, чуравшегося всех и всяческих «движений»?..

28

Беседа Б.Шоу и супругов Асторов со Сталиным (пишут, что в ней принимал участие и сын Асторов Дэвид, будущий близкий друг Оруэлла) в СССР не публиковалась, но для биографии Оруэлла и его окружения несомненно представляет интерес. Мать Дэвида Астора, Нэнси Астор, крупная политическая фигура Британии первой половины XX века, с 1919 года – первая женщина, избранная в палату общин, была фигурой не только экстравагантной, но и политически прямой. Скажем, именно она публично сказала как-то другу дома У.Черчиллю: «Если бы вы были моим мужем, я бы налила вам в кофе яду…» И именно она во время встречи со Сталиным, нарушив чинную беседу, вдруг задала вождю просто невозможный вопрос: «Когда вы, господин Сталин, прекратите убивать собственных подданных?..» Переводчик, пишут, буквально проглотил язык. Но вождь настоял на переводе и ответил в духе газеты «Правда»: «В нашей стране идет борьба с нарушителями Конституции. Мир наступит, когда нарушения прекратятся». В какой-то степени этим объясняются примиренческие воспоминания Б.Шоу об этой встрече. Но так или иначе именно Нэнси Астор стала первым и, кажется, последним сохранившим жизнь человеком, который бросил в лицо диктатору обвинения в «убийствах».

29

См.: Оруэлл Джордж. Наперекор порядку вещей… Четыре хроники честной автобиографии / пер. В.М.Домитеевой; авт. проекта и послесл. В.М.Недошивин. М., 2014. С. 197–344.

30

В русском переводе эта книга Д.Мирского под названием «Интеллиджэнсия» вышла в Москве в 1934 году, через два года после возвращения князя в СССР.

31

Ёсихиро Фрэнсис Фукуяма – американский философ, политолог, политический экономист и писатель. Известен благодаря книге «Конец истории и последний человек» (1992), в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества.

32

Хемингуэй, пишут, посетив учебный лагерь НКВД под Валенсией, «восхитился» процессом подготовки диверсантов, их «духом и дисциплиной», но через несколько лет скажет свою знаменитую фразу: «В Испании коммунисты вели себя как стадо грязных свиней…» (Цит. по: *Ушмерс М.-К.* Эйтингоны: Семейная сага двадцатого века. М., 2016. С. 218).

33

См.: *Карп М.* Оруэлл в Испании: Из будущей книги // Иностранная литература. 2012. № 12.

34

См.: *Фельштинский Ю., Чернявский Г.* Джордж Оруэлл. Жизнь, труд, время. С. 258.

35

Так считает один из биографов Оруэлла Гордон Боукер, который утверждает, что идея «Скотного двора» зародилась у писателя именно летом 1937 года, за шесть лет до написания книги.

Ныне издательство *Secker and Warburg* входит составной частью в крупнейшую издательскую группу *Random House*, которая издает книги как в Англии, так и в США.

37

В ноябре 1937 года Оруэлл был приглашен Десмондом Янгом, выдающимся репортером и редактором газеты *Pioneer* («Пионер») в Индии, на работу в качестве заместителя редактора и ведущего журналиста. Янг объяснил Оруэллу, что «не может предложить ему высокую зарплату», но обеспечит в Индии приличное жилье и позаботится, чтобы у него было время для писательского труда. Оруэлла предложение Янга вдохновило – ведь в «Пионере» работал когда-то Киплинг, а кроме того, ему нравилась перспектива вернуться в страну, где он родился и где можно было, как пишут, «ярко выступать против британского империализма». Но когда Янг обратился с этим предложением в британскую администрацию Индии, поддержки он не получил. Там сочли, что Оруэлл «из-за своей честности и силы характера» будет лишь создавать «проблемы для властей». Наши биографы пишут, что уже в Лондоне, в департаменте по делам Индии Оруэлла попросили написать краткую биографическую справку. «Я симпатизирую социализму, в определенной мере связан с НРП, – написал в числе прочего он. – Цель моей поездки в Индию состоит, помимо работы в *Pioneer*, в том, чтобы попытаться получить более ясное представление о политических и социальных условиях в Индии, чем то, которое у меня ныне…» Понятно, что Янгу в Индию была отправлена депеша, что власти «не советуют ему привлекать Оруэлла к работе на территории Индии…».

38

Впервые документы архива РГАЛИ и переписка писателя с журналом были обнаружены и упомянуты исследовательницей творчества Дж.Оруэлла В.Г.Мосиной-Науменко в 1990-х годах. См.: Проза Джорджа Оруэлла: творческая эволюция: автореф. дис. д-ра филол. наук. М., 2000. С. 5.

39

О каком «предыдущем письме» Оруэллу из СССР идет речь – неизвестно. Исследователи писателя и в Англии, и в России оставляют этот факт без комментариев. Возможно, предполагаю, существовало некое общее, написанное ранее обращение журнала «Интернациональная литература» к «прогрессивным литераторам» Запада с приглашением сотрудничать с советским журналом и присылать в редакцию те или иные материалы и книги.

40

Если коротко, то 14 сентября 1937 года *Daily Worker* опубликует беседу своего корреспондента с однополчанином Оруэлла Фрэнком Фрэнкфордом, который утверждал, что ПОУМ и Жорж Копп тайно помогали фашистам и получали от них оружие, чтобы организовать мятеж в Барселоне. Фрэнкфорд утверждал: «Каждый вечер, около одиннадцати, часовые слышали, что едет подвода, и по свету могли определить, что она движется между нашим левым флангом и фашистами. У нас был приказ никогда в этот свет не стрелять… Около Уэски, – продолжал Фрэнкфорд, – мы однажды видели, как командир Копп возвращается с фашистских позиций…» Вот на этой телеге якобы и доставлялось то самое «фашистское оружие». Через два дня *Daily Worker* напечатала поправки: теперь уже Фрэнкфорд «не был *уверен*, что подводы действительно пересекали линию фронта, и *сам* не видел, как Копп возвращался с фашистских позиций». Газета коммунистов умолчала, правда, что Фрэнкфорд был еще в Барселоне арестован за… попытку продать картины, украденные «под шумок» из музеев. Позднее Фрэнкфорд каялся в озвученной клевете и просил прощения. Но Оруэлл, еще не зная о будущих извинениях клеветника, в письме «Загадочная подвода», появившемся в газете *New Leader*, четко опроверг измышления: «Совершенно ясно, – написал, – что эти безумные утверждения вложили в уста Фрэнкфорда барселонские журналисты, а он, чтобы спасти свою шкуру, подтвердил их…»

41

Дэвид Джонс (1895–1974) – английский поэт-модернист, писатель, эссеист и художник (наиболее известны его гравюры-иллюстрации к «Путешествиям Гулливера» и басням Эзопа), в 1937 году выпустил свою первую книгу «В скобках» – полупрозу-полустихи, посвященную личным впечатлениям об участии в Первой мировой войне. Позже его поэма «*Anathemata*» была признана Т.С.Элиотом и У.Х.Оденом лучшей английской поэмой XX века. В отличие от Дж.Оруэлла, Дэвид Джонс больше прославился, по общему мнению, как «поэт для поэтов».

42

Ныне специалисты, пишущие об Оруэлле, сравнивают, и небезуспешно, роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» и книгу «1984». Речь идет, например, о схожести героинь – Маргариты и Джулии, о «ведьминском характере их», о том, что в обоих романах существуют «книги в книге», раскрывающие темы произведений, и, разумеется, об «изгойстве», «отщепенчестве» главных героев романов. В частности, этого касается исследователь А.Багаев в обстоятельной статье «Заблуждение в переводе» (см.: Октябрь. 2010. № 2).

43

Помимо «Командировки в утопию» Ю.Лайонс напишет и издаст еще две книги об СССР: «Сталин – царь всея Руси» и «Красная декада». Впоследствии он станет в США первым президентом Американского комитета по освобождению от большевизма, а затем – в 1946-1968 гг. – главным редактором журнала *Reader's Digest*.

Старина (*фр.*).

45

Директор Английского банка.

46

Лидер фашистской хорватской организации усташей.

47

Американский газетный магнат, пропагандировавший достижения Третьего рейха.

48

Американский поэт и критик, с 1941 года работавший в Риме на фашистском радиовещании.

49

Французский поэт и драматург, вошедший в 1940-е в круг профашистских интеллектуалов.

50

Католический священник, создавший открыто фашистский «Христианский фронт против коммунизма».

51

Хаджи Имам Алла Хусейн, организовавший профашистский Арабский легион.

52

Генерал, будущий фашистский диктатор Румынии.

53

Английский писатель.

54

Теоретик футуризма, сподвижник Муссолини.

55

Лев и единорог – геральдические животные, изображенные на официальном гербе Великобритании. Книгу с таким названием – «Лев и Единорог» – Оруэлл напишет в 1941 году, но это будет публицистическая брошюра, а не задуманная им некогда сага о своей семье.

Впрочем, если быть точным, Маркс не был первым в этом известнейшем сравнении. Впервые эта мысль прозвучала в устах английского писателея и проповедника, одного из основоположников «христианского социализма» Чарльза Кингсли. Тот как-то написал: «Мы используем Библию просто как дозу опиума, успокаивающую перегруженное вьючное животное, – чтобы поддерживать порядок среди бедных». Но именно Маркс отбросил в этой фразе слово «мы», сказав, что религия – опиум самого народа, а не Библия, которую навязывают ему извне.

57

См.: *Николсон Г.* В защиту робости // Факт или вымысел? Антология: эссе, дневники, письма, воспоминания, афоризмы английских писателей. М., 2008. С. 900–905.

58

Мура – это Мария Игнатьевна Закревская, она же Бенкендорф, она же Будберг, двойной, а может, даже тройной агент разведок (включая НКВД), а в миру – невенчанная жена Максима Горького и многолетняя, до смерти его, Герберта Уэллса. Жизнь этой потрясающей международной авантюристки довольно полно описана в посвященной ей книге Н.Берберовой «Железная женщина», а подробный разговор о ней здесь завел бы наше повествование слишком далеко. Достаточно уже того, что Дж.Оруэлл был знаком с ней, ибо был в гостях у Уэллса (а они – у него), а позже, работая в индийской редакции радио «Би-би-си», возможно, сталкивался с ней, трудившейся там же, но во французской редакции. И всё это если и имеет какое-то значение, то лишь в том, что мы в этой книге намеревались, как помните, обрисовать, по возможности широко, то, что называется «русским миром» Оруэлла.

Цит. по: *Чертанов М.* Герберт Уэллс. М., 2010. С. 462.

Сам по себе термин «дистопия» означает «едва постижимый, горестный» – так трактует его «Древнегреческо-русский словарь» под редакцией С.И.Соболевского (М., 1958). Но сама неопределенность и разнородность значения слова «антиутопия», пущенного в оборот литературоведами, философами и социологами и именуемая как «дистопия», «неутопия», «негативная утопия», «какатопия» и т.д., говорит прежде всего о неточности и неразработанности (в отличие от слова «утопия») и термина, и понятия этого загадочного и всеобъемлющего жанра.

61

Среди прочих «поводов» были, надо заметить, и те, о которых ныне неохотно вспоминают на Западе: череда пактов, договоров и соглашений с Гитлером, заключенных самими странами Европы. «Пакт четырех», заключенный в 1933 году между Германией, Англией, Францией и Италией; пакт Гитлера–Пилсудского, подписанный Польшей в 1934 году; «морское соглашение» Германии и той же Великобритании от 1935 года; наконец, череда просто «деклараций о ненападении» между Германией и Англией (сентябрь 1938 года), Германией и Францией (декабрь 1938-го), между Литвой (март 1939-го), Данией (май 1939-го), Эстонией (июнь 1939 года), Латвией (июнь 1939 года) и всё той же Германией. Кстати, именно соглашение Германии и Польши дало возможность последней через четыре года, в 1938 году, «без каких-либо юридических оснований» вторгнуться в Чехословакию и аннексировать Тешинский край, совершив, по сути, первый акт агрессии в Европе и став таким образом, как утверждают ныне специалисты, «реальным поджигателем Второй мировой войны». Всё это было, но вспоминают «объективные» историки лишь август 1939 года и пакт Молотова–Риббентропа. Впрочем, так же, как не вспоминают ныне, что за месяц до начала Второй мировой войны, 11 августа 1939 года, Гитлер сказал комиссару Лиги Наций в Данциге Карлу Буркхарду: «Всё, что я предпринимаю, направлено против русских. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, тогда я буду вынужден пойти на соглашение с русскими, побить Запад и затем, после его поражения, снова повернуть против Советского Союза». Как не вспоминают, что через два года, когда началась Великая Отечественная война СССР с гитлеризмом, сенатор США Гарри Трумэн, впоследствии ставший 33-м президентом Америки, 24 июня 1941 года сказал корреспонденту *New York Times* слова, многое объясняющие в позиции будущих союзников СССР: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом, ПУСТЬ ОНИ УБИВАЮТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ…»

62

Последнее утверждение Оруэлла отнюдь не голословно. Не выпущенных в эфир передач Оруэлла оказалось так много, что ученый и библиофил У.Уэст отыскал в архивах «Би-би-си» 62 неизвестных радиосценария писателя и 250 писем его. Найденное составило два внушительных тома, изданных в 1985 году: «Военные эфиры» и «Комментарии войны». Позже, в 1988 году, они, под редакцией У.Уэста, вышли отдельной книгой: «*Orwell: The Lost Writings*».

63

Возможно, биографы не принимают во внимание, что «Би-би-си», откликаясь на настроения общества, вынуждена была создавать «положительный образ» России. К концу 1943 года симпатии британского общества к СССР выросли настолько, что к 7 ноября (по сути, к месяцу увольнения Оруэлла с радио) «Би-би-си» подготовила «в честь» России множество программ. «Главное – передать дух России, – докладывали радийщики наверх. – Лейтмотивом станут признательность и восхищение тем, что советские войска и народ сделали в этой войне. Но будет и еще одна, более глубокая цель – реалистично показать, чем жил и живет русский народ, что такое русский характер и советская цивилизация в целом…» Из МИДа предупредили – не перестарайтесь: «Соблюдайте осторожность и будьте внимательны, чтобы не прославлять советский режим. Это касается и песен, которые будут звучать в эфире. Если они на русском – это не страшно. Но если они переведены на английский и в них воспевается коммунизм, их следует немедленно исключить… В министерстве иностранных дел ждут расшифровок этих передач…»

Ныне колонка Оруэлла «*As I please*» считается классикой жанра, она давно включена в различные антологии и хрестоматии в качестве образцов журналистики, свободной формы ее, в качестве примера и владения языком, и выбора остроты тем. Но сам Оруэлл, не считая эту работу своей «сильной стороной», отзывался о должности «литературного редактора» не без свойственного ему мрачноватого юмора: «Сомнительно, – напишет потом, – становиться редактором тому, кто долгое время являлся свободным журналистом. Это как если бы осужденный узник прямо из своей камеры был отправлен на должность начальника тюрьмы…»

65

Некоторые британские исследователи 2000-х годов считают ныне, что первичным импульсом к созданию «Скотного двора» стала для Дж.Оруэлла книга Роберта Тресселла «Оборванцы-благотворители», изданная еще в 1914 году (*Tressell R. The Radded-Trousered Philanthropists. London*, 1914). С ней он познакомился, как утверждают, в 1932 году, в библиотеке городка Лидс. В книге Р.Тресселла (настоящее имя – Роберт Крокер), умершего в 1911 году, рассказывается об «очеловеченной» лошади и ее страданиях от тирании людей (ср. с «Холстомером» Л.Н.Толстого). Этот факт о книге Тресселла знали, но проигнорировали ранние биографы Оруэлла, хотя, как мне кажется, он вряд ли имел значение для писателя.

66

Первые цензурные списки, так называемые «индексы» – «*Index Librorum rohibitorum*», – стали появляться с 1559 года; ими церковь запрещала к изданию, распространению и чтению нежелательные рукописи. В России подобные списки стали распространяться, когда по распоряжению Министерства внутренних дел был напечатан 20-страничный «Алфавитный каталог книгам на русском языке, запрещенным к обращению и перепечатанию в России» (цензура в России существовала и раньше; это был всего лишь первый официальный список). А уже в советское время «Списки книг, подлежащих изъятию из библиотек и книготорговой сети» насчитывали по 300–400 страниц и включали до 10 тысяч названий. Последний, кстати, проскрипционный список Главлита вышел 27 декабря 1988 года, через полгода после того, как «Скотный двор» был впервые опубликован в СССР. Книгу перевел и опубликовал в латвийском журнале «Родник» Илан Полоцк, журналист газеты «Советская молодежь». Он вспомнит: «Когда грянула его шумная публикация, меня нашел Главлит из Москвы с грозным и совершенно идиотским вопросом: “Откуда вы взяли эту книгу? Она же в спецхране, под грифом «Совершенно секретно»”. Боюсь, что ответ мой – пишет И.Полоцк, – был достоин вопроса: “Шел по парку. Вижу, на скамейке книжка лежит. Я и взял. А что, нельзя было?” “Дошутитесь”, – буркнула Москва…» Предваряя публикацию, Полоцк обратился к нескольким весьма известным литераторам с просьбой написать предисловие. «Отказались все, и у кое-кого в голосе звучал откровенный страх. Согласился лишь известный американист А.М.Зверев. Услышав имя Оруэлла, он решительно заявил: “Ругать я его не буду!” – а когда я закричал в трубку, что вовсе наоборот, тут же согласился и прислал несколько умных и теплых страничек». Так пишет И.Полоцк в кратких мемуарах «Жестокое предвидение Оруэлла: история перевода и всего, что связано с ним».

67

Джеймс Бёрнхем, американский социолог, прошел, по сути, «классический путь» интеллектуала XX века. Он был поклонником ленинизма и немецкого нацизма, затем – «сталинистом», потом, после знакомства с Троцким, – троцкистом, а кончил свой путь убежденным антикоммунистом и теоретиком идеи Америки как великой империи. Он первым, задолго до Д.Белла и Ф.Фукуямы, провозгласил «конец идеологии» и первым, еще в начале 1950-х, объявил о начале «третьей мировой войны» Запада и коммунизма. Именно поэтому он незадолго до кончины, в 1987 году был награжден медалью Свободы, полученной им из рук президента США Рональда Рейгана.

Удивительно, но к 1949 году (Оруэлл был жив еще) развернувшаяся холодная война настолько изменит ситуацию, что уже другое министерство Великобритании – министерство иностранных дел – не только не возразит против распространения «Скотного двора», но прямо будет спонсировать переводы его на русский и другие языки мира. Война идей – и, конечно, людей.

69

Премьер-министр Ирландии.

Перевод Г.Дашевского.

71

«Главный наблюдающий за строительством русских ледоколов Е.Замятин» (*англ.*).

Тут нельзя не сказать, что лишь в 2015 году возникла статья русского ученого А.Е.Ануфриева, которая убедительно показала: роман «Мы» – отнюдь не оригинальная идея Замятина. Корни ее А.Е.Ануфриев нашел в романе американца Давида М.Пэрри «Багровое царство» с подзаголовком «Социал-демократическая фантазия», который был переведен и издан в России в 1908 году. У Пэрри изображен подводный мир (некое «государство с такой совершенной формой правления, какой не видели в истории»), куда попадает герой романа, утонувший в океане американец. Мир этот огражден от воды «Кристальной Стеной», которая при освещении становится зеленой (у Замятина, как мы помним, в его «Едином Государстве» стена тоже зеленая). В государстве Пэрри правит «Воля большинства», как и у Замятина, люди, как и у него, вместо имен имеют номера, состоящие из цифр и букв. Все у Пэрри облачены в одинаковые туники (у Замятина – в «юнифы»), все получают равные порции еды, у всех отнимают детей в приюты, а общение с кем-либо ограничено тысячей слов в день. Путь к счастью и там, и там – отречение от свободы. И у Пэрри, и у Замятина вступать в брак по собственному желанию нельзя: муж и жена назначаются государством. Искусство и там, и там признано бесполезным, и если старые тексты и книги у Пэрри хранятся в «Палате Древностей», то у Замятина – в «Древнем Доме». Наконец, если у Пэрри обряд казни ослушников является всеобщим «праздником», то у Замятина – это «величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей». Впрочем, как было замечено ранее, ничего особо выпадающего из «утопической» традиции в этих заимствовниях нет – прямой, «линейный», спор о государственном устройстве и присущих ему элементах идет уже много веков. И отличаются утопии и антиутопии разве что силой нравственных конфликтов, заложенных в них, и художественным изображением, что зависит уже от таланта и воображения писателей.

В Англии роман Е.Замятина выйдет только в1969 году.

Первым в России на сходство этих двух произведений обратил внимание В.Т.Третьяков в заметке «Джордж Оруэлл или Николай Костомаров?», опубликованной в газете «Московские новости» от 26 июня 1988 года. Основатель и первый редактор будущей «Независимой газеты» однозначно написал, что Оруэлл, «не знавший русского языка, не мог воспользоваться текстом произведения, по существу, канувшего в Лету сразу после того, как он был опубликован». Оба – и Костомаров, и Оруэлл, – пишет В.Т.Третьяков, «пришли к одной метафоре просто потому, что… были гуманистами, оба понимали, что высокая идея справедливости не должна попадать в нечистые руки людей, движимых темными инстинктами… Сравнение сказки Оруэлла с очерком Костомарова особо оттеняет именно гуманизм, а не кажущуюся антиреволюционность обоих произведений…».

Л.Н.Замятина, до последнего дня самоотверженно занимаясь наследием супруга, переживет мужа на двадцать восемь лет, и в 1965 году гроб с ее телом опустят в ту же могилу.

То есть неподсудность светскому суду. В Англии до начала XIX века такую привилегию имело духовенство.

77

Статья Чарльза Райта Миллса, чье полное название «Бессильные люди. Роль интеллектуалов в обществе», была напечатана в американском журнале *Policy* в 1944 году и сразу стала не только «знаковой» для послевоенных поколений, но востребованной и спустя более полувека (см., например, журнал «Неприкосновенный запас», № 2 за 2014 год, перепечатавший ее в переводе В.Макарова).

Ныне известно, что накануне процесса в Нюрнберге американская сторона согласилась не поминать в заседаниях суда «московские процессы», а также «пакт Молотова–Риббентропа» в обмен на молчание советской стороны о финансовых связях США с гитлеровскими промышенниками и тайных сепаратных переговорах о мире американцев и Германии.

Об этом красноречиво говорит опубликованная ныне обширная переписка И.В.Сталина и советского посла в Лондоне, дипломата и историка, академика И.М.Майского.

Вообще история переводов «Скотного двора» на русский интересна сама по себе. Хронология ее такова: после перевода Г.Струве и М.Кригер, изданного последний раз в 1978 году, в 1982 году вышел перевод Ю.Телесина, напечатанный в журнале «Континент». Позже последовательно выходили: «Ферма Энимал: повесть-сказка», перевод В.Прибыловского («Проблемы Восточной Европы», Нью-Йорк, 1986; переиздания, уже под названием «Ферма животных», выходили в 1989, 1990, 2002 годах), «Скотный двор», перевод И.Полоцка (журнал «Родник», Рига, 1988), «Скотный двор. Сказка», перевод Л.Беспаловой (библиотека журнала «Иностранная литература», Москва, 1989, переиздания: 1992, 2000, 2002, 2003 годы), «Скотоферма – Неправдоподобная история» Г.Щербак (изд-во «Мир», 1989), «Скотский уголок» С.Таск («Книжная палата», 1989), «Скотный двор: сказка», Д.Иванов, В.Недошивин (Лениздат, 1990, переиздание – 1992 год), «Ферма животных: повесть-притча» Г.Щербак (изд-во «Галактика-ИГМ», 1995), «Скотское хозяйство: сказка» М.Карп («Азбука-классика», 2001) и многие другие. Впервые библиографию публикации сказки Оруэлла составил и опубликовал на своем сайте О.Даг. Кстати, уже в наше время появились даже «продолжения» «Скотного двора». Начал эти попытки В.Прибыловский, а продолжили, прямо скажем, все кому не лень: Россию последних лет в этих «римейках» изображали и писатель Д.Быков, и даже покойный политик С.Юшенков.

81

Не буду вдаваться в подробности этого «мошенничества» Черчилля, но на Потсдамской конференции, последней встрече Большой тройки (17 июля – 2 августа 1945 года) Сталин осведомленно показал Черчиллю, что знает об этих вооруженных дивизиях фашистов. Черчилль тут же стал оправдываться: «Я не знал, что они не разоружены. Во всяком случае, наше намерение заключается в том, чтобы разоружить их…» «Не сомневаюсь», – ответил Сталин с иронией, вызвавшей смех присутствующих. А Черчилль, выдав себя с головой, сказал: «Мы не держим их в резерве, чтобы потом выпустить из рукава (именно так, как карточный шулер, и сказал. – *В.Н.*). Я потребую доклада по этому поводу». Через десять лет, став вновь премьер-министром, Черчилль со скрипом, но призна́ет, что лично отдал распоряжение не разоружать немцев на случай возможного вооруженного столкновения с СССР летом 1945 года.

82

Ненаписанный этот роман Дж.Оруэлл предполагал назвать «*A Smoking-room Story*», что переводят сегодня и как «Курительная комната истории», и как «История курительной комнаты», и даже как «Курилка Истории».

83

Питер Смоллетт – я вкратце уже упоминал его – на деле был Хансоном Питером Смолкой (его называют также Петром Смолкой), реальным советским агентом, занявшим во время войны пост главы Русского отдела в министерстве информации и возражавшим против публикации «Скотного двора». По поводу Смоллетта Оруэлл в синем блокноте проницательно написал: «… Сильно похож на своего рода российского агента. Очень скользкая личность». Написал, так и не узнав при жизни, что еще в 1930 году Смолка приехал в Лондон из Австрии по приглашению своего «друга», которым оказался, представьте, знаменитый советский разведчик Ким Филби. Какое-то время, в середине 1930-х, Смолка и Филби были партнерами в небольшой пресс-службе, которая использовалась ими в качестве прикрытия для сбора информации. Т.Эш пишет, что, во-первых, Смоллетт-Смолка был завербован Кимом Филби под псевдонимом «АБО», а во-вторых, что даже после «списка Оруэлла» он остался офицером Британской империи, а позднее стал корреспондентом лондонской «Таймс» в Вене. В этой должности он прослужил до смерти в 1980 году, заработав, кстати, орден Британской империи и не потеряв репутации «вполне благонадежного» британца. Как человек, родившийся в СССР и живущий в России, я из национальных побуждений не могу не аплодировать успешному советскому разведчику, но как автор книги об Оруэлле не могу не принимать в расчет и соображений моего героя – его «счет» к Смолетту-Смолке.

84

В «Полное собрание сочинений» Дж.Оруэлла, выпущенное в 1998 году, Питер Дэвисон включил всё связанное с писателем, всё, что к тому времени было найдено и атрибутировано: списки книг, которые были собственностью Оруэлла, финансовую отчетность, уведомления о каждом отправленном письме, сведения обо всех перепечатках его статей и эссе и даже заметки, подписанные еще одним псевдонимом Оруэлла – Джон Фримен.

85

«Ангсоц» (английский социализм), разумеется, в реальности, как комплекс идей, не существовал. Как бы иронично подчеркивая это, писатель даже изменил написание этого термина. Вместо правильного с грамматической точки зрения начертания «*Engsoc*» Дж.Оруэлл сознательно употребил в романе слово «*Ingsoc*». Звучало это одинаково, но в тексте романа выглядело необычно и явно давало понять англоязычному читателю, что если это и не скрытая издевка, то – комичная шутка.

86

Newsweek называет свой рейтинг «Списком списков», поскольку он был составлен из десяти подобных перечней лучших книг. В частности, журнал использовал и обобщил список «Книг века» Нью-Йоркской публичной библиотеки, список 100 лучших книг издательства *Modern Library*, списки 100 книг по версиям *Times*, *Telegraph,* интернета и т.д. (см.: *Newsweek*. 2009. *July* 13).

Первые исследования творческого наследия Дж.Оруэлла принадлежат Лоуренсу Брандеру (он работал вместе с писателем на «Би-би-си») и Джону Аткинсу. К концу 1950-х годов вышли в свет напечатанные в *лондонском журнале* мемуары Пола Поттса «Дон Кихот на велосипеде» *и широкомасштабное исследование* Ричарда Риса «Беглец из лагеря победителей», содержавшее множество биографических фрагментов, а затем, четыре года спустя, появились и заметки сестры писателя, Эврил, «Мой брат, Джордж Оруэлл».

На самом деле, не сочтите за нескромность, впервые мой перевод романа «1984» (еще без соавтора, покойного Д.Иванова) был опубликован в молдавском литературном журнале «Кодры» в 1988 году, и лишь затем, в 1989-м, в «Новом мире» был напечатан перевод В.Голышева. Мой перевод в какой-то степени был вызван работой над первой в СССР кандидатской диссертацией об антиутопиях Е.Замятина, О.Хаксли и Дж.Оруэлла «Критика идеологических концепций современного буржуазного антиутопического романа», которая только под таким названием и могла быть разрешена в 1985 году. Первая докторская диссертация «Проза Джорджа Оруэлла: творческая эволюция» (2000 год), а также полная русская библиография Оруэлла, включившая в себе свыше 200 публикаций начиная с конца 1930-х годов (журнал «Библиография», 2006, № 2),– всё это принадлежит перу В.Г.Мосиной, ныне – В.Г.Науменко.

89

Вопрос появления «новояза» в романе Оруэлла, приложения к его книге «Принципы новояза», конечно же, шире. Оруэлл остро высмеивал в нем появившийся в начале Второй мировой войны «лингвистический проект» (тогда еще секретный) Тавистокского института, разработанный по директиве британского правительства, о подготовке «психологической войны» – создание так называемого «базового английского языка», Бейсик-инглиш. Проект основывался на трудах лингвиста Ч.Огдена, который разработал упрощенную версию английского, сократив его до 850 базовых слов (650 существительных и 200 глаголов). Бейсик ограничивал свободу выражения мысли, создавая не просто «новую реальность», которую легко было транслировать массам, но «концентрационный лагерь разума», «смирительную рубашку для сознания» человека. Проект – это поразительно! – был приоритетом в правительстве У.Черчилля и лично курировался им. Британское министерство информации свои эксперименты с Бейсик-инглишем проводило через сеть «Би-би-си», в том числе через Восточный отдел, и, следовательно, Оруэлл, работая в нем, был в курсе этих опасных «изысков». Распространялся этот «проект» и на США. Известно, например, что 6 сентября 1943 года У.Черчилль, выступая в Гарвардском университете, прямо призвал к насаждению Бейсик-инглиша. «Оздоровляющий эффект изменения мира, – сказал он, – возможен посредством контроля над языком и, соответственно, над людьми без насилия и уничтожения… Будущие империи будут империями сознания…» И несмотря на то, что Рузвельт назвал эту идею «просто глупой», Черчилль планировал, что окончательная победа Бейсик-инглиша в англоязычном мире произойдет к 2050 году. Оруэлл, работая над романом «1984», несомненно знал об этом, ибо в «Принципах новояза» уже в первом абзаце пишет: «Предполагалось, что окончательно новояз заменит собой старояз примерно к 2050 году…» Этому пророчеству писателя еще предстоит сбыться. Хотя, по мнению современных исследователей, «процесс» активно идет и ныне: комиксы, дайджесты великой литературы, смайлики, интернет с его вечным «многабукафф» и т.д. Вот почему, в частности, Оруэлл решительно протестовал против попыток выбросить «Приложение» о языке из романа.

«Окна Овертона» названы по имени Джозефа Овертона (1960–2003), старшего вице-президента центра общественной политики *Mackinac Center*. Он, погибший в авиакатастрофе, сформулировал модель изощреннейшего манипулирования сознанием не одного человека, не группы или прослойки, а общества целиком. Овертон раскрыл, как была создана пошаговая схема внедрения морально недопустимых явлений в общество, как легко, через «окно возможностей», уничтожается любой культурный институт, какова технология легализации чего угодно вплоть до инцеста. Он описал, «как совершенно чуждые обществу идеи были подняты из помойного бака общественного презрения, отмыты и в конце концов законодательно закреплены».